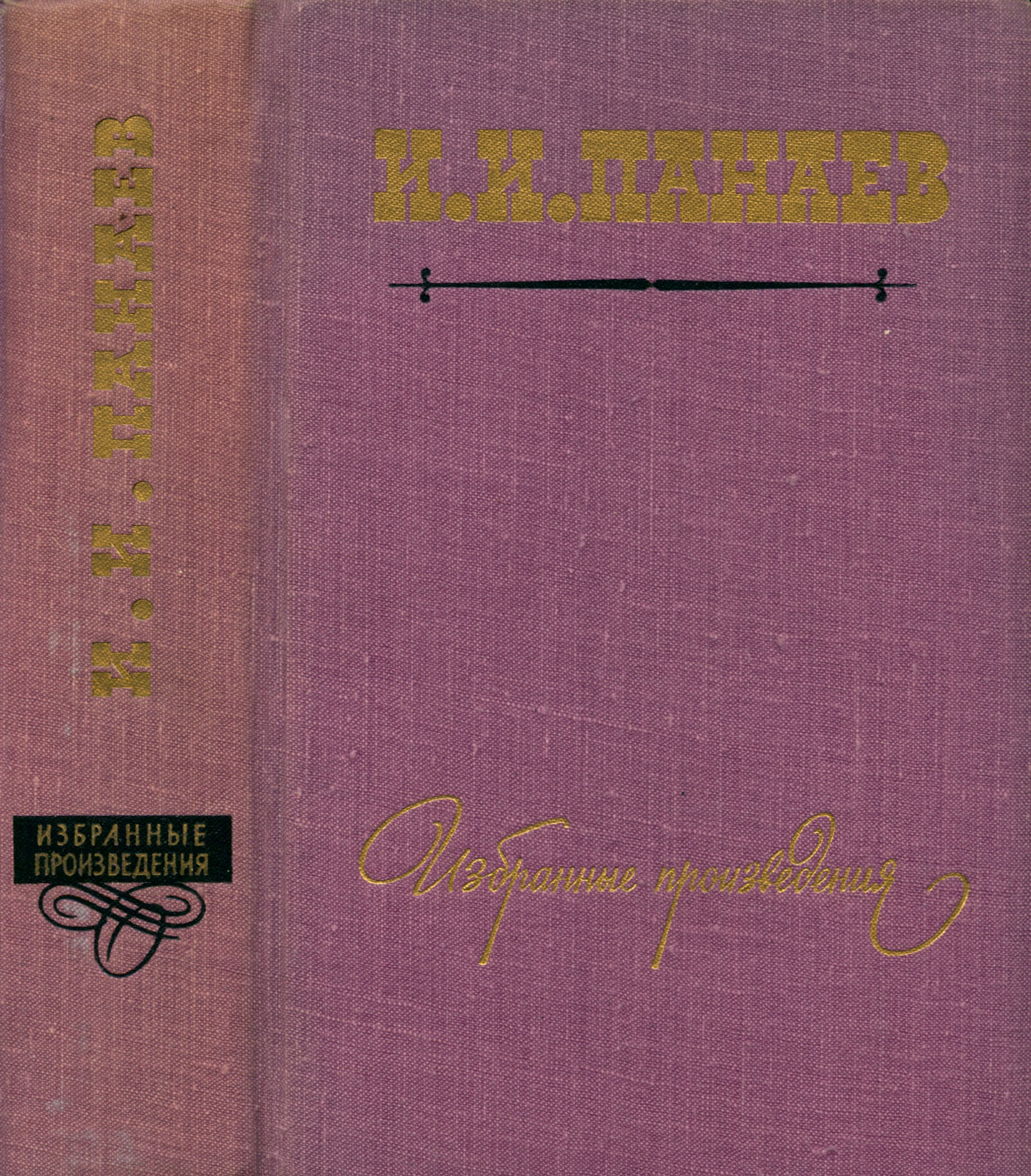

И. И. ПАНАЕВ
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И. И. ПАНАЕВ
Избранные произведения



И. И. ПАНАЕВ

И. И. ПАНАЕВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва · 1962

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Ф. М. ИОФФЕ

Оформление художника
В. ЕРЕМИНА

ИВАН ИВАНОВИЧ ПАНАЕВ

Советским читателям известно имя Ивана Ивановича Панаева, автора «Литературных воспоминаний», замечательного образца русской мемуарной литературы XIX столетия. Но мало кто знает в наше время другие произведения этого писателя — одного из талантливейших беллетристов и журналистов 1840—1850-х годов.

Автор многочисленных очерков, рассказов и повестей, создавший реалистические картины русской жизни первой половины XIX века, ближайший помощник Некрасова по изданию журнала «Современник», мастер самых разнообразных журнальных жанров, — он навсегда связал себя с лучшими представителями русской общественной мысли и литературы — Белинским, Некрасовым, Чернышевским.

Произведения Панаева представляют для советского читателя не только историко-литературный, познавательный интерес, но и живое, увлекательное чтение.

Панаев родился 15 марта 1812 года в родовитой и богатой дворянской семье. Отец его интересовался литературой, сотрудничал в различных журналах. Он умер в молодые годы, когда будущий писатель был еще ребенком, и воспитанием его занималась мать. В мемуарах современников вырисовывается ее портрет — женщины пустой и эгоистичной.

В «Литературных воспоминаниях» Панаев не рассказывает о своем раннем детстве (до поступления в пансион), но впечатления этой поры, по-видимому, нашли отражение в ряде его произ-

ведений: в очерках «Провинциальный хлыщ» (1856), «Ночь на рождество» (1858), «На яву и во сне» (1859), в повести «Внук русского миллионера» (1858) и др. Он воскрешает в них старинный барский дом, битком набитый многочисленной дворней и приживалками, рисует образ бабушки — властной и своенравной барыни. Наиболее светлые воспоминания о раннем детстве соединяются у будущего писателя с образами старой няни и деда. Дед его — человек незаурядный — принадлежал к числу просвещенных дворян XVIII века. Интерес к литературе в какой-то степени традиционен в семье Панаева. Брат его отца — Владимир Иванович — был поэтом, автором идиллий в духе пасторальной поэзии XVIII века; по отцу писатель приходился внучатым племянником поэту Г. Р. Державину.

Двенадцати лет Панаева помещают в Благородный пансион при С.-Петербургском университете, который он окончил в 1830 году. Вскоре Панаев поступает на службу в Департамент государственного казначейства, а затем переходит в Департамент народного просвещения, где служит в редакции «Журнала министерства народного просвещения». Только в 1844 году он вышел в отставку и целиком посвятил себя литературной деятельности. «По происхождению, по родству и связям, — писал Н. Г. Чернышевский, — он мог рассчитывать на блестящую служебную карьеру; понятия среды, в которой он вырос и воспитывался, тогдашний взгляд на литературу (далеко отличный от нынешнего), общее желание родных, наконец, и личный его характер, не чуждый в молодости суетности и тщеславия, — казалось бы, все соединялось, чтобы заставить Ивана Ивановича избрать эту торную дорогу, где ожидал его неизбежный и легкий успех. Однако любовь к литературе пересилила все эти причины, вместе взятые...» [1]

Первые литературные опыты Панаева относятся ко времени пребывания его в пансионе, где он редактировал ученический журнал. С начала 1830-х годов его произведения начинают появляться в «Библиотеке для чтения», «Сыне отечества», «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» и различных альманахах. Несколько дошедших до нас ранних стихотворений Панаева (оригинальных и переводных): «Стансы» (1834), «Минувшая юность» (1836), «Поэту» (1837) и др. имеют чисто подражатель-

---

[1] Н. Чернышевский, Некролог Ивана Ивановича Панаева («Современник», 1862, № 2; см. также отд. издание [Спб. 1862], стр. III).

ный характер и ничем не выделяются из потока сентиментально-романтической журнальной поэзии 1830-х годов. Его прозаические произведения этого периода, также созданные в традициях романтического стиля, представляют гораздо больший интерес.

В «Литературных воспоминаниях» писатель рассказывает, что, прочитав роман В. Гюго «Собор Парижской богоматери», он «...почти готов был идти на плаху за романтизм...», хотя очень смутно представлял себе, «...какой смысл заключался в этом явлении» [1]. Увлекаясь в это время как реакционно-ходульным романтизмом Н. В. Кукольника, так и произведениями А. А. Марлинского (Бестужева), Панаев вместе с тем обнаруживает в своем творчестве тяготение к более прогрессивной линии русского романтизма 1830-х годов (Марлинский, Н. А. Полевой).

В первой повести Панаева — «Спальня светской женщины. Эпизод из жизни поэта в обществе» (1834) много общего не только с так называемыми «светскими повестями» в духе Марлинского, но и с широко распространенными в 1830-х годах произведениями о художниках (драматическая фантазия «Торквато Тассо» (1833) Н. В. Кукольника, повести «Живописец» (1833) и «Аббадонна» (1834) Н. А. Полевого, «Художник» (1833) А. В. Тимофеева, «Импровизатор» (1832) и «Живописец» (1839) В. Ф. Одоевского и др.). Содержание ее сосредоточивается вокруг характерной для романтизма проблемы взаимоотношений художника и общества, которую романтическая литература, так же как и романтическая эстетика, разрешала в чисто идеалистическом духе. Художник (поэт, живописец, музыкант) представлялся существом исключительным, отмеченным «печатью божества». Именно таков поэт Громский в «Спальне светской женщины». В этом образе ярко выражена романтическая гиперболичность, патетичность стиля раннего творчества Панаева. Исключительность натуры Громского проявляется уже в детстве, «с колыбели терновый венец лежал на главе его», он «отщепенец», которого никто не понимает. Чуждый реальной, «низменной» жизни («существенности»), он живет «в заманчивом мире своего вображения». Духовному облику поэта соответствует и его внешность: черты лица его «прекрасны и благородны», «дикое вдохновение осеняло чело», глаза «сверкали ослепительным заревом страсти», длинные кудри «в беспорядке спускались до плеч», костюм его был необычен и говорил о бедности, «движения связанны и неловки».

---

[1] И. И. Панаев, Литературные воспоминания, [М. — Л.] 1950, стр. 32, 31.

Любовь к блестящей великосветской женщине — княгине Гранатской приводит Громского в чуждую ему социальную среду, столкновение с которой выливается в форму трагической любовной коллизии. Узнав, что княгиня была в связи с графом Верским, которого он считал своим другом, Громский кончает жизнь самоубийством в ее спальне. Этот образ противопоставляется в повести пустому и пошлому великосветскому обществу, которое изо дня в день «кружится около лжи, сплетней... предрассудков, прихотей, словом, около толкучего рынка человеческой ничтожности». Если образ поэта отвлеченно-романтичен, то окружающая его среда («грубая толпа»), которой он чужд, рисуется в реалистических тонах. — Наметившаяся в этой повести тенденция к критическому изображению аристократического дворянского общества усиливается в следующих повестях писателя — «Она будет счастлива» (1836), «Сегодня и завтра» (1837), «Сумерки у камина» (1838).

По выражению Панаева, эти произведения «имели несколько более смысла и простоты», то есть лишены были напыщенности и лжепатетики, присущих его первой повести. По проблематике, образам, сюжетным и композиционным особенностям они сближаются с широко распространенными в эти годы многочисленными произведениями, рисующими жизнь и нравы высшего дворянского круга: «Испытание» (1830) и «Фрегат Надежда» (1833) А. А. Марлинского, «Княжна Мими» (1834) В. Ф. Одоевского, «Искатель сильных ощущений» (1839) П. П. Каменского и другими. Действие повестей Панаева развертывалось в великосветских гостиных, будуарах, на блестящих балах. Содержание их составляли проблемы любви, брака и воспитания, разрешаемые в морально-дидактическом плане. В повести «Она будет счастлива» Панаев показывает уродливость и бесчеловечность брака, основанного на материальных и сословных расчетах. Героиня этой повести Зинаида И*** выгодно отличается от героинь других «светских повестей». В этом образе ощущается стремление писателя преодолеть романтические штампы и создать правдивый характер «русской женщины». Она наделена «простотою», «самобытностью», силой чувств, которые и непонятны и чужды светскому обществу. Выданная замуж родителями, через несколько лет после брака она встречает в свете героя повести Горина. Полюбив его, Зинаида переживает борьбу чувства любви и долга и, надломленная, погибает.

В ранних повестях Панаева еще нет понимания социальных противоречий, царящих в дворянском обществе, но в них уже появляется стремление реалистически изобразить его отрицательные стороны, сочувственное отношение к людям, стоящим на более

низких социальных ступенях общественной лестницы (поэт Громский в «Спальне светской женщины», Кремнин в повести «Сегодня и завтра»). Наметившиеся в этих повестях реалистические и гуманистические тенденции и позволили Белинскому выделить некоторые из них в общей массе романтической прозы 1830-х годов. В 1836 году на страницах журнала «Молва» Белинский отметил «неподдельный талант, живое чувство и умение владеть языком» в повести «Она будет счастлива» [1], а также положительно отзывался о рассказах «Кошелек» (1838) и «Сумерки у камина» [2]. Любопытно, что писатель А. Ф. Воейков, выступавший против прогрессивных явлений русской литературы, желая уязвить Белинского, приписал ему повесть «Она будет счастлива». «Эта повесть, — писал Воейков, — по совести, не уступает справедливо расхваленным повестям гг. Павлова, Марлинского, Погодина. Хотя под нею подписано: «Ив. П — в», но мы давно не верим в подписные литеры и, даже пускаясь в догадки, подозреваем г. Виссариона Белынского в ее сочинении. Несравненно лучше писать такие повести, чем презрительно и неосновательно разбирать наших славных писателей» [3].

В 1838 году поэт А. В. Кольцов от имени Белинского, ставшего в то время фактическим редактором «Московского наблюдателя», пригласил Панаева принять участие в журнале. С этого времени между Белинским и Панаевым завязалась переписка; вскоре состоялось и личное знакомство, перешедшее в многолетнюю дружбу. Белинский, например, говорил: «...никто из моих приятелей не сделал мне лично столько услуг, как Панаев! Когда я бедствовал в Москве, кто принял во мне самое горячее участие? — Панаев! Заметьте, он только что меня узнал!» [4]

Однако Панаев не только «узнал», но, как видно из его писем 1838 года, предсказал молодому сотруднику московских журналов будущее замечательного русского критика. Прочитав «Литературные мечтания» (1834) Белинского, он писал: «Прямота Вашего характера, юношеская мощь в слове и — самое важное — это глубокое эстетическое чувство, дарованное Вам господом богом,

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, т. II, М. 1953, стр. 230.

[2] Там же, стр. 360, 387.

[3] «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1836, № 59—60, стр. 473—474.

[4] А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания, М. 1956, стр. 162.

поразили меня с первого раза. Я подумал, прочитав Вашу «Критическую элегию», — вот человек, который имеет все элементы для того, чтобы сделаться со временем *критиком,* в полном значении этого слова» [1].

Переход Панаева от романтизма к реализму и совершился под непосредственным воздействием Белинского и Гоголя. «Эти строки, — вспоминал Панаев о «Литературных мечтаниях», — были мне по сердцу потому, что после моего детского увлечения Кукольником, после смешного и рабского преклонения перед ним я чувствовал озлобление против всех авторитетов, даже против моего кумира Марлинского. Я с каким-то наслаждением любовался, как Белинский беспощадно разбивал его» [2].

С энтузиазмом были встречены литературной молодежью произведения Гоголя, открывшие, по словам Панаева, «новый мир» в искусстве. Белинский и Гоголь возбудили у Панаева сомнения в его литературных вкусах, оттолкнули его от романтизма. Первым серьезным опытом его в этом направлении был рассказ «Кошелек», — в нем писатель изображает совершенно новый для него «мир» «маленьких людей». Героем является бедный чиновник, приехавший в Петербург искать «места».

Рассказом «Кошелек» Панаев, в какой-то мере, включается в поток типичных для беллетристики «натуральной школы» повестей о бедных чиновниках. Замечательно, что в этих повестях не только наиболее ярко выразились социальные тенденции «натуральной школы», но и ее реакция на романтизм. «Мы хотим действительности во что бы то ни стало, и самый любимый герой наш теперь — не поэт, не импровизатор, не художник, а *чиновник!»* — говорилось в журнале «Финский вестник» [3], близком к направлению «натуральной школы».

Но в рассказе «Кошелек» тема бедного чиновника разрешается в бытовом плане и лишена того социального звучания, которое было свойственно большинству произведений этого рода, начиная с «Шинели» (1842) Гоголя (выходившей далеко за рамки собственно «натуральной школы») и кончая «Петербургскими вершинами» (1845—1846) Я. П. Буткова и «Запутанным делом» (1848) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

---

[1] Сб. «В. Г. Белинский и его корреспонденты», М. 1948, стр. 196.

[2] И. И. Панаев, Литературные воспоминания, [М. — Л.] 1950, стр. 109.

[3] «Финский вестник», 1845, т. II, отдел «Библиографическая хроника», стр. 16.

В гораздо большей степени, чем в рассказе «Кошелек», ощущается поворот Панаева к «действительности» в повести «Дочь чиновного человека» (1839). В ней писатель не только обращается к обыденной жизни, но делает попытку проникнуть в глубины этой жизни — показать и осудить социальные предрассудки, господствовавшие в частном, в семейном быту крепостнического общества. Насколько актуальна была для русской литературы 1840-х годов затронутая Панаевым тема «семейных тайн», можно судить по тому, что несколько позднее, в цикле статей «Капризы и раздумье» (1843—1846), писал о ней А. И. Герцен: «Наука, государство, искусство, промышленность идут, развиваясь по всей Европе... А домашняя жизнь наша слагается кое-как, основанная на воспоминаниях, привычках и внешних необходимостях; об ней в самом деле никто не думает, для нее нет ни мыслителей, ни талантов, ни поэтов, — недаром ее называют *прозой* в противоположность плаксивой жизни баллад и глупой жизни идиллий...» Далее Герцен призывает писателей подумать о «...ежедневных, будничных отношениях, обо всех мелочах, к которым принадлежат семейные тайны...» [1]

Именно в свете разработки этой темы оценил Белинский повесть «Дочь чиновного человека», подчеркнув, что в ней Панаев сумел дать «...мастерскую картину петербургского чиновничества не только с его внешней, но и внутренней, домашней стороны» [2].

Если в повести «Она будет счастлива» осуждается брак по расчету, то в «Дочери чиновного человека» писатель делает попытку перевести личную драму в социальный план. Сюжет повести, «богатый, — по определению Белинского, — потрясающими драматическими положениями» [3], составляет история любви генеральской дочери Софьи Поволокиной к бедному художнику-разночинцу. Трагедия Софьи заключалась не только в ее любви к человеку, неравному ей по социальному положению, но и в том, что она была чужой в родной ей среде.

Овеянный теплотой и лиризмом образ героини выделяется на фоне уродливых, часто карикатурных фигур среднечиновного петербургского круга. «С негодованием» видела она, как невежество, предрассудки, ничтожность интересов сочетались в этой среде с нелепыми и смешными претензиями на великосветскость.

---

[1] А. И. Герцен, Собр. соч., АН СССР, т. II, М. 1954, стр. 75, 77.

[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, т. III, М. 1953, стр. 188.

[3] Там же, стр. 188.

В гоголевской манере рисует Панаев домашний быт и нравы мелкого чиновничества (сцены в доме стряпчего Теребеньина). Углубление реализма писателя Белинский увидел не только в созданных им в этой повести «мастерских картинах жизни петербургского чиновничества», но и в глубоком раскрытии «простого и возвышенного характера героини...» [1].

Давая в целом высокую оценку повести, Белинский отмечает наличие в ней остатков романтического стиля [2], — это прежде всего относится к герою повести — художнику Средневскому. Хотя этот образ лишен романтической приподнятости и отвлеченности, но в нем есть еще некоторая расплывчатость, неопределенность. Его безволие, неспособность к действию и отсутствие подлинного творческого размаха принимают иногда форму романтического «гениальничания».

Последним произведением переходного периода можно считать повесть «Белая горячка» (1840), которая является продолжением «Дочери чиновного человека». Под влиянием критики Белинского Панаев в этой повести не только окончательно порывает с романтизмом, но и включается в борьбу с ним. Писатель создает резко сатирический образ Н. В. Кукольника (один из главных персонажей повести — поэт Рябинин) и тем самым наносит удар по реакционному романтизму. Белинский нашел этот образ «мастерским» и в письме к В. П. Боткину советовал: «Обрати все свое внимание на лицо Рябинина — это живой, во весь рост, портрет Кукольника» [3].

В «Белой горячке» получает завершение образ художника Средневского, четко определяется отрицательное отношение к нему автора. Творчески обессиленный, он становится другом Рябинина, прихлебателем знатного мецената, и вполне оправдывает название «жалкого недоноска», которое дал ему Белинский.

Вслед за повестью «Белая горячка» Панаев во многих произведениях поддерживает Белинского, Герцена и Некрасова в их борьбе с реакционным, эпигонским лжеромантизмом, мешавшим развитию русской реалистической литературы.

К этому же времени относится рассказ «Раздел имения» (1840), в котором писатель впервые изображает жизнь поместного дворянства. В основу рассказа положены впечатления от поездки Панаева в Казанскую губернию на раздел имения его дальнего

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, т. III, М. 1953, стр. 189.

[2] Там же, стр. 188—189.

[3] Там же, т. XI, М. 1956, стр. 525.

родственника. Наряду с шаржированным изображением дикости и алчности захолустного дворянства (наследники делят по жребию заплесневевшее варенье и для полной «справедливости» разрезают на куски одежду), в рассказе ощущается некоторое любование патриархальностью помещичьего быта, и написан он в легком юмористическом тоне. Раздел крепостных крестьян, трагические сцены которого рисует А. Я. Панаева в своих «Воспоминаниях» [1], — обойден молчанием. В рассказе, несомненно, отразился свойственный Панаеву в 1840-е годы дворянский либерализм, — в дальнейшем, под влиянием революционно-демократических идей, писатель сумел преодолеть либеральное отношение к крепостному праву, принимал участие в борьбе с ним как писатель и публицист.

1840-е годы были периодом резкого обострения социальных противоречий, вызванных усилением процесса разложения феодально-крепостнического строя и дальнейшим развитием капиталистических отношений. Таковы исторические предпосылки, определявшие формирование передовой общественной мысли и литературы 1840-х годов.

Эти годы — период перехода от дворянского к разночинскому, буржуазно-демократическому этапу русского освободительного движения. «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве, — по словам В. И. Ленина, — В. Г. Белинский» [2]. Благодаря Белинскому центром передовой общественной мысли в 1840-е годы становятся журналы «Отечественные записки» и «Современник». Здесь Белинский и Герцен положили прочное основание русской материалистической философии; здесь формировалась школа критического реализма, которую современники называли «натуральной».

«В наше время, — писал Белинский, — искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов...» [3] Писатели «натуральной школы», осуществляя этот принцип, развернули критику различных сторон общественной жизни. Они изображали невыносимо тяжелую жизнь крепостного крестьянства (пионером в этой области явился

---

[1] А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания, М. 1956, стр. 79—80.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 223.

[3] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, т. X, М. 1956, стр. 306.

Д. В. Григорович со своими повестями «Деревня» — 1846 и «Антон Горемыка» — 1847), показывали все растущие контрасты бедности и богатства в больших городах, угнетение и бесправие бедного городского населения. Они обнаруживали перед читателями скрытые пружины современной общественной жизни — эксплуатацию и всеподавляющую власть денег. Петербург с развивающимися в нем капиталистическими противоречиями становится одним из основных объектов их изображения: «Петербургские углы» (1845) Некрасова, «Петербургские вершины» (1845—1846) Я. П. Буткова, «Петербургские шарманщики» (1845) Григоровича, «Петербургский дворник» (1841—1842) В. И. Даля, «Петербургская сторона» (1845) Е. П. Гребенки, «Петербургский фельетонист» (1841) И. И. Панаева разносторонне показывали городскую жизнь. Писатели «натуральной школы» повели своих читателей в самые бедные и отдаленные кварталы большого города: на Петербургскую сторону, в Галерную гавань, в подвалы, на чердаки. Бедные чиновники, ремесленники, городские «низы», крестьяне — «люди толпы» — стали героями их произведений.

Панаев выступает как один из типичных беллетристов «натуральной школы» или, по определению Белинского, в ряду «обыкновенных талантов» (Д. В. Григорович, В. А. Соллогуб, Е. П. Гребенка, Я. П. Бутков и др.), которые вместе с крупнейшими реалистами (Герценом, Некрасовым, Гончаровым, Тургеневым, Щедриным) участвовали в широко развернувшемся в 1840-е годы движении за реализм. Не обладая глубиной и силой художественного обобщения великих писателей, «обыкновенные таланты» развивали гоголевские традиции в русской литературе и осуществляли в своем творчестве основные эстетические принципы «натуральной школы». «Бедна литература, не блистающая именами гениальными, — писал Белинский, — но не богата и литература, в которой всё — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы» [1].

В 1839 году Панаев становится одним из ведущих сотрудников журнала «Отечественные записки», куда вскоре был привлечен Белинский. В «Отечественных записках» вокруг Белинского собралась группа талантливых беллетристов «натуральной школы» (Григорович, Соллогуб, Бутков и др.), среди которых Панаеву, по праву, принадлежало одно из первых мест. В этом

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, т. VIII, М. 1955, стр. 379.

журнале были напечатаны многие его произведения: «Дочь чиновного человека», «Белая горячка», «Прекрасный человек» (1840), «Онагр» (1841), «Петербургский фельетонист», «Актеон» (1842), «Литературная тля» (1843), «Барышня» (1844), «Маменькин сынок» (1845) и другие. Проза Панаева, несомненно, принадлежала к числу литературных явлений, определявших лицо этого журнала. Именно так и расценивалась она современниками. По воспоминаниям М. Е. Салтыкова-Щедрина, в лицее: «Журналы читались с жадностью, но в особенности сильно было влияние «Отечественных записок», и в них критики Белинского и повестей Панаева, Кудрявцева, [Герцена] и друг.» [1].

Когда в 1846 году Белинский и его единомышленники основали свой журнал — «Современник», «...то в публике и в литературных кружках того времени говорили, что после Белинского важнейшею потерею для «Отечественных записок» будет потеря Панаева» [2].

Идейные противники «натуральной школы» справедливо видели в лице Панаева одного из видных ее представителей. Об этом свидетельствуют не только постоянные нападки на него в печати, но и отношение к нему цензуры. Как видно из письма издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского сотруднику этого журнала М. Н. Каткову (9/21 января 1841 г.), «Панаев чуть не попал на гауптвахту за свою повесть «Прекрасный человек», напечатанную в ноябрьской книге «Отечественных записок», где он подсмеивается над офицерами» [3].

Вместе с романом «Семейство Тальниковых» Н. Станицкого (А. Я. Панаевой) и другими произведениями рассказ Панаева «Встреча на станции» послужил поводом для запрещения к печати «Иллюстрированного альманаха» (1848), который должен был выйти в качестве приложения к журналу «Современник».

«Встреча на станции» Панаева, — писал цензор, — принадлежит к числу тех произведений, «в которых авторы любуются теми грязными, отвратительными видами, которые полиция изгоняет с улиц, а натуральная школа, по следам Гоголя, расплажает в литературе». Далее цензор доказывает, что в рассказе Панаев посягает на достоинство дворянина-офицера: «Герой этой пьесы —

---

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. 1, М. 1941, стр. 82.

[2] Н. Чернышевский, Некролог Ивана Ивановича Панаева («Современник», 1862, № 2; см. также отд. издание [Спб. 1862], стр. IV).

[3] Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом), АН СССР, Шифр № 4744/XXIVб141, л. 3.

отставной офицер, которого пьянство и беспутная жизнь сделали попрошайкою грошей на станции, прислужником в трактире из чарки вина, панибратом ямщикам при закладе лошадей... Для таких только картин вся пьеса и написана; более нет в ней ничего, и она в подбор Альманаха, который весь более или менее отзывается таким духом...» [1]

В этот период, как и многие прогрессивные беллетристы, Панаев обращается к жанру нравоописательного, или, как тогда называли, «физиологического» очерка, авторы которых уподобляли себя физиологам-анатомам общественной жизни. Наиболее яркие образцы этого жанра были представлены в сборнике «Физиология Петербурга» (ч. I—II, Спб. 1845), выпущенном Некрасовым с предисловием Белинского. Включенные в этот сборник очерки «Петербургский дворник» В. И. Луганского (Даля), «Петербургские шарманщики» Григоровича, «Петербургские углы» Некрасова и др. были посвящены изображению жизни и нравов самых «низших» социальных слоев общества и имели ярко выраженный гуманистический характер. В творчестве Панаева очерки такой направленности не получили сколько-нибудь значительного развития, хотя некоторые попытки были им сделаны («Парижские увеселения» — 1846, и — много позднее — «Галерная гавань»). В «Парижских увеселениях» рисуются картины балов, кутежей с гризетками, маскарадов, гуляний и других развлечений, которым предаются русские помещики. Тем резче на этом фоне выступает камера исправительной полиции, где судят голодную женщину только за то, что она просила подаяния. Подлинной человечностью и благородством проникнут образ рабочего-«блузника», который спасает ее от тюрьмы, беря на себя содержание этой женщины и ее ребенка.

В середине 1850-х годов Панаев вновь обращается к теме «маленького человека», становящегося жертвой социальных противоречий большого города, у него появляется стремление демократизировать и расширить тематику своих очерков. В статье «Несколько слов к благосклонному читателю» (1856) он развивает обширную программу очерков о «маленьких людях»:

«Я поведу вас со временем, волею или неволею, на Сенную площадь, на Толкучий рынок, в Коломну, на Петербургскую, на Выборгскую стороны и в другие отдаленные кварталы... Мы бу-

---

[1] Цензурное дело об «Иллюстрированном альманахе» публиковалось неоднократно, но в части, касающейся Панаева, оно так полно приводится здесь впервые (Центр. Гос. исторический архив (Ленинград), ф. 772, оп. 1, № 2157, л. 13).

дем прислушиваться с вами иногда к народным речам на рынках, площадях и улицах; будем входить в бедные семейства чиновников и мастеровых, откинув свою барскую спесь...»[1]

Задуманный писателем цикл открывался очерком «Галерная гавань» (1856). Противопоставление Галерной гавани — «приюта самого бедного петербургского населения» — городу богачей дается не только в социальном, но и морально-психологическом плане. В характеристиках персонажей и лирических отступлениях автор подчеркивает духовное превосходство героини очерка — Тани и других обитателей Галерной гавани, противопоставляя их жителям богатых кварталов.

Намеченный цикл очерков о «маленьких людях», начавшийся осуществляться «Галерной гаванью», остался незавершенным.

Не разрабатывая проблему «маленького человека» как основную, Панаев во многих своих произведениях с большим сочувствием изображает простых людей, — будь то старая вяня («Дочь чиновного человека», «Актеон»), бедный чиновник («Слабый очерк сильной особы» — 1857) или крепостные крестьяне, которые иногда появляются на страницах его произведений («Актеон», «Родственники» — 1847).

В 1840-е годы Панаев создает ряд «физиологических» очерков, рисующих журнально-литературный и театральный мир: «Петербургский фельетонист», «Литературная тля», «Литературный заяц» (1844). Сюда же должен быть отнесен и более поздний очерк «Петербургский литературный промышленник» (1857), входивший в цикл «Петербургская жизнь». Все эти произведения направлены против продажной журналистики булгаринского толка, которая являлась орудием политической реакции в борьбе с передовым лагерем русской литературы и журналистики.

Уродливым и жалким фигурам литературных «тлей», «вампиров» и «промышленников» Панаев противопоставляет литературу и журналистику «мыслей и убеждений», возглавляемую Белинским и Гоголем.

Передовой русской литературе 1840—1850-х годов принадлежит огромная роль в борьбе с крепостным правом. Панаев глубоко сочувствовал идее борьбы с крепостничеством, — именно этим определяется развитие его реализма в 1840-е годы. Антикрепостнические настроения его творчества выразились прежде всего в постоянной критике «барства дикого», крепостнического уклада его жизни. Тема духовной, физической и экономической деграда-

[1] «Современник», 1856, № 12, стр. 240—241.

ции дворянства становится центральной во многих его произведениях («Онагр», «Актеон», «Маменькин сынок» и др.).

Сущность и происхождение уродливых явлений, возникавших на почве владения «крещеной собственностью», раскрываются в произведениях Панаева правдиво и с большой художественной убедительностью. Передовые читатели — современники сразу почувствовали их антикрепостническую направленность: «Актеон», повесть Панаева, — писал Белинскому поэт Кольцов 27 февраля 1842 года, — весьма хороша, и ее все читают и хвалят, кроме помещиков, особенно молодых, тем она не по нутру» [1].

В этот период в творчестве Панаева все больше выкристаллизовываются черты сатирика, что особенно ярко проявилось в таких произведениях, как «Онагр» и «Актеон». В них же окончательно определяется центральная тема всего последующего творчества писателя — тема обличения паразитического барства в самых различных формах его проявления. Онагр и Актеон — это один и тот же социальный тип, данный в двух стадиях его развития. Сначала в образе Онагра, а затем Актеона перед читателем предстает типичное порождение поместного барства — Петр Александрович Разнатовский. В свой петербургский период, то есть в стадии Онагра, Петр Александрович из кожи лезет вон, чтобы походить на «великосветских» людей и ведет жизнь «царька среднего сословия». Он полон тщеславных мечтаний о чинах, орденах, о выгодной женитьбе. Переселившись в свое наследственное имение, Онагр становится Актеоном, то есть превращается из петербургского франта, прожигателя жизни в «благоденствующего» помещика и предается «животной неге и блаженству бездействия». В этом состоянии его паразитическая сущность, не маскируемая лоском столичной жизни, раскрывается во всей своей омерзительности.

Попав в условия поместной жизни, он неудержимо идет по пути не только умственной, но и физической деградации. Совершенно отупевший и обессилевший от праздной и беззаботной жизни, он не способен защищать даже свое материальное благосостояние и становится добычей ловкого хищника новой, капиталистической формации — Бобынина.

В непосредственной и тесной связи с образом Петра Александровича находится образ его маменьки-ханжи Прасковьи Павловны. Она принадлежит к более активному виду паразитов и хотя бестолково, но все же старается «припасать» и «прибирает» к своим рукам даже имущество собственного сына, для которого

[1] А. В. Кольцов, Полн. собр. соч., Спб. 1909, стр. 268.

она «всем пожертвовала» и которого в то же время обирает ради своего любовника.

Жизнь уездного дворянства являет собой картину полного нравственного убожества и застоя. Страшному миру онагров и актеонов противостоят люди «живой души» — Ольга Михайловна, разночинец-учитель. Их роднит общность духовных интересов, понимание ими уродливости окружающей среды. Мягкой грусти полны картины, связанные с образом Ольги Михайловны. Красота души, благородство, глубокое отвращение к миру онагров и актеонов, безысходность положения привлекают к ней читателей. Именно ее трагическую судьбу, по-видимому, имел в виду Н. П. Огарев, когда писал, что повесть «Актеон» «вырывает слезы» [1].

Но Ольга Михайловна выступает в повести не только как безропотная жертва. В ее молчаливом, строгом облике чувствуется скрытый, приглушенный протест. Так воспринял этот образ поэт Кольцов, говоря, что он возбуждает в душе не только любовь и сожаление, но и стремление «проклясть ее палачей и губителей» [2].

Развитию темы «Онагра» и «Актеона» посвящена и следующая за ними повесть «Маменькин сынок». Если в «Онагре» герой является перед читателем с уже вполне сложившимся характером, то в повести «Маменькин сынок» писатель ставит перед собой более широкую задачу, показывая образ в его становлении. Так же, как в «Барыне» и «Барышне», он уделяет большое внимание проблеме воспитания, как одному из основных факторов формирования социального характера. Широко используя прием биографических характеристик, окружая «маменькиного сынка» большим количеством персонажей, разносторонне рисуя усадебный быт и нравы, Панаев достигает более углубленного изображения типических черт крепостнического барства, намеченных в предшествующих повестях. Ряд проблем и образов сближает эту повесть с «Господами Головлевыми» (1875—1880) Салтыкова-Щедрина. Особенно интересен в этом отношении образ помещицы-ханжи Елены Терентьевны, «маменьки» героя. В нем уже намечаются некоторые черты таких образов Салтыкова-Щедрина, как кузина Машенька («Благонамеренные речи»), госпожа Головлева и — отчасти — Иудушки.

Говоря о типах лицемеров, Салтыков-Щедрин подчеркивает, что Иудушка Головлев не принадлежал к «европейским» типам, лицемерие которых носило «осознанный» и «целенаправленный» характер. «Нет, — говорил Салтыков-Щедрин, — ежели он был

---

[1] «Вестник Европы», 1907, № 11, стр. 43—44.
[2] А. В. Кольцов, Полн. собр. соч., Спб. 1909, стр. 268.

лицемер, то лицемер чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, лгун, пустослов и, в довершение всего, боялся черта» [1]. Вот такого рода лицемерие свойственно и многим персонажам Панаева: Надежде Сергеевне («Дочь чиновного человека»), Прасковье Павловне («Актеон»), Елене Терентьевне («Маменькин сынок») и др.

Начиная с «Дочери чиновного человека», через все творчество Панаева проходит тема раскрытия «семейных тайн», то есть критика лицемерия, хищничества и угнетения, господствовавших в частном, семейном быту крепостнического общества. Жертвами социальных и нравственных уродств семейного уклада являются Софья («Дочь чиновного человека»), Ольга Михайловна («Онагр»), Глаша («Маменькин сынок»), Саша («Провинциальный хлыщ»). В этих образах выражено стремление Панаева защитить человеческое достоинство, указать на необходимость уничтожения уродливых и жестоких «устоев» дворянской семьи.

Несколько в стороне от упомянутых выше произведений стоит повесть Панаева «Родственники» (1847), в которой появляются новые проблемы и образы, волновавшие передовую интеллигенцию 1840-х годов. Здесь писатель пытается разрешить проблему «лишнего человека» в условиях иной эпохи, когда этот образ претерпел сложную эволюцию. «Лишнего человека» нужно было искать не в великосветских гостиных (как Онегина и Печорина), а в философских кружках, в среде прогрессивной интеллигенции. С присущим ему чутьем современности Панаев уловил многие черты этого нового типа и запечатлел в своей повести.

В критике и в литературоведческих работах не раз отмечалось сходство повести «Родственники» с романом Тургенева «Рудин» (1856). Действительно, даже неискушенному читателю бросается в глаза, что сюжет «Родственников», характеры центральных персонажей и ряд ситуаций в какой-то степени предваряют роман Тургенева. В этой повести Панаев одним из первых в русской литературе дает изображение идеалистического философского кружка 1830—1840-х годов. С сочувствием говоря об интенсивной духовной жизни этого кружка, о его стремлении разрешить сложные философско-социальные проблемы, писатель вместе с тем вскрывает и его слабые стороны: чисто идеалистический, отвлеченный характер, полную оторванность от жизни. Он

---

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XII, М. 1938, стр. 127.

показывает, что чем больше Григорий Алексеевич (герой повести) погружался в область философских отвлеченностей, тем слабее становилась его воля, его способность к практической деятельности. Этому, конечно, способствовало и воспитание Григория Алексеевича. Труд для него становится отвлеченным понятием, о котором он охотно рассуждает, но к которому совершенно не подготовлен. Все эти черты с особенной резкостью проявляются в его взаимоотношениях с героиней повести Наташей. Увлеченная романтическими идеалами Григория Алексеевича, горячими речами о высоком назначении женщины, о какой-то новой, трудовой жизни, Наташа полюбила его. Но, по мере того как развивается ее чувство, Григория Алексеевича начинают обуревать «гамлетовские» сомнения. В решительный момент его духовная несостоятельность обнаруживается с наибольшей полнотой, подчеркивая моральное превосходство Наташи. В этой повести особенно наглядно обнаруживается сходство созданных Панаевым женских образов с образами Тургенева. Недаром в 80-е годы говорили о героинях Панаева, что они «напоминают героинь Тургенева» [1].

Предвосхищая в образе Григория Алексеевича некоторые черты тургеневского Рудина, Панаев из того же, подсказанного жизнью, материала не сумел создать глубоких социально-психологических обобщений. Если образ Рудина воплощал лучшие черты передовой русской интеллигенции, ее прогрессивные устремления, способность к подвигу, то в образе Григория Алексеевича отражены в основном отрицательные стороны представителя кружковой интеллигенции, «лишних людей» 1840-х годов.

Во многих своих произведениях Панаев ставит проблему положения женщины в дворянской семье, подходя тем самым к более общей и сложной проблеме женской эмансипации. Наряду с образами женщин, безропотно погибающих под гнетом семейного и сословного произвола, у писателя появляются героини, которые защищают свое право на счастье, борются за него (Катя — «Львы в провинции», 1852; Софья — «Хлыщ высшей школы», 1857).

В романе «Львы в провинции», повторяющем некоторые уже встречавшиеся у Панаева характеры и картины быта, появляется новый образ героини — Кати Беловой. Она противопоставляется не только провинциальному дворянскому обществу, но и внешне блистательным и столь же ничтожным и пошлым петербургским «львам». Катя — натура глубокая, энергичная, способная на без-

---

[1] С. С. Трубачев, «Фельетонный беллетрист И. И. Панаев» («Исторический вестник», 1889, № 4, стр. 170).

заветное чувство. Ради любви к графу Елецкому она, пренебрегая общественным мнением, бежит из дома, становится его любовницей. Граф Елецкий напоминает многими чертами героев «светских повестей», но лишен их романтического ореола. Наоборот, Панаев характеризует его как разновидность определенной породы людей, которых он заклеймил метким прозвищем «хлыщей» и «львов». Сочувствие Панаева целиком на стороне Кати, ее матери и бедного помещика, соседа их — Захара Лаврентьевича. Все это скромные люди, чуждые светской суетности и тщеславия, они искренни, умеют глубоко чувствовать и любить.

Роман, содержавший много злободневных намеков, возбудил горячие толки и споры. Об этом, в частности, сообщала писательница Е. В. Салиас (Евгения Тур): «На днях приехал Языков, который привез много вестей, и, между прочим, ту, что роман Панаева «Львы в провинции» наделал шуму. Вообразите себе, что многие узнали себя в лицах прихлебателей графа и приходили объясняться...» [1]

Создавая произведения больших повествовательных жанров («Львы в провинции», «Внук русского миллионера» — 1858), Панаев, однако, не отказывается и от нравоописательного очерка. Преодоление «очеркизма», в смысле поверхностного изображения жизни, соединилось у писателя с дальнейшим развитием жанра художественного очерка — жанра, который достигнет своего расцвета в творчестве таких великих реалистов, как Щедрин, Г. Успенский, М. Горький.

В 1854—1857 годах Панаев написал цикл «Опыт о хлыщах», куда входят «Великосветский хлыщ», «Провинциальный хлыщ» и «Хлыщ высшей школы». Тематика и образы этих очерков тесно связаны с предшествовавшими им произведениями: «Онагром», «Актеоном» и «Маменькиным сынком». В «Опыте о хлыщах» Панаев продолжает основную линию своего творчества — линию обличения паразитического существования столичного и поместного дворянства. «Хлыщи» — это «онагры» и «актеоны» — высшего ранга. Перед читателем проходят разнообразные типы хлыщей. Великосветский хлыщ — барон Щелканов, потомок богатого дворянского рода, промотавший все свое состояние. Полная пустота и ничтожество его облечены в форму безукоризненной «светскости». Провинциальный хлыщ — помещик, у которого ложь, «пустословие и пустоутробие» становятся второй натурой. Наконец — «хлыщ высшей школы», соединяющий в своем лице черты

---

[1] Письмо литератору Н. М. Сатину — сб. «Новые пропилеи», т. I, М. — П. 1923, стр. 27.

холодного карьериста и хищника. Его лицемерие доведено до высшего совершенства. По сатирической остроте этот тип близок некоторым образам Салтыкова-Щедрина.

Зрелость реалистического мастерства Панаева в «Опыте о хлыщах» была отмечена многими современниками. Высокую оценку, например, дал «Хлыщу высшей школы» Григорович; «Ваш хлыщ, — писал он Панаеву 4 мая 1857 года, — по моему крайнему разумению, — чуть ли не лучшая ваша повесть; не говоря уже о цели рассказа, которая почтенна в высшей степени, главное лицо является самою полною типическою личностью...» [1]

Последним чисто беллетристическим произведением Панаева была повесть «Внук русского миллионера», в которой писатель обратился к совершенно новой для него сфере — жизни русского купечества.

Сопоставляя представителей разных поколений купеческой семьи, Панаев выявляет еще слабо намечавшиеся в конце 1850-х годов признаки распада личности под влиянием власти денег. Дед, представитель первого поколения, рисуется человеком энергичным, умным, обладающим большой народной сметкой. Это крестьянин, ставший хозяином крупного дела. Образ деда-миллионера самобытен и привлекателен своей цельностью, он знает себе цену и держится с чувством собственного достоинства, не пытаясь тянуться за дворянством. Зато внук — представляющий уже третье поколение купеческой семьи, воспитанный в баснословной роскоши, избалованный, — безволен, не способен к созиданию; усвоив чисто внешне дворянскую культуру, он стремится во всем подражать дворянству и теряет не только своеобразие и независимость первого поколения, но и совершенно обезличивается.

Намеченная в этой повести тема деградации русского купечества, как известно, приобрела в дальнейшем в русской литературе очень большое значение. Вершиной ее развития явился роман М. Горького «Дело Артамоновых».

В этой же повести нашла продолжение тема «Родственников», то есть появляется новый вариант образа «лишнего человека», характерный для конца 1850-х годов, когда одной из основных проблем общественного развития явилась проблема борьбы с либерализмом. Типичным представителем дворянского либерализма является во «Внуке русского миллионера» Александр Григорьевич — человек, абсолютно неспособный к практическому осуществлению своих вычитанных из книг убеждений. На про-

---

[1] Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом), АН СССР, ф. 93 (Арх. П. Я. Дашкова), оп. 4, № 63, л. 1.

тяжении всей повести он рассуждает о необходимости приносить людям пользу, порвать с окружающей его средой и перестроить свою жизнь на каких-то иных началах. Но все эти порывы остаются пустой мечтой, так как Александр Григорьевич приходит к выводу, что «...рутина и предрассудки еще так сильны, что из борьбы с ними невозможно выйти победителем...»

Повесть «Внук русского миллионера» примыкает к ряду произведений, печатавшихся на страницах «Современника» («Русские в Италии» А. Я. Панаевой (Н. Станицкий), «Вольная пташка» М. Л. Михайлова и др.), которые были направлены против дворянского либерализма. Все они были напечатаны в 1858 году и перекликались с тургеневской «Асей» и еще в большей степени со статьей Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», опубликованными в том же году.

Некоторыми сторонами своего беллетристического творчества Панаев сближается с такими писателями, как Тургенев и Салтыков-Щедрин. В этой связи можно назвать и Писемского, которого некоторые критики 1880-х годов называли «прямым учеником» Панаева. Действительно, нельзя не отметить, что между обоими писателями могут быть установлены творческие связи. Так, Писемский вслед за Панаевым создает галерею «лгунов» в цикле очерков «Русские лгуны». Много общего у Писемского с Панаевым и в изображении ничтожных и пошлых щеголей, подобных «львам», «хлыщам» и «моншерам» (например, в повести «Брак по страсти» — 1851) и др. Однако творческому методу Панаева чужд холодный объективизм Писемского.

Путь Панаева-беллетриста (от романтической повести через «физиологический» очерк к реалистической повести и роману) отразил многие характерные стороны литературного процесса 1830—1850-х годов.

Наиболее характерной чертой Панаева-беллетриста является нравоописательный характер его творчества. Это очень типично для беллетристики «натуральной школы», часто берущей свое начало от нравоописательного («физиологического») очерка. В каком бы жанре Панаев ни выступал, — будь то повесть, рассказ или роман, — он прежде всего создает «очерки нравов». Писатель и сам выявлял очерковую природу своих произведений, — в этом отношении показательны подзаголовки и эпиграфы, которыми они сопровождались: «Прекрасный человек» — это «очерк петербургской жизни», «Онагр» — «очерк провинциальных нравов», «Петербургский фельетонист» — «зоологический очерк».

Очерк «Литературная тля» имел в журнальной редакции подзаголовок «Не повесть» и т. д. Жанр «физиологического очерка», отвечавший новым задачам реалистической литературы 1840-х годов, соответствовал характеру дарования писателя и дал возможность раскрыться его наиболее сильным сторонам — тонкой наблюдательности, умению выразить самое типическое, сатирической заостренности и публицистичности его стиля.

Ранние очерки Панаева «Портретная галерея» (1840) и «Эскизы из портретной галереи» (1841) носят на себе печать ученичества, в них можно встретить чисто механическое повторение некоторых стилистических приемов Гоголя. Он усваивает фамильярно-панибратский и вместе с тем скрыто-иронический тон беседы автора с читателем, введенный в русскую литературу пасечником Рудым Панько, широко использует гоголевский прием живописания лиц при помощи кажущегося беспорядочного нагромождения деталей и сравнений. Особенно часто встречаются у молодого Панаева гоголевские восторженно-иронические характеристики персонажей: «Как умен Гиацинт Иванович, какие у него энциклопедические познания! А какой у него кабинет — чудо!» («Портрет № 2»). Много прямых перефразировок, — так «Портрет № 1» заканчивается словами: «О непостоянный, лживый, обманчивый свет!» — измененная заключительная фраза «Невского проспекта» и т. д. На первых порах овладения реалистическим методом Панаев шел теми же путями, что и другие беллетристы 1840-х годов (Григорович, Гребенка, Бутков), которых современники называли «гоголевским оркестром». С годами, оставаясь учеником Гоголя, писатель творчески усваивает и перерабатывает его образы и стилистические приемы, создавая на их основе свою собственную манеру реалистического письма.

Основное содержание творчества Панаева — сатирическое изображение привилегированного дворянского общества, показ его паразитического существования, его экономического и духовного оскудения — определило и многие особенности стиля писателя. Среди беллетристов «натуральной школы» Панаев занимает несколько особое место, выступая прежде всего как автор произведений не только с определенно выраженной критической, но и сатирической направленностью. Поэтому целый ряд свойственных «физиологическим» очеркам стилистических приемов переосмысляется им в сатирическом плане.

Так, характерный для «физиологических» очерков прием классификации изображаемых общественных типов приобретает у Панаева уже в заглавиях и эпиграфах чисто сатирические функции («Онагр», «Актеон», «Литературная тля», «Опыт о хлы-

щах»). Сатирическим содержанием наполняется у него и традиционное авторское вступление к очерку. Так же, как и у других беллетристов «натуральной школы», у Панаева можно наблюдать слияние жанра «физиологического» очерка с другими повествовательными жанрами (рассказ, повесть и даже роман). В этом отношении особенно характерны «Онагр», «Актеон» и повесть «Маменькин сынок». Нередко современники, да и сам автор затруднялись в определении жанровой принадлежности того или иного его произведения. Например, Белинский, Герцен и Огарев называли «Онагра» и «Актеона» повестями, между тем как эти произведения должны были войти в сборник «физиологических» очерков — «Наши, списанные с натуры русскими» (издавался писателем А. Башуцким в 1841—1842 годах). Назвав «Литературную тлю» повестью, Белинский тут же оговаривается: «...собственно, это не повесть, а очерк».

Творческий метод Панаева во многом определялся задачами, которые ставил перед собой «физиологический» очерк. Он был тем жанром, в рамках которого писатели «натуральной школы» стремились разрешить проблему «типического», или, как тогда говорили, — «типического лица», «типа». В очерках «Рассказы без начала и без конца» (1844) Панаев писал: «Ведь мы все теперь пишем типы и считаем себя типическими писателями» [1]. И действительно, в своих «физиологических» очерках писатель сумел создать выразительную галерею отрицательных типов, — некоторые из них приобрели нарицательное значение. Об этом свидетельствуют многие современники, — так В. Толбин во вступлении к своему очерку «Моншеры» [2], Григорович в «Петербургских шарманщиках» упоминают «моншеров» Панаева как всем известное название пустых модников, прожигателей жизни; [3] Иван Вихрев в «Очерках литературной жизни» использует образ «литературной тли» [4].

Положительно оценивая роль прогрессивных беллетристов 40-х годов, Белинский одновременно указывал на неполноценность их творческого метода: недостаточную глубину социальных и художественных обобщений, отсутствие богатого творческого вымысла, фотографичность (или дагерротипичность) изображений, погоню за бытовыми подробностями. Все эти недостатки в той или иной степени присущи и творчеству Панаева.

---

[1] «Литературная газета», 1844, № 1 (январь), стр. 4.
[2] «Финский вестник», 1847, т. 20, Отдел III, стр. 1—2.
[3] «Физиология Петербурга», ч. 1, Спб. 1845, стр. 181.
[4] «Финский вестник», 1845, т. 2, Отдел III, стр. 25—26.

В середине 1840-х годов ближайшие сотрудники «Отечественных записок» стали все более тяготиться зависимостью от издателя его А. А. Краевского, для которого журнал был преимущественно коммерческим предприятием. Летом 1846 года Панаев и Некрасов начали вести переговоры о новом журнале и заключили соглашение с П. А. Плетневым о передаче им «Современника», причем необходимые для издания деньги были внесены Панаевым.

Хотя Панаев считался официальным редактором-издателем «Современника», но основным руководителем его сразу же стал Некрасов. Наряду с ним Панаев вел большую организационно-редакторскую работу по журналу: участвовал в составлении очередных книжек, сносился с цензурой, привлекал авторов и т. д. Кроме того, он работал в «Современнике» как постоянный его автор. Роль его в этом отношении была более значительна, чем принято думать. Как видно из рапортов, которые подавались Панаевым в Санкт-Петербургский цензурный комитет с раскрытием псевдонимов, он деятельно участвовал в различных отделах журнала: библиографическом, критическом, в смеси и других [1]. Имя Нового поэта, под которым выступал Панаев-журналист, приобрело широкую известность в 1840—1850-е годы. Его фельетоны, очерки, пародии, обозрения русской журналистики и петербургской жизни «читались с жадностью» и создали ему славу одного из лучших журналистов своего времени.

«Скажу вам, между прочим, — писал ему Григорович 2 сентября 1857 года, — о ваших фельетонах, которые, даю вам честное благородное слово, — лучшие фельетоны, когда-либо писанные в России. Мне до смерти жаль всегда, что они печатаются в журнале, они затериваются, как в лесу; нет сомнения: вы убедились бы в истине слов моих, если б фельетоны помещались в какой-нибудь газете: эффект, произведенный ими, тогда указал бы вам их значение, но такой газеты у нас пока еще не имеется» [2].

Произведения Нового поэта впервые появились на страницах «Отечественных записок» в 1843 году. В 1840-е годы Новый поэт выступает прежде всего как пародист, поддерживающий Белинского в его борьбе с эпигонской, безыдейной поэзией В. Г. Бенедиктова, К. Павловой, с реакционным романтизмом Н. В. Кукольника и др.

---

[1] См. «Дело... об именах авторов журналов и газет и переводчиков статей, подписанных псевдонимами» (Центр. Гос. исторический Архив (Ленинград), ф. 777, оп. 1, № 1986.

[2] Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом), АН СССР, ф. 93 (Арх. П. Я. Дашкова), оп. 4, № 63, л. 2.

Расцвет деятельности Нового поэта наступает в 1850-е годы. Острое, меткое слово его сыграло свою роль в борьбе «Современника» с реакцией в русской литературе и общественной жизни. Литературные пародии Нового поэта имели для «Современника» большое значение. Известно, что Некрасов в ряде статей и рецензий использует имя Нового поэта, а иногда и сам выступает под этим псевдонимом. Две пародии, подписанные именем Нового поэта — «В один трактир они оба ходили прилежно...» и «Мое разочарование» — принадлежат Некрасову.

Тургенев также высоко ценил пародии Нового поэта и не раз обращался к нему, прося его выступить против того или иного чуждого прогрессивной реалистической литературе явления. Так, когда представитель так называемой «чистой поэзии» Н. Ф. Щербина поместил в «Москвитянине» (1852, № 19) лирическую сценку «Ифигения в Тавриде», возмущенный Тургенев написал Панаеву: «Посмотри, какую исполненную претензий мерзость тиснул Щербина в «Москвитянине»!.. Что за поганые вирши! Неужели Новый поэт оставит это без внимания?.. И наконец надобно покончить с этим господинчиком... Новый поэт! обращаюсь к тебе — рекомендую тебе его» [1].

В пародиях на стихотворения Щербины Новый поэт с большим искусством высмеивает его уход от действительности в мир античных образов и сюжетов, его нарочитый, претенциозный эстетизм. Насколько метко эти пародии попадали в цель, можно судить по тому, что сообщал Григорович в письме (от 22 февраля 1852 года) к литератору В. П. Гаевскому: «Видел в Москве Боткина и Щербину. Щербина тоскует по-прежнему: «Современник» уходил его нравственно. В бесплодной злобе на русскую литературу, литераторов и журналы, он сочиняет акафисты...» [2]

Многие пародии Нового поэта вызывали взрывы злобы во враждебных «Современнику» кругах. «Молодая редакция» славянофильского журнала «Москвитянин» (Ап. Григорьев и др.) «хотела жаловаться законным порядком» [3] на Нового поэта за его пародию «Хор непризнанных сочинителей», вошедшую в пародий-

---

[1] И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. XII, М. 1958, стр. 125.

[2] Отдел рукописей Гос. публ. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 96, л. 16; «Акафисты» — злобные и клеветнические сатиры Щербины на Панаева и круг «Современника».

[3] См. письмо Е. В. Салиас к Н. М. Сатину — сб. «Новые пропилеи», т. I, М. — П. 1923, стр. 27.

ное обозрение русской литературы за 1851 год — «Литературный маскарад накануне Нового (1852) года. Заметки Нового поэта» [1].

Доходило до того, что цензура начинала защищать пародируемых Новым поэтом авторов. Так было возбуждено цензурное дело по поводу пародии Нового поэта «Апрония» на драму Л. А. Мея из жизни древнего Рима — «Сервилия» [2].

С 1851 по 1855 год Панаев ведет в «Современнике» ежемесячное обозрение русской журналистики под названием «Заметки (а потом «Заметки и размышления». — *Ф. И.*) Нового поэта о русской журналистике».

Говоря об этом цикле, необходимо упомянуть, что «Заметки и размышления...» явились на смену «Письмам иногороднего подписчика о русской журналистике» А. В. Дружинина. Эта замена была вызвана тем, что Дружинин, принадлежавший к либерально-умеренной части сотрудников «Современника», не смог работать с Чернышевским, который в этот период определял идейное направление журнала.

Несмотря на личное предубеждение, которое, очевидно, было у Панаева в первое время сотрудничества Чернышевского в «Современнике» [3], он, как и Некрасов, принял сторону Чернышевского, а затем — Добролюбова, понял огромное значение этих людей для развития русской общественной мысли и стал работать с ними рука об руку. Об этом очень убедительно свидетельствует письмо его к Боткину от 31 марта 1857 года: «В 4 № «Современника» по поводу Писемского Чернышевский отделал отлично Дружинина, не называя его по имени, — умно и дельно. Я совершенно согласен с мнением Чернышевского и потому при всем моем желании не делать неприятного Дружинину — я по совести не мог противиться напечатанию этой статьи, которая заденет Дружинина за живое; он, разумеется, скроет это и будет говорить, *что я даю волю Чернышевскому или вовсе не читаю статей, которые печатаются в «Современнике»,* и проч. и проч. Всё обрушится на меня, но приязнь — приязнью, — а дело — делом... *критик,* по-моему, он гнилой и поверхностный, и из приязни к нему я не могу останавливать в моем журнале дельных и едких замечаний о нем как о критике. Скажу более, — я считаю делом полезным, если будут обнаруживать его критическую пустоту и

[1] «Современник», 1852, № 1.

[2] Центр. Гос. исторический архив (Ленинград), ф. 772, оп. 1, № 3389, л. 2. «Апрония» была напечатана в «Современнике», 1854, № 7 («Литературный ералаш. Тетрадь пятая»).

[3] См. «Тургенев и круг «Современника», «Academia», М. — Л. 1930, стр. 411.

несостоятельность и сбивать его диктаторский тон в критиках, ничем не оправдываемый.

Обо всем этом я тебя предупреждаю. Дружинин, верно, будет тебе говорить об этом и, может быть, приписывать моей слабости и непониманию то, что я даю волю Чернышевскому и проч. Дружинин воображает, что я совершенно разделяю его образ мыслей и литературные воззрения, — но в этом случае, как и во многих других при суждении о людях, он жестоко ошибается. ...Нет, литературная правда выше всяких приятельских отношений — и я не раскаиваюсь в своем поступке. Я сделал бы подлость, если бы отставил статью Чернышевского» [1]. И действительно, по мере сил своих, Панаев стремился идти в ногу с Чернышевским. В некоторых фельетонах Панаев сумел, несмотря на цензуру, выразить свое сочувствие печатавшимся в «Современнике» статьям Чернышевского по крестьянскому вопросу [2], — как бы вскользь намекнуть читателям об отказе крестьян выполнять барщину, о крестьянских волнениях. Большое место в публицистике Панаева занимает тема «молодого поколения» и тесно связанная с нею тема разоблачения либерализма. Он не раз говорил о своих симпатиях к революционно-демократическому лагерю: «Я лучше буду жить в обществе так называемых *мальчишек*... В их обществе легче и свободнее дышать...» [3]

В обозрениях русской журналистики Панаев ведет энергичную борьбу с «эстетической критикой» и в январском обозрении 1855 года поддерживает мысль Чернышевского о необходимости глубоко идейной, «строгой и даже резкой» критики. Он не упускал случая напомнить о Белинском и, если нужно было, защитить его память. Об этом можно судить по его полемике с Ап. Григорьевым. Последний в статье «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» («Москвитянин», 1855, № 3) обрушился на критику 1838—1846 годов, иначе говоря, на критику Белинского, обвиняя ее, главным образом, в том, что она «развенчала Гоголя, когда кругозор его расширился». Панаев в «Заметках Нового поэта» («Современник», 1855, № 7) доказал несправедливость этого упрека и, в частности, писал: «Неужели, по мнению г. Григорьева, издание «Переписки» было доказательством расширения кругозора Гоголя» [4], — это было несомненным выра-

---

[1] «Тургенев и круг «Современника», «Academia», М. — Л. 1930, стр. 417—418.

[2] «Современник», 1858, № 3, стр. 68—69; 1861, № 6, стр. 428; № 7, стр. 82, 86.

[3] «Современник», 1860, № 2, стр. 372.

[4] «Современник», 1855, № 7, стр. 109.

жением солидарности с рецензией Белинского на «Выбранные места из переписки с друзьями».

Критикуя и пародируя враждебные критическому реализму явления, Панаев отстаивает принципы реализма и внимательно следит за всем новым, что появляется в этой области. Он приветствует появление произведений нового поколения русских реалистов — Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, П. И. Мельникова (Печерского) и др. Одной из замечательных черт Панаева-публициста была горячая любовь его к русской литературе и забота о ее будущем. Он, идя вслед за Белинским, писал о необходимости создавать историю русской литературы и призывал своих современников «собирать материалы о великих русских писателях: Державине, Пушкине, Лермонтове и др.» [1].

С конца 1855 года в «Современнике» печатается новый журнальный цикл Панаева «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта», включавший в себя произведения самых разнообразных жанров: фельетон, очерк, рассказ, репортаж и др. Основное его содержание составляли очерки быта и нравов различных слоев петербургского населения, начиная с «благонамереннейших господ» и кончая петербургскими «камелиями». Большое место отводилось хронике городской жизни: отчетам о театральных постановках, выставках, концертах, заседаниях научных и благотворительных обществ, гастролях иностранных знаменитостей, празднествах, гуляньях и других событиях городской жизни.

Обладая острым чутьем современности, Панаев явился в этих очерках новатором в изображении целого ряда явлений современной ему жизни. Одним из первых он стал описывать быт и нравы петербургских «камелий» и дам полусвета («Камелии», «Дама из петербургского полусвета», «Шарлотта Федоровна»), ростовщиков и сомнительных дельцов («Петербургские ростовщики», «Петербургский Монте-Кристо»), богемы («Петербургские праздношатающиеся»), наемной городской прислуги («Петербургская прислуга») и многих других. Он обратился к тем сторонам городской жизни, которые являются неизбежным порождением нарождавшегося в России капитализма.

Читатели «Современника» любили живую, остроумную «Петербургскую жизнь» Нового поэта и признавали в нем большого мастера журнальных жанров: «Как бы там ни было, — писал Панаеву В. П. Боткин 14 апреля 1856 года, — но между оживляю-

---

[1] «Современник», 1854, № 2, стр. 125—136.

щими качествами, которые подняли «Современник» нынешнего года, я с уверенностью укажу на твои «Петербургские заметки». Я знаю, что они с жадностью читаются... Польза же их для меня кажется несомненной...» [1]

Во вступлении к «Петербургской жизни» Новый поэт писал, что в центре его внимания будет изображение жизни светского, веселящегося Петербурга. Вскоре, однако, он не только значительно расширил эту программу, но и дал ей явно обличительное направление. «Петербургская жизнь» продолжила линию сатирических очерков Панаева 1840-х годов. В очерках «Благонамереннейший господин», «Одно из неизбежных лиц Невского проспекта», «Слабый очерк сильной особы», «Петербургский Монте-Кристо», «Светский либерал и литературный дилетант» и др. он создал остро сатирические портреты реакционеров, бюрократов, взяточников, темных дельцов, беспринципных либералов и тунеядцев всех рангов и мастей. Обличение общественного лицемерия занимает в «Петербургской жизни» очень большое место и проходит через весь цикл. Наиболее концентрированно эта тема дана в очерке «Что такое нравственность?» В очерках «Встреча на Невском проспекте», «Именинный обед у доброго товарища», «Петербургский литературный промышленник» Новый поэт громит литературных староверов, горячо защищает Белинского и эстетические принципы критического реализма.

Развлекательный тон «Петербургской жизни» не помешал Панаеву насытить ее боевыми, актуальными проблемами современности. В «Петербургской жизни» так же, как в «Заметках о русской журналистике», Новый поэт участвует в борьбе, которую вел «Современник» по крестьянскому вопросу. В очерке «На яву и во сне» (1859, № 1) Панаев в резко-обличительном духе изображает жизнь помещичьей усадьбы и страх крепостников перед грозящим изменением уклада их жизни. Эта же тема поставлена во главу «Благонамереннейшего господина» (1858, № 2), где изображается заядлый крепостник, создавший себе благополучие беспощадной эксплуатацией крестьян и взяточничеством. Против злобствующих крепостников-реакционеров направлен очерк «Друзья и старые школьные товарищи» (1858, № 3, стр. 73), где Панаев рисует сатирические портреты «слепых поклонников прошедшего, этих тупоумных эгоистов, прикрывающих свои личные интересы святым именем патриотизма, когда чуть коснутся до их безумных предрассудков, которые они считают свя-

---

[1] «Тургенев и круг «Современника», «Academia», М. — Л. 1930, стр. 371.

щенными и неприкосновенными». В ряде очерков писатель поддерживает печатавшиеся в «Современнике» статьи Чернышевского, посвященные крестьянскому вопросу (1860, № 10, стр. 391).

В «Петербургской жизни» еще гораздо более явственно, чем в «Заметках о русской журналистике» обнаруживается воздействие революционо-демократической публицистики и литературы 1860-х годов, стремление к раскрытию реакционной сущности либерализма. Панаев дает глубоко сатирическую характеристику одного из тех либералов, который в 1860 году превращается в реакционера. «Но царство этих... свободомыслящих джентльменов, — утверждает Новый поэт, — близится, кажется, к закату. Их несостоятельность обнаруживается с каждым днем. Многие, даже из самых легковерных, начинают ясно видеть, что у этих господ слово и дело ничего не имеют общего между собою, что на словах они приводят старичков в трепет, а на деле повергают в умиление...» (1860, № 10, стр. 393--394).

В 1840-е годы этот либерал приводил в ужас своими речами «почтенных господ», а ныне, когда нужно из области теории и красноречия перейти к делу, — пятится назад и говорит, что «еще рано, да мы еще к этому не приготовлены...» Людей, которые высмеивают подобного рода либералов, «называют мальчишками, нелепыми фантазерами, утопистами, а иногда втихомолку намекают, что это люди вредные» (1860, № 10, стр. 391—392).

В «Петербургской жизни» (1860, № 11) Новый поэт едко иронизирует над полной неудачей, которую потерпели попытки дворянских либералов «подойти ближе к народу»: «Увы! ни грубые смазные сапоги, которые мы натягиваем на наши нежные ноги, ни народные книжки, которые мы пишем нашими пухлыми белыми руками и в которых мы прикидываемся простыми людьми, заговаривая маленько мужицким слогом, — ничто не помогает!.. Добрые мужички смеются над нашим переряженьем и ломаньем и принимают все это за барскую шутку, за господскую забаву от нечего делать» (стр. 110—111).

По справедливому заключению И. Ямпольского: «Не будучи «мужицким демократом» и революционером, Панаев тем не менее находился в орбите и под непосредственным воздействием революционно-демократического движения 1850—1860-х годов» [1].

Многие близко знавшие Панаева вспоминали о нем как о человеке большого личного обаяния, редкой душевной мягко-

---

[1] И. И. Панаев, Литературные воспоминания, [М. — Л.] 1950, стр. XL. О деятельности Панаева-журналиста см. вступительную статью к этому изданию.

сти, доброты, жизнелюбия, прекрасном рассказчике, приятном и остроумном собеседнике. Родственник и друг писателя, В. А. Панаев, писал о нем: «По характеру это был человек мягкого и горячего сердца, искренний, с детской душой, баснословною непрактичностью, абсолютным бескорыстием и полнейшим отсутствием самомнения»[1].

Благодаря этим привлекательным личным качествам и горячей преданности русской литературе в доме Панаева в 1840-е годы собираются наиболее прогрессивные писатели и литераторы. На его литературных вечерах бывали В. Г. Белинский, А. И. Герцен, М. А. Бакунин, И. С. Тургенев, А. В. Кольцов, В. П. Боткин, В. А. Соллогуб, Д. В. Григорович, В. Ф. Одоевский и другие.

В последние годы жизни (1860—1861) писатель работал над своими мемуарами. В них он выступает как активный участник литературной борьбы, открыто становясь на сторону демократического лагеря русской литературы. Не случайно личность Белинского определяет основную тональность «Литературных воспоминаний», а «Воспоминание» о нем открыло публикацию мемуаров в «Современнике». Зрелое реалистическое мастерство позволило Панаеву создать запечатлевающиеся портреты своих современников, нарисовать яркую картину литературной жизни 1830—1840-х годов. Это сделало «Литературные воспоминания» одним из важных источников для всех, кто любит прошлое русской литературы, изучает ее историю.

Гуманистическая окрашенность творчества Панаева нашла свое выражение в берущем свои истоки от Гоголя сочетании сатирических тенденций с подлинным лиризмом. В его произведениях всегда чувствуешь присутствие автора, слышишь его негодующий голос, проникаешься сочувствием к его идеалам. Самые мрачные и уродливые картины быта у него проникнуты глубокой верой в лучшие жизненные начала, горячей любовью к людям. Именно эти свойства писателя имел в виду Белинский, когда говорил, что во всех произведениях Панаева «видна такая прекрасная, такая человеческая душа»[2].

Не принадлежа к числу выдающихся писателей-реалистов XIX века, Панаев как самобытная творческая индивидуальность внес свой вклад в сокровищницу русской литературы. Некоторые созданные Панаевым образы, так же как и введенные новые слова («литературная тля», «хлыщ», «приживалка»), стали нарица-

---

[1] «Русская старина», 1901, № 9, стр. 501.

[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, т. XI, М. 1956, стр. 234.

тельными, вошли в обиход русского языка. Творчество Панаева сближается с творчеством таких писателей, как Тургенев, Салтыков-Щедрин, Писемский; пародии Нового поэта подготовили почву для литературных пародий Козьмы Пруткова.

Произведения Панаева пользовались большой популярностью и любовью читателей и создали ему славу одного из лучших бытописателей 1840—1850-х годов. «Не гениальное перо, но весьма хорошо очиненное» [1], — говорил о нем поэт П. А. Плетнев. «Вот вам самая лучшая похвала, — писал Панаеву 4 мая 1857 года Григорович по поводу «Хлыща высшей школы», — ...встретил я Аксакова Константина; вы знаете, какой он ненавистник всего того, что пишется нами; он положительно мне сказал, что последний хлыщ — это отличная вещь» [2].

Активно борясь с врагами передовой литературы, писатель не раз становился мишенью для всевозможных сатир, пародий, пасквилей, а часто и клеветы, которая не оставляла его и после смерти. Многие буржуазные мемуаристы, критики и литературоведы охотно черпали сведения о Панаеве из этого сомнительного источника. Это они создали представление о нем как о пустом человеке и легковесном «фельетонном беллетристе». Несомненно, что все это способствовало недооценке его литературной деятельности в глазах последующих поколений.

Между тем Белинский, а вслед за ним и Чернышевский выделяли творчество Панаева из общего ряда беллетристов «натуральной школы», далеко не одинаковых по своему идейному и художественному уровню. Панаев не только создал большие реалистические произведения, но и стал видным общественным деятелем — соредактором «Современника», соратником Некрасова и Чернышевского.

Белинский, Некрасов, а затем Чернышевский оказали большое влияние на формирование мировоззрения Панаева. Не поднимаясь до революционных и социалистических убеждений великих демократов, он усвоил и пронес через все свое зрелое творчество непримиримую вражду к крепостническому укладу жизни. Идейная эволюция писателя, особенно в конце 1850-х годов, о чем свидетельствует его публицистика, шла в направлении все большего сближения с лагерем революционных демократов.

---

[1] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2, Спб. 1896, стр. 6—7.

[2] Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом), АН СССР, ф. 93 (Арх. П. Я. Дашкова), оп. 4, № 63, л. 2.

Панаев умер 18 февраля 1862 года. Чернышевский в некрологе, напечатанном на страницах «Современника», следуя за Белинским (высказывания которого, в основном, относятся к отдельным произведениям писателя), первым дал наиболее полную оценку литературной и общественной деятельности писателя и определил его место в истории русской литературы. Хотя цензурные рогатки не дали возможности Чернышевскому сказать многое[1], он все-таки сумел подчеркнуть дружбу Панаева с Белинским, верность его заветам последнего и непрерывную связь всей его литературной деятельности с демократическим лагерем русской общественной мысли. «Как литератор, — писал Чернышевский, — он представлял собою нечто особенное: он смотрел на дело, которому посвятил свою жизнь, серьезнее, чем многие думают, и постоянно работал над собой, стараясь о собственном совершенствовании, — это факт, известный всем, кто знал его долго и близко... Убеждения его не застывали в неподвижную форму с приближением старости: симпатии его в 50 лет, как и в 25, были на стороне молодого поколения»[2].

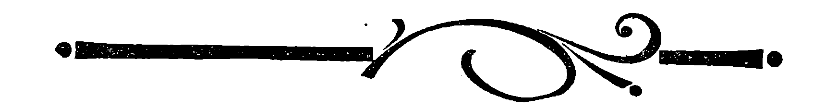
Ф. М. Иоффе

---

[1] Об этом весьма выразительно свидетельствуют так называемые «натуральные наблюдения» над Чернышевским, то есть донесения о нем агентов III отделения за 1861—1862 годы («Красный архив», 1926, т. 1 (14), стр. 110).

[2] Н. Чернышевский, Некролог Ивана Ивановича Панаева («Современник», 1862, № 2; см. также отд. издание [Спб. 1862], стр. IV).

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ



КОШЕЛЕК

Сцены из петербургской жизни

I

Старушка мать, бывало, под окном
Сидела, днем она чулок вязала,
А вечером за маленьким столом
Раскладывала карты и гадала.

Пушкин.



х, тетушка, как хорош ваш Петербург! Мне никогда и во сне не снилось ничего подобного!.. Как здесь все великолепно!.. какие набережные, какие площади, какие дворцы, какие огромные домы, какие нарядные дамы, какие экипажи! А останавливались ли вы когда-нибудь, тетушка, перед монументом Петра в лунную ночь? Любовались ли Невою? господи боже мой, как хороша ваша Нева, тетушка!

Так говорил в лирическом жару молодой человек «с цветущими ланитами и устами», с простодушным взглядом, в длинном, гораздо ниже колен, сюртуке, — настоящий представитель отрадного деревенского быта.

Тетушка, к которой он адресовался с своею кудрявою, девственною речью, была старушка, как обыкновенно бывают все простые русские старушки, с морщинами на

лице, с чепцом на голове, с очками на носу и с чулком в руках.

Странна показалась тетушке речь племянника — и прутки замерли в ее руках, и она отложила чулок на маленький стол, который стоял возле нее, подняла очки на лоб, протерла глаза и пристально посмотрела на племянника.

— Что это ты, Иванушка? Бог с тобой! Экой проказник: что я за полоумная, что стану ходить по ночам да глазеть на памятники?

И старушка от души смеялась над проказником.

В эту минуту девушка, сидевшая на скамейке у ног старушки, выронила из рук иголку и шитье, подняла вверх свои темно-голубые глазки, закинула назад свою грёзовскую головку, всю в локонах, взглянула на старушку, потом украдкою бросила взор на молодого человека: ей хотелось улыбнуться, и она, кажется, закраснелась.

Но, может быть, то был луч догоравшей зари, который, уловив движение девушки, страстно прильнул к ней и любовно оцветил ее личико своим пламенем.

Хороша была эта картина из трех лиц: морщинистая старушка, румяная девушка, молодой человек, задумчиво облокотившийся на ручку кресел... Небольшая комната, просто убранная, ситцевые занавески у окон с красною шерстяною бахромою и ерани на окнах. В этой комнате все дышало спокойствием и счастием, тою отрадною безмятежностью, о которой, кажется, не ведают люди, живущие в огромных золоченых палатах.

— Вы сегодня, маменька, что-то очень долго заработались. Уж скоро совсем смеркнется.

— Да, да, твоя правда, Лиза; у меня и глаза начинают слипаться.

И, говоря это, старушка вкладывала свои очки в красный, потемневший от времени футляр.

— И тебе пора бросить свое шитье: ты и без того у меня сегодня глаз не спускала с иголки. Надо и покой знать. Убери-ка мой чулок, Лизанька.

Девушка поцеловала руку старушки, встала с скамейки, подошла к столику, взяла чулок, который вязала она, положила его в желтую плетеную корзиночку и вышла из комнаты.

— Ах, ты моя красавица! — шептала старушка, провожая Лизу глазами.

Лиза была, точно, чрезвычайно мила с своими воздушными локонами, с своею тонкою талиею. К ней очень шло ее темное ситцевое платье, ее черный кушачок и пестрый передничек с карманами по бокам.

— Вот, мой родной, — продолжала старушка, когда Лиза вышла из комнаты, — в этой девушке господь бог послал мне настоящего ангела. Ну, что бы я была без нее на старости лет? Уж подлинно могу сказать, что и родная дочь не любила бы меня больше ее. Вот около покрова будет пятнадцать лет, как она при мне, и я не помню, чтобы когда-нибудь хоть раз чем огорчила меня, даже когда была еще ребенком. Этакой девушки и днем с огнем поискать. А какая рукодельница! недаром молилась я об ней угоднику божию Николаю-чудотворцу! Вот хоть бы и ты, мне родной племянничек по отце, да уж любить меня так не можешь, как она.

— Как мне вас не любить, тетушка? у меня не осталось никого, кроме вас... А вы ходите когда-нибудь с Лизаветой Михайловной в театр? Я думаю, в Петербурге чудесный театр, тетушка?

— Вот у него, сударь, что на уме: театры да променады...[1] Уж, никак, тебя, мой батюшка, Петербург-то совсем с ума свел. А?

И в самом деле, Петербург почти свел с ума молодого человека. Да и как не сойти с ума от Петербурга тому, кто не видал ничего краше, не воображал ничего совершеннее своего губернского города?

Здание К *** университета было для него идеалом великолепия. Он часто останавливался перед этим зданием и дивился его огромности, потому что до четырнадцатилетнего своего возраста он ничего не видел, кроме изб, крытых соломою, да полуразвалившегося барского дома, обнесенного плетнем, да ворот, на которых некогда была нарисована домашним гением какая-то аллегорическая картина, размытая впоследствии дождями и бурями...

И после всего этого очутиться в Петербурге, и, как будто нарочно, в ту минуту, когда он, сбросив с себя снеговой саван, обновленный лучами весеннего солнца, блестит и щеголяет и, впервые после пятимесячного усыпле-

---

[1] прогулки (*от франц.* promenade).

ния, самодовольно смотрится в свое чудное зеркало в гранитной раме... Согласитесь, что тут есть от чего сойти с ума молодому провинциалу!

Долго ходил он, разинув рот, по Невскому проспекту, в этом созерцательном восторге, который не может быть понятен нам, вечным и равнодушным петербургским жителям. Мимо его проходили разного рода петербургские франты, — и те, которые смотрят на все, вытаращив глаза, и те, которые никогда ничему не удивляются. Они оглядывали его с ног до головы с какою-то презрительною жалостью, а он не замечал этих господ и не подозревал, что доставляет собою такой прекрасный предмет для их острот, которых ожидает награда и в *легоньких* гостиных, и в великолепных *салонах:* в первых хохот от души, в последних — едва заметная улыбка.

Он был так счастлив! В эти первые дни своего приезда он жил не в Петербурге, совсем нет: он созидал свой мир, мир фантастический, идеал жизни небывалой; он населял петербургские громады какими-то волшебными существами, чудными созданиями, которые только могут зародиться в голове двадцатилетнего юноши. И если бы можно было уловить все эти туманные образы его разгоряченного воображения, если бы можно было передать словами все эти мечты, которые неопределенно, как китайские тени, проходили в голове его, тогда бы, может быть, вы яснее поняли, как легко, как незаметно переходит человек за роковую черту, которая отделяет его от безумия. И не была ли права тетушка, называя его *сумасшедшим?*

Тетушка очень любила его, и, между тем как он рыскал по Петербургу, она, сидя под окном в своих кожаных креслах и перебирая спичками, думала, как бы поскорей пристроить его на службу.

— Ветреник, ветреник! — говорила она, по обыкновению, когда он опаздывал к ее обеду или к чаю, а это случалось очень часто.

— Молодо-зелено! Заглазелся... Лизанька, посмотри, не идет ли он?

И Лизанька, по обыкновению, отворяла окно и очень пристально смотрела на улицу.

— Нет-с, не видать, маменька.

И старушка, по обыкновению, прибавляла:

— Экой пострел!

Надобно заметить, что с приезда племянника в доме тетушки произошли величайшие перемены. Комнатка, или, вернее, чулан, в котором лет двенадцать сряду хранился гардероб ее, отдана была молодому человеку. Все эти платья, развешанные в строгом систематическом порядке, с венчального до погребального, в котором она, безутешная, шла на Волково, за гробом своего супруга, — перенесены были за перегородку, находившуюся в ее спальне. Два стула, с перекладинками назади, стоявшие в симметрии по углам гостиной, были отданы племяннику. Тетушка никак не могла привыкнуть к таким переворотам в ее доме и часто говаривала:

— А что это, Лизанька, как будто чего-то недостает здесь?

— Двух стульев, маменька, которые перенесены в комнату Ивана Александровича.

— Да, да! точно, двух стульев.

Все бы это ничего, да старушка не шутя стала посерживаться за то, что Иванушка не возвращался вовремя к обеду, что он вместо часу являлся иногда в половине второго. Уж это ей было пуще всего не по сердцу. Елизавета Михайловна, бог знает почему, никогда не могла равнодушно слушать, когда тетушка бранила Ивана Александровича (у нее было такое доброе сердце!) — и вот она начала придумывать, как бы отвести от него гнев тетушки.

Вдруг ей пришла мысль, но она так закраснелась от этой мысли... Боже мой! Надобно было обманывать старушку! Обманывать, ей! Это ужасно! И кого же? свою благодетельницу, свою мать!..

«Нет, нет, я ни за что на свете не решусь обмануть ее!» — Так думала она, остановившись в гостиной перед часами, которые висели на стене.

«Нет, нет!» — и, в раздумье, она взялась за веревку, на которой висела гиря, и вертела в руках эту веревку; потом вдруг мигом вспрыгнула на стул... рука ее дрожала... она перевела назад стрелку.

Сердце ее сильно билось в этот вечер; и с этого вечера Иван Александрович стал всегда являться вовремя к обеду.

Однако старушке казалось это что-то подозрительно. Желудок ее вернее часовой стрелки доносил ей об обеденном часе,

— А что, который час, Лизанька? — спрашивала она.

— Еще только четверть первого, маменька, — отвечала та, потупив глазки.

— Странно! Отчего же мне так есть хочется?

— Извольте посмотреть на часы, маменька...

Старушка прикладывала руку ко лбу, морщилась, смотрела на часы и повторяла:

— Да, четверть первого. Странно!

Но кроме всех означенных выше перемен, произведенных в этом почтенном доме приездом молодого человека, произошла еще одна — и очень важная. Елизавета Михайловна, от природы характера веселого и смешливого, стала очень задумываться, чаще бледнеть и краснеть, а иногда даже вздыхать. Ее иголка, когда она сидела за пяльцами, останавливалась в руке и долго, долго была неподвижна. Говорят даже, когда в комнате никого не было, она загадывала о чем-то: закрывала глаза, вертела руками по воздуху и соединяла потом два указательные пальца. А впоследствии изменила этот способ гаданья на другой: только что под руку попадалась ей какая-нибудь астра, она сейчас ощипывала листки и приговаривала: *любит, не любит,* точно как Гетева Маргарита.

Чтобы подметить, как изменялось личико Елизаветы Михайловны, надобно было смотреть на нее в ту минуту, когда в комнату входил Иван Александрович. Боже мой! как начинало биться тогда ее сердце, как она жестоко кусала свои пунцовые губки!

Но для чего же скрывать? Она мечтала о *нем* еще гораздо прежде его приезда. Ей так много наговорила об нем старушка маменька, что он и ученый-то, и умный-то, и хорошенький-то. И она, точно, нашла его и ученым, и умным, и хорошеньким. Ну, как можно было сравнить его с этим чиновником, с которым она танцевала прошлого года, когда маменька возила ее в 14-ю линию на *балдк* к своей старой приятельнице, одной коллежской советнице? Этот чиновник только и говорил с ней о том, как занемог у них однажды начальник отделения, и как он ходил к нему на дом, и как он потчевал его чаем, да еще о том, как он устал танцев*авши* в танцклобе мазурку. Что ж это за разговор? Правда, с ней говорил там и другой чиновник, и говорил о литéратуре.

Он подошел к ней и спросил:

— Видели ли вы на театре «Роберта-Дьявола»-с?

Она покраснела и отвечала:

— Нет-с.

— А прекрасная пьеса!

Потом, после нескольких минут молчания, он опять спросил ее:

— Ну, а смотрели ли вы «Михайла Скопина-Шуйского»-с?

Она снова покраснела и отвечала:

— Нет-с.

— А эта пьеса еще лучше «Роберта-Дьявола»-с.

И этот разговор ей не нравился: во-первых, он заставил ее краснеть, потому что она никогда не бывала в театре; во-вторых, этот господин говорил таким грубым, неприятным голосом. А голос Ивана Александровича — о, это настоящая музыка! К тому же Иван Александрович человек *ученый,* он кончил курс в университете! Иван Александрович говорит так красиво: в его языке всегда столько души. Когда он рассказывает что-нибудь, нельзя не заслушаться. Какие восторженные движения! Да, что ни говорите, а каждое слово его идет от души и в душу!

Так думала Елизавета Михайловна, и любовь незаметно обвивалась около ее сердца, как незаметно повилика обвивается около тонкого стебля молодого дерева. И скоро все фантазии этой девушки стали разыгрываться на одну тему: Иван Александрович. Он всегда был перед нею — и днем в мечте, и ночью в грезе; он повсюду преследовал ее — и в часы забот по хозяйству, и в часы отдыха. Он ходил с нею на рынок и на гулянье... Она начала покупать все припасы дороже прежнего, и добрая старушка покачивала головою.

— Эх, эх, Лизанька, — обыкновенно говорила она, — ведь надо торговаться, дружок! Они, мошенники, ради брать лишнее.

— Я торгуюсь, маменька.

— То-то, голубчик.

Она хотела молиться, она стояла перед образом спасителя, но молитва была на устах, а в сердце не было молитвы; она видела, как другие возле нее со слезами клали земные поклоны перед этим образом... Да!.. и она, стоя на этом же самом месте, и только месяц назад тому, молилась так же усердно!

«Отчего он не идет? Он хотел прийти в церковь. Где же он теперь? Ах, если бы хоть маменька помолилась за меня! О, ее молитва скорее бы дошла до бога!..»

Неделя за неделей уходили, и Лизанька с каждым днем открывала какие-нибудь новые достоинства в Иване Александровиче. 21-го мая его рожденье. К этому дню она готовила для него подарок — кошелек своей работы. Она заранее мечтала, как она будет поздравлять его, и заранее краснела при этой мечте.

Между тем много произошло перемен и в Иване Александровиче: его восторг мало-помалу утишился; он часто сидел повеся голову, не отвечал на вопросы тетушки, бесцельно сидел у окна, глазел на проходящих, хмурил брови и грыз ногти.

— Изволите видеть, чем занимается, — говорила тетушка, глядя на него, — ноготки себе погрызывает. Чему же тебя учили, сердечный, коли ты не знаешь, что от этого ногтоеда на пальце сделается?

Он не слыхал благоразумного замечания старушки; мысли его заняты были чем-то очень важным.

В эту минуту мимо окна проходил молодой человек чрезвычайно красивой наружности и вместе с этим удивительный щеголь: в коротеньком сюртучке самого тонкого сукна, с палкою в руке, с шляпою на ухо...

Иван Александрович пристально посмотрел на него и долго провожал его глазами, потом со вздохом взглянул на свой длинный сюртук и еще больше прежнего задумался.

II

Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка на луну еще смотрела.

Пушкин.

Вечер. Небо бледнеет, и ровный цвет лазури сменяется переливами перламутра; вот протянулась розовая лента на закате: она из чудного пояса радуги; вот за нею другая — темнее, а там багрового цвета, а там ослепительное золото, и, наконец, далее огонь — и на этом великолепном зареве заходящего солнца черная тень колокольни и куполы церкви Николы Мокрого.

Нева не шелохнется в своей гранитной колыбели, и небеса, налюбовавшись ею, заботливо покрыли ее своею золотою парчою...

Дивная, нерукотворная картина!

Что огни ваших роскошных праздников перед этим небесным огнем? Что блеск вашей позолоты перед этим божьим золотом? Что ваши убранства перед этим нетленным убранством?

Иван Александрович загляделся на небо, на Неву и на каменные громады берегов ее.

«Вот уж, кажется, я и привык к Петербургу, — думал он, — а все-таки не могу пройти равнодушно мимо Невы...»

— К этой картине нельзя привыкнуть: право, чем долее смотришь, тем больше хочется смотреть, — кто-то проговорил тоненьким голосом возле него.

Это был ответ на мысль его. Он вздрогнул и обернулся в сторону. Перед ним была дама в желтой соломенной шляпке с пунцовым цветком и в длинной черной шали... Он посмотрел ей в лицо: просто красавица.

Она разговаривала с человеком очень высокого роста, в плаще с длинными кистями, из-за которого выказывался фрак какого-то особенного покроя, галстук с огромным бантом, пестрый жилет с голубыми атласными отворотами и по нем массивная золотая цепь, к которой прикреплен был золотой лорнет с разноцветными каменьями. Он прищуривался, поправлял свои виски, помахивал лорнетом, потом с необыкновенным искусством, с удивительною грациею приставил его к глазу, посмотрел на воду и, обратясь к даме, произнес сквозь зубы:

— В самом деле, бесподобный вид!

Ивану Александровичу очень понравилась эта дама, и он не спускал с нее глаз.

Постояв немного, дама продолжала прогулку с своим кавалером, который, как уже заметили читатели, принадлежал к тому разряду *франтов,* встречая которых как-то невольно хочется воскликнуть: *пощадите!* За ними шел лакей в синей ливрее с желтым воротником и в треугольной шляпе с золотым галуном, вероятно, принадлежавшей его предместнику, потому что эта шляпа была ему не совсем впору и почти закрывала глаза; он время от времени вытаскивал из кармана орехи, грыз их и оставлял за собою таким образом дорожку из скорлупы.

«Верно, это не простая дама, — подумал Иван Александрович, идя вслед за нею. — Какая у нее важная поступь! Как она прекрасно одета, с каким вкусом!.. А ножка-то! просто игрушка, да и как обута... чудо!»

Признаться, Иван Александрович стал немножко завидовать ее кавалеру. Да и нельзя было не завидовать!

Завидуя, и мечтая, и любуясь незнакомкою, он незаметно очутился — в Коломне. Дама, и кавалер ее, и лакей, который уже уничтожил весь запас орехов, потому что шел спокойно, скоро остановились у подъезда одного небольшого каменного дома. Кавалер очень искусно, точно танцуя мазурку, первый подлетел к двери подъезда, с неподражаемою ловкостью дернул за ручку колокольчика, — от этого движения цепь лорнета его раскачалась и стекло лорнета ударилось о медную ручку замка, разлетевшись вдребезги. За всю эту эффектную сцену он награжден был восклицанием «Ах!» и приятною улыбкою своей спутницы.

Дверь отворилась и захлопнулась: все трое исчезли.

Иван Александрович неподвижно остался у двери.

Возвратясь домой, он сделался еще скучнее и рассеяннее прежнего.

Это не могло ускользнуть от внимания Елизаветы Михайловны, и она, робко потупив головку, произнесла едва слышно:

— Вы не веселы, Иван Александрович?

— Еще нет десяти часов, — отвечал он, не слыша ее вопроса.

— Нет-с еще. А маменька спрашивала об вас.

Потом через минуту молчания, с тою же робостию, так же тихо спросила:

— А вы принесли мне книжки, которые обещали, Иван Александрович?

— Книжки? Ах, да... да, — и он вынул из неизмеримого кармана своего сюртука две тоненькие книжечки, все истертые и засаленные, верно, из какой-нибудь «Библиотеки для чтения».

— Как я рада!

Елизавета Михайловна прыгнула от радости и исчезла.

«Он не забыл моей просьбы», — думала она...

Далеко за полночь сидела она у окна своей комнатки с книгою в руках, и сон не тягчил ее век... и сердце за-

мирало и билось. Наконец она опустила книгу на колена, но уста ее еще повторяли эти очаровательные звуки, эти звуки, от которых билось и замирало ее сердце, которые мешали ей спать:

Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;
Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга...

Ее развившиеся кудри упадали на полуоткрытую грудь, которая, полная вздохов, дышала сильно и часто.

— Нет, он меня не любит, не любит! — и слезы начали проступать на ресницах бедной девушки, и отяжелевшая голова ее скатилась на оконницу и вся утонула в кудрях.

В эту минуту не спал и Иван Александрович: он, лежа на постели, мечтал о своей незнакомке, украшал ее поэтическими цветками своего воображения, сравнивал с Теклою Шиллера, с Маргаритою Гете, с Юлией Шекспира, с Татьяною Пушкина и бог знает с кем еще...

Он мечтал, как познакомится с нею, как в первый раз явится к ней...

Бедная Елизавета Михайловна! В этих роскошных мечтах он вовсе забыл о ее существовании.

На другое утро, подкладывая транспарант под форменную бумагу для переписки какого-то отношения, Иван Александрович искоса посматривал на своего столоначальника, потому что ему не хотелось ничего делать, решительно ничего, а вот так сидеть сложа руки да мечтать о вчерашней даме... Здесь кстати заметить, что он уже за две недели до этого определился в департамент, по протекции одного начальника отделения, Евграфа Матвеевича... как бишь его фамилия? Так на языке и вертится... Нет, забыл. Ну, да все равно... Евграф Матвеевич был задушевный приятель супруга тетушки Ивана Александровича и по просьбе ее поместил молодого человека до первого случая на четырехсотрублевую вакансию.

...Так, Иван Александрович подложил транспарант под бумагу, очинил перо и уже нарисовал первую букву *В*, но в эту самую минуту кто-то схватил его за руку.

— А, мое почтение, Федор Егорович.

Федор Егорович был помощник столоначальника, молодой человек очень приятной наружности, с прекрасно

всчесанным хохлом, *при золотых, настоящих часах,* а не то чтобы *с серебряною дощечкой сзади,* ловкий в обращении и вообще, как говорят, «славный малый». Он был аристократом в своем отделении, потому что имел собственные дрожки и лошадь, вследствие чего иногда позволял себе маленькие вольности, как-то: приезжать четвертью часа позже обыкновенного, и пр. А это уже не шутка! Все мелкие чиновники смотрели на него с особенным почтением, некоторые с маленькою досадою и завистью.

Раз один из его товарищей, подергиваясь и прихрамывая, подошел к нему и, указав пальцем на цепочку, которая красовалась на его жилете, спросил:

— А что, это семилёровая-с?

Федор Егорович посмотрел на вопрошающего очень гордо и нехотя отвечал:

— Золотая.

— Настоящая-с?

— Да.

— Изволите видеть. А что, я думаю, вещь-то ценная? Сколько заплатить изволили?

— Полтораста рублей.

— Гм.

При этом *гм* он вытащил из кармана довольно большую круглую табакерку, торжественно стукнул по крышке, повернул ее, со скрипом отворил табакерку и поднес к Федору Егоровичу. В табаке лежали три жасминные цветка.

— Не угодно ли? У меня *бергамотовый-с.*

Федор Егорович небрежно понюхал.

«Вишь, какой фертик, — подумал этот чиновник, — 150-рублевые цепочки изволит себе ежедневно носить!»

После этого разговора Федор Егорович получил еще больший вес в своем отделении, а слухи о нем и богатстве его начали даже распространяться по всему департаменту.

Федор Егорович сошелся тотчас с Иваном Александровичем, узнав, что он кончил курс в университете; и не мудрено: он очень любил рассуждать о разных ученых предметах, это была его страсть. На вечерах и балах, в своем кругу, он слыл *умницею,* и даже очень *солидные* люди отзывались о нем с величайшею похвалою. Когда

речь заходила об нем, они, по обыкновению нахмурив брови, произносили довольно протяжно: «Фу! какая голова! что ни говорите, а он пойдет далеко!» В случае если между дамами возникал какой-нибудь литературный спор, то слабая сторона спорящих всегда почти посылала за ним: «Где Федор Егорович? Федор Егорович решит, *он такой начитанный!»* И Федор Егорович, являясь, торжественно решал спор.

Он-то подошел к Ивану Александровичу и взял его за руку, в ту самую минуту, когда тот призадумался над буквою *В*.

— Как поживаете, Иван Александрович? что новенького? А?

— Вам лучше знать новости, Федор Егорович, вы в свете.

При этом Федор Егорович, очень довольный, улыбнулся.

— Да, оно конечно; но все это так надоело! Ну, что такое свет, ровно ничего, ей-богу! Нет, этак, главного — пищи для души, а остальное — пфф... Признаюсь, давно мне хочется заняться чем-нибудь существенным, литературою, например, написать что-нибудь: все-таки составишь себе имя, ознакомишься со всеми учеными. К тому же я чувствую в себе способность сочинять. Вот если я увижу, например, цветок или что-нибудь такое, то у меня сейчас и воспламеняется воображение.

Произнося это, Федор Егорович поправил галстук и стал обдергивать свою черную атласную манишку со складочками, на которой светились три запонки из мнимых брильянтов.

— Послушайте, Федор Егорович, — сказал Иван Александрович после нескольких минут молчания, отводя своего нового приятеля в амбразуру окна, — мне хочется кое-что спросить у вас, вы в Петербурге всех знаете, вам должно быть это известно.

Иван Александрович говорил вполголоса и нарочно удалился от стола, испытав в короткое время, до какой степени некоторые из его товарищей одарены преступною страстию любопытства. Он знал, что для этих господ ничего не может быть приятнее, как подслушать чужой *секретец*.

Федор Егорович, заложив руки в боковые карманы, нахмурил брови и сделал легкое движение губами, в знак внимания.

Иван Александрович рассказал ему о своей встрече с дамою, о том, как он следовал за нею; описал ее кавалера, ее ливрею, всё до малейшей подробности.

Лицо Федора Егоровича постепенно одушевлялось. Он уже поднял вверх брови.

Иван Александрович продолжал:

— Не доходя Покрова, она, знаете, и повернула налево, в Усачев переулок, я за нею; перейдя улицу, она остановилась у подъезда направо... кажется, четвертый дом от угла...

В эту минуту Федор Егорович схватил с величайшим восторгом руку своего приятеля и, в пылу самозабвения, закричал:

— Ну, так и есть... Она, она!

Надобно было посмотреть на физиогномию Ивана Александровича, пораженного таким нечаянным и таким скорым открытием.

— Может ли быть? так вы, вы ее знаете... знаете?

Он ничего не мог произнесть более.

— Гм! Кого я не знаю? Это моя старинная знакомая. Надобно вам сказать, что я у них на *короткой ноге* в доме; совершенно *свой*. Не был день, два, — так сейчас посол: что, дескать, давно не были? откушать просят... Знаком ли я?

— Да кто ж она такая, Федор Егорович?

— Известная в Петербурге дама, на всех балах бывает... И какая начитанная; я с ней всегда мазурку танцую.

— А как ее фамилия?

— Марья Владимировна Болотова.

«Какое прекрасное имя!» — подумал Иван Александрович.

— А что, она замужем?

— Нет; вот года четыре как овдовела.

У Ивана Александровича на лице выступила краска.

— Не хотите ли, я вас познакомлю с нею?

«Познакомлю!.. Неужели в самом деле?» — Иван Александрович ужасно как смешался.

— Что ж, хотите, Иван Александрович? Вы ведь еще не выезжали в свет, а тут вы с первого раза ознакомитесь со всем лучшим обществом. Хотите ль? правду сказать, свет придает этак человеку полировку. — И при этом слове Федор Егорович с самодовольною гримасою

посмотрел на себя и начал небрежно вертеть цепочкой, на которой висел ключик от часов.

— Что, едем?

— Очень рад-с, — произнес Иван Александрович, очнувшись.

— Прекрасно! Когда же, послезавтра? У Марьи Владимировны по вторникам дни.

Иван Александрович опять призадумался.

— Нельзя ли уж на следующей неделе?

«Тем временем, — думал он, — я сошью себе фрак. Ведь нельзя же явиться к такой богатой даме, не имея модного фрака».

— Так в следующий вторник? О, да мы там будем веселиться, за это я вам ручаюсь.

Грустно было Ивану Александровичу, очень грустно! Фрак по меньшей мере стоит 120 руб., он справился об этом у одного портного, который жил на Невском. На Невском всегда самые лучшие портные, он это давно знал. Откуда же взять ему вдруг 120 руб.? Из деревни его должны были прислать ему в октябре месяце 1000 руб. — годовой доход; но до октября еще сколько времени! Занять? Но у кого? У Федора Егоровича? Ни за что на свете! Иван Александрович не хотел одолжаться никому. У тетушки? тетушка не даст, да еще разбранит, назовет мотом, будет читать целую неделю наставление о том, как должен вести себя молодой человек, как вел себя в молодые лета ее покойник, что надо *по одежке протягивать ножки,* и проч., и проч. Он знал все это заранее. Что же прикажете делать? Иван Александрович был в совершенном отчаянии. Он не ел и не пил.

Однажды после обеда тетушка вздремнула, а он открыл машинально какую-то книгу. Вальтер Скотт! А это его любимый автор, давно он не заглядывал в Вальтера Скотта, а бывало — он не разлучался с ним... Он вспомнил свои студенческие годы, то блаженное время, когда он был так беззаботно счастлив, когда в его завидном уединении широко развертывался перед ним мир поэтический, жизнь кипучей фантазии; когда его окружали эти дивные образы, эти вдохновенные создания великих творцов; когда он страдал их бедствиями и радовался их радостями, — он вспомнил все это и хотел читать... Нет! Теперь ничто не привлекало его внимания: ни величественно-неподвижный образ Саладина, ни томно-смуглое

личико очаровательницы Ребекки, ни гордо-угловатое лицо Елисаветы Английской... Нет! перед глазами его кружился в самом соблазнительном виде новый фрак, в мыслях его была сторублевая ассигнация.

Он закрыл книгу и вздохнул. Дверь скрипнула: в комнату вошла Елизавета Михайловна.

Она была очень бледна; в чертах ее лица выражалось что-то страдальчески-прекрасное; и вы бы, взглянув на нее в эту минуту, увидели, что она, бедная девушка, любила его всею силою души своей, любила просто, как любят все бедные девушки, без подготовленных сцен, без кокетства, без этих утонченных соблазнов, которые так чудесно изобретают сердца, бьющиеся под батистом и бархатом.

Она подошла к Ивану Александровичу и села возле него. Видно было, что она хотела начать говорить, но как будто не решалась, еще как будто собиралась с духом.

Несколько минут в комнате было тихо, лишь слышалось за перегородкой храпенье старушки.

Наконец Елизавета Михайловна решилась говорить. Она сказала вполголоса:

— У вас что-то есть на сердце, Иван Александрович; с некоторого времени вы стали гораздо скучнее, гораздо...

— Это вам так кажется, — сказал он, перебирая листы книги.

— О, нет! Отчего же вы не хотите быть со мною откровенным? Отчего вам скучно, Иван Александрович, скажите мне? Я давно собираюсь вас спросить об этом.

Иван Александрович посмотрел на нее... В ее выражении было так много убедительности, так много чистосердечия.

Он улыбнулся.

— Ну, право, вам так показалось, Елизавета Михайловна. Я точно так же весел, как и в первые дни моего приезда сюда.

— Бог с вами! видно, я не заслужила вашей доверенности.

И, огорченная, она непритворно вздохнула.

Ивану Александровичу стало жаль ее. Он подумал: «Какая добрая девушка!»

— Вы не можете помочь моему горю, — сказал он после минутного молчания.

— А почему знать?

— Видите ли, Елизавета Михайловна, коли сказать вам правду: мне нужны деньги — и скоро, а это очень беспокоит меня. Вы знаете, что у тетушки нельзя просить...

— Видно, кошелек, что я вам подарила, несчастлив?.. А сколько вам нужно денег?

— Рублей сто.

— Только? И вы будете веселы, если достанете эти деньги?

— Да откуда достать их, Елизавета Михайловна?

Личико Елизаветы Михайловны вдруг просветлело; она вспорхнула со стула, исчезла — и через минуту снова явилась.

— Я принесла вам деньги, Иван Александрович.

— Как, деньги? Откуда? Что это значит?

— Вы теперь будете веселы, не правда ли?

Иван Александрович остолбенел от удивления и не мог ничего вымолвить.

— Это мои собственные деньги. Я семь лет копила маменькины подарки: тут, я думаю, будет больше ста рублей. Я хотела сделать салоп... теперь мне не нужен салоп, — и она протянула руку, чтоб отдать ему кошелек, и вся вспыхнула.

— Нет, я не возьму эти деньги, Елизавета Михайловна, ни за что на свете не возьму. Вы семь лет копили их, вам самой нужны они, а я не могу вам отдать их прежде октября месяца... Нет, не возьму, ни за что на свете не возьму!

Девушка посмотрела на него с удивлением; рука, державшая кошелек, медленно опустилась, глаза ее затуманились... минута... и слезы, горькие слезы вырвались на волю, и грудь ее заколыхалась волною.

— Так вы не хотите от меня ничего взять? — произнесла она невнятно, заливаясь и всхлипывая, — за что же вы меня так не любите?

Иван Александрович не знал, что ему делать. Он сам чуть не заплакал.

— Думал ли я вас огорчить этим? Клянусь богом, нет! — Он взял кошелек из руки ее и поцеловал руку. — Вы настоящий ангел, Елизавета Михайловна!

И она отирала слезы платком и улыбалась сквозь слезы.

— Так вы берете мои деньги? Ах, как я счастлива! Вы теперь будете веселы, Иван Александрович, не правда ли? Тише! — она приложила пальчик к губам, — маменька просыпается, я побегу к ней.

Весь вечер она была необыкновенно весела. Радость вырывалась в каждом ее движении, в каждом взгляде, и старушка, приглаживая ее локоны, говорила:

— Вот ты у меня сегодня умница, Лизанька.

III

> Разбирая различные явления мира внутреннего, идеалист примечает, что они двух родов: одни произведения самого духа, а другие приемлются нами извне. Сии разделяются на два класса: на ощущения приятные и неприятные, и идеи, или образы пространства, форм и цветов. Вот все, что мы знаем о внешнем и следственно о веществе. Но все сии ощущения или образы суть только явления в нас, точно так же, как наши мысли, воспоминания...
>
> *Из лекций логики.*

Желанный вторник наступил. С пятого часа вечера Иван Александрович начал делать приготовления к туалету. У него был новый фрак, чудесный, *цвета Аделаиды,* с черным бархатным воротником, с блестящими и узорчатыми пуговицами. Этот фрак был торжественно развешен на кресле, и Иван Александрович ходил кругом кресла и любовался им. Какой отлив-то, прелесть! Красно-лиловый, и сукно самое тонкое, по двадцати пяти рублей аршин. Чудесный фрак!

А жилет? Портной сказал Ивану Александровичу, что к новому фраку необходим и новый жилет, иначе не будет гармонии в целом. И посмотрите, что за жилет! По черной земле цветочки зелененькие, красненькие, желтенькие, и все это сплетено голубенькими стебельками. Иван Александрович взял в руку жилет и повертывал его. Загляденье, просто загляденье!

С самого утра на постели Ивана Александровича лежала отлично выглаженная манишка, совсем готовая, с запонками, — на середней запонке был очень искусно

изображен Наполеон во весь рост, а на остальных двух пастушок и собачка на веревочке.

Завившись и одевшись, Иван Александрович несколько раз прошелся по комнате, несколько раз посмотрел в зеркало с приятною улыбкою и потом пошел показаться Елизавете Михайловне.

— Как к вам идет этот фрак, Иван Александрович.

Она смотрела на него так внимательно и так от души любовалась им.

— А каково сшит?

— Очень хорошо. Какая талия! Вам сегодня будет, верно, очень весело: вы увидите таких прекрасных, нарядных девиц...

При этом слове она задумалась. Бедная девушка!

Когда Иван Александрович подошел к руке тетушки при прощанье, старушка оглядела его с ног до головы и начала очень серьезно покачивать головою.

— Что это, батюшка, новое на тебе платье-то?

— Да, тетушка, новое.

— Гм! — Она все продолжала осматривать его.

— А что, оно на тебя сшито или готовое куплено?

— На меня-с.

— На тебя, сударь? Да это просто тришкин кафтан!.. Господи боже мой! Рукава-то короткие, узкие, ну точно Митрофанушка... Застегнись-ка.

Иван Александрович сделал усилие, чтобы застегнуться.

— Посмотрите, пожалуйста — и застегнуться-то не может.

— Да это сшито по моде, тетушка.

— По моде? Мошенник уверил его, что это по моде, а он себе и растаять изволил. Ему, бестии, выгодно шить по моде!.. Что, сукнеца-то, чай, немного пошло? Ах! Ах! То-то, старых людей ведь нынче и слушать не хотят. Куда!..

Иван Александрович боялся одного, чтобы тетушка не спросила о цене его модного фрака и о том, откуда взял деньги на этот фрак; но тетушка, к счастию, не спрашивала об этом и занялась весьма, впрочем, длинным нравоучением, как он должен вести себя «в чужих людях».

Потом она перекрестила его, и он отправился; но старушка долго, очень долго по уходе Ивана Александровича ворчала, покачивая головою. . . . .
. . . .

Около девяти часов вечера у подъезда одного дома в Усачевом переулке стояли четыре экипажа: две четырехместные кареты парами, одна двухместная и дрожки. Последние принадлежали Федору Егоровичу, это были те самые дрожки, которые привлекали завистливое внимание чиновников **... департамента.

Появление Федора Егоровича, сопровождаемого Иваном Александровичем, произвело в гостиной небольшое движение.

Три круглолицые, довольно полные девушки, сидевшие рядом по левой стороне дивана, и две длиннолицые, очень худощавые, стоявшие неподалеку от первых, тотчас прервали свой разговор и занялись рассматриванием нового лица, стали улыбаться и перешептываться.

Одной из худощавых, девице лет за тридцать, Иван Александрович чрезвычайно понравился. Она нашла, что физиономия его очень интересна и выразительна. Другая заметила, что он немножко неловок; третья, что у него слишком широки перчатки; четвертая... но невозможно передать всех замечаний. В десять минут Иван Александрович был разобран в подробности. Самой досужей наблюдательности не оставалось подметить в нем ничего, решительно ничего.

И между тем как он, немного смешавшись, выслушивал приветствие хозяйки дома и кланялся, и между тем как она блистала русскою любезностью с примесью заученных французских фраз и, смотря на него, находила в чертах лица его что-то знакомое, — Федор Егорович, улыбаясь, расшаркивался с девицами.

— Кого это вы привезли, Федор Егорович?

— Кто это с вами приехал?

— Как его фамилия?

Вопросы сыпались на него со всех сторон. С ловкостью истинно непостижимою, с искусством, которое может быть приобретено только опытностью, Федор Егорович отделался от этих вопросов и удовлетворил любопытству каждой из вопрошавших. Да, он владел в совершенстве завидным даром *пленять*. Я желал бы показать его вам в гостиной: что за утонченное обращение! Что за грация в телодвижениях, что за сила речей во взгляде! Этот взгляд, казалось, говорил той девушке или даме, на которую устремлялся: «Страдайте, сударыня, страдайте: мне известны ваши страданья, но для меня это все равно!»

(Какой страшный эгоизм!) Если вы видали в котором-нибудь из бесчисленных кругов среднего петербургского общества молодого человека с таким победоносным взглядом, то нет никакого сомнения — это был Федор Егорович.

После всего этого можно ли удивляться его успехам в *легоньких* гостиных? Иван Александрович впервые видел его в обществе, впервые восхищался его развязностью... Завидный дар! Он, который чувствовал себя неловким и стоя и сидя, и молча и разговаривая, он вполне постигал, как важно быть наделену таким талантом.

Мало-помалу гостиная стала наполняться. Приехало еще несколько матушек, довольно толстых, в вычурных чепцах, с тоненькими дочками в беленьких, в красненьких и в пестреньких платьицах; приехал тот самый франт с огромным хохлом, с цепочками и лорнетами, которого Иван Александрович видел на набережной с хозяйкою дома; приехал еще какой-то человек, пожилой и очень блестящий: с тремя брильянтовыми пуговицами на манишке, с фермуаром средней величины на галстуке и с большим солитером на указательном пальце. Уже открыли два ломберные стола в гостиной, уже составилась партия виста; хозяйка дома в величайших хлопотах сама бегала с колодою карт и мимобегом дарила каждого из гостей своих двумя-тремя приятными словцами, и всё различного содержания. Остановясь против человека с брильянтовыми украшениями, она сказала, перебирая в руках колоду карт:

— Что, вы будете играть, Алексей Васильевич?

Мутные зрачки глаз Алексея Васильевича забегали при вопросе; он хотел улыбнуться, и лицо его образовало довольно неприятную гримасу:

— А *по чему* роббер?

— По двадцати пяти рублей.

— Пожалуй, — и при этом слове он опять сделал гримасу. — Ведь вы знаете, что я никогда не отказываюсь, даже иногда играю и меньше этого.

Он небрежно взял карту, зевнул и с важностию поправил свои брыжжи, довольно неумеренно выглядывавшие из-за галстука.

Это был один из известнейших игроков, величайший счастливец, карточный баловень, почти никогда не проигрывавший и допускавшийся даже в некоторые гости-

ные высшего общества. Для большего эффекта, или, говоря просто, для большей важности в своем кругу, этот господин говорил, по обыкновению, немного в нос и делал различные гримасы, желая, вероятно, показать этим, что он не простой человек, что он имеет знакомства с людьми весьма знатными и что не одни карточные тузы имеют к нему уважение.

Игроки рассаживались; карточные обертки летели под стол. Иван Александрович сидел, пригорюнясь, у входа в гостиную: ему было скучно, он не успел сказать хозяйке даже десяти слов, он не любовался ею десяти минут сряду. Она вот только что остановится, и он только что обрадуется и вооружится всею силою любовного взгляда, как вдруг уже нет ее — она там, в зале. Это очень досадно!

— Что, Иван Александрович, а? весело? — говорил Федор Егорович, улучив минуту и подойдя к нему.

— Да, Федор Егорович, я вам очень благодарен.

Иван Александрович был чрезвычайно скрытного характера.

— Полноте, полноте, любезный, — продолжал Федор Егорович, поправляя верхнюю буклю своего хохла, — полноте... за что тут благодарить? Вы сами видите, мне это ничего не стоило: я на короткой ноге в доме — всех знаю. Не правда ли, какое прекрасное общество? А? Сколько людей с весом! Вот видите, налево-то: вон у тех дверей, такой пожилой человек, украшенный знаками отличия: это дядя мужа Марьи Владимировны. Оно, видите, и ничего, но все такое родство — знаете, протекция; он в большой силе... Дело какое или что — сейчас к нему, — просто, зачем далеко идти? Человек свой, близкий...

В эту минуту кто-то кликнул Федора Егоровича, и он исчез.

Лестно быть представлену в такой дом, где, куда ни обернись, куда ни посмотри, назад ли, вперед ли, везде и повсюду перед глазами люди чиновные, значительные, или по крайней мере такие, которые не сегодня-завтра будут много значить, — очень лестно! Против этого спорить нечего. Быть вместе с такого рода людьми — это своего рода наслаждение. Так, — но согласитесь, что еще приятнее, не говорю — лестнее, быть наедине с тою женщиной, которая, будто силою чародейства, заставляет, при мысли об ней, невольно биться ваше сердце, смотреть

на нее, любоваться ею? Согласитесь, что ее очи, не говорю — всегда, но порой, кажутся вам очаровательнее всего на свете?

Это заблуждение молодости. Верю; но Иван Александрович был молод, и он думал именно так в то время, когда Федор Егорович описывал ему всю прелесть знакомства с людьми чиновными.

— Знаете ли что, Аграфена Николаевна? — говорила хозяйка дома одной пожилой, толстой, важной и неподвижной даме с необыкновенно выпуклыми и остолбенелыми глазами, одной из тех женщин, которая могла служить превосходным типом русской купчихи, возвысившейся до дворянства, — знаете ли что: не дурно бы девицам потанцевать под фортепиано, не правда ли? Авдотья Петровна такая милая, такая добрая: она, верно, не откажется поиграть? Признаюсь вам откровенно, я не знаю девицы, которая бы так хорошо играла на фортепиано!.. Кто был ее учителем, Аграфена Николаевна?

— Я все забываю его фамилию. Он здесь *первый* учитель в Петербурге; уж, говорят, лучше его нет.

— Это видно, что у нее был первый учитель, сейчас видно. Ведь она, верно, не откажется сыграть хоть один кадриль?

— Настенька, поди-ка сюда! Вот Марья Владимировна просит, чтоб ты поиграла для танцев.

— С большим удовольствием-с, maman.

И Настенька, девушка лет двадцати осьми, так же дородная, как ее маменька, сделала очень ловкий *реверанс,* смотря на Марью Владимировну.

Марья Владимировна имела редкий дар все так хорошо устроить, занять гостей... Такой приветливой, милой, такой разговорчивой и дальновидной хозяйки дома вы не нашли бы, конечно, в целом Петербурге. Я говорю это без всякого пристрастия и готов сослаться на всех, кто посещал ее дом. Федор Егорович, как уже известно вам, человек образованный и светский, он сам, говоря о Марье Владимировне, всегда называл ее *идеальною.*

— Ангажируйте дам, ангажируйте, Григорий Ильич, Иван Петрович, Федор Егорович и мсье Рижский, вы такие мастера распоряжаться: надобно устроить кадриль.

Видите ли, как тонко Марья Владимировна умела льстить самолюбию?

Федор Егорович и г. Рижский, молодой офицер в золотых очках, бегали и набирали кавалеров, а между тем хозяйка дома подошла к Ивану Александровичу.

— А вы ангажировали даму? — спросила она его с приветливою улыбкой.

У Ивана Александровича от этого вопроса выступил холодный пот на лице.

— Я не танцую-с, — отвечал он, немного замявшись.

— Полноте, полноте. Ангажируйте вот эту девицу, что сидит в углу дивана, с розаном на голове. Она очень любезна. Пожалуйста, танцуйте: ведь не всегда же философствовать. Я слышала, что вы большой философ, но иногда с Парнаса можно спуститься и на землю...

Как хорошо говорила Марья Владимировна! Как искусно каждому она умела показать свои познания!..

Но Иван Александрович, первый раз попавший в свет, очень смутился от ее любезности и не придумал никакой блестящей фразы в ответ ей. Он просто сказал:

— Покорно вас благодарю. Я, право, не танцую.

Но он бы готов был отдать в эту минуту половину своих познаний, которые добывал годами трудов и постоянным усилием мысли, за то только, чтоб уметь протанцевать французский кадриль.

Фортепиано забренчали. Кадриль начался... Федор Егорович и офицер в золотых очках танцевали лучше всех: это можно было сказать утвердительно, потому что в их движениях была и легкость и грация, а другие — что это такое? — просто ходили. Пройтиться-то умел бы и Иван Александрович.

В промежутках танцев, когда музыка смолкала, из гостиной раздавались крикливые голоса игроков. Господин с фермуаром на галстуке кричал громче всех:

— Когда я играл с князем Петром Ильичом, у меня были: король, дама сам-четверт козырей, а у графа Александра Андреевича валет сам-друг; ходил он. Ну, говорит мне князь Петр Ильич, счастье, братец, тебе, счастье. Тебя любят козыри. Не всегда, я говорю, ваше сиятельство. Случается, что у меня не бывает козырей. Князь такой милый, такой шутник. — И господин с фермуаром очень громко засмеялся при сем.

Марья Владимировна, хозяйка дома, была большая охотница танцевать. И уж зато как танцевала! Удивительно! Как она умела показать свою ножку, нагнуть

немного голову на правый бок, — прелестно!.. Это еще был маленький вечер, это были еще танцы — так, экспромтом; а надобно было ее видеть на большом бале... Иван Александрович не спускал с нее глаз.

«Странно, — думал он, глядя на нее, — она очень хороша собою, против этого говорить нечего, только что-то у нее цвет лица такой неестественный, чересчур малиновый. Разве, может быть, она разгорелась, танцуя? Да нет, как я вошел, она еще не танцевала, а у нее был цвет лица точно такой же. Бог знает, отчего это!»

Возвратясь домой очень поздно, Иван Александрович долго не мог заснуть: было светло, как днем.

Скучны, господа, эти петербургские летние бессумрачные ночи! День, вечно день. Я люблю ночь, с ее таинственным покровом, с ее страшными тенями, с ее поэтическими туманами, которые то прикидываются перед вами безграничным морем, то какими-то чудными громадами зданий... Я люблю ночь, роскошно томящуюся в лунном мерцанье, упоенную ароматами цветов, истаивающую, дрожащую в неге... О, я не променяю ваш ослепительный день на такую ночь, господа! Нет, не променяю...

Иван Александрович в этом случае был совершенно согласен со мною. Он также не любил вечного петербургского дня. Он сидел у постели, пригорюнясь.

«Вот, — думал он, — прошел и этот вечер, которого я целую неделю ждал с таким нетерпением, о котором мечтал ежеминутно... Прошел! Уж не в самом ли деле мечта лучше существенности?»

Иван Александрович был вообще не очень доволен вечером Марьи Владимировны.

«Она, правда, милая женщина, привлекательная, а все не то, что я воображал. Не то!.. Она гораздо лучше, когда любуется Невою, нежели когда танцует в зале».

— Весело ли вам было вчера, Иван Александрович? — спрашивала его Елизавета Михайловна утром за чаем, еще до прихода тетушки...

— Так, не очень-с.

Елизавета Михайловна посмотрела на него, он посмотрел на Елизавету Михайловну: ее глаза были очень красны, веки как будто распухли.

— Не болят ли у вас глаза, Елизавета Михайловна? какие красные!

Она вздрогнула при этом слове и уронила из рук ситечко.

— Будто красны? я не заметила; да, немножко болят...

— Хотите, я вам принесу розовой воды, Елизавета Михайловна?

— Нет, не надо... Впрочем, если вас это не обеспокоит, принесите, Иван Александрович...

Как драгоценность хранила Елизавета Михайловна стклянку с розовою водой. Иван Александрович в тот же день принес ей эту стклянку. Она всякий день утром и вечером вынимала ее из комода, смотрела на нее с большим чувством, обливала слезами и, говорят, даже целовала. Ведь это был подарок Ивана Александровича, что же мудреного? Это был его первый подарок!..

Так день уходил за днем, неделя сменялась неделей... То же однообразие в доме тетушки Ивана Александровича, никакой перемены. Старушка сидит на тех же кожаных креслах и вяжет чулок или раскладывает карты, — только реже вяжет она чулок, только чаще протирает очки своим пестрым носовым платком: здоровье-то ее стало плоше, зрение-то слабее. Елизавета Михайловна, также скучна и также бледна, сидит у ног ее с шитьем в руках, только чаще прежнего оставляет она иголку, и украдкой взглядывает на старушку, и — задумывается, очень задумывается. Жизнь старушки — это ее жизнь... Разве она, сирота, может отделить свое существование от ее существования? Что она будет без нее?.. Сидит напротив старушки и Иван Александрович, он смотрит на Елизавету Михайловну и думает: редкая девушка, какая у нее ангельская душа, какое доброе сердце... Вот так, кажется, в этих глазах и светится небо!..

Мелкий осенний дождь запорошивает стекла; печально серое небо без просвету, печально, как мысли Елизаветы Михайловны...

— Лизочка, Лизочка, что-то ты у меня не на шутку худеешь, — говорит старушка, отложив карты и глядя на нее, — это больно меня беспокоит. Не посоветоваться ли с Францем Карловичем, а?

— Нет, маменька; нет, голубушка. Зачем мне доктор? Я, право, чувствую себя совсем здоровою, — и слеза девушки упадает на морщинистую руку старушки.

— Уж ты и расплакалась, дурочка. Ну, о чем же тут плакать?

Ивану Александровичу стало очень жаль Елизавету Михайловну, так жаль, что у него разрывалось сердце, глядя на ее бледное, печальное личико... что у него, у мужчины, готова была вырваться слеза, глядя на ее слезы; но он скрепился, проглотил эту слезу... Как ему было не понять тайной причины страдания этой девушки, глядя на свою дряхлеющую тетку?

Бедная, бедная девушка!

В эту минуту в комнату вошла горничная и подала Ивану Александровичу записку. Он распечатал: от Федора Егоровича; Марья Владимировна приглашает его к себе на вечер. «У нее, — пишет он, — будет так, *кой-кто*, человек тридцать, всё большею частию *свои*».

«Нет, не поеду, — подумал Иван Александрович, — что-то скучно; да и к тому ж я был у нее недавно».

Точно: Иван Александрович раза четыре был у нее после того вечера, в который он с такими надеждами, с таким восторгом представился к ней в новом фраке цвета Аделаиды.

Этот фрак и теперь еще почти совсем новый, нисколько не полинял, нимало не обтерся; пуговицы только немножко почернели, да это ничего не значит: можно поставить новые; но те надежды, те восторги, с которыми он надевал этот фрак, отправляясь в первый раз к Марье Владимировне, — кто обновит их, скажите? Неужели они, цветущие и яркие, так скоро увяли?.. Видно, уж, в самом деле, на свете нет ничего постоянного!

Текла, Юлия, Маргарита, Татьяна — обратились просто в Марью Владимировну, когда Иван Александрович посмотрел на нее вблизи, поознакомился с нею. Как все обманчиво издали! смотришь, что за цвет лица, какая свежесть! Роза! а посмотришь поближе — румяны. Везде подлог, везде обман... Право, не много веселого в жизни; поневоле заноешь элегией!

Полный кипучих, студенческих фантазий, Иван Александрович заговорил однажды с Марьей Владимировной о театре как о храмине изящного, о высоком назначении искусства в мире, заговорил:

О Шиллере, о славе, о любви.

Он думал, что ее сердце забьется от этих речей, что она будет сочувствовать его энтузиазму. Он говорил с жаром и убедительностию, она слушала равнодушно, не

знаю — понимая или не понимая, и когда он кончил, она с свойственною ей грацией, которую в другом кругу, вероятно из зависти, назвали бы жеманством, сказала с расстановкою:

— Да, ничего не может быть лучше театра. Я очень люблю спектакли, в особенности веселые водевили. Есть такие смешные, вот так бы и хохотать до упаду. А трагедии я терпеть не могу: там вечно несчастия, резня: это ужасно расстроивает нервы, а я к тому же такая раздражительная...

Иван Александрович хотел возражать, но Марья Владимировна не дала ему вымолвить слова.

— Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Нет, уж я водевиль ни на что на свете не променяю.

Иван Александрович вздохнул.

В другой раз речь зашла о романах. Иван Александрович выхвалял Вальтера Скотта (вы уже знаете, что это один из любимых писателей Ивана Александровича), доказывал, что до Вальтера Скотта не существовало романа, что «роман только в наши дни получил свое высшее достоинство его гением, что и после Ричардсона, Лесажа и Руссо он все еще не имел права на название сочинения определенного и положительного, несмотря на то, что существовали «Новая Элоиза», «Вертер» и проч., и проч. ... словом, повторил все то, что говорили о нем европейские критики и что вслед за ними печатали наши журналы. Иван Александрович говорил горячо и долго. Марья Владимировна только из одного приличия не зевала. Когда он кончил, она сказала:

— Что ни говорите, Иван Александрович, а ваш Вальтер Скотт прескучный, пренесносный: я не нахожу в нем ничего хорошего. Как можно его сравнить с Дарленкуром или Поль де Коком? Дарленкур такой чувствительный писатель, а Поль де Кок такой забавный. Я всегда хохочу до истерики от его романов. Я очень люблю Поль де Кока.

— Поль де Кок! — Иван Александрович хотел что-то возразить, но слова замерли на языке его. — Поль де Кок! — повторил он снова глухим голосом и снова остановился.

Минут через пять он собрался с духом и сказал:

— Помилуйте, Марья Владимировна! Я не знаю, что же вы находите хорошего в Поль де Коке?

— Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Ну, что ваш Вальтер Скотт-то написал хорошего? Признаюсь вам, меня никто так не забавляет, как Поль де Кок...

Иван Александрович вздохнул.

С этой минуты он совершенно охладел к Марье Владимировне, так охладел, что ему было все равно, есть ли она на свете или нет. Не вините же Ивана Александровича за непостоянство, не говорите же, что он без причины разлюбил эту женщину! О нет! Он готов был любить ее страстно, безумно, он готов был боготворить ее; но я знаю наверно: он не воображал, чтобы в Петербурге могла найтиться женщина, которая бы любила одни только водевили да романы Поль де Кока. И еще женщина из такого прекрасного круга!

Они просто не сошлись. Иван Александрович думал найти в Марье Владимировне существо, гармонировавшее с ним... Что ж делать! он ошибся, он еще мало знал людей. Проказник! он думал, что все должны иметь одинаковый с ним вкус, одинаковый образ мыслей...

Вот отчего Иван Александрович так холодно принял приглашение Марьи Владимировны. Да и Федор Егорович стал наскучать ему: он беспрестанно приставал с своими стишками.

— У меня есть небольшое стихотвореньице, Иван Александрович, — говорил он, пожимая ему руку, — так, знаете, я сочинил для забавы, когда жил прошлое лето по Парголовской дороге. Вы знакомы с одним журналистом, по дружбе — этак, попросите, чтобы он напечатал в своем журнале. Видите, я посвятил эти стишки Марье Владимировне, она ведь охотница до поэзии и, между нами сказать, смыслит кое-что в этом деле. Она очень хвалила вот это место...

Федор Егорович вынул из кармана бумажку, всю исписанную, и начал читать с большим чувством:

Ручей бежал между кустами,
Я молча плакал у ручья;
Но ты не тронулась слезами,
Жестокосердая моя!
Уж солнце к западу клонилось,
И я побрел к себе домой,
И голова моя скатилась
На грудь, изрытую тоской!..

А? как вы находите это место?

— Очень хорошо, — отвечал Иван Александрович.

— Знаете, тут много меланхолии, не правда ли? У меня вообще этак... меланхолическое расположение в моих стихах...

«Неотвязчивый человек, несносный! — думал однажды Иван Александрович, разбирая свои бумаги и отыскав между ними стихи Федора Егоровича. — Ну, что я буду делать с этими стихами?»

Вдруг между бумагами мелькнуло что-то красненькое.

«Что бы это такое?..» — подумал Иван Александрович.

Кошелек! Это тот самый кошелек, который Елизавета Михайловна отдала ему с своими деньгами и который она никак не хотела взять назад.

Иван Александрович призадумался над этим кошельком. Он вспомнил, с каким восторгом эта добрая девушка отдавала ему свои последние деньги, как она была огорчена, когда он не хотел брать их... Он вспомнил ее слезы и потом эту непритворную радость, когда он решился взять деньги...

«Боже мой!» и вдруг мысль: *что, если она любит меня?* — впервые блеснула в голове его...

VI

И в час, как с молитвой на бледных устах
Ты в смертной борьбе трепетала,
Ты эту молитву с слезой на глазах
О благе моем лепетала.

Э. Губер.

Но да видишь лепе девойке!..[1]

Из сербской песни.

Прошло еще два месяца, кажется, что два, а может быть, немного и более, после той минуты, когда Ивану Александровичу попался на глаза кошелек Елизаветы Михайловны и заставил его задуматься. В эти два месяца он внимательно наблюдал за нею. «Да, она любит меня, точно, любит, милая девушка!» Так рассуждал он сам с собою, греясь в один вечер у печки. Зима в этот год была

---

[1] Посмотри же на красавицу!..

ужасно холодная. «И я не видел прежде любви ее? И я предпочитал ей эту Марью Владимировну! тогда как перед глазами у меня был настоящий ангел, я гонялся, сам не знаю за чем... Светская дама! Хороши же эти светские дамы!»

Иван Александрович, рассуждая таким образом очень долго, вовсе не замечал, что сальная свеча, стоявшая перед ним на столе, так нагорела, что в комнате не видно было ни зги; он даже не слыхал, как вошла в комнату Елизавета Михайловна, не видал, как она приблизилась к столику, на котором стояла свеча, как она сняла со свечи, и если бы не ее *ах!* при виде Ивана Александровича, то он, вероятно, еще не скоро бы очнулся.

— Я думала, что здесь никого нет. Вы не поверите, как я испугалась.

— А я, ей-богу, и не слыхал, как вы вошли сюда, Елизавета Михайловна.

— О чем вы так задумались, Иван Александрович?

Иван Александрович хотел что-то сказать, заикнулся на первом слове и замолчал. У него недостало духу пересказать ей то, о чем он думал; но пристально, необыкновенно пристально посмотрел он на Елизавету Михайловну. Этим взглядом он, казалось хотел проникнуть в самую заповедную глубь ее сердца.

Она стояла перед ним пригорюнясь, поддерживая одною рукою локоть руки, на которую упадала ее головка, — бледна, как мрамор, неподвижна, как статуя.

— Что с вами? — произнес он после минуты молчания.

— Маменьке сделалось хуже... Она очень слаба.

Голос, которым были произнесены слова эти, произвел странное действие на Ивана Александровича: у него пробежал мороз по коже от этого голоса.

— Бог милостив, зачем отчаиваться? К тому же Франц Карлович говорит, что у нее нет никакой опасной болезни.

— Она очень больна, — повторила тем же голосом Елизавета Михайловна, — *очень,* — и этот голос перервался, задушенный рыданьем, и она закрыла руками лицо.

Иван Александрович бросился к стулу.

— Сядьте, сядьте, Елизавета Михайловна, вы насилу стоите. Полноте, успокойтесь, право, бог не допустит такого несчастья.

Она опустилась на стул.

— Бог не допустит, — повторила она, — но если, если ее не станет, — и она вдруг отерла слезы, схватила Ивана Александровича за руку, глаза ее горели, губы дрожали, голос беспрестанно прерывался, — если ее не станет, я не переживу этого... Ее гроб — мой гроб. И что же моя жизнь без ее жизни?..

— Послушайте, Елизавета Михайловна, не одна тетушка в мире умеет ценить и любить вас. Если уж богу будет угодно... то останется здесь еще человек, который любит вас не меньше ее, для которого вы... — Он не мог договорить, он сжал ее руку и робко взглянул на нее.

Она пошатнулась, какой-то несказанно сладостный трепет пробежал по всем ее членам: она еще никогда не ощущала ничего подобного, туман застилал ее очи. Это была минута забытья, это был неопределенный, неуловимый переход от бодрствования ко сну... Долго не могла она ничего произнесть, долго рука ее лежала в его руке; наконец она отдернула эту руку и протерла глаза.

Снова нагоревшая свеча разливала слабый, красноватый свет по комнате... Она осмотрела кругом себя... Что это? греза?

— Елизавета Михайловна! Елизавета Михайловна! — говорил Иван Александрович почти шепотом. — Я люблю вас, я люблю вас, бог свидетель, что ваше спокойствие, ваше счастье дороже всего для меня...

Она вздрогнула.

— Иван Александрович! о, это не сон! — и она опять протирала глаза, — вы не смеетесь над бедною девушкой? Нет?

— Боже мой! Да, я люблю вас! — повторил он, — люблю... Но скажите мне одно слово, только одно... любите ли... В этом слове для меня все, все — мое существование, моя жизнь... о, скажите мне...

Он не мог больше говорить, переполненный чувством...

Грудь ее дышала порывисто, дыханье замирало в груди.

Это была для нее одна из тех минут, которые испытывают раз в жизни; и то только избранные, и этих избранных называют в мире счастливцами, и этих счастлив-

цев немного в мире. Да, в эту минуту она вполне поняла все очарование, всю силу, всю беспредельность того, что называют счастием; в эту минуту она даже забыла о своей больной старушке, о своей матери, о своей благодетельнице... Она была взаимно любима. *Взаимно!..* А есть ли, господа, на земле что-нибудь выше, что-нибудь отраднее, что-нибудь святее взаимной любви?

— Мне ли не любить вас, Иван Александрович?.. — И голова его упала на ее руку, и он прильнул к этой руке горячими устами...

Вдруг кто-то застонал в ближней комнате.

— Ах, маменька!.. — Елизавета Михайловна чуть не вскрикнула; вскочила со стула и выбежала из комнаты.

Иван Александрович остался неподвижен на стуле.

На другой день тетушка его почувствовала себя лучше. Она сидела на кровати, прислонясь к подушкам, и смотрела на свою Лизу.

— Лизочка, — говорила она ей, — моя молитва дойдет до бога: я молилась за тебя каждое утро, каждый вечер. Он, отец мой небесный, видел мои слезы. Лизочка! Он даст тебе счастье.

Старушка протянула к ней свою ослабевшую руку и крестила ее.

— Матушка, друг мой, выздоравливайте скорее, и тогда... тогда я буду совершенно счастлива.

— Ну, полно, плакса. Видишь ли, я сегодня пободрее могу сидеть. Перестань хныкать, прочти-ка мне лучше письмо Евграфа Матвеевича. Спасибо ему, спасибо: не забывает старых друзей, даром что идет вверх и весь обвешан крестами... Право, спасибо.

Елизавета Михайловна развернула письмо, которое держала в руке, и начала читать тихо, с расстановками:

«Милостивая Государыня моя

Авдотья Евлампиевна!

По ходатайству вашему, а также во уважение приязни моей к покойному супругу вашему, а моему хорошему другу Игнатию Матвеевичу, которого я до конца жизни моей не забуду и воспоминание о котором унесу с собою и в гроб...»

— Ах ты, родной мой, с какими чувствами! — перебила старушка. — Этаких людей не много нынче, нет! Вот душа-то!.. Ну, ну, читай, Лиза, читай!

— «...унесу с собою и в гроб, определил я племянника вашего, Ивана Александровича, на службу под собственное свое ведомство, и неослабно сам наблюдал за его старательностию и способностию в отношении письменных дел, и, убедясь в продолжение нескольких месяцев в таковой его старательности, равно как и в способности, о помещении его на первую открывшуюся в отделении моем вакансию на штатное место, а именно Помощника Столоначальника с 1500 р. окладом в год, не замедлил обратиться с представлением к Директору Департамента, который и утвердил его в означенном выше звании, сего Ноября 5 дня; вследствие чего, Милостивая Государыня моя, свидетельствуя вам совершенное мое почтение, имею честь вас уведомить...» и проч.

— Дай бог ему здоровье! Да, надо сказать, прежнего века люди-то посолиднее: хлеб-соль чужую не забывают... А каков же мой Иванушка? Он у меня малый умный и не одного себя прокормит. Правда, Лизанька?

И старушка улыбалась сквозь слезы и трепала ее по щеке с самодовольствием.

Время шло своим чередом, а здоровье старушки не поправлялось. Она видимо хилела. Франц Карлович прописывал ей микстуры, которые не помогали, смотрел на больную, нюхал табак и говорил себе под нос: «Гм, эта болезнь называется старость».

Однажды под вечер ей сделалось заметно хуже. Елизавета Михайловна не отходила от ее постели целую ночь; бедная девушка не смыкала глаз, она тихо плакала, задушая в себе рыданья, боясь, чтобы не услышала ее горе родная. И тяжело было ей: грудь ее в ту минуту была могильным склепом, в котором заключены были ее страдания, ее вопли...

Иван Александрович также не отходил от постели больной; и он, порою, утирал слезу, которая докучливо катилась по его щеке: горько было ему смотреть на потухающую жизнь своей второй матери, еще горче на страданье Елизаветы Михайловны. Он с каждым днем привязывался к ней больше и больше, он чувствовал, что без нее ему ничего не мило, он не мог дать себе отчет, как вкралась к нему эта любовь, и не знал, что она теплилась

в нем давно, только бессознательно. Он любил ее горячо, любил с самоотвержением юноши, одаренного душою благородною и сильною...

Он хотел утешать Елизавету Михайловну; но что такое утешение в минуты свинцовой безотрадности? Он хотел молвить ей слово надежды; но могло ли быть сильно это слово в устах человека, который не имел сам ее?

Итак Иван Александрович сидел молча, с поникшею головою. Ночь была бесконечна, каждая минута высчитывалась страданьем, или вздрагиваньем, или замиранием сердца... Однообразно стучал маятник, страшно было стенанье старушки, тяжело и неровно ее дыханье.

Под утро больная забылась.

— Елизавета Михайловна, — произнес Иван Александрович, — тетушка, кажется, уснула; ради бога, подите лягте, усните и вы хоть на несколько минут. Вы измучились, ведь вы занеможете сами. Ради бога! я останусь здесь.

— Нет, я не могу спать; я не устала, ничего. — А голова ее кружилась, и она насилу сидела на стуле.

Утром старушка потребовала священника.

Елизавета Михайловна лежала без чувств в другой комнате: ее оттирали. Иван Александрович поддерживал голову старушки: она причащалась святых таин.

Великий обряд совершился. Хладеющие уста старушки шевелились без слов: она про себя читала молитву; правая рука ее двигалась на груди, она хотела креститься.

— Пошлите ко мне мою дочку, — сказала она довольно явственно. — Где же она, где моя Лиза? Лиза, Лиза...

Ее привели.

Она упала на колена перед постелью. Умирающая положила руку на ее голову — и вдруг глаза ее вспыхнули последним огнем, и она произнесла громко, голосом, полным торжественности:

— Боже! боже! Услышь меня в эту минуту. Господи! не оставь ее!..

Из груди несчастной девушки вырвался раздирающий вопль.

Франц Карлович наморщился; у него, видно, хотели

показаться слезы, но он скрепился, вынул из кармана табакерку и начал с расстановками нюхать табак.

— Ближе, ближе ко мне, моя Лиза... — продолжала старушка голосом, постепенно слабеющим. — Вот... так... теперь мне теплее. Прощай, друг мой... Я не одну тебя оставляю... Ты ведь любишь его, Лиза... Где он?.. его руку.

Она искала руки Ивана Александровича; он подошел к ее изголовью и также стал на колена. Она взяла его руку, соединила с рукою Елизаветы Михайловны и смотрела на них пристально.

— Дайте мне насмотреться на вас... Это все ваше... все, друзья мои; будьте счастливы... У меня что-то темнеет в глазах...

— Матушка! Не оставляйте детей ваших. Матушка! Что же? Разве вы не хотите видеть нашего счастья? Еще один час, одну минуту, родная... — и несчастная захлебнулась слезами.

Вдруг она почувствовала что-то холодное на своей руке: это была рука старушки, которая замерла, соединяя ее с обрученником ее сердца.

Она вскрикнула, приподнялась, осмотрелась кругом себя — и как труп рухнулась к ногам доктора, обнимая его ноги.

— Спасите, спасите матушку!

Франц Карлович едва удержался на ногах; он снова сделал гримасу и прошептал себе под нос (это была его привычка): «Боже мой! нет ничего неприятнее, как видеть несчастие».

Потом он и Иван Александрович бросились помогать бедной девушке; старушка уже не требовала никакой помощи.

Около вечера, когда Елизавета Михайловна немного успокоилась, Иван Александрович, оставив ее на руки двум женщинам, вышел из дома.

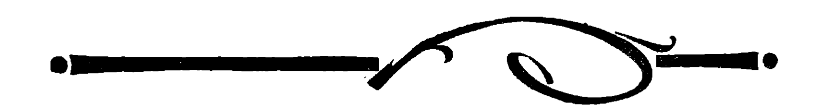
Задумчив шел он по улице. Образ умирающей тетки, ее благословение, отчаяние *его* Елизаветы Михайловны: он теперь имел право назвать ее *своею*... все это вместе перебегало в голове его.

— Иван Александрович! Иван Александрович! — кричал ему кто-то, шедший навстречу.

Иван Александрович нахмурил брови и поднял голову. Перед ним стоял Федор Егорович.

— Что это? Сто лет не видались, почтеннейший, ей-богу; не стыдно ли вам это, Иван Александрович, никогда не заглянете. А я вам скажу новость: я женюсь... да, да. Ну, а на ком, отгадайте? На Марье Владимировне! Не правда ли, славная партия: и умная женщина, и протекция, — и все — этак, знаете. Вот бы теперь кстати вы попросили, чтоб напечатали мои стишки с посвящением к ней. Ну, а сказать ли вам, куда я теперь иду? Надобно купить какую-нибудь брильянтовую вещь: серьги или что-нибудь этак в подарок. Знаете, жениху столько хлопот, туда, сюда... А вы куда идете, Иван Александрович?

— К гробовому мастеру. Моя тетка сейчас скончалась. Прощайте, Федор Егорович.



ДОЧЬ ЧИНОВНОГО ЧЕЛОВЕКА

Повесть

Не сердись за правду!
В наш век, в разврате утучневший, просит
Прощенья у порока добродетель
И ползает, моля о позволенье
Творить добро ему же...

Шекспир.

ГЛАВА I

Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени;
Да взор холодный их не встретит
И луч тщеславья не просветит
На незамеченные дни...

Веневитинов.



иновнику Теребеньину лет около шестидесяти; у него темные волосы с проседью, обстриженные под гребенку; маленькие глаза, почти без движения, цвета болотной воды, и толстые губы. Он небольшого роста и всегда носит вицмундир. Белый галстук несколько раз обвертывается кругом его шеи; этот белый галстук по утрам, в должности, бывает на нем не совсем чист, хотя, по словам его, он носит белые галстуки именно только для

чистоплотности. «На черных-де, — говорит он, — незаметна грязь, а на белом вот сейчас так и видно малейшее пятнышко». У него три вицмундира: один весь истертый по швам, который он носит в департаменте, другой поновее, который он обыкновенно надевает по воскресным и табельным дням, также отправляясь куда-нибудь в гости к приятелям на *бостончик* или на *вистик;* третий, совершенно новый, хранится собственно для директорских обедов и вечеров. На днях Осип Ильич (так звали г-на Теребеньина) за долговременную и усердную службу представлен к награждению. Недавно он променял в Гороховой улице у часовых дел мастера свои старинные, толстые, серебряные часы на серебряные же потонее. «Те, — говорит он, — в форме луковицы, кроме своей тяжести, весьма неудобны были для ношения, потому что совершенно препятствовали застегнуть вицмундир. Как застегнешь его, сейчас образуется горб на левом боку. Оно и некрасиво, да и трется это место скорее. А жаль, — прибавлял он, — часы были верные: только четыре раза в год поверять отдавал». До мая 1826 года Осип Ильич носил гусарские сапожки без кисточек; с мая 1826 года он носит узенькие панталоны без штрипок, подбирающиеся кверху, когда он садится. Чин действительного статского советника — любимейшая его фантазия, цель, к которой он направляет все свои действия: если он сидит, сморщив брови и шевеля губами, он наверно размышляет о чине действительного статского советника; если ходит от одного угла комнаты до другого скорыми шагами, приставив указательный перст к середине лба, он думает: «Какими бы средствами поскорее достичь до такого почетного чина? Генерал! гм! Оно хоть и не совсем вельможа, а все-таки наравне с знатью. — Ваше превосходительство, Осип Ильич! — Что вам надобно? — Его превосходительству Осипу Ильичу! — А! это Теребеньину. — Вашему превосходительству, Осипу Ильичу, известно, что... Да, да, славный чин действительный статский советник, и титулование приятное! Как бы это поскорее хоть в статские советники? Что ж? почему мне не быть действительным статским советником? почему?.. Да чем же лучше меня Захар Михайлович? чем?» Осип Ильич терпеть не может ничего книжного и совершенно презирает всех писателей. Он никогда ничего не читает из печатного, кроме Адрес-календаря, Месяцеслова, Санкт-Петербуржских и

Сенатских ведомостей. «Писатель! ну что ж? эка штука, писатель! — часто говаривал он. — Что в них, в этих писателях? пользу, что ли, какую приносят? Деловому человеку не очень есть время читать их побасенки-то. Другое дело, когда в театр сходить посмеяться. Ну тут всё не то: и музыка играет, и костюмы разные, да и *иной,* черт его знает, так живо представляет». Осип Ильич перед обедом обыкновенно выпивает рюмку настойки Трофимовского. «Эта вещь солидная, лекарственная», — замечает он, глотая настойку, покрякивая и поморщиваясь.

Супруга Осипа Ильича — дама лет сорока девяти, небольшого роста, толстая и необычайно коротконогая; лицо ее — круглое, как тыква, и шероховатое, как *дыня-кандалупка,* покоится на груди, потому что шеи у нее совсем не имеется. Она нрава довольно сварливого, занимается рачительно хозяйственною частию; за какие-либо проступки и ослушание сама бранит лакея и мужика, который нанимается нарочно для ношения воды, мытья посуды и прочего (Осип Ильич в эти дела не вмешивается); три раза в день пьет кофе, каждый раз по две чашки, несмотря на докторское увещание и на угрозу, что с ней может сделаться удар. Дома она ходит простоволосая, и волосы ее с очень заметною проседью, по причине жесткости своей, никогда не лежат на голове гладко, даже несмотря на то, что она два раза в неделю помадится полтинной помадой «au citron». «Знаем мы, батюшка, эту французскую помаду, — говорит она, — черт ли в ней, от нее как раз волосы вылезут». В две недели раз по четверкам Осип Ильич обедает у директора; к этому уже привыкла Аграфена Петровна, и поэтому по четверкам в две недели раз она садится за стол двумя часами ранее обыкновенного, то есть вместо четырех в два, приговаривая: «Вот это христианский час, а то жди себе до четырех часов, — ведь и аппетит пропадет совсем». И, несмотря на эту фразу, Аграфена Петровна всегда очень аппетитно кушает. В год два раза Осип Ильич позволяет себе некоторые вольности, например, обедать где-нибудь во *французской ресторации,* преимущественно у Дюмè, сговорившись заранее с двумя, тремя приятелями — своими сверстниками.

— Копейка лишняя завелась, — говорит он, улыбаясь, — что делать?

В эти торжественные дни физиономия Осипа Ильича с самого утра выражает совсем не то, что обыкновенно; он все как-то искоса посматривает на Аграфену Петровну, полуулыбается и покашливает:

— Аграфена Петровна! Аграфена Петровна!

— Ну, что там такое?

— Дайте-ка-с, матушка, чистую манишку да шейный платок. — При этом он берет щепотку табаку и с расстановками внюхивает его в себя, как бы желая придать себе этим несколько более твердости.

— Да куда же это вы идете, Осип Ильич? Давно ли я дала вам чистый платок и манишку? Что за наряды в департаменте? И в этом просидите, невелика важность!

— Оно конечно, да все, знаете, не так хорошо. Вот, говорят, сегодня какой-то военный генерал будет. Ему, дескать, директор будет показывать департамент, так слышно; как же начальствующим лицам... ведь надобно же почище одеться.

— Да мало ли что врут! А разве директор-то не сказал бы тебе об этом?

Осип Ильич при таком вопросе принялся снова за табакерку и задумчиво перебирал руками табак.

— Сказал, оно конечно... А что, Аграфена Петровна, у вас расходных-то, я чай, немного осталось? Впрочем, что ж? вот скоро и треть подвигается. Уж нынче *третное* я все сполна вам отдаю.

— И давно бы так, батюшка! Подержи-ка хоть раз сам расход, так и увидишь, что значит: и туда деньги, и сюда деньги, и то вздорожало, и другое вздорожало...

— Все отдам, все сполна, до копеечки.

— Смотрите же, Осип Ильич.

— Ей-богу! Аграфена Петровна. А что же, чистую-то манишку?

— На вас и гладить не упасешься: чистую да чистую, подавай откуда хочешь.

— Вы сегодня не ждите меня обедать — зазален делами: может, и до пяти часов придется посидеть.

— Да говорите без обиняков. Что вы, обедать, что ли, куда собираетесь?

— Может статься, и обедать куда пойдем.

— Куда же, нельзя ли узнать?

— Марк Назарыч с Николаем Игнатьичем приглашают меня.

— Уж предчувствовала, предчувствовала! На дебош в какую-нибудь *немецкую ресторацию.* Там славно обирают русские денежки; мастера, нечего сказать! Только попадись к ним — обдерут как липку.

— Марк Назарыч говорит, что...

— Знаем мы твоего Марка Назарыча: ему бы на чужой счет пожуировать, а в доме трава не расти. Палагея Емельяновна все порассказала мне, все: кровавыми слезами плачет бедняжка, истинно кровавыми; кулаком слезы утирает.

— Ну да я пожалуй и не пойду.

— Идите, идите, никто не мешает вам; а небось как спросишь: «Осип Ильич, на расходы надо», — так и закобенется. «Да откуда мне взять денег? да что я, делаю, что ли, деньги?» А вот как на дебоширство, так небось есть.

— Ну, ну, бог с вами! сказал, что не пойду.

Это со стороны Осипа Ильича была только одна фигура уступления; после долгого крика и шума он поставлял-таки на своем, выпрашивал чистый галстук и манишку и после присутствия отправлялся с приятелями *покутить.*

У Дюмѐ они выпивали обыкновенно каждый по бутылке простого столового вина, белого или красного, смотря по вкусу; каждый спрашивал по бутылке шампанского, и все вместе обращали на себя всеобщее внимание.

Осип Ильич, наливая в стакан красное вино, сперва подносил его к носу.

— Вино ординарное, Марк Назарыч, а *букет* хорош; понюхайте.

Потом, сморщивая брови, он приподнимал стакан к свету, поворачивая его в руке, все перед светом, и, после таких маневров, обращался снова к Марку Назарычу:

— И цвет не дурен: густоват, правда, немножко. Что, я думаю, им обходится по полутора бутылка?

В заключение он выпивал стакан и обтирал салфеткою губы.

Точно как для мужа были истинно высокоторжественными днями в жизни те дни, в которые он обедывал во французской ресторации, — так для жены те, в которые она ходила с визитом к генеральше Поволокиной, у супруга которой ее Осип Ильич был стряпчим, или, говоря высоким слогом, ходатаем по делам.

Муж, припоминая что-либо, всегда говаривал:

— Когда же это было? с месяц, что ли? Последний-то раз я обедал у Дюмѐ шесть недель тому назад. Ну, да оно так и будет. — И в таком случае, жена почти всегда возражала ему:

— Что ты это? перекрестись, голубчик. Ведь это было за две недели до рождения ее превосходительства Надежды Сергеевны Поволокиной; а я после того еще раз была у нее перед за̀говенами.

Осип Ильич был человек, как мы уже выше заметили, очень нужный для супруга этой Надежды Сергевны Поволокиной, и потому он очень дорожил Осипом Ильичом. Он посылал его по своим делам и в гражданские палаты, и в уездные суды, и в конторы маклеров. Осип Ильич, — надо отдать ему справедливость, — в приказных делах был человек сведущий, потому что начал свое служебное поприще с гражданской палаты. Генерал Поволокин решительно не занимался ничем домашним; он даже редко бывал дома: утром в должности, а вечером в Английском клубе, *к перу от карт и к картам от пера,* по словам Грибоедова, давно обратившимся в пословицу. 500 наследственных душ его, заложенные и перезаложенные, едва ли не пять лет сряду показывавшиеся в «Прибавлениях» к «Санкт-Петербуржским ведомостям», немного приносили дохода; и если бы не другой доход, гораздо повернее первого, то г-жа Поволокина должна бы была весьма посократить свои издержки *на булавки и на прочее.* Впрочем, г-н Поволокин слыл в Петербурге за человека богатого: он имел четверню лошадей, квартиру, меблированную если не изящно, то довольно роскошно: штоф на мебели, бронзовые канделябры и часы, алебастровые вазы; правда, все это не очень блестящее, ибо пыль слоями покрывала все эти вещи; правда, что его передняя была и темна и грязна, что она пахла ламповым маслом, — но это уже не была вина г-на Поволокина, а скорее г-жи Поволокиной, которая всегда и всем кричала о своих хозяйственных дарованиях.

В этом случае Надежда Сергеевна и Аграфена Петровна чрезвычайно разнились друг от друга: последняя чистоту в доме ставила выше всего на свете.

— *Опрятность есть добродетель,* — говаривала она и, несмотря на это мудрое изречение, только один раз в неделю, по воскресеньям, исключая экстраординарных случаев, выдавала Осипу Ильичу чистую манишку и шейный

платок. Часто, смотря на его шею, она думала: «И точно грязноват платок-то; ну, да что за беда, еще дня три проносит; ведь от частой стирки белье рвется...»

Она сама ежедневно утром вытирала пыль в гостиной и в зале с диванов, со столов, со стульев и комодов, с разных вещей, как-то: с стеклянного колпачка, под которым лет восемь покоился сделанный из воска и раскрашенный амурчик в колыбели, с зеркала над диваном и с силуэта своей бабушки, который висел, оклеенный в цветную бумажку, под зеркалом в гостиной. Ерани и рута, стоявшие в зале на окнах, зимою через день, а летом аккуратно всякий день поливались также ее собственными руками. Последнее растение, то есть рута, кроме украшения комнаты, приносило еще и пользу, а именно употреблялось Аграфеною Петровною для полоскания рта.

17-го сентября 18**, в день святых Веры, Софии, Любви и Надежды, в который начинается наше повествование, Аграфена Петровна проснулась ранее обыкновенного, то есть часов около шести, и занялась приготовлениями к своему туалету. Это был день именин Надежды Сергеевны и дочки ее Софьи Николаевны. Аграфена Петровна должна была отправиться с поздравлениями. К 11 часам она была уже совершенно готова: в чепце с кружевными крылышками, украшенном лентами цвета адского пламени, в желто-коричневом гроденаплевом капоте, в красной французской шали, при клеенчатом, в клетку сплетенном ридикюле и в кожаных полусапожках со скрипом. В 11 часов лакей в грязной ливрее и в изорванных сапогах посадил ее в извозчичью четырехместную карету, за неотысканием двухместной. «Но... ну... но... небось» — и карета двинулась. В половине 12-го Аграфена Петровна прибыла к дому г-жи Поволокиной, запыхавшись взошла на лестницу, и лакей дернул за ручку колокольчика.

— Что, дома ее превосходительство Надежда Сергеевна?

— Дома, да в уборной-с.

— А Софья Николаевна?

— К барышне можно-с.

Генеральская дочь сидела в своей комнате, в белой блузе; на плечах ее была накинута шаль; перед ней на пюпитре лежала развернутая книга. Ей казалось на лицо двадцать пять или двадцать шесть лет; она не имела той

красоты, которая бросается прямо в глаза каждому и в гостиных, и в театрах, и на улицах, — этой скульптурной красоты, доступной равно для глаз всех; но она не принадлежала также к тем счастливым девушкам, о которых небрежно говорят: «Да, *хорошенькая»* или с гримасой снисхождения: «Конечно, она недурна; такая *миленькая!»*

Может быть, пройдя мимо ее, вы бы вовсе не заметили ее и, конечно, посмотрев на нее, не произнесли бы этих общих, изношенных, пошлых фраз: *хорошенькая, миленькая!* Многие даже находили ее дурною, и, право, грех было спорить с этими господами. Слово: «дурна», в устах таких людей, не могло быть оскорбительно для нее: это не то, что слово «хорошенькая»!

Ее лицо было задумчиво; оно всегда мыслило, всегда говорило; что-то болезненно-бледное было в цвете лица ее, что-то страшно тоскливое в ее черных, глубоких очах. Посмотрев на нее, вы стали бы в нее вглядываться; вглядевшись, вы бы захотели насмотреться на нее; наглядевшись, вы бы, может быть, задумались и спросили самого себя: для чего родятся такие существа? для чего живут они? многие ли поймут их и оценят?

В самом деле, жизнь Софьи — одно из самых горьких явлений современного общества — была достойна полного внимания, наблюдения неповерхностного. Мы, с таким рвением, с такою пытливостию изучающие жизнь людей великих, имена которых нарезаны веками на скрижали бессмертия, мы, дивящиеся силе их воли, их героизму, их самоотвержению, — мы не знаем, что среди нас, в этом обществе, в этой мелкой жизни, в которой бесцельно кружимся, есть характеры не менее великие, не менее достойные изучения. Не их вина, что они обставлены другими обстоятельствами, что они действуют в ограниченном домашнем кругу, а не на обширном гражданском позорище. Посмотрите на страшную борьбу образования с полуобразованием или с явным невежеством, ума и чувства с закоренелыми предрассудками, — на эту борьбу, немилосердно раздирающую тысячи семейств. Вот перед вами жертвы этой борьбы, безропотно, незаметно сходящие в могилу, непонятые и неоплаканные. Остановитесь на этих могилах с слезою благоговения... Но не в том дело, я должен познакомить вас с матерью Софьи.

Это была, изволите видеть, женщина не совсем глупая и не совсем умная, а так, что-то среднее между тем и другим, сорокапятилетняя кокетка, павлинившаяся тем, что ее муж был важный чиновник; неловкая и странная, как цифра, сделанная из нуля; смешная чиновница перед какой-нибудь княгиней и карикатурная княгиня перед чиновницей, — полуобразованная, и потому без всякого снисхождения... Образчики таких женщин вы верно встречали в среднем петербуржском обществе.

Надежда Сергеевна всегда с жеманною полуулыбкой смотрела на ласки своей дочери, сердце которой требовало любви материнской, и, поправляя ленты своего чепца перед зеркалом, говорила небрежно: «Полно, милая, к чему эти нежности? Вот цвет, который, кажется, совсем не к лицу мне. Не правда ли?» Такие вопросы оставались часто без ответа, и такого рода молчание незаметно вооружало мать против дочери. Женщина полуобразованная редко отличает лесть от ласки: в ее понятиях это — решительно синонимы. Лесть действует на самолюбие, ласка — на чувства. Самолюбием наделены все мы, чувствами — немногие, и вот почему лесть в таком ходу, в таком уважении в этом мире; и вот почему мать Софьи называла ее часто *неблагодарной, нечувствительной* дочерью. Оскорбляемая такими словами, бедная девушка не могла понять, почему они, эти ужасные слова, могут применяться к ней. Она заглядывала в глубину своего сердца, поверяла все свои мысли, отдавала себе отчет в каждом слове, произнесенном ею перед лицом матери, старалась даже припоминать выражение лица своего в то время, когда она говорила с нею, — и, заливаясь слезами, почти без памяти упадала головой на свой рабочий столик, бывший единственным свидетелем ее страданий.

«Господи! — думала она, — ты видишь мое сердце. Разве я не свято исполняю обязанность дочери? Господи! наставь меня, вразуми меня, покажи мне вину мою. Отчего же я неблагодарна? Отчего же я бесчувственна?»

Софья изнывала от тайных страданий, и только бледность лица ее и постоянно тоскливое выражение очей изобличали, что ей не сладка жизнь. Но это не трогало матери, напротив, еще раздражало ее. Она называла ее капризной девчонкой. Она говорила ей, стараясь придавать словам своим умышленно обидный тон: «Что это ты приняла на себя вид какой-то жалкой, притесненной, оби-

женной? Ты и без того не очень хороша, а это, право, нейдет к тебе...»

Но днями истинной пытки для Софьи были те дни, в которые отец ее давал у себя *вечера,* или *балы,* как говорила Надежда Сергеевна.

На эти «балы» были всегда приглашаемы, лично самим г-ном Поволокиным, две или три княгини или графини, с мужьями которых он имел постоянные сношения, по картам. Эти княгини и графини показывали, что делают ему в полном смысле *честь* своим посещением. За несколько дней до такого бала супруга г-на Поволокина принимала на себя вид гораздо важнее обыкновенного: она чаще и сердитее обращалась к дочери. «Как ты странно держишься, милая! В твоей *турнире* нет никакой *грасы*[1]. Вот посмотрела бы ты на графиню Д* — загляденье просто: как войдет в гостиную, так и говорить не нужно — всякий узнает, что графиня. Так нет себе, где! У нас *хорошего* перенимать не любят. Вот хоть бы прошедший раз, когда у нас была княгиня, я просто не знала, что делать: не замечает ее, — и чем же занимается? Забилась в угол, да и изволит разговаривать с Катенькой Пороховой: экая невидаль! Другая, на твоем месте, прочь бы не отошла целый вечер от княгини, предупреждала бы ее малейшие желания, так бы и глядела ей в глаза. Ну, а то что̀ она теперь о тебе подумает? уж верно скажет: экая дура, и слова-то сказать не умеет — такая невоспитанная! А кажется, матушка, потратили-таки на твое воспитание довольно. Каких учителей не нанимали! Вот посмотри, полюбопытствуй, у отца в кабинете есть счетец, что̀ ты ему стоила. А он не бог знает какой миллионер!»

Неловкое унижение матери Софьи перед княгинями и графинями, грациозная недоступность, очаровательная важность этих госпож показали ей неизмеримое расстояние между ими и ею. Она с негодованием видела, как среднее сословие карикатурно вытягивается до подмосток, на которых величается аристократия, и с какою милою и снисходительною насмешкою эта аристократия смотрит на жалкие усилия *легонького дворянства.* Все это сделало на нее сильное впечатление и отдалило ее от общества, в котором она, по собственному сознанию, не могла

---

[1] грации, изящества (*от франц.* grace).

играть никакой роли. Она выезжала потому только, что ей было приказано выезжать, и не отделялась в гостиных от массы. Это ничтожество в обществе нисколько не оскорбляло ее самолюбия: она знала, что наделена всеми средствами, которые бы должны были вывесть ее на авансцену, но что только собственная воля заставляет ее не употреблять ни одного из этих средств и постоянно оставаться в глубине сцены. Там из простой, невольной зрительницы она вскоре сделалась невольною наблюдательницей. Мимо ее мелькали тысячи движущихся существ обоего пола, убранных самыми бессмысленными прихотями, разукрашенных самыми безумными предрассудками, которые назывались *светскими приличиями*. Это был пресмешной маскарад, пестрее, разнообразнее и бессмысленнее итальянских карнавалов, смешной еще более потому, что все эти движущиеся существа нимало не подозревали нелепости своих костюмов и, задыхаясь под безобразными масками, готовы были божиться, что они ходят с открытыми лицами. По крайней мере высшее общество, как французский водевиль, при всей своей пустоте, показалось ей в первый раз заманчивым, потому что оно имеет и блеск, и остроту, и каламбуры, и как будто наружный смысл; к тому же она видела издалека это общество: но среднее, — о, среднее общество! — оно показалось ей тем же французским водевилем, только презабавно переделанным на русские нравы.

Вот какова была дочь генерала Поволокина, и вот какова была жизнь ее. Утром 17 сентября 18**, она, как мы говорили выше, сидела в своей комнате, задумавшись над книгою. И читатели наши могут представить положение ее в ту минуту, когда она обернулась на скрип отворявшейся двери и увидела перед собою шарообразную чиновницу с кожаным ридикюлем в руке и с лентами цвета адского пламени.

Но Софья закрыла книгу, встала со стула и с своей обычною приветливостию пошла навстречу гостье.

— Имею честь поздравить ваше превосходительство с днем ангела. Осип Ильич приносит вам также чувствительнейшее свое поздравление.

Проговорив это приветствие, она едва не задохлась.

— Садитесь, Аграфена Петровна; очень рада вас видеть; вы никогда не забывали этого дня — всегда беспокоитесь сами...

— Как же можно забыть, Софья Николаевна? Помилуйте, да что же после этого и помнить! Я и Осип Ильич очень чувствуем, поверьте, очень помним все милости и его превосходительства, и ее превосходительства, и ваши.

Софья кусала губы.

— Полноте, полноте, Аграфена Петровна; может быть, папенька и маменька, но я еще ничего не могла сделать...

— Чувствуем, матушка, — перебила чиновница, — все ваши благодеяния, вполне ценим и чувствуем; все, таки все по гроб не забудем; я — вот, как перед богом, говорю перед вами — такой человек, как ваш батюшка, на редкость в нынешнем свете. Уж подлинно сказать, нынче переводятся хорошие люди... А как в своем здоровье ее превосходительство?

— Маменька, слава богу, здорова; она сейчас придет; она, верно, еще не знает, что вы здесь.

— Не беспокойте ее превосходительство, ради бога не беспокойте, Софья Николаевна, прошу вас; знаю, очень хорошо знаю, что такое хозяйка: и туда заглянь, и в другое место, и в третье — везде нужно; день-деньской пройдет, не увидишь. Какую это вы книжку изволите читать? позвольте полюбопытствовать.

— «Корреджио» Эленшлегера.

— Про этакого сочинителя я не слыхала. Господи, подумаешь, сколько на свете есть сочинителей!.. Ах! — И при этом *ах* — Аграфена Петровна вскочила со стула и покатилась навстречу входившей в комнату Надежды Сергеевны:

— Матушка, ваше превосходительство! усерднейше поздравляю вас! Дай бог вам еще сто раз праздновать этот день, дождаться и внучек и правнучек, поскорее пристроить Софью Николаевну, чтобы...

— Благодарю вас, милая. Садитесь. Что муж ваш?

— Слава богу, ваше превосходительство, здоров, вашими молитвами. Ни днем ни ночью покоя по службе нет, все себе пишет. Уж, нечего сказать, много видала усердствия к службе, а такого, так истинно скажу, на редкость. Говорю: побойся бога, Осип Ильич, ведь ты человек: долго ли занемочь? кажется, ты уж составил себе *реноме*. Нет, говорит, Аграфена Петровна, на то уж, говорит, присягу дал: в гроб лягу, а служить не перестану. Что с ним

будешь делать?.. Утром перед департаментом лично был у вас с поздравлением.

При этом слове г-жа Теребеньина немного привстала.

— Да, мне сказывали, — говорила небрежно Надежда Сергеевна, — это было еще очень рано, я спала.

— Знаю, знаю, матушка ваше превосходительство, вы не то, что наша сестра: почиваете, покуда почивается. Какая работа в вашем звании!.. Вот мы, бедные люди, в поте лица добывающие хлеб, так это другое дело.

— Однако, милая, если бы я не хозяйничала сама, то весь дом у меня пошел бы вверх дном... Что моя дорогая именинница? — И, протяжно произнося это, она рассматривала шаль, накинутую на дочери. — Очень хороший цвет.

— Прекрасный, бесподобнейший... Да уж может ли быть у вас что-нибудь дурное? Кому же и иметь хорошее? Уж вы мне простите, простой женщине, ваше превосходительство, а уж я скажу, как вас вместе видишь с Софьей Николаевной, так вот сердце и радуется. Такой материнской любви поискать в нынешнем веке!

— Да; кажется, она не может на меня пожаловаться: я всю жизнь посвятила ей, я для нее всем жертвовала.

— И сейчас видно.

Софья избежала взора матери, который жадно выжидал ответа на фразу, заранее составленную и употреблявшуюся при всяком удобном случае.

— Как натурально сделано! — начала Аграфена Петровна, смотря на литографированный портрет, стоявший на столике против нее. — Не родственника ли вашего, смею спросить, Софья Николаевна?

Мать и дочь улыбнулись в одно время.

— Это портрет английского писателя Байрона, — отвечала Софья закрасневшись, скороговоркою.

— Она влюблена в книги, — говорила насмешливо Надежда Сергеевна, — ей бы только с утра до ночи сидеть в своей комнате да читать. Рукоделием так мы не очень любим заниматься. А с одним чтением не так-то далеко уедешь.

— Очень хороший портрет, — продолжала Аграфена Петровна, — только жаль, что не покрашенный, а вот с Осипа Ильича недавно писал в миньятюрном виде портрет красками один молодой человек, живописец, дальний наш родственник. Удивительнейшее сходство! просто жи-

вой сидит, только что не говорит — так трафит, что чудо! Недавно писал он с генеральши Толбуковой, и та осталась довольна, и двести ассигнациями дала ему за портрет.

— В самом деле? Меня муж все просит, чтоб я списала с себя и с нее портреты (тут она указала на дочь). Пусть бы он принес показать свою работу, для образчика; я бы, может быть, заказала ему оба портрета.

— Очень рада услужить вашему превосходительству: дам ему знать непременно; он за честь должен себе поставить списывать с вас портрет. Вы им останетесь довольны; у него руки золотые, да язычок-то не совсем чист. Мог бы обогатиться, ей-богу правда, пиши только портреты, а то — где! хочу, говорит, большие картины писать, а иной раз и хлеба нет. Все мать избаловала! Уж это баловство никогда до добра не доведет. Впрочем, он ее своими трудами кормит. Пришлю его к вам, пришлю, матушка ваше превосходительство.

— Не забудьте, милая! — проговорила Надежда Сергеевна, вставая со стула.

— Ни за что не забуду.

Аграфена Петровна также встала со стула.

— Прощайте, ваше превосходительство! прощайте, Софья Николаевна. Когда же его прислать прикажете?

— По утрам, часов до двух, я всегда дома. Да чтобы он работу свою принес, — не забудьте.

— Слушаю, слушаю! Прощайте, ваше превосходительство; прощайте, Софья Николаевна.

— Прощайте, милая; благодарю вас.

Софья проводила Аграфену Петровну до двери передней.

— Ради бога, не беспокойтесь, прошу вас, сделайте такую милость, Софья Николаевна.

Наконец, слава богу, Софья осталась одна! Она хотела отдохнуть от визита чиновницы и снова принялась за свою книгу, в то время, как во всем доме бегали, суетились, кричали по случаю приготовления к балу, долженствовавшему быть вечером. Но вдруг она отложила книгу в сторону, опустилась глубже в кресла и задумалась. Воображению бедной девушки было тесно в этом ограниченном, жалком кругу, в который закинула ее прихотливая судьба. Это неугомонное воображение редко оставляло ее в покое: начнет ли она засыпать, оно пригонит кровь к

ее сердцу, и она вздрогнет и пробудится; станет ли читать она, книга выпадает из рук ее, и она лениво скрестит руки и небрежно прислонится к сафьянной подушке дивана. Воображение высоко поднимало ее грудь, грациозно опускало ей на бок головку, заставляло ее так печально вздыхать и так мило задумываться. Вот отчего и в эту минуту она отложила книгу в сторону и остановилась на мучительном разговоре Корреджио с самим собою, по уходе Микеланджело. Как хорошо понимала она страдальческие речи Аллегри... *Художник!..* это имя было так заманчиво для нее; с этим именем соединялся для нее целый мир идей новых, возвышенных, бесконечных. Озаренный лучом вдохновения, художник являлся перед нею существом высшим, таинственным, поставленным между небом и землею, ослепительным венцом божьего создания. Она не подозревала в художнике человека, потому что не могла соединить этих двух идей. Она бы решительно не поняла вас, если бы вы стали говорить о частной жизни художников: о скупости Перуджино, о буйной жизни Рафаэля и Дель-Сарто, об алчности к деньгам Рембрандта. Художник не мог иначе представляться ей, как в образе *Гвидо-Рени,* который с угрызением совести брал деньги за труды свои, считая это униженьем искусства, работал с покрытою головой даже в присутствии папы и отказывался на предложения герцогов, призывавших его в свои владения, из одного только страха, чтобы при дворах их искусство не было унижено в его лице. Софье показался очень странным поступок Анджело с Антонио; она ужасно рассердилась на Эленшлегера за эту сцену. «Мог ли быть таким великий Буонаротти?» — подумала она, и, погружаясь в мечту более и более, она, от великого Буонаротти, перешла мыслию к этому бедному художнику, о котором говорила чиновница. Ей так бы хотелось взглянуть на какого-нибудь художника, удостовериться, похож ли он на ее мечту, на ее создание? Что, если в самом деле он, этот художник, рекомендованный Аграфеною Петровною, не какой-нибудь наемный пачкун, а человек с талантом? Он кормит мать-старушку трудами своими: стало быть, у него доброе сердце; он порывается создать что-нибудь большое: стало быть, он чувствует в себе талант... О, это должен быть настоящий художник! И при этой мысли сердце Софьи сильно забилось. Боже мой! и маменька послала звать его

к себе, с тем чтобы он принес *образчики своей работы*. Как это покажется ему оскорбительным! *Образчики работы*... будто он какой-нибудь торгаш. Впрочем, может быть, он и не то, что я думаю, сказала она про себя, и опять открыла книгу.

Между тем голос ее матери раздавался по всем комнатам; она кричала на лакеев и девок: «Вытрите хорошенько в зале с окошек; вас везде надо натыкать носом. Да чтоб вечером лампы-то хорошенько горели, а то прошедший раз я за вас сгорела от стыда. Вот бог дал дочку: изволит заниматься романами, — не то, чтобы пособлять матери! Растишь, растишь, думаешь, что будет утешением, ан вот!.. Свечки-то восковые поставьте в тройники да обожгите».

— Да свечек недостает, ваше превосходительство.

— Так пошлите скорее в лавку этого лежебока Ваську...

Весь день Надежда Сергеевна косилась на свою дочь, и, по разъезде гостей, она имела такой громкий разговор с нею, что бедная, задыхавшаяся от слез девушка едва могла его вынесть. Главною причиною гнева матери, разразившегося в этот раз так жестоко над дочерью, был неприезд одной княгини, на которую она очень надеялась, чтобы посещением ее блеснуть перед высшим чиновничеством.

Софья долго молилась и плакала. Молитва и слезы облегчили ее. Под утро она заснула; но сон ее был беспокоен; она поминутно вздрагивала и просыпалась. Ей снилось, что она стоит на самой окраине бездны; сердце ее замирало, голова кружилась, и она упадала в глубину, а там, на дне этой глубины, сверкали перед ней гневные очи ее матери, — или эта женщина стояла перед ней с угрожающими жестами, произнося такие страшные слова... Она бросалась перед нею на колени, но та беспощадно отталкивала ее и не сводила с нее своих пронзительных очей.

Она проснулась от боли, но сон скоро снова сомкнул ее глаза — и вот перед нею стоит этот художник, о котором говорила Аграфена Петровна: «Он пришел, — говорят ей, — списывать с вас портрет». — «Не с меня, а с маменьки». — «Нет, с вас». Она подходит к нему, смотрит на него. Как он хорош собою; какое выражение в глазах его! Он смотрит на нее с такою любовию и вместе так застенчиво. Ей стало легко и приятно... Разве он меня

любит? Неправда! в мире нет существа, которое бы меня любило. Я одинока... А вот, вдали, старушка мать его, которую он кормит своими трудами. Софья подходит к нему, он берет ее за руку, но она отдернула от него руку, смотрит на него — и что же? перед нею опять эти сердитые глаза, и они режут ей сердце. Она вскрикивает, она чувствует, что все это во сне, хочет проснуться — и не может... И вот снова *он* перед нею — и ей становится легче. Грустный и одинокий, сидит он в огромной зале, а около него толпится буйная чернь, не замечая его. Эта чернь величает себя громкими именами *любителей, покровителей искусства,* и важно расхаживает, и останавливается перед картинами, висящими в зале, и бесстыдно произносит свои решения — дерзкие и нелепые, и святотатственно ругается над искусством... *Он* слышит эти речи — и, кажется, ему становится еще тяжелее, еще грустнее. «Так это-то наши ценители? — говорит он. — Эти-то люди даруют нам славу? от них-то зависит наша участь? Они поручают нас бессмертию?.. Боже! боже! для чего ты обнажил передо мною эту тайну? Мне легко было в моем неведении, я думал, что глас народа — твой глас, боже!» Кто-то выходит из толпы, и толпа перед ним расступается; он идет мерным шагом, с нахмуренным челом, важно, самодовольно; он дерзче и самоувереннее всей этой дерзкой и самоуверенной черни; он кричит: «За мною, за мною! я покажу вам чудо искусства! на колени!» И вся эта масса двинулась за ним, и он отдернул занавес и указал им на картину, висевшую за занавесом. «Вот вам картина, в ней соединяется все: мягкость кисти, легкость исполнения и правильность рисунка Гвидова, простота, изучение природы и антиков Доминикина, и грандиозность Леонардо да Винчи!» И вся эта чернь с разинутыми ртами слушала оратора, и начала дивиться картине, и разразилась громом нелепых кликов и неистовых рукоплесканий. «Где он? где этот великий художник? мы хотим его видеть, мы хотим увенчать его!» — повторялось каждым порознь и вдруг всеми. Оратор искривил рот улыбкою и, указав туда, где сидел бедный художник, воскликнул: «Вот он!» Беснуясь, бросилась к нему чернь. *Он* видел и слышал все, он с непонятною силою раздвинул в обе стороны волны народа, нахлынувшего к нему, и остановился перед лицом виновника торжества своего. Лицо его было бледно, губы дрожали от гнева. «Кто дал

тебе право богохульствовать?» — произнес он замирающим голосом, опустив на плечо его железную руку. Но силы оставили его, и он грянулся трупом на пол. Оратор захохотал и оттолкнул ногою труп. Черты этого человека делались явственнее для Софьи; ей показалось, что он смотрит на нее глазами ее матери, подходит к ней, указывая на труп, и говорит: «Вот что такое слава!» — и опять хохочет. Сердце ее замирает от ужаса... Она вздрагивает и просыпается. Уже давным-давно утро, 11 часов — и она, измученная, поднялась с постели от страданий мечтательных к страданиям действительным. Неприятное предчувствие тяготило ее. Она подошла к зеркалу, глаза ее распухли от слез. «Вот, — подумала она, — новая причина для гнева маменьки. А этот сон? Всегда, говорят, о чем много думаешь, то непременно должно присниться; утром же я так раздумалась о художниках!»

Прошло дня три после этого; на четвертый день утром лакей докладывает, при Софье, ее матери:

— Какой-то живописец пришел, ваше превосходительство, и спрашивает вас; говорит, что прислан от госпожи Теребеньиной.

— Позови его в залу, — сказала Надежда Сергеевна. — Пойдем посмотреть, — продолжала она, обращаясь к дочери, — что это за фигура. Я что-то не очень верю рекомендации этой Теребеньиной.

Они вошли в залу. «Где же живописец?» Надежда Сергеевна осмотрела всю залу и потом, с заимствованною у одной княгини гримасою, кивнула головою входившему молодому человеку, который довольно ловко и вежливо раскланивался.

Софья взглянула на него — и глаза ее помутились. Она только невнятно прошептала: «Странное сходство!» — и облокотилась на стол.

— Что с тобой? — возразила Надежда Сергеевна, заметя движение дочери.

— Мне дурно... — прошептала она и покачнулась.

— Ай, ай! что это такое! Палашка, Грушка, сюда, скорей!

В эту минуту послышался звонок в передней.

— Его сиятельство граф М*, — сказал вошедший лакей.

— Выведите скорей барышню, поддержите ее... Ах боже мой! сейчас, просите графа...

Горничные вбежали в залу.

— Ну, выводите же ее. Мне, батюшка, теперь не до вас, — проговорила она, обращаясь к живописцу, — извините... Можете зайти после. Проси графа. — Надежда Сергеевна подошла к зеркалу.

Живописец посмотрел на нее с ног до головы — и вышел из комнаты. Хорошо, что Надежда Сергеевна не заметила этого взгляда!

ГЛАВА II

> Художник не может быть исключительно только художником: он вместе и человек.
>
> *Эленшлегер.*

> О, если ты для юноши сего,
> Во мзду заслуг, готовишь славу рая,
> Молю тебя, подруга неземная,
> Здесь на земле не забывай его.
> . . . .
> Да вкусит он вполне твою любовь!
> *Венок ему на небе уготовь,*
> Но здесь подай сосуд очарованья
> Без яда слез, без примеси страданья.
>
> *Гете.*

— Неудача, матушка! опять неудача, вечная неудача! Неудачи будут преследовать меня всю жизнь: я создан для неудач!

И молодой человек, произносивший это, бросил на пол шляпу и картину, завернутую в холст, которую держал в руке, упал головою на стол и закрыл руками лицо.

— Полно, дитя мое, — говорила старушка, к которой относились слова молодого человека, — полно, не убивай себя; бог милостив!

— Бог милостив! да, он милостив, я это знаю; но люди, люди безжалостны, матушка! У нас нет куска хлеба на завтра; вы можете завтра умереть с голода, а я, сын ваш, я не могу доставить вам только одного куска хлеба... И мне двадцать три года, я здоров и силен, и я вас заставляю умирать с голода! О, это ужасно, ужасно, матушка!..

Он опустился на стул, сложил руки и посмотрел на старушку с страдальческим выражением отчаяния.

— Друг мой, дитя мое! что это ты говоришь? что с тобой? Успокойся. Ты один у меня защитник, ты один у меня покровитель, один кормилец мой. Что бы я была без тебя? Не ропщи, голубчик! Ты живешь только для своей бедной старухи. Разве могут быть дети лучше тебя, добрее, умнее тебя? Ведь ты моя гордость, ты все для меня. Вот как я смотрю на тебя, так я и сыта, и весела, и счастлива. Перестань же, не отчаивайся...

И старушка смотрела на него с святою любовию матери и недосказанное договаривала поцелуями.

— Вы сегодня отдали за эту лачужку, за этот чердак последние деньги... О, я брошу проклятую кисть и наймусь к кому-нибудь в услужение!

— Уж чего тебе в голову не придет! — Она старалась улыбнуться. — Еще у меня осталось немного деньжонок; на неделю с нас будет, а там ты сыщешь заказ, и мы опять поправимся. Что ж делать, Сашенька? не вдруг! надо потерпеть и нужду. Не все будет так: оценят твой талант — и все бросятся к тебе; тогда только работать успевай. Мы разбогатеем; ты старушке своей дашь особую комнатку; у тебя будет такая большая, богатая мастерская. Все заговорят о тебе, а мое сердце будет так радоваться... Ты женишься, а я стану нянчить моих внучат, стану баловать их. Ведь старушки бабушки такие баловницы!

— Мечты и надежды! Нет, я уж перестал мечтать и надеяться. Вот скоро четыре года, как я надеюсь на счастливейшее завтра. Что же это завтра так долго не приходит? Те могут надеяться, у кого хоть одна из надежд осуществилась, а я... Да что об этом говорить, матушка? здесь надо иметь покровителей... Что один талант без них? А где они у меня? Да, правда, Аграфена Петровна, я было совсем забыл про нее. Вот до чего доводит нужда: эта подлая торговка мне покровительствует, она рекомендует меня, делает мне благодеяние! Бог свидетель: мне не легко было идти сегодня по этой рекомендации, и еще нести образчик своей работы, выпрашивать, ради Христа, подаянья, позволения за какую-нибудь сотню рублей малевать безобразное лицо, тратить на это божий дар! Однако я скрепил сердце и пошел, — но и тут неудача! Право, трудно найти человека несчастнее меня!

— Что же? ей не понравилась твоя работа?

— Она не видала моей работы, я не развертывал этого полотна. Ну, как бы вы думали, что такое? Такие вещи могут случаться только со мной. Я прихожу; человек пошел обо мне докладывать; я жду с четверть часа в грязной передней, наконец слышу чей-то голос и чьи-то шаги в зале... Вхожу туда: передо мной стоят две женщины, одна пожилая, другая молодая. Я еще не успел разинуть рта, как этой молодой сделалось дурно, и она едва не упала, — как будто она только и ждала моего прихода, чтобы упасть в обморок. В это же время доложили о приезде какого-то графа, и госпожа Поволокина просто попросила меня выйти вон, сказала, что ей не до меня. Тут пошла суматоха по всему дому, беготня, крик. Я не помню, как сошел с лестницы.

Александр замолчал; голова его склонилась на грудь. «О, если бы знала матушка, — подумал он, — если бы она могла себе представить вполне, как становится тяжка моя жизнь, что̀ я перенес и перечувствовал в эти годы! Мне часто кажется, что я никогда не достигну, никогда и никакой известности, потому что я не имею средств на это. Я не в силах ничего произвесть, я не сделаю ни шага вперед и останусь навсегда только с одним мучительным стремлением творить. Какая-нибудь мысль поразит меня, какой-нибудь образ очертится в моем воображении, я в жару хватаюсь за кисть — но эта мысль ускользает от меня и сменяется другою мыслию, но это видение, растревожившее меня, исчезает, и перед глазами моими какие-то неопределенные призраки; кисть выпадает из рук моих, я начинаю чувствовать свое бессилие... О, нет ничего ужаснее, как неуверенность в самом себе. Ведь я вижу же перед собою художников, поэтов, которых имена сделались известными, в которых все признают дарования. Они так горды своим сознанием, так недоступно-высоки. Талант — это орел: он сознает мощь свою; он только расправит крылья и гордо летит в небо. А я, неужели в самом деле останусь я вечно с этим неудовлетворенным порывом к созданию? Для чего же мне указали на нѐбо и не дали крыльев?.. Не оттого ли я никак не могу создать до сих пор образа для моей Ревекки? Сколько времени натянуто это полотно — и что же на нем? один только меловой очерк. Еще ничего не воплотилось в моей мысли, но сколько раз восставали передо

мною тени и этого посланца Авраамова, ожидающего с такою святою уверенностию у колодца благодати господней, и этой очаровательной девушки, которая уже при самом рождении наречена господом женою Исаака! Но это только одни тени; я гонюсь за ними и не могу уловить их! О, как мне грустно!..»

Старушка благоговейно смотрела на сына, она не смела перерывать его думы. «Голубчик! как он страдает!» — шептала она.

Но через несколько минут Александр вдруг обратился к матери, крепко сжал и поцеловал ее морщинистую руку.

— Ваша правда, матушка, — сказал он ей, — бог не оставит нас. Да будет его святая воля!

В эту минуту он думал: «Я должен утешать ее, облегчать ее горе, — а я, безумец, еще более ее расстроиваю».

Александр горячо любил свою старушку — и как ему было не любить ее? Она не жила собственною жизнию: ее жизнь был он; она дышала им, она смотрела его глазами, его желания были ее желаниями; она предупреждала и угадывала часто его мысли; она, необразованная женщина, возвышалась иногда до идеи, которая не могла быть ей доступна, и все потому, что эта идея принадлежала ему, высказывалась им. Любовь заставляла ее инстинктивно понимать его. Ее сердце срослось с его сердцем; она решительно не могла представить себе, можно ли отделить его существование от ее?

— Ты переживешь меня, Саша, — однажды сказала она ему, — да ты и должен пережить меня; но кто же у тебя останется здесь, кто же будет ходить за тобою, кто будет лелеять тебя, дитя мое? кто же будет тебя так любить, как я люблю? на кого я тебя оставлю здесь? — и она призадумалась, и слеза заблистала в глазах ее.

— Матушка! кто знает? Воля господня неисповедима: смерть не разбирает лет...

Старушка судорожно схватила руку сына и первый раз в жизни посмотрела на него с выражением глубокой тоски и мучительного оскорбления.

— Бог с тобой! кто тебе внушил такую мысль? — Слезы градом катились по лицу ее; она начала крестить его... — Никогда мне не говори об этом, — слышишь ли? никогда. Я грешна; но я еще не до такой степени

прогневила бога, чтоб он меня так наказал... Как могло тебе прийти это в голову?

Весь этот день она казалась необыкновенно печальною; возражение молодого человека произвело на нее сильное впечатление; видно, что ей никогда не приходила в голову страшная мысль пережить его — и в эту только минуту вдруг, неожиданно, эта мысль представилась ей во всем ужасе.

Александру было около пяти лет, когда умер отец его, бывший постоянно лет двадцать гувернером в Академии художеств. Долго многие художники с уважением вспоминали о почтенном своем воспитателе, строгом и добром, серьезном и веселом, умевшем и шутить и наказывать, которого все любили и боялись. Долго многие из них помнили любимую фразу Игнатия Васильевича, которую он произносил важно, с расстановкою, перебирая обыкновенно большую печатку, висевшую на цепочке по его темно-гороховым брюкам: «Строгость — вещь полезная, а потому необходимая; сначала неприятно, да потом слюбится, ей-богу правда; вспомните и Игнатия Васильевича». Когда Саша стал подрастать, Игнатий Васильевич иногда, по праздничным дням, приводил его с собой в классы, брал на руки и, обращаясь к воспитанникам, говорил: «Вот вам еще художник, ну кланяйся же им, Сашурка, да проси, чтоб полюбили». Но дитя не слушало отца, протягивало ручонки к картинам и кричало: «Папà, папà, посмотри, какой человек там, а вон там мальчик с крылышками! Зачем у него крылышки, папà?» Саша не любил игрушек; для него лучше всех игрушек был карандаш, он все черкал им по бумаге и говорил, что рисует того мальчика с крылышками, что висит наверху. Он не любил, когда его брали гулять или в гости, а все просился наверх картинки смотреть.

По смерти Игнатия Васильевича жена его осталась с пенсионом, которым она едва могла только прокормить себя да бедного сына. О воспитании его думать было нечего; сердце ее раздиралось при взгляде на него; она целые ночи просиживала у его постельки, молилась и плакала. Так прошло пять лет. В это время один из воспитанников Академии, по привязанности к старому своему наставнику, в свободные часы учил Сашу грамоте и рисованью. Наконец бог услышал материнскую молитву, нашелся добрый человек, который сжалился над положе-

нием этой женщины и определил Сашу в Академию пенсионером на свой счет. Успехи его превзошли все ожидания: им не могли нахвалиться; мать видела в нем своего будущего кормильца, и надежды ее начинали осуществляться, — она отдохнула от горя. Однажды, перед самым выпуском своим, он пришел к матери необыкновенно рассеянный и задумчивый.

— Матушка, — сказал он, помолчав немного, — я назначен в числе тех, которых посылают за границу на казенный счет.

Старушка вздрогнула и со страхом посмотрела на него. Она знала, что *Италия* была любимою его мечтою, что во сне и на яву почему-то он все бредил этою Италиею, несмотря на то, что желание свое посетить ее считал несбыточным. И теперь его сон неожиданно сбывался.

«Я должна расстаться с ним на старости лет!.. — Старушка чувствовала, как кровь останавливается в ее жилах. — Умереть без него!..» — И она едва не упала со стула.

— Ты едешь? — проговорила она наконец коснеющим языком.

— Я остаюсь, — отвечал он твердым голосом. — Я у вас один. Мне ли покинуть вас?

Старушка ожила при этих словах и бросилась на грудь сына, обнимала и обливала его слезами, хватала его руку, чтобы поцеловать ее. Она понимала, что он приносит ей жертву, и несвязно лепетала ему:

— Ты со мной всегда! бог благословит тебя!.. Мы не разлучимся...

Напрасно мы стали бы следить за каждым шагом его жизни в эти годы. Грустна и утомительна повесть, в которой действуют два лица: *поэт* и общество; два лица, чуждые и враждебные друг другу, которые никогда не сходились и никогда не сойдутся. Великий Гете дивно изобразил в резком очерке жизнь этого бедного страдальца, которого в мире зовут художником, — и после Гете тысячи брались за этот предмет. Пушкин в десяти *выстраданных* стихах высказал отношения художника к обществу:

> Смешон, участия кто требует у света.
> Холодная толпа взирает на поэта,
> Как на заезжего фигляра...

Слава! слава!.. Изучите жизни великих творцов и спросите самого себя: легко ли добыли они ее? Вы худож-

ник? вы хотите известности, хотите, чтобы вас все знали, чтобы о вас все кричали? это не так-то скоро, погодите! Прежде, чем о вас заговорит как о человеке какая-нибудь Надежда Сергеевна, надобно, чтобы заговорила ее сиятельство Антонида Помпеевна; но прежде, чем заговорит ее сиятельство... О, история *о том, каким образом получается в свете известность,* очень долга...

ГЛАВА III

> Даже в самые минуты отчаяния и безнадежности для человека мерцает слабый и бледный луч надежды.
>
> *«Мандрагора», ком. Макиавеля.*

Дня через четыре после своего странного обморока, Софья сидела на диване вся в подушках; она была бледнее обыкновенного и так слаба, что невольно вздрагивала при каждом неосторожном шуме отпиравшейся двери. На табуретке у ног ее сидела женщина в ситцевом платье, с шелковым пурпурным платком на голове, из-под которого выглядывало серебро волос. Эта женщина вязала чулок и по временам, оставляя спички, устремляла на больную свои глаза, покрывшиеся матом от старости, но еще не вовсе потерявшие выражение.

— Что? полегче ли тебе, моя красавица? а?

— Мне теперь лучше, я только очень слаба. Не беспокойся, няня.

— То-то, моя голубушка! уж эти болезни, бес их знает, так вот зря приходят. Конечно, девическое дело! Лекарства! ну что, помогут, что ли, тебе эти банки-то? Тебе другое надо лекарство: замуж пора, мое дитятко! Как выйдешь замуж, так вот как рукой все болести снимет.

Софья отвернула головку к стене.

— Ну, что отворачиваешься-то? Я правду говорю, матушка; нашелся бы человек хороший — и думать нечего, ей-богу так; мы бы сейчас честным пирком, да и за свадебку. Что ж, Софья Николаевна! ведь я вас нянчила, так надо же мне и ваших деток понянчить. Неужто я не доживу до этого? что, в самом деле?

— Ты говоришь, что она очень бедна, эта старушка?

— Как же, родная! ведь я тебе рассказывала, что я у них года четыре выжила, при покойном-то; нечего сказать, был человек хороший. Ну, тогда они еще жили нештȯ, а теперь еле-еле перебиваются.

— Ты не поверишь, как мне досадно, няня: я была невольной причиной того, что маменька не заказала ему портрета. Когда-нибудь напомню маменьке, чтобы она послала за ним... А что, он разве мало получает за труды свои? ведь он помогает матери?

— Да если бы не он, так она просто бы с голода умерла: пенсиопишка-то небольшой, а он все, что вырабатывает, все ей отдает, сердечный. Да и она в нем, правду сказать, души не слышит.

— Она должна быть такая добрая!.. Да, я вспоминаю, точно, ты мне много прежде о ней рассказывала, когда я еще не знала, что... Мне пришла мысль, няня: я бы желала с ней познакомиться.

Софья пристально посмотрела на няню.

— А что, сударыня, заговорит твоя маменька, коли узнает об этом? — И при сем вопросе няня отложила свой чулок в сторону. — Разве ты не знаешь ее? Статочное ли дело, скажет она, генеральской дочке знакомиться с нищей, которая живет на чердаке!

— Я знаю; но зачем говорить об этом маменьке? Гуляя по утрам, по приказанию доктора, я могу зайти к старушке, а ты предупредишь ее, скажешь, что я так много наслышалась о ее доброте от тебя, что давно желала быть ей чем-нибудь полезной. Слышишь ли, няня? Ведь тут нет ничего предосудительного?..

— Слушаю, слушаю, матушка! Пожалуй, что с тобой будешь делать? Смотри только не проговорись маменьке, а то она меня, пожалуй, и в дом к себе запретит пускать. Ох ты, моя пташка! да в кого это ты уродилась такая добрая? У самой ничего нет, а все бы помогать бедным!

— Будь покойна, я не проговорюсь... А ты скоро пойдешь домой, няня?

— Через день пойду, родная; тебе теперь, слава богу, полегче, — что мне у вас делать? И то совсем загостилась. Зайду к Палагее Семеновне, скажу ей, что к ней собирается моя дорогая барышня... Да как пойдешь гулять, возьми с собой Ваньку, матушка: он малый хороший, а Петрушка сейчас перенесет маменьке.

— Хорошо, хорошо, няня.

Софья опустила голову на подушку и закрыла глаза.

Через несколько минут няня посмотрела на нее и, думая, что она заснула, на цыпочках вышла из комнаты.

Но она не спала, она думала:

«Я хочу видеть эту старушку, хочу видеть ее во что бы то ни стало. Я буду помогать ей сколько могу... Может быть, она полюбит меня, а я отчего-то уже люблю ее заранее... К тому же, взглянуть хоть один раз на художника в том месте, где зарождаются и приводятся в исполнение его мысли... Об этом так давно я мечтаю! О, теперь сны мои, любимые сны мои могут осуществиться! Я бы обо всем этом сказала маменьке, но она не поймет меня, — я должна поневоле скрывать от нее все. Она назовет меня сумасшедшею. В самом деле, не бред ли это, не начало ли помешательства? Сходство того, которого я видела во сне, с *ним*... это непонятно! Кто бы мог этому поверить? неужели так тесна связь мира духовного с миром вещественным? неужели образы, хранящиеся в нас, образы, которые душа жаждет видеть в действительности, могут являться преждевременно перед нами и так ясно, так отчетливо?..»

Ровно через неделю после приведенного нами разговора с няней, Софье в первый раз позволено было пройтиться.

Доктор советовал Надежде Сергеевне, чтобы дочь ее гуляла всякий день, даже несмотря ни на какую погоду, и чем больше, тем лучше.

Надежда Сергеевна, имевши особенные причины во всем беспрекословно повиноваться доктору, строго приказала дочери исполнять его волю, прибавив в заключение с принужденною нежностию: «Ты знаешь, друг мой, как мне дорого твое здоровье. Когда ты занеможешь, я сама не своя. Карл Иванович говорит, что тебе необходимо гулять всякий день, а уж ты, милая, знаешь его искусство; к тому же он так привязан ко всему нашему семейству».

И точно, Карл Иванович был привязан к семейству г-на Поволокина: он был необходимым лицом в его доме, не только врачом, но *другом дома*.

Итак желание Софьи исполнилось. Целую неделю с нетерпением ждала она этого дня, в который позволят ей выйти из душной комнаты подышать свежим осенним

воздухом, — дня, в который она должна увидеть эту бедную старушку... и художника. И вот этот день настал. Няня предуведомила мать Александра о приходе своей барышни; няня сказала, что ее добрая барышня непременно хочет с нею познакомиться.

— Уж я таки довольно рассказала о вас, Палагея Семеновна, — прибавляла няня, — и она, моя голубушка, так и рвется к тебе; заочно так полюбила тебя, что все только о тебе и расспрашивает.

— Она, видно, не в матушку! — возразила Палагея Семеновна, которая никак не могла забыть приема, сделанного ее сыну.

— Какое в матушку! — И няня пускалась в подробные рассказы о своей Софье.

С трепетом сердца всходила девушка по крутой лестнице в четвертый этаж; ей стало почему-то страшно, когда лакей дернул грязную бечевку, к которой прикреплялся колокольчик; она снова почувствовала болезненную слабость, когда очутилась за дверью в темном чулане, который никак нельзя было назвать комнатою. Старушка, мать Александра, встретила Софью Николаевну со слезами. Няня ее, которая была тут же, целовала и миловала свое дитятко с разными прибаутками. Софья краснела и отвечала безмолвным пожатием руки на сердечные приветствия добрых старушек, которые хлопотали около нее.

— Дай-ка, моя ласточка, я сниму с тебя теплые сапожки, — говорила няня, усаживая ее на стул, когда они вышли из темного чулана в небольшую комнату.

— Не беспокойся, няня; ты знаешь, что я не могу долго оставаться здесь.

— Посидите, матушка! Уж я ждала, ждала вас, мою дорогую гостью.

Не прошло и четверти часа, а Софье сделалось так легко и приятно, что она век бы не вышла из этой комнаты. Простое, непринужденное обращение с ней старушки, ее ласка, прямо от души, без всякой примеси лести, — все это было для нее отрадно и ново. Когда старушка заговорила о своем сыне, лицо ее вдруг одушевилось, глаза загорелись: она была полна счастием, она помолодела. Софья с восторгом следила за каждым ее движением, с восторгом слушала ее речи. «Вот что такое любовь матери!» — невольно подумала она.

Софья между тем рассматривала комнату, в которой находилась. Комнатка эта, в два окна, образовала правильный четвероугольник, в который свет проходил сквозь верхние стекла рамы, ибо два нижние стекла были заставлены исчерченными мелом и карандашом картонами. Мебель этой комнатки состояла из старинного стола красного дерева, из пяти плетеных стульев, четырех целых и одного на трех ножках, на котором брошена была палитра и кисти, — из большого станка, на котором стояло натянутое на рамку полотно, исчерченное мелом, да из двух недоконченных портретов, стоявших в углу комнаты на полу. Не так представляла себе Софья мастерскую художника. «Где же его произведения? — подумала она, — тут ничего нет. Где же они?» — И она невольно вздохнула. «Ах, как бы я желала увидеть его мечты, его мысли, осуществившиеся на полотне... Хоть один, недоконченный очерк, хоть какой-нибудь отрывок мысли!»

— Вот, матушка, — сказала старушка, — вот в этой комнате у нас все — и мастерская Саши, и наша гостиная, и зала, и столовая, — все; только там еще есть маленькая каморка, — это моя спальня. — Потом старушка принялась рассказывать о том, каким горестям, каким оскорблениям часто подвергался сын ее, заработывая себе и ей кусок насущного хлеба.

Сердце Софьи разрывалось от негодования в продолжение рассказа старушки; наконец она не выдержала полноты чувств, бросилась к бедной матери, обняла ее и потом молча пожала ей руку.

Такого горячего, такого искреннего участия давно не встречала старушка; она хотела поцеловать эту руку, но та вспыхнула и отдернула ее. Они обнялись и поцеловались. С этой минуты принужденность в обращении их исчезла; старушка забыла, что перед ней сидит генеральская дочь, дочь той барыни, которая так приняла ее сына.

Когда в передней зазвенел колокольчик, Палагея Семеновна радостно вскричала:

— А! это Саша. Как я рада, что он пришел: я вам его сейчас представлю. Ведь он у меня молодец.

И она почти побежала навстречу входившему сыну.

— Вот он, родная; вот мое сокровище, утешение моей старости. — И она одной рукой держала его руку, другою гладила его щеку.

Александр, краснея, кланялся Софье; она привстала, минуты чрез две нечаянно взглянула на него, — он пристально смотрел на нее; лицо ее также вспыхнуло. Румянец — загляденье на смуглом личике! Софья была прелестна...

Старушка все что-то говорила: няня поддакивала ей; Софья Николаевна слушала или казалась слушающею.

Он пристально смотрел на Софью.

Вдруг она вздрогнула, будто испуганная:

— Мне уж давно пора домой. Я засиделась у вас.

Быстро встала она со стула и подбежала к столу, на котором лежала ее шляпка.

Старушка и няня опять захлопотались около нее.

— Не забывайте же меня, навещайте; я уже не знаю, как и благодарить вас. Не хворайте, Софья Николаевна; дайте-ка я с легкой руки перекрещу вас. Прощайте, прощайте! — Софья целовала добрую старушку.

Подходя к дверям, она во второй раз взглянула на него, она почти незаметно наклонила свою голову в знак прощанья.

Старушка проводила Софью Николаевну до половины лестницы и, возвратясь, качала головой.

— Как ты это не догадался проводить ее! Что это с тобой сделалось?.. А какая милая, добрая барышня!.. Дружочек мой, тебе надо было хоть с лестницы свести ее. Уж этого приличие требовало... Что с тобой?..

Александр, казалось, не слыхал упрека матери. Он неподвижно стоял на одном месте; глаза его с любовию устремлялись на какой-то предмет, верно для него одного видимый. Он, как Гамлет, готов был заговорить с своим видением.

— Сашенька! что ты это, голубчик? Да ты и не слышишь меня.

Он огляделся кругом, он бросился к матери с выражением полной радости:

— Матушка! матушка! я нашел мою *Ревекку*, я нашел ее.

Старушка с недоумением посмотрела на него.

— Ах ты, голубчик мой, да где же ты это нашел ее?

— Она была здесь, у вас, матушка... Вот она сейчас только вышла отсюда.

Старушка снова и еще с бóльшим недоумением и даже беспокойством посмотрела на сына.

— Сейчас вышла? Да это генеральская дочка, Софья Николаевна.

— Это она, она-то и есть, моя Ревекка! Теперь моя картина кончена!.. О, вот какое лицо мне нужно было для Ревекки! Так вот что, несмотря на мучительные усилия, никак не могло создать мое воображение!..

ГЛАВА IV

Влюбиться можно, так; но он не дворянин,
И вряд ли, сударь, он имеет даже чин,
Девица же она известнейшего рода,
Супруга выбрать ей не можно из народа.

Старинная комедия.

— Не может быть, Аграфена Петровна, не поверю. Просто тут нет никакого вероятия.

И Осип Ильич, говоря это, ходил большими шагами по комнате, качал головой и закрывал уши ладонями.

— Нечего затыкать уши. Что я? сплетница, что ли, какая, торговка уличная, как Алена Прохоровна? Нет, батюшка, не таковская: уж у кого у другого, а у меня от сплеток-то язычок не отсохнет. Я имею, слава богу, знакомство хорошее, известные фамилии, — не то, чтобы арнаутов каких!

— Статочное ли дело?.. О, боже мой, боже мой! — расхаживая, говорил себе под нос Осип Ильич и время от времени пожимал плечами, хмурил брови и делал различные жесты руками... — Шутка сказать: дочь такого важного чиновника! Неужели?.. И вы говорите, Аграфена Петровна, что она сама бывает, с позволения сказать, у этой бабы всякий день, и что это продолжается почти уже около полугода, и что тот при ней в нанковой куртке, без всякой конфузии, так вот себе и пачкает кистью?

— Говорят тебе, что *да;* нечего пялить глаза-то. И старушонка-то говорит ей *ты*...

— Ты! ах боже мой!.. дочери такой особы? она? господи! Ну, до каких же это времен мы дожили, Аграфена Петровна! Уж что ж после этого осталось?

— Говорят, что манишку подарила ей, собственными руками вышитую...

— Собственными руками?.. Непонятно! просто непонятно!

— И ситцу на платье, чепчик с кружевами и с лентами у мадамы на Невском на заказ сделан!

— На заказ! фу, боже мой! И, я думаю, ведь что̀ сто̀ит в магазине на Невском!

— Не шутите теперь, Осип Ильич, с Палагеей Семеновной: в честь попала!

— Вот воспитание, Аграфена Петровна! Вот вам извольте воспитывать детей! Благодарение богу, что не имеем их, истинно так... — При этом Осип Ильич перекрестился.

— Скажите, так это нянька-то и познакомила их? — спросил он, подумав немного. — Дома не знают, а она как будто гулять, да и туда? Ай-яй-яй! Неужто, в самом деле? От кого же вы об этом проведали, Аграфена Петровна?

— Говорят тебе, что от ихней кухарки; ведь она ходит к нашей, — все и порассказала.

— Ну что ж ей там за компания, скажите на милость?.. Просто, что называется — постичь не могу!

— Уж в Алексашеньку не влюбилась ли? Чего доброго! каких чудес не бывает.

— Она... в него влюбится? ей в живописца, в простого? Да помилуйте ради бога! он, я думаю, и двенадцатого класса не имеет? Ни за что!.. Ну, похоже ли это на дело? Ведь этого и в романе на написали бы, ей-богу, не написали бы! Невероятно...

— Заладил свое! а я так всему верю. Испорченная девчонка — вот тебе и кончено; куры да амуры, он — то, а она — это; вот и влюбились. Долго ли тут? Не велика премудрость: знаем мы эти шашни!

— Послушай, Аграфена Петровна! Да что же он-то такое? Просто, с позволения сказать, живописец; ну, а она — дочь такого человека, черт возьми!.. Это уж из рук вон... Конечно, у него есть искусство — ни слова: очень живо рисует; ведь вот посмотри на стену — как вылитый; нечего и говорить: второй я, и владимирский крест,

все это как будто в самом деле, так что пощупать иной раз хочется... Ну, да оно все-таки живописец, больше ничего!

— И притом еще дрянной мальчишка, не может до сих пор моего портрета списать. Да и твой писал сколько времени! Мать, проклятая баловница, говорит: некогда. Уважение всякое потеряли к нам; а я еще, дура, рекомендую его по всем домам, распинаюсь за него... Никакого чувства нет... Другие бы из благодарности... Знают, что знакомство хорошее имеем, и в таком чине... Другому бы лестно было, сам бы приставал: «Позвольте списать; да когда же?» По мне, я вам скажу, неблагодарный человек хуже всего на свете. Пьяница, вор, беспутный лучше...

— Именно так, неблагодарность хуже всего. Это, так сказать, мать пороков... — После сего Осип Ильич несколько призадумался. Через минуту он снова продолжал, сначала тихо, потом постепенно возвышая голос: — Дочь почтенного человека, в этаком ранге! Ведь, кажется, и пословица сама говорит: яблоко от яблони не далеко катится. Верь после этого пословицам! Тут формально ничего не разберешь: в карете четверкой ездит, в комнатах и бронзы, и лампы, и вазы, и черт знает что, только птичьего молока недостает! Ей таскаться всякий день на чердачишко, по поганой, прости господи, лестнице?.. Тут, Аграфена Петровна, сказать вам мое мнение, есть что-то такое, не то, чтобы без чего-нибудь неспроста, уж как вы мне ни говорите!

— Погоди немножко: я о малейшей подробности разведаю; ни одного вот обстоятельства не пропущу; докажу ему, этому мальчишке, да и матери-то его, что̀ я значу. С нами шутить! Нет, брат, не туда заехал. Увидит он, что такое Аграфена Петровна. Или он забыл, молокососишка, что я полковница, что у меня отец был статский советник, имел Анну с брильянтами на шее? Сама Надежда Сергеевна, превосходительная, да и та имеет ко мне особенное уважение. Других чиновников жены и порога-то ее не нюхали; а он мальчишка! — некогда, изволите видеть, ему портрета моего списать. Послушай, Осип Ильич, как я разузнаю все аккуратно, так ты при случае, как пойдешь к генералу по делам, разговорившись, и ввернн словцо: «Усердие-де мое известно вашему превосходительству: вот уже более двадцати лет, как

хожу по вашим делам, питаю, дескать, к вам неограниченную привязанность, что ваша-де фамилия дороже мне, чем... ну понимаешь?.. Слышал стороною, что Софья Николаевна списывает с себя портретец, видно сюрпризом вам, сама-де ходит на самый чердак в мастерскую к живописцу...» Знаешь, умненько этак, чтобы он не рассердился, да с покорностию; мина-то чтоб была несколько печальная...

— Знаю, знаю, матушка! В мои лета и дослужившись до такого чина, не учиться стать этому. Прилично ли только это будет, Аграфена Петровна? а?

— Еще бы нет! А там увидишь, какое это на его действие призведет, да, может, тут же и грянешь, что живописец этот человек молодой, что хоть его и рекомендовала, дескать, моя жена вашей супруге месяцев с восемь назад тому, — но теперь сама раскаивается, что он-де поведения нетрезвого, замечен в разных шалостях, что хоть он и живет с матерью, но мать поблажает его во всем, оттого-де они в самом бедном состоянии.

— Тут нужна большая деликатность, большое уменье; дело весьма щекотливое.

— В том-то и речь... Ах, если бы я на твоем месте!

— Да уж и я не ударю себя лицом в грязь, поверьте, Аграфена Петровна!

— А что ж твоя награда-то засела? долго ли это будет? Ведь ты можешь попросить его, чтобы он за тебя похлопотал у директора. Скоро и денежные награды раздавать будут!

— Точно, скоро, скоро. — Осип Ильич понюхал табаку. — Да; но неужли ж обойдут?.. Странно! отчего это я сегодня позабыл смочить табак: пыль, совершенная пыль, в нос так и бросается.

При сем Осип Ильич чихнул так громко, что Аграфена Петровна вздрогнула.

— Тьфу, бес! он и чихать-то по-человечески не умеет. Вы меня совсем перепугали, Осип Ильич!

Аграфена Петровна, кажется, располагала не ограничить своего гнева одною этой фразою, но в ту минуту, к счастию Осипа Ильича, вошла в комнату, расшаркиваясь и покашливая, улыбка, в вицмундире.

— А! Ласточкин! — воскликнули в одно слово Аграфена Петровна и Осип Ильич.

— Что скажешь, любезный? — продолжал последний начальническим тоном.

— Ничего, ничего-с, Аграфена Петровна; так зашел, гулял-с.

— И зашел очень кстати, — прошептала Аграфена Петровна. — Что новенького? — заговорила она громко, обращаясь к улыбке.

— Все по-старому, ничего-с, обыкновенно все так идет, как шло-с.

— Ну что стоишь? положи, брат, шляпу.

— Я на минутку-с зашел только проведать о вашем здоровье-с и об Аграфене Петровне-с.

— Да что, я думаю, и чай? Скоро и семь? Эй, Машка! поставь самовар. Останься у нас чай пить.

— Чувствительнейше благодарю-с, Аграфена Петровна, нельзя-с: есть кой-какие делишки.

— Ну какие там у тебя делишки! Оставайся.

Улыбка повиновалась и, покашливая, села.

— Что Анна Афанасьевна? Давно ты у нее был?

— Третьего-с дни только из Гостиного пришла, а я в дверь-с: купила шелковой материи по четыре рубли аршин пюсового[1] цвета с отливом; холстинки-с для дочери; да платочек, так не самой большой, розовый-с.

— Видно, есть чем жить, Осип Ильич, не по-нашему! Только и слышу, что в Гостиный ходит — по четыре рубли аршин материи себе покупает! Видно, побочные есть доходцы: с одним жалованьем-то не нафинтишь много. Ну, а муж?

— Не совсем доволен был-с, упрекал, что дорого, мало торгуется-с.

— Старый дурак женился и такую волю дал, что смотреть противно, и поделом ему. Она ему даст себя знать. А экзекуторша что?

— Антон Михайлович дрожки заказал ей круглые-с, вроде маленькой колясочки-с, с крышкой от дождя, и к лошади приценяется-с, рассказывал об этом прошедший раз в департаменте-с.

— Завтра доклад, — поморщиваясь, начал Осип Ильич. — Что, брат, переписал то отношение, о взыскании?..

— Готово-с, утром предоставлю.

---

[1] красновато-бурого (*от франц.* puce).

— Полно, Осип Ильич, об отношениях ваших: и в присутствии успеете наговориться. Слава богу, много есть времени... Нет ли чего-нибудь еще новенького?

— Чиновник, который недавно определился к нам-с, без жалованья-с, — изволили слышать? — из ученых, в университете обучался и собственный экипаж имеет...

— Знаю, знаю.

— Так он вчерашнего числа приехал в департамент позже одиннадцати часов и, с позволения сказать, в клетчатых брюках, в таких вот, что простые женщины на передниках носят, пресмешные-с!

— Вишь, какой барчонок! Послушай-ка, Елисей Федотович! — Аграфена Петровна встала, взяла за руку улыбку в вицмундире и отвела в сторону.

— Знаешь ты Средневского?

— Никак нет-с. Что это, чиновник?

— Какой чиновник! Живописец.

— Никогда не встречался-с!

— Тем лучше. На днях утром отправься к нему как ни в чем не бывал; скажешь, что наслышался о нем, желаешь-де списать с себя портрет, — да смотри, ни слова о нас! Слышишь ли? Сохрани боже, чтобы ни малейшего подозрения не было, что мы тебя подослали... Покуда будешь с ним говорить о цене, о том, о сем, а сам незаметно, знаешь, и осматривай все. Он живет с старухой матерью, но нет ли еще кого в комнате, не сидит ли тут барышня, этакая черномазенькая, и как с ней обращается живописец и мать его, и как барышня эта смотрит на живописца... Все подметь, прислушивайся также, что они говорят, уши-то навостри да смотри в оба.

— Хорошо-с, Аграфена Петровна; а кто эта барышня? смею спросить.

— Тебе до этого дела никакого нет. Исполняй только, что велят.

— Слушаю-с.

— Да смотри, все со всеми подробностями и ту же секунду перескажи мне.

— Больше ничего-с?

— Ничего.

— А насчет портрета, так это для шутки-с?

— Разумеется. Это только, чтоб иметь претекст взойти к нему; скажешь, что подумаешь, после зайдешь... мало ли что можно сказать!

— Извольте, с великим удовольствием-с.

— Да смотри, осторожней... Выпей еще чашку чая, да сухариков-то возьми... А об этом, что я говорила, никому ни гу-гу.

— Будьте спокойны, что касается по части скромности-с...

— То-то, а уж и я тебя не забуду.

Улыбка низко поклонилась.

«Ох, смерть хочется мне понасолить этому молокососу! — думала Аграфена Петровна, — пренебрегает чиновниками! живописишка, пачкун, дрянь! Высоко голову занес, пригнуть надо: если бы его проучить хорошенько... вот славно бы! Узнал бы, голубчик, что значит не хотеть списать портрета с Аграфены Петровны».

«Совершенно запутанное обстоятельство! — думала улыбка, — какая-то барышня, живописец, старушка, донести обо всем... А впрочем, мне что до этого! Видно, Аграфена Петровна знает, в чем дело. Исполняй, что велят, да и баста! Ведь она сказала, что меня не забудет!! А Осипа Ильича ведь она держит в ежовых рукавицах!»

Осип Ильич думал: «Какими бы это средствами поскорее дослужиться до действительного статского советника?»

ГЛАВА V

> Не то благо, что делает счастливым, но то делает счастливым, что благо.
>
> *Фихте.*

Чиновница Теребеньина была права. Софья всякое утро просиживала по нескольку часов у старушки Средневской, строго исполняя совет Карла Ивановича, который, несмотря ни на какую погоду, непременно всякое утро советовал ей ходить гулять. Надежда Сергеевна, говорят, была очень довольна продолжительными прогулками своей дочери, тем более, что Карл Иванович аккуратно всякое утро посещал ее по долгу доктора. Обращение Надежды Сергеевны с дочерью сделалось с этого времени заметно лучше.

Софья оживала. Мать живописца так любила ее! Старушка часто говаривала ей с этим пленительным просто-

сердечием простой женщины, у которой — что на уме, то и на языке: «Родная моя, вот как ты да мой Саша со мною, так, право, мне и ничего не надобно».

И она не замечала, что на лице Софьи выступала краска от этих слов; ей и не приходило в голову, что тут есть от чего краснеть молодой девушке.

Чиновница Теребеньина была права: старушка, точно, говорила Софье Николаевне *ты,* и если бы еще знала Аграфена Петровна или Осип Ильич, что об этом сама Софья просила ее! Чепчик с кружевами и манишка, точно, были подарены ею Палагее Семеновне; но Аграфена Петровна, по свойственной ей привычке украшать рассказ, прибавила, что этот чепчик куплен на Невском в магазине, хотя он сделан был, как и манишка, собственными руками Софьи. Она шила эти вещи по ночам, и то еще со страхом, чтобы об этом не узнала мать ее. Что же касается до подаренного ею ситца, то это принадлежало также к украшению рассказа почтенной чиновницы. Надобно было видеть восторг старушки, когда Софья отдавала ей свои подарки и сказала, что это ее труды.

— Вот, Саша! — говорила старушка сквозь слезы, — порадуйся, друг мой! вот бог дал мне на старости кормилицу. Он, милосердый, даст и тебе счастье, моя родная, — продолжала она, обращаясь к Софье, — за то, что ты так утешаешь старуху, что ты не гнушаешься бедными.

И Софья в эту минуту, точно, была вполне счастлива.

— Да какая ты рукодельница, моя матушка! Посмотри-ка, Саша, а? (старушка рассматривала свой чепец). Какой нарядный! В воскресенье же обновлю его к обедне.

Все это происходило чрез два месяца после описанного нами первого дня знакомства Софьи с Палагеей Семеновной.

Между тем Александр трудился над своей Ревеккой. Картина его шла чрезвычайно удачно; он был весел, как дитя, отказался от выгодных заказов, для того чтобы посвятить все время на свою любимую картину. Старушка кой-как перебивалась: она получила за треть свой пенсион, и у нее оставались еще деньги, вырученные Александром за портрет какой-то сорокалетней барыни с розой в руке, писанной им в последнее время.

Еще раз чиновница Теребеньина была права: Александр писал свою картину в присутствии Софьи. Софья, казалось, уже принадлежала к их семейству; без нее было скучно старушке: так она привыкла к ней в самое короткое время. Если день или два ее не было, Палагея Семеновна тосковала; покачивая головой, она беспрестанно говорила: «Что это сделалось с моею Софьею Николаевною? сколько времени не видать ее! не занемогла ли она, моя голубушка? Сохрани бог!..» Александр тоже в тот день, когда не приходила Софья, был сам не свой; он чувствовал себя в нерасположении, хотел задумываться и ничего не думал, как будто вдохновение его непосредственно зависело от ее присутствия... Случилось, что ее не было дня три; на третий день Александр, облокотясь на руки головою, сидел у стола, в состоянии совершенного бездействия; он несколько раз принимался за кисть, но тотчас же бросал ее и опять впадал в тяжелое и мучительное бездумье: никогда тоска так не давила его.

Он взял книгу, отвернул переплет и с полчаса просмотрел на заглавный лист. Книга закрылась сама собою. Так прошел целый день.

«Что со мною делается? — подумал он. — Неужели мне так скучно, потому что я давно не видал ее? Разве ее присутствие становится для меня необходимостию?»

Он вздрогнул, до того испугался этой мысли. «Какой вздор! — говорил он самому себе, — разве это в первый раз со мною?.. Выдаются иногда такие несчастные дни — без всякой причины тяжело и грустно... Но если она больна? Опять об ней! да что же мне за дело до ее болезни?»

И он старался смеяться над самим собою.

Но когда, на четвертый день, он увидел Софью, сердце его внятно заговорило, что она очень не чужда ему, и это убеждение увеличивалось по мере того, как он узнавал ее.

Однажды, разговорясь с старушкою о своих детских воспоминаниях, она невольно перенеслась мыслию в то блаженное для нее время, которое провела она в деревне.

— Мне там было легко и свободно, — говорила она, — то были самые счастливые дни в моей жизни. Я так живо помню все это... Когда мы приехали в деревню, после долгой дороги, и когда я взошла в ту комнату, ко-

торую мне назначили, — поверите ли? — я запрыгала от радости, я беспрестанно повторяла: как весело! В комнате моей, кроме дивана, двух стульев и старинного круглого зеркала, не было никакой мебели; но эта комната, не знаю почему, мне очень понравилась. Долго я не могла заснуть, мне хотелось поскорее утра; несколько раз вскакивала я с постели и подбегала к окну, но ничего не могла рассмотреть. Утомленная дорогой, я проснулась довольно поздно; горничная моя отворила окно, и ветви сирени, акации и жимолости, густо разросшиеся возле и прислоненные к стеклу, вдруг ворвались в мою комнату. На меня так приятно пахнул свежий воздух, смешанный с ароматом цветов. О, это было чудесное июньское утро — в Петербурге нет таких! Сирени были в полном цвету, роскошно качаясь на ветках, колыхаемых утренним ветерком, и отражаясь в зеркале, которое висело против окна. Я соскочила с постели, чтобы сорвать цветок сирени, несколько минут впивала в себя запах, потом начала вглядываться в ее красивые формы и искать счастья. Вы не можете себе представить моей радости, когда я отыскала лепесток о шести листочках: я начала прыгать, как сумасшедшая, целовала лепесток и кричала горничной моей: «Посмотри, посмотри, какое счастие нашла я!» С тех пор я уж не искала счастья в сирени!.. Когда я оделась и вышла из своей комнаты, мне сказали, что маменька дожидается меня на террасе, что там приготовлен чай. То, что все наши люди называли *террасой*, была, в самом деле, длинная галерея, выходившая в сад. В середине ее был спуск на дорожку сада, полузаросшую травой. Эта дорожка шла прямо по небольшой площадке и вдруг упадала вниз, исчезая в разросшихся под горой кустах ракитника, а там, за этими кустами... о, я никогда не забуду моего восторга! — там была река, такая чудесная, точно наша Нева. Как игриво разливалась она на просторе и как красиво ее струи золотились солнечными лучами! Так это-то Кама!.. Ах, как здесь хорошо! — думала я. Маменька не обращала внимания на мою восторженность, отдавая различные приказания управителю. Не допив чая, я сбежала вниз по дорожке, раздвинула своею рукою густые ветви ракитника, и струя воды плеснула к ногам моим; я отсторонилась, обернулась назад, посмотрела вверх — и передо мною из густой рощи дубов и кленов красиво возвышался старинный двухэтажный

дом наш, с длинным балконом наверху. Это была очаровательная картина! Долго любовалась я видами, глядя то на Каму, то на крутой берег ее, по которому так роскошно и живописно разрослись вековые деревья. Я была поражена дикою прелестию этой местности. Никогда мне не было так приятно; в первый раз в жизни я почувствовала таинственное сродство человека с природою. Вышед из задумчивости, я вдруг с резвостию десятилетней девочки взбежала на гору и пошла по едва заметной тропинке. Тропинка эта так узорчато вилась между деревьями, что голова моя начала кружиться. Я сделала еще несколько шагов и очутилась на краю крутого оврага; я прислонилась к первому дереву, чтоб отдохнуть. Деревья спускались в овраг в живописном беспорядке, и одно из них росло у самой окраины, совершенно горизонтально к земле, касаясь своею вершиною другой стороны оврага. Это был мостик, живописно брошенный природою. Я отдохнула. Прямо против того места, где остановилась я, за оврагом, на небольшом возвышении, чернелась старая, некрашеная деревенская церковь. На дороге мне часто попадались такие церкви, и я не могу передать вам того странного впечатления, какое они производили на меня. С храмом божиим прежде в моих понятиях неразлучно соединялась идея великолепия, и когда я увидела в первый раз простую деревенскую церковь, без всяких украшений, уединенно стоящую в поле, поодаль деревни, а за нею кладбище, с красными и черными крестами, — у меня сжалось сердце; мне стало грустно, но это была грусть приятная, какое-то унылое спокойствие. И в этот раз со мною сделалось то же самое. Прислонясь к дереву, я не сводила глаз с этой церкви. Что-то таинственное показалось мне в этом отсутствии наружной пышности здания. Почерневшие от времени доски, покрытые мхом, местами поросшие травою, и маленькое деревцо, выросшее у самого карниза колокольни, — все это мне показалось лучше мрамора, узорчатых капителей и колонн греческого храма. В скромной простоте этой старинной деревенской церкви, об украшении которой заботились не люди, а природа, я видела глубокое значение. Наглядясь на эту церковь, я тихо пошла назад, но еще раз невольно обернулась, чтобы взглянуть на нее. Никогда не забуду я этого утра; мне было так весело, что только одна мысль не нарушить чем-нибудь

этот сон счастия, эту гармонию души моей, изредка заставляла меня вздрагивать. И я боялась встречи, я не хотела идти в дом, я чувствовала, что если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту — один взгляд, один звук голоса расстроил бы все, отвеял бы от меня это отрадное спокойствие... Быть одной — вот что мне было нужно, и я долго, долго ходила одна. Только шелест моего платья да колебание листьев напоминали мне, что я живу, — так это чудное состояние моего духа было похоже на отсутствие жизни. Вечером я сидела на галерее и смотрела на Каму, — она была подернута румянцем зари. Направо от меня густые деревья чернелись на золотом поле неба, а там, за Камою, развертывалась неопределенная даль. Чувство бесконечного — это дивное чувство я ощутила в первый раз. Как жалки показались мне эти люди, которые находят все счастье жизни в бестолковой и удушливой светской суетности. «Они далеки от бога, — подумала я, — потому что они бесчувственны к природе». Я долго сидела на этой галерее, долго смотрела на розовую зыбь реки... Уже она начинала бледнеть, уже синèе становилась отдаленность, лес почернел совершенно, вода перестала дышать и застыла гладким свинцом. Я молилас[illegible]

Что совершалось в душе художника в эту [illegible] когда говорила она?

Он стоял, скрестив на груди руки и не отводя глаз от нее. Как бы хотелось ему слова ее превратить в краски, рассказ ее перенести на полотно! Это была бы чудесная картина, думал он... Сумрак объял все — и воды, и лес, и неизмеримое пространство полей... На картине нет людей, только одна она — эта девушка, благоговейно созерцающая необъятное величие творца в творении...

— Уж мастерица рассказывать, — сказала старушка, приподнимаясь со стула и смотря на своего сына, — нечего говорить — мастерица! Словно соловей поет. Постой-ка, матушка, вот я схожу на кухню, и ту же минуточку возвращусь к тебе.

Старушка вышла. Они остались вдвоем. Это было в первый раз. Минуту они оба молчали, потом она оборотилась к нему.

— Что, вы скоро окончите вашу картину? — спросила она его робким голосом.

— Не знаю, право; может быть, недели через две, через три.

Она подошла к станку.

— Вы мне позволите посмотреть?..

Александр вдруг изменился в лице при этом вопросе, — она еще не видала оконченным лицо Ревекки.

Он стоял перед нею, как преступник, потупив голову и не смея взглянуть на нее.

Долго и пристально смотрела девушка на это полотно, чародейно одушевлявшееся под перстами его, и вдруг, может быть, узнав себя в Ревекке, как будто испуганная этой мыслию, вздрогнула и оборотилась к нему... Ни он, ни она не сказали ни слова, но он и она поняли друг друга.

— Я не мог выразить в этом лице того, что хотел, — решился наконец заметить он. — Горе иметь посредственное дарование! лучше быть простым ремесленником.

«Таково сомнение гения, — подумала она, — так сомневался и Корреджио».

— Я не могу дать жизни этим глазам, — продолжал он после минуты задумчивости, — посмотрите, они не говорят так, как те глаза, которые я видел, не теплятся чувством, как они.

О[illegible] дал ответа и решился взглянуть на нее. Ответа [illegible] и, кроме тяжкой грусти, ничего не выражало [illegible] ее. Она отошла от станка и прислонилась к стене. Тогда кто-то постучался у дверей в прихожей, она вздрогнула. В комнату вошел, низко раскланиваясь, какой-то человек в вицмундире, с зеленоватыми крошечными глазками, которые двигались с удивительною быстротою из стороны в сторону.

— Вы господин Средневский-с, живописец? — спросил он, обращаясь к Александру и улыбаясь.

— Я. Что вам угодно?

— Извините-с, что вас обеспокоил, — имею желание списать с себя портрет, то есть не собственно для себя, а так, единственно по просьбе одной моей знакомой девицы. Пристает все ко мне: спишите, говорит, портрет с себя. Видно, желает иметь вроде *сувенира*, что ли-с, уж не могу вам достоверно сказать. Вас мне рекомендовали с весьма отличной стороны-с.

Тут глаза чиновника встретились с глазами Софьи — и он заикнулся.

— У меня нет времени исполнить ваше желание, — говорил Александр, невольно улыбаясь и выпроваживая

его от себя самым учтивым образом, — обратитесь к кому-нибудь другому.

— Очень хорошо-с, не взыщите, что помешал-с, что... — Он еще раз искоса посмотрел на Софью и начал пятиться к двери, озираясь между тем кругом и заглядывая на картину.

— Эта картина не кончена, ее нельзя смотреть! — вскрикнул Александр, взяв чиновника за руку и отводя его от станка.

— Ах, извините-с! А какая она большая, должно быть-с что-нибудь в роде «Последнего дня Помпеи». Мое почтение-с!

— Прощайте. — И Александр с досадой захлопнул за ним дверь.

Она все стояла на том же месте, прислонясь к стене. Когда он подошел к ней, она сказала:

— Я здесь одна. Где же ваша матушка?

Она хотела сказать: «Я не должна быть здесь одна с вами», — но в эту минуту вошла старушка, кашляя и извиняясь, что захлопоталась на кухне.

В то же утро Аграфена Петровна знала о том, что черномазенькая барышня была в гостях у Палагеи Семеновны и сидела одна с ее сыном. *«Вероятно,* у них было решительное любовное объяснение, — подумала она. — Хорошо! теперь вы оба, голубчики, в моих руках!»

ГЛАВА VI

> *Художник!* Как я не люблю этого слова. Ну, что это такое? Другое дело — *барин,* вот это слово что-нибудь да значит!
>
> *Из разговора барыни.*

— От материнского сердца ничего не укроется; поверь ты мне, я очень хорошо вижу, что ты неспроста так печалишься. У тебя есть что-то на душе. Картина твоя, кажись, кончена; все художники не нахвалятся ею, просят у тебя позволения ее выставить, говорят, что ты выручишь за нее хорошие деньги. Чего бы лучше? С помощию божьею мы устроим наши делишки. Уж после этого тебе

не нужно будет покровительства какой-нибудь Аграфены Петровны! — Так говорила однажды Палагея Семеновна сыну, который стоял в раздумье перед своею оконченною Ревеккою.

— Нет, я не отдам этой картины, матушка! Пусть люди засыплют меня грудами денег, я не отдам ее и за эти груды! К чему мне будет блеск их золота, когда они у меня отнимут ее? Нет, я не могу, я не расстанусь с нею ни за что в свете. Вам, может быть, это кажется странным? Но тут, право, нет ничего странного. Художнику тяжело разлучаться с своим созданием, с этим созданием, которое он лелеял и дни и ночи, с мыслию о котором засыпал и просыпался, которое сроднилось с ним, сжилось с его существованием, которое составляет часть его самого, — разлучиться и навсегда! Поэт — другое дело. О, в этом случае он гораздо счастливее художника: его творение всегда с ним! Вы понимаете меня? Я выменяю эту картину на деньги и не увижу ее более.

— Ну, конечно, если тебе так тяжело расстаться со своею картиною, то оставь ее при себе: спокойствие дороже денег. Видеть тебя, друг мой, веселым и счастливым — в этом все мое счастие. Но ты еще не продал картины, а уж ходишь такой скучный, не пьешь, не ешь ничего. Ах ты, господи! что это с тобою сделалось? Будь откровенен со своею матерью. У тебя никого нет, кроме меня, а вместе и горевать легче, голубчик мой! Боюсь я подумать, не любовишка ли сокрушает тебя! Дело известное, молодой человек, — еще в этом нет никакого греха!

— Ради бога, оставьте меня, матушка, я прошу вас...

— Друг мой, Сашенька, не говори мне так, не обижай своей старухи. — И слезы катились по лицу ее. — Уж как ты хочешь, а я не оставлю тебя, я и без того долго молчала. Я знаю, почему ты не хочешь продать своей картины. Причина, о которой ты говоришь, может статься, сама по себе; а есть другая... Ох, не скрывай от меня этого. Я знаю — я вижу все.

Он посмотрел на мать с выражением глубокой муки; краска вдруг пропала с лица его. И он, безмолвный, грянулся к ногам ее, дрожа всем телом.

— Встань, встань, Саша! Мне и без того тошнехонько... Встань, голубчик. — Она не говорила, а рыдала.

— Родная, мне так легче... — И он целовал ее ноги.

— Встань да садись возле меня. Вот, что я хочу сказать тебе. Послушай меня, старуху: хоть ты и умнее меня, и ученее меня, да ты молод, неопытен. Отца нет у тебя... Скажи, ты очень любишь меня?

— Можете ли вы в этом сомневаться?

— Да, ты любишь меня... — И она гладила его волосы... — Очень любишь. Экая я дура, об этом спрашивать!.. Но я сама не знаю, что говорю. Дай-ка мне подумать хорошенько. — Она отерла рукою слезы. — Да, вот что: мы люди бедные и незначащие: нам не должно заноситься высоко. Покойник отец твой говаривал (упокой господи его душу! Никогда не забуду слов его): «Все несчастия оттого происходят, что люди всё, видишь ли, вон лезут из своего состояния, всё хотят выше... Всякий сверчок знай свой шесток»; а покойник никогда ничего не говаривал даром. И мне тоже сдается, уж коли господь бог указал нам наше место, так не будем гневить его и останемся на этом месте, — так, видно, надобно. Есть и в нашем состоянии девушки хорошие, добрые. Сашенька, друг мой, если можешь, оставь свои мысли — и мы хоть без денег, а все-таки будем спокойны и счастливы. А эта любовь до добра не доведет, вспомни мое слово.

— Мне грешно было бы перед вами скрываться — я должен высказать вам все. Не вините меня, матушка, что я полюбил ее, эту девушку, которая выше меня всем. Что же мне делать? Я и сам не знаю, как это сделалось, но я люблю ее, люблю всею силою души моей...

— Что об этом говорить, ее нельзя не любить! Ах, если бы она не была такого знатного происхождения! шутка, дочка такого важного человека! Она-то, голубушка, и не думает об этом, но ты видел ее мать: сам ты знаешь, какая она важная; она нас, простых людей, и людьми-то не считает, а отец ее, говорят, еще гордее.

— Что мне за дело до ее отца и матери? Лишь бы она не пренебрегала мной, лишь бы она понимала меня... И что мне за дело до ее происхождения? Я люблю ее душу, ее ум, ее сердце; кто бы она ни была, для меня все равно. Разумеется, я не могу быть ее мужем, но, божусь вам, мне более ничего не нужно, как глядеть на нее, любить ее, слушать ее речи... Она будет моею светлою мечтою, моим вдохновением, моею святынею.

— Бог тебя знает, что это ты говоришь, Саша! Полюбить — значит захотеть жениться, это так искони века

водится. Например, полюби ее какой-нибудь граф или князь, то есть посватайся за нее, ее сейчас выдадут замуж и не спросят у нее, у бедной, и согласия. Это знатные всегда так делают.

Он задумался.

— Что вы говорите, матушка? Всегда так делают? Нет, это делывали в старину, но теперь, когда мы все стали так образованны, — теперь такой поступок считается варварством. Выдать девушку замуж против ее согласия... Невозможно!

— Ничего-то ты не знаешь, как посмотрю я. Еще и такие ли вещи делаются теперь? Ученость ваша, видно, не помогает. У кого нет доброго сердца, так хватай тот хоть звезды с неба, да что в этом толку? Не будь у нее доброго сердца, она так же бы, как другие, пренебрегала нами и не ходила бы сама, моя голубушка, украдкой от отца и от матери к нам, и не думала бы утешать нас и помогать нам. Бог заплатит ей за доброе дело!..

Старушка замолчала, облокотилась рукой на стул и вздохнула; потом через минуту продолжала вполголоса: «Да и она, как видно, совсем забыла нас; сколько времени перестала ходить к нам! Правда, она не от себя зависит. Ну, да что об этом говорить! Будь ты у меня только весел, здоров да молись почаще, и все пойдет хорошо, и старуха твоя будет счастлива...»

— Я буду веселее, будьте только вы покойны.

— А что, ты нисколько не меньше меня любишь с тех пор, как ты полюбил?..

— Еще более, еще более, если это только можно, матушка!

Старушка взяла его голову обеими руками и долго и горячо целовала ее.

Когда она вышла из комнаты, он встал со стула и, мучимый сомненьем, начал ходить большими шагами.

«Что, если в самом деле?.. О, дай мне силы, боже, перенести эту мысль! А когда она сама полюбит какого-нибудь графа или князя, когда она скажет ему: *да, я согласна* — от сердца? Что будет с тобою в ту минуту, глупый мечтатель, жалкий пачкун, маляр, заносящийся так высоко? Ты осмеливаешься класть свою кисть наряду с графскою или княжескою короною? О, безумец, безумец! До чего дошел я! Из любви к женщине я унижаю тебя, святое искусство, я ругаюсь над тобою!.. Мне каза-

лось, однако, что *она* неравнодушна ко мне, — иногда в ее взгляде я видел более, нежели участие. Но ведь все это могло мне представиться. По доброте сердца она ходила к нам, чтобы помогать моей матери, чтобы утешать ее в несчастии; теперь более месяца мы не видим ее, верно, потому, что она нашла кого-нибудь еще беднее, еще несчастнее нас!..»

Как смешны бывают вообще предположения!.. Три недели перед этим случилось... но, позвольте, прежде...

ГЛАВА VII

В породе и в чинах высокость хороша...
и проч.

Крылов.

Представьте себе большую, продолговатую комнату, убранную следующим образом: три письменные стола, один большой, посредине комнаты, два, поменьше, у окон; на этих столах в строгом, систематическом порядке разложены бумаги в серых обертках с печатными надписями: на каждом из столов стоят чернильницы, и в граненых стеклянных вазочках вложены связки чиненых перьев; множество распечатанных конвертов в беспорядке разбросано между бумагами; посредине большого стола, кроме бумаг, два тома «Свода законов», раскрытый Адрес-календарь, зажженная свечка и бронзовый колокольчик; вычурное готическое кресло средних веков — и на нем брошенный Месяцеслов в золотом обрезе. Стены комнаты украшены тремя портретами министра; один из них небольшой, гравированный, другой еще поменее, литографированный, третий во весь рост, написанный масляными красками, — все три в золотых рамах. К потолку привешена люстра из бумаги, сделанная под бронзу, и в ней необожженные свечи. В одном из углов стоят старинные часы с башенкой. Уголья догорают в камине. На ручке кресел, стоящих у камина, лежат «Академические ведомости». Лучи солнца, проходя сквозь пунцовые занавесы, отбрасывают красноватый цвет на всю комнату. На бумагах и мебелях пыль слоями, на потолке и на люстре паутина висит нитями.

Был одиннадцатый час утра. Человек лет пятидесяти пяти, очень тучный, с заспанными глазами и с блестящей лысиной на голове, в ваточном халате из шелковой материи, прохаживался взад и вперед по этой комнате. Двумя пальцами левой руки держал он золотую табакерку *рококо,* а указательным пальцем правой руки повертывал ее кругом; по временам он открывал крышку табакерки, переминал табак в руке и с расстановкою нюхал.

Это был сам г. Поволокин.

При входе, почти у самых дверей, была пригвождена к стене небольшая рыжая фигурка с бессмысленно вытаращенными глазами, с руками, сложенными назади, в вицмундире, застегнутом от первой до последней пуговицы.

Это был один из тех мелких чиновников, которым особенно покровительствовал г. Поволокин.

— А что, братец, сегодня сильный мороз?

— Сильный, ваше превосходительство!

— Гм, сильный!

При сем г. Поволокин подошел к камину.

Минуты две было молчание.

— Ну, а что, братец, нового? Я другой день что-то не вижу «Санкт-Петербургских ведомостей» — а?

— Они находятся у ее превосходительства. Она изволит делать выписки вещам, продающимся с публичного торга.

— Гм. То-то!

Опять минута молчания.

— Да, я забывал все тебе сказать, что это, братец, как у меня в последний четверг играли, такие были скверные карты, — черт их знает! — ну вот так к рукам и прилипают. Уж, полно, отборные ли это?

— Отборные-с, ваше превосходительство!

— Да отчего бы они прилипали? Ты присматриваешь ли за Максимкой?

— Я имею постоянный надзор за этим-с.

— То-то! Скажи-ка, братец, Герасиму Ивановичу и Осипу Ильичу, чтоб сегодня к половине двенадцатого приготовлены были мне бумаги к подписанию.

— Слушаю-с.

— А после присутствия зайди-ка в Ниренбержскую и возьми табаку; у меня весь вышел. Да спроси у Надежды Сергеевны, не нужно ли ей будет курительных свеч или чего-нибудь этакого.

— Слушаюсь, ваше...

Чиновник не успел договорить, потому что дверь кабинета с шумом отворилась в эту минуту. Он отскочил от двери и низко поклонился вошедшей даме.

— А вот, кстати, и сама Надежда Сергеевна, — заметил супруг. — Здравствуйте, матушка! Не будет ли каких поручений от тебя, скажи ему (указывая на чиновника): он пойдет после присутствия в Ниренбержские. — Надежда Сергеевна при этом слове взглянула на чиновника и едва кивнула ему головой.

Он в другой раз отвесил ей самый низкий поклон; но когда глаза его встретились с глазами Надежды Сергеевны, он вдруг изменился в лице и начал неловко обдергиваться. Это было не без причины: чиновник очень хорошо изучил игру физиономии ее превосходительства; в одну минуту узнавал он, в хорошем или дурном расположении она находится, так или иначе, таким или другим тоном надобно заговорить с нею... Часто он видал ее в гневе, и в сильном гневе, и никогда не смущался; но в эту минуту глаза ее метали такие молнии, эти глаза были так страшны, что поневоле мороз по коже пробежал у бедного чиновника, поневоле он растерялся совершенно и от убийственной мысли: «Не прогневил ли я чем-нибудь невзначай Карла Ивановича или ее самое», — у него закружилась голова, и светлые точки замелькали перед глазами...

— Мне ничего не нужно, — произнесла она — и, боже, каким голосом!.. У чиновника так и запрыгало сердце под вицмундиром...

Мановением головы Надежда Сергеевна значительно указала ему на дверь.

Он споткнулся, поклонился еще ниже прежнего и вышел из кабинета.

— Скажите, чтоб никого не пускали к генералу, сказали б, что он не принимает. Слышите? — закричала г-жа Поволокина печально удалявшемуся чиновнику, полурастворив дверь и в ту же минуту снова захлопнув ее.

Сам г-н Поволокин, кажется, немного смутился, предчувствуя что-нибудь необыкновенное и видя, в каком волнении находилась его супруга.

— Что случилось? что такое, матушка? — спросил он с беспокойством.

— *Что случилось?* — повторила она трагическим голосом... — Погодите, погодите! что вы так торопитесь?

Еще успеете порадоваться. Прежде всего прошу вас, чтоб вы приказали выгнать вон Ваньку. Если б он был мой, я сейчас отдала бы его в солдаты! Да еще строго-настрого запретите пускать в ваш дом эту пьяницу Федосью, чтоб ее и духа не было здесь, чтобы она и на нашу улицу не смела заглядывать.

— Гм. В чем же дело-то?

— Дайте же мне выговорить, дайте мне опомниться! Я сегодня всю ночь глаз не смыкала, я... да где это вы были вчера до пятого часа?

— В Английском; очень любопытная была партия: князь Федор Григорьевич, я, граф Антон Карлович да новоприезжий секретарь посольства.

— Вот как: подумаешь, отец дослужился до такого чина, с такими важными людьми обращается всякий день, приобрел их дружбу, трудится, просиживает напролет ночи, а для кого это? все для своей дочки! Думает, как бы составить ей хорошую партию, — а она, утешение наше, она изволила уже себе выбрать общество без нашего согласия, не спросясь нашего совета.

И Надежда Сергеевна, говоря это, ходила взад и вперед по комнате своего супруга. Лицо ее было почти багрово от гнева, и чепец, накинутый на невычесанную голову, сбился на одну сторону. В пылу гнева она даже забыла о своем туалете, — а это было еще любимое ее занятие, потому что она еще имела претензию пленять.

— Что же это все значит, матушка? Я, то есть, ни полслова не понял, — осмелился возразить супруг.

— То, сударь, что дочка ваша, — и она остановилась прямо перед супругом, — всякий день, под видом прогулки, шляется на чердак любезничать с каким-то мальчишкой, в которого, говорят, влюблена и который обращается с нею, как с равной, и сидит с нею по целым часам глаз на глаз! Вот до какого посрамления мы дожили с тобою, Николай Мартыныч! Вот вам, — я всегда говорила, а вы только слушать меня не хотели, — вот вам утешение на старости лет от детей!

Г-н Поволокин повел рукою по лбу, выразительно прищелкнул двумя пальцами, вытянул нижнюю губу, посмотрел на Надежду Сергеевну, потупил голову, еще раз потер лоб и прошептал себе под нос: «Полно, не во сне ли это?»

Г-жа Поволокина, к несчастию, услышала этот шепот:

— Во сне! во сне? — закричала она, подступая к нему. — Во сне! Да что я, сумасшедшая, что ли? За кого вы меня принимаете? Вы-то сами не во сне ли? — И она задыхалась...

— Матушка, нет, не то; я хотел попросить вас, чтобы вы рассказали поподробнее... Ах ты, боже мой! — И он сделал шаг назад.

— Понимаете ли вы? — И она стучала указательным пальцем по столу. — После болезни ее Карл Иванович приказал ей гулять всякий день. Карл Иванович, надо отдать ему справедливость, не отходил от нее во время болезни; я приказала ей гулять с человеком... Ну, а эта проклятая нянька изволила ее познакомить с какой-то старушонкой, у которой сын малюет стены. Она всякий божий день и зачастила туда: обрадовалась, моя голубушка, что нашла по себе общество. Благородная кровь, видно, у нее в жилах обращается, нечего сказать!

— Бог знает, что это такое? Как же вы это узнали? Кто же вам сказал, что влюблена в этакого?..

— Тебе давно хотел сказать Теребеньин, да не смел, и ко мне вчера пришла жена его, да все и порассказала. Спасибо еще ей, — она хоть простая, но хорошая женщина, — плакала, рассказывая. Живописишка этот ей родня, да уж и она отрекается от него, потому что пьяница, негодный мальчишка. Она было его, месяцев с восемь тому, рекомендовала мне, и я имела глупость позволить такой дряни прийти ко мне писать портрет с меня! Хорошо, что я его выгнала тогда, не помню почему, — он пришел не вовремя. И, вообрази! мать его хвастает везде: знайте, говорит, наших! в моего сына влюблена дочка знатного человека и сама навязывается нам. Как со мной паралич не сделался, как я это услышала!

— Да, да, да! ай-ай-ай... Что тут прикажешь делать? Ну, а спрашивала ли ты у нее, правда ли это?

— Я после этого и видеть-то не могу ее, не только спрашивать. Не угодно ли вам будет послать за ней теперь и порасспросить ее при мне обо всем? Посмотрим, что она заговорит. А Ваньку, который за ней ходил, сегодня же выгнать из дома.

— Так позвать, что ли, ее?

— Нет, лучше оставить так, — пусть позорит ваши седые волосы...

Г-н Поволокин позвонил.

— Попросите ко мне Софью Николаевну.

Через минуту она вошла в кабинет.

Глаза бедной девушки были болезненно-томны, и густой румянец, которого у нее никогда не было, покрывал ее щеки. На ней было темное ситцевое платье, совершенно закрытое, и голубой платочек на шее; но, несмотря на эту простоту одежды, в ее походке, во всех ее движениях было столько благородства, столько непринужденности, что вы везде и во всем отличили бы ее с первого взгляда... Она подошла к отцу и хотела поцеловать его руку, но он отдернул ее... Сердце ее сильно забилось; она взглянула на мать — и поняла все.

— До нас, — начал Николай Мартыныч, не смотря на нее, — доходят такие странные слухи, такие, что, признаюсь, я никак не мог... Это просто ни на что не похоже, невероятно...

— Что же вы молчите? — закричала Надежда Сергеевна, — извольте отвечать вашему отцу, он ждет вашего ответа.

— Я не знаю, что угодно сказать батюшке.

— Вы не знаете? а? это прекрасно! Расскажите ему, как вы ходите на чердак, из любви к живописи, смотреть, как там какой-то маляр пачкает кистью. Вы берете уроки у него, сударыня, или он снимает с вас портрет, или вы служите для него?.. Вы думали, что я так глупа, что ничего не знаю?

Кровь бросилась ей в голову, однако она отвечала твердым голосом:

— Матушка, выслушайте меня прежде, а потом оскорбляйте, если вам угодно. Я только виновата в том, что без вашего позволения ходила к бедной, но благородной и честной женщине, думая ей помочь чем-нибудь. Правда, у этой женщины есть сын, живописец, молодой человек, образованный и с дарованием; но я ходила к ней, к старушке, к его матери, не думая, чтоб это было преступление.

— Слышите? она еще осмеливается грубить нам. Это ужасно! *Благородная женщина, молодой человек, образованный, с дарованием!* Так это ваша компания, сударыня? К тому же вы лжете: старушка эта побродяга, а сын ее негодяй и пьяница.

— Матушка! для чего вы оскорбляете честных людей, матушка!..

— Замолчи! Слышишь ли? Я, твоя мать, приказываю тебе, — молчи! Вот ваша литература, вот ваши писатели до чего довели вас! как хорошо они образовали вас!.. Вы унижаете себя и хотите, вместе с собою, затоптать и нас в грязь, — нас! Нет, это уж слишком! Вы кладете нас заживо в гроб, зарываете в могилу? Прекрасная дочь! Вместо того, чтоб идти все выше и выше, помогать возвышаться отцу, как это бы сделала другая, благородная дочь, вместо того, чтоб поддерживать знакомство княгини Д* и ее дочери, стараться войти к ним в дружбу, сделаться домашней в их доме и через них составить себе блестящую партию, вы, сударыня, вы... да мне и говорить-то с вами стыдно!.. вы сводите дружбу с такими тварями, которые могут ходить только к нам на кухню. Вы не смейте с сегодняшнего дня называть меня вашею матерью, — вы влюбляетесь... — При этом слове Надежда Сергеевна захохотала. — Влюбляетесь... Что, ведь вы, говорят, влюблены в сына этой торговки, этой старушонки?

Отец все ходил по комнате, покачивая головою и повертывая в руках табакерку. Силы оставляли бедную девушку; она прислонилась к стене, боясь упасть; кровь застывала в ней; ей было холодно, она дрожала всем телом... Вдруг, при последних словах матери, она как бы очнулась от смертного обморока; щеки ее снова зарделись пурпуровым румянцем; глаза странно засветились. Она приподняла голову и посмотрела на мать:

— Да, — сказала она, — я влюблена в ее сына, в сына этой старушонки, я в него влюблена!..

Это была ужасная минута: у г-на Поволокина выпала из рук табакерка, а г-жа Поволокина сделала какое-то странное движение и остановилась; она усиливалась что-то произнести, но язык не повиновался ей.

Удушливая тишина перед грозой, минута гробового молчания, — только маятник стенных часов стучал мерно и однозвучно. Сердце несчастной билось неровно и мучительно, дыхание ее становилось тяжелее и тяжелее; наконец скорыми шагами и с угрожающим видом Надежда Сергеевна подошла к дочери.

— Знаешь ли, что я могу проклясть тебя? что я прокляну тебя? Понимаешь ли ты, что такое проклятие матери?

Она вытянула руку над головою страдалицы и вперила на нее глаза свои.

Та застонала, бросилась от нее, упала к ногам отца, уцепилась за его ноги и умирающим голосом сказала:

— Спасите меня, спасите, батюшка! спасите меня!

У Николая Мартыновича закапали из глаз слезы... Чувство отца, может быть, впервые взяло верх над чувством чиновника, но он не смел ей сказать слово утешения в присутствии своей неумолимой супруги: он приподнял и, незаметно наклонясь, поцеловал ее в голову, прошептав: «Поди в свою комнату!»

Она вышла из кабинета.

Когда, без памяти, она добрела до своей комнаты и упала в кресла, блуждающими глазами обвела она кругом себя и облокотилась на стол, который стоял перед нею. На этом столе лежала книга в старинном кожаном переплете, с медными застежками. Эта книга была евангелие. Девушка перекрестилась слабеющею рукою, развернула книгу, хотела читать, но в глазах ее потемнело; голос ее замер, голова скатилась на книгу... Она лишилась чувств.

Оставшись в кабинете глаз на глаз, супруги долго ни слова не говорили; потом Надежда Сергеевна презрительно взглянула на Николая Мартыновича и сказала:

— Вы, старый плакса, вы избаловали эту девчонку; теперь пеняйте сами на себя, — и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью.

Николай Мартынович вздохнул, подошел к одному из столов, взял банку с одеколоном и потер себе виски.

ГЛАВА VIII

> Все это честолюбие и честолюбие от того, что под язычком находится маленький пузырек и в нем небольшой червячок, величиною с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой.
>
> *Гоголь.*

После этого рокового утра Софья слегла в постелю. Болезнь, которая давно таилась в ней, теперь обнаружилась со всеми ее странными признаками и с каждым

днем развивалась больше и больше. Лицо девушки все горело румянцем, и глаза как-то странно светились. У нее отняли последнее утешение: к ее страдальческому изголовью не допускали эту добрую старушку-няню, которая прежде заменяла ей мать, и последние дни свои на земле она должна была проводить без привета, без ласки. Но няня каждый день ходила тайком к людям, проведывать о здоровье своего *ненаглядного сокровища* и всякий день заливалась слезами. Отец раза два в день на минуту приходил к постели больной дочери, и она, как ангел, улыбалась ему, говорила всякий раз: «Мне сегодня полегче», — и целовала его руку. Раз как-то он проговорился в присутствии своей супруги:

— Она, кажется, не жилица у нас; надо бы позабыть все прошедшее.

И Надежда Сергеевна разгневалась и закричала:

— Не беспокойтесь; поверьте, что она очень живуща.

Но когда Карл Иванович, через неделю после этого, объявил, что у нее в сильной степени развилась чахотка, которая давно скрывалась в ней, и что вряд ли она проживет с месяц, Надежда Сергеевна призадумалась, и с этой минуты она, говорят, стала снисходительнее и внимательнее к умирающей. Впрочем, она никогда не оставалась долго с нею; не знаю, может быть, совесть, а может быть, и равнодушие были тому причиной. Обрученница смерти, бедная девушка, казалось, вполне примирилась с своею участью. Несмотря на страданье и болезнь, лицо ее выражало совершенное спокойствие: видно, она чувствовала себя счастливее. Часто заставали ее пристально смотрящую на образ спасителя, стоявший у ее изголовья. В эти минуты уста ее шевелились, произнося молитву, и эта молитва изливалась слезами, которые катились по впалым щекам ее. Страшно видеть человека, избалованного земным счастием и не приготовленного к святым таинствам загробного бытия, когда смерть внезапно налагает на него ледяной перст свой, когда она отмечает его вдруг своею разрушительною печатью; но смотреть, как потухает жизнь несчастливца, у которого ничего не остается, кроме высшего обетованного блаженства, кроме надежды на милосердие господа, — о, это совсем другое!.. Да, смерть — или безобразный скелет

с острою косою, или светлый ангел, разрушающий земные узы, или душная и тесная яма, которую зовут могилой, или радужные крылья, уносящие в беспредельность и вечность...

Для нее смерть была светлым ангелом. В самую тяжкую минуту жизни она прикоснулась к ней и прошептала: «Пора! Я буду твоей спасительницей, мера страданий твоих начинает переполняться...»

Девушка перекрестилась и подумала: «Благодарю тебя, господи, ты сделал меня причастницей твоей благости. Ты принял мои кровавые слезы, ты услышал мои горячие молитвы!»

Прошел месяц, и лицо ее так изменилось, что трудно было узнать ее. Она беспрестанно забывалась; видно, какие-то образы носились перед нею, потому что она говорила:

— Вот он, в последний раз я могу посмотреть на него; вот она; благословите, перекрестите меня, будьте мне матерью: я с вашим крестом лягу в могилу.

— Она бредит, — говорили люди, окружающие ее.

Однажды, проснувшись, она почувствовала себя слабее обыкновенного. Беспокойство и желание чего-то вдруг выразились на лице ее. Она подозвала горничную.

— Подай мне перо и бумаги, — сказала она, — я хочу писать.

Рука ее дрожала так, что она едва могла написать несколько строк; потом прочла написанное, отодвинула чернильницу, посмотрела еще раз на свою записку и спрятала ее под подушку.

Через два дня после этого, часу в десятом утра, она попросила к себе свою мать.

Надежда Сергеевна явилась в ту же минуту и села у ее постели. Бедная девушка, казалось, собиралась с силами, чтоб начать говорить.

— Ну что? как твое здоровье, милая?

— Я чувствую, что час мой близок, матушка. Я хотела бы причаститься святых тайн. Но прежде чем приступлю к этому великому делу, я должна просить у вас прощенья. Я так много, хоть и неумышленно, огорчала вас. Простите меня... — И слова ее беспрестанно перерывались кашлем, и дыханье становилось слышнее и тяжелее; она силилась приподняться с постели, чтоб упасть к ногам матери.

— Вы видите, — продолжала она, задыхаясь от усильного движения, — я хотела бы лежать у ног ваших, но не могу... Бог прощает всех, по своему милосердию... Простите меня.

Голова ее упала на колени матери — и она запекшимися устами искала руки ее.

Мать приподняла ее и положила ослабевшую ее голову на подушку.

— Моя совесть, — сказала Надежда Сергеевна дрожащим голосом, — в отношении к тебе чиста: я готова предстать на суд божий, пусть он нас рассудит с тобою; я всегда хотела твоей пользы, хотела видеть твое счастье. — Она взглянула на образ и вздрогнула. — Я прощаю тебя.

— Перекрестите меня! — произнесла больная едва слышно.

Надежда Сергеевна перекрестила ее.

— Теперь у меня еще одна просьба к вам, добрая матушка, одна... Допустите ко мне мою няню; я хочу проститься с нею.

Тень неудовольствия пробежала по лицу Надежды Сергеевны; но она тотчас скрыла это.

— Изволь, моя милая, я согласна.

— Благодарю вас... Еще я не хочу ничего скрывать от вас, и могу ли я скрываться в такие минуты? Я поручу няне отнести записку к матери этого живописца, к простой и честной старушке; она любила меня без всяких видов: я только прощаюсь с нею в этой записке, больше ничего. Вы сделаете мне и это снисхождение?

В этот раз брови матери грозно надвинулись на глаза, так что она вдруг не могла расправить их. Судорожное движение гневно покривило ее губы; однако чрез минуту она успокоилась и отвечала:

— Пожалуй, если ты этого непременно хочешь...

— Прикажите же послать за нею и за священником; мне непременно хочется причаститься сегодня. Скажите батюшке.

К вечеру больная сделалась беспокойнее.

— Что же нет няни? — спрашивала она, — послали ли за священником?

Она вполголоса читала молитвы и по временам вздрагивала и прислушивалась, нейдет ли кто. Дверь скрипнула, точно кто-то вошел на цыпочках.

— О, это она, это моя няня! — произнесла Софья шепотом, — теперь мне легче.

В самом деле, то была она. Старуха шла к постели умирающей, глотая слезы и заглушая в груди рыдания.

— Няня, няня! это ты? — И девушка протянула к ней руки и улыбнулась, — я уж совсем не думала видеть тебя; подойди ко мне поближе.

Старуха не выдержала, взглянув на свою вскормленницу; она зарыдала в голос, бросилась на колени перед нею, схватила ее руку — и целовала ее, обливая слезами.

— Голубчик мой, красное мое солнышко! — приговаривала она, — думала ли я, что господь бог приведет меня увидеть тебя такой? Сердце-то мое пополам разрывается, глядя на тебя. Ох, лучше бы мне, горемычной, не дожить до этого часа! Пташка ты моя ненаглядная!.. улетаешь ты от нас далеко. Уж возьми и меня с собою!

Она еще что-то говорила, но слов нельзя было различить: эти слова сливались в отчаянный, безнадежный вопль.

— Прощай, родная моя няня! молись только обо мне богу; не плачь — я счастлива; только мне так тяжело дышать... Положи руку ко мне на грудь, вот так. Исполни мою последнюю просьбу, няня: возьми эту записку, отдай ее, когда меня не будет, Палагее Семеновне. Она меня любила, поклонись ей от меня, скажи, что я ее не забыла. Как мне становится тяжело, няня!

В эту минуту священник вошел в комнату с святыми дарами; отец и мать подошли к ее постели. Она простилась с ними.

— Теперь ненадолго оставьте меня. Я хочу быть одна, — сказала она, — хочу приготовиться к святому причастию.

Все отошли. Отец заливался слезами, няня рыдала, закрыв лицо передником; мать смотрела в окно, приподняв стору, хотя на дворе было темно, как ночью; умирающая молилась...

Через четверть часа три человека ее приподняли, прислонили к подушкам, так что она могла сидеть, и отошли.

Священник в полном облачении приблизился к ее постели... Непродолжительна была исповедь; он причастил ее. После совершения обряда она так уже ослабела, что

едва могла пошевелить рукою; но когда няня подошла к ее изголовью, она посмотрела на нее, но уже едва могла прошептать:

— Записку, няня, мою записку... да где ты? У меня вдруг потемнело в глазах. «Во имя отца...» — Это было ее последнее слово.

Еще несколько минут... раздался звонок в передней, и послышались чьи-то шаги.

— Доктор приехал! — сказала Надежда Сергеевна, — я узнаю его походку, — и побежала к нему навстречу.

Карл Иванович подошел к постели больной посмотреть на нее, взял ее руку: рука была холодна; наклонился к лицу ее: дыхания не было слышно... Он осмотрелся кругом, все ждали его слова. Он произнес вполголоса:

— *Она скончалась!*

Из груди отца вырвался стон; Надежда Сергеевна перекрестилась, сказала:

— Его святая воля! — и подняла к глазам платок.

Няня бросилась к умершей, закричала страшным, раздирающим голосом:

— Нет, постойте, может статься, она жива еще, мое дитятко; дайте мне отогреть ее! — и припала к ее постели.

Не знаю, сколько времени пролежала бедная старуха у ног ее, только вдруг она почувствовала, что кто-то тянет ее за платок. Она оглянулась, открыла глаза: перед нею стояла Надежда Сергеевна.

— Довольно и без того слез и крику в целом доме. Поди за мною.

Старуха едва могла приподняться и кой-как поплелась вслед за нею. Надежда Сергеевна пришла в свою спальню, заперла дверь за вошедшею няней, которая прислонилась к стене, чтоб не упасть.

— Отдала ли тебе Софья Николаевна записку, чтоб отнести матери этого живописца?

— Отдала, матушка.

— Где же она?

— У меня, со мною.

— Дай мне ее сейчас; я не хочу, чтобы записка моей дочери была в руках у... — Она не договорила. — Ну что же? Подай мне эту записку. Я приказываю тебе.

— Я не отдам ее вам ни за что! Делайте со мной, что хотите.

— Как ты смеешь?.. Я тебя не выпущу из дома.

— Убейте меня, старуху, коли вы не считаете это грехом, а тогда берите и записку.

— Дерзкая грубиянка! ты погубила дочь мою знакомством с этими тварями и еще осмеливаешься противиться мне; ты уморила ее!

Старуха вся затряслась, как в лихорадке.

— Нет, матушка ваше превосходительство! За нее, мою кормилицу, будет кто-нибудь отвечать богу, только не я. Не я уморила ее.

Она подошла к Надежде Сергеевне.

— Сказать ли вам, кто ее убил, матушка? Я знаю — и скажу это так же перед вами, как и перед богом. Я простая женщина...

— Кто? кто? — вскрикнула в бешенстве Надежда Сергеевна, сверкая глазами.

— Вы, сударыня! извините меня, я простая женщина: у меня что на уме, то и на языке.

Верно, такого ответа не ожидала Надежда Сергеевна, потому что она покачнулась и удержалась только рукою за кровать.

— Вон, вон с глаз моих! — прошипела она, — чтобы и духа твоего не было в моем доме!

Александр скоро узнал о болезни Софьи, и хотя ни он, ни мать его не думали, чтобы болезнь эта была так опасна, но они оба беспокоились, тем более, что няня ее давно не приходила к ним. Александр раз как-то попытался узнать о здоровье Софьи Николаевны у людей г-на Поволокина, но из ответа их не мог вывести никакого заключения. Все эти люди смотрели на него подозрительно и нехотя, односложно и грубо отвечали: «Больна, лежит». Он спросил Ивана, того самого человека, который всегда ходил за нею, — ему сказали, что он более уже двух недель как не живет у них. Дни медленно тянулись для старушки и ее сына — и вот в один вечер, когда они сидели вдвоем, сильно зазвенел колокольчик. Они оба вздрогнули и посмотрели друг на друга.

— Кто б это в такую пору? — сказала Палагея Семеновна.

Был час седьмой вечера. Александр со свечой пошел отворять дверь.

Он отворил дверь — и отшатнулся. Перед ним стояла няня Софьи. Голова ее тряслась, седые волосы беспорядочно торчали из-под платка, она все запахивала полы своего салопа. Александр хотел ее спросить, «что с нею?» — и не мог. Наконец она сказала:

— Ух, как сегодня холодно! Не топится ли у вас печка, дайте, ради Христа, погреться... Я едва дотащилась досюдова.

И Александр, с предчувствием чего-то страшного, смотрел на нее.

— Что с тобою, Федосья? — спрашивала Палагея Семеновна, сажая ее на стул, — откуда это ты? Где ты так назяблась? Я сделаю тебе чаю, ты немножко поотогреешься.

— Нет, вы уж не отогреете моих старых костей! Зажилась я, глупая баба, на свете; полно! Пора и честь знать... Дитятко мое сердечное! И могилку-то ее так скоро занесло снегом! Разрою этот снег, непременно разрою.

Александр почувствовал, что ледяные иголки колют его в темя.

У Палагеи Семеновны забилось сердце.

— Что это, не помешалась ли ты, Федосья?

— Помешалась! лучше бы помешаться, матушка Палагея Семеновна! — Она вынула из-за пазухи какую-то бумажку. — Вот вам весточка от моей барышни: приказала вам кланяться. Я сейчас только от нее. Она переехала в спокойное местечко.

Палагея Семеновна дрожащими руками развертывала бумагу, в которую вложена была записка.

— Позвольте, я прочту, матушка.

— Нет, погоди, погоди, Саша! — И старушка надевала очки. Она едва могла разобрать следующее:

«Благодарю вас за те немногие минуты счастия, которые вы мне доставили. И теперь, когда смерть возле меня, я вспоминаю об этих минутах; даже, мне кажется, только еще и живу этими минутами. Помолитесь о той, которая любила вас от всего сердца! Скажите вашему сыну, что он счастливейший человек в мире, потому что вы его мать. Пусть он бережет себя для вас и для искусства. До свидания — *там!* С*».

Старушка сняла очки. Крупные слезы лились по лицу ее.

— Господи! Помяни во царствии своем рабу свою Софию! — прошептала она, перекрестившись.

Четыре дня и четыре ночи после этого вечера Палагея Семеновна прострадала, не смыкая глаз. На ее руках умерла в горячке няня Софьи.

— Друг мой, не убивай себя и своей старухи, — говорила Палагея Семеновна сыну, когда все в их квартирке приняло прежний порядок после похорон старушки-няни, — подумай только о том, что наша Софья Николаевна теперь счастливее. Ты знал, какова была ее жизнь. Отслужим-ка лучше по ней панихиду, помянем ее и помолимся о душе ее.

— Матушка! Я не могу забыть ее... Она была моим небесным видением, моею мечтою о счастии. О, если б вы заглянули в мою душу! Но скоро, может быть, скоро и я успокоюсь. О, люди отвратительны, матушка!.. Я не хочу жить! Но я пойду к этому чудовищу, к этой убийце...

— Что это значит? ты не хочешь жить?

Боязливо она посмотрела на сына.

— Признаюсь вам, я хотел бы умереть, матушка!

— Уж не хочешь ли ты?.. Да помилует тебя бог!.. А твоя мать? твоя мать? или уже она для тебя ничего? О, подумай о бедной твоей матери! — И старушка бросилась к ногам его, и голос ее был вопль отчаяния, звуки страданья невыносимого. — Хоть не для меня, друг мой, хоть не для меня, не я прошу тебя, — ты не послушаешь меня, если я тебе буду говорить, что такая смерть есть грех ничем не искупимый, ты все-таки не послушаешь меня! Но ты забыл слова *ее,* она приказывала тебе — это была последняя ее воля — беречь себя для твоей матери... Я достану тебе ее записку, перечти ее хорошенечко: воля усопшей — святая воля, нельзя противиться ей. — И старушка захлебнулась слезами; голова ее упала на пол. Александр забыл все; он бросился на колени перед лежавшей на полу матерью, приподнял ее и крепко прижал к груди своей.

— Простите меня, матушка! Я безумец, я не знал, что говорил. Бог свидетель, что с этой минуты вся жизнь моя принадлежит вам, вам одной!

Через две недели после похорон дочери его превосходительства у Осипа Ильича был *вечер* по случаю получения им давно ожиданного награждения, — и вечер, правду сказать, на славу!

На этом вечере не было особы ниже надворного советника; шампанское лилось, что называется, рекой: надо же было вспрыснуть награду! Аграфена Петровна удивительно расщедрилась и разлюбезничалась, даже сама подносила бокалы некоторым особенно почетным гостям.

— Мастерица угощать Аграфена Петровна! — сказал толстый и плешивый чиновник другому, тоненькому, с сердоликовой печаткой внизу жилета.

— Уж эту честь ей надо отдать! Знаете, что я вам скажу: великое дело угощение, то есть, просто от него все зависит в доме.

— Точно-с, справедливо-с заметить изволили.

— Да, да, я вам скажу, что надо уже так родиться на это: найти каждому сказать приличное словцо, к тому, к тому подбежать, с картой ли или с бокалом. В этом состоит уменье жить, светское обращение.

Толстый чиновник говорил прекрасно, и около него постепенно составился кружок слушателей. Таково всегда действие истинного красноречия! Все внимали ему с разинутыми ртами, и сам Осип Ильич не утерпел, подошел его послушать с двумя своими приятелями, с Марком Назарычем и Николаем Игнатьевичем.

— Вот я, — продолжал оратор, — я бываю везде, во всех лучших обществах, и уж пригляделся ко всему. Часто все хорошо, и угощение, и то и сё, а все недостает чего-то, — просто души нет в обществе. Конечно, нам, частным людям, нельзя давать такие балы, как, например, в Благородном собрании. Кто и потребует этого? Ну, там и комнаты большие, и освещение; одни свечи сколько стоят! ослепнуть можно, я вам скажу. Но мы, если не тем, так другим должны брать: мы, — я говорю о частных людях. Внимательность хозяйки, любезность — вот что приятно в гостях.

— Точно, точно! — послышалось со всех сторон.

— Его превосходительство господин Поволокин, ихний знакомый (оратор указал пальцем на Осипа Ильича), — человек отличный, *барин* — уж нечего сказать, и мало говорит, а что-то есть в улыбке располагающее, — и это, я вам скажу, много значит: как взглянет, и комплиментов

не нужно. Жаль мне его, душевно жаль! Экое, подумаешь, несчастье: лишиться дочери. Впрочем, она всегда была что-то такая больная на вид. И мать-то бедная! ах, какая потеря!..

— Говорят, — сквозь нос заметил один чиновник, тоже очень важный и серьезный, — она была влюблена... правда ли это? Что-то странно... в какого-то живописца, да, знаете, занемогла по сему случаю и умерла.

— Да и я слышал-с, — закричал кто-то тонехоньким голоском, — тут было что-то не совсем чисто-с; она...

При этом толстый чиновник так взглянул на пискуна, что тот совсем смешался и замолчал, а Осип Ильич в ту же минуту скрылся, когда услышал, что разговор принимает такой щекотливый оборот.

Чиновник, который говорил в нос, наклонился к уху красноречивого чиновника и прошептал:

— Что *она* была влюблена в живописца и тайком видалась с ним — это достоверно. Между нами, мне это дело рассказывала Аграфена Петровна подробно; по дружбе, пожалуй, я вам расскажу все когда-нибудь. К тому же об этом уж многие начинают шушукать.

— Черт знает! — возразил красноречивый чиновник. — Унизиться до такой степени, и еще кому же? *Дочери чиновного человека!* Скажите, пожалуйста, кто бы это мог подумать?

— Антон Гаврилыч! В бостончик! — кричала Аграфена Петровна, подходя к статскому советнику. — Партия ваша составлена. Я уж всем разнесла карты. Вот вам осталась кёровая [1] дама.

— Очень приятно-с, Аграфена Петровна!..

---

[1] червонная (*от франц.* coeur — черви (масть).



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФЕЛЬЕТОНИСТ

Я сам по примеру твоему, душа Тряпичкин, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить, хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно, надо чем-нибудь высоким заняться...

Ревизор.

I



стория детства будущего фельетониста — история детства многих из средних дворян. Попечительные и нежные родители, как водится, пичкают в него булки и пряники с утра до ночи. Аппетит у дитяти изрядный, потому что он целый день в движении, целый день бегает по двору да гоняет кнутом дворовых мальчишек, огрызаясь с бабами и лакеями. Между тем он кое-чему и учится — и даже *зубрит* (употребляя школьное выражение) французские вокабулы. Лет в двенадцать он уже достаточно вытянулся. Попечительные и нежные родители (у которых от 200 осталось только 45 заложенных и перезаложенных душ) находят неприличным держать его долее дома и отсылают в Москву в пансион. В пансионе его учат всему понемножку и ничему не выучивают; однако лет в пятнадцать он переводит с французского на русский довольно сносно и начинает чувствовать страстишку к чтению. На школьной лавке, по-

тихоньку от гувернеров и учителей, перечитывает он все романы (в переводах) от г-ж Котень и Жанлис до Вальтера Скотта включительно.

Эти романы возбуждают в нем неопределенное и тревожное желание самому сделаться сочинителем.

Учитель словесности — педант-семинарист — своими похвалами еще более раздражает в нем это желание. И герой мой в свободные от лекций часы сидит в углу классной комнаты и там на лоскутках бумаги все пишет и написанное тщательно прячет от всех.

Однажды, когда он сидит над лоскутком, грызет перо, качает головой и бормочет что-то сквозь зубы, один из его товарищей ловко подкрадывается к нему и уносит его заветный лоскуток с стишками... Будущий фельетонист вскрикивает от испуга, с ожесточением бросается на товарища; но тот одним толчком обезоруживает бессильного поэта и убегает от него с своим приобретением... Через две минуты весь пансион окружает сочинителя. «У! у! сочинитель! сочинитель!» — кричат мальчишки, дразня его языком, смеясь и прыгая около него. С тех пор ему не дают покоя; но, несмотря на преследование товарищей, охота писать не оставляет его. Он постоянно пачкает бумагу или читает разрозненные томы русских журналов.

Наконец ожесточение против него товарищей мало-помалу прекращается: они, смеясь над ним, не шутя приучаются к мысли, что он сочинитель. И бедняжка (ему почти семнадцать лет) несколько ободряется: он, в подражание тем журналам, которые читал, хочет и сам издавать журнал для своего класса. Он покупает для будущего журнала прекрасную тетрадку, две недели расписывает заглавный лист, две недели разрисовывает виньетку. Когда же и заглавный лист и виньетка окончены, он начинает думать о содержании своего журнала, пишет для него и стишки, и повести, и критики... Стишки и повести немного затрудняют его. «Подбирать рифмы не легко, выдумывать *сюжетцы* для повестей также трудновато, — думает он, — критика легче, а может быть, она мое «истинное призвание» (эту фразу он — плут — вычитал в журнале). *Критика?..* Что, если я буду когда-нибудь *настоящим* сочинителем? Кажется, можно сойти с ума от радости, видя в печати свои сочинения!..»

И, отдаваясь этим соблазнительным мечтам, он — тихий и скромный мальчик — аккуратно и красиво переписывает свои сочинения в тетрадку. Проходят два месяца: вся тетрадка исписана, журнал готов, он уже переходит из рук в руки. Страшная минута для издателя!.. У него замирает дух.

Чем-то решится его участь?.. Но над ним уже не смеются, его читают, его даже немножко похваливают... Весело быть сочинителем!

Скоро затворническая жизнь его кончится; из мальчика он делается молодым человеком и держит экзамен в университет.

Он уже студент! Он вместо отложных воротничков носит галстук; он без провожатого ходит по московским улицам и бульварам; он после лекций забегает в лавку Пера съесть пирожок. Перспектива жизни открывается перед ним: сколько соблазнов! Театр, слоеные пирожки, хорошенькие девушки, вино и журнальные статейки...

Молодой человек, помаленьку пользуясь жизнию, переходит во второй курс; физиономия его принимает более серьезное выражение. Он надевает очки, зевает в лекциях, робко подглядывает под шляпки, насвистывает водевильные куплетцы и грезит о будущей литературной славе своей, переводя между тем, для собственного удовольствия, разные мелкие повести и стишки из французских журналов.

Очки придают ему некоторую важность и рождают в нем маленькую самонадеянность... «А почему же мне не попытаться, — говорит он самому себе, поправляя очки, — почему не попытаться отослать хоть один из моих переводов в журнал? Очень вероятно, что и напечатают... слог, кажется, не дурен... Право, отошлю!»

Письмо и статьи отосланы. С этой минуты болезнь ожидания овладевает молодым человеком... Перед выходом книжки журнала он начинает чувствовать лихорадку и биение сердца. Книжка вышла... Толкая и сбивая с ног всех встречающихся, бежит он в книжную лавку. Его узнать нельзя: он без очков, пот льется ручьями по лицу его, он тяжело переводит дыхание, он, заикаясь, едва может сказать сидельцу книжной лавки:

— Дайте мне, пожалуйста... посмотреть... последний нумер...

С жадностию схватывает он поданную ему книжку, боязливо переворачивает лист за листом; руки его дрожат... о боже!.. Он не верит глазам своим... напечатан, перевод его напечатан!.. Он прочитывает его от начала до конца, потом от конца до начала... И поправок не так много!.. Он любуется печатными буквами и не налюбуется. С трудом отрывается он от книжки — и возвращается домой, с неописанным восторгом, напевая водевильный куплетец.

Участь его решена окончательно. Он уже считает себя литератором и говорит одному офицеру, своему родственнику, приехавшему в отпуск в Москву из Харькова:

— Я, душа моя, завален переводами, я ведь главный сотрудник в журнале NN.

— Браво! — замечает офицер, крутя ус и прищелкивая языком, — прямо в Пушкины лезешь!

Студент не может скрыть приятной улыбки, крепко жмет руку офицера и бежит к журналисту, чтоб начать поскорее пожинать литературные лавры. Журналист принимает его с сухою важностию, но когда молодой человек с трепетом объявляет, что готов *безденежно* и постоянно трудиться в его журнале — строгое и мудрое чело журналиста проясняется.

«Безденежно! — думает журналист, — а, это дело другое!.. Этот молодой человек очень порядочный, по всему видно; я очень люблю этаких горячих новичков! К тому же переводит он так себе — ничего. Мы им воспользуемся...» Журналист мысленно прогоняет уже от себя своего сотрудника, который брал с него по 20 р. за переводный лист — и, обращаясь к моему герою, с улыбкою произносит:

— Не хотите ли трубочки, почтеннейший? а? Я почитаю корректуру, приищу вам кое-какую работу, а вы посидите покуда да покурите...

О счастие!.. Благоговейно осматривает молодой человек комнатку, в которую, по его мнению, допускаются только светила ума, избраннейшие из избранных... Груды рукописей, книг, газет и журналов французских и немецких разбросаны по столам, пыльные и в беспорядке; корректуры валяются по полу. (В то время журналисты еще не украшали себя цветами и мебелью Гамбса.) Что-то таинственное и заманчивое для героя моего в этой довольно грязной комнатке журналиста. И властелин этой

комнатки, он, этот великий человек, для которого не существует никаких литературных тайн, — он, владетель этих бумажных и пыльных сокровищ, могучий раздаватель славы и бессмертия, грозный и неумолимый судия, — сидит перед ним, перед бедным и неизвестным студентом, и ставит чародейственные каракульки всесильным пером своим на грязных корректурных листах... Дивные минуты! Студент мой готов для этого великого человека трудиться не только безденежно, он был бы рад отдать ему собственные деньги, если б они у него были, за лестное позволение участвовать в его журнале... Бедный фельетонист, — в сию минуту жалкое орудие презренной воли своего барина, какого-нибудь торгаша-газетчика или журналиста, комок грязи в предательской руке его! Ты, может быть, забыл эти дни своей невинности, бескорыстные мечты своей светлой юности!..

Но к чему отступления?

Герой мой скоро из студента превращается в кандидаты; старичок отец его умирает; матери его давным-давно нет на свете. Он круглый сирота — он вольная птица и наследник 45 заложенных и перезаложенных душ. Он продает их и выручает за уплатою долга 5 000.

Школьные тетради под столом, бутылка шампанского на столе; ломбардный билет разменен.

— Чокнемся, мон-шер![1] — говорит он своему родственнику-офицеру, который уже вышел в отставку и женился в Москве. — Я теперь не менее тебя чином: я кандидат. Не шути, брат, со мною!

— Чокнемся, дружище, чокнемся! — со вздохом отвечает отставной офицер, — что чины, братец, не в чинах дело! Была бы воля своя. А то... (офицер махает рукою). Не женись, Петя, не женись, милый... Напиши-ка, братец, куплеты против женитьбы. Ей-богу, напиши... а уж я вот какое тебе скажу за это спасибо...

К новому кандидату очень к лицу его форменный фрак с пуфами на плечах, с высоким воротником и длинными фалдами! Блестящая пуговица сверкает на его черной манишке; подбородок его то ныряет в пестрый волнистый галстук, то снова выскакивает на его поверхность; лицо лоснится самодовольствием. Комнатка его убрана с большим вкусом. На стене висят картиночки и

---

[1] дорогой мой (*от франц.* mon cher).

портретцы великих людей. На этажерке стоит серебряная сахарница, четыре книжки в ярком переплете и бумажник, подаренный *кузиною,* на котором стальным бисером по розовому полю вышито: souvenir. Он — сидит за письменным столиком своим и сочиняет статейку, под заглавием: «Теория и практика красноречия», — глубокомысленная статейка!

Все бедные кандидаты начинают обыкновенно свое служебное поприще с учительства. И мой молодой человек делается также учителем.

Начальство тех заведений, где он учит, довольно его аккуратностию. Его похваливают и дают ему награждение. Слухи о его способностях и главное — аккуратности распространяются по Москве. Родители его ищут, он в иных домах получает уже по десяти рублей за час!

Жизнь шире и шире раздвигается перед ним. Иногда он обедает у Яра, а после обеда играет у приятеля в преферанчик и вистик; он танцует на замоскворецком балку. Он не пропускает ни одного представления, когда Мочалов играет в трагедии... А деньги выходят незаметно. Проклятые деньги! Прощайте же вы — невинные грезы юности! Прощайте и вы, труды бескорыстные!

«Не хочу печатать в журнале ни одной строчки без денег! — думает он, притопнув решительно ногой. — Надо же попить да повеселиться!..»

В свое время и любовь *идеальная* приходит. Как же без *идеальной* любви? Герой мой влюбляется в барышню, вздыхает, пишет стишки «К ней» и печатает их; он, разнеживаясь смотрит на *милую воровку своего покоя,* а отставной офицер подходит к нему, ударяет его по плечу и говорит: «Ах ты, Марлинский этакой! Ну, смотри, мечтатель!.. Держи ухо востро, братец, а то и не увидишь, как скрутят!..»

Впрочем, герою моему и не нужно предупреждения. Он влюбился больше для того, чтоб только писать стишки «К ней». У него уж теперь не любовь на уме... Ему смертельно хочется сделаться редактором какой-нибудь газеты, какого-нибудь повременного издания. Вот как! Эта мысль беспощадно повсюду гоняется за ним. Мысль хорошая! Говорят, будто бы, точно, очень лестно для самолюбия увидать в конце газеты или хоть биржевого прейскуранта свое имя, набранное *капителью!* У моего молодого человека нет ни малейшей надежды выхлопотать

себе позволение издавать журнал или газету, — несмотря на то, он все пишет программы журналов и газет и все толкует об литературной *добросовестности* и *благонамеренности...*

Но в Москве скоро становится ему неловко и скучно.

Там нет газет, там нет фельетонной литературы, там не любят легкого чтения...

То ли дело Петербург!.. Петербург только и хлопочет о деньгах. Там раздолье литературным спекулянтам, шутам и гаерам... Там ловкие люди приобретают великие капиталы различными литературными проделками; там пользуются литературной славой — господа, не написавшие ни одной строки... Там... но мало ли чего нет там?

Вот отрывок из письма, которое автор «Теории и практики», будущий петербургский фельетонист, получил от одного петербургского действительного фельетониста — своего друга.

«Да, Петя, ваша Москва деревня в сравнении с нашим Петербургом... Что тебе без всякой славы и вознаграждения работать в московских журналах, о существовании которых у нас и не подозревают? Я знаю, что ты получаешь там не больше 25 руб. за оригинальный лист, хоть и прикидываешься, плут, будто не берешь менее 150 р., а здесь 4 000 р. в год получает всякий корректор. Здесь, душа, корректурою наживают себе славу... Я скажу тебе про себя, что, кроме жалованья, известного тебе, я пользуюсь и другими невинными доходцами: все кондитеры, например, меня знают; я всякий день захожу в кондитерские и ем даром просто сколько душе угодно; волочусь, дружок, без пощады; *креманом* меня так и обдают и купцы, и актеры, и офицеры... Словом, здесь настоящий рай земной... Образование в Петербурге распространено во всех классах: когда я иду по Невскому, то все проходящие говорят: «А вон идет фельетонист такой-то...» Что, кончил ли ты свой водевильчик, который читал мне прошлого года, в последний приезд мой в Москву? Некоторые куплетцы у тебя, я помню, чудо! Я сам накатал водевильчик...» — и проч.

— В Петербург! в Петербург! — восклицает герой мой, прочитав эти строки... — У меня есть в Петербурге знакомый журналист; напишу к нему и предложу себя к его услугам. Он человек добросовестный — это важное дело; мы с ним, верно, сойдемся... Я наживу себе в несколько

лет капиталец, — заведу, может быть, со временем свой экипажец, своих лошадок... А между тем и службой займусь. В Петербурге нельзя не служить... Деньги — деньгами, а чины — чинами. Одно другому не мешает... Напротив... Я буду принадлежать к самой добросовестной литературной партии...» — и прочее...

Известно, что русская литература, в существовании которой еще многие очень умные люди сомневаются, делится на *партии;* говорят, будто бы вследствие этого и читающая публика также разделяется на *партии*... К какой же партии принадлежите вы, мой читатель?

II

Вот что пишет герой мой к другу своему, петербургскому фельетонисту:

«Дело решено, душа моя, я еду в Петербург. Мебель свою я продал, укладываю картинки, — боюсь, чтоб в дороге стекла не перебились; приищи мне квартирку, mon cher, тебе это легко; ты со всеми знаком и все знаешь. Я сошелся с А** на выгодных условиях. Фельетон газеты будет в моем полном распоряжении. Один мой знакомый приискал мне также место в ** департаменте. Сумма, которую я буду получать, обеспечивает мою жизнь, даже можно будет и пожуировать раз в месяц. Впрочем, только бы мне добраться до Петербурга, а деньги наживать станем; у меня теперь в запасе три водевиля, которые я переделал с французского. Пущу их на петербургскую сцену. В этих водевилях, я тебе скажу по совести, есть куплетцы презабористые... Надеюсь, душа, что хотя мы фельетонисты двух враждебных газет, но это не помешает нашим приятельским отношениям. В моей добросовестности сомневаться тебе нечего. Хочу также, голубчик, приняться за перевод Шекспира стихами. Надо познакомить нашу публику с этим великим писателем. Ты знаешь, что я всегда был шекспирианцем, mon cher. К тому ж переводом Шекспира в стихах легко можно составить себе в литературе громкое имя. В Петербург! В Петербург!..

В Петербурге — то ли дело?
В Петербурге — просто рай.
Не робей... Пиши лишь смело
Да деньжонки зашибай!

Adieu. Я твой whilst this machine is to him, как говорит Гамлет...»

По приезде в Петербург фельетонист завивается у Фаге, покупает галстук у Чуркина, шляпу у Фалелеева, пахучие перчатки под вывескою Оленя, надевает синий сюртучок с бранденбурами и кистями работы портного под вывескою: «Au Journal» [1] и идет гулять по Невскому проспекту. В таком щегольском наряде он очень хорош! И, вероятно, чувствуя это, он появляется в первый раз на поприще фельетонное под псевдонимом «Светского человека». Его сюртучок с бранденбурами и кистями оправдывает смелость такой выходки. Дебюты фельетониста блистательны. Он подражает игривому и остроумному языку Жанена. Вот выдержка из них:

«Самая восхитительная, самая упоительная, самая новая и в одно и то же время самая старая новость в Петербурге — *осень!*.. О да... осень, грязная, бледная, холодная, сырая, без солнышка, с седым небом, с седыми днями, с темными ночами...»

«В Летнем саду грустно: желтые листья лежат на дорожках, как клочки разорванной бумаги на полу в кабинете писателя или как папильотки в будуаре аристократки; гуляющих почти нет. Летний сад весною и осенью — какая безграничная разница! Это свет и тьма, день и ночь, улыбка и слезы (осень в Петербурге дождливая)... Многие жалуются на петербургский климат; но всем и каждому известно, что уже в апреле месяце в Летнем саду повсюду цветут розы — прелестные, пышные, роскошные, душистые, упоительные; между этими розами встречаются и лилеи — нежные, прозрачные, белее карарского мрамора, даже ярче русского снега, озаренного русским солнцем!..»

Фельетонист мой определяется в департамент.

Он принимается за службу ревностно; он приходит в департамент первый и уходит последний... Столоначальник им чрезвычайно доволен и даже, разговаривая об нем однажды с начальником отделения, выражается про него так: «Это, я вам доложу, Иван Кузьмич, такой молодой человек... такой, что просто я вам скажу ну! — если он будет все так продолжать... Ну, так тогда пойдет далеко, будет благонадежным чиновником».

---

[1] здесь: Последние моды *(франц.)*.

Но увы! Мой герой не оправдывает надежд своего столоначальника... Через два месяца служба надоедает ему. Он перестает ходить в департамент и, после замечания начальника отделения о нерадении, выходит в отставку.

— Я вышел в отставку затем, — говорит он одному своему трактирному приятелю, — затем, мон-шер, чтоб, знаешь, посерьезнее этак на свободе заняться литературой.

Александринским театром фельетонист недоволен, однако он не пропускает ни одного спектакля, отзываясь тем, будто ходит *по должности* (на последнее слово он сильно напирает); актеры ему не нравятся; однако он знакомится почти со всеми и даже находит себе много истинных друзей между ними. Он не только посвящает себя во все мелочные закулисные сплетни, но даже лично принимает в них деятельное участие. Этим отзываются все его театральные статейки. Он выбирает одного актера (с которым никак не мог сойтись по-приятельски) и одну актрису (которая находится под гневом его друга-актера) — и этих двух он громит в каждой своей статейке во имя искусства, и перед их фамилиями ставит обыкновенно по четыре восклицательные знака в скобках. Над публикою Александринского театра он подсмеивается, а между тем половина партера в этом театре состоит из его задушевных приятелей, хотя он не более полугода в Петербурге...

Он входит в кресла, сбрасывая свою шинель на руки капельдинера, который кланяется ему и говорит с приятностию: «Здравствуйте, батюшка Петр Семеныч». Фельетонист протирает очки и глаза и спрашивает у капельдинера: «Что? начали?» — «Нет-с еще-с...» Значительно улыбаясь, с чувством собственного достоинства, он подходит к своему другу, литературному фактору [1], который, несмотря на совершенную безграмотность, приобрел себе некоторую известность в литературе изданием кое-каких литературных пьесок, альманахов и разных другого рода книжонок, ловко идущих с рук.

— Здравствуй, душа, — говорит ему фельетонист, трепля его по плечу.

Фактор оглядывается.

— А! Петя! Что это у тебя заспанные глаза?

---

[1] посреднику, маклеру (*от лат.* factor).

Фельетонист поправляет очки.

— Что-то заспался, братец.

— Послушай-ка, Петя, знаешь...

Фактор наклоняется к уху фельетониста и шепчет... Слышны только некоторые отдельные слова: *кутили; пьяный; издаю; ее расхвалить; «Репертуар»... душка; мне обещал... «Пчела»... «Инвалид»...* Фактор грозит пальцем фельетонисту и хохочет, приговаривая:

— Экая ты шельма, братец!

Минута молчания.

Фактор со вниманием осматривает первый ряд кресел и потом стремительно обертывается к фельетонисту:

— Петя, Петя, посмотри-ка, кто затесался в первый-то ряд...

Фельетонист протирает очки.

— Ба, ба, ба! да это наш Максим Петрович?

Максим Петрович, или, правильнее, Максим Петров, — книгопродавец, и притом книгопродавец «добросовестный». Так по крайней мере величают его «добросовестные» журналисты.

Мой герой, разумеется, в самых приятельских отношениях, на самой короткой ноге с «добросовестным» книгопродавцем.

— Максим Петрович, Максим Петрович!.. — бормочет он дружески, кивая ему головой и маня его рукою...

Книгопродавец, отягощенный галантерейностями, подходит к фельетонисту и фактору, которые с чувством пожимают ему руку.

— Ай да Максим Петрович! Экой франт!.. — восклицает фельетонист, осматривая с ног до головы книгопродавца. — Нечего сказать, мастер одеваться.

Книгопродавец ухмыляется.

— Что же-с... ничего-с, — говорит он, приятно обдергиваясь...

В эту минуту к ним подходит офицер, имеющий некоторое поползновение к литературе и сочинивший водевильчик. Снова взаимное пожимание рук.

Офицер посматривает с чувством на фельетониста.

— С каким наслаждением, — говорит ему офицер, — я прочел вашу последнюю статейку о бенефисе Толченова... Как живо вы это все умеете описать, и как это у вас все выходит... так и льется точно вот как будто...

Офицер останавливается, потому что решительно не знает, что сказать далее.

— Да-с, — замечает «добросовестный» книгопродавец, — уж *они* на это мастера... *Прелесь* какое у *них* перо! Так и нижут-с, ей-богу.

Глазки фельетониста принимают масленое выражение... Он тает от этих похвал.

— Петр Семеныч, — продолжает книгопродавец, — после *спектактеля* не зайтить ли в ресторанчик?.. Выпить бы бутылочку другую шампанского не мешало.

— С удовольствием...

Занавес поднимается. Во время представления фактор значительно перемигивается с фельетонистом.

После спектакля все эти господа отправляются ужинать на счет «добросовестного» книгопродавца...

Славно и весело жить в Петербурге! Петербургская жизнь сильно нравится моему фельетонисту... Особенно он любит обедать на счет литературного фактора и ужинать на счет «добросовестного» книгопродавца. Вино прекрасное, и разговоры также не дурны. За этими обедами и ужинами ему не раз удавалось между прочим скропать несколько удачных куплетцев вместе с одним актером. И куплетцам этим, говорят, очень аплодируют на сцене Александринского театра.

Фельетонист, кроме водевильчиков, занимается также сочинением повестей. В этих повестях героини — по большей части идеальные и чувствительные, омарлинизированные девицы, страстные охотницы до *поэзии, легкие, дымчатые, туманные*, у которых волосы

...с *неистовым извивом*
И заключены, как сталь,
В бесконечную спираль!

а герои — юноши бурные, стремящиеся куда-то и к чему-то, с клокочущими страстями, презирающие все земное и повседневное, порывающиеся непрестанно *ввысь* и рассуждающие у Излера за растегайчиком о высоком и прекрасном, — потягивая, по энергическому выражению одного из наших поэтов, *нервный сок винограда*,

...струю кроваву
До осушки стклянных *дон!*

Эти идеальные девицы *приковывают обыкновенно себя к судьбам этих бурных юношей,* — и повести разрешаются трагически...

В первые дни своего пребывания в Петербурге фельетонист очень сердится на недобросовестность некоторых петербургских журналистов и газетчиков, авторитеты которых основаны на двадцатипятилетней давности; он сильно бранит их, потому что оскорблен ими. До него дошли слухи, что эти двадцатипятилетние авторитеты называют его *недоучившимся мальчишкой,* — и он хочет жестоко отделать их в какой-то статейке.

Он пишет в Москву к приятелю:

«По приезде в Петербург на меня, монпер, с ожесточением накинулись Н. Н. и Ф. Ф. — эти литературные вампиры и хотели высосать из меня всю кровь; но я славно отделал их, так что они надолго теперь прикусят язычки. Их недобросовестность возмутительна: я благодарю бога за то, что принадлежу к той литературной партии, которая пользуется уважением всех достойных людей... Вчера я был на литературном вечере у князя...» и проч.

Он пишет, а внутренний голос говорит ему:

«Послушай, голубчик, не ошибаешься ли ты, называя господ Н. Н. и Ф. Ф. вампирами? Какие они вампиры! они очень добрые и веселые люди и сочинители хорошие; ведь они не признают в тебе достоинств потому только, что ты находишься в работниках у заклятого врага их; отойди от него — и они примут тебя с распростертыми объятиями, будут хвалить и восхищаться тобой и находить в тебе замечательный талант... Они могут доставить тебе настоящую известность, которой ты так давно и напрасно добиваешься...» Фельетонист задумывается и закуривает трубку.

«Неужели они меня примут с распростертыми объятиями? — недоверчиво спрашивает он у своего внутреннего голоса, приятно усмехаясь. — Впрочем, если бы и так, то могу ли я теперь идти против самого себя, могу ли изменить собственным мыслям, чувствам, убеждениям?»

«Сколько лет я постоянно толкую тебе, — отвечает ему внутренний голос, — что у тебя нет ни мыслей, ни чувств, ни убеждения, а только небольшая претензия на все это да пустой и глупый идеализм, из которого тебе,

как и всем тебе подобным, нет выхода. Ты беспрестанно толкуешь о какой-то литературной добросовестности. Что же такое разумеешь ты под этою литературною добросовестностию? Сегодня ты в наймах у одного журналиста и по необходимости, а не по убеждению прославляешь своего хозяина; этот теперешний хозяин твой, право, ничем не выше других, врагов его, на которых ты теперь так жестоко нападаешь: завтра ты отойдешь *по обстоятельствам* к этим другим (знай, что по собственному бессилию ты всегда будешь жалким рабом *обстоятельств* и *случая)*; завтра, говорю я, отойдешь ты к этим другим за лишних 500 рублей в год, и те, в которых ты в сию минуту кидаешь полемические шарики, принимая эти шарики за камни, станут твоими кумирами, и, по приказанию этих новых кумиров своих, ты будешь называть белым то, что называл за день перед тем черным, и наоборот. Ведь это тебе ничего не стоит. У тебя нет своего мнения, своей воли; ты поешь, друг мой, с чужого голоса; ты вечно останешься на посылках у других; отними у тебя постороннюю волю, заставляющую тебя двигаться, — ты сейчас же превратишься в автомата, в куклу, в ничто...»

Фельетонист вскакивает со стула, бросает с негодованием из рук перо, поправляет судорожно очки и начинает ходить в волнении по комнате. Никогда еще так резко не говорил с ним его внутренний голос.

— Нет, это уж ни на что не похоже! — восклицает он, — внутренний голос мой просто нашептывает мне нестерпимые дерзости. Что, в самом деле, давать ему волю! Я задушу его... Так клеветать на меня! Уж будто я не имею своего мнения и своей воли! Нет, я не способен быть дезертёром... Я докажу это... Убеждения мои непоколебимы... я не...

Он не доканчивает и только в благородном гневе затягивается и выпускает изо рта тучу дыма.

«Не горячись, голубчик, — спокойно продолжает его внутренний голос, — мнения своего, точно, ты не имеешь: ты или выкраиваешь кое-как свои статейки из чужих статей и после неблагодарно злословишь благодетелей, снабжающих тебя новыми мыслями и новыми словами, или кропаешь статейки по заказу своих хозяев... Твои же собственные остроумные сочинения мне наперечет известны: один раз ты объявлял публике за новость, что

в Петербурге осень; в другой раз, что в апреле месяце в Летнем саду цветут розы и лилеи... в третий...»

Фельетонист робко осматривается кругом: он боится, не подслушивает ли кто-нибудь его разговор с внутренним голосом...

«Не бойся, — говорит внутренний голос, — нас никто не может подслушать... Я говорю слишком тихо... Все это останется между нами; не сердись... Я тебе объясню несколько самого тебя и твои узкие понятьица, которые без определения бродят в голове твоей. Твои толки о добросовестности — верх пошлости. Эти толки доказывают только твою ограниченность и неразвитость. Добросовестность — это изъезженный и избитый конек, на котором выезжают исстари литературные гаеры и спекулянты, ломающиеся друг перед другом на литературном ристалище на позор публики. Никто из этих господ, точно так же как и ты, не имеют никаких убеждений, никаких идей. Все они только хлопочут о том, как бы нажить поскорее и побольше денег, да зажить *барами*.

Немного в вашей литературе людей с мыслями, с убеждением. И кто понимает их? Кто их оценивает? Кто их знает? Не завидна их участь. Они из куска насущного хлеба трудятся в поте и крови, а литературные спекулянты, пользуясь их трудом, умом и талантом, богатеют, жиреют, оплывают и пользуются славою на счет их. Все это ты очень хорошо знаешь. Но с этими немногими — тебе нечего делать. В их обществе нет тебе места. Ты давно умер бы с ними от тоски, если бы не знал других людей, — тех, которые в Александринском театре как у себя дома; которые за ужином в каком-нибудь кафе-ресторане или за обедом у Палкина — *душа общества*, которые живут нараспашку с бутылкою в одной руке, с картой в другой... Первые — презирают тебя; при них ты и рта не смеешь разинуть, сидишь нахмурив брови да покуриваешь трубку, а самолюбьице твое, этот неугомонный червячок, подтачивает тебя в эти минуты, — и, скрывая свое внутреннее беспокойство, ты беспрестанно поправляешь свои очки. Вот откуда вывожу я начало этой привычки твоей. Последние всегда принимают тебя с распростертыми объятиями, ты избранный в кругу их, ты оракул в их обществе; ты читаешь им свои водевильные куплетцы, свои повести, и тебе они рукоплещут, у тебя они спрашивают советов... С первыми у тебя нет ничего

общего, с последними у тебя связь кровная и родственная. Ты не имеешь силы воли для того, чтобы сделаться *человеком* — и жить в человеческом обществе. Ты заклеймен именем фельетониста; и в могилу сойдешь с этим именем. Пойди же к своим и живи с ними. Там у Излера ожидают тебя литературные факторы, книгопродавцы, актеры и другие тому подобные...»

Фельетонист чувствует тяжесть в голове и сухость на языке... Он прохаживается по комнате, поправляет очки, еще раз затягивается и задумывается; чубук выпадает из рук его.

В эту минуту дверь комнаты фельетониста отворяется с шумом, он взвизгивает: перед ним стоит его друг — литературный фактор...

— Петя, — восклицает он, — Петя, что это с тобою? Ты как будто чем-то расстроен; или статейку, плут, сочиняешь?

— Нет... не знаю... голова немножко болит.

— А я к тебе, Петя, с новостию... Б. Б. Б. отказался от фельетона в **... газете. Вот бы, Петя, тебе на его место. Что, братец, ты связался с пустым народом! Ведь вашей газеты никто не читает, — а наша имеет три тысячи подписчиков. Слышишь? Три тысячи человек будут читать твой фельетон!.. а? ей-богу *наши* во всех отношениях лучше... *Мы,* братец, вес имеем, — тебя будут в нашей газете расхваливать. Ведь Ф. Ф. отличный человек — и как живет весело... Стол славный и винцо — чудо!.. Он уж у меня спрашивал про тебя. Я тебя с ним сведу непременно.

— Странно! — замечает фельетонист будто про себя, — то же самое сейчас советовал мне и мой внутренний голос.

— Кто такой? какой это внутренний голос?

— Нет, так, я не то хотел сказать.

— Ей-богу, порешай-ка, дружок. А я хоть сейчас съезжу к Ф. Ф., скажу, что ты согласен перейти к нам; сегодня же покончим всё... А, Петя? Ну, по рукам, что ли?.. и денег будешь вдоволь получать, и все так мило пойдет. *Шампанеи* на такой радости хватим, — ну, решайся.

Фельетонист поправляет очки.

— Видишь ли, душа моя, мне немножко совестно перед... перед **...

— Ей-богу, и не думай, братец, о нем, и не говори ему ничего; он и не узнает, — перешел себе от него, да и баста... А коли примет к допросу... Ну скажи, что... да ты сам лучше меня выдумаешь, что сказать. По рукам, что ли, Петя?

— Дай, голубчик, подумать... Статьи я, пожалуй, начну писать для *вашей* газеты хоть теперь... Что же касается до полного согласия...

Однако через несколько времени фельетонист мой торжественно подает руку фактору. Решено! Труден только первый шаг, а там — ничего, там не страшно. Фельетонист заключает дружеское условие с тем газетчиком, которого он за неделю перед тем называл *вампиром,* — потихоньку, на цыпочках перебирается в его газету и, благословясь, начинает работать на новоселье.

Фельетонист очень доволен своим новым барином. Он вместе с ним гуляет и пьет. Он лицемерит перед ним и смотрит ему в глаза. Он уж беспощадно ругает всех принадлежащих к той литературной партии, к которой сам принадлежал вчера. Он уже начинает нападать на своего старого хозяина, — сначала, правда, робко, с некоторою осторожностию, а потом подбочась, с нахальством и грубостию возмутительною. Он выбивается, бедный, из всех сил, чтобы показать свое усердие перед новым барином.

Незаметно и постепенно он теряет стыд и чувство приличия — последнее человеческое чувство, отделяющее его от животного, — и делается способным на все: он подшучивает самым площадным образом над благородным тружеником науки, к которому не благоволит его барин; он обвиняет в невежестве и в безграмотности литератора, скромно и бескорыстно трудящегося в тиши своего кабинета, потому только, что тот не хочет участвовать в изданиях приятелей его барина; он за сладкий пирожок пишет похвальное слово кондитеру; за десять сигарок восхваляет табачную фабрику; за фунт икры строит комплименты овощной лавочке; он на литературной площади бессменно стоит у дверей балагана своего хозяина и кричит: «К нам пожалуйте-с! у нас все лучшие товары-с и беспристрастие самое отличное-с; нас и публика любит; мы умнее и ученее всех; у нас все работники с хорошими аттестатами, — а в той лавочке, что напротив нас, ейбогу, всё невежды, без аттестатов; поверьте этому-с, там

проповедуют разные пустые идеи... пожалуйте к нам-с; раскаиваться не будете-с!»

Цинизм совершенно овладевает моим фельетонистом: он показывается неумытым перед публикою, он лежит дома в грязи... Рамы на его картинках с разбитыми стеклами, по стенам гирлянды паутины, на всей мебели пыль слоями, на столе бутылки с вином и опрокинутые стаканы; под столом карты и табачный пепел.

— Ты плут, Петя, а? Право, плут! — кричит ему актер, развалившийся на оборванном диване без сюртука... — Налей-ка мне, канашка, еще стаканчик...

Но руки фельетониста дрожат, он льет вино мимо стакана.

Фактор, офицер, сочинивший водевильчик, и «добросовестный» книгопродавец хохочут во все горло.

Офицер кричит:

— Петя, я тебя непременно выставлю в моем новом водевиле.

А книгопродавец прибавляет:

— А мы напечатаем-с ваш водевильчик-с, да еще с политипажами-с.

Входит корректор с пробными оттисками.

Фельетонист, пошатываясь, бросается навстречу к корректору с стаканом вина, вырывает у него листы из рук и кричит:

— Ну брось, братец, эту дрянь... брось все это; чокнемся-ка по-приятельски, запросто... Винцо доброе... мы все, братец, братья, я тебя люблю душевно...

Такого рода пирушки чаще и чаще; реже и реже фельетон украшается именем моего героя; у него глаза опухлые и вечно заспанные; корректуры читаются коекак; в газете бесчисленные опечатки. Природная апатия фельетониста превращается наконец в совершенное отупение и отвратительную лень... Журналист-вампир, его новый хозяин, выгоняет его из своей лавочки, журналист неумолим: он не хочет взять в соображение прежние заслуги своего клеврета: он забыл, что бедняжка, не щадя себя, кувыркался перед ним и перед его приятелями и заманивал прохожих в его балаган, не жалея своего горла.

Куда же теперь пойдет мой прогнанный фельетонист? что ему делать?.. Водевили его, поставленные на сцену, ошиканы; мебель его отдана за долги, платье изношено...

Он в положении ощипанной и заклеванной вороны в басне Крылова... Скрепив сердце, приходит он к своему прежнему приятелю и собутыльнику — «добросовестному» книгопродавцу и униженно просит у него работы. Книгопродавец, отягченный галантерейностями, величаво стоит у своей конторки. Он, не глядя на него, бормочет:

— После зайдите-с... теперь некогда... видите сами: я занят... Мне не до вас...

Впрочем, через неделю он заказывает ему перевести (разумеется, за бесценок) детскую книжку к святой неделе да две брошюрки: *о наивернейшем средстве истреблять клопов* и проч., да *о удивительнейшем эликсире, отращивающем на плешинах густые и отличные волосы...* Такого рода сочинения, говорят, у нас очень расходятся...

«Так вот та литературная известность, которой я добивался?» — говорит фельетонист, поправляя разбитые очки, перевязанные ниточкой, и вместо слез по лицу его катятся капли холодного пота; а внутренний голос пробуждается в нем последний раз, указывает ему на его бессилие и ничтожество и с злобною насмешкою говорит ему:

И если карлой сотворен,
То в великаны не тянися!

Проходит год. Бездельно шатается по петербургским улицам отставной фельетонист в старой, забрызганной грязью шинели; клочки ваты висят бахромой на ее подоле; калоши сваливаются с ног. Он заходит в кондитерскую, садится на стул и дремлет... Шум и крик заставляют его очнуться. В комнату входят все прежние друзья его: литературный фактор, офицер, сочинивший водевильчик, Б. Б. Б., снова поступивший в звание фельетониста на его место, водевильный актер и «добросовестный» книгопродавец, отягченный галантерейностями... Все они очень веселы. Отставной фельетонист, увидя их, закрывает лицо свое огромным листом французской газеты и не шевелясь долго просиживает за этими ширмами.

— Посмотри-ка, — говорит фактор, прищуриваясь и толкая локтем Б. Б. Б., — ведь это, mon cher, Петя.

Бедняжка, до чего дошел! на него и посмотреть гадко!.. Гарсон! рюмку ликеру!..

— Толковал я вам, господа, — возражает Б. Б. Б., обращаясь к фактору, офицеру, актеру и книгопродавцу, — что в вашем Пете никогда никакого толку не было. Он был решительно не способен для фельетонной работы; ведь для этого, господа, нужно остроумие, ловкость, своего рода такт...

— А уж водевильчики его — признаюсь! — замечает актер:

Ведь такие водевили
Просто хуже всякой гили...

— Браво! браво! — восклицает офицер. — Вот вам и начало куплетца.

Отставной фельетонист тихонько подкрадывается к двери — и нечаянно натыкается на «добросовестного» книгопродавца, отягченного галантерейностями. «Добросовестный» книгопродавец с презрением осматривает его с ног до головы — и потом подходит к зеркалу и охорашивается. С этого дня мой герой пропадает без вести; его нигде не видно: ни на улицах, ни в трактирах, ни в кондитерских... Он сошел со сцены... На эту сцену входят другие, не менее достойные его...

Подобных русских фельетонистов Гоголь заклеймил именем *Тряпичкиных.* Лучшего имени для них нельзя придумать! Друзья *Тряпичкиных* — *Хлестаковы* и *Ноздревы.*



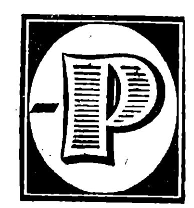
ОНАГР

Онагр находится ныне особливо в Татарии, откуда он многочисленными стадами заходит к Индии и Персии. Животное сие бегает чрезвычайно прытко, довольствуется негодною для корма других животных травою; от него происходит ручной или домашний осел. Вывоз на племя ослов в Испанию запрещен под смертною казнию.

«Руководство к Естественной истории» Блуменбаха, переведенное географии учителями Петром Наумовым и Андреем Теряевым.

ГЛАВА I

Утро Онагра. — Любопытный разговор в кондитерской. — Удивительный человек и очаровательная женщина



аз, два, три... chassé en avant...[1]

Скрипка завизжала.

Молодой человек лет двадцати шести, среднего роста, худощавый, с большими глазами навыкате цвета потускневшего олова, с светлыми и редкими волосами до плеч, в плисовом сюртучке, в шелковых полосатых чулках и лакированных башмаках, — выставил правую ногу и двинулся вперед, тряхнув плечами...

[1] Шассе вперед (па бального танца. — *Франц.*).

Танцевальный учитель улыбнулся нежно, подошел к своему ученику с грациею, взял его за обе руки, носком своего башмака начал расправлять его ноги и заставил его снова повторить *шассе*. И скрипка снова завизжала...

Стенные часы в комнате молодого человека пробили одиннадцать; скрипка спряталась в футляр, танцевальный учитель сделал три *шассе* вперед, раскланялся, принял от своего ученика карточный билетик, с достоинством балетного героя, и на цыпочках выскользнул в переднюю.

— Гришка, завиваться! — закричал молодой человек.

Через пять минут Гришка, в засаленном сюртуке, с сережкой в ухе, с гребенкой в масленых волосах и с круглыми щипцами в руке, явился перед барином. Гришка воспитывался в цирюльне на Гороховой, в той самой цирюльне, на окне которой золотыми буквами начертано: «Зало для стришки и завифки волос цена 20 ко. се. И выбрить».

Барин развалился на стул перед зеркалом, замурлыкал что-то из «Фенеллы», закинул назад растрепанную голову, и Гришка приступил к своей должности. Три раза охлаждались и три раза раскалялись щипцы; голова барина покрывалась завитками; барин только изредка поморщивался и вскрикивал: «Больно, болван!»

По окончании завивки Гришка отворотил бесконечные рукава сюртука своего, подшитые посконной холстиной, растер на грязных ладонях пятирублевую помаду violette [1] и принялся отделывать голову барина.

— Гришка! помадь пожирнее, да виски фиксатуаром натри, — говорил барин.

Весь в завитках, смотрясь в зеркало и прищуриваясь, барин начал прохаживаться в своем кабинете между стульев и пощелкивать языком.

Комната эта не большая и не маленькая: ярко-пунцовые занавески на окнах, небольшое зеркало на ножках в виде трюмо, мебель двадцатых годов, но расставленная в современном беспорядке; на стенках соблазнительные картинки, дурно литографированные и еще хуже раскрашенные, в пестрых рамках... Везде торчат чубуки, на полу — табачный пепел, на письменном столе — вторая часть какого-то французского романа.

---

[1] фиалка *(франц.)*.

Барину наскучило ходить; он зевнул, протянулся на диване и закричал:

— Гришка!

Гришка явился.

— Трубку!

Барин стал пускать дым кольцами. Это заняло его на несколько минут.

— Гришка!

— Чего-с?

— Тепло сегодня?

— Средственная погода-с.

— Я надену пальто с бобровым воротником. Слышишь?

— Слушаю-с...

Барин встал с дивана и подошел к окну. Он потянулся и подумал: «Куда бы ехать?» Потом он начал опять щелкать языком:

— Гришка, афишку!

В четвертый раз барин принялся перечитывать афишку.

«Какой бы жилет мне надеть сегодня, — думал барин, — пестрый полосатый или черный с лиловыми разводами? Вчера я надевал желтый с бронзовыми пуговицами...»

— Гришка! который час?

— Половина второго-с.

— Врешь. Может ли быть только половина второго?

Барин пошел в залу и сам посмотрел на часы.

— Черт возьми, в самом деле, еще только половина второго. Гришка!

— Чего-с?

— Заложить в санки гнедую. Куда бы съездить?.. Гришка!

— Что-с?

— Послушай, вели лучше запречь саврасую.

Барин снова подошел к окну и начал барабанить по стеклу пальцами.

— Гришка, одеваться!..

И вот барин оделся. Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстука; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять

шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой. Сверх сюртука он надевает пальто, кончик красного фуляра выпускает из грудного кармана...

Он два раза проехал от Аничкова моста до Адмиралтейства и приказал остановиться у кондитерской... Он очень доволен собой; только одно ему досадно, что черепаховый лорнет никак не держится в его глазе...

«Отчего же он у других держится?..» — подумал молодой человек, вбегая на лестницу кондитерской.

В кондитерских, которые на правой стороне Невского проспекта, проводят время очень весело. Туда господа чиновники из молодых, занимающиеся политикой, оторвавшись от дел, забегают прочитать «Пчелку», залитую шоколадом, и искоса посмотреть на груды слоеных пирожков; там господа офицеры, перевертывая «Инвалид», пьют ликер, затягиваются и гремят шпорами; там скромный негоциант с Васильевского острова, обстриженный под гребенку, лицо бессменное, с изумительным терпением, не развлекаясь ничем, прочитывает от начала до конца неизмеримые столбцы иностранной газеты, выпивает свой обычный стакан кофе и уходит, не удостоив никого взглядом; там много и таких господ, которые осматривают вас с ног до головы и только ищут случая, бог их знает для чего, как бы заговорить с вами, а в ожидании этого случая любуются потолком, расписанным в помпейском вкусе; там есть и такие, которые совершенно на дружеской ноге с содержателями кондитерских, знают все их семейные тайны, называют по именам всех мальчиков, бегающих с подносами, улыбаются Францу, дружески дерут за ухо Карла и кушают пирожки в долг; там бархатные мебели в грязи и в пятнах, зеркала в пыли и в копоти; там бронза без блеска, цветы без запаха, там чад кухонный, смешанный с чадом табачным...

Войдя в кондитерскую, молодой человек прежде всего посмотрелся в зеркало и поправил свои волосы; потом спросил себе шоколаду, потом сел на стул, придвинул к себе «Journal des Débats» [1], оттолкнул от себя «Санкт-Петербургские ведомости», потом он уж и не знал, что ему делать.

---

[1] «Журналь де Деба» — французская газета.

К счастию, в эту самую минуту в ближайшей комнате послышался резкий свист. Молодой человек приподнялся, чтоб посмотреть, кто свистит.

Перед ним стоял тоненький, улыбающийся офицер в очках, с белыми эполетами.

— А, мон-шер! [1] — закричал офицер во все горло, так что все читавшие невольно вздрогнули, — бон-жур... [2] Какое на тебе чудесное пальто! и бобер славный! ты мастер одеваться. Вчера мы всё об тебе говорили с Базилем; он ужасно тебя любит. Какой, братец, славный малый Базиль! Мы с ним третьего дня в Екатерингоф на тройке ездили.

— На тройке! — возразил молодой человек, — неужто? я на тройке смертельно люблю ездить... Выпьем-ка шоколаду.

— Гарсон! еще чашку шоколаду, — закричал офицер... — Какие, мон-шер, политические интересные новости... ведь я все французские газеты читаю... Тьера сменили, Гизо всё такие речи говорит... Ну, а ты не был вчера в театре... Ах, как Андреянова протанцевала, моншер, сальтарелло с Гридлю — прелесть просто! А-га! да вот и наши *театралы* собираются.

Офицер обратился к двум вошедшим: статскому маленького роста, бледному, одетому с изысканной простотой, со сморщенным лицом ребенка в английской болезни, с движениями старой кокетки среднего сословия, — и к офицеру с золотыми эполетами, довольно плотному и румяному.

— Здравствуйте, господа, — сказали офицер и статский в одно время, один голосом мужественным и твердым, другой немного в нос, протяжно и с какою-то изнеженностию, не совсем понятною в мужчине.

— Отчего же вы *меня* причисляете к театралам? — спросил последний, обращаясь к офицеру с серебряными эполетами, — я в театре не бываю так часто и, кажется, не волочусь ни за кем. Мне театры наскучили — я слишком много насмотрелся на парижские и венские театры...

Говоря это, он растирал рукою грудь, как будто чувствовал боль в груди.

— Нет-с, да это я не про вас сказал, — отвечал офицер с серебряными эполетами, — я...

---

[1] мой дорогой! (*франц.* mon cher.)
[2] добрый день, здравствуй (*франц.* bonjour).

— А! это на *наш* счет, — перебил офицер с золотыми эполетами, — а! понимаем!..

— Уж конечно, после парижских театров на здешние смотреть не захочется, — продолжал офицер с серебряными эполетами, — я ведь будущей весною поеду и в Париж, и в Лондон, и в Мадрид, везде: меня на казенный счет посылают; ну а если не пошлют на казенный счет, так я на свой поеду. Что ж! я, слава богу, имею состояние хорошее.

— Горькой водки и пирожок! — закричал офицер с золотыми эполетами.

— Сахарной воды! — сказал статский.

Мальчик явился с подносами.

Статский взял стакан с водою, отпил немного, поставил его на стол и посмотрел в лорнет на мальчика.

— Какой хорошенький мальчик, — прошептал он, поправляя свой шейный платок, — какое у него приятное выражение в глазах!

— Сядемте, господа, вон к тому столу, — сказал офицер с золотыми эполетами.

Все уселись у стола.

— А знаете ли? сегодня «Сильфида», — продолжал он, — сегодня все *наши* в Большом театре.

— А ты уж взял себе билет? — спросил офицер с серебряными эполетами.

— Мне нечего, братец, хлопотать о билете. У нас у всех билеты всегда одни и те же... в первом ряду, с правой стороны. Нам нельзя менять кресла.

— Гм! *сакристи!..* [1] — значительно воскликнул молодой человек в завитках и в пальто — герой этого рассказа, — у вас Большой театр на откупу. Вы там славно распоряжаетесь.

— Признаюсь вам, господа, — сказал офицер с золотыми эполетами, — я желал бы, чтоб спектакль продолжался с утра до ночи, только, разумеется, балет, а не другая какая пьеса, — мне это не могло бы наскучить: а то от семи до одиннадцати не увидишь, как и время пролетит.

— Что ж, вы не захотели бы и обедать? — заметил изнеженный статский.

— Почти что так... разумеется, забежал бы в конди-

---

[1] черт возьми (*франц.* sacristi).

терскую или трактир перекусить чего-нибудь, да тотчас бы опять направо кругом и назад.

— Это для меня непонятно, — сказал статский, прихлебывая сахарную воду, — здешние танцовщицы... они, я думаю, совсем необразованны?

Офицер с золотыми эполетами несколько обиделся и пожал плечами.

— Позвольте вас спросить, что вы называете образованием? По-моему, образование — это вещь такая... о которой всякий... всякий судит по-своему...

— То есть, конечно, все почти они премиленькие, — перебил герой рассказа, — но ведь ни одна из них, верно, не говорит по-французски, особенно фигурантки...

— Фигурантки-то еще поумнее, братец, солисток. Я тебе откровенно скажу, что моя Маша заткнет за пояс всех солисток, сколько их ни есть. Это не девочка, а золото; она почти и не румянится на сцене... У нее чудо какой цвет лица. В «Роберте», в третьем действии, когда они встают из гробов, она уж белится, белится, чтоб казаться бледнее, — нет, кровь у нее так и проступает сквозь белила.

— Все это хорошо; я сам иногда с удовольствием смотрю на танцовщиц, — продолжал герой рассказа, — соблазнительного в них много; зато уж ничего более. С фигуранткой невозможно думать о возвышенной любви; иное дело женщина в обществе, умная, милая вертушка... тут за ней волочишься, ей во французском кадриле или в мазурке немножко пожмешь руку, у нее глаза тотчас разгораются, она отвечает тем же. С женщинами, я вам скажу, надобно иметь только дерзость — это главное: с дерзостью наверное выиграешь. Ведь я испытал все это...

Офицер с золотыми эполетами встал со стула, прошелся по комнате и сказал:

— Актрисы, братец, по-моему, лучше всех ваших светских дам; в актрисах есть что-то такое... особенная какая-то прелесть... К тому же, по-моему, в общество часто выезжать опасно: и сам не заметишь, как очутишься женатым. Я, господа, езжу на балы к ужину: порядочно поужинаешь, поговоришь с приятелями — да и давай бог ноги. Один раз я, однако ж, у Дмитрия Васильевича Бобынина дал промах: только что встали из-за стола, я было за шляпу, а Катерина Ивановна и увидала — и пошла потеха! Я, говорит, не пущу вас, ни

за что не пущу, — и начала отнимать у меня шляпу; — вы, говорит, должны танцевать гросфатер, надобно побеситься после ужина... Нечего делать — поневоле пустился в пляс; зато на другой день Маша задала мне такую гонку, что до сих пор забыть не могу: она у меня преревнивая.

— Кто много в свет выезжает, — сказал офицер с серебряными эполетами, — тому беда быть влюбчивым. Я ужасно влюбчив. И Катерина Ивановна это заметила... В прошедший понедельник она мне сказала: «О, я про вас все знаю!» — и погрозила пальцем...

— Катерина Ивановна любезная женщина, — прошептал статский, рассматривая с большим вниманием свои бледные и тонкие пальцы.

— А что, за ней, я думаю, можно приволокнуться? — спросил офицер с серебряными эполетами.

Герой рассказа проглотил бисквит и подумал:

«Ах, и в самом деле! Она очень недурна: такая кругленькая; муж у нее все в карты играет, волосы у него с проседью, одевается он не по моде. Не съездить ли мне сегодня к ним с визитом?..»

— У Катерины Ивановны, надо отдать ей справедливость, прекрасные плечи, — сказал офицер с золотыми эполетами, — но уж все не то, что у Маши... У Маши все жилки на шее видны, такая нежность!

— Господа, посмотрите, вон там у окна какой жалкий чиновник сидит, — сказал офицер с серебряными эполетами, — какой смешной народ эти чиновники!

Офицер начал свистеть и, насмешливо улыбаясь, несколько раз прошелся мимо чиновника, осматривая его с ног до головы...

Герой рассказа засмеялся.

— А ты чего смеешься? — сказал офицер с золотыми эполетами, — разве ты не чиновник?

— Какой же я, мон-шер, чиновник? я и в департамент никогда не езжу, я только числюсь...

— Четвертый в начале, — сказал статский, — мне пора... — Он закашлялся, допил свою сахарную воду и ушел.

— Терпеть не могу этого пискуна! — произнес офицер с золотыми эполетами, провожая глазами статского, — с ним как-то и разговоров не находишь. Все ему не нравится, все не по нем...

— Нет, мон-шер, — заметил герой рассказа, смотрясь в зеркало, — он немножко чудак, но, говорят, везде путе-

шествовал; он здесь везде принят в лучших домах и одевается недурно... Пройдемся-ка по Невскому...

— Пожалуй, братец.

— И я пойду с вами! — закричал офицер с серебряными эполетами.

Дойдя до Адмиралтейской площади, герой рассказа простился с офицерами, сел в сани и поехал к Бобыниным. Дорогой он все мечтал о Катерине Ивановне и окончательно решился волочиться за нею. «С нынешнего же дня приступлю, — думал он, — кто знает, может быть... Ненавижу ухаживать за девицами... Нынче в большом свете все волочатся за дамами, на девиц никто и смотреть не хочет... Я прежде не так хорошо мазурку танцевал... ну, а теперь, после десятого урока, совсем не то... Много значит хорошо танцевать мазурку!»

Когда он вошел в переднюю к Бобыниным, было без пяти минут четыре часа — в самую пору: в большом свете всегда ездят с визитами в четыре часа.

— Дома Дмитрий Васильич?

— Сейчас приехали.

— А Катерина Ивановна?

— Дома-с.

Он сбросил с себя пальто, отряхнулся, натянул на руку желтую перчатку и, приняв вид рассеянный и беззаботный, вошел в залу.

В зале никого нет. Зала недурная; четыре кадрили сряду могут установиться; паркет прескользкий; зеркала до потолка; на стенах большие портреты хозяина и хозяйки в богатых золоченых рамах...

И *ее* портрет!.. Она изображена почти во весь рост, в саду, с открытой грудью, в лиловом платье, с фероньеркой на лбу и в малиновом берете с пером; возле нее двухлетняя дочь, на которую она смотрит с нежностию.

Молодой человек, в ожидании оригинала, занялся рассматриванием портрета.

Какое сходство!.. карие глаза так и горят, черные волосы мелкими кудрями вырываются из-под берета и упадают до плеч, — а грудь полная, роскошная, а ротик маленький...

«Счастливец этот Дмитрий Васильич! Нет, впрочем, что за радость быть мужем? Гораздо приятнее...»

На этом слове Дмитрий Васильич прервал размышления молодого человека. Он вошел в залу.

Дмитрий Васильич десять лет перед этим служил в каком-то пехотном полку, кажется, в Моршанске; все его богатство заключалось, кроме мундира и сюртука, в паре сапог, в черешневом коротеньком чубуке да в чемодане из желтой кожи; он считался в полку умным человеком: ему полковой командир всегда протягивал руку и говорил *ты* с особенною нежностью. Дмитрий Васильич носил очки и читал русские газеты. Дослужившись до капитанского чина, он вышел в отставку и прямо в Петербург. В Петербурге он познакомился прежде всего с начальниками отделения; начальники отделения приняли его прекрасно: с ними он начал играть в вист по десяти рублей роббер; потом перешел к директорам — важный шаг; прошел месяц, им довольны и директоры и жены директорские; прошел другой — он необходимое лицо в директорском висте, а вист по двадцати пяти рублей роббер и больше; прошел третий месяц — директоры мигнули друг другу, указывая на него, посмотрели друг на друга и сказали: «Э-ге!» После этого *э-ге* его определили на очень выгодное, хоть и невидное место. Года через четыре он женился на генеральской дочке, за которой ничего не взял. Теперь у него есть до миллиона, по уверению многих; у него в квартире дорогие мебели и бронзы; у него щегольские лошади; он дает щегольские вечера и обеды, он ведет большую игру; он важное лицо в Благородном собрании, и ему хочется попасть в Английский клуб; его вы встретите на всех торгах и аукционах; к нему ездит генералитет, с ним под ручку прогуливаются капиталисты. Вы подумаете, взглянув на него, что он генерал, а в самом-то деле он только надворный советник; вы вообразите, что у него по крайней мере Владимир на шее, а у него Анна третьей степени... В задушевном словаре этого человека не много слов. Вот почти все они: *купил, перекупил, продал, запродал, обработал;* но он любил рассуждать о литературе и политике, о высоком и прекрасном, о суете и ничтожестве жизни. Он действительно очень умный человек!

— А! — сказал протяжно Дмитрий Васильич молодому человеку, который раскланялся ему очень ловко, нисколько не хуже своего танцевального учителя, выставив, будто нечаянно, свою руку в желтой перчатке.

Дмитрий Васильич не пожал его руки, а прикоснулся чуть-чуть к его перчатке двумя пальцами.

— Очень рад вас видеть. Что, получаете ли письма от матушки? Здорова ли она?..

— Покорно вас благодарю. Она, слава богу, здорова...

— Что, как вы находите, похож портрет жены?

— Чрезвычайно.

— Я писал к вашей матушке, не хочет ли она продать мне свою деревню. Я даю ей хорошую цену. Что ей жить в провинции, право? Она приехала бы к вам, жить бы вместе с вами... Вам, я думаю, скучно без нее?

Молодой человек расправлял пальцы перчатки.

— Конечно-с.

— Катенька! — закричал Дмитрий Васильич, входя в гостиную. — Милости прошу к жене, — продолжал он, обращаясь к молодому человеку.

— Что, мой дружочек? — послышался откуда-то звучный и томный голос.

«Точно соловей поет, — подумал молодой человек, — я и не заметил, что у нее такой приятный ѐрган».

Дмитрий Васильич ушел, герой рассказа остался один.

Дверь из будуара в гостиную отворилась неслышно. Катерина Ивановна остановилась в дверях и увидела гостя.

— Ах!.. — Она как будто удивилась и присела...

— Как ваше здоровье? — спросил у нее молодой человек по-французски, подходя к ней.

— Я и не узнала вас, — сказала она с приятною улыбкою, сделав два шага вперед и поправляя брильянтовый крестик, который висел у нее на груди. — Где это вы были все время? Вас что-то не видно.

— Я очень виноват перед вами. Я ездил на охоту с князем... — Он запнулся: в эту минуту, как нарочно, ни одна княжеская фамилия не приходила ему в голову, хоть он всех почти князей, гуляющих по Невскому проспекту, знал в лицо. — Сегодня прекрасная погода... Вы не изволили гулять?

— Нет. — Она бросилась в кресла с кокетством и небрежно опустила на колени свои руки, разукрашенные богатыми кольцами. — Меня измучили балы. Четыре дня сряду я возвращалась домой в шесть часов утра. Вы не поверите, как это тяжело и скучно!

Молодой человек сел подле нее.

— По лицу вашему, однако, незаметно, чтоб вы были утомлены балами. Ваш цвет лица...

«Начало, кажется, недурно», — подумал он.

— Ваш цвет лица...

— Что же мой цвет лица?

— Так свеж, так...

— Это комплименты...

— Я никогда не говорю и не умею говорить комплиментов, я...

— Катенька! пора обедать, — сказал Дмитрий Васильич, входя и поглядывая на часы. — Вы обедаете с нами?..

— Нет-с.

Молодой человек вскочил со стула.

— Я только хотел узнать о вашем здоровье... мне еще надо заехать в два дома...

— Да помилуйте! кто же так поздно ездит с визитами? Останьтесь-ка с нами. Кушанье сейчас подадут.

— Нет-с, я никак не могу...

Молодой человек начал раскланиваться.

— Ну, как хотите! Когда будете писать к матушке, кланяйтесь ей от меня... А что, как идет ваша служба?

— Ничего, хорошо.

— Не забывайте нас, — сказала Катерина Ивановна. — Приезжайте к нам когда-нибудь запросто вечером. Я хочу отдохнуть несколько дней дома от шумной жизни...

«Очаровательная женщина! — подумал молодой человек, выходя в переднюю. — И как она смотрела на меня! И какая у нее ножка!.. Отчего это мне давно не пришло в голову?.. Что ж! все равно, и теперь еще можно... Она обращает на меня *особенное* внимание... Недурно, черт возьми! *Приезжайте запросто вечером!* Это много значит, это не всякому говорится; а муж пресмешной! Что за вопросы предлагает: о маменьке, о службе! Разве я мальчик, только что вышедший из школы! И удивляется, что поздно с визитами езжу, — а еще живет в свете! Не в первом же часу делать визиты!.. Хорошо, что я не остался обедать: как можно остаться обедать в сюртуке! В сюртуке только выезжают по утрам, а к обеду надевают фраки...»

Как истинный *онагр,* молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в каком случае не позволял себе уклоняться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на *львов,* с которыми встре-

чался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем.

Всем и каждому известно, что цари высшего парижского общества, некогда называвшиеся: *hommes à bonnes fortunes, incroyables, dandy, fashionables*[1] и так далее, теперь носят страшные имена *львов*. Всем также известно, что мы, русские, имеем претензию на европейскую внешность, что мы с изумительною быстротою перенимаем все парижские и лондонские странности и прихоти. Вследствие этого у нас были некогда денди и фешенебли, теперь у нас есть и «львы». С санкт-петербургским «львом» вы уже знакомы; но дело не в том. Я не знаю, слышали ль вы очень любопытную новость? Недавно какой-то остроумный господин в Париже изобрел название для тамошних *царьков среднего общества*. Это название прекрасное и звучное: *онагр!* Оно было принято парижанами с восторгом и тотчас вошло во всеобщее употребление. Оно — в этом почти нельзя сомневаться — перейдет и к нам, и мы скоро привыкнем к нему, как привыкли к странным прозваниям «львов».

В Петербурге очень много «онагров», несравненно более, чем «львов».

Санкт-петербургские «онагры», по-моему, гораздо любопытнее санкт-петербургских «львов». Не знаю, даст ли этот слабый очерк хоть небольшое понятие о том, что такое санкт-петербургский *онагр*.

ГЛАВА II

Деревенские мысли и столичные мечты. — Вечер Онагра

Онагр от Бобыниных приехал домой, бросился на диван и, полный любовного волнения и таинственных предчувствий, с большим восторгом пропел куплет из какого-то водевиля:

И с страстью чистою, сердечной
Я буду век ее любить,
А без любви взаимной, вечной
Я не могу счастливым быть!

---

[1] Волокиты, щеголи, франты, золотая молодежь (*франц.* и *англ.*).

Он повторил: «Я не могу счастливым быть!» — и закричал:

— Гришка!

— Что-с?

— Сбегай поскорей в трактир за обедом. (Я что-то проголодался.) Возьми также в погребе бутылку красного вина. (Теперь я без вина решительно не могу обедать. Если бы деньги, всякий день пил бы шампанское. Ах, если бы деньги!..) Ну что ж ты, урод, стоишь?

— Я забыл вам доложить, — сказал Гришка, почесывая в затылке, — к вам письмо, сударь, с почты принесли.

— Письмо, а не посылку? от кого же письмо?

— Не знаю-с; кажется, от маменьки-с.

— Ну, подай же его да принеси свечку, и пошел за обедом.

— Пожалуйте деньги-с.

— Возьми в кошельке, болван; вон кошелек на столе.

Гришка подал барину письмо и свечу, взял деньги, отложил из них двугривенный в свой карман и ушел.

Барин распечатал письмо и прочел:

«Друг мой бесценный Петенька. Благодарю тебя, мой ангел, за то, что не забываешь меня: три письма твои одно за другим вскоре я получила и целую тебя заочно. Ты знаешь, что у меня не осталось другого сокровища на земле, кроме тебя, после кончины незабвенного моего мужа, потерю которого я и до могилы не забуду. Письма твои единственная моя отрада в жизни. Не жили бы мы в разлуке с тобой, голубчик, если б богу угодно было продлить дни Александра Ермолаича. Он теперь, верно, имел бы генеральский чин и получал бы большие оклады, а я за ним не знала бы никаких хлопот, и все бы жили в Петербурге. И я провела бы старость спокойно! Впрочем, на все воля божия: кому определена смерть, тот непременно умрет. Совесть моя в отношении к тебе, дружочек, спокойна; я пожертвовала для тебя всею моею жизнию. По смерти отца твоего за меня сватались хорошие женихи с чинами и с состоянием: я отказала им с тою целию, чтобы иметь о тебе попечение и сохранить для тебя небольшое именьице, полученное мною в приданое. Сколько лет уже я живу в деревне и забилась

в глушь, чтобы скопить тебе хоть немного деньжонок, да неурожаи последних годов уничтожили все мои планы. Нечего делать, надо покориться всемогущей воле и переносить все без ропота...»

Молодой человек немного нахмурился; рука его, державшая письмо, опустилась, и он подумал:

«Гм!.. Уж эти проклятые неурожаи! И отчего они? Когда я вырос и когда мне нужны деньги — так тут, нарочно, неурожаи! И пришла же маменьке мысль копить деньги... Лучше бы присылала мне больше. Здесь нельзя жить в свете без денег. Сунься-ка попросить в долг! под залог, говорят, пожалуйте... А что я дам под залог? У меня и теперь ни гроша нет: что ж я буду делать?»

После этого размышления он опять принялся за чтение письма:

«Тяжела деревенская жизнь: везде надо свой глаз, на старосту надежда плохая. У меня недавно поставлен новый староста Ильюшка, брат Ваньки — Григорьева сына; Мирошку же я сменила за грубость. Признаюсь, и сил недостает мне, слабой женщине, управляться с крестьянами: такая вольница, все перебаловались, только по вечерам отдыхаю. Спасибо соседям, не забывают; всех чаще у меня бывает Фекла Ниловна, — ты ее знаешь, прелюбезная дама, образованная, и жила в Петербурге, всех знает, презабавные анекдоты рассказывает; с нею не соскучишься... Она вспоминает об тебе, говорит, что любит тебя душевно: тот же, кто любит тебя, мил всегда моему сердцу. Если бы по милости божией ты получил хорошее и прочное место по службе, это меня утешило бы. С удовольствием вижу, по письмам твоим, что тебя начальники отличают от других; так и должно было ожидать: ты воспитан, как немногие, в лучшей петербургской гимназии, где воспитываются всё дети известных благородных фамилий. Для того чтоб сделать тебя человеком, я не щадила денег и лишила себя необходимого. Ты, кроме обыкновенного ученья, и приватные уроки брал, и нынче берешь уроки у танцевального учителя. Это хорошо, друг мой; в свете надо быть ловким. Пожалуйста, сердце мое, будь всегда на глазах у начальства, угождай всем, не забывай именин и рожденья своего ди-

ректора и директорши, ласкайся ко всем; этим ты ничего не проиграешь; поверь мне, ищи в людях, — люди нужны. Особенно не забывай Дмитрия Васильевича Бобынина; говорят, он в большой силе у вас в Петербурге и живет как вельможа. Съезди к нему нарочно по получении сего письма и поклонись от меня; скажи ему, что все люблю его по-прежнему, как родного брата. Он писал ко мне, что хочет купить мою деревню с переводом долга, но предлагает за нее самую ничтожную сумму. Об этом ему ни слова не говори, будто ничего не знаешь, а я не замедлю отвечать ему сама... Правду говорят, что чем люди богаче, тем скупее. Супруги его не имею удовольствия знать, а говорят, прелестная, самого лучшего тона дама...»

Герой наш при этих словах протянулся на диване с выражением самодовольствия и неги, снял со свечи и сказал:

— Прелестная... мало этого — просто душка!.. Да что ж маменька об деньгах-то ничего не пишет? Посмотрим далее.

«...Я Дмитрия Васильича помню, как он еще был офицером и не имел ничего. Уж и тогда многие почему-то пророчили, что он пойдет далеко. Слухи носятся, что он нажил свое богатство нечестно, да ты этому не верь, это говорят вольнодумцы, друг мой, и никогда об этом ни с кем не говори. Если бы и точно слухи эти были справедливы, то нам до этого дела нет: с ним знаются люди и повыше нас и уважают его, так мы не должны умничать; к тому же Дмитрий Васильич тебе всегда пригодится, как человек с связями. Приятно мне было между прочим читать в письме твоем, что ты находишься в самом лучшем обществе и в коротких отношениях с князьями и графами; только, глядя на них, не кидай, бога ради, деньги и помни, что у них у всех золотые рудники, а у нас с тобой только четыреста душ, и те заложенные. Правда, у тебя есть, как ты пишешь, дядюшка, от которого после смерти достанется тебе тысяча восемьсот душ, но в животе и смерти бог волен: мы видим ежедневно примеры, что молодые умирают, а старые живут... Да продлит бог дни твои, голубчик, к моему утешению; я это говорю только к тому, что, надеясь на чужое неверное,

нельзя проживать свое верное. Братцу еще только пятьдесят семь лет; он очень крепок в своем здоровье. Он дал мне за мою Агашку шестьсот рублей. Теперь за мной ходит Лизка, дочь Евграшки-повара: девка добрая, старательная и безответная. Знаешь, что мне пришло в голову: не послужит ли твое знакомство с детьми вельмож в твою пользу? нельзя ли тебе через них как-нибудь постараться, чтоб тебя произвели в камер-юнкеры? А деньги на мундир я как-нибудь сколочу. Тогда бы твой карьер был сделан, и дядюшка смотрел бы на тебя другими глазами. (Пиши к нему чаще и понежнее.) Что заговорили бы у нас в губернии, если б это случилось! Мысль, что сын мой достиг до такой высоты, сделала бы меня вполне счастливою. Стану молиться об этом богу: авось создатель услышит мои грешные молитвы...»

«Что, в самом деле? — подумал молодой человек. — у маменьки недурна мысль! Ах, если б в камер-юнкеры! У! Я стал бы тотчас выезжать в первые дома, все к князьям и посланникам, на Английскую набережную. Вот тогда бы пройтись по Невскому-то! Я начал бы непременно ухаживать за княгинею Е**: она прехорошенькая. И какая у нее походка!.. Она гуляет по набережной, так, едва-едва прикасаясь ножками к плитам, а следок у нее узенький и ножка крошечная!.. Я познакомился бы со всеми здешними львами... Тогда уж не я волочился бы за Катериной Ивановной, а она волочилась бы за мною... Вхожу в мраморную или в атласную залу; там кипит народ... Я пробираюсь между генералами...»

— Кушать, сударь, готово, — сказал Гришка, — я взял двухрублевый обед.

— В каком трактире?

— В «Неаполе»-с.

— Вот мерзость! Я такого трактира и не слыхивал. Я думаю, есть ничего нельзя.

— Отчего-с? обед как следует. Посмотрите.

Барин отправился в столовую.

Он кушал с большим аппетитом и продолжал думать:

«Через кого, впрочем, попадешь в камер-юнкеры? директор наш не представит меня: он, говорят, на меня сердится за то, что я редко хожу в департамент. Начальник отделения тоже что-то посматривает на меня косо... Князья и графы! Хорошо, если б я не шутя был знаком

с ними, а то я только так написал об этом маменьке, чтоб она деньги скорее выслала... Но я уж по тону ее письма вижу, что отказ... Надо все-таки прочесть до конца».

«...Ты пишешь во всех трех письмах, сердце мое, о своих крайних надобностях и о скорейшей высылке денег... Милый друг мой, нечего говорить тебе, что я рада отдать последний платок с себя для твоего спокойствия; я не раз доказывала это, удовлетворяя твои просьбы, и теперь готова была бы доказать, если б не бедственное положение всего нашего края. Рожь последние три года сряду совсем была плохая, так что и на посев зерен недоставало; овсы еще туда-сюда, даже конопля нынешний год не уродилась, и крестьяне, за неимением ржи, кормятся лебедою. Проценты же в ломбард следует платить аккуратно. Что станешь делать? Тяжело, мой друг, быть хозяйкой при нынешних обстоятельствах. Вы же, молодые люди, неопытны и ничего не берете в расчет и думаете, что деньги у нас в деревнях из земли вырастают. Умоляю тебя, дружочек, если не хочешь огорчить свою мамашу, будь побережливее. Что-то бог даст на следующий год, а с осени всходы были нехороши...»

— Вот тебе и еще утешение! Всходы! В Петербурге не станешь рассказывать, что всходы нехороши. Здесь и не знают, что такое всходы, а кричат «подавайте денег!»

Молодой человек начал грызть ногти от досады.

«...Куда же так скоро ты прожил те две тысячи рублей, что я четыре месяца назад прислала тебе? Еще кроме четырех тысяч рублей, которые высылаю тебе ежегодно, ты получаешь две тысячи пятьсот рублей жалованья в таком маленьком чине; трудись, может быть, тебе и еще прибавят, когда повысят. Без трудов, друг мой, жить нельзя. Ты уведомляешь, что завел лошадку, — это ничего; при твоем знакомстве нельзя, точно, быть без лошадки, да не обманывает ли тебя кучер? знаешь ли ты цены овса и сена?..»

«Две тысячи пятьсот рублей жалованья!.. Охота же мне была нахвастать, — думал молодой человек, — я ни копейки не получаю. Лошадку! У меня не одна, а две лошадки, да об другой-то я не хотел написать...»

«...Сколько ты платишь кучеру в месяц? Не лучше ли будет, если я вышлю тебе старика Ермолая: он уж ничего барского не украдет, а, напротив, будет все беречь и соблюдать во всем экономию. Наемному же человеку что за охота беречь господское добро? Крепостной всегда лучше, потому что он в ответе. Ермолай ездит хорошо: он был кучером при отце твоем...»

— Нет, покорно благодарю; я срамиться не намерен, я не хочу, чтоб на меня пальцами указывали, когда я буду кататься по Невскому или по Английской набережной.

«...Доволен ли ты Гришкой? Не давай ему много воли и не балуй его; пуще всего, чтоб у него не были в руках деньги. Тысячу пятьсот рублей, по просьбе твоей, я выслать тебе никак не могу, а восемьсот рублей пришлю с первою почтою: 500 рублей из тех, что получила за Агашку, себе оставляю только сто рублей; триста же рублей дал мне взаймы добрый и милый сосед наш Семен Никифорыч Колпаков... Он только узнал, что тебе нужны деньги, сейчас вызвался ссудить меня последними тремя стами, которые у него были. Напиши к нему письмо поласковее и поблагодари его за это и за участие, которое он принимает во мне; также купи самую модную жилетку, которую и вышли немедленно: я хочу подарить ему. Надо быть благодарным, дружочек; благодарность выше всего. Семен Никифорыч человек редкий: он угождает мне и ухаживает за мною, как родной. В нынешнем свете чужие, право, лучше родных. У меня что-то глаза становятся слабы, с трудом веду хозяйственные книги: видно, старость приходит; в марте мне сорок шестой год пойдет. Сходи ко Всех скорбящих божией матери и помолись за меня. Целую тебя, мой ангел Петенька, без счету и обнимаю тебя. Береги свое здоровье, драгоценное для меня, и не бросай попусту деньги.

Остаюсь твоя мать и друг

Прасковья Разнатовская».

Петр Александрыч окончил письмо, проглотил засушенное миндальное колечко, выпил стакан красного, зевнул, сказал самому себе: «Ну, по крайней мере хоть восемьсот!» — и задремал.

Гришка собрал со стола, докушал барские остатки, снял со стены семиструнную гитару и принялся наигрывать «Барыню».

Петр Александрыч впросонках услышал эти звуки, рассердился и закричал:

— Гришка!

— Чего-с? — отозвался Гришка из своего чулана.

— Ты музыкой забавляешься?

— Никак нет-с.

— И отпираешься еще, дурак! Кто ж это бренчит? Ты, кажется, помешался. Барин почивает, а ты изволишь шуметь.

После этого Петр Александрыч снова погрузился в дремоту, и в квартире его воцарилось безмолвие. Минут через десять громкое и неровное храпение слуги слилось с тихим и однозвучным храпением барина.

В восьмом часу барин открыл глаза и с удовольствием несколько раз потянулся.

— Какой приятный сон! Я видел Катерину Ивановну, точно наяву, будто я целую у нее руку, — а она мне говорит: «Шалун! что вы делаете? перестаньте», а я и не слушаю ее и... и... все это очень может случиться!

Мечты его были прерваны звоном колокольчика в передней. В комнату вбежал офицер с серебряными эполетами.

— А я к тебе, мон-шер. Что ты делаешь?

— Ничего.

— И я ничего... Что это ты сидишь в потемках?

— Да так, заснул, братец... Гришка! свечей!

Свечи принесли.

— Куда ты вечером, мон-шер?

— Не знаю; а ты?

— Не знаю. В «Сильфиду» не поедешь?

— Нет, братец, надоела.

— И мне, мон-шер, надоела: я десять раз сряду ее видел.

— Я сегодня был у Бобыниных с визитом.

Минуты две молчание. Офицер прошелся по комнате и запел: «Тра-ла-ла, тра-ла-ла!..»

— А ведь *она* хорошенькая, — сказал Петр Александрыч.

— Кто?

— Катишь Бобынина.

— Да! Ах, я тебе не говорил: мы вчера вечером с Митей таскались, таскались по Невскому, да и вздумали вдруг зайти к Доминику поужинать... Две бутылки шампанского выпили.

— Катишь мне говорила сегодня — мы с ней долго сидели вдвоем, — что ей скучно, что ей надоели балы. Все, говорит, это вздор, сердце ищет чего-то, и она так страстно посмотрела на меня и потом сказала: «Приезжайте ко мне на днях вечером; я буду одна». Это недурно, братец?

— Гм! Не сыграть ли нам в банчик?..

— Пожалуй... у меня теперь денег нет; впрочем, я сейчас получил письмо от матери из деревни: она пишет, что высылает мне четыре тысячи. Нет ли у тебя рублей двадцати пяти? Мне только на несколько дней.

— С удовольствием, мон-шер, с удовольствием.

Офицер схватился за боковой карман.

— Ах, канальство! бумажник-то я свой позабыл дома! У меня деньги есть: я на прошедшей неделе получил от отца пятьсот рублей карманных... Сыграем же в банчик; если проиграешь, отдашь мне после, если я проиграю, то завтра пришлю. Что время попусту терять? а?

— Разумеется... Гришка, мелки и карты!

— Неигранных карт нет-с, надо сходить в лавочку.

— Ну, подай игранные. Не все ли равно?

Игра началась, мелки пришли в действие, карты загибались и отгибались. Ни Петр Александрыч, ни офицер не заметили, как пролетело время. Их уж и ко сну клонит. Петр Александрыч в выигрыше.

— Который час?

Офицер посмотрел на часы.

— Вообрази, мон-шер, три часа.

— О-го! Не перестать ли?

— Как хочешь; сколько я проиграл тебе?

Петр Александрыч принялся считать.

— Сто один рубль.

— Только? я полагал больше. Адьё.

«Славно! право, славно! — подумал Петр Александрыч, провожая офицера, — мне и в любви и в картах начинает везти!»

ГЛАВА III

Кучер в васильковой шубе и глазетовом кушаке. — Будуар госпожи среднего сословия. — Добродетельный человек с огромным ртом

Прошел день, другой, третий; офицер с серебряными эполетами не является и не шлет денег. По прошествии четырех дней Петр Александрыч написал письмо к офицеру:

«Мне крайняя нужда в деньгах, а из деревни я еще не получил. Сделай одолжение, mon cher ami [1], пришли сто рублей, которые ты намедни проиграл мне. Что новенького? Вчера я был у Бобыниных. Молодецки иду на приступ, все говорил с ней о любви. Ах, женщины! женщины! что, если б не было на свете женщин? Моя Катишь меня с ума сводит. В ожидании ста рублей

tout à vous [2]

П. Р.

Петр Александрыч запечатал письмо и написал на конверте:

Monsieur
de Anisieff.

— Кучеру новую шубу принесли-с, — сказал Гришка.

— Принесли?

Петр Александрыч вдруг оживился и вскочил со стула.

— Вели же ему поскорей одеться и прийти сюда.

Кучер явился в светло-васильковой шубе, отороченной кошкой. Его сопровождал портной с ярко-пунцовой шапкой в руке: на шапке лежали глазетовые и парчовые кушаки.

У Петра Александрыча разбежались глаза. Прежде он бросился к кучеру, потом к портному; и шуба хороша, а шапка прелесть, и кушаки блестящие!

Шуба сшита удивительно.

— Застегни-ка, Васька, ее на все пуговицы да надень шапку.

---

[1] мой дорогой друг *(франц.)*.
[2] весь ваш *(франц.)*.

Петр Александрыч обошел кругом кучера.

— Славно!..

«Какой бы только кушак выбрать? (его взяло раздумье) парчовый ли с цветами или просто глазетовый золотой?»

— А кушаки, любезный, какие моднее? — спросил он у портного в нерешительности.

— Это уж, батюшка, все самые княжеские, самые последние. Какой вам приглянется; по-нашему, все единственно, что тот, что другой.

— Ну, я возьму глазетовый; только знаешь, любезный, надобно его сложить пошире, на два пальца еще прибавить, так он будет виднее. Сложи-ка теперь... Вот так...

Портной подал счет барину и начал повязывать кучеру кушак.

Барин, не смотря, бросил счет на стол и подумал:

«Блесну же я теперь перед Катериной Ивановной! Пущу же я ей пыль в глаза! Кучера не у многих и аристократов так одеты».

— Васька, смотри же, беречь платье. Я сейчас поеду: поди поскорей, заложи, да все новое и сбрую новую...

Кучер ушел.

— А касательно счетца-то-с? — заметил портной.

— Да! да!

Петр Александрыч взял счет со стола и начал его внимательно рассматривать.

— Двести девяносто пять рублей?

— Точно так-с.

— Хорошо, любезный, хорошо...

— Сейчас пожалуете?

— Нет... то есть... не сейчас... у меня, вот видишь ли, и есть деньги, но один приятель взял до вечера. Завтра пришлю... на днях непременно.

«Охотничий кафтан!» — подумал Петр Александрыч, садясь в сани с сияющим лицом.

У тротуара на Английской набережной он вышел, а саням приказал ехать за ним, не отставая.

Прогуливаясь, он беспрестанно оглядывался назад.

— Васька, держись прямее! у тебя какая-то странная посадка.

Кучер выпрямился.

— Послушай, братец, спусти кушак немного пониже...

Навстречу Онагру попался Дмитрий Васильич.

Дмитрий Васильич шел с Владимиром Матвеичем Завьяловым, с тем самым, который известен был в некоторых средних кружках петербургского общества под именем *прекрасного человека*. Они с жаром о чем-то рассуждали.

— Мое почтение, Дмитрий Васильич! — сказал Онагр.

— А! что вы, гуляете?

— Гуляю-с.

— Это не ваш ли такой блестящий кучер?

— Мой-с.

— Мотаете, молодой человек, мотаете! А маменька жалуется на неурожаи... До свиданья!

Петр Александрыч поморщился.

«Что ему за дело, мотаю я или нет? Однако кучера-то он не мог не заметить: видно, эффектно одет. Не съездить ли мне к Катерине Ивановне? теперь, верно, у нее никого нет. Поеду!..»

В дверях будуара Катерины Ивановны он встретился с господином очень высокого роста, плечистым, худощавым, но крепкого сложения, с лицом смуглым и с черными усами. На этом господине был темный сюртук, застегнутый на все пуговицы, крепкий, волосяной галстук и казацкие широкие шаровары.

Этот господин посмотрел на Онагра, подернул бровями и расправил ус.

Онагр с чувством собственного достоинства застегнул пуговицу своей желтой лакированной перчатки и ответствовал усачу величавым взором, в котором выразилась вся бесконечность светской гордости.

«Что это за человек? — подумал он, — я его встречаю в третий раз у Катерины Ивановны; как можно принимать *таких?*»

В будуаре г-жи Бобыниной царствовал полусвет. Цветные стекла вполовину закрывали окна; между окон стояла массивная горка с амурами, огонек тлелся в камине.

Она в широком пеньюаре сидела на штофном диване, в *одном из тех грациозных положений,* о которых так хорошо рассказывают русские светские повествователи.

Она одна!

Медленно, неохотно приподнялась она от эластической спинки дивана, увидев Онагра...

— Pardon![1] — сказала она молодому человеку, прикоснувшись двумя пальчиками к пеньюару, — что я так принимаю вас; я не совсем здорова, но для коротких знакомых можно позволить себе, я думаю, эту небольшую вольность.

Онагр поправил свою голубую жилетку и подумал:

«Браво! да она, кажется, очень неравнодушна ко мне!»

Он отвечал:

— Помилуйте, мне гораздо приятнее, что вы... только не обеспокоил ли я вас?.. Сейчас на Английской набережной видел Дмитрия Васильича...

— Право?

— А как ветрено сегодня, вы не можете себе представить, — такой резкий ветер с моря.

— Неужели?

— Вот у вас очень тепло: бесподобное изобретение камин. Не будете ли вы в середу у Калпинской?.. Там иногда бывает приятно.

— В середу... что у нас сегодня?

— Суббота.

— Да, я непременно у нее буду...

«Как бы придраться, чтоб поговорить о любви?» — подумал Онагр, перевертывая шляпу.

— Ваш будуар, — начал он, осматривая потолок и стены, — убран с большим вкусом; это маленький храм... Из него выйти не хочется...

Онагр пристально посмотрел на свою богиню.

— И этот полусвет, — продолжал он, — так располагает к мечтаниям, к лю...

— Господин Иконин, — сказал слуга.

«Черт возьми! — подумал Онагр, — я только было расходился, чудесные фразы пришли в голову, а тут кого-то нелегкое принесло, как нарочно».

— Проси, — сказала Катерина Ивановна слуге, накидывая на себя шаль и поправляя волосы.

— Кто это такой Иконин?

— Один отличный старичок, добродетельной жизни, немножко странный, впрочем, он имеет важное место на службе.

---

[1] Извините! *(франц.)*

В комнате показался человек небольшого роста, пожилой, с коротко подстриженными волосами, с большими карими глазами и с огромным ртом, в вицмундире с пуфами на рукавах. Он молча подошел к ручке Катерины Ивановны, потом голова его покачнулась на неподвижном туловище, как у автомата; потом рот его раздвинулся до ушей, а веки захлопали — то была улыбка.

— Как я рада вас видеть, Филипп Иваныч! — сказала ему хозяйка.

— Покорно благодарю-с.

— Милости прошу садиться.

Катерина Ивановна придвинула для него стул к дивану.

При взгляде на Онагра голова добродетельного старичка с огромным ртом снова покачнулась. Он сел.

Полминуты безмолвия.

— Как вы в своем здоровье-с?

— Слава богу!

— А супруг ваш-с?

— И он слава богу; его нет дома.

— На службе-с?

— Кажется.

— Много, я полагаю, занятий-с у Дмитрия Васильича?

— Очень много.

За сим последовала минута молчания, после которой добродетельный старичок с огромным ртом вынул из кармана две тоненькие брошюрки нравственного содержания.

— Вот-с я вам принес-с. Прекрасные речи-с, весьма красноречиво написанные. Не угодно ли-с, я вам прочту.

— Сделайте милость, Филипп Иваныч: вы знаете, что я люблю все нравственное.

Он развернул одну брошюрку и начал читать.

Чтение продолжалось три четверти часа. Онагр повертывался на стуле и, кусая губы, смотрел на свою желтую перчатку.

— Что вы никогда не приедете к нам на вечер, Филипп Иваныч? — сказала Катерина Ивановна после чтения.

— Покорно благодарю-с; я на вечера не езжу-с...

— Правда, вам наши светские собрания кажутся тягостными и ничтожными...

Катерина Ивановна вздохнула.

— Счастлив, кто может вести такую добродетельную жизнь, как вы!

Филипп Иваныч покачнул голову.

Вслед за этим он завел речь о производстве одного начальника отделения в вице-директоры, одного коллежского советника в статские советники, о любви к ближнему и о безнравственности современной литературы. Потом он приподнялся, совершил свой обычный обряд приложения к ручке и ушел. Катерина Ивановна провожала его до дверей залы.

— Вот человек! — сказала она Онагру, возвратясь в будуар, — таких людей мало; что за ум, что за ученость! и притом это истинно добродетельный человек.

— Да, это сейчас видно, — отвечал Онагр.

«Терпеть не могу эдаких, — подумал он, — только мешают волочиться; очень приятно слушать их проповеди!»

Вошел слуга.

— Барин вас просит к себе, сударыня; он сейчас приехал.

Катерина Ивановна сказала Онагру:

— Извините, до свидания, — и выпорхнула из комнаты, как птичка.

«Если бы не этот проклятый чтец, может быть, сегодня...» — подумал Онагр. — Васька! пошел куда-нибудь... ну, хоть на Дворцовую набережную, а там на Невский — и домой... Васька, что, я думаю, другие кучера теперь смотрят на тебя?

— Как же-с, сейчас, Петр Александрыч, два господина спрашивали, чьи сани.

— Хорошо одетые?

— Да-с. Должно быть, важные господа.

Онагр улыбнулся.

ГЛАВА IV

Петербургские увеселения. — Ростовщик. — Любовь Онагра. — Кредиторы. — Письмо

— В Петербурге очень весело! — сказал Петр Александрыч, пересчитывая восемьсот рублей, присланные ему из деревни, — да надолго ли здесь этих денег? Посмотрим, надолго ли?

Он положил деньги в карман и поехал завтракать к Доминику, обедать к Дюмè; после обеда сел играть в домино на шампанское, потом в Большой театр.

В театре он в ложе у Катерины Ивановны... Она разодета, как на бал: руки ее закованы в браслеты, грудь открыта, на голове чалма с золотыми кистями. Возле нее сидит Анна Львовна, сестра Настасьи Львовны [1], которая иногда гостит в доме Бобыниных и разливает чай для гостей и которую иногда Катерина Ивановна удостоивает чести брать с собою в театр. Анна Львовна в ложе у Бобыниной точно в раю: это для нее редкий праздник! все, что есть у нее лучшего, она надела на себя... И лорнет в ее руке, и пудра сыплется с лица...

Петр Александрыч навел зрительную трубку на какую-то танцовщицу и сказал Катерине Ивановне:

— *Ма фуа! эль не данс па маль!..* [2]

Катерина Ивановна обратилась к нему и отвечала:

— Oui [3].

Он посмотрел на нее страстно, он глазами заговорил ей о любви своей... А в глубине ложи сидел безмолвно господин высокого роста и крепкого сложения, улыбался сам с собой, поводил усами и расправлял усы.

А в первом ряду кресел с правой стороны счастливый офицер с золотыми эполетами, вооруженный телескопом, рукоплескал фигуранткам, упивался взорами своей толстой Маши и восхищался легкостью ее ног, которые он, для поддержания собственного достоинства, называл ножками.

А офицер с серебряными эполетами бегал между кресел по ногам и бормотал «пардон» и «пермете» [4].

— Извини, мон-шер, — говорил он Петру Александрычу, столкнувшись с ним в буфете, — что я не прислал тебе ста рублей, которые проиграл; вообрази, меня обокрал лакей: все пятьсот рублей унес и много золотых вещей... Я на днях тебе пришлю, честное слово.

Спектакль кончился. За ужином у Леграна Петр Александрыч рассказывал офицеру с золотыми эполетами

---

[1] См. повесть: «Прекрасный человек». *(Прим. И. И. Панаева.)*

[2] Честное слово, она неплохо танцует!.. (*франц.* Ma foi! elle ne dance pas mal.)

[3] Да *(франц.)*.

[4] позвольте, разрешите (*франц.* permettez).

о том, как офицер с серебряными эполетами проиграл ему триста рублей и не платит.

— Не понимаю, — прибавил он, — как можно играть, когда нет денег!..

Через две недели, считая с этого ужина, из восьмисот рублей, присланных маменькой, в кошельке у Онагра осталось только один рубль семьдесят пять копеек.

Грустно посмотрел он на свою единственную монету, пощелкал языком и подумал: «Надо занять хоть тысячи две... только даст ли этот проклятый Шнейд? Я и без того ему должен. Загадаю».

Он пустил монету по столу.

— Если ляжет орлом, так даст, а если решеткой, так нет.

— Орел! орел!.. А если не даст? что будешь делать?

Он принудил себя выкурить сигару, — трубка ему опротивела, потому что у Дюмѐ он не видал ни одного льва с трубкой, прошелся по комнате, свистнул раза два или три и отправился к Шнейду... Гóлова у него кружилась от сигары, но он сказал самому себе:

— Что за беда! привыкну; трубку курить — mauvais genre! [1]

У ворот ростовщика он повстречался с тем штатским, у которого было сморщенное лицо и изнеженные движения.

— Мосьё Разнатовский, куда вы? — спросил он, по своему обыкновению, в нос.

Онагр немного смутился.

— Я... так... нужно к одному знакомому... а вы?

— Я от Шнейда — моего поверенного. Au plaisir... [2]

«Та-та-та! — подумал Петр Александрыч, — поверенный! знаем мы эти штуки: просто, брат, занимал деньги...»

Ростовщик прохаживался по своей зале, уставленной бронзой и дорогими мебелями.

Он сам отвóрил дверь.

— Здравствуйте, Адам Иваныч, — сказал ему Онагр с непринужденною улыбкою, сбрасывая с себя шинель, а между тем сердце у него так и билось.

---

[1] дурной тон *(франц.)*.

[2] До удовольствия (с вами увидеться. — *Франц.*).

— Мое почтение, — сухо отвечал ростовщик.

— Что, любезный Адам Иваныч, как вы поживаете?

— Помаленьку.

— А я встретил у ваших ворот моего приятеля... штатский, как бишь его фамилия... всегда позабываю... у него такое сморщенное лицо... он от вас сейчас вышел.

— Анин?

— Да, да... Что, верно, к вам за деньгами приезжал?

— Нет, ему не надо занимать; у него много денег.

— А зачем же он был у вас?

— Он нанимает форейтора через одного моего знакомого.

— А-а-а! У меня до вас... — Петр Александрыч закашлялся... — Какие у вас прекрасные бронзы, Адам Иваныч, я думаю, дороги? Приятно украсить комнаты такими вещами.

— Да, вещи недурные: канделябры рококо стоят две тысячи, а часы в последнем вкусе, — они называются как-то мудрено, — четыре тысячи рублей. Я, пожалуй, продам их, если сыщутся охотники... Не знаете ли вы кого? У меня нет ничего заветного: эти продам, другие достану.

— Конечно... Гм... — Петр Александрыч снова закашлялся... — Я... к вам... с маленькой просьбой.

— Что вам угодно?

— Мне нужна... не... небольшая сумма на полгода...

— Вы мне еще должны. Через месяц срок вашему заемному письму, — сказал ростовщик, понюхав из золотой табакерки.

— Я знаю... но я хотел просить вас отсрочить и переписать заемное письмо, вместе с теми, которые я хочу занять теперь.

— Нет, прежде старый долг отдайте.

— Я с большим бы удовольствием, но маменька мне тысяч пять пришлет только тогда, как продаст хлеб... а теперь... Я не знаю, будут ли у меня деньги через месяц.

— Мне-то что за дело, когда ваша маменька продаст хлеб? Зачем же вы занимали? Если вы через месяц не заплатите, я представлю заемное письмо ко взысканию.

— Помилуйте, Адам Иваныч! я, клянусь вам, веду свои дела аккуратно, только неурожай... У меня имение прекрасное: четыреста душ.

— Это имение вашей маменьки, а не ваше.

— Ей-богу, мое... все мое...
— У вас есть документы?
— Какие документы?
— На это имение, что оно принадлежит вам?
— Все бумаги в деревне у маменьки; я, если хотите, выпишу их.
— Зачем? Не беспокойтесь: у меня нет денег. Я не могу дать вам ни гроша.
У Онагра замерло сердце.
— Ради бога, Адам Иваныч, возьмите с меня какие хотите проценты... Мне только на полгода: вы меня этим вполне обяжете; я... мне крайняя нужда...
— Извините, не могу...
Ростовщик подошел к двухтысячным канделябрам, стряхнул с них пыль своим носовым платком и потом обратился к Онагру:
— У вас нет залога?
— Нет.
— Кто же вам даст взаймы так?
— Отчего же? У меня есть дядя, у которого две тысячи восемьсот душ: я его единственный наследник, и маменька пишет, что копит мне деньги.
Ростовщик улыбнулся.
— Когда ваш дядюшка и ваша маменька скончаются, тогда я вам и дам взаймы.
Петр Александрыч несколько обиделся и хотел идти. Ростовщик остановил его.
— А сколько вам нужно?
Петр Александрыч встрепенулся.
— Две тысячи.
— Это много, не могу.
— Ну хоть полторы?
— И это много. Я, так и быть, на риск дам тысячу двести, не больше только, как на шесть месяцев...
— Честное слово, я еще, может быть, прежде срока отдам; я не знаю, как благодарить вас, любезный Адам Иваныч.
— Погодите: ведь я еще вам их не дал.
— Полноте шутить, Адам Иваныч.
— Вы у меня брали пятьсот рублей; процентов на них за полгода приписано триста рублей, да на эти триста за полгода сто двадцать пять рублей, всего вы мне должны девятьсот двадцать пять рублей. Так?

— Так-с...

— Вы не можете мне заплатить теперь проценты?

— Теперь нет...

— Хорошо. Нечего с вами делать, я подожду еще полгода: на девятьсот двадцать пять рублей я менее семисот пятидесяти рублей взять не могу, как хотите.

— Я сказал, Адам Иваныч, возьмите какие хотите проценты.

— Менее я ни с кого не беру без залога. Тысяча шестьсот семьдесят пять рублей, да на тысячу двести рублей за полгода процентов шестьсот тридцать рублей, а на шестьсот тридцать процентов триста двадцать... Всего-то придется вам отдать мне через полгода три тысячи... три тысячи... семь... восемьсот... двадцать пять рублей. Согласны?

— Согласен...

— Так напишите мне сегодня заемное письмо на эту сумму, а старое я вам возвращу...

Через час заемное письмо было написано, деньги получены, и Онагр сделался по-прежнему беззаботен и счастлив, и по-прежнему у него только одна мысль о соблазнительной красоте Катерины Ивановны и об интриге с светской дамой.

Он везде за нею — и в театре, и на гулянье, и в концерте, и у нее дома, и на бале у Горбачевых, и на вечеринке у вдовы Калпинской... Играет ли прекрасная на рояле, он, облокотившись на рояль, смотрит на нее, томится и бормочет: «Charmant!» [1] Танцует ли она с другим, он непременно около нее и беспрестанно с нею заговаривает о том, что «сердце, полюбя однажды, не властно разлюбить». На эту тему настроены все его разговоры с нею. Дмитрия Васильича он нисколько не боится, хотя и не чувствует в себе особенной храбрости. Правда, Дмитрий Васильич очень нежен с своей супругой и не отказывает ей ни в чем, но он редко видится с нею: у него столько занятий! Он или на службе, или на бирже, или играет в вист с генералитетом и толкует о разных коммерческих оборотах с своим искренним приятелем, *прекрасным человеком*. На Петра Александрыча он не обращает ни малейшего внимания. Все бы, кажется, хорошо, и Катерина Ивановна смотрит на него довольно благо-

---

[1] Очаровательно! *(франц.)*

склонно, только решительного объяснения между ими не было. Он ждет, чтоб она начала, — а она не начинает: может быть, и он решился бы начать, да ему никак не удается застать ее наедине. Утром у нее сидит добродетельный старичок с огромным ртом, читает ей свои нравственные сочинения и толкует о тленности земных благ и о прочем; вечером у нее безвыходно господин высокого роста и крепкого сложения... Несносный человек! сидит и молчит или вдруг заговорит совсем некстати: «Когда, бывало, у нас в полку», или «Когда, бывало, у нас в эскадроне», потом трет свой подбородок о волосяной галстук, расправляет усы и — о, дерзость! — иногда даже в присутствии ее курит трубку... А месяц уходит за месяцем...

Впрочем, Петр Александрыч не слишком беспокоится о своей неудаче. У него воображение заменяет действительность. Он необыкновенно живописно рассказывает своим друзьям офицерам и даже статскому с изнеженными движениями о своих коротких отношениях с Катериной Ивановной, которую он называет то Катенькой, то Катишь. Для того же чтоб придать бо̀льшую вероятность своим рассказам, часто с раннего утра отправляет свои сани с блестящим кучером к подъезду г-жи Бобыниной с приказанием кучеру стоять там до вечера. «Это хорошо, — думает он, — пусть все полагают, что я у нее безвыходно!»

Офицер с серебряными эполетами мучительно завидует Петру Александрычу и, воспламененный его рассказами о Катерине Ивановне, начинает также чувствовать к ней некоторое влечение и делает ей глазки сквозь очки.

Так проходит около года. Между тем долги Онагра растут. Ему нет спасенья от кредиторов; он просыпается часу в одиннадцатом и хочет выбежать из дома, — но его передняя уже взята приступом. В передней страшный шум; голос Гришки заглушается несколькими голосами. Петр Александрыч завертывает голову в одеяло и боится пошевельнуться. К тому же страшный ростовщик вооружил против него квартал — и образ следственного пристава стал являться пред ним, как тень Банко.

Однажды, в самую отчаянную минуту для Петра Александрыча, когда он, бледный и совершенно потерянный, стоял среди шорника, портного, золотых дел мастера и

сапожника, которые поочередно приступали к нему с угрозами, — Гришка, в оборванном сюртуке, подал ему письмо.

«От кого еще?.. Не напоминает ли кто-нибудь об долге? Почерк на конверте незнакомый».

С трепетом распечатал он конверт.

— Это от маменьки!.. Извините, господа, — сказал он шорнику, портному, золотых дел мастеру и сапожнику, — я сейчас только прочту это письмо и поговорю с вами... Я заплачу вам все деньги, ей-богу, все, через неделю, через несколько дней... Посидите здесь...

Он вышел в другую комнату и начал читать письмо:

«Спешу уведомить тебя, друг мой милый Петенька, о несчастии, постигшем нас...»

У Петра Александрыча потемнело в глазах.

— Несчастие! А шорник, портной, золотых дел мастер и сапожник сердито перешептываются между собою... Они, жестокосердые, не тронутся никаким несчастием... А ростовщик и управа благочиния?..

«...В ночи с 8 на 9 ноября волею божиею скоропостижно скончался от удара братец Виктор Яковлевич. Антошка, камердинер его, сказывал мне, что накануне за обедом братец слишком много кушал буженины, которою он лакомился всегда с особенным удовольствием, и после обеда тотчас рассердился на буфетчика Прошку и побил его: еще, говорят, он никогда так не сердился. Натурально, вся кровь бросилась в голову, а желудок не успел сварить, оттого и сделался удар. То же думает и уездный лекарь наш, а он в своем деле преискусный. Мне к утру дали знать об этом горестном происшествии. Я, в чем была, села в коляску и, сама не помня как, доехала часам к трем. Когда я увидела моего голубчика на столе, так и зарыдала и упала без памяти. Исправник наш, спасибо ему, поднял меня и дал мне понюхать спирту, потом, как следует, в присутствии его и других земских чиновников все комоды и сундуки покойного опечатали. Деньгами нашли сто семьдесят пять тысяч ассигнациями, серебряною и золотою монетою. Вчера только предали тело погребению. Все было устроено прилично, и обед был хороший и сытный; нарочно для сего вынули

из погреба бутылок двадцать вина самого лучшего. Больше писать не в силах, еще не могу оправиться от горести. Думаю, дружочек, что ты сам не приедешь сюда, а пришлешь на все мне доверенность. Зачем тебе забираться в глушь от столичных увеселений?.. Целую тебя, бесценное мое сокровище, и проздравляю с наследством. Теперь ты сделался богачом и можешь играть большую роль в свете, а мое материнское сердце, глядя на тебя, будет только радоваться... Не забудь отслужить по дяденьке панихиду».

Петр Александрыч прочел письмо, схватил себя за голову, осмотрелся кругом — и сказал вполголоса:

— Что такое... это сон или маменька шутит?

На лице его выступили красные пятна.

Он прочел письмо в другой раз, в третий, схватил сигару и бросил ее, схватил шейный платок и стал повязывать его сверх галстука, потом снял — и бросил.

— Так дяденька умер, в самом деле умер! У меня тысяча восемьсот душ и сто... Сколько? — он посмотрел в письмо: — сто семьдесят пять тысяч денег!..

В ближней комнате послышались голоса шорника, портного, золотых дел мастера и сапожника.

Онагр пришел наконец в себя, значительно прищелкнул языком и с чувством собственного величия, хотя еще с мыслями не совсем ясными и с растрепанной головой, вышел к своим кредиторам.

— Вон все, сейчас же все! — сказал он повелительно, — деньги вам будут заплачены моим управляющим. Я получил тысячу восемьсот душ и сто... шесть... семьдесят пять тысяч денег...

Кредиторы сомнительно посмотрели друг на друга.

Шорник шепнул немцу-сапожнику:

— Известно, хвастает!

Немец-сапожник возразил:

— Йа![1] Квастун, квастун!

Петр Александрыч, услышав это обидное слово, в ужасном негодовании затопал ногами и закричал громовым голосом:

— Вон, все вон!

Шорник прошептал:

[1] Да! (Ja).

— Ах, батюшки, помешался, помешался! — растолкал кулаком немцев, толпившихся у двери, и первый выбежал на улицу.

Испуганные немцы последовали его примеру.

ГЛАВА V

Обаятельная сила денег. — Отрывок из петербургской философии. — Маскарад в Большом театре

Бог знает почему многие из нас пренебрегают словом *человек.* Это слово прекрасное и глубоко знаменательное, а оно, не имея никакого смысла отдельно, только с тремя прибавлениями, — получает в нашем обществе важный смысл: человек *с именем,* человек *с чином,* человек *с деньгами.*

Имя, чин и *деньги* — великие три слова! Перед ними открыты все двери, им везде поклон с улыбкой, почет и привет, им — крепкое рукопожатие, для них незваная пламенная любовь и непрошеная искренняя дружба!

Укажите же, читатель мой, место среди нас просто человеку?

— *Человек!* — закричал Онагр, лежа в неописанной неге на вычурном и резном диване.

Гришка — тот самый Гришка, который ходил в засаленном и оборванном сюртуке, теперь завитой, как баран, во фраке тонкого сукна и с аксельбантом, очень беспокоившим его, — явился пред Петром Александрычем...

— Что, еще не приносили вазы от Мадерни?

— Нет, сударь.

— Хорошо, пошел!

«Гостиная у меня, кажется, недурна, — подумал Петр Александрыч, — диван от Гамбса, бронзовые часы из английского магазина, обои от Шефера... Ваза будет здесь очень кстати... Все любуются моей гостиной, — это очень приятно! А какой фрак сшил мне Руч, — у! какой фрак!..»

Онагр поднялся с дивана. На нем был красный шелковый халат, малиновая бархатная шапочка с золотою огромною кистью, болтавшеюся по глазам, и азиатские туфли, беспрестанно сваливавшиеся с ног.

Онагр подошел к окну... Снег падал на улице хлопьями, вода с шумом стекала на тротуар из железных желобов. Барыня, приподняв салоп, отважно переходила через улицу, утопая в грязи и в снеге; коллежский регистратор в светло-серой шинели с кошачьим воротником тащился, отряхиваясь и протирая глаза, залепленные снегом; горничная с платком на голове и в кацавейке бежала в мелочную лавку; мастеровой, завернувшись в свою синюю сибирку, исполински шагал чрез грязь и лужи...

«Бедные! и не боятся простуды! им ничего — грубый народ! Я так выеду сегодня в карете, иначе невозможно! А сильно тает; впрочем, скоро весна: уж февраль на исходе».

Онагр опять лег на диван.

«Какие Гамбс славные пружины делает. Мастер на это, нечего сказать. На других мебелях мне что-то и сидеть неловко... За кем бы приволокнуться? Знаю я одну премиленькую девочку... впрочем, и Катерину Ивановну не оставлю, ни за что не оставлю... Теперь она не уйдет от меня».

Такие мечты толпились в голове Онагра, и, убаюканный ими, он не слыхал, как очутился перед ним Дмитрий Васильич Бобынин.

Онагр немножко удивился этому неожиданному посещению. Он видел у себя в первый раз Дмитрия Васильича.

— Я давно к вам сбирался, милый мой Петр Александрыч, — сказал Дмитрий Васильич, пожав руку его с особенным чувством, — да мои дела, хлопоты... Служба отнимает у меня все время, так что я не могу посвятить его немногим искренним приятелям...

— Как в своем здоровье Катерина Ивановна?

— Покорно вас благодарю. Она здорова: маленькая у нас что-то было прихворнула, теперь, однако, поправилась... Вы как поживаете?.. Кончены все ваши хлопоты? вы уж введены во владение?

— Введен...

— Ну, слава богу... Maman [1]-то вашей бедной сколько было дела! Прекрасное именьице вам досталось, прекрасное... Виктор Яковлич был хозяин, — ведь я его коротко знал. Село Долговка лучшее село в губернии: в нем

---

[1] Матушке *(франц.)*.

восемьсот душ, да земли — позвольте — земли... да... верно, около девяти тысяч десятин. Кажется, так?

— Право, не знаю.

— Вам надо иметь хорошего управляющего... у меня есть в виду человек... мы об этом когда-нибудь поговорим с вами посерьезнее... отличный, надежный человек. Послушайте-ка, Петр Александрыч...

Бобынин взял Онагра за руку и начал прохаживаться с ним по комнате.

— Я душевно люблю и вас и вашу маменьку и от всего сердца желаю вам добра... Позвольте мне дать вам небольшой совет.

— Что такое-с?

— Видите ли: теперь вы человек с большим состоянием, все невольно обращают на вас внимание... третьего дня спрашивал о вас один директор — мой знакомый... вам бы хлопотать о хорошеньком местечке по службе; теперь для вас это легко, — а то вы служите без жалованья, нештатное место...

— Помилуйте, — перебил Онагр, наморщась, — ездить всякий день в департамент — это смертная тоска.

— Кто ж вам об этом говорит? Сохрани бог! с какой вам стати мучить себя!.. Вы теперь должны служить собственно только для блеска, где-нибудь по особым поручениям; честолюбие будет удовлетворено — и прекрасно.

— Это недурно, Дмитрий Васильич! — сказал Онагр. — Как же бы это устроить?

— Ничего нет легче, и это нам не бог знает чего будет стоить; я переговорю с директором, мы это дельце и обработа́ем. Тогда я вас уведомлю о подробностях. Вам теперь можно устроить превосходно свою карьеру: о бедном хлопотать не станут; бедный сам пробивается.

— Разумеется, для бедных есть чернорабочие должности... Покорно вас благодарю, Дмитрий Васильич; мне без вас это не пришло бы в голову.

— Я всегда рад вам служить, и маменька ваша будет этим довольна.

— Уж конечно!

Дмитрий Васильич посмотрел на часы.

— Ай-ай! Как я у вас засиделся: четверть второго. От вас мне еще нужно заехать на аукцион.

Дмитрий Васильич взялся за шляпу.

— Да... как вы думаете устроить ваш капитал?

— Я как-нибудь... я и сам не знаю.

— В ломбард отдавать не стоит... что̀ четыре процента?.. Позвольте... ах! я и эту статью могу вам выгодно обработать. Без меня только не предпринимайте ничего решительного, а то обманут. Прощайте, мой милый Петр Александрыч, не забывайте нас — до свидания. Да без церемонии являйтесь к нам, мы всегда вам рады, как родному. Не беспокойтесь: в передней у вас немного холодно, простудиться можно.

«Чудесный человек этот Бобынин! — подумал Онагр, — отчего же он мне прежде не совсем нравился?»

Лишь только вышел Дмитрий Васильич, как дверь из передней с шумом отворилась, и в залу Онагра вбежали офицер с золотыми эполетами и офицер с серебряными эполетами.

— А, друзья! откуда?

— Я объявлю тебе новость, братец, — сказал офицер с золотыми эполетами, бросаясь на стул, — я с Машей совсем покончил, решительно поссорились; надоела, все ревнует. Знаешь фигурантку Лизу? такая быстроглазенькая, с левой стороны во второй паре третья с края; я начал волочиться за нею — вчера получил от нее записочку. Хочешь, покажу?

Офицер с серебряными эполетами ходил по комнате и рассматривал новые мебели и вещи в гостиной Онагра.

— Славные часы! что ты, мон-шер, заплатил за часы?

— Не знаю, недорого; кажется, рублей тысячу.

— Гм! И диван прелестный, а что за диван заплатил?

— Четыреста.

— Гм! Надо мне купить себе эдакий. А эти кресла с железной спинкой?

— Сто с чем-то, с какой-то безделицей.

— Гм! цвет сукна, мон-шер, мне не нравится: напрасно ты не взял вер-де-пом [1], у всех вер-де-пом.

— Посмотри, братец, — сказал офицер с золотыми эполетами Онагру, вынимая из кармана сафьянную коробочку и открывая ее, — купил для Лизы гранатовую браслетку. Недурна? как ты находишь?.. Что твоя Катишь поделывает? Вы с ней все по-прежнему?

---

[1] цвета незрелого яблока (*франц.* vert de pomme).

— По-прежнему? Чего! с каждым днем все больше и больше привязывается ко мне. Не знаю, чем это кончится!

— А Дмитрий Васильич?

— Он у меня сейчас был.

— Мы его встретили. Мастерски ты, Петя, ведешь себя: и с мужем приятель и с женой... Богатые дядюшки у тебя умирают...

— И мне, может быть, скоро достанется пятьсот душ, — заметил офицер с серебряными эполетами.

— Полно, братец, сочинять: я шестой год слышу от тебя это всякий день.

— Что ж шестой год! я не сочиняю...

— Не хотите ли завтракать, господа? — сказал Онагр.

— Пожалуй, я от завтрака никогда не отказываюсь.

Офицер с золотыми эполетами взял Онагра за талию, приподнял его и произнес с особенным чувством, которое передать невозможно:

— Ах, душечка, если б ты увидел Лизу!

Завтрак был на славу; однако все трое более пили, чем кушали.

— В воскресенье, messieurs[1], маскарад в Большом театре. Страсть моя маскарады: я все хожу в маскарадах с французскими актрисами, — сказал офицер с серебряными эполетами.

— В самом деле, маскарад? Я и забыл! Лиза непременно там, и я буду. А ты, Петя, поедешь?

— Как же не *ехать?..*

Маскарад в Большом театре! Как весело, под гром музыки, прохаживаются оба пола: женский пол в масках и в черных домино, а мужской пол — без масок: женский пол сам по себе, а мужской — сам по себе. Тишина и простор царят в огромной зале, только слышится однообразный шум шагов, шелест шелковых домино да бряцанье шпор. Живописно колышутся в зале белые и черные султаны: ярко горят при усиленном освещении золотые и серебряные эполеты и аксельбанты. Львы в темных фраках и в узких желтых перчатках; Онагры в светлых фраках с блестящими пуговицами; какие-то два господина в сюртуках и в масках; чиновник с разряженной, как на бал, супругой под ручку, и оба без масок; испанец в плисовой

---

[1] господа *(франц.)*.

мантии, взятой напрокат за два с полтиной; пастушка, претолстая, в корсете, который у нее сзади не сходится, и с пречудовищными ногами в башмаках с бантиками... Этой картиной любуются сверху дамы и барыни, образующие своими отдельными группами цветущие оазисы среди пустыни лож... Маскарад еще не расходился. Слышите ли? начинается шушуканье, глухой говор... несколько женщин из этой толпы уже об руку с мужчинами; несколько пар пронеслось мимо вас; раздался пронзительный женский писк; проскользнула ножка, плениительно выставившаяся из-под распахнувшегося домино, промелькнула чудесная талия... вот и знакомец наш, господин высокого роста и крепкого сложения. Он ведет даму в коричневом домино с голубыми бантиками, потирает свой подбородок о крепкий волосяной галстук и подергивает усами, а сзади этой пары — Онагр. Он идет и думает:

«Неужели это Катерина Ивановна? Кажется, что она?.. Охота же ей ходить с этим усачом. Разве не нашлись бы для нее кавалеры?..»

— *Бо-маск*[1], я вас узнал, — сказал Онагр, подойдя к коричневому домино.

Господин высокого роста шевельнул усом, а его дама обернулась к Онагру и запищала по-французски:

— Неправда, вы ошибаетесь...

«Шутки! — подумал Онагр, — это, точно, она».

— Вы не умеете скрыть своего голоса, — продолжал он, — но я и без того узнаю вас, как бы вы ни замаскировались.

В эту минуту мимо Онагра прошел лев. Лев говорил своей маске: *ты*. Это *ты* немного смутило Онагра.

Коричневое домино оставило своего усача и взяло за руку Онагра.

— За кого вы меня принимаете?

— Твое имя начинается с буквы...

На местоимение *твое* он сделал сильное ударение.

— С какой?

— С буквы К...

Коричневое домино засмеялось.

— Потому что у меня коричневое домино?.. Угадали?

---

[1] Прекрасная маска (*франц.* Beau masque).

— Полноте притворяться... Вас... *тебя* можно узнать по твоему кавалеру...

Она вздрогнула.

— Отчего по моему кавалеру?.. Я его не знаю, я первый раз встретила его здесь.

Онагр начал колебаться.

«А может быть, это и не Катерина Ивановна? Кто ее знает?..»

— Тебе весело здесь, бо-маск?

— Весело...

Они прошли несколько шагов молча.

«Неловко как-то говорить с этими масками! Ничего в голову нейдет».

Навстречу им попалось черное домино с черным шишаком на голове... Это домино подошло к той, с которою прохаживался Онагр, и сказало:

— Катишь, я тебя давно ищу. Я потеряла Дмитрия Васильича...

— А, Катерина Ивановна! Теперь вам нечего скрываться. Видите ли, я узнал вас...

— Не стыдно ли тебе, ма-шер, изменить мне? — с упреком произнесла Катерина Ивановна, обращаясь к своей приятельнице с шишаком и качая головой. — Вот Дмитрий Васильич, поди к нему, а я немного пройду с Петром Александрычем и буду вас ждать с левой стороны у первого бенуара.

«Она хочет пройтись со мною: это недаром!» — подумал Онагр.

— Мне сердце сказало, что это вы, — начал он, прижимая как бы нечаянно локоть ее к своему боку.

— Сердце? Вы мне сказали, что узнали меня по моему кавалеру.

— Он мог идти и не с вами, а сердце мне...

Офицер с серебряными эполетами подбежал к Онагру и шепнул ему на ухо:

— С кем это ты идешь, мон-шер? Кажется, хорошенькая! О чем вы говорите? — потом он закричал: — Я сейчас ходил все с какой-то аристократкой. Она говорила мне разные нежности: у них пресвободное обращение, мон-шер.

— Не мешай мне, пожалуйста... Мне надо поговорить с моей дамой.

Офицер улыбнулся, присвистнул, осмотрел с ног до головы коричневое домино и исчез.

Онагр продолжал:

— Сердце никогда не обманывает... оно... оно...

— Приезжайте послезавтра обедать к нам, — сказала Катерина Ивановна рассеяннее, чем обыкновенно; и, говоря это, она как будто искала кого-то в толпе: — приедете?

— Непременно.

— Я давно хотела говорить с вами, я хотела... Вы знаете этого адъютанта, вот, что стоит один, с белым султаном?

— Знаю, а что?

— Так... об нем я много слышала от одной моей приятельницы... Она... Ах... я и позабыла... Завтра большой бал у Горбачевой. Вы будете?

— Буду.

— Я с вами танцую четвертую и шестую кадрили... Слышите? Мне надо поговорить с вами о многом.

— Я всегда к вашим услугам. Назначьте час, минуту, секунду...

Онагр был счастлив; он весь превратился в улыбку самодовольствия, он думал:

«Я на одну черту от блаженства».

— Подойдемте к адъютанту, я буду его мистифицировать...

Она оставила Онагра и шепнула ему:

— Помните, до завтра.

— До завтра! — повторил он выразительно.

Господин высокого роста и крепкого сложения, следивший за коричневым домино, мрачно взглянул на адъютанта и на Онагра; усы его пошевельнулись с какою-то торжественностию, а губы сделали такое движение, как будто он затягивался...

Долго прохаживался Онагр по залам, поглядывая на маски в золотой лорнет, но они не обращали на него внимания; одна только мимоходом пропищала ему: «Bon soir!» [1], а другая, у которой на руках были широкие темно-бурые перчатки, погрозила пальцем. Он искал Катерины Ивановны и адъютанта — и не находил их.

«Странно! — говорил он сам себе, — маски сами должны бы подходить ко мне: теперь, верно, уж всему

[1] Добрый вечер! *(франц.)*

Петербургу известно, что у меня тысяча восемьсот душ и сто семьдесят пять тысяч...»

Он остановился... легкий трепет пробежал по его членам: в двух шагах от него стоял лев, против которого два раза удалось ему обедать за общим столом у Дюмѐ...

— Comment votre santé? [1] — сказал ему Онагр робким голосом, краснея и прикладывая дрожащую руку к шляпе.

Лев едва заметно пошевельнулся и с величием львиным произнес:

— Здравствуйте.

Это «здравствуйте», переведенное с львиного на человеческий язык, означало: «Что тебе надобно от меня? Зачем ты мне кланяешься?»

— Сегодня в маскараде много публики, — продолжал Онагр еще с большею робостию.

Лев пробормотал: «Да», и отодвинулся от Онагра.

Онагр запел про себя какую-то песенку, споткнулся, поправил шляпу и виски и подскочил к толстой госпоже в маске и в белом кисейном платье.

— Бо-маск! Отчего вы одни? Тебя не занимает маскарад?

Кисейное платье молчало.

— Ты не хочешь говорить со мной?

Кисейное платье повернуло голову к стене.

— Зачем вы отвертываетесь?

— Отстаньте! — закричало кисейное платье. — Что вы пристали-то?

— Зачем вы сидите одни? Пройдемтесь со мною.

— Не на такую напали: у меня есть свой кавалер. Прошу не беспокоиться.

Нечего было делать. Онагр отошел от грозного кисейного платья и принужден был прогуливаться один. Ему становилось скучно, он уже зевнул раза два и посмотрел на часы. К счастию, в эту минуту окружили его несколько приятелей, известных танцоров и любезников среднего круга. Он сделался центром этого избранного кружка, и между ними тотчас завязался живой и остроумный разговор. Вдруг, в самом пылу разговора, Онагр почувствовал легкое прикосновение к своему плечу; он

---

[1] Как ваше здоровье? *(франц.)*

обернулся: возле него стояла в театральной позе женщина в черном и коротеньком домино.

— Я вас знаю, — сказала она.

— В самом деле?

Онагр предложил ей свою руку и отправился с нею.

— У вашего кучера светло-голубая шуба и глазетовый кушак, — продолжала она.

— Точно. Ты говоришь правду, бо-маск.

— Вы недавно получили большое наследство.

— И то правда; впрочем, я всегда был богат.

— Вы всё ходите по Невскому.

— Хорошо. Еще что?

— Вы влюблены в одну даму, которую зовут Катериной Ивановной, и она отвечает вам.

— Diable [1], бо-маск! Все верно как нельзя больше! Почему же ты это знаешь?

— Скоро состареетесь, не скажу. Вы все, мужчины, прелюбопытные.

— Нет, женщины гораздо любопытнее.

— Извините. А сказать вам, как вас зовут?

— Скажи.

— Петр Александрыч.

Онагр стал заглядывать под маску.

— Полноте, что это вы?

— Снимите маску.

— Что вы, с ума сошли?

— Отчего?

— Вы часто мимо наших окон ездите.

— А где ты живешь?

— Отгадайте.

— Я отгадывать не умею.

Онагр снова заглянул под маску и пожал таинственной незнакомке руку.

— Зачем вы со мной ходите? На вас рассердится Катерина Ивановна.

— Пусть ее сердится.

— Как же: ведь вы влюблены в нее? Вам другими нельзя заниматься.

— Очень можно.

— Стало быть, вы ветреник?

— Хочешь испытать мое постоянство?

---

[1] Черт побери *(франц.)*.

— Я вас боюсь... Какая у вас миленькая цепочка!

— Тебе нравится? Хочешь, я прикую тебя к моему сердцу этой цепочкой?

Однако в припадке нежностей и в жару объяснений Онагр почувствовал аппетит.

— Бо-маск, хочешь со мною ужинать?

— Пожалуй.

— Ты любишь трюфели, бо-маск?

— Мне все равно.

И они начали взбираться по лестнице в верхние залы.

На половине лестницы маска сказала Онагру:

— Вернемтесь.

— Зачем?

— Так.

Перед Онагром и его неведомой спутницей очутился офицер с золотыми эполетами. Он пристально посмотрел на последнюю.

— Поздравляю тебя, братец, — шепнул он Онагру.

— С чем?

— Да знаешь ли, кто твоя дама?

— Нет.

— Это Маша, моя старая приятельница. Посмотри, она на меня сердится, отворачивается от меня, — а славная, братец, девочка. Конечно, далеко не то, что Лиза... Мы с Лизой выдумали сейчас свой язык, — она будет вести со мною разговоры со сцены.

— Так это Маша? Вот что!.. Ты ей рассказал все мои секреты?

— Что ж за беда?

— Нет, ничего... «Гм! — подумал Онагр, — очень кстати: у меня будет связь в обществе и связь на сцене: это необходимо для настоящего светского человека; об этом и Бальзак пишет, и вся петербургская молодежь большого света придерживается этой моды. Я буду кататься как сыр в масле».

За ужином Маша совершенно подружилась с Онагром. Она развязала на минуту свою маску и вскользь показала ему свое личико. Он был в восторге и от ее красоты, и от ее любезности. Она кушала с аппетитом и довольно часто прикладывала бокал к своим губам, грациозно поддерживая кружевную бородку своей маски. После ужина Онагр, проходя мимо офицера с золотыми эполетами, сказал ему:

— Решено, душа! какую я квартиру найму для нее, как одену ее — точно куколку...

Было около трех часов. Залы пустели; отчаянные гуляки допивали последние бокалы и, покачиваясь, сходили вниз... В ложах давным-давно никого. Какой-то пьяный франт в светло-синей венгерке с черными шнурками, причесанный à la moujik, кричал музыкантам: «Довольно!.. Я вас не хочу больше слушать!» Какие-то сомнительные физиономии ходили взад и вперед, с неудовольствием посматривая на крикуна; квартальный надзиратель стоял посреди залы, величественно подбочась; капельдинер дремал у боковой двери, да штатский с изнеженными движениями сидел у самого оркестра и не сводил глаз с музыкантов, потому что он был *меломан*.

Скоро и музыканты начали собираться домой.

Все разошлись и разъехались... Все...

Нет, не все еще: облокотясь на прилавок, где разбирают шинели и шубы, стоял офицер с серебряными эполетами и страстно смотрел сквозь очки на толстую пастушку, у которой сзади не сходился корсет. Пастушка была уже без маски: пот градом катился по ее воспаленному лицу, и она обвевала его носовым платочком.

Огни потухали в окнах театра.

ГЛАВА VI

Бал

Праздник за праздником: сегодня маскарад, завтра бал.

Одиннадцать часов вечера. У подъезда дома, где живет г-жа Горбачева, три кареты четвернями, карет шесть парами и несколько саней в одиночку... Как светло в окнах бельэтажа! Сколько на окнах треугольных шляп с султанами!.. Бал, бал!

Двери из танцевальной залы в переднюю открыты, музыканты занимают половину передней, за ними лакеи и шубы; Гришка с аксельбантами снимает шинель с своего барина. На Онагре белый атласный жилет с цветами, синий фрак только что с иголочки, украшенный бронзовыми пуговицами величиной в пятак; золотые цепи от

часов и от лорнетов; изумрудные запонки на рубашке; голова Онагра в завитках; он весь пропитан духами...

Музыка гремит!.. Онагр входит в залу. У самых дверей офицер с серебряными эполетами хохочет и танцует с m-lle Неврёзовой...

— Бон-суар, мон-шер! — закричал офицер, увидя Онагра. — Что, из театра? Бурбье хорошо играла? Какое на ней было платье?.. Отчего ты так поздно?

— Как поздно?.. — Онагр испугался. —Который это кадриль танцуют?..

— Третий, мон-шер.

«Слава богу! — подумал Онагр. — Что, если б я опоздал? Беда! Ведь на четвертый кадриль меня ангажировала сама Катерина Ивановна».

— Славная, мон-шер, на тебе жилетка, — продолжал офицер, — самая модная. А мы сейчас всё об тебе говорили.

Он посмотрел на свою даму.

Онагр поклонился m-lle Неврёзовой и сказал ей:

— И я так счастлив, что вы вспомнили обо мне!

M-lle Неврёзова — девица средних лет, с черными выпуклыми глазами, с венком на голове и с перетянутой талией, играя небрежно своим двойным лорнетом, отвечала с расстановкою, придавая своим словам таинственность:

— Мы... да, мы говорили об вас...

— Что же вы говорили обо мне?

— А с чего вы взяли, что я вам открою это?

— Если вы не скажете мне, так он расскажет, — заметил Онагр, указывая на офицера.

— Вы думаете? Верно, m-r Анисьев не будет так нескромен.

Офицер громко засмеялся, посмотрел с чувством на свою даму и закричал:

— Не скажу, мон-шер, не скажу ни за что; это секрет! Ведь вы не прикажете сказывать?.. Нам начинать... Пермете.

Офицер подал руку своей даме.

Онагр начал пробираться между танцующих, раскланивался направо и налево и высматривал хозяйку дома.

Г-жа Горбачева была в страшных суетах: она порхала от одного гостя к другому, от одной гостьи к другой; она каждому и каждой находила сказать что-нибудь прият-

ное и эти приятности сопровождала обязательпой улыбкой.

Онагр поймал ее в комнате за гостиной, где Дмитрий Васильевич Бобынпн играл в вист с *прекрасным человеком* и с двумя генералами.

— Же-ву-салю [1], мадам, — сказал Онагр, натягивая на руку желтую перчатку.

— Отчего так поздпо, Петр Александрыч? Мы вас давно ждем.

— Я прямо к вам из французского спектакля; впрочем, я долго ждал своей кареты: эти разъезды, знаете, пренеприятные.

— Vous avez raison! [2] Как вы еще поспеваете везде? я удивляюсь вам: вы можете служить образцом светского человека: право, это врожденное, я вас всегда ставлю в пример моему мужу: он у меня такой бирюк...

Онагр самодовольно пожимался.

— Надеюсь, Петр Александрыч, что вы не станете отказываться от танцев. Пожалуйста, одушевите всех кавалеров своим примером. Распоряжайтесь всем; я вам даю право; ангажируйте поскорей даму на следующий кадриль.

Онагр кивнул головой и хотел отправиться в залу к Катерине Ивановне, но Дмитрий Васильич остановил его.

— Как вы поживаете, мой любезный Петр Александрыч? — сказал он, протягивая ему руку, — наклонитесь-ка на два слова. Директор, о котором я говорил вам, здесь, и я сегодня же представлю вас ему... Ваше превосходительство, ваш ход...

Онагр отошел от карточного стола и попал прямо на хозяина дома — человека лет двадцати восьми, у которого глаза цвета вареного крахмала.

— *Шармѐ де ву вуа̀р!* [3] — сказал хозяин дома. — Вы сейчас только приехали? Ну, очень рад. *Дансе, же ву при* [4]. Сегодня у нас собралось много, и столько генералов, что я не ожидал даже. Жаль только, что княгиня Елена Васильевна не будет: занемогла, а то бы она

---

[1] Приветствую вас (*франц.* Je vous salue).
[2] Вы правы! *(франц.)*
[3] Очень рад вас видеть! (*франц.* Charmé de vous voir.)
[4] Танцуйте, прошу вас (*франц.* Dancez, je vous prie).

непременно была; ей очень весело у нас — она мне сама говорила это.

«Оно и лучше, что не будет, — подумал Онагр, — а то за нею вечно кавалергарды и эти львы; а при них что-то не совсем свободно».

— Так княгини не будет? Ах, как досадно! — закричал он, — вообразите, последний раз здесь она дала мне слово танцевать со мною кадриль... Может быть, она еще приедет?

— Нет, я уж два раза ездил сегодня просить князя... Князь мне сказал, что у нее флюс и что при всем желании она никак не может быть.

В эту минуту музыка умолкла, третий кадриль кончился.

Онагр пустился отыскивать Катерину Ивановну.

Катерина Ивановна, вся в брильянтах, вся в цветах и блондах, сияющая и великолепная, сидела в зале, обмахивая себя веером и разговаривая с тем самым адъютантом, о котором она спрашивала в маскараде. Она обращала на себя всеобщее внимание: толстые маменьки, не игравшие в карты и разместившиеся около стен залы, отирая пот с лица, искоса на нее поглядывали и рассуждали о том, сколько тысяч стоит ее фермуар и собственный ли он ее или взятый у кого-нибудь для бала; тоненькие дочки, ослепленные ее туалетом, находили, что она одета вовсе не к лицу; а фраки и мундиры, как нарочно, в опровержение этого толпились около нее и ей посвящали свои отборные фразы и свое остроумие.

Онагр подошел к ней, взглянул на нее и подумал: «Она царица бала. Меня здесь многие называют счастливцем, глядя на нее, потому что я уверил... Впрочем, сегодня должно решиться все... Какая ручка пухленькая, беленькая, так бы и поцеловал ее!»

— Четвертый кадриль сейчас начинается, — сказал он ей, кланяясь и закладывая палец за жилет. Эту львиную привычку он не так давно перенял.

Она подняла на него свои глазки и опустила их, потом опять подняла и опять опустила, поправила свой фермуар и произнесла немного нараспев:

— А я думала, что вас нет.

— Меня не было: я приехал к четвертому кадрилю.

— Д-а-а?

Она приподнялась со стула и уронила веер. Адъютант и Онагр бросились поднимать его, но он достался в руки адъютанта, и адъютант, подавая его Катерине Ивановне, был награжден за свою ловкость многозначительной улыбкой.

Онагр покраснел и занялся поправлением своего галстука. Между тем они стали в ряды танцующих.

— С каким нетерпением ожидал я этой минуты, — сказал Онагр, — сегодня целый день для меня тянется так долго... я вас видел во сне.

— Какой скучный сон!

Она то складывала, то развертывала свой веер.

— Напротив...

— Вы долго оставались вчера в маскараде?

— Нет... а вы исполните вчерашнее обещание?

— Какое? разве я что-нибудь обещала вам?

— Вы хотели говорить со мною.

— О чем?

— Вы сказали мне, что вам надобно объясниться со мной о многом.

Катерина Ивановна начала бить такт веером по своей ручке и как будто задумалась.

«Женщине нелегко открывать свои чувства, — подумал Онагр, — это натурально... она не знает, как приступить к такому щекотливому разговору».

— О чем же вы задумались?

— Какая у меня слабая память! Что бишь такое я хотела сказать вам?

«Притворяется, будто не помнит».

— Вспомнила! вспомнила!

Она подняла глаза к потолку.

Онагр сделал три шассе вперед, три шассе назад, взял ее за руки, повернулся с нею и бросил на нее один из тех взглядов, для которых нет выражения.

— Вспомнили? Скажите поскорей, не мучьте меня.

— Нет, я раздумала, я не хочу говорить.

. . . .

— Ах, мои батюшки! да что это такое? — закричала сзади танцующих генеральша Питковская, отскакивая от лампы, — да на что это похоже, масло с ламп каплет!.. посмотрите, бога ради, матушка Анна Ильинишна, что мантилья-то моя, я думаю, совсем испорчена? Да сюда нельзя, я вам скажу, хороших вещей надевать.

Анна Ильинишна смотрела на мантилью и покачивала головой:

— Жаль, вещица-то прекрасная! Большие два пятна, Пелагея Ивановна!

Генеральша Питковская побагровела, сдернула с себя мантилью и с ужасом увидела пятна. Около нее собрались пожилые и толстые дамы... Они все закивали и замотали головами.

Вдова Калпинская, vis-a-vis[1] Катерины Ивановны во время соло, иронически улыбаясь, сказала ей:

— Какая забавная сцена! Не-спа?[2]

Катерина Ивановна смеялась и закрывала себя веером.

— Что же? вы не сдержите своего слова, вы не скажете мне... — шептал Онагр, наклонясь к плечу Катерины Ивановны.

— Не скажу, не скажу и не скажу.

— К чему же такое упрямство?

— О, я очень упряма! вы меня не знаете...

Она прищурилась и вздохнула. Грудь ее роскошно поднялась, как волна, и опустилась.

Боже, какая грудь! Мурашки пробежали во внутренности Онагра.

— О чем вы вздохнули?

— Так. Хотите, чтоб я была с вами откровенна?

— Я об этом только и прошу вас.

— Мое упрямство теперь происходит оттого, что мне нечего сказать вам. В маскараде всегда мистифируют, и мне вчера захотелось вас помистифировать. Вот и все.

Кадриль кончился.

Мечты Онагра вдруг развеялись, он упал с неба на землю, он был ужасно недоволен такой прозаической развязкой.

— А шестую кадриль вы танцуете со мною? — спросил он у Катерины Ивановны, не глядя на нее.

— Шестую? Нет, я дала слово.

— Как! это тоже была маскарадная мистификация?

— Разве я обещала танцевать с вами шестую кадриль?

— Обещали.

---

[1] напротив *(франц.)*.

[2] Не правда ли? (*франц.* n'est ce pas?)

— Неужели? Ах, простите меня, пожалуйста! Теперь нечего делать: я скорей решусь быть виноватой перед вами, чем перед человеком, которого я не так знаю.

Онагр холодно поклонился Катерине Ивановне и хотел идти.

— Вы не сердитесь на меня?

— Нет, помилуйте.

«Она заважничала, — думал он, — оттого, что я за ней слишком ухаживаю. Хорошо же! Я стану волочиться за всеми, кроме ее; надобно показать, что я не дорожу ею, что для меня все равно, она или другая. Посмотрим, кому она дала слово на шестую кадриль!..»

Проходя мимо стульев, где сидели маменьки, Онагр должен был беспрестанно останавливаться, потому что маменьки наперерыв одна перед другою старались очаровать его своею приветливостию.

Особенно нежно смотрела на него одна действительная статская советница лет пятидесяти четырех, которая сидела, вытянутая как струнка, моргала веками, повертывалась будто на пружинах и необыкновенно мило и искусно шевелила своими губками. У этой действительной статской советницы была рыжая дочка лет двадцати шести...

— Я все смотрю на вас, мсье Разнатовский, — сказала она нашему герою с тою умилительною жеманностию, которая называется обыкновенно светскостию, — как вы всегда со вкусом одеты.

Онагр поклонился ей с чувством полного удовольствия.

— Признаюсь, мне нравится, когда молодые люди обращают внимание на свой туалет. А что, вы достали для моей Нади ноты, последний романс Глинки? Это немножко неделикатно, что я напоминаю.

— Я привезу вам на днях.

— Надя, Надя! поди сюда, мой друг. Вот Петр Александрыч так добр, что привезет нам романс Глинки...

Она поправила брошку на груди дочери.

— Merci, monsieur [1], — сказала рыжая дочка.

— Вы не ангажированы на этот кадриль? — спросил у нее Онагр.

— Non, monsieur [2].

---

[1] Благодарю вас, сударь *(франц.)*.
[2] Нет, сударь *(франц.)*.

— Позвольте мне танцевать с вами?

— Avec plaisir, monsieur [1].

Статский с изнеженными движениями не танцевал; он кочевал из комнаты в комнату, повертывая своей тросточкой с бирюзовым набалдашником и поглядывая на все и на всех насмешливо.

— Здесь очень скучно, — сказал он Петру Александрычу, — я здесь никого не знаю, кроме madame Бобыниной. И как душно! меня сегодня звал князь Петр Иваныч на вечер, но мне совестно было отказать Горбачеву.

— Да, прескучно, — закричал, подбегая, офицер с серебряными эполетами, — а вы никогда не танцуете?

— Редко.

— Хочешь быть, мон-шер, моим *визави*? — продолжал офицер, обращаясь к Онагру, — я танцую с премиленькой; она недавно показалась в свете, только что из Москвы или из деревни откуда-то приехала; я люблю все новенькое. Жаль, не так молода — лет двадцати с лишком, дочь полковника, отлично воспитана. Что же, мон-шер, будешь моим *визави?*

— Изволь, братец.

Онагр ангажировал хозяйку дома и избрал для своего поприща самое видное место.

Офицер с серебряными эполетами стал напротив с своею. Онагр с высоты величия взглянул на провинциалку.

— Ай, ай! какая странная, а ведь хорошенькая!

В самом деле, она была недурна. Черные волосы, густыми локонами спускавшиеся до плеч, длинные полуопущенные ресницы, черты лица тонкие и нежные, прозрачность кожи, стан высокий и стройный, простота убора — все это показалось необыкновенным Онагру и как-то не совсем сходилось с его понятиями о красоте и светскости... А хорошенькая!..

Офицер никак не мог ходить; он бегал, прыгал, суетился около нее, кричал ей на ухо, и она едва поспевала за ним следовать и решительно не поспевала отвечать на его вопросы... В этой паре было что-то комическое.

— Не правда ли, мон-шер, порядочное личико? — бормотал офицер, делая фигуру и подскакивая к Онаг-

---

[1] С удовольствием, сударь *(франц.)*.

ру, — только робка чересчур, мало говорит, это ничего — пооботрется.

— Конечно... — Онагр, однако, думал совсем не о ней, а о Катерине Ивановне, которая танцевала и кокетничала с адъютантом.

Изнеженный статский подошел к хозяйке дома.

— Знаете ли, Елена Сергеевна, — сказал он, обращаясь к ней и к Онагру, — эта девица, которая танцует с господином Анисьевым, точно, интересна, она очень похожа на княжну Б...

— Неужели? — воскликнул Онагр, внимательнее посмотрев на девушку.

— Что вы думаете? именно похожа! — произнесла хозяйка дома, также взглянув на нее.

— Даже и в манере ее есть как будто сходство с княжной...

— Неужели и в манере?

Онагр еще пристальнее посмотрел на девушку. Изнеженный статский был для него авторитетом.

— Мне чрезвычайно нравится ее отец, — сказала г-жа Горбачева, — такой балагур, шутник и с такими здравыми понятиями обо всем. Он прежде командовал полком и никак не мог сойтись с своим бригадным генералом, оттого и вышел в отставку. Прежде он с семейством жил в Москве, а потом в своей тверской деревне. В Петербурге они не более месяца.

— Шармант персонь! [1] — сказал Онагр.

— Меня что удивляет, — продолжала г-жа Горбачева, — ведь она почти не была в свете, а, несмотря на это, *тре-жантиль!* [2]

Через четверть часа девица с черными локонами сделалась вдруг предметом всеобщего внимания.

Онагр спешил ангажировать ее на мазурку.

Господа офицеры и статские франты стекались изо всех комнат в залу смотреть на девицу с черными локонами.

— Она похожа на княжну! — слышалось повсюду.

— Как две капли! — кричал офицер с серебряными эполетами, бегая по зале, — я первый заметил это сходство. И говорит точно княжна; я с княжной несколько

---

[1] Очаровательная особа! (*франц.* Charmante personne.)

[2] Очень мила (*франц.* très gentille).

раз танцевал, — и напрыскана духами héliotrope[1], как княжна; только вальсирует неловко, руку не умеет держать, оттого она и мало вальсирует. Я люблю вальсировать с m-lle Неврёзовой — та ловкая!

Мазурка! мазурка!

Онагр поставил стул для своей дамы. Катерина Ивановна в первой паре уже летит с адъютантом. Адъютант рассыпается перед Катериной Ивановной и выдумывает беспрестанно какие-то новые, трудные фигуры. Онагр рассердился на адъютанта; а на Катерину Ивановну, — о! на нее он и смотреть не хочет. Его начинает сильно занимать девица, похожая на княжну. Он любезничает с нею изо всех сил, он говорит без умолку, а она только слушает, она кажется утомленною... Но вот музыка смолкла, усталые и тяжело дышащие кавалеры и дамы разбрелись по разным комнатам в ожидании ужина...

«Нечего сказать, прелесть как хороша, а не разговорчива! — подумал Онагр, расставаясь с девицей, похожей на княжну, — будь она немного повеселее и поживее да понаряднее, тогда бы просто свела с ума».

Офицер с золотыми эполетами, по своему обыкновению, явился после мазурки.

— Я, братец, кажется, в самую пору, — сказал он Онагру. — Что, накрывают ужинать? Сядем за ужином вместе. Ну что, весело было?

— Да. С какой душечкой я танцевал мазурку! Постой, я тебе покажу ее.

Онагр схватил офицера за руку. Они обежали все комнаты, но нигде не нашли ее.

— Видно, уехала.

— Брюнетка или блондинка?

— Брюнетка.

— Лучше Лизы, братец, брюнеток я и не видал, признаюсь тебе. А что твоя Катерина Ивановна?

— Ничего! надоела, братец; я с ней рассорился; хочу как-нибудь отделаться от нее.

Дмитрий Васильич сыграл пятнадцать робберов в вист, расправил свои одеревеневшие члены, пройдясь раза два по комнате, и подвел Онагра к директору.

— Вот, ваше превосходительство, господин Разнатовский, о котором я говорил вам.

---

[1] гелиотроп *(франц.)*.

— Очень приятно познакомиться, — сказал директор, протягивая руку, — что, я думаю, устали, много танцевали?

— Да-с.

— Я говорю, ваше превосходительство, что надобно служить молодому человеку, — заметил Дмитрий Васильич, — не правда ли?

— Как же не служить? А вы, верно, боитесь службы? Служба не так страшна, как вы думаете; не бойтесь. Мы вас не замучим.

Онагр поклонился.

— Приезжайте, когда вам можно будет, ко мне вместе с Дмитрием Васильичем. Я рад всегда видеть вас у себя, мы потолкуем с вами.

— Чем, ваше превосходительство, изволили кончить вист? — сказал подошедший в эту минуту хозяин дома, с чувством смотря на директора.

— Выиграл, выиграл!

— Мне весело, ваше превосходительство, что вы у меня в доме изволите, кажется, выигрывать по бо́льшей части.

— Да, да, странно! у вас мне какое-то особенное счастье. Я к вам буду чаще ездить.

Директор благосклонно захохотал.

— Милости прошу, ваше превосходительство; такие гости, как вы...

Хозяин дома не прибрал окончательной фразы, низко поклонился и потом еще с бо̀льшим чувством посмотрел на директора.

После этого в зале началась кутерьма; лакеи носили плитки с одеколоном, раздвигали столы, откупоривали бутылки, гремели тарелками и стаканами.

Ужин готов.

Дамы сели за особенным столом; около них поместились только два или три записные любезника, и, между прочим, адъютант возле Катерины Ивановны.

«Холодная, бездушная кокетка! — сказал Онагр самому себе, покосясь на нее, — и нашла по себе молодца: этот адъютант глуп, пусть его вздыхает. Она меня не завлечет теперь в свои сети, нет! После и станет раскаиваться, да поздно...»

Утешив себя этою мыслию, Онагр наложил полную тарелку чего-то вроде майонеза и налил полный стакан вина.

Офицер с серебряными эполетами был чрезвычайно доволен ужином: он пил более всех и все говорил, что после ужина надобно затеять непременно гросфатер.

Онагр не дождался гросфатера и уехал.

Он лежал в карете; ему мерещилась девица с черными локонами, похожая на княжну...

«Какой рост и какая талия, чудо! Что, если бы надеть на нее бархатный капот и пройтись с нею по Невскому? все бы останавливались и смотрели...»

Глаза его слипались.

«А что, не жениться ли мне?»

При этой блестящей мысли он заснул.

ГЛАВА VII

Старый кавалерист и его семейство. — Успехи Онагра

На другой день после бала г-жи Горбачевой Онагр проснулся часа в два, оделся и поехал к Маше; однако лицо и стан девушки с черными локонами все мелькали перед ним. Машей он был доволен и тотчас же приказал нанять для нее квартиру, сам выбрал ей мебель и записался по ее просьбе в «Библиотеку для чтения» Смирдина, потому что она охотница до романов. Маша завелась своим хозяйством; Онагр всякий день у нее, и часто по вечерам они ездят в обшевнях тройкой в Екатерингоф или на Крестовский остров. Эти поездки особенно веселы... Жаль только, что зима проходит и дорога портится.

Однажды (это было в первых числах марта) Онагр ехал по Гороховой улице, а офицер с серебряными эполетами перебегал через дорогу...

— Пàди! — закричал ему кучер Онагра.

Офицер обернулся.

— А, мон-шер, это ты! Же-ву-салю. Чуть не задавил меня... Постой на минутку...

Онагр приказал остановиться. Офицер подбежал к саням...

— Куда, мон-шер? Слякоть ужасная; к святой, верно, не высохнет, под качелями будет грязно; жаль!

— А ты куда? Что поделываешь? — спросил Онагр.

— Был с визитом у Змеевых, мон-шер.

— Кто это Змеевы?

— Будто ты не знаком с ними? Приятный дом, мон-шер: отец славный малый и мать добрая старушка, а о дочке и говорить нечего, — знаешь, что на княжну похожа... Ты с ней у Горбачевых танцевал. Я с ними познакомился сейчас после бала.

— Ах, братец, представь меня к ним! Ты мне сделаешь большое одолжение.

Девица с черными локонами явилась Онагру опять во всей красе своей; опять пришла ему в голову мысль, как бы хорошо надеть на нее бархатный капот и пройтись с нею по Невскому.

— Изволь, мон-шер, представлю, когда хочешь; я у них почти свой в доме, на короткой ноге, меня все любят; завтра же скажу им о тебе; отец охотник до лошадей, а у тебя славные лошади... Прощай.

— Смотри же, представь.

— *Конте-сюр-муа* [1], мон-шер.

Дня через три Онагр с офицером явились к Змеевым. Отставной полковник-кавалерист, среднего роста, полный, с большими черными усами, с проседью, в венгерке с кистями, прохаживался в своем кабинете и пробовал хлыстик. Кабинет украшался токарным станком, двумя черкесскими кинжалами, винтовкой, коллекциею черешневых чубуков и двумя гипсовыми лошадьми.

Офицер представил Онагра полковнику.

Полковник пожал ему руку — и так крепко, что Онагр едва не вскрикнул.

— Без церемонии, господа, я привык по-военному, прошу садиться — диван не мягкий, а сидеть можно.

— Как в своем здоровье Дарья Николаевна и Ольга Михайловна? — спросил офицер.

— Здоровы, здоровы; спасибо: у жены сидит Иконин, нравоучительные книжки ей читает; она любительница проповедей: старухе, впрочем, больше нечего и делать. Мы же, кавалеристы, не слишком жалуем красноречие. Нам подавай коня, пороху, дыму, стишков Дениса Васильича...

---

[1] Рассчитывайте на меня (*франц.* Comptez sur moi).

Полковник носовым платком разгладил усы и захохотал.

— Да, Михайло Андреич, мы, военные, совсем не то, что эти статские. (Офицер с серебряными эполетами указал на Онагра.)

— Вы военные? С какой стороны вы военные? С чего вы это взяли? Вы, сударь, не военные, а так, ни то ни се, ни рыба ни мясо, — вы, я думаю, и пули-то не отличите от мячика; у вас и усов нет!

Полковник засмеялся и обратился к Онагру:

— А я слышал, что вы охотник до лошадей. Что, у вас хорошие лошади?

— Все заводские, дорогие лошади.

— Рысаки-с?

— Рысистые, особенно один гнедой жеребчик.

— Орловский?

— Конечно, настоящий орловский.

— Это хорошо, это я люблю. Нынешние вольнодумцы всё толкуют о скаковых лошадях; всё, видишь, подавай им от Эклипса. Вздор! Скакуны ни к черту не годятся... От Сметанки или от Безыменного — почище будут. Бывало, я вам скажу, как Проворный побежит, весь на воздухе, — так, глядя на него, дух занимается. Любопытно посмотреть ваших лошадок. Я вам имею честь рекомендоваться, милостивый государь, я знаток в лошадях, я старый кавалерист, через мои руки прошло их довольно.

Полковник рассек воздух хлыстиком.

— Очень довольно! И чего я не испытал на своем веку! Сквозь огонь и воду прошел... Пойдемте; я вас моей старушонке отрекомендую.

Он бросил хлыстик на стол.

Жена полковника, худая, желтая, сгорбленная, в чепце, сидела против добродетельного старичка с огромным ртом и благоговейно слушала его проповеди, которые он читал с чувством и с расстановкой.

Дочь полковника вышивала у окна. Голова ее наклонялась к самой канве, и длинные черные локоны почти закрывали лицо.

— А вы еще все читаете, — сказал полковник, войдя в гостиную, — извините, что помешал, нельзя, гостей веду.

— Вот моя жена, а вот дочь, — продолжал полковник, смотря на Онагра, — я третий, и все семейство налицо. Прошу нас любить да жаловать.

Онагр расшаркался перед полковницей, потом перед ее дочерью и заложил палец за жилет.

Девушка подняла голову, откинула от лица свои локоны, посмотрела на офицера и на Онагра, привстала едва заметно и потом снова наклонилась к канве.

Полковница сказала Онагру:

— Я уж, кажется, имела удовольствие видеть вас у Елены Сергеевны Горбачевой.

— Да-с, я был у нее на бале.

— Садитесь, господа, без церемоний, и поболтаемте о чем-нибудь.

Полковник сел первый, откинув назад кисть своей венгерки.

— Милая дама Елена Сергевна; она мне чрезвычайно нравится, — сказала полковница.

— И как одушевлены ее вечера! — закричал офицер с серебряными эполетами, — не видишь, как время летит.

— Это правда.

Онагр подошел к пяльцам, за которыми сидела дочь полковника.

— Вы изволите вышивать?

— Да, я вышиваю.

Она отвечала, не отводя глаз от канвы.

— Прекрасный узор!.. Вы прошедший раз уехали с бала тотчас после мазурки?

— Кажется.

Онагр повертелся около пяльцев и отошел в сторону.

Добродетельный старичок с огромным ртом взял шляпу и подошел к ручке полковницы.

— Филипп Иваныч, что это значит? Куда вы? Пожалуйте сюда вашу шляпу: я ее арестую, я действую по-кавалерийски; от старых привычек отстать трудно, — как хотите, а вы с нами обедаете, — и не думайте уходить — не пущу, ей-богу, не пущу!

Голова добродетельного человека покачнулась на его недвижном туловище, и он подал шляпу полковнику.

— А вы, господа? — Полковник обратился к офицеру и к Онагру: — Надеюсь, что вы не откажетесь от моей лагерной кухни.

Девушка взглянула на отца, как будто хотела спросить его: «К чему это?»

Офицер с серебряными эполетами закричал:

— С большим удовольствием! Я зван сегодня на два обеда, — ну, да я не поеду туда.

Онагр хотел было отказаться.

Полковник подошел к нему:

— Хотите быть со мной по-приятельски, по-военному?

— Если вы позволите.

Онагр оборотился к окну, где стояли пяльцы.

— В таком случае: слушай! скорым шагом марш в залу, шляпу оставить там — налево кругом — и назад. Вольно!.. Так, славно, — люблю за это. Мы, батюшка, попросту, как видите, по-военному, прошу не взыскать.

— Шутник! — сказала полковница про своего мужа, обращаясь к добродетельному человеку.

Добродетельный человек открыл рот до ушей, то есть улыбнулся, и произнес:

— Так требует военная дисциплина-с.

Девушка встала из-за пялец и вышла из комнаты.

«Слишком робка, — подумал Онагр, — а талия загляденье и рост отличный; отец немного смешон, а добряк!»

За обедом полковник рассказывал о своей храбрости, о генералах, с которыми служил, о лошадях, на которых ездил, критиковал планы Наполеона, показывал его ошибки, толковал, как и что ему надлежало делать, и беспрестанно повторял: «мы, старые кавалеристы» и «у нас, у старых кавалеристов». Военные анекдоты полковника были очень забавны. Все слушали его с большим вниманием и смеялись; одна дочь его, казалось, не принимала участия в этих рассказах...

С этого дня Онагр стал беспрестанно ездить к полковнику и беспрестанно поглядывать на его дочь, и полковник довольно часто начал посещать Онагра и поглядывать на его лошадей. В доме полковника не произошло никаких перемен: дочь его была робка по-прежнему; в конюшне Онагра делались улучшения с каждым приездом полковника.

Люди Онагра громко начинали поговаривать, что барин их женится на дочери полковника. И для самого барина эта мысль незаметно становилась доступнее и правдоподобнее... Бархатный капот, Невский проспект и девица с черными локонами — эти три предмета составляли что-то нераздельное в его воображении. Ему смутно представлялся иногда ряд прекрасно меблированных комнат,

в которых он и супруга его принимают господ в звездах и орденах и госпож в нарядных чепцах и мантильях; он видел иногда двух лакеев с гербами сзади своей кареты; ему казалось иногда, что он сидит возле супруги своей, и целует ей ручку, и играет ее черными локонами, и...

«Робость ее пройдет; это вздор, — говорил он самому себе. — К тому же я ее буду беспрестанно вывозить... В свете заговорят о моей квартире, о моих балах, о моей жене, о моем экипаже. Весело быть женатым! А Маша? и она мила и влюблена в меня по уши. Что за беда? я буду ездить и к Маше...»

Онагр заехал в магазин и купил Маше золотую брошку.

Возвратясь от нее поздно вечером, он был обрадован запиской Дмитрия Васильича:

«Дело слажено, любезнейший Петр Александрыч. Поздравляю вас: его превосходительство Илья Иваныч объявил мне сегодня, что вы определены чиновником особых поручений при департаменте с двумя тысячами рублей оклада. Вы очень понравились его превосходительству. Он говорит, что у вас много приятности в манерах. Чиновник, мною рекомендованный вам в управляющие над деревнями вашими, согласен на условия, которые я предложил ему от имени вашего. Вы будете им довольны, в этом я уверен. Послезавтра он будет у вас, а я приготовлю ему инструкцию. Отправится же он в деревню через неделю. Капитал ваш наконец я устроил: вы будете аккуратно получать от меня по пяти процентов. И это выгодно при нынешних обстоятельствах. Сколько хлопот мне было с этими деньгами! Одно расположение к вам заставило меня взяться за такое дело. Что вы нас совсем забыли?»

На другой день Онагр рассказывал всем своим приятелям, что он по особым поручениям при министре и что ему назначено шесть тысяч рублей жалованья. Офицер с золотыми эполетами, выслушав его, плюнул и сказал:

— Черт тебя возьми, братец! да ты, видно, в сорочке родился! Богач — и еще такое жалованье.

Онагр блаженствовал; он делался идолом петербургской молодежи средней руки, которая с него начинала снимать моды, и преувеличенные слухи о его богатстве

и счастии перелетали с быстротою невероятною из Коломны на Остров в Четырнадцатую линию, из Грязной к Смольному монастырю. О нем стали даже рассуждать на Петербургской стороне и на Выборгской...

К довершению всего он дал великолепный обед почетным своим знакомым, во главе которых находились: его новый директор, полковник и Дмитрий Васильич Бобынин. Этот обед, как и должно было ожидать, произвел на всех гостей глубочайшее впечатление.

Прошел месяц... Дочь полковника не переставала рисоваться в его фантазии, и в одно прекрасное апрельское утро, когда солнце показалось на светло-сером петербургском небосклоне для обсушки, вероятно, грязных петербургских улиц, — он ударил себя в лоб очень решительно, сел в коляску и отправился к полковнику.

Никогда еще так рано не выезжал Онагр из дома.

В кабинете полковника он пробыл около часа и вышел оттуда светлый и радостный.

Полковник три раза поцеловал Онагра и произнес с особенным выражением, провожая его:

— *Мое слово важнее.* Я старый кавалерист. У меня в доме заведена дисциплина, как в полку... Прощай, друг любезный, будь покоен; да накажи кучеру-то, чтоб берег Красавца и хорошенько чистил его. Васька твой большой лентяй! Ты, брат, с ним действуй по-нашему, по-военному...

Онагр прискакал домой и прямо к письменному столу; он написал:

«Любезнейшая маменька!

Я давно хотел уведомить вас о моих чувствах к дочери генерала Змеева, но откладывал, потому что сам желал в них удостовериться. Теперь я вижу, что люблю ее страстно и что без нее для меня жизнь ничтожна. Она также влюблена в меня и говорит, что с самой первой минуты, как увидела меня, участь ее была решена. Сейчас получил согласие на брак с нею от ее родителей. Через этот брак я породнюсь со многими самыми знатными лицами в Петербурге. Милая, любезнейшая маменька, целую ваши ручки, на коленях прошу вашего благословения и жду с нетерпением ответа... Вашу будущую дочку зовут Ольгой Михайловной; она брюнетка и красавица.

О месте, которое я получил, и об обеде, который был у меня, я уже писал вам. Свадьбу я не хочу откладывать: чем скорей, тем лучше. Не приедете ли вы, неоцененная маменька, сами в Петербург? Еще раз целую ваши ручки. Остаюсь

ваш покорнейший и послушнейший сын
Петр Разнатовский».

ГЛАВА VIII

Семейные сцены. — Доказательство, что добродетельные люди очень полезны. — Жених и невеста

Полковница вязала чулок; дочь ее занималась каким-то шитьем. Полковник вошел к ним. Он посмотрел на дочь с улыбкою, расправил усы носовым платком и два раза молча прошелся по комнате.

— А у меня новость, — сказал полковник, остановясь торжественно посредине комнаты и сложив руки на груди по-наполеоновски.

Мать и дочь взглянули на него. На лице матери выражалась робость и покорность, на лице дочери беспокойство.

— Важная новость! — продолжал полковник, — тебе, старухе, не отгадать; ну, а ты не отгадаешь ли, Оленька?

— Что такое, батюшка? — Она отложила свою работу в сторону.

— Отгадай.

— Вы знаете, что я до сих пор не умела отгадать ни одной вашей загадки.

— Гм! эту загадку тебе легче всего отгадать, дурочка. Вы, девушки, мастерицы разбирать такого рода загадки. Моя новость касается до тебя.

— До меня?

Она вздрогнула.

— И очень... Поздравляю тебя с женихом, а тебя (он оборотился к жене) с дочерью-невестой.

— Как это, Михайло Андреич? — спросила полковница, вытаращив глаза.

Краска вдруг исчезла с лица девушки.

— Батюшка, вы шутите?

— Какие шутки! тут не до шуток: жених твой только с полчаса от меня вышел.

— Мой жених?

Она рассмеялась.

— Что ты, притворяешься или в самом деле не веришь? Я дал за тебя слово (полковник сделал ударение на *слово*) Петру Александрычу. Будто ты и не заметила, что он давно тебе строит куры? Ох, уж вы мне, скромницы!

Девушка сомнительно посмотрела на отца и на мать.

— Что же вы обе смотрите на меня, как на сумасшедшего? Порастряхни-ка, голубушка, из сундуков дочернее приданое. В солнечные-то дни его и проветрить бы недурно... Ну, поди ко мне, Оленька, поцелуй меня... Ты одержала победу, и славную, черт возьми! А после победы мы затеем праздник — свадебку... Поди же ко мне.

Она молчала.

Лицо полковника хмурилось; он заложил руки назад и бил такт ногою.

— Подойди же к папеньке, — сказала полковница, качая головою, — поцелуй его... Я еще и сама образумиться не могу... Он сейчас приезжал к тебе, Михайло Андреич, с предложением?

— Сейчас, сейчас — говорят вам, сейчас, и я дал слово, слышите ли? Лучше этой партии желать ей нечего: он малый добрый, собой недурен, с большим состоянием, любит ее, — да это клад для нас; ты знаешь, Дарья Николаевна, какие у нас нынче доходы-то: пять, шесть, семь тысяч, да и обчелся; попробуй-ка прожить с этим в столице.

— Правда твоя, правда твоя... — Полковница вздохнула.

— Конечно, я желал бы ей мужа военного, кавалериста, но где теперь взять военных? Что такое нынешние военные? «Жомини да Жомини, а об водке ни полслова». — Полковник махнул с огорчением рукой.

— Поздравляю тебя, друг мой милый Оленька, — сказала полковница, подходя к дочери с распростертыми объятиями и со слезами на глазах.

Девушка отшатнулась от нее.

— Что это значит? — закричал полковник.

— Что это значит? — повторил он.

Полковница пришла в величайшее замешательство.

— Батюшка! — сказала девушка неровным голосом, — батюшка, вы напрасно давали за меня слово. Я не могу выйти за него замуж.

— Не можешь? Я *напрасно* давал слово?.. С кем вы говорите, сударыня?.. Вы забыли, что перед вами стоит отец. Знайте, что слово мое — слово старого кавалериста. Мы никогда не изменяем ему. Каприз девочки не заставит меня сделаться бесчестным человеком на старости лет.

Испуганная полковница делала какие-то знаки дочери, но она не замечала их и повторила твердо и решительно:

— Я не могу выйти за него замуж.

— А почему бы это так?

— Потому что я не люблю его и не могу любить.

— Вы еще сами, сударыня, не знаете, кого вам надо любить и кого не надо; об этом вы лучше бы спросили отца и мать: они поопытнее вас, подальновиднее и людей могут оценять повернее...

Полковник сердито повертывал кисти своей венгерки.

— Уж не пришел ли вам в голову опять этот щелкопер, который было повадился ходить к нам в Москве с книжками под мышкой?

Болезненное движение показалось на лице ее.

— Вы, кажется, забываете, что вы дочь заслуженного отца, дочь старого полковника, старого кавалериста, коренного русского дворянина, что вам неприлично и стыдно амуриться с семинаристами... что...

— Батюшка! — произнесла она умоляющим голосом.

Полковник большими шагами стал измерять комнату.

— Вот тетушкино воспитание! спасибо покойнице, спасибо! есть чем помянуть...

Он потирал руки.

— Модная, умная, ученая женщина была, внушала покорность родителям!.. Что, по вашему, по нынешнему образованию, родители ничего не значат?

Полковник остановился перед дочерью и ожидал ответа.

Она молчала.

— Завтра после обеда Петр Александрыч приедет сюда. Он станет говорить с тобой, ты должна ему объявить свое согласие. Слышишь ли? Всю дурь из головы выкинь, помолись богу да подумай, он вразумит тебя... Слез чтоб я не видал; женские слезы — вода...

Полковник повернулся на каблуках и вышел из комнаты, поправляя усы носовым платком и ворча сквозь зубы:

— У меня целый полк по струнке ходил, я с целым полком справлялся, передо мною полслова никто не смел пикнуть, а теперь родная дочь... покорно прошу!..

Долго после ухода полковника мать и дочь не могли выговорить ни слова...

Полковница сидела не шевелясь, поддерживая рукою свой подбородок; потом банты на чепце ее пришли в движение, и она обернулась к дочери.

— Так он тебе не нравится, Оленька?

Девушка не отвечала.

— Оленька?

Она подняла голову и тихо отвела от лица волосы.

— Не дурно ли тебе, друг мой Оленька? Ты совсем побледнела.

Глаза девушки с минуту были недвижимо устремлены на мать; вдруг она залилась слезами и бросилась на грудь ее.

— Ведь он добрый, хороший человек, — говорила мать, глотая слезы, — его все хвалят... Ты привыкнешь к нему.

Она покачала головой...

— А разве он вам нравится?

— Что ж, мой друг! в нем нет ничего дурного.

— Может быть, но мне так тяжело и неприятно, когда он и этот офицер с очками бывают у нас.

— Отчего же?

— Не знаю. Да как же он может любить меня?.. Он меня не знает...

— Как же не знает, Оленька? Последнее время он очень часто бывал у нас и все смотрел на тебя: это и я заметила... Полно! перестань плакать, мой друг.

Полковница поцеловала ее в лоб и пошла к полковнику.

«Нет, — думала она, — я не могу ее утешить, а ей надобно утешение; так нельзя оставить ее».

Робко подошла она к мужу.

Он сидел на больших креслах и задумчиво крутил усы.

— Что? образумилась ли она, Дарья Николавна?

— Плачет. Знаете ли, Михайло Андреич, я все думаю, не послать ли нам за Филиппом Иванычем: он че-

ловек добродетельный. Пусть он подаст ей советы и утешит ее.

— Это не мое дело, это ваше бабье дело: что хотите делайте, только завтрашний день она должна объявить жениху согласие. Я дал слово, — а я старый кавалерист... Ну, да что толковать об этом... Я думал, что обрадую ее моею новостью. Я не знал, что она такая взбалмошная, избалованная. Скажи ей, чтоб она помнила мое приказание!

Полковница написала к Филиппу Иванычу записку, в которой убедительно приглашала его приехать к ним.

Добродетельный человек тотчас после обеда явился.

— На вас вся моя надежда, Филипп Иваныч, — начала полковница, встречая его, — у нас в доме большое горе.

— Что такое? Помилуйте-с, если я могу чем помочь, то я сочту себя счастливым: это долг-с христианский.

Полковница объяснила ему все и умоляла его принять участие в их положении и уговорить дочь не противиться отцовской воле.

Филипп Иваныч провел рукою по лицу.

— Это обстоятельство важное-с. По вашему желанию-с, я постараюсь, как умею-с, объяснить ей положение ее и подать ей советы-с. Позвольте-с мне поблагодарить вас за вашу доверенность ко мне.

— К кому же, Филипп Иваныч, как не к вам, адресоваться в таком случае!

Рот добродетельного человека приятно расширился до ушей.

— А где же Ольга Михайловна-с?

— Пойдемте к ней. Я предупредила ее о вашем посещении.

Добродетельный человек подсел к девушке и целый час без остановки говорил ей о покорности, о смирении, о том, какая награда ожидает послушных детей в будущем мире и какое наказание готовится не повинующимся воле родительской, о том, что родители всегда желают детям своим счастия, что нам дана воля для того, чтоб мы обуздывали наши желания и беспрекословно повиновались во всем старшим.

Когда он ушел, бедная девушка упала на диван без памяти.

Полковник весь вечер не выходил из своего кабинета.

На другой день она пришла к отцу, объявила, что повинуется его воле, зашаталась и упала. Ее подняли, оттерли и посадили в кресла. Полковник пожал ей руку и сказал:

— Полно, полно дурачиться, Оленька. Ничего; все обойдется; ты его полюбишь, я знаю. Мы с женой останемся жить в Петербурге, будем к вам беспрестанно ездить... Поцелуй меня; я человек военный, старый кавалерист, привык к дисциплине, к порядку, оттого строг немножко... что делать? уж наша служба такая. Поезжайка с матерью в магазины, порассейся немножко да к вечеру будь повеселее.

Вечером приехал Онагр. Он был наряднее, чем когданибудь: в новом галстуке, в новой жилетке, с новой шляпой, весь пропитанный духами. Его оставили одного с невестой. Несколько запинаясь, объявил он ей о своих чувствах и ожидал ее решения.

Она отвечала, что не противится воле своего отца.

Он поцеловал ее ручку и хотел ей говорить еще что-то, но она встала со стула и вышла из комнаты.

Онагр поправил свои волосы, посмотрел в зеркало и, любуясь талией своей невесты, последовал за нею.

Госпожа Бобынина каким-то образом в этот же вечер подробно, впрочем, с небольшими прибавлениями и изменениями, узнала об удачном сватовстве своего бывшего обожателя и нарочно поехала сообщить это важное событие госпоже Горбачевой; госпожа Горбачева на следующее утро чем свет отправилась с новостию к вдове Калпинской; вдова Калпинская к госпоже Неврёзовой, госпожа Неврёзова... и так далее.

Офицер с серебряными эполетами прибежал к Онагру:

— Ты женишься, мон-шер?

— Женюсь.

— Что это тебе вздумалось?

— Да так, братец; признаться, надоела холостая жизнь.

— И прекрасно, мон-шер; а знаешь ли, этим ты мне обязан: я тебя представил в дом; без меня, может быть, ты и не женился бы. Поздравляю, мон-шер, поздравляю, очень рад; возьми меня в шаферы: я люблю, когда женятся... Я и сам хочу жениться.

ГЛАВА IX
Заключение

Онагр в ответ на свое послание к маменьке получил от нее письмо следующего содержания:

«Милый сердцу моему сын, неоцененное сокровище мое. Нет сил для выражения того, как сильно подействовали на меня последние милые строки твои ко мне, где ты говоришь о своих чувствах и просишь моего благословения на брак. Я заливалась слезами, читая твое письмо, и целовала его; выбор, сделанный тобою, приносит тебе честь; благословляю тебя от всего моего сердца и желаю тебе счастия, коего ты вполне достоин, как прекрасный сын, и я всю жизнь мою должна гордиться моим рождением. Милую невестку мою обнимаю заочно, прошу ее любви и целую ее, моего ангела. Скажи ей, что я уже несколько раз видела ее во сне, будто я сижу у вас в гостях, а она, моя родная, наливает кофе и подает мне чашку. Свекровь — имя страшное, но жена твоя, друг мой Петенька, говорю тебе заранее, будет для меня не невесткой, а родной дочерью, еще милее. Я, не зная ее, уж люблю не менее тебя, — что же будет, когда я ее узнаю?.. Прошу тебя, сердце мое, отрекомендовать меня их превосходительствам ее папеньке и маменьке и попроси их, чтоб они приняли меня в свое родственное расположение. Я все не очень здорова; к свадьбе не ждите меня; сыграйте свадьбу без меня; уведомь только, которого числа она будет, в этот день я стану молиться за вас, мои голубчики. Месяца через полтора я надеюсь лично обнять вас и тогда посмотрю на ваше счастие.

Управляющий, рекомендованный тебе Дмитрием Васильичем, еще не прибыл в твою деревню. Бога ради, не полагайся слишком на Дмитрия Васильича: он себе на уме и может воспользоваться твоею неопытностию. Не опрометчиво ли поступил ты, отдав свой капитал в его руки? а попусту убытчиться и нанимать управляющего также, по моему мнению, тебе не следовало: сосед мой, Семен Никифорыч Колпаков, с удовольствием бы взялся управлять твоим имением и без всякого возмездия: он известен у нас своим благородством и примерною

честностию; а этот еще каков будет. Подумай об этом, дружочек, нельзя ли это дело поправить? Вторично благословляю тебя, а милую мою Ольгу Михайловну обнимаю».

Около половины мая квартира Онагра, нанятая им за пять тысяч рублей в год, была окончательно омеблирована Туром; дача приискана; парадная карета с гербами готова. Незадолго до свадьбы к нему явился ростовщик Шнейд с различными предложениями; ростовщик в этот раз кланялся и изгибался перед Петром Александрычем, а Петр Александрыч очень холодно и гордо обращался с ним; однако визит ростовщика не обошелся Онагру даром, он купил у него двухтысячные канделябры.

Наступил и день свадьбы...

Часу в девятом вечера на паперти одной из старинных петербургских церквей толпился народ, и экипаж за экипажем подъезжал к церкви.

Жених, окруженный своими гостями, в мундире чиновника особых поручений, в шелковых чулках, в башмаках с блестящими пряжками и в белом накрахмаленном галстуке, ожидал невесты. Возле него величаво стоял посаженый отец, его директор, также в мундире, с лентой через плечо и со звездой, а позади директора Дмитрий Васильич Бобынин... Офицер с золотыми эполетами и офицер с серебряными эполетами, шаферы Онагра, бегали по церкви, наполненной любопытными, и высматривали хорошеньких.

Церковь была в полном освещении.

«Невеста! невеста!» — вдруг раздался шепот, и все пришло в движение, и все головы заколебались...

Дорога от дверей к алтарю очистилась... Появился белокурый мальчик, кудрявый и румяный, с образом... За ним она, а за нею разряженные девицы и дамы и добродетельный человек с огромным ртом, в мундире, в ленте и со звездою.

Ее поставили на атлас рядом с женихом и дали им в руки венчальные свечи.

Когда церемония кончилась, священник приказал поцеловаться молодым; затем они приложились к образам. Начались поздравления. Цветы и брильянты, румяна и белила двинулись к молодой: и Катерина Ивановна

Бобынина, и Елена Сергеевна Горбачева, и вдова Калпинская, и все, и все... Наконец молодую повели к карете.

Молодой улыбался и перешептывался с своими шаферами...

— Что это, как Ольга Михайловна бледна, мон-шер? — говорил офицер с серебряными эполетами при разъезде. — Здорова ли она?

— Слава богу, братец, — отвечал молодой, — она у меня скоро поправится. Ничего! и румянец на щечках заиграет...

Офицеры перемигнулись между собою и сказали почти в одно слово:

— Счастливец, мон-шер, счастливец! — и погрозили молодому, улыбаясь выразительно.

Гул карет замер в отдалении.

Толпа разбрелась в разные стороны.

У церковной ограды стояли только две женщины в салопах — одна молодая, другая пожилая.

— Знаете ли, Матрена Петровна, ведь свадьба-то была скучная? — сказала молодая.

— Уж не говори, Настенька. Признаюсь! нечего было и смотреть, — возразила пожилая. — Сказали, что невеста красавица, а она просто выглядит, как мертвец в гробу.

— Заметили вы, Матрена Петровна, что она, садясь в карету, оступилась?

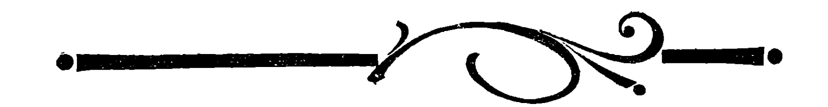
— Да, да! скажите, пожалуйста! ведь это предурная примета, Настенька? я видела, что и свеча-то ее гораздо короче жениховой.

— Прощайте, Матрена Петровна, заходите к нам.

— Прощай, Настя.

Они поцеловались...

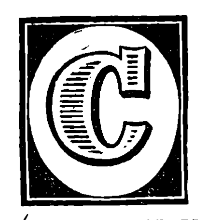
Начинал накрапывать мелкий весенний дождик; распустившиеся листочки на деревьях, окружавших ограду, разливали в теплом воздухе благоухание, и огненные полосы, тянувшиеся по небу от запада, потухали.



БАРЫНЯ

Ай, барыня, барыня,
Сударыня-барыня...

Лакейская песня.



лово «барыня» принадлежит исключительно только русскому языку. Это слово невозможно перевести ни на какой другой язык.

У нас два главные класса мелких барынь: барыни столичные и провинциальные. Как два величественные древа (говоря возвышенным слогом), роскошно разветвившиеся, красуются они в беспредельном царстве Русском. Столичные барыни разделяются на московских и петербургских. Москва — храм настоящего барства. Московские барыни отличаются хлебосольством, благотворительностию, чувством национальной гордости и безобразием экипажей. Они живут среди великолепных воспоминаний и благоговейно вдыхают в себя пыль прошедшего, окружив себя в настоящем моськами и воспитанницами — моськами, которых они кормят и ласкают; воспитанницами, которых кормят и попрекают кормом. Они доживают свой век, раскладывая гранпасьянс и рассказывая о своих благодеяниях. Петербург — источник барства мелкого, чиновного. В петербургских барынях оригинального мало. Они с утра до ночи бредят княгинями и графинями, которых встречают на гуляньях и на балах Дворянского собрания. Они помешаны на светскости, о которой не имеют ни малей-

шего понятия. Они задают балки и вечеринки, оканчивающиеся прескверными ужинами. Все они говорят пронзительно и имеют резкие манеры. У всех у них грязные передние, дочки — невесты, сыновья — чиновники или офицеры, кареты и коляски, запряженные еле движущимися четвернями; за каретами лакеи в заштопанных ливреях с фантастическими гербами и с засаленными аксельбантами, и по нескольку сот душ крестьян, заложенных в заемном банке или в Опекунском совете с надбавочными. Провинциальные барыни разделяются на деревенских, уездных и губернских. Об них надобно говорить или много, или ничего. Об них когда-нибудь после.

С той поры, когда дочки-барышни выходят замуж, — они получают название *молодых барынь,* а маменьки их — *старых барынь.*

Старые барыни — представительницы отживающего поколения барынь. Молодые барыни — представительницы нового поколения барынь. Между отцветшим и цветущим поколением разница не слишком резкая, однако шаг вперед сделан. Вместе с бельем и платьем в приданое дочек поступают обыкновенно лакеи и девки. Прислуга старых барынь начинает искоса смотреть на прислугу молодых барынь. Отсюда начало размолвок между этими двумя поколениями.

Вообще барыни начинают формироваться около тридцати лет. С минуты брака до тридцатилетнего возраста они в состоянии переходном: в этот промежуток времени привычки барышни борются с возникающими привычками барыни. К тридцати годам самостоятельное чувство барыни поборает некоторые сентиментальные наклонности и простодушные понятия барышни.

Все барыни в России относятся друг к другу в следующем порядке:

Московская барыня выступает впереди и кричит во все горло, что «Москва сердце России», что «в Москве Иван Великий и царь-пушка». Петербургская смотрит на нее насмешливо, говорит «Сэ дроль [1], способу нет, какая провинциалка!» — и порывается столкнуть ее с первого места. Обе они, как «столичные штучки», взирают с снисходительною гримасою на губернскую барыню. Губернская созерцает с умилением московскую и в особенности петер-

---

[1] это смешно (*франц.* c'est drôle).

бургскую, едва удостоивая своего покровительства уездную или мелкопоместную, которая с должным смирением кланяется ей в пояс, — и между тем искоса бросает спесивые взгляды на стоящую поодаль разряженную и разрумяненную купчиху с черными зубами, ворча с негодованием: «Извольте видеть, как разодета! будто барыня какая!»

Моя героиня — барыня петербургская. С ней я был коротко знаком и за достоверность ее истории могу поручиться.

Она родилась в 1783 году, за четыре года до получения отцом ее, при отставке, бригадирского чина, и наречена в св. крещении Палагеей. Известно, что бригадирский чин был у нас в те блаженные годы вершиною честолюбия, как теперь, например, генеральский чин, но не в том дело, обратимся к моей героине.

Бригадир прохаживается по комнате в пудремантеле и в гусарских сапожках без кисточек. Он поправляет кошелек косы своей и улыбаясь смотрит на дочь, которая кричит и бегает вокруг него.

— Догоню, догоню, Палаша!

Бригадир топает ногами, отчего пудра сыплется на его лицо; потом он берет Палашу на руки, целует ее и сажает к себе на колени.

— Ну, а известно ли тебе, Палаша, — спрашивает он у четырехлетней дочери, — известно ли тебе, сколько у тебя душ крестьян? что?.. не знаешь, дурочка? Триста чистоганом, незаложенных!.. Смешно? Гм! Смейся! Это называется невеста, это не то, чтобы... Бригадирская дочь, и триста душ! Куш значительный, канальство! У матери твоей, я тебе скажу, и половины этого не имелось, когда она вышла за меня замуж.

— Однако покойница маменька (вечная ей память) всегда жила *барыней,* — возражает бригадирша, — уж про это нельзя сказать. Бывало, кто к ней ни приедет, сейчас говорит: вы, Елена Ивановна, настоящая барыня. И, правду сказать, она любила показать себя: у нее одной дворни было тридцать человек, — и я, благодарю моего бога, не знаю, стоила или не стоила, но счастлива была на женихов. Все девицы завидовали мне: и коллежских, и надворных, и премьер-майоров много сваталось за меня.

— Знаю, знаю, — перебивает бригадир с самодовольствием, — ну, а ты предпочла меня всем им, хоть я был

тогда еще и не бог знает какая штука? Девицы дуры, Матрена Ивановна; им лишь бы смазливое личико, а там до этого до всего (бригадир водит рукою по груди) и до чинов им дела нет. Впрочем, тебе и на этот счет, полагаю, нечего теперь раскаиваться.

Бригадир самодовольно улыбается и, смотрясь в зеркало, одною рукою держит Палашу, а другою очищает со лба пудру тупым серебряным ножичком.

— Что грех на душу брать, Петр Максимыч, лгать не для чего: ты чина теперь немалого, живем мы душа в душу. Чего же больше! Одно горе — деток много померло; зато вот господь послал нам утешение — нашу Палашеньку. — Бригадирша вздыхает. — Дал бы бог только на своих глазах пристроить ее за хорошего, солидного человека.

— Пристроится, пристроится, не заботься! С хорошим приданым в девках не засидится... Что, Палаша, правду я говорю?

— Да-с.

— К тому же она у нас родилась в сорочке... Что ни говори, Матреша, — она не по годам умна. Ведь теперь уж смекает, что бригадирская дочка и наследница села Брылина, — покорно прошу!.. Палаша, посмотри-ка, кто идет.

— Бабушка.

— Да, баловница твоя. Небось весело?

Дверь отворяется медленно и торжественно. Входит старушка, опираясь на высокую камышовую трость. Старушка в атласном капоте брусничного цвета с талиею под мышками, в башмаках с высокими каблуками и с зонтиком на глазах. Старушка останавливается среди комнаты, кладет руки на золотой набалдашник своей трости и ворчит, качая головой:

— Не умеете обращаться с ребенком... Спусти ее с колен, Петруша.

Бригадир повинуется.

— Как можно так близко держать дитя к лицу? пудра, сохрани бог, засорит ей глазки... Ох-ох! сами-то вы еще дети... Палашенька, поди ко мне. Хочешь гостинцу, милочка?

И старушка вынимает из бесконечного кармана, устроенного в ее капоте, изюм и сахарные булки.

Бабушка сама воспитывает Палашу. Она кормит ее с утра до вечера и беспрестанно повторяет:

— Ну что, голубчик мой, сыта ли ты? не хочешь ли

еще чего-нибудь, дружочек? Мать небось об тебе не позаботится. С голоду готовы уморить ребенка!

Когда дитя рвет листы в Адрес-календаре папенькином и когда няня отнимает у нее книгу, бабушка вскрикивает на няню с гневом:

— Что ты, дура! не отнимай у нее книжку, пусть ее, голубчик мой, забавляется; ребенок дороже книжки!..

Палаше семь лет. Бабушка в день рожденья внучки дарит ей куклу, а Петр Максимыч берет ее за щеку и говорит:

— А я тебе скоро сделаю подарочек... так, подарочек... угадай какой? Что не угадала? азбуку с картинками, дурочка. Хочешь учиться?

— Что это ты, Петенька, с ума сошел: ребенка за щеку берет! у нее кожа детская, нежная, как раз сыпь сделается. Что это за ласки, — помилуй, скажи?

— Ведь я, маменька, чуть дотронулся до нее, — замечает бригадир... Он обращается к Палаше: — Хочешь учиться, Палаша?

— Что это ты, сударь, такое говоришь? я не расслышу. — Бабушка прикладывает руку к уху.

— Я говорю, маменька, что ей пора и за азбуку сесть.

— За азбуку? это что еще ты выдумал? Слыхано ли дело, этакого ребенка за книгу сажать! Успеет и наукам вашим выучиться; время еще не ушло.

— Ей семь лет, маменька. Она побаловалась уж довольно.

— Семь? Присчитывай, батюшка! Всего шесть. Что такое, в самом деле? Она, слава богу, не мещанка, — дворянской фамилии; она и теперь смотрит как княжеское дитя; приданое будет, мать хозяйству научит. Чего же еще? Не с неба звезды ей хватать! Не в мадамы вы ее прочите! Я, можно сказать, всеми была уважаема и любима, а век свой прожила без книг ваших.

Впрочем, через полгода Палашу сажают за азбуку, а на стол перед ней кладут прут.

— Будешь хорошо учиться, — говорит ей Матрена Ивановна, — гостинцу дам, а если нет — розгу. Ну, начнем, благословясь.

Учебные занятия Палаши, к величайшему ее удовольствию, всякий раз прерываются бабушкой.

— Не довольно ли ребенку-то учиться? — говорит она своей невестке, — вы ее совсем замучаете.

— Я ее только сию минуту посадила за книги, маменька.

— Эх, у вас больно что-то долги минуты! — Бабушка поводит носом по комнате. — И здесь сыростью, кажется, пахнет. Она этак, того гляди, занемочь может. Пусть ее, моя душечка, побегает по солнышку...

Проходит два года. В доме смолкает стук каблуков бабушкиных. Старушка лежит на возвышении, покрытая парчовым покровом; голос осипшего дьячка раздается в головах ее. «Бабушка умерла», — говорят Палаше. Палаша думает, что ее некому будет так часто кормить сластями, и горько плачет; но любопытство скоро пересиливает ее горесть. Она смотрит: около катафалка посыпают ельник, съезжаются гости, суетятся лакеи и девки. Маменька Палаши взвизгивает и падает на ступеньки катафалка; барыни стонут и бросаются к ней; папенька всхлипывает. Все подходят к бабушке и целуют ее; няня поднимает Палашу и также подносит ее к бабушке. Палаша опять плачет, няня твердит ей: «Нишкни, голубушка; нишкни, мое сердце», — и сама заливается. Стон, визг и крик. Гробовщик прилаживает крышку гроба.

Бабушку увезли, ельник из столовой вымели, катафалк убрали; на месте катафалка — стол для гостей; на нем конфекты и ягоды. Маменька и папенька и гости возвращаются. Маменька уж не стонет: она бегает на кухню отведывать кушанья; папенька уж не всхлипывает: он пробует вина. Все садятся за стол, все кушают с аппетитом, пьют с чувством. Блюдам конца нет.

Две недели после этого Палаша наслаждается полной свободой. Маменька не учит ее, «оттого что, — говорит она, — надо оправиться мне от тяжкой потери; тошнехонько! ничто на ум нейдет; словно, как на сердце камень». Няня, после похоронного стола, всякий день опохмеляется, по ее словам — «с горя». Пользуясь такими обстоятельствами, дитя с утра до вечера бегает на дворе с замасленными и оборванными крепостными девчонками.

Через две недели, в одно утро Палаша в комнате у маменьки. Вдруг является человек высочайшего роста, облеченный в длиннейший сюртук. Этого странного человека называют семинаристом.

Матрена Ивановна говорит семинаристу:

— У меня до тебя покорнейшая просьба, мой милый,

касательно моей дочери: она уж, видишь, девчоночка-то на поре, — время бы за нее, этак, серьезно приняться...

Здесь, может быть, кстати заметить, что воспитание барышни пятьдесят лет назад тому было несравненно проще, чем теперь. Основы тогдашнего воспитания барышни были: русская грамота и домашнее хозяйство. Основы воспитания барышни нашего времени: французский язык, фортепьяно и танцы. Высшая похвала для тогдашней барышни заключалась в следующих словах: «Да какая она, сударь, я вам скажу, хозяйка!» Высшая похвала для барышни нашего времени заключается в следующей фразе: «Как славно она говорит, мон-шер[1], по-французски и как хорошо держится, чудо что за турнюра, — отлично воспитана!..»

— Читает-то она прытко, — продолжает Матрена Ивановна, — да ты сам знаешь, что ей уж и за письмо надо приняться, ну а у меня почерк-то бабий, да и учена-то я без затей, на медные деньги.

Семинарист — учитель Палаши. Он ходит два раза в неделю: один раз он учит Палашу чистописанию, а другой — грамматике и священной истории.

Успехи Палаши превосходят ожидания родителей.

Петр Максимыч в восторге.

— Ай да пузырь мой! — говорит он, гладя дочь по голове... — Признаюсь, Матреша, этого я никак не мог ожидать от нее; никак!.. А каков наш семинарист! Молодец, право, нечего сказать!

— Знаешь ли, Петр Максимыч, сестрица Арина Куприяновна берется учить ее по-французскому и на фортепьяне и арифметике.

— Хорошо. Почему ж... пусть учится. Мы с тобой, правду сказать, Матреша, обошлись и без французского диалекта, но коли у девочки есть охота к ученью, — я не прочь.

Три часа в день назначаются Палаше на уроки; остальное время она или с куклами, или с приставленными к ней для забавы девчонками, или играет с маменькой в *дурачки* и в *свои козыри*. Палаша любит слушать, когда маменька рассуждает с гостями о людских недостатках вообще и о недостатках своих приятельниц в особенности. Палаша переимчива: маменька ссорится с своими знакомыми и родственницами, — она ссорится с своими кукла-

[1] мой дорогой (*франц.* mon cher).

ми; маменька бранит своих лакеев и девок, — она бранит своих девчонок. А время идет, а воспитание Палаши близится к концу. Палаша уже стыдится играть в куклы. Ее стан вытягивается, ее формы круглеют, ее понятия расширяются. Она уже пишет четко, хоть не совсем правильно, делает два первые правила арифметики, кое-как разбирает французские книги; под руководством тетеньки Арины Куприяновны танцует экосез и матрадур и поет с аккомпанементом:

Стонет сизый голубочек...
и проч.

или

Не свети ты, месяц, ясно,
И не мучь мой дух тоской,
Вспоминая мне всечасно,
Что любезной нет со мной...

Но всего лучше ей нравится песенка:

Всего богатства мира
На что, на что вы мне, —
Когда со мной Темира
И с нею мы одне?

Она чаще всего поет ее — и грудь ее при этих словах колышется, и порой волнение овладевает ею при томных звуках нежной песенки.

Палаше восемнадцать лет!

Палаша читает «Яшеньку и Жеоржету, или Приключение двух младенцев, обитающих на горе», «Таинства Удольфские» и «Эстеллу, пастушеский роман». Все эти книги найдены ею случайно в кладовой за ларем с мукою. Она, впрочем, не находит удовольствия ни в чувствительности Флориана и Дюкре-Дюмениля, ни в ужасах Радклиф. Ей приятней сидеть под окном и смотреть на статных офицеров, которые, посвистывая, проходят или проезжают мимо ее по улице. Шесть лет просиживает Палаша у окна. Сколько обманутых ожиданий! сколько тревог напрасных! сколько даром потраченного олова и воску на святках!

Однажды после обеда Матрена Ивановна вяжет чулок, беспрестанно спуская петли, а Палаша приносит ей *Новейшую и полную поваренную книгу, собранную из весьма достоверных и бесчисленными опытами исследованных домашних записок, в пользу и употребление особам, любящим экономию, с присовокуплением*, и проч.

— На чем бишь мы остановились вчера, Палаша?

— На говяжьем нёбе с обливкою, маменька.

Матрена Ивановна откладывает чулок в сторону.

— Видишь ли, Палашенька, — говорит она, — каких кушаньев, подумаешь, не бывает на свете; а хозяйке все знать надлежит, как и что, и также препорцию во всем. Такие книжки полезны и не совращают сердца, как другие. Конечно, ты будешь жить *барыней,* но и *барыне* надо иметь на все свой глаз, а на холопье племя плохая надежда.

Наставления доброй матери прерываются приходом господина небольшого росту, курносого и лысого, с накрахмаленными треугольниками, закрывающими по полущеке, и с Владимиром 4-й степени величины сверхъестественной. Этот господин принадлежит к числу тех нравственных и благоразумных людей, у которых глаза всегда закрыты, а рот всегда открыт.

Палаша приподымается, краснеет и роняет книгу.

Господин приходит в замешательство, извиняется и поднимает книгу.

— Едва ли я не помешал, — говорит он, — своим приходом вашим занятиям, Матрена Ивановна. Не вовремя гость хуже татарина.

Господин скромно и почтительно улыбается, потупляя глаза.

— И-и-и, Василий Карпыч! что это, отец мой, ты выдумал! — восклицает Матрена Ивановна, — таким, как вы, гостям, сударь, мы всегда рады. Я умею ценить дружественное расположение, Василий Карпыч.

Матрена Ивановна вздыхает.

— Теперь не то, что бывало! В нынешнем свете, что другое разве, прости господи, а хорошего человека и днем с огнем не отыщешь.

Василий Карпыч также вздыхает и потом обращается к Палаше.

— Чтением изволили заниматься, Палагея Петровна?

Палаша кусает ногти.

— Да-с.

— Роман или какое другое сочинение?

— Батюшка Василий Карпыч, что это ты? Сохрани бог! она у меня романов не читает. Чему доброму в романах научишься? Там ведь только куры да амуры. Приличное ли это занятие для благородной девицы?

— Вы всегда, — замечает Василий Карпыч, — прекрасно и здраво рассуждаете, Матрена Ивановна; истин-

но приятно вас слушать. Рассуждай так все, тогда было бы совсем иначе.

— Что за романы! — продолжает Матрена Ивановна, — я вам скажу про себя, Василий Карпыч, как я была вот в ее годы, я и возьми раз книжку с братцева стола. Братец, Андрей Иваныч, все, бывало, читает книжки. Вы помните его? Ведь балагур был покойник? Ах, я на своем веку перенесла-таки потерь, батюшка!.. Вот, знаете, я и возьми книжку, а книжка-то с картинками. Что ж бы вы думали? глядь-поглядь назад, а покойница матушка, дай ей бог царство небесное! стоит за мною... Боже ты мой! как она притопнет, сударь, ногой; как выхватит у меня книжку да в печку, — я так и обомлела, — спасибо, тогда с детьми обращались попросту, не по-нынешнему, и бивали нас, сударь, — ну да зато, слава богу, людьми вышли.

— Так это, верно, нравоучительная книга у вас, Палагея Петровна? — спрашивает Василий Карпыч.

— Нет-с...

— Приучаю ее к хозяйству, Василий Карпыч, — перехватывает Матрена Ивановна, — она ведь уж у меня невеста... Это книжка поварская и кондитерская, — прекрасная книжка! Отец сделал ей презент в рожденье. Она по ней и варенье сама варит, и крем из ягод делает, и сухарики к чаю... Как бишь они называются, Палаша?

— Бискотины, маменька-с.

— И еще есть какое-то другое название?

— Сухарики с филейными узлами.

— Да, вот изволите видеть, еще с филейными узлами. Вишь, какие хитрости! А как они приготовляются?

Палаша краснеет.

— Ну, скажи же, дурочка, не красней. Василий Карпович свой человек.

Палаша говорит, точно читая по книге, только несколько запинаясь:

— Берется четвертая часть осьмухи муки, в середке делается яма... в нее положить надо две ложки мармелады...

— Две-с? — перебивает Василий Карпыч.

— Да-с, и сахару... кусок величиною в яйцо, все это вместе месится с тремя яичными белками, потом... тесто раскатать и резать надо филейными узелками... потом положить его на медный лист и печь в вольной печи... покуда зарумянятся-с.

— Вот, сударь, как! Мы сегодня вас, Василий Карпыч, за чаем попотчуем нашим изделием.

Самовар шипит на столе; Палаша разливает чай; Василий Карпыч обмакивает в чашку сухарик с филейными узлами и нежно смотрит на Палашу и говорит ей:

— Бесподобные сухари! так сами, можно сказать, во рту и тают. Приятно иметь у себя в доме такую хозяйку.

И, хорошенько сообразив свои обстоятельства и пообдумав о неудобствах холостой жизни, Василий Карпыч через год решается просить у Петра Максимыча и у Матрены Ивановны руки Палагеи Петровны. «Она уже девица солидная, — думает Василий Карпыч, — не слишком молода и не стара, к тому же из нравственного семейства. Все это, кажется, необходимо должно упрочить семейное счастие». Петр Максимыч после долгого совещания с Матреной Ивановной дает Василию Карпычу слово за себя и за дочь, и потом поздравляет Палашу с женихом.

— Уж я предчувствовала, — говорит Матрена Ивановна, — что господь пристроит ее в этот год. Да и помнишь, Петр Максимыч, я приносила тебе показывать, как ей олово-то вылилось. Точно теперь вижу: две фигуры, мужская и женская: мужская вот точно Василий Карпыч, и подает женской фигуре руку.

— Мужская фигура, маменька, была с усами, — отвечала Палаша.

— С усами! экой вздор! чего не выдумаешь!

Палаша — идеал русской невинности. Она не имеет еще никакого определенного понятия о муже и о его главных обязанностях, но ей по какому-то неопределенному чувству хочется иметь мужа помоложе и в офицерском мундире. Она, сидя у окна, особенно подметила одного офицера, который впоследствии протанцевал с нею экосез в дворянском танцевальном собрании. Этот офицер — герой своего времени. Он превысокого росту, с курчавыми волосами и длинными усами, пристяжная его завивается в кольцо, он щекотит ее кнутом и сам управляет ею с ловкостию изумительною. Никто ловче его не мечет штос; никто искуснее его не пускает изо рта кольцо дыму; никто не барышничает выгоднее его лошадьми.

Палаша знает, что муж с женой целуются (она видит, как папенька целует маменьку), и ей лучше хочется целовать усатого и удалого офицера, чем лысого и скромного чиновника. Впрочем, она не слишком удивлена и огорчена

выбором папеньки и маменьки. Она даже радуется, когда узнает, что ей станут шить приданое, что она будет жить сама по себе *барыней*, что жених ее столбовой дворянин и владеет 291-й душой.

Накануне свадьбы Матрена Ивановна долго о чем-то важном шепотом рассуждает с дочерью, но, к сожалению, подслушать материнских наставлений нет возможности...

Свадьба парадная. Невеста плачет больше по обычаю, чем по чувству. Матрена Ивановна заливается... Гостей не сосчитать. Жених в мундире и с улыбкой. Он сидит с молодой за столом, уставленным конфектами, свечами и фруктами. Оба они не шевелятся. Музыка гремит... Шампанское льется в уста, поздравления истекают из уст; маменька с папенькой в задних комнатах меряют венчальные свечи; раскрываются карточные столы; посаженый отец Палаши — генерал со звездой, смотрит с чувством на зеленое сукно и говорит: «Обновим, сударь, столики-то, обновим». Начинаются танцы; часа три за полночь...

На следующее утро Палаша превращается в Палагею Петровну. Она сидит задумавшись в чепце. Василий Карпыч подходит к ней в новом шелковом халате и в новых торжковских туфлях, шитых золотом. Он смотрит на жену с нежностию и целует ей ручку. Его лысина поутру светится ярче обыкновенного, потому что он не успел еще зачесать волос с затылка. Палагея Петровна смотрит на него робко и краснеет.

— Итак, я могу уже назвать себя вполне счастливым, Палаш... Палагея Петровна? — говорит Василий Карпыч.

Палагея Петровна смотрит на него исподлобья и молчит.

Василий Карпыч улыбается.

— Поцелуйте меня, Палагея Петровна.

Он протягивает к ней руки и губы.

— Полноте-с. (Палагея Петровна, краснея, вырывается от него и убегает.)

«Сначала оно, конечно, — думает Василий Карпыч, — немного дико; ну, а потом, натурально, привыкнет».

Палагея Петровна всякий день примеривает наряды, выезжает с визитами, смотрит в театре «Днепровскую русалку». Все для нее ново и заманчиво. Она почти прыгает от радости.

Василий Карпыч смотрит на нее и говорит про себя:

— Настоящая козочка!

Медовый месяц проходит незаметно; а за ним и другой и третий. Палагея Петровна начинает привыкать к своему новому состоянию. Она зовет Василия Карпыча — Васенькой; она тихо подкрадывается к нему, когда он занимается делами, целует его в лысину и говорит:

— Мы поедем сегодня в театр, дружочек?

У Василия Карпыча выпадает перо из рук; он сдергивает очки с носу; он сажает Палагею Петровну на колени и шепчет в волнении:

— Изволь; поедем, милочка... Поедем.

В другой раз она печальна; глаза ее заплаканы. Василий Карпыч ходит около нее в беспокойстве:

— Что это с тобой, мое сердце, скажи, пожалуйста?

— Ничего.

— Как ничего? да ты на себя непохожа, а?

— С чего это вы взяли? Кажется, все такая же.

— Что же ты, милочка, сердишься? Не болит ли у тебя что-нибудь? Скажи, не скрывайся... Поедем ли мы вечером к Ульяне Михайловне, как ты думаешь?

— Нет, я не могу ехать; вы — как хотите.

— Отчего же ты не можешь?

— Потому что у меня мигрень. К тому же я не хочу быть одета хуже какой-нибудь Степаниды Ивановны.

— Как хуже? С чего же ты это взяла, милочка?

— А с того, что у меня нет таких вещей, как у нее. Прошедший раз так все и ахали от ее желтой шали, а я сидела, с позволения сказать, как оплеванная.

— Ну, милочка, отчего же... Если тебе так хочется желтой шали, я не прочь. Не хмурься, мой ангел...

При последних словах лицо Палагеи Петровны начинает светлеть. Она восклицает: — В самом деле, папаша? — и бросается к мужу на шею...

Благосклонная и рассудительная читательница, верно, не потребует от меня, чтобы я следил за каждой минутой, за каждым днем моей героини. Пусть воображение ее дополняет пропуски, расцвечает бледные места и из этих очерков созидает картину!

Через год после женитьбы, а может быть, несколько и пораньше Василий Карпыч начинает убеждаться в истине, конечно, допотопной, но в которой все мы, читатель мой, убеждаемся слишком поздно, — в великой истине, что розы не бывают без шипов. Палагея Петровна иногда по целым дням не говорит с ним, а если и говорит, то очень

колко; ее требования увеличиваются с каждою неделею и начинают превышать средства Василия Карпыча; у нее открываются истерические припадки — страшная болезнь для небогатых и чувствительных мужей.

Между тем тот самый удалый и усатый офицер, которого Палагея Петровна подметила еще в девицах, знакомится с Васильем Карпычем. Он ездит к нему в дом чаще и чаще.

Усы у него как смоль черные и завитые в кольца; взгляд пронзительный, ястребиный; рот точно кухонная труба — вечно дымящийся. Он крутит ус, поводит глазами и рассказывает о своей силе и геройстве.

У Палагеи Петровны альбом. В этом альбоме стишки и картинки. Вот крест, сердце и якорь; вот цветок и бабочка; вот храм Амура в леску, а под ним надпись:

Крылатому божку все в свете покоренно.
Он был наш царь, иль есть, иль будет непременно.

Палагея Петровна подает альбом офицеру. Она просит его написать ей что-нибудь на память. Офицер улыбается и говорит:

— Наше дело, сударыня, рубиться или стрелять. Вот если бы вы приказали, например, выстрелить мне из пистолета в сердце туза шагах хоть на пятидесяти этак, ну тогда я отвечу за себя, а стишки писать я, признаться, не мастер. Впрочем, для вас (он берет альбом), так и быть, смастерю два, три стишка не хуже других.

Он пишет в альбоме:

Время жизни скоротечно
Должно в радости прожить,
Что же делать ну конечно
Все смеяться и любить.

И скоротечное время, точно, льется радостно для Палагеи Петровны. Она выезжает в гости ежедневно; если же иногда остается дома, то посылает за своей знакомой — бедной девицей лет сорока, которая мастерица гадать в карты.

— Александра Андреевна, душенька, погадайте мне! — говорит Палагея Петровна пришедшей девице.

— Извольте, сударыня, с удовольствием, — отвечает девица. — На вас прикажете загадать?

— Да, на меня.

— Вы ведь червонная дама?

— Червонная.

Девица раскладывает карты и качает головой в задумчивости.

— Скажите пожалуйста, — говорит девица, — какое вам, можно сказать, особенное счастье... Большой интерес: верно из деревни... при очень приятном письме... правда, будут маленькие неприятности... вот от этой от пиковой дамы, — впрочем, это ничего... сейчас пройдут... на днях вы услышите самую радостную весть и опять интерес... об вас все думает какой-то трефовый король...

Палагея Петровна улыбается.

— Какой же это такой? я никакого трефового короля, кажется, не знаю.

— Так выходит по картам... изволите видеть: все мысли его устремлены на вас... ему какое-то препятствие, однако он не боится его...

— А что значит эта пиковая десятка? — огорчение?

— Напротив, будто вы не изволите знать, что означает эта карта.

Девица потупляет глаза.

— Вот исполнение всех ваших желаний... а трефовый-то король, извольте посмотреть: просто-таки не отходит от вас.

Палагея Петровна смеется.

— Спасибо вам, душенька. Не погадаете ли вы мне уж и на кофее?..

Приносят кофейную гущу...

Два года как Палагея Петровна замужем, а власть ее над мужем неограниченна. Она полная хозяйка в доме... Наконец она беременна!

Услышаны молитвы доброго Василья Карпыча. Еще он никогда не был так весел — даже при награждении орденом, даже при получении чина...

— Что-то бог даст! — спрашивает самого себя Василий Карпыч, — сынишка или дочушку? а в самом деле, что лучше: сынок или дочка?

Он задумывается и потом обращается к жене:

— Душенька, ты чего хочешь, — сына или дочку?

Палагея Петровна краснеет.

— Полноте, что это...

— Нет, не шутя, скажи, мой друг.

— Я хочу дочь.

— Гм! а я так сынка.

— Мальчики все шалуны, — говорит Палагея Петровна, — с мальчиками и справляться трудно, на них и надежда плохая; их, как ни ласкай — они всё за двери смотрят; дочь же всегда при матери.

— Это вздор, мое сердце. Бог с ними, с этими лоскутницами. Сын издержек таких не требует.

— Лоскутницы? какое милое слово вы сочинили! Где это вы слышали этакое слово?.. У вас все на уме издержки: это на мой счет. Кажется, я не много издерживаю, не разоряю вас...

Палагея Петровна вскакивает со стула и выходит из комнаты, хлопая дверью. Она удаляется к себе и плачет. Матрена Ивановна — мать Палагеи Петровны, застает ее в слезах и поднимает ужасный шум в доме.

— Слыхано ли дело, — кричит она, — бранить беременную женщину. Экой изверг!

— Маменька... маменька... — начинает смущенный Василий Карпыч.

— И слушать, сударь, ничего не хочу! — восклицает Матрена Ивановна, затыкая уши. — Она у меня привыкла к деликатному обращению, воспитана была по-барски...

Однако, несмотря на желание иметь дочь, Палагея Петровна разрешается сыном. Она не в духе, она принимала бы и поздравления равнодушно, если бы барыни, поздравляющие ее, не клали бы к ней под подушку червонцев, завернутых из деликатности в бумажку, на *зубок* новорожденному. Василий Карпыч в торжестве. Он, потирая руки, думает: «Приятно быть отцом, ей-богу приятно. И так именно, как я хотел: мальчик! люблю мальчиков, девочки совсем другое...»

На крестинах множество гостей. Восприемники: генерал и генеральша; младенца нарекают Петром, в честь дедушки. Повивальная бабушка в парадном чепце обходит гостей с бокалами и с поклонами. Гости отпивают по четверти бокала и, судорожно пожимаясь, кладут на поднос красненькие, синенькие и целковые, после чего отправляются к зеленым столам в надежде возвратить в карман свои невольные пожертвования.

Ровно через год повторяется тот же самый праздник в доме Василья Карпыча и с теми же китайскими церемониями. Палагее Петровне бог дает дочку. Дочку, на общем родственном совещании, хотят наречь Матреной — в

честь бабушки; но Палагея Петровна видела во сне, как рассказывает она, «какого-то старичка; старичок всякий раз грозил ей пальцем и говорил: нареки новорожденную дочь свою Любовью, слышишь? — и потом исчезал».

Петруша — фаворит папеньки, Любочка — фаворитка маменьки. Отсюда начало новых неудовольствий у папеньки с маменькой.

В самый год рождения Любочки француз врывается в пределы России. Он в Москве... Петербургские барыни в ужасе. Василий Карпыч читает Палагее Петровне журнал:

«Кровожадный, ненасытимый опустошитель, разоривший Европу от одного конца до другого, не перестает ослеплять всех своим кощунством и лжами, стараясь соделать малодушных и подлых сообщников своих еще малодушнее и подлее, если то возможно. Внемли, коварный притеснитель, внемли и трепещи! не одно потомство станет судить козни и злодейства твои — современники судят их...»

Палагея Петровна содрогается от этих громовых строк. Офицер с черными усами и с ястребиным взглядом, оставшийся сначала в Петербурге с запасным эскадроном, посылается в действующую армию. Он гремит саблей, крутит ус и говорит:

— Вот я их, щелкопёрых французов, погоди! И до *самого-то голубчика* доберусь.

Но судьба, видно, спасая до времени Наполеона, определяет офицеру остаться в Петербурге. Ему кто-то наступает на ногу где-то в тесноте и не извиняется. Он вызывает грубияна на дуэль и дает промах, а противник оставляет его на месте.

Надежды его на уменьшение домашних расходов не сбываются, а года — и еще какие года! — идут своим чередом, а между тем чело доброго Василия Карпыча — «как череп голый». Палагея Петровна, несмотря на прибавившиеся издержки от умножения семейства, кричит: «Я хочу, чтобы у *меня* (она перестает говорить у *нас*) в доме все было на *барской ноге!»* — и наряжается еще пуще прежнего, хотя ей гораздо за тридцать лет.

После Палагеи Петровны главные распорядители в доме: новый дворецкий Илья и горничная Даша. Илья надзирает за порядком и ничего не делает. Его зовут Ильей Назарычем. У него своя комната, енотовая шуба,

пестрые атласные жилеты и бисерный шнурок на часах. Даша лет тридцати двух; она солит грибы, варит варенья, приготовляет наливки и водки; ходит за барыней и с *барского плеча* получает капоты и платья; бранится с остальными девками, которые бегают в затрапезных платьях без чулков и называют Дашу — Дарьей Ивановной. После дворецкого Ильи она вообще пользуется беспредельною доверенностию барыни. По вечерам, раздевая барыню, Даша передает ей все узнанное ею в продолжение дня дома и у соседей, а по утрам, одевая ее, досказывает то, чего не успела передать вечером. Даше дозволяется грубить барину, пить по воскресеньям наливку, принимать к себе гостей и проч. Дашу все ненавидят в доме, исключая барыни. Дашу все боятся, не исключая и барыни.

Маменька и папенька Палагеи Петровны умирают. Палагея Петровна перестает танцевать. Характер ее установился: она играет в карты, нюхает табак, ничего не начинает в понедельник; не садится за стол, где тринадцать приборов; не входит в ту комнату, где три свечи; в отчаянии, если кто при ней просыплет соль за обедом, и проч. Она очень уважает одну барыню, генеральшу, которая слывет в своем кругу необыкновенно добродетельной женщиной. У генеральши дни по вторникам,— и Палагея Петровна не пропускает ни одного вторника. Генеральша любит экономию, карты и нюхательный табак. Она, кроме дохода с двух каменных домов, получает доход с своих вторников от карт. Она, по обыкновению, сама потчует гостей картами: в одной руке у нее игра нераспечатанная, а в другой несколько потертая, хотя все гости уверены, что эта игра сейчас только распечатана ею. Таким образом у нее остается в запасе от каждого стола по одной игре. Она знает именины и рожденье всех гостей, играющих у нее по вторникам в карты, и принимает родственное участие в посторонних домашних обстоятельствах. Палагея Петровна называет генеральшу своим истинным другом и во всем пользуется ее советами, хотя исподтишка посмеивается над ее скупостью. Петербургские барыни начинают кричать про Палагею Петровну: «Ах, какая милая! ах, какая приятная! ах, какая любезная! ах, какая добрая! ах, ах!» — и проч. Василий Карпыч закладывает в ломбард свои 290 душ. Он жалуется на неумеренные расходы и замечает, что «ему скоро придется делать деньги». Палагея Петровна сердится и возражает по-прежнему:

«Я барыня; я хочу жить по-барски; из одной амбиции не захочу быть хуже других» и проч.

— Но, милый друг, — говорит Василий Карпыч жене, — я не пикнул бы о расходах, если бы имение наше не было разорено. Тебе известно, что твои смоленские мужики после бестии-француза до сих пор справиться не могут.

— До сих пор! Не понимаю. Просто надо старосту сменить. Флегошка ужасный мошенник; об этом и маменька-покойница всегда говорила. Увеличить оброк, так и доходы прибавятся. Вы просто беспечны. Нечего баловать мужиков-то: что на них смотреть! Нам теперь надо думать об учителях для детей, надо нанять гувернантку для Любочки. Я хочу, чтоб мои дети были в самом лучшем кругу, чтоб они блестели.

Палагея Петровна в тот же день говорит генеральше:

— Вы не поверите, Анна Михайловна, как трудно нынче сыскать хорошую гувернантку. С детьми, я вам скажу, столько хлопот, такая комиссия! И то надо им и другое. Я ведь не так, как другие матери, вы это знаете; другим матерям и горя мало, у других и сердце не болит, а я уж не могу.

— Знаю, матушка, знаю, — возражает добродетельная генеральша, — ты примерная мать!

Палагея Петровна вздыхает.

— Теперь вот заботишься об них и ночи не спишь, а утешение-то еще бог знает когда будет.

— Правда твоя, матушка, правда.

— Не знаете ли вы, Анна Михайловна, где бы мне достать этакой гувернантки, чтоб и нравственность была, и на фортепьяно могла давать уроки, и по-французски бы говорила — это первое условие, ну и гулять чтобы ходила с детьми.

— Постой, матушка, вот, что мне пришло на ум, кабы у Авдея Сергеича переманить гувернантку.

— Да, может, очень дорогая?

— Нет, он платит ей рублей триста, не то четыреста. Девица хорошая, в разговоры с гостями не вмешивается, — сидит, или с детьми, или в уголку, — свое место знает. Погоди, я тебе, матушка, обработаю это дельце.

Гувернантку переманили. Она говорит Любочке: *тене ву друат* [1], дает ей и Петеньке уроки на фортепьяно, учит

---

[1] держитесь прямо (*франц.* tenez-vous droite).

их по-французски, географии, истории и арифметике. Палагея Петровна довольна ею и держит ее в приличном от себя отдалении.

— Вене иси[1], — говорит ей Палагея Петровна, — что это у Любочки прыщик на лбу?

— Не знаю-с.

— Как же не знаете? Кому же это и знать, как не вам? Вы должны за детьми хорошенько смотреть. Уж это, милая, ваша ответственность.

Любочка резвится, бренчит на фортепьяно, кое-как болтает по-французски и берет уроки у танцмейстера. Она в рожденье маменьки приходит утром к ее постели, поздравляет ее и говорит наизусть басню «La cigale et la fourmi»[2], а вечером при гостях танцует по-русски в сарафане.

— Это сюрприз, — говорит восхищенная маменька, обращаясь к гостям.

Петенька пресмирный, он плохо танцует, он совсем не может разбирать ноты, его способности ограниченны.

Любочка беспрестанно ласкается к маменьке, Петруша вообще не ласков, и Палагея Петровна нередко повторяет при нем:

— Как же не любить Любочку больше, она ласковое дитя, — а недаром говорят, что ласковое телятко две матки сосет.

Впрочем, все единогласно находят, что у Петруши почерк бойкий. В день именин папеньки он подносит ему стихи на почтовом листе, поздравляет его и потом начинает эти стихи декламировать наизусть.

В день ангела священный
Тебе, родитель незабвенный..
и проч.

Василий Карпыч растроган. Он обнимает Петеньку и дарит гувернантке ситцу на платье. Даше завидно, что на гувернантке обнова, и она начинает коситься на гувернантку и грубить ей; она даже в один вечер намекает барыне, что барин слишком приветливо смотрит на *мамзель*, и божится, что ситец, подаренный барином мамзели, стоит рубли два аршин. Даша достигает своей цели. Ее донос

---

[1] Подите сюда (*франц.* Venez-isi).
[2] «Стрекоза и муравей» *(франц.)*.

делает сильное впечатление на Палагею Петровну. Палагея Петровна с этой минуты преследует гувернантку и скоро отказывает ей от места, приискав заранее другую, подешевле...

Утро. Палагея Петровна кушает кофе. Цвет лица ее померанцевый, и под глазами легкая тень. Даша входит.

— Учитель пришел, сударыня.

— Француз! ну так мне что за дело: пусть его идет к детям. (Надо заметить, что французский учитель давно нанят для детей.)

— Нет, сударыня, новый учитель, так по-русски прекрасно говорит, должно быть, русский.

— А-а! пусть подождет. Я сейчас войду. Каков он, Даша?

— Из себя недурен, сударыня, — такой плотный, высокий.

Через четверть часа Палагея Петровна выходит к учителю. Цвет ее лица сливочный, и на щеках розы.

Учитель лет двадцати семи, во фраке с высоким воротником, на рукавах пуфы, талия на затылке, фалды ниже колен, на шее высокий волосяной галстук, грудь прикрыта черной атласной манишкой со складками, в середине манишки фальшивый яхонт, панталоны узенькие и без штрипок, сапоги со скрипом. Он франт и из семинаристов. При виде Палагеи Петровны учитель делает шаг назад и кланяется краснея.

— Вас Николай Лукич прислал ко мне?

Учитель вынимает из кармана пестрый фуляр, отряхает его и сморкается.

— Точно так-с. Он-с.

Палагея Петровна смотрится в зеркало и опускается на стул.

— Садитесь, пожалуйста, — говорит она учителю, показывая на другой стул.

Учитель спотыкается и садится.

— Вы откуда?

— Я из Харькова-с; теперь состою здесь в звании учителя.

— Гм! мне нужно приготовить сына моего для поступления в гимназию; ему тринадцать лет. Кстати, вы займетесь и с дочерью моей географией и другими науками. Мне Николай Лукич говорил, что вы всем наукам можете обучать?

Учитель с педагогическою мрачностию поводит бровями.

— Почему же-с? Я преподаю детям не только приуготовительные, элементарные, так сказать, науки, но и высшие, например: реторику, алгебру, геометрию, также всеобщую историю и географию, по принятым в учебных заведениях руководствам, статистику — по Гейму или по Зябловскому, это почти все равно, разница не велика-с... ну и латинский язык тоже! без него в гимназию поступить нельзя, необходимо пройти склонения и отчасти спряжения. Латинский язык есть фундамент, или, лучше сказать, корень всех языков, он образует вкус, ибо все лучшие классические писатели на латинском языке писали. Вот Вергилий, Гораций, Цицерон...

— Да знаю, знаю... А почем вы за урок берете?

Учитель кусает губы и потупляет глаза.

— Обыкновенно... цена известная-с: за два часа по пяти рублей.

— По пяти рублей?! А мне Николай Лукич, кажется, сказал, что по два с полтиной?

— Нет-с, как можно-с.

Учитель приподнимается со стула несколько обиженный.

— Право, кажется, пять рублей дорого. Я французу пять рублей плачу. Ведь их не бог знает каким наукам обучать. Иное дело, если бы они были побольше, я бы ни слова не сказала, а то вы сами посудите...

— В таком возрасте, сударыня, руководить детскими способностями, или, лучше сказать, развивать в них зерно талантов — это, я вам скажу, еще труднее.

Учитель пятится назад.

— Так вы ничего дешевле не возьмете?

— Нет-с. Мое почтение.

Учитель хочет идти.

— По крайней мере не можете ли вы два с половиной часа заниматься с ними, вместо двух?

— Это, собственно, определить нельзя-с, иногда долее, иногда ровно два часа, смотря как...

— Ну уж нечего делать. Признаюсь вам, я дорожу только рекомендацией Николая Лукича...

Василий Карпыч возвращается из должности.

— Что, душечка, был учитель?

— Да. Я с ним кончила. С завтрашнего дня будет ходить. Только вообрази, как дорого, по пяти рублей за два часа, и ни полушки не хотел уступить. Такой, право! Но видно сейчас, что очень ученый, — только, знаешь, все эти ученые пречудаки. У них у всех пресмешные манеры.

— Оно, конечно, по пяти рублей... впрочем, что ж делать!

— Уж, я думаю, не взять ли учителя попроще. Право... ну когда будут постарше, тогда, разумеется.

— Куда ни шло, душечка! — Василий Карпыч махает рукой. — Что какой-нибудь рубль или два жалеть, зато умнее будут...

Петруша поступает в гимназию.

— Видишь ли, — говорит Василий Карпыч жене и родственникам, — хорошо, что мы согласились взять этого учителя. Он не дешев, так; но зато старателен и, нечего сказать, мастер своего дела. Петруша славно выдержал экзамен; об этом мне сам директор сказывал.

Учитель продолжает давать уроки Любаше. Он уже проходит с нею реторику.

Он говорит ей о *качествах, принадлежностях, свойствах, действиях* и *страданиях,* замечая, что положение предмета может быть *величественное, прелестное, живописное* и *смешное.*

— Возьмем пример хоть *прелестного.*

Чиж обращается к зяблице:

И ей со вздохом и слезами
Носок повеся говорит...

Вы сейчас чувствуете, что это выражено прелестно... Не правда ли?

— Да-с, чувствую, — отвечает Любочка.

— Ну... теперь образец величественного. Баккаревич сказал: «Россия одеянна лучезарным сиянием, в неприступном величии, златовидный шелом осеняет чело ее...» — и проч. Это, например, величественно и выражено возвышенным слогом, ибо, как увидим далее, слог разделяется на *простой, средний* и *возвышенный.* Проза, изволите видеть, по противоположности стихам и отчасти периодам, есть способ писать, по-видимому, без всяких правил, наудачу, без всякого отчету. Кто не имеет никакого слога,

тот пишет прозою, то есть prosoluta oratione [1]; но кто знает меру стихов и соразмерность периодов, по чувству и вкусу, заимствуя нечто от обоих, того проза бывает *изящною* или *прекрасною* и *фигуральною,* что увидим ниже, говоря о тропах и фигурах. К следующему классу извольте-с выучить первые строфы из оды: «Россу по взятии Измаила».

В восемнадцать лет Любочка оканчивает курс. Учителю отказывают, недоплатив ему рублей пятьдесят из следующих за уроки.

Любочка девица вполне образованная. У нее, между прочим, приятный голосок. Она без всякого постороннего пособия выучилась петь: «Талисман» и «Ты не поверишь, ты не поверишь, как ты мила». Когда Любочка поет, гостьи-барыни, говорящие и не говорящие по-французски, повторяют: «Шарман!» [2], а Палагея Петровна бьет рукой такт и восклицает в порыве материнского восторга: «Се жоли!» [3]

Маменька вывозит Любочку на танцевальные вечера, в театры, в концерты, к фокусникам, к акробатам. Любочка с нею на всех гуляньях, на всех процессиях, печальных и радостных, на парадах и разводах. Любочку в течение шести лет прокатывают ежедневно по Невскому проспекту в коляске или в карете, запряженной четвернею, которую кормят овсом через день, по случаю дороговизны овса. Любочка с маменькой известны всему Петербургу. Любочка всегда вытянутая как струнка и с лорнетом в руке: она близорука, и целый день всё говорит о княжнах и графинях. В продолжение шести лет Любочке прибавился только один год. Она остановилась на двадцатом году. Палагея Петровна питает непримиримую ненависть ко всем матерям, у которых дочери-невесты, и злословит их немилосердно. Шесть лет сряду она, как паук, раскидывает вокруг дочери тонкую паутину и усиливается ловить женихов, как мух. Александра Андреевна — девица-гадальщица, всё по-прежнему раскладывает карты и говорит, что «Любовь Васильевне выходит по картам жених-миллионер».

В свободное от таких занятий время Палагея Петровна

---

[1] простой, неритмической речью *(лат.).*
[2] Очаровательно! (*франц.* Charmant.)
[3] Это мило! (*франц.* C'est joli.)

бранится и дерется с девками и лакеями, замечая, что если не употреблять этих мер, то весь дом пойдет вверх дном, что она не знает, как быть с людьми, и что пословица: битая посуда два века живет, — очень справедлива.

От девок и от лакеев Палагея Петровна переходит к дочери. Любочка говорит:

— Maman[1], полноте сердиться.

— Нельзя, мой друг, будешь сама хозяйкой, вспомнишь свою мамашу. Ты знаешь, что я не прихотница, что у меня сердце доброе, да *с ними* ангельского терпенья недостанет... Поцелуй меня, мой друг... Постой-ка, пройдись... как на тебе хорошо платье сидит, бесподобная эта материя гро-грень, смертельно люблю ее... она такая пышная — прелесть! только держись, душа моя, попрямее: вот так. Пойдем ко мне в комнату... Сядь, дружочек, возле меня.

Палагея Петровна смотрит на дочь и подозрительно улыбается.

— Что вы это, maman, улыбаетесь? — спрашивает Любочка.

— А ты и не подозреваешь, плутовка! — Палагея Петровна грозит пальцем. — Ты победу одержала, Любочка, поздравляю.

— Над кем, maman?

— А кто с тобой вчера три раза танцевал?

Любочка краснеет.

— Фи, maman, quelle idée![2]

— Ничего, друг мой, я за то не браню. *Он* мне очень нравится, такой бельом[3] и прекрасные манеры, к тому же штабс-капитан гвардии. А о чем он с тобой говорил?

— Уж я и забыла... о чем бишь? о погоде, спрашивал, много ли я танцую, часто ли бываю в театре, люблю ли книги читать.

— И только?

— Только-с.

— Право?.. Ты должна быть с матерью откровенна. Мать лучший друг наш и лучший советник.

— Ей-богу, ничего больше не говорил, maman.

— То-то же. Да, мой друг, я тебе все сбираюсь сказать: ты танцуешь прекрасно, я на тебя все вчера смотре-

---

[1] Маменька *(франц.)*.
[2] что это вам пришло в голову! *(франц.)*
[3] красавец (*франц.* bel homme).

ла, — только будь поразвязнее, посвободнее в движениях. Тебе надо взять кого-нибудь за образец в манерах... вот, например, — эту княжну, что мы встречаем на Невском, — заметь, какая у нее турнюра и копируй. Подражать хорошему не стыдно, дружочек... или... чего ближе? Юлия Карловна: у нее такие самые светские приемы — как взойдет, как взглянет. Зато уж прошлое лето на даче и *возвысили* ее... Все самые знатные дамы брали ее за руку. Примечай, милая моя, как она держит себя.

— Слушаю, maman.

Любочка целует ручку у маменьки.

Петенька кончает курс в гимназии. Папенька определяет его в департамент. Петенька необыкновенно трудолюбив и в короткое время заслуживает лестные похвалы со стороны начальства. Несмотря на это, Палагея Петровна вечно недовольна им.

— Удивляюсь тебе, Петенька, — говорит она, — ничего тебя не занимает, что бы должно занимать в твои лета, например, балы, собрания, этот светский блеск. Мне просто за тебя стыдно: войти не умеешь, какой-то сгорбленный, на молодого человека совсем непохож, я и старше тебя, да прошедший раз в Летнем саду сижу на скамейке с Любочкой, вдруг подходит к нам дама, прекрасно одетая, самого лучшего тона, и спрашивает у меня, показывая на Любочку: «Что, это сестрица ваша?» — «Нет, я говорю, дочь». Она так и ахнула и верить не хотела. А ты только что из школы вышел, а выглядишь лет тридцати. И танцевать до сих пор не умеешь, путаешься во французском кадриле. Ведь тебе горя мало, а все это падает на мать: мать, говорят, не умела воспитывать.

— Что ж делать? я, маменька, не люблю танцевать, — возражает Петенька.

— Прекрасно! И не стыдится признаваться в этом. Ну что об тебе станут говорить в свете? и что у тебя за знакомство такое: какие-то живописишки и всякая дрянь. Нет чтобы завести знакомство хорошее, приличное своему званию. Посмотри, как другие дети утешают своих родителей, а ты — ты чем меня до сих пор утешил? Какое пожертвование сделал для матери? Просила в военную службу идти — не пошел: в чернилах небось лучше мараться! Никаких высоких чувств у тебя нет, ты какой-то флегма, совсем не в меня родился.

— Я, кажется, стараюсь вам угождать, маменька.

— Чем, батюшка? чем? позвольте узнать. Желала бы я, чтоб ты посмотрел на сына Анны Николаевны: это можно сказать, утешает свою мать — так и сидит целый день с ней и глаз с нее не спускает, голубчик. Это нравственность! Малейшие желания матери предупреждает. Говорит: маменька-голубушка, у меня, говорит, нет своей воли, я, говорит, делаю только то, что вам угодно. Над такими детьми и благословение божие. У меня вчуже глядя на него сердце радуется... и не знаю, право, чем Анна Николаевна лучше других богу угодила!

— Маменька, я службой занят, я не могу быть так часто при вас. Вы это знаете.

— И не требую, батюшка! Бог с тобой. Если твои бумаги тебе дороже матери...

— Как же это можно, маменька?

— Почему же? Нынче дети стали умнее родителей, они сами лучше обо всем рассуждают, нынче сплошь да рядом яицы курицу учат...

По воскресеньям у Палагеи Петровны танцы. Штабс-капитан, протанцевавший три раза с Любочкой, играет на этих вечерах первую роль. Иногда для этих вечеров Палагея Петровна занимает по двести и по триста рублей у знакомых, потому что у нее нет ни копейки. К Палагее Петровне раза три в неделю является торговка. Торговка эта толстая, низенькая, с прыщами на носу. У нее Палагея Петровна забирает товары в долг для себя и для дочери. Торговка за все берет втрое и делится, по получении денег, с Дашей.

— Ильинишна, что это такое? — спрашивает Палагея Петровна у торговки, вынимая из груды гроденаплей и ситцев лист, кругом исписанный.

— Это, матушка, ерестр женихов. У нас часто купеческие вдовы и девицы интересуются женихами, да и из благородных нынче много спрашивают.

Палагея Петровна смеется и смотрит на дочь. Любочка краснеет.

— Что вы, матушка, смеетесь, да и у меня женихи не шваль какая-нибудь, — всё чиновные и с орденами — и Любовь Васильевне вашей из этого ерестра не стыдно выбрать любого. Право, прочитайте-ка, сударыня.

Палагея Петровна читает с насмешливой улыбкой:

«1) Надворный Советник Козма Егорыч Жданков, 43 лет. Исправляет должность Начальника отделения в **

Департаменте; имеет знак отличия беспорочной службы за XV лет; ордена Св. Анны 3 степени, Св. Владимира 4 и Св. Станислава на шее. Пользуется казенной квартирой, имеет все домашнее обзаведение и получает около 2500 ежегодно, кроме денежных награждений.

2) Коллежский Советник Купреян Иваныч Наливочкин, 56 лет, Правитель канцелярии в **, у него знак отличия беспорочной службы за XXXV лет, Анна на шее, Владимир в петлице, квартира казенная, жалованья 3000, денежные награждения через два года. Представлен к короне на Анну. Вдовец. После покойной жены имеет следующие вещи, а именно:

1) Лисий салоп с большим воротником . . . . 600 р.
2) Подушек пуховых для двухспальней постели 6, в чехлах из розового демикатону; наволочки к ним декосовые, с фалбарами 3 перемены, — считая по умеренной цене . . 225 »
3) Одеяло для двухспальней же постели стеганое атласное . . . . 100 » »

— Какие глупости!

Палагея Петровна, улыбаясь, бросает реестр.

— Что за глупости, сударыня, — перебивает торговка, — а вот здесь (она берет реестр и водит пальцем) против каждой фамилии отмечено, каких они желают иметь невест, сколько приданого. Козьма Егорыч — этот, что первый в списке, — прекрасный, я вам скажу, барин, балагур такой, а уж чистоплотный, франт, — какие у него манишки, жилеты...

Торговка обращается к Любочке.

— Вам, Любовь Васильевна, женишка-то пора, ейбогу, — только я знаю, вам всё военные нравятся? Ох, уж вы мне барышни!

Любочка молчит и отворачивается от торговки с неудовольствием.

А торговка права. Любочка мечтает в эту минуту о штабс-капитане.

Штабс-капитан человек образованный. Он читает Поль

де Кока, знает наизусть множество водевильных куплетов и рукописных стишков и начало второй части «Кавказского пленника». Он в восторге от Марлинского и говорит, что хотя Пушкин последнее время выписался, но все еще *иль фе де жоли вер*[1]. Штабс-капитан принадлежит к таким людям, которые никогда не стареются, потому что довольны всем на свете и более всего довольны сами собою. В полку его называют умным малым и славным товарищем, в обществе — любезным кавалером. Палагея Петровна *души в нем не слышит*. Она говорит про него Петеньке (который произведен в столоначальники):

— Вот это я называю образцовый молодой человек! Если бы у меня был такой сын, я считала бы себя вполне счастливой. Он умеет найтиться со всеми, нигде себя не уронит. С дамами говорит о нарядах, о балах; с деловыми людьми об делах, с сочинителями об учености.

Штабс-капитан женится на Любочке, полагая, что за ней в приданое дадут душ 400 или 500, и получает всего только 80, и то заложенных. Палагея Петровна, отдавая дочь, воображает, что у штабс-капитана 700 душ, а на поверку оказывается всего 200, и то разоренных. Начинаются ссоры между маменькой, дочкой и зятем. Василий Карпыч умирает в чине статского советника, оставляя более ста тысяч долгу. Его имения продают с аукционного торгу.

Петруша говорит маменьке, что ее дела расстроены, что ей надобно жить умереннее: продать все лишнее, как-то: экипаж, лошадей, отпустить прислугу, нанять небольшую квартиру и прочее.

Палагея Петровна мечется на диване, кричит и плачет:

— Вот до чего я дожила! Сын, сын дает мне на старости лет наставления, как жить! Ты меня убить хочешь, злодей! Утешения еще от вас не видала, хотя всю жизнь мою вам пожертвовала, а теперь должна пить от вас горькую чашу... Отпустить лошадей!! Что ж мне — пешком прикажешь ходить?.. Я жила *барыней* век свой и не хочу равняться с какой-нибудь подлой нищей. Хорош сынок! Вместо того, чтобы утешать маменьку в тяжкой потере, вместо того, чтобы сказать: голубушка маменька, живите, как жили при папеньке, а я с своей стороны буду

---

[1] он пишет неплохие стишки (*франц.* il fait des jolis vers).

помогать вам, — он, бессовестный человек, изволит читать мне наставления об умеренности... Что тебе за дело до моего состояния? Разве я просила у тебя денег? я кормила тебя на свой счет, неблагодарный... Отпустите лошадей, прислугу! как у тебя язык поворотился сказать мне это?

Палагея Петровна упадает на мягкий диван, стонет и требует доктора. За доктором посылают, но доктор не едет — «потому что, — говорит он, — мне за три года за визиты не заплачено, а даром ездить не намерен. У меня лошади сена требуют, а за сено нынче по рублю за пуд берут».

Петруша неподвижно стоит у дивана, на котором лежит его мать. У него слезы смешиваются с холодным потом. Его впалые щеки болезненно бледны.

Вскоре после этого Петруша принужден переехать на казенную квартиру. Палагея Петровна, на свободе, живет еще роскошнее прежнего, и, как всегда, дворецкий Илья и горничная Даша пользуются ее неограниченною доверенностию. С истинным другом своим, с генеральшей, она побранилась за картами и говорит про нее: «Это, можно сказать, самая низкая женщина». С дочерью и с зятем она в явной вражде, сына видеть не хочет. Любимая тема ее разговóра, когда к ней соберутся барыни, бранить своих детей.

— Прости, господи, согрешение! — говорит она, — лучше бы господь прибрал их. Они меня преждевременно в гроб сведут.

Палагея Петровна обращается к барыням:

— Если бы не вы, мои родные... — Палагея Петровна всхлипывает. — Я не знала бы, что делать в моем одиночестве.

Барыни подносят платки к глазам и хором повторяют.

— Ах, Палагея Петровна, да как тебя бросить, — нас бог бы бросил; у нас сердце изныло, глядя на тебя, матушка. От своих детей этакую участь терпеть! слыхано ли это! каких злодеев, подумаешь, нет на свете!..

Проходит еще год. Палагее Петровне решительно нечем жить.

Она впадает в совершенную нищету. Кредиторы не отступают от нее, и она отдает им свою смоленскую деревню,

Даша (давно получившая вольную за свою службу) и дворецкий Илья (выкупленный Палагеею Петровною) отходят от нее. Дворецкий Илья записывается в цех и открывает лавочку. Говорят, у него порядочный капитал.

Палагея Петровна занемогает, Петруша перевозит ее к себе.

— Нет, матушка, — говорит ей старуха, ухаживающая за нею. — Нет, нечего греха на душу брать, Петр Васильич хороший человек и любит вас.

— Еще бы! — возражает Палагея Петровна, — родной сын, да чтоб не любил! Куда ж бы он тогда годился.

И через несколько месяцев Палагея Петровна умирает на руках сына. Он просит у казначея вперед свое жалованье и на эти деньги устраивает похороны матери на *барскую ногу*.

Любочка приезжает на вынос, но на кладбище не может ехать, потому что очень расстроена. Один Петруша в сопровождении старухи, ходившей за больной, да несколько любительниц похорон провожают гроб Палагеи Петровны.

И в последнее жилище, как настоящую *барыню*, ее отвозят четвернею.

Погребение кончается. Смерть — великая примирительница. Петруша входит на ступеньки катафалка и — глядит на мать с мучительною скорбию. Дьякон возглашает:

— «Во блаженном успении вечный покой подаждь господи усопшей рабе твоей... и сотвори ей вечную память!»

И хор повторяет грустно и торжественно:

— «Вечная память!»

Петруша прижимается к холодной руке усопшей и обливает ее руку горькими слезами.

Петруша возвращается с похорон пешком на свою квартиру. Тяжело ему. У него не выходит из головы искаженное страданиями лицо умершей, кладбище в лесу, полуобнаженном осенними бурями, и драка нищих за брошенные им деньги. Еще в ушах его раздаются звуки погребального пения, стук гробового молота и вопли какой-то женщины над давно заросшею могилою... Первый раз пробуждается в нем внутренний голос. Первый раз

ясно представляется ему его прошедшее. Он спрашивает самого себя:

— *Неужели это жизнь?*

И вслед за этим странным вопросом у него рождаются другие, еще страннее.

Стенные часы бьют шесть.

Он вздрагивает. Как скоро прошло время! Он смотрит на свою комнату. Вот его письменный стол, а на столе серая бумага, с ярлычком: *к докладу...* к завтрашнему утру ему надо приготовить, по поручению начальника отделения, несколько бумаг, не терпящих отлагательства. Он садится к столу и пишет:

«На почтеннейшее отношение Вашего Высокопревосходительства имею честь...» и прочее.

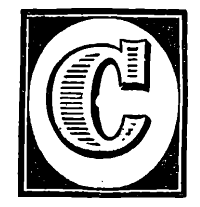


АКТЕОН

Actaeon Rhinoceros принадлежит к насекомым жесткокрылым (coleoptera). Имеет голову немного сплющенную и украшенную однозубчатым рогом с раздвоенным концом, а брюшко полное. Как и все совершенные насекомые (insectum declaratum), он не имеет красной крови в своем теле, а заместо оной снабжен беловатым соком; вместо же сердца длинным, неровной величины проходом. Сей актеон, подобно прочим своей породы, приготовляет себе логовища для своего продолжительного засыпания; любит водиться на скотопаствах, а особливо в коровьем навозе. Как и все насекомые, он необычайно плодовит; от преследования своих неприятелей защищается смрадом, который в случае нужды от себя распространяет.

«Руководство к естественной истории» Блуменбаха, переведенное истории гражданской и географии учителями Петром Наумовым и Андреем Теряевым.

ГЛАВА I



Село Долговка, ***ской губернии, **уезда, выстроено на отлогой возвышенности по левую сторону речки Брысы, которая, красиво извиваясь, образует своим прихотливым течением небольшие островки. Эти островки, обсаженные густо разросшимися ивами, служат любимым приютом для барских гусей и уток, и потому почва их обыкновенно покрыта в летнюю пору гусиными и утиными перьями. Напротив островков, саженях в двухстах от берега Брысы, стоит своеобразной архитектуры деревянный двухэтажный барский дом с мезонином и с огромным подъездом, между полусгнившими ступеньками которого уже

прорывается местами трава. По обеим сторонам дома образуют полукруг одноэтажные флигеля, где помещаются: дворня, прачечные, ткацкие, столярные и прочее. Среди широкого и заросшего травой двора красуется деревянная раскрашенная статуя. Направо возвышается старинная пятиглавая церковь вроде Успенского собора; налево мелькают крылья ветряной мельницы. За барским домом большой темный сад, заросший крапивою, огород с капустою, пруд с тиною, развалившаяся оранжерея с бесплодными персиковыми деревьями, несколько десятков яблонь и вишен, несколько кустов малины, смородины и крыжовника. В конце сада баня, не обшитая тесом, ветхая и одним боком прислонившаяся к высокой рябине; за садом различные хозяйственные заведения, как-то: кладовые, амбары и псарня — здание величественное, занимающее довольно большое пространство; а далее крестьянские избы, или покачнувшиеся на сторону, или вросшие в землю, почти все крытые соломой, почерневшей от дождей и дыма. При въезде в село и при выезде из него торчат по два бревна, воткнутые в землю, с перекладиной наверху, называющиеся воротами, которые, впрочем, никогда не запираются, и плетень, заменяющий забор, через который, впрочем, может перелезть четырехлетний младенец. У этого плетня пестрые столбы с дощечками, на которых начертано: *Село Долговка ***губернии **уезда. Помещика титулярного советника Петра Александровича Разнатовского, душ мужеска пола 810, дворов 102.*

Но всего лучше в селе Долговке то место, где Брыса за островками круто поворачивает свое течение. У этого поворота устроена водяная мельница, и смиренная, тихая речка, по которой в жаркий летний день в иных местах проходят вброд ребятишки и куры, широко и красиво разливается у мельницы. Против самой мельницы, на противоположном берегу, растут, наклонясь друг к другу, дуб и береза, соприкасаясь своими вершинами, а у корней их лежит большой булыжник, как нарочно устроенная скамейка, покрытый мохом, точно бархатом. Хорошо в удушливый июньский день разлечься на этом камне в тени дружных деревьев, прислушиваясь к ропоту воды и глядя на необозримые поля, дышащие колосьями! Но всего замечательнее и удивительнее в Долговке мост через речку Брысу, при въезде в село. Он, кажется, едва держится на двух сваях, так что неопытный городской

житель при всей отваге не решится пройти по нем не перекрестясь, — а вот уже десять лет, как по этому мосту беззаботно проезжают крестьяне с возами, тяжело нагруженными сеном или хлебом, и помещики в своих колымагах, набитых перинами и подушками.

В одно майское праздничное утро 183* года в селе Долговке было необычайное движение. Все обоего пола ревижские души находились в величайшем волнении. На главной улице села, которая от удивительного моста через реку Брысу шла прямо до самого выезда, — на этой улице, пошире и покрасивее других (ибо здесь находилась двухэтажная изба старосты с подзорами, крытая досками), молодые парни стояли вооруженные метлами, а бабы в кумачных сарафанах группами сидели на завалинах изб своих с младенцами на руках; мальчишки и девчонки, подросточки, бегали с криком между поросятами и свиньями или валялись в мелкой пыли, которую парни сметали на сторону. Во внутренности изб оставались одни еле движущиеся старухи, или, лучше сказать, только их туловища, головы же их, впрочем, более походившие на грибные наросты у гнилых заборов, чем на головы, торчали из щелей, то есть из окон. «Что? Еще не видать кормильца-то?» — спрашивали они у молодиц. «Где-ста, еще рано!» — отвечали молодицы.

Но самое большое стечение народа было у моста. Там стоял управитель села, Назар Яковлич, чиновник 12-го класса, выключенный за взятки из коронной службы и рекомендованный помещику села Долговки г. Бобыниным, — человек среднего роста, плотный, с полным лицом и с сиповатым голосом.

— А что, Андрюха, — говорил он, сомнительно посматривая на удивительный мост и обращаясь прямо к старосте, — мост-то плоховат, братец; ну, как он провалится... а?..

Староста, в красной рубахе, мужик здоровый и толстый, с белокурыми густыми волосами в форме шапки, с рыжеватою бородою, почесал в затылке и отвечал с тою милою беззаботностию, которая так идет к русскому человеку:

— А пожалуй, что и провалится!

— То-то же провалится! — продолжал управляющий, — осмотри-ка его хорошенько; долго ли до беды, Андрюха!

Староста начал внимательно осматривать мост.

— А что, батюшка Назар Яковлич, — сказал он, кончив осмотр и почесываясь, — разве что переменить эти две доски... вишь, они больно уж подгнили, а мост нешто себе: еще здоров.

Когда доски были переменены, управляющий оборотился к толпе крестьян, окружавшей его.

— Слышите же вы!.. сора из избы не выносить! — воскликнул он торжественно и подняв над головой сжатый кулак, — до барина никаких дрязгов не доводить, не сметь беспокоить его ни жалобами, ни просьбами, а не то я по-свойски разведаюсь с вами...

— Зачем жаловаться, Назар Яковлич? Что прикажет твоя милость, то и будем делать. На то ты поставлен над нами на̀больший, — раздалось вдруг несколько голосов.

— То-то же! — говорил управляющий, — а в особенности ты, Еремка... — Управляющий обратился к мужику высокого роста, очень дородному, с густой черной бородой и с растрепанными волосами. — Ты всегда всех мутишь... учишь всему скверному... смотри, берегись у меня... тебе бы все в кабак ходить да на печи лежать.

— Было бы на что еще в кабак-то ходить, — проворчал Еремка.

Управляющий сделал вид, что не слышал этого ворчанья, и продолжал:

— Если барин, примерно, спросит вас: «Ну, а довольны ли вы управляющим?», отвечать: «Довольны, батюшка Петр Александрыч, довольны, благодарим тебя, отец наш, за него». Слышите?

— Слушаем, Назар Яковлич.

Крестьяне поклонились управляющему в пояс.

— Как только покажется вдали пыль и как махальный даст знать о том, что едет, вы сейчас и идите навстречу с хлебом-солью. Андрюха, а кто у тебя махальные-то?

Управляющий обратился к старосте.

— Кондрашка Лысый, — отвечал староста, — да еще Флегошка, Ермолаев сын.

— Ладно. Они, кажись, не зеваки?

— Уж сохрани господи своего барина прозевать, батюшка Назар Яковлич.

Управляющий выпул из кармана серебряные часы величиною с добрую репу, приложил их сначала к уху, потом посмотрел на них.

— Э-ге! сорок минут девятого. Надо быть, братцы, наготове.

В эту минуту солнце, скрывавшееся за грядою легких облаков, торжественно выглянуло, и блистательные лучи его весело заиграли на клеенчатом картузе управляющего.

— Кажется, и солнышко-то, — сказал он, значительно улыбаясь, — хочет вместе с нами радоваться и встречать Петра Александрыча.

Управляющий отошел в сторону от толпы крестьян и остановился на берегу немного левее моста. Там черпала воду в ведро девка лет восемнадцати, толстая, дородная и румяная, в новом сарафане.

— Здравствуй, Настя, — сказал ей управляющий. Глаза его подернулись маслом, и рот образовал гримасу.

Девка, не приподнимаясь, обернулась к нему и отвечала протяжно:

— Здорово, Назар Яковлич! — и потом равнодушно продолжала свое занятие.

— Что-то больно давно тебя не видно, Настя?

Дородная девка зачерпнула два полные ведра воды, положила на плечо коромысло и, казалось, не чувствуя ни малейшей тяжести, поднялась на берег.

— Право, что-то тебя не видно, Настя? — продолжал управляющий, подходя к ней, — а? — Он лукаво улыбнулся.

— Коли не видно, — отвечала Настя, — а на гумне-то?

— Да в самом деле! А я вот как только удосужусь после приезда Петра Александрыча, сейчас же съезжу в город, куплю тебе подвески...

Управляющий хотел еще продолжать разговор с Настей, но сзади его кто-то произнес голосом Стентора:

— Наше почтение Назару Яковличу.

Перед Назаром Яковличем предстал человек лет пятидесяти пяти, роста исполинского, в длинном сюртуке травяного цвета из деревенского сукна и в широких лазурного цвета кумачных панталонах, с лицом небритым и с грязными руками.

— А, Наумыч, как, брат, поживаешь? — спросил его управляющий.

— Какое наше житье! Как вы, сударь, можете?.. Что детки ваши? супруга?.. — Антон искоса посмотрел на удалявшуюся Настю.

— Хоть бы вы, Назар Яковлич,— продолжал Антон,— месячины нам прибавили... Ведь тридцать лет, сударь, служу, что, право! Сами знаете, батюшка, у меня этакая обуза детей, все есть требуют, что с ними будешь делать?

Управляющий несколько нахмурился.

— Грех сказать, Наумыч; у тебя месячина хорошая; зачем напрасно бога гневить? Живешь ты спокойно, как у Христа за пазухой; дела никакого нет.

— Да какая это месячина? — возразил Антон, наморщивая лоб, — при покойнике я какие, можно сказать, должности не произошел, и буфетчика и камардена... ну, разумеется, перепадала копейка, а теперь откуда возьмешь? По миру идти не приходится. Хоть бы вы деткам синего суконца на платье пожаловали: совсем, ей-богу, обносились.

— Хорошо, хорошо, Наумыч.

— Ну, и за то дай бог вам здоровья! — Антон вынул из кармана тавлинку и понюхал, приговаривая: — И табачишка-то иной раз не на что купить... А сколько я за свой век барского-то добра сохранил. Вот хоть бы по воскресеньям: у нас обедали и исправник, и заседатель, и все эти, знаете, из города. Шампанское всегда из Москвы выписывали; бывало, кричит: «Антон, шампанского!», а у меня всегда наготове две бутылки — кто получше, ну, тому шампанского, а остальные, думаю себе, и цимлянским довольствуются, да еще губы оближут; не по коню корм, сударь. То, думаю себе, для хороших господ.

Управляющий засмеялся.

— Оно, конечно, — продолжал Антон, — молодые господа — это совсем не то; а мне, старику, что за дело! Я тридцать лет ихнему дяденьке служил. Да вон анамеднясь заседателя в городе встречаю. «А! говорит, Антон Наумыч, старый знакомый, здравствуй!» — «Здравствуйте, Федор Иваныч». — «Что, брат, говорит, худо без старого барина?» — «Гм! разумеется, не то, что бывало, что толковать! Оно, конечно, еще по милости Назара Яковлича живем-таки; что-то будет, как новый барин приедет». — «Жаль, говорит, старичка, жаль!..» Не прикажете ли, батюшка Назар Яковлич, табачку?

Управляющий взял щепотку табаку и потрепал Антона по спине.

— Старые слуги, Наумыч, ей-богу, лучше новых, — это мое правило. Я об тебе поговорю Петру Александрычу, непременно поговорю.

— Дай вам бог здоровья, Назар Яковлич... Мы все довольны вами; а на мужичье-то нечего смотреть. Известное дело — козлиные бороды, лентяи... Вот, правда, из них Максим, Настин отец, мужик добрый, нечего сказать, и работящий... Не забудьте же, батюшка, суконца-то деткам на платьишко...

Речь Антона была прервана криком оторопевшего старосты:

— Его милость едет, едет!..

Махальный дал знак... Все пришли в движение. Крестьяне и крестьянки перешли за мост и остановились. Лица добрых крестьян и крестьянок необыкновенно вытянулись от любопытства и нетерпения; большая часть ртов раскрылась, все глаза устремились на дорогу — однако по дороге еще ничего не было видно. Узенькая дорога, извиваясь между засеянными полями, исчезала за оврагом, потом снова виднелась на горе и, наконец, совсем пропадала за мелким лесом, который окаймлял горизонт. Управляющий бегал из стороны в сторону, подергивая свой жилет. Его щеки заметно побледнели; с поднятым вверх кулаком он несколько раз обращался к крестьянам, повторяя:

— Смотрите же вы у меня!

Антон проворчал:

— Пойду-ка обрадую барыню, — и направил свои исполинские шаги к барскому дому.

Весть о том, что «его милость едет», распространилась в одно мгновение по всей деревне, и в то время как Антон входил на крыльцо барского дома, пономарь бежал уже изо всех сил к колокольне. Бесконечные фалды сюртука пономарского, развеваемые ветром, уподоблялись крыльям летучей мыши, и длинная заплетенная коса, выпущенная пономарем сверх сюртука, болтаясь, ударяла его по спине.

Антон произвел величайшее волнение в барском доме. В этом доме с некоторого времени поселилась мать помещика — Прасковья Павловна, переехавшая из своей деревни, чтоб собственными руками приготовить все нуж-

ное к приезду сына, нежно любимого ею. Злые языки *** губернии утверждали, однако, будто она переехала в сыновнее имение потому, что совершенно прожила свое собственное. Как бы то ни было, достоверно только, что в продолжение двухнедельного своего пребывания в селе Долговке Прасковья Павловна постоянно вмешивалась во все хозяйственные распоряжения по женской части и совершенно поссорилась с женою управляющего Назара Яковлича. «Ей, бестии, — замечала Прасковья Павловна,— хорошо чужим добром распоряжаться, ей что беречь чужое добро! Вишь, как ее раздуло на чужом-то хлебе, — а он мой сын; мне его копейка так же дорога, как своя собственная, еще дороже!» Вскоре после приезда Прасковьи Павловны произошел еще совершенный разрыв между попадьей и дьяконицей, но это не относится к моему рассказу. Дело в том, что Прасковья Павловна, услышав от Антона радостную весть о приближении своего сына, которого она не видала лет восемь, едва не упала в обморок. Она начала порываться к дверям и всхлипывать, приговаривая:

— Голубчик мой, ангел мой! наконец дождалась я этой минуты... Благодарю моего бога!..

Волнение Прасковьи Павловны было так велико, что находившаяся при ней с незапамятного времени девушка-сирота лет тридцати шести, *дочь бедных, но благородных родителей,* в испуге бросилась к Антону и закричала:

— Ах, какой ты неосторожный, Антон! Тебе следовало прежде меня предуведомить, а то вдруг, как можно?.. Ну кабы что случилось?

— А чему случиться-то? — возразил Антон с неудовольствием, отходя в сторону. — Не знаю я, что ли, как с господами говорить? Я при покойнике-то тридцать лет прослужил, слава богу; вишь, учить... вздумала... случится!..

— Анеточка! — сказала Прасковья Павловна, обращаясь к дочери бедных, но благородных родителей, — пойдем, душенька, к нему, к голубчику моему, навстречу... Нет, уж я не могу здесь дожидаться, как хочешь — не могу.

Прасковья Павловна тяжело дышала и беспрестанно подносила платок к глазам...

— Милый друг мой Петенька!.. Милый друг мой! — восклицала она от времени до времени в порыве материнского восторга.

— Подай мне, Анеточка, мой платок, желтый, турецкий... Так вот, не поверишь, даже колена дрожат.

Дочь бедных, но благородных родителей принесла желтый платок.

Прасковья Павловна подошла к зеркалу и, несмотря на свое внутреннее волнение, стала поправлять перед зеркалом свой чепчик и надевать платок. Прасковье Павловне казалось лет под пятьдесят; она была очень дородна, имела рост средний, выщипывала слишком густые брови, подкрашивала седые волосы и вообще, кажется, желала еще нравиться.

Она вышла на крыльцо, сопровождаемая дочерью бедных, но благородных родителей. Там толпилась уже вся многочисленная дворня: псари, столяры, ткачи и проч., с женами и детьми. Антон переходил от одного к другому, от одной к другой и, нахмурив брови, рассказывал им о чем-то с важностию, усиливая свои рассказы выразительными жестами. У самого крыльца стояло человек до десяти исполинов, еще десять Антонов, которые, однако, назывались не Антонами, а Фильками, Фомками, Васьками, Федьками, Яшками и Дормидошками. Все они, впрочем, имели одно общее название *малый.* Эти «малые» были небриты и облечены в сюртуки до пят. С первого взгляда их невозможно было отличить друг от друга; но глаз зоркий и наблюдательный по заплатам, оборванным локтям и пятнам на сюртуках их, вероятно, успел бы подметить, чем Филька разнился от Васьки, а Васька от Федьки и так далее.

Прасковья Павловна на последней ступеньке крыльца была на минуту остановлена высокой и худощавой старухой, одетой несколько поопрятнее и получше других дворовых женщин. На этой старухе было надето ситцевое платье полурусского, полунемецкого покроя, до половины закрытое телогрейкою; голова ее тщательно была повязана шелковым платком, с бантиком на темени, а из-под платка торчали седые волосы. Она бросилась к Прасковье Павловне с криками:

— Матушка, сударыня... Сподобил-таки меня господь, окаянную, дожить до такой радости!.. Говорят, сокол-то мой ясный, красное-то мое солнышко, уж близехонько от нас!

Голова старухи тряслась, и слезы катились ручьем по ее морщинистым щекам.

— Да, Ильинишна,— отвечала Прасковья Павловна, поднося платок к глазам, — ах, батюшки мои! не знаю, что со мной будет от радости... Не перенесу этого, не перенесу!.. Пойдем к нему навстречу, няня.

Но няня не слыхала слов своей барыни: она была уже далеко. Мысль о свидании с тем, кого она вырастила и кого столько лет не видала, придала ей силу и бодрость изумительную. Семидесятилетняя старуха бежала с скоростью пятнадцатилетней девочки к знаменитому мосту, у которого мы оставили управляющего и крестьян с хлебом-солью.

Прасковья Павловна с дочерью бедных, но благородных родителей последовала за нею, а за ними двинулась вся дворня.

— Вот увидишь, Анеточка, — говорила дорогою Прасковья Павловна дочери бедных, но благородных родителей, — вот теперь сама увидишь, душа моя, каков мой Петенька; он совершенный бельом;[1] брови, знаешь, этак дугой, немного похожи на мои; глаза голубые, бирюзового цвета, — не знаю, может быть, теперь переменились, — ведь ты знаешь, душечка, как непрочны голубые глаза, сейчас посереют. А уж как любит меня!.. И на воспитание, можно сказать, я ничего не жалела для него... Каких учителей у него не было! По-французски так и режет; уж на что, бывало, француз у нас в доме и тот заслушается его, как он, бывало, заговорит по-французски, ей-богу...

— А я горю нетерпением познакомиться с Ольгой Михайловной, — заметила дочь бедных, но благородных родителей, жеманно поправляя платочек, накинутый на ее голове, — натурально, у нее должно быть все особенное: столичная жизнь не то что наша, деревенская...

— О, что касается до моей Оленьки, — с жаром перебила Прасковья Павловна, — мне писали об ней из Петербурга, что она уж такая модница... такая... и красавица: черная бровь и римский нос. Самая, говорят, бонтонная[2] дама... Это очень натурально: генеральская дочь. Кому же и быть на виду, как не генеральской дочери?

---

[1] красавец (*франц.* bel homme).
[2] хорошего тона (*от франц.* bon ton).

При этих словах на лице дочери бедных, но благородных родителей обнаружилось судорожное движение, и она начала кусать нижнюю губу.

— Ах, милая Анеточка, ты не испытала еще материнского чувства, — продолжала Прасковья Павловна, — и не можешь представить себе, дружочек, вполне моего положения...

Дочь бедных, но благородных родителей побледнела. Она никогда не могла равнодушно слушать о *материнских чувствах* и переменила разговор.

Между тем они подошли к мосту. Управляющий, увидев Прасковью Павловну, подбежал к ней. Он начал изгибаться перед нею, кланяться, рассказывать о своих распоряжениях.

Но Прасковья Павловна равнодушно слушала его, изредка кивая головою и принужденно улыбаясь. Вдруг речь словоохотливого управляющего прервалась. Он заикнулся на полслове...

— Пыль! Пыль! — кричала няня, — видите ли пыль?.. Это он, родимый мой, он!

Старуха стояла за мостом впереди всех и не сводила глаз с дороги. Ее сгорбленный стан выпрямился. Ее седые волосы, торчавшие из-под платка, развевал ветер; руки ее были протянуты к леску, из-за которого в самом деле подымался столб пыли, и глаза ее, всегда мутные и неподвижные, засверкали в эту минуту.

— Он! он! — повторила Прасковья Павловна, побежав на мост и таща за собою дочь бедных, но благородных родителей.

— Они! они-с! — кричал управляющий, следуя за Прасковьей Павловной.

Большая дорожная четырехместная карета, запряженная шестернею, выехала в эту минуту из-за леска и начала осторожно спускаться в овраг.

— Эй вы, голубчики, пошевеливайтесь! — кричал седобородый кучер, махая кнутом, когда лошади стали подниматься из оврага.

— Вытягивай, вытягивай постромки-то!

Карета выехала на ровное место, и в эту самую минуту раздался благовест, призывавший прихожан церкви села Долговки к обедне. Кучер снял шляпу и перекрестился. Из окна кареты выглянуло круглое лицо мужчины. Этот мужчина закричал кучеру:

— Стой, стой!..

Карета остановилась.

Лакей с сережкой в ухе, сидевший с ямщиком на козлах, с столичною ловкостью подбежал к дверцам и схватился было за ручку, как вдруг могучая рука Антона невежливо оттолкнула его и отворила дверцы.

Лакей с сережкой в ухе презрительно улыбнулся, посмотрел на Антона, а Антон, нахмурив брови, измерил его с ног до головы и проворчал себе под нос:

— Нам-ста не в диковинку, брат, этакие. Видали всяких!

Из кареты выскочил человек лет двадцати девяти, полный, белокурый, в камлотовом пальто, с черепаховым лорнетом на шнурке и в дорожной фуражке с длинною шелковою кистью.

Едва он успел коснуться одною ногою земли, как уже почувствовал себя в горячих материнских объятиях. Прасковья Павловна прижимала его к груди, стонала, охала и кричала раздирающим душу голосом:

— Петенька... Петенька... голубчик мой... Ты ли это, друг мой милый?.. Не во сне ли я? Узнаешь ли ты меня, батюшка мой?.. Дай посмотреть на себя...

Петр Александрыч — тот самый, который был известен читателю под именем *Онагра,* задыхаясь от поцелуев и ласк, не мог ни говорить, ни шевелиться. Так прошло минут пять. Наконец он освободился от объятий, перевел дыхание, отряхнулся, прокашлянул и сказал:

— Позвольте мне, маменька, представить вам жену мою.

Он оборотился назад и указал рукой на даму лет двадцати четырех, высокую и стройную, одетую просто, по-дорожному.

Лицо ее было бледно, большие черные глаза выражали утомление (очень натуральное после двухнедельной езды), густые волосы, некогда рассыпавшиеся локонами до плеч (и обратившие на себя внимание офицера с серебряными эполетами на бале госпожи Горбачевой), были зачесаны гладко.

Прасковья Павловна окинула свою невестку взглядом быстрым, проницательным — и ринулась на нее с криком:

— Ангел мой!.. сокровище мое!.. Ольга Михайловна!.. Друг ты мой!.. Прошу полюбить меня... А я за вас молилась всякий день, ангел мой, ночи не спала, все думала,

когда-то увижу моих родных деточек... Дай обнять себя, сердце мое!.. Дай посмотреть на себя... Здоровы ли ваша маменька, папенька, мой дружочек?

Прасковья Павловна, не выпуская ее из объятий, отодвинула свою голову немного назад и посмотрела на невестку с выражением бесконечного умиления.

— Красавица! просто красавица! Ну, ни дать ни взять, как я видела вас, мое сердце, во сне. Я и Петеньке об этом писала: брюнетка, глаза навыкате, две капли воды... Поцелуйте меня, друг мой, милая дочь моя...

Та, к которой относились эти восторженные речи и восклицания, стояла несколько секунд с потупленными глазами, — и едва заметный румянец показался на щеках ее; потом она наклонилась, чтоб поцеловать руку свекрови.

— Что это вы, мой ангел! — закричала Прасковья Павловна, — как это можно! Стòю ли я того, чтоб вы целовали мою руку?.. Лучше поцелуйте меня, моя родная... Вот это другое дело. Ну, не ошиблась я в Петенькином вкусе! Уж я в нем была уверена заранее... Такой выбор делает ему честь, а я, можно сказать, должна гордиться, что имею такую невестку... А где же внучек мой?.. Батюшка!.. вот он, а я и не вижу его!.. — Прасковья Павловна от невестки бросилась к внучку.

Пожилая женщина в чепце держала на руках дитя, которому казалось лет около двух.

Прасковья Павловна начала целовать внучка, а внучек начал реветь.

— Не плачь, Сашенька, — приговаривала Прасковья Павловна, — не плачь, херувим мой... С тобой говорит бабушка... Слышишь, друг мой, бабушка... Скажи: ба-ба! ба-ба!.. Вылитый отец, ей-богу!.. И глаза совершенно его, и рот... Вот и перестал плакать... умница!.. Он будет любить бабушку... Ведь даром что младенец, а он понимает, что я ему не чужая; и в этаких крошках есть чувство...

— Скажите же, Александр Петрович: *баба,* — заметила нянюшка, — он у нас говорит, сударыня, мама, и папа, и баба...

— Ах, мой милый Сашурочка!.. Счастливый день для твоей бабушки, подлинно счастливый... А я для тебя, ангел мой, гостинцу приготовила... Бабушка об тебе, и не зная тебя, заботилась... варенье ли варю или что этакое, все думаю: это моему Сашеньке...

Дочь бедных, но благородных родителей, остававшаяся в продолжение этих родственных сцен на втором плане, начинала уже явно тяготиться неловкостию своего положения. Она искоса посматривала на столичную даму и никак не решалась поступить против этикета, чтоб заговорить с ней, не будучи сначала ей представлена. Для этого она решилась деликатно напомнить о себе Прасковье Павловне. Она подошла к ее внучку и сказала с приятным выражением, закатив несколько глаза под лоб:

— Ах, какой прелестный ребенок!

— Анеточка, ты здесь, мой друг? — возразила Прасковья Павловна. — Боже мой, я тебя до сих пор не представила моим деткам... Ольга Михайловна, друг мой, — Петенька, позвольте мне отрекомендовать вам эту девицу... Она у меня взята вместо дочери... Я дала ее родителям слово на смертном одре не оставлять ее. Она круглая сирота, думаю себе, исполню священный долг, может быть, за это меня бог и не оставит... Полюбите ее, родная моя; я уверена, что вы с ней сойдетесь... Она у меня такая охотница до книг... все читает... у соседа нашего всю библиотеку прочла... романы страсть ее... вот вы вместе читать будете, гулять — и подружитесь.

Между тем как Прасковья Павловна занималась невесткою, внучком и дочерью бедных, но благородных родителей, к Петру Александрычу подошла старушка-няня, все время не спускавшая с него глаз и заливавшаяся слезами.

— Узнаешь ли меня, красное солнышко, батюшка мой? — произнесла она дрожащим голосом, утирая кулаком слезы и кланяясь в пояс, — кормилец мой, узнаешь ли ты меня? Как ты переменился, друг мой сердечный, какой молодец стал!.. Дай мне твою ручку...

Она схватила его руку и целовала ее, заливаясь слезами.

— А ты мало переменилась, няня! все такая же. Право.

— Как не перемениться, кормилец?.. Совсем стара стала... И глухота-то одолела меня, почитай что уж год — с Петрова дня на правое ухо совсем не слышу, — и ноги-то уж не так ходят... Думала, что господь и не сподобит меня увидеть моего сокола ясного. Боже мой, боже мой!

Няня качала головой и вздыхала.

— Давно ли, кажется, я носила тебя на руках? а вот уж у тебя и у самого детки. Бывало, я ем кислую капусту, а ты, голубчик мой, кричишь: «Няня, дай капусты!..» — ей-богу. Ты уж, я думаю, позабыл об этом? А ведь маленький какой был охотник до капусты!.. Кушаешь ли теперь ее, батюшка? Где, я чай. Теперь тебе не до того! Покажи же мне, кормилец мой, барыню-то свою и сынка-то твоего.

— Изволь, изволь, няня... А что, скучно, я думаю, в деревне? — спросил, улыбаясь, Петр Александрыч, обращаясь к управляющему.

Управляющий, стоявший все время в почтительном отдалении от владельца, подбежал к нему, снял картуз и отвечал:

— Это как кому-с, Петр Александрыч. Я, признательно вам скажу, не заметил, как и время прошло, в постоянных заботах и в попечении о благоустройстве.

— Я ведь только на время приехал сюда, — заметил Петр Александрыч, — надоело немножко в столице, хотел, знаете, так, проветриться... Эй, Гришка!

— Чего изволите-с?

— Дай кучеру... как бишь его зовут... на водку целковый или пять рублей.

— Не извольте беспокоиться, — сказал управляющий, — я сейчас сам пойду, отдам ему целковый и скажу, чтоб выпил за ваше здоровье.

Управляющий поклонился Петру Александрычу и побежал к седобородому кучеру. Петр Александрыч обратился к няне:

— Няня, пойдем же к жене моей!

— Пойдем, батюшка, пойдем, красное мое солнышко.

— Ольга Михайловна, рекомендую мою няню.

Няня поклонилась в пояс.

— Дай, матушка, мне ручку твою.

Ольга Михайловна вся вспыхнула, спрятала свою руку и поцеловала старуху.

— Вот, матушка, какого молодца вынянчила для тебя, — говорила ей няня, — слава богу, меня перерос, красавец мой... Позволь мне, сударыня, теперь твоего сынка понянчить хоть немножко. Прости меня, деревенскую дуру, что я беспокою тебя.

— Ничего, изволь, няня, — сказала Ольга Михайловна и, взяв сына к себе на руки, передала его старухе.

Старуха была вне себя от радости: она смеялась, и плакала, и целовала дитя, которое, увидев себя на руках незнакомой женщины, вдруг закричало изо всей мочи.

— Ничего, матушка, ничего, — проговорила няня, качая дитя и приподнимая его, — не беспокойся; уж я знаю, как с детьми обращаться: не первый, слава богу, у меня на руках.

В самом деле, через несколько минут дитя перестало кричать и осталось на руках у торжествовавшей старухи.

— Пойдемте же теперь к крестьянам, голубчики мои, — сказала Прасковья Павловна, обращаясь к сыну и невестке, — они ожидают вас с хлебом-солью; а там, как водится, пройдем в церковь возблагодарить господа бога за ваше счастливое путешествие, да зайдемте, мои родные, на могилу дядюшки поклониться ему: его, нечего сказать, есть чем помянуть: оставил вам состояние богатейшее...

— Да, разумеется, — заметил Петр Александрыч. — Эй, Гришка! пусть карета едет; мы пойдем пешком.

Петр Александрыч подошел к толпе крестьян, ожидавшей его. За ним двинулись все, исключая Филек, Фомок, Дормидошек с их женами и детьми, которые окружили карету своего барина и с диким любопытством рассматривали прибывших из столицы горничную и лакеев.

Петр Александрыч вставил в глаз лорнет и начал осматривать крестьян своих.

Староста подошел к Петру Александрычу с хлебом и солью, низко кланяясь. А за ним также поклонились все крестьяне.

— Эй, любезнейший! — закричал Петр Александрыч управляющему, — возьмите-ка у него хлеб.

Староста отдал хлеб управляющему и поклонился барину своему в ноги.

— *Кель табло! Сэ тушан. Не-спа, ма-шер?* [1] — произнес Петр Александрыч.

Засим господа, в сопровождении крестьян и дворовых людей, торжественно отправились к церкви. Управляющий, с открытой головой, шел рядом с Петром Александ-

---

[1] Какая картина! Это трогательно. Не правда ли, моя дорогая? (*франц.* Quel tableau! C'est touchant. N'est ce pas, ma chère?)

рычем. Несколько крестьянских мальчишек и девчонок, с растрепанными волосами льняного цвета, бежали перед господами задом, выпучив на них глаза, — и Антон, желавший обратить на себя внимание своего нового барина и следовавший тотчас за ним, поймал двух или трех мальчишек за ухо, оттолкнул их в сторону и произнес, нахмурив брови:

— Прочь вы с дороги, замарашки скверные! Господа изволят идти, а они тут под ногами шмыгают.

Прасковья Павловна, шедшая возле своей невестки, вдруг посмотрела на нее с выражением самой искренней нежности, протянула ей руку и сказала:

— Так-то, мой ангел Ольга Михайловна!..

Потом, спустя минуты две, опять обратилась к ней:

— Знаете ли, душенька моя, что у меня в уме вертится?.. Уж вы на меня сердитесь или нет, как хотите, а я не могу. Я буду называть вас, друг мой, просто Оленькой, если вы позволите мне; я буду говорить вам *ты*, — воля твоя, не могу — веришь ли, к кому у меня сердце лежит, так язык как-то не поворачивается сказать тому человеку *вы*. У меня, родная моя, сердце открытое, — что на уме, то и на языке, терпеть не могу скрытных. Уж как ты хочешь, милая, а я тебя буду называть *ты*...

— Мне очень приятно... я вас прошу об этом, — отвечала Ольга Михайловна.

— Спасибо, мой друг, спасибо тебе, — перебила Прасковья Павловна, — я буду уметь ценить твое расположение, поверь мне: я буду к тебе как родная мать, а не как свекровь. У тебя чувства прекрасные, это сейчас видно. Что у тебя будет на сердце — горе или радость, прямо иди к своей маменьке: я разделю все с тобой, мой друг!.. Вот она мне и чужая... — Прасковья Павловна указала на дочь бедных, но благородных родителей, — а она тебе скажет, умею ли я чувствовать... Я всю жизнь свою...

Прасковья Павловна вдруг замолчала и перекрестилась, потому что они подошли уже к самой церковной паперти, где ожидал их священник и дьякон.

Приложась к кресту, господа отправились на ограду, к могиле бывшего владельца села Долговки.

На этой могиле возвышался памятник из дикого камня с мраморным крестом наверху. Он был сооружен по ри-

сунку, присланному Петром Александрычем из Петербурга. На двух мраморных досках его было вырезано золотыми буквами — с одной стороны:

От признательного племянника — дяде. Здесь покоится тело раба божия, отставного майора Виктора Яковлевича Требушова, родившегося в 1779 году, февраля 8, скончавшегося внезапно от удара 1834 года ноября 9-го. Всего жития его было: 55 лет 8 месяцев и 1 день.

С другой стороны:

От нас сокрылся ты, увы! и так поспешно,
Оставив нас страдать в юдоли грустной сей.
В знак благодарности племянник неутешный
Над прахом родственным воздвигнул мавзолей!

Петр Александрыч преклонил колено перед этим памятником, Прасковья Павловна положила перед ним три земные поклона и потом, прослезясь, облобызала мраморную доску с надписью. Вслед за этим она обернулась к своему внучку и сказала:

— Сашурочка, душенька, вот здесь похоронен твой дедушка. Он наш всеобщий благодетель, мы всем ему обязаны.

Внучек, в ответ на эту бабушкину речь, промычал что-то такое... Бабушка поцеловала внучка, приговаривая: «Сокровище мое милое, понятливое дитя», и повела новоприезжих в церковь, а оттуда к дому.

— Довольны ли вы своим наследием, мои милые? — спрашивала Прасковья Павловна у детей своих.

— Очень, — отвечал Петр Александрыч, вставляя лорнет в глаз и озираясь кругом, — приятное местоположение.

— Ты, кажется, утомилась, друг мой Оленька? Такая что-то бледная? Это очень натурально с дороги... Тебе бы виски потереть одеколончиком: это бы сейчас тебя освежило...

— Она всегда такая бледная, — заметил Петр Александрыч, — впрочем, бледность, маменька, в моде.

— Именно так, — сказала Прасковья Павловна, — бледность придает интересность. Признаться, я терпеть не могу красных щек... Ты совершенно, Оленька, в моем вкусе.

Дочь бедных, но благородных родителей, в свою очередь, сказала Ольге Михайловне несколько очень ловких комплиментов, и, таким образом разговаривая, они подошли почти к самому дому.

Петр Александрыч первый ступил на крыльцо... На крыльце ожидали его Дормидошки, Фильки, Фомки и проч. Они отвесили барину низкий поклон.

— Вот это твои дворовые, голубчик, — закричала Прасковья Павловна, указывая на грязных исполинов, — прислуга у покойника была большая, он любил жить по-барски.

Антон отворил Петру Александрычу дверь в сени.

— А вот этот, Петенька, — продолжала Прасковья Павловна, указывая на мрачного Антона, — был камердинером при братце.

— И буфетчиком, сударыня, — возразил Антон, — и главный надсмотр имел надо всем. Слава богу, таки послужил, матушка!

Управляющий забежал вперед.

— Не будет ли угодно чего приказать, Петр Александрыч? — спросил он.

— Нет, спасибо, покуда ничего.

— Ну вот, хозяюшка моя дорогая, — сказала Прасковья Павловна, целуя свою невестку, — поздравляю тебя; ты теперь у себя в доме, а мы гости твои. Прошу нас любить да жаловать.

— Милая Ольга Михайловна! — произнесла дочь бедных, но благородных родителей, закатывая глаза под лоб.

Ольга Михайловна только улыбнулась на эти приветствия.

— Сюда, сюда, Оленька!

Прасковья Павловна схватила ее за руку и ввела в сени... За ними последовала дочь бедных, но благородных родителей, обе няни и Гришка с чемоданом на голове.

Антон проводил Гришку глазами и, обращаясь к Дормидошке, сказал:

— Вишь, молокосос, а какое тончайшее сукно на сюртуке! Спроси-ка, почем аршин этакого сукна! А мы вот и до седых волос дожили, служили не хуже его, а целый век проходили в этой дерюге.

Антон плюнул.

— Ах ты, жисть проклятая!

ГЛАВА II

Только что Петр Александрыч и жена его вошли в первую комнату, Прасковья Павловна остановила их, ушла и минуты через две воротилась с образом в вызолоченной ризе.

— Наклонитесь, друзья мои, — сказала она сыну и невестке, — дайте мне благословить вас. Вот так... Этот образ ты особенно должен уважать, друг мой Петенька; он переходил у нас из рода в род, и кого ни благословляли им, все жили необыкновенно счастливо, и покойница маменька и я; только богу не угодно было продлить к моему счастию дней моего голубчика Александра Ермолаевича.

При сем Прасковья Павловна заплакала.

— Как мне ни тяжело было, а я перенесла это испытание. Чего, подумаешь, человек не в состоянии перенести!.. Желаю вам, милые, чтоб вы всегда так же согласно жили, как я жила с моим голубчиком. Более этого я ничего не умею пожелать вам.

После благословения подали кофе, и потом все занялись разбиранием чемоданов. Прасковья Павловна и дочь бедных, но благородных родителей последовали за Ольгой Михайловной в ее комнату.

— Мне хотелось бы, — сказала дочь бедных, но благородных родителей, подходя к Ольге Михайловне, — быть вам чем-нибудь полезной; позвольте помочь вам разобрать ваши вещи...

Ей смертельно хотелось посмотреть гардероб столичной дамы.

Ольга Михайловна отвечала на это обязательное предложение наклонением головы и пожатием руки...

Каждую ленточку, каждую манишку, каждый платок, каждое платье, вынимаемые из чемоданов, дочь бедных, но благородных родителей пожирала жадными глазами. Она и Прасковья Павловна беспрестанно повторяли:

— Ах, как это мило! как это прелестно! ах, с каким это вкусом!

Время до обеда пролетело незаметно. В два часа доложили, что кушанье подано...

В столовой вокруг стола за каждым стулом стоял тяжелодышащий исполин; Антон был тут же. Несмотря на

такое количество прислуги, кушанье подавалось медленно, потому что каждый из исполинов имел привычку, переменив тарелку, удаляться с нею прежде в буфет и там долизывать барские остатки.

Петр Александрыч, садясь за стол, посмотрел на часы.

— Еще только два часа, — сказал он, потягиваясь, — а мы в Петербурге ранее шестого часу никогда не садились обедать.

— Наше дело деревенское, — заметила Прасковья Павловна.

— А это, маменька, что за вино?

— Не могу тебе сказать, дружочек; это уж не по моей части.

Петр Александрыч налил вино в рюмку, поднял ее к свету, отпил немного, поморщился и выплюнул.

— Что это за гадость! сладкое какое-то... Ведь у дядюшки, говорят, был славный погреб, и после него осталось много вин.

— Это виссант-с, — отвечал Антон, — дядюшка всегда изволили его кушать в будничные дни-с, когда гостей не было.

Петр Александрыч захохотал.

Прасковья Павловна сделала гримасу неудовольствия...

— Антон, у кого ключи от погреба?

— У кого-с? Известно у кого — у управляющего. Погреб припечатан его печатью.

— Беги же к нему, да скорей, принеси сейчас ключи ко мне, — сказал Петр Александрыч.

Антон мигнул Фильке, и Филька побежал исполнить приказание барина.

— И хорошо сделаешь, голубчик, если ключи от погреба припрячешь к себе, — произнесла умилительным голосом Прасковья Павловна, — а то на этого управляющего, — может быть, он человек и хороший, я не знаю, — не следует, кажется, совершенно полагаться...

Ключи были принесены. Петр Александрыч сам достал бутылку лафита и велел согреть ее.

После пирожного, которое было десятым кушаньем, исключая супа, подали различных сортов наливки.

Лицо Прасковьи Павловны просияло.

— Вот это уж по моей части, — сказала она. — Ты, Петенька, верно не пивал этаких наливок... Этим я могу

похвастаться. Попробуй вишневки-то, милый мой... Что, какова?

— Чудесная!

— Лучше меня, могу сказать, никто в целой губернии не делает вишневки; все соседи это знают, и Оленьку мою уж я научу, как делать наливки, непременно научу. Хорошей хозяйке все знать следует, а в женщине главное — хозяйство... Вот, примерно, жена вашего управляющего, что в ней? ничего не знает, экономии ни в чем не соблюдает... Ее бы, казалось, дело присмотреть за бабами, все наблюсти, — ничего не бывало. Она сидит себе сложа ручки да только умничает... В эти две недели я таки насмотрелась на нее: у меня все сердце переболело, глядя на ее хозяйство; конечно, мое дело сторона...

Прасковья Павловна обратилась к своей невестке:

— Вот когда ты войдешь, душенька, сама в хозяйственную часть, увидишь, правду ли я говорю. Соседка моя, Фекла Ниловна, — ты ее знаешь, Петенька, — она приехала в деревню, ничего не знала, а там помаленечку начала приглядываться, как и что: у меня, у другой спрашивала советы; советы никогда не мешают, — и теперь любо-дорого смотреть: у нее вся деревня по струнке ходит, в таком страхе всех держит. Какие у нее полотны ткут, салфетки — настоящие камчатные — прелесть...

Разговор продолжался в этом роде.

После обеда все отправились в диванную; так называлась небольшая комната, уставленная кругом высокими и узкими диванами. Стены ее были украшены тремя большими картинами в великолепных рамах. Картины эти, писанные масляными красками и отличавшиеся необыкновенною яркостию колорита, привлекали некогда просвещенное любопытство многих помещиков, и слава творца их Пантелея — крепостного живописца помещика села Долговки — прогремела по целой губернии. На двух картинах живописец изобразил своего барина, по его приказанию, в разных моментах его деятельности. На одной картине, занимавшей почти всю стену, барин представлен был величественно сидящим на коне, в охотничьем платье и картузе, спускающий со своры двух любимых собак своих, Зацепу и Занозу, на матерого русака, только что выгнанного гончими из острова... На другой он являлся в архалуке и с нагайкою в руке, любующимся на одетого по-рыцарски шута, своего любимца, которого

конюх сажал на лошадь. Предметом третьей картины была жирная нимфа, покоящаяся в лесу, списанная с дворовой девки Палашки, и сатир, смотрящий на нее из-за кустов.

Петр Александрыч занялся рассматриванием этих картин в ту минуту, как Прасковья Павловна разговаривала о чем-то с своею невесткою. Последняя картина в особенности привлекла его внимание...

Нимфа Палашка, по странной прихоти природы, как две капли воды походила на горничную Прасковьи Павловны Агашку, которая в эту минуту выглядывала из полурастворенной двери на приезжих господ. Это сходство не ускользнуло от любознательного Петра Александрыча. Заметив Агашку, он улыбнулся про себя с приятностию.

Между тем Прасковья Павловна приветливо обратилась к своей невестке.

— А что, Оленька, — сказала она, — я слышала, что ты удивительная музыкантша?

— Еще бы! — воскликнул Петр Александрыч. — Ее в Петербурге ставили наряду с первыми пианистками. Недаром же я прислал сюда рояль... я за него заплатил тысячу восемьсот рублей. К тому же она еще певица: у нее премилый голос!

— Приятно иметь такие таланты, моя душенька, очень приятно. Уж я воображаю, как ты блестела в свете и как мой Петенька, глядя на тебя, радовался. Ведь ты, я думаю, беспрестанно была на балах, дружочек?

— Нет, я выезжала мало, только к самым близким знакомым, — отвечала Ольга Михайловна.

— Мало? Отчего же мало, мое сердце? Почему же молодой женщине не выезжать?

Дочь бедных, но благородных родителей улыбнулась и возразила:

— Вероятно, вы шутите?

— Совсем не шучу, — сказала Ольга Михайловна, улыбаясь, — отчего же это вас так удивляет?

— Ах, помилуйте, как же не выезжать на балы?

— Она у меня такая странная, — заметил Петр Александрыч, потягиваясь на диване, — я хотел ввести ее в высший круг, а она и слышать не хотела. Она наклонна к меланхолии — это болезнь; я все говорю, что ей надо лечиться. Я предлагал ей самых первых докторов, которым у нас платят обыкновенно рублей по двадцати пяти, даже по пятидесяти за визит, — да она не хочет.

— Олечка, ангел мой! Правда ли это?

— Нет, вы не верьте ему; он обыкновенно все преувеличивает, — я совершенно здорова.

В эту минуту Петр Александрыч смотрел на дверь, откуда выглядывала Агашка.

— Деревенский воздух поможет тебе, моя душенька. Недурно бы тебе декохту попить...

— Выборничиха к вам пришла, — пробасил вошедший Антон.

— К кому «к вам»? — возразила Прасковья Павловна, — это, верно, не ко мне, а к Оленьке.

— Ну да, к ним-с.

— Зачем же ко мне? — спросила Ольга Михайловна.

— Верно, она тебе, душенька, нашего деревенского гостинца принесла.

Прасковья Павловна не ошиблась; выборничиха стояла в передней с сотовым медом. Ольга Михайловна вышла к ней.

— Матушка наша, кормилица! — говорила выборничиха, кланяясь и подавая мед, — прими, голубушка, медку-то моего, кушай его на здоровье.

Выборничиха поклонилась ей в ноги.

— Не нужно, не нужно, не кланяйтесь в ноги, я прошу вас, — заметила смущенная Ольга Михайловна.

— Не прогневайся, матушка наша, — отвечала выборничиха, — уж у нас такое заведение.

— Подожди меня немного, я сейчас приду, — сказала Ольга Михайловна.

Она ушла и минуты через две воротилась.

— Спасибо тебе за твой мед. Вот, возьми себе.

Ольга Михайловна вложила в руку выборничихи пятирублевую ассигнацию.

Выборничиха остолбенела.

— Что это, кормилица? на что мне это, матушка ты наша?

Выборничиха низко поклонилась. Но Ольги Михайловны уже не было в комнате. Антон, свидетель этой сцены, подошел к выборничихе.

— А что, много ли дала? — спросил он у нее.

Выборничиха показала ему синюю ассигнацию.

Антон нахмурился, взял ассигнацию; несколько минут смотрел на нее разгоревшимися глазами, поднес к

свету и потом, возвращая ее выборничихе, проворчал недовольным голосом:

— Пятирублевая! Вишь, какая щедрая! По-питерски, видно, денежками-то сорит.

— Ах, Антон Наумыч, — заметила выборничиха, все еще не сводя глаз с ассигнации, — она что-то, родимый, и на барыню-то непохожа: такая добрая!

Антон отошел от выборничихи, ворча:

— Нашла кому деньги дарить! Добро бы человеку понимающему, а то дуре этакой. Она не разумеет, что и деньги-то. Вот и служи тут тридцать лет...

Антон махнул рукой.

Ольга Михайловна возвратилась в диванную в то время, как Петр Александрыч описывал свое петербургское житье. Его описание, по-видимому, производило сильное впечатление на Прасковью Павловну и на дочь бедных, но благородных родителей.

— Меня все знали в Петербурге, — говорил Петр Александрыч, — решительно все. Если б я продолжал службу, я имел бы уж большой чин. — Говорят, что я вел большую игру... Да как же было не вести большой игры? Это было необходимо для поддержания связей... Со всеми этими господами нельзя же играть по десяти рублей роббер. Дмитрий Васильич чем выигрывал в свете? — картами. И согласитесь наконец, что же делать без карт? ну, холостой, я танцевал; положим, это холостому прилично, а женатому неловко, да и что танцами возьмешь? И что за важность, что я немного проигрался? Для человека, у которого такое состояние, как у меня, это не беда. Вышел в отставку, пожил в деревне, расплатил долги, накопил немножко — да и опять марш в Петербург. Проиграл сто восемьдесят тысяч — экая важность! я иногда в вечер по тридцати тысяч выигрывал — что такое? Заложишь имение, а там сделаешь оборот — и опять пошел себе... Можно увеличить оброк... А что, маменька, каковы наши соседи? Чудаки, я думаю, пресмешные должны быть.

— Соседи у нас очень хорошие, прекрасные, нигде не ударят себя лицом в грязь. Вот, например, Семен Никифорыч Колпаков... я ему еще выписала через тебя жилетную материю, помнишь?..

— А-а! — Гришка, сигарку!

Гришка принес ящик с сигарами. Прасковья Павловна осмотрела Гришку с ног до головы и всплеснула руками.

— Неужто это твой Гришка? Эк вырос-то! молодец стал, право, молодец! А давно ли, кажется, бегал по двору так, мальчишка крошечный? Господи! время-то, подумаешь, как идет!

Гришка подошел к Прасковье Павловне и поцеловал ей руку.

— Молодец! Тетку-то свою видел, Палагею?

— Как же-с.

— То-то же. Она тебя как сына родного любит... Нет, Петенька, насчет наших соседей — грех сказать. Семен Никифорыч редкий, отличных свойств человек. Обращайтесь с ним, мои милые, поласковее, покажите ему свое внимание, я прошу тебя об этом, Петенька, и тебя, друг мой Оленька. У кого родится сам-пят, сам-шост, а у него все сам-сём да сам-восем. Прошлый год какая у него гречиха была — просто на диво целому уезду. На нем особое, можно сказать, божие благословение.

— А что, он играет в карты, маменька?

— Играет; конечно, не по большой, душа моя, не по-вашему, по-петербургскому; а до карт охотник: и в вист, и в бостон, и в преферанс — во что угодно.

— И в преферанс? браво! Так здесь и в преферанс умеют играть?

— Уж ты нас, провинциалов, голубчик, так ни во что и не ставишь?.. Ну, вот еще у тебя самый ближайший сосед, в двух верстах от тебя, наш уездный предводитель, Боровиков Андрей Петрович, и с большим состоянием человек, вдовец; от покойницы жены у него два сына остались. Он все, бывало, с покойником братцем на охоту ездил и в бильярд играл.

— У Андрея Петровича, — продолжала Прасковья Павловна, — есть меньшой братец, Илья Петрович, холостой. Он сделан опекуном над малолетними Свищовыми — пребогомольный, претихого нрава, с бельмом на правом глазу. Они, после раздела, с братом поссорились и не видятся друг с другом. Так, право, жалко. Еще человек бесподобный исправник наш...

Прасковья Павловна долго описывала соседей села Долговки, и затем все отправились гулять в сад.

Петр Александрыч, привыкший к столичной чистоте и роскоши, был недоволен своим деревенским запущенным садом и повторял ежеминутно, что надобно вычи-

стить дорожки и посыпать их песком, смешанным с толченым кирпичом.

Приезжие отказались от ужина. Они чувствовали необходимость в отдохновении. Часов в девять все разошлись по своим комнатам. Прасковья Павловна, прощаясь с сыном и невесткою, обнимала, целовала и крестила их; потом отправилась в детскую, посмотрела несколько минут с умилением на спящего внучка, также перекрестила его, приговаривая: «Милое дитя, ангел» и проч., и поговорила с столичною нянюшкой, обещая ей подарить обнову.

Этот торжественный день, полный хлопот, тревог и разнообразных впечатлений, обитатели села Долговки и новоприезжие окончили различным образом.

Управляющий, выпивая ерофеичу на сон грядущий, думал:

«А славно все сошло, право! Петр-то Александрыч ничего не смыслит, и его можно надувать сколько душе угодно».

Прасковья Павловна, раздеваясь, рассуждала с дочерью бедных, но благородных родителей о своем сыне и невестке.

— Она, — сказала Прасковья Павловна, — очень мила, но есть что-то в ней странное, — этого нельзя не заметить, — и притом молчаливая какая-то.

— Я, по правде сказать, — возразила дочь бедных, но благородных родителей, снимая платочек с своей гусиной шеи, — совсем от нее не того ждала. И манеры у нее самые обыкновенные. Я не знаю, чему приписать ее неразговорчивость — или она горда, или, может быть... А Петр Александрыч премилый! Я просто им очарована. Что за ловкость, какие манеры, и должен быть большой *зоил.*

— Я тебе говорила, милая, заранее. В нем такое благородство, таким вельможей смотрит!

Петр Александрыч, потягиваясь на постели, думал:

«Право, и в деревне можно найти некоторые удовольствия... Карты, бильярд, охота... у меня же чудесный погреб, по милости дядюшки...»

Петр Александрыч начинал засыпать.

«Лафит рублей по восьми бутылка... Агашка недурна...»

Когда Ольга Михайловна осталась одна в своей комнате, она отворила окно. Это окно выходило в сад. На нее пахнул свежий, душистый воздух распускающейся зеле-

ни; вековые дубы отбрасывали от себя исполинские тени на широкий луг перед домом, облитый серебряным светом: пар подымался от пруда, и сквозь просеку сада виднелись бесконечные поля в синеватом ночном тумане...

ГЛАВА III

Петр Александрыч первые два дня после приезда осматривал свои хозяйственные заведения, с сигарою во рту, с лорнетом в правом глазе и с хлыстиком в руке. Все внимание обратил он на псарню, которая была в самом деле устроена превосходно покойным его дядюшкою, величайшим любителем псовой охоты. И хотя содержание ее требовало значительных расходов, но она поддерживалась и после смерти его, как при нем, по приказу нового владельца. Молодой барин долго простоял на псовом дворе, забавляясь с собаками. Из всех собак особенно обратила его внимание одна легавая.

— А как ее кличка?

Управляющий, сопровождавший Петра Александрыча, заикнулся.

Вдруг исполин Антон очутился перед Петром Александрычем и пробасил:

— Тритон-с, любимая была дядюшкина собака; верхочуй.

Петр Александрыч занялся с Тритоном.

Антон подошел к управляющему и прошептал, почесывая затылок:

— А что, батюшка Назар Яковлич, поговорите-ка барину-то о прибавке мне месячины... Ей-богу, иной раз ребятишкам есть нечего. Уж когда этак, знаете, что случится, так я готов с моей стороны всякое уважение вам сделать.

Антон искоса и значительно посмотрел на управляющего.

— Хорошо, Наумыч, хорошо, — отвечал управляющий тихим голосом. — Ты знаешь, когда я что сказал, то свято; я, дружок, и без барина могу тебе это сделать, изволь... Барин — человек молодой, он и не станет входить во все эти мелочи.

— Да, именно что так. Ей-богу, Назар Яковлич! Вы всегда обо всем справедливое рассуждение имеете. — Антон понюхал табаку. — Спасибо вам за суконце; только уж не прибавит ли ваша милость еще два аршинчика...

— Изволь, изволь...

Из псарни Петр Александрыч отправился на конский двор; как лошадиный знаток, у каждого стойла он рассекал воздух хлыстиком и, окритиковав дядюшкиных кобыл и жеребцов, захотел взглянуть на водяную мельницу. Управляющий, показывая ему устройство мельницы, объяснил, сколько на ней ежегодно вымалывается хлеба и какие помещики имеют в ней участие по своим купчим. Эти объяснения и рассказы совсем не интересовали Петра Александрыча. За мельницей находилась довольно большая роща, и он пошел к этой роще, насвистывая и напевая какой-то водевильный куплет. Окрестности села Долговки впервые огласились петербургскими звуками, и куплет Александринского театра смешался с пением и чириканьем божьих птиц... Помещик прошелся по роще и, обратясь к управляющему, сказал:

— Знаете, какая у меня блеснула мысль? Из этой рощи недурно бы сделать парк, как в Царском Селе или Петергофе. Право! Тогда бы славно кататься в нем.

— Конечно, это было бы бесподобно, да дорогонько станет, — заметил управляющий почтительно.

— Отчего ж дорогонько? А крестьяне-то на что ж? Нанимать людей, кажется, незачем.

— А кто же барщину-то будет исправлять, Петр Александрыч?

— Барщину? Да, правда.

Петр Александрыч засвистал...

Возвращаясь к обеду, на дворе у самого дома он встретил Агашку. Агашка была одета несравненно чище других дворовых девок и даже обута, тогда как все другие ходили обыкновенно на босую ногу.

Поравнявшись с молодым барином, Агашка кокетливо опустила глаза и поклонилась ему. Петр Александрыч отвечал на этот поклон с большою приветливостию и даже обернулся назад, с минуту провожая ее взорами. Антон не мог не заметить барского взгляда. Он был одарен большою сметкою и, оставив барина, тотчас отправился за горничной и догнал ее у прачечной.

— Агафья Васильевна, наше почтение! — Агашка не обертывалась. — Агафья Васильевна, что больно заспесивилась? — Он ущипнул ее.

— Ах ты, проклятый черт! как испугал меня, — вскрикнула Агашка. — Фу! так вот сердце и бьется.

— Ну вот, слава те господи! чего пужаться?

Антон потрепал ее по шее своею грязной лапой.

Агашка вывернулась из-под этой лапы.

— Нельзя ли подальше? — сказала она. — Смерть не люблю этих шуток.

— Вот уж и осерчала. Ах ты, барский кусочек! Недотрога королевна!.. А заметила ли ты, как *наш*-то на тебя поглядывает... Может, скоро и опять будет масленица, Агафья Васильевна...

— Масленица? Пьяница проклятый! у тебя, видно, спьяну-то все в глазах масленица...

Первые дни для новоприезжих проходили довольно однообразно, особенно для Ольги Михайловны. Прасковья Павловна и дочь бедных, но благородных родителей не давали ей ни одной минуты покоя: первая преследовала ее неистощимыми ласками и беспрестанно изъяснялась ей в своих нежных, материнских чувствах; вторая — для того чтоб блеснуть своею светскостию, говорила ей все комплименты. Они вместе продолжали занимать ее наперерыв различными очень забавными деревенскими приключениями.

На седьмой или на восьмой день пребывания Петра Александрыча в своей резиденции, в ту минуту, когда он выходил из псарни, слух его был поражен сначала бренчаньем экипажа, потом криками. Петр Александрыч вышел на главную деревенскую улицу и увидел в конце ее, при самом въезде, остановившуюся коляску.

— Кто это? — спросил Петр Александрыч у своего управляющего. — Чья это коляска?

— Это, должно быть, Петр Александрыч, кто-нибудь из соседей, — сказал управляющий.

Петр Александрыч прищурился, обдернул свой пальто, вставил лорнет в глаз и, насвистывая, отправился навстречу к приезжему.

Взорам его представилось зрелище великолепное. В коляске, которая, впрочем, походила не на коляску, а на челнок, высоко колыхавшийся на безобразно торчавших рессорах, стоял барин роста среднего, толстый, с рез-

кими чертами лица, в картузе, в синей венгерке с кистями и с кнутом в руке. Черные большие глаза этого барина гневно вращались из стороны в сторону... Он размахивал кнутом и кричал:

— Эй, вы!.. но... но... фю... фю... ну... ну... Оло-ло-ло!..

Эти увещательные междометия явно относились к лошадям; но лошади так же явно не хотели повиноваться и не двигались с места. Все это произошло оттого, что левая пристяжная (коляска запряжена была четвернею в ряд) задела постромкой за столб в воротах и, испугавшись, заупрямилась и поднялась на дыбы. Барин выходил из себя и обратился от лошадей к кучеру:

— Я те выучу ездить, олух! Затянул лошадей... Соколик-то весь в мыле...

Кучер сидел на превысочайших козлах ни жив ни мертв.

— Антипка! — барин обратился к своему лакею, который имел поразительное сходство с Антоном. — Антипка! тебе говорят, вислоухий осел... вишь, пасть-то разинул... возьми ее за узду да проведи... Ну же... что стоишь... чего боишься...

Лакей, несмотря на свои атлетические формы, точно, боялся подступиться к заупрямившейся лошади.

— Брыкается, сударь, — отвечал он.

— Брыкается! а вот как *я* начну брыкаться, тогда ты что заговоришь? Отвори дверцы!

Лакей бросился к дверцам; барин вылез из коляски и погрозил лакею и кучеру кнутом.

В это мгновение Петр Александрыч, окруженный своею свитою, должен был остановиться, потому что он подошел уже очень близко к месту описанного мною приключения. Приезжий барин приказал распречь лошадей и, увидев Петра Александрыча, пошел прямо к нему.

— А не вы ли, милостивый государь, — закричал барин, еще не дойдя шагов на десять до Петра Александрыча, — не вы ли, позвольте спросить, здешний помещик?

— Я, к вашим услугам.

Петр Александрыч расшаркался.

— Очень рад. — Барин приподнял картуз. Петр Александрыч протянул было к нему руку, но барин обнял Петра Александрыча, поцеловал его три раза и закричал:

— Я, батюшка, придерживаюсь старинки, извините. Может, у вас так это по-столичному и не следует, да мне

до этого дела нет. Нам уж куда до этих этикетов! Я деревенский дурак, деликатностей ваших не знаю. Позвольте еще раз вас обнять. Вот так... Ну, теперь имею честь рекомендоваться... Я Андрей Петрович Боровиков — может, слыхали про меня? Мое сельцо Покровка, Новоселовка тож, в двух верстах от вас. Милости прошу ко мне. Я, сударь, вдовец, имею двух детей. Мы хоть и деревенские, а живем-таки себе изряднехонько и не левой полой нос сморкаем.

— Очень рад познакомиться...

— Да уж рады или не рады, милостивый государь, там вы как себе хотите, а мы ваши гости. Назар Яковлич! здравствуй, милый... — Андрей Петрович обратился к управляющему, который отвесил ему низкий поклон.

— Что такое случилось с вашими лошадьми? — спросил Петр Александрыч у помещика, играя лорнетом.

— Что случилось? Это все анафемская рожа Антипка — мой кучер, ездить не умеет, сноровки никакой не знает... Пристяжная постромкой задела за столб, лошадь горячая, а он еще затянул ее.

Андрей Петрович обратился к управляющему.

— Распорядись-ка, Назар Яковлич, сделай одолжение, чтоб лошадкам-то моим овсеца дали... Да, сударь, Петр Александрыч... ведь вас Петром Александрычем зовут, если не ошибаюсь?

Петр Александрыч утвердительно кивнул головой.

— Да... так я вам начал говорить, что мы хоть и простые люди, хоть по-французски и не болтаем, — бон-жур и бон-тон, — а кое-что смыслим, — прошу извинить... Ну, пойдемте-ка.

Толстый помещик схватил за руку Петра Александрыча и повлек его к дому.

— А как надолго сюда приехали?

— Право, не знаю... смотря как поживется...

— Что тут «как поживется»? живите себе, да и баста... Здесь житье, слава богу, хорошее, люди есть всякие, и умные и глупые, ну да ведь и в Петербурге-то, я полагаю, то же самое: без дураков, милостивый государь, нигде не обходится; зато здесь по крайней мере скопишь себе и детям что-нибудь, а у вас там, в модном-то вашем свете... — Андрей Петрович вытянул губы и засвистал, — весь, с позволения сказать, просвищешься.

— А я, — сказал Петр Александрыч, посматривая беспечно на стороны, — я не проживал и того, что получал, хотя жил на самую роскошную ногу,

— Не верю, милостивый государь, не верю! — закричал Андрей Петрович.

Петр Александрыч, ожидавший, что все в провинции будут смотреть на него с тем почтительным благоговением, с каким в Петербурге смотрят мелкие чиновники на крупных, был изумлен, и, может быть, не совсем приятно, откровенным обращением своего соседа.

Андрей Петрович продолжал:

— Не верю, быть не может... Я хоть сам и никогда не бывал в Петербурге, а жена моя покойница была *петербургская,* хорошего отца дочь... А что это такое у вас болтается на ниточке, позвольте спросить?

— Лорнет.

Андрей Петрович взял лорнет, поднес его к глазу и потом, выпустив из руки, закачал головой.

— Извините мою откровенность; я, батюшка, деревенский дурак; у меня что на уме, то и на языке, и дядюшке вашему всегда говорил правду в глаза; по мне, это не лорнет, а просто балаболка: ничего в нее не увидишь. Мода, что ли, это у вас такая? уж по-моему, коли близорук, так очки лучше носи.

Петр Александрыч засмеялся несколько принужденно.

— Нет, — сказал он насмешливо, — у нас в Петербурге ни один порядочный человек не носит очков, все с такими лорнетами.

— Господи помилуй!.. — Андрей Петрович перекрестился и потом растаращил руки, — да что мне за указ *все?* Уж будто тот только и человек, кто вашей моды придерживается!

Таким образом, рассуждая и разговаривая, владелец села Долговки и гость его неприметно очутились у дома. В грязной передней, где обыкновенно Филька шил сапоги, Дормидошка чистил медные подсвечники и самовар, Фомки, Федьки, Яшки и другие храпели и дремали, лежа и сидя на деревянных истертых и запачканных лавках, Петр Александрыч закричал:

— Эй вы, сони! я всех разбужу вас...

Исполины вскочили с своих мест, вытянулись и устремили бессмысленные и заспанные глаза на барина. Ба-

рин бросил на них строгий взгляд и прошел в другие комнаты.

В дверях гостиной Прасковья Павловна встретила сына и гостя...

— Андрей Петрович! дорогой гость наш! — воскликнула она.

Андрей Петрович хотел подойти к руке ее, но Прасковья Павловна не допустила его до этого.

— Что это вы, Андрей Петрович, чтоб я стала на пороге с вами здороваться! Сохрани меня боже!

Она попятилась назад.

— Точно, матушка, точно, на пороге нехорошо! — прохрипел помещик, — я сам не люблю этого... Ну, а теперь пожалуйте-ка вашу ручку...

Андрей Петрович поцеловал протянутую ему ручку и, продолжая держать ее в своей руке, обратился к Петру Александрычу.

— Вот ручка-то была в свое время, — сказал он, — черт возьми! пухленькая, беленькая... да еще и теперь прелесть, ей-богу... Надобно вам знать сударь, что я волочусь за вашей маменькой, просто волочусь...

Эти слова очень приятно подействовали на Прасковью Павловну. Она нежно и с улыбкою посмотрела на деревенского любезника.

От Прасковьи Павловны Андрей Петрович обратился к дочери бедных, но благородных родителей и подошел также к ее руке.

— Анне Ивановне мое нижайшее почтение. Как поживать изволите?

Дочь бедных, но благородных родителей, украсившая себя мелкими сырцовыми буклями, бросила на вдовца-помещика взгляд чувствительный и потом, закатив, по своему обыкновению, глаза под лоб, отвечала несколько нараспев и в нос:

— Благодарю вас, слава богу.

— Мы всё с Анеточкой хозяйством занимаемся, — заметила Прасковья Павловна. — Она, это можно смело сказать, отличнейшая хозяйка. (Прасковья Павловна вздохнула.) Ну, Андрей Петрович, как я была обрадована приездом моих милых деточек — и сказать не могу...

— Поздравляю вас, поздравляю, — перебил Андрей Петрович, — я с почтеннейшим-то (помещик ткнул пальцем на Петра Александрыча) имел уже удовольствие

познакомиться. А где же ваша хозяюшка-то, Петр Александрыч? познакомьте меня, милостивый государь, с нею.

— Она у себя в комнате, — сказала Прасковья Павловна, — верно, сейчас к нам выйдет... Теперь я, Андрей Петрович, самая счастливейшая женщина в мире. Невестка моя Оленька — милая, скромная; внучек мой — настоящий херувимчик... Теперь мне остается только благодарить бога, порадоваться на ихнее счастие и потом умереть спокойно. Я уверена, что они не оставят мою сиротку... (Прасковья Павловна указала на дочь бедных, но благородных родителей.)

— Умирать! Зачем же умирать, матушка? Это вы говорите вздор.

Помещик потер ладонью желудок.

— А что, который-то час?.. Как будто эдак время и травничку выпить.

Он обратился к Петру Александрычу:

— Может, у вас там, по-столичному, и не следует этого говорить: но мы ведь деревенские дураки, всё рубим спроста. Вы сами-то употребляете ли травничек?

— Нет.

— Отчего? травник вещь целительная для желудка: а ваши ликеры и разные эти разности ни к черту не годятся!

Закуска и травник были принесены.

Помещик налил рюмку травника и поднес ее Петру Александрычу.

— Отведайте, каково? а?

Петр Александрыч выпил рюмку, поморщиваясь.

— Недурно, — сказал он.

— То-то же! надо войти во вкус... Поживите-ка с нами немного, да мы вас по-своему переделаем, почтеннейший.

Говоря это, Андрей Петрович наливал травник... Он поднес рюмку к своим толстым губам, высосал из нее целительный напиток, пополоскал им во рту, а потом проглотил его, крякнув раза два или три...

В эту минуту Ольга Михайловна вошла в комнату.

Прасковья Павловна, увидев ее, вскочила со стула и закричала:

— Оленька, мое сердце, представляю тебе доброго нашего соседа, Андрея Петровича Боровикова.

Потом она обратилась к Андрею Петровичу:

— А вам, Андрей Петрович, представляю мою милую невестку. Ну, какова моя Оленька, что скажете?

Андрей Петрович, занимавшийся разжевываньем колбасы, с заметным усилием проглотил ее, вытаращил глаза на Ольгу Михайловну и с маслеными губами бросился к руке ее.

— С нетерпением желал с вами познакомиться, сударыня. Прошу извинить; мы здесь в ожидании вас занялись существенным, по желудочной части.

Ольга Михайловна ничего не нашлась сказать на эту речь помещика и ограничилась только одним безмолвным приветствием. Вслед за тем начался общий разговор о причинах неурожая и урожая, о солении грибов и делании наливок; Прасковья Павловна заливалась, как соловей, когда дело дошло до приготовления последних. Андрей Петрович, в жару разговора, потягивал травничек; Петр Александрыч зевал, растянувшись в кресле; дочь бедных, но благородных родителей вздыхала, поглядывая на вдовца, и то поднимала глаза к потолку, то опускала их к полу; Ольга Михайловна глядела в окно... Вдруг послышался шум в передней — громкое восклицание: «Э-ге!» и стук подкованных каблуков.

— Уж, никак, это Семен Никифорыч... Вот сколько нежданных гостей у нас сегодня!

И с этими словами Прасковья Павловна бросилась в залу. Она не обманулась: перед нею стоял Семен Никифорыч, сухощавый помещик с необыкновенно длинным носом и с необыкновенно коротким лбом. Он был не первой молодости, но силен и крепок; у него висела сережка в ухе, как он говорил, от грыжи; его верхняя губа покрывалась черными усами; на нем был военный сюртук на белой подкладке как доказательство, что он служил некогда в коннице и вышел в отставку с мундиром. К пуговице этого сюртука был привешен кожаный кисет с табаком, а из кисета торчал коротенький чубук. К довершению всего Семен Никифорыч заикался.

Увидев Прасковью Павловну, он воскликнул:

— Э-ге?

Потом они поздоровались и обменялись значительными взглядами... Семен Никифорыч отстегнул кисет, положил его на стол и, предшествуемый Прасковьею Павловною, явился в гостиную. Она представила его сыну и невестке... Андрей Петрович, ударив по спине Семена

Никифорыча, прохрипел: «Здорово, дружище!» — и, подмигнув, указал ему на завтрак.

— Э-ге! За...куска до...брое дело, — возразил Семен Никифорыч... — Вот когда мы соберемся, бы...бы...бывало, я, эскадронный командир, еще два, три на... а...ашего эскадрона, бывало, я и говорю: э-ге!..

— Прополощи-ка, брат, рот травничком... — перебил Андрей Петрович.

Семен Никифорыч налил травнику и, обратясь к Петру Александрычу, сказал:

— За здоровье но... но...о...овоприезжих! — и выпил залпом.

— По-военному, дружище, по-военному! — вскрикнул Андрей Петрович, — а мы, гражданские, любим посмаковать прежде...

Выпив травничку, Семен Никифорыч вышел в залу, набил методически, с ученым видом знатока, свою трубку и сел возле Петра Александрыча.

Он посмотрел на него и, пустив дым из носа, сказал:

— Вы табак не ку...у...у...рите-с?

— Нет, я курю сигарки.

— Э-ге! это все немцы ввели в моду цигарки, а у нас, зна...ете, в полку и не зна...а...ли, что такое цигарки, а уж курилы-мученики были... Верхом, а трубка в зубах... А что, я думаю, хороши лошади-с в конной-гвардии?

— Чудесные, мастерски подобраны, как смоль черные, ни одного пятнышка нет, — отвечал Петр Александрыч.

— Э-ге! — Семен Никифорыч выпустил опять дым из носу.

Прасковья Павловна, казалось, была очень довольна, что у Семена Никифорыча с сыном ее завязался разговор, и она не сводила с них глаз.

— А где же Оленька? — спросила она вполголоса у дочери бедных, но благородных родителей.

— Она, кажется, в сад пошла.

— В сад?.. — Прасковья Павловна сделала невольную гримасу. — Очень странно! кажется, ей следовало бы гостей занимать; я полагаю, что это дело хозяйки. Стало быть, душенька, мы, деревенские, лучше столичных приличие знаем.

— Она, верно, ищет уединения!.. — Дочь бедных, но благородных родителей иронически улыбнулась.

— А что, милостивый государь, — сказал Андрей Петрович, подойдя к Петру Александрычу и подбоченившись фертом, — играете ли вы в бильярд?

— И очень. — Петр Александрыч небрежно приложил голову к спинке дивана. — Я в Петербурге всегда играл в клубе; там первый бильярд...

— Бесподобно! бесподобно!.. Не угодно ли со мною сразиться? а? Ну, конечно, куда ж нам, деревенским, за вами... вы ведь уничтожите нас.

Петр Александрыч принял не без удовольствия предложение толстого помещика, и все отправились в бильярдную. Исполин Федька, бывший маркёром при старом барине, явился к исполнению своей должности и, мрачный, прислонился к замасленной стенке.

— Ничего и никого! — прокричал он страшным голосом.

— Этот бильярд, я вам скажу, скуповат, — заметил Андрей Петрович, подтачивая кий, — дьявольски скуповат.

Он выставил шар.

— Малый! считай вернее да подмели-ка мне кий хорошенько или уж перемени его... этот что-то легок, канальство! Нет ли потяжеле?

Между тем Петр Александрыч срезал желтого в среднюю лузу.

— Э-ге! — сказал Семен Никифорыч, не выпускавший изо рта своего коротенького чубука.

Игра завязалась интересная. Андрей Петрович горячился и, несмотря на все свои усилия, проиграл сряду две партии.

— Вот как нас, деревенских дураков, столичные-то изволят обыгрывать! — сказал Андрей Петрович, прищелкивая языком. — Впрочем, милостивый государь, надо вам сказать, что я сегодня не в ударе; вы мастер играть, — а я все-таки не уступлю вам, воля ваша! Иной раз как и наш брат пойдет записывать, так только лузы трещат.

Победитель, улыбаясь, посмотрел на побежденного и сказал, зевая:

— Так скучно. Не хотите ли играть в деньги? В Петербурге я играл рублей по сто à la guèrre [1], а так, обыкновенную игру, — рублей по двести и больше.

---

[1] а ла гер (особый вид бильярдной игры. — *Франц.*).

У Андрея Петровича запрыгали глаза. Он положил кий на бильярд с особенною торжественностию и обратился к Петру Александрычу, сложив свои коротенькие ручки по-наполеоновски.

— Конечно! куда же нам, дуракам-провинциалам, гоняться за столичными! — сказал он, потряхивая ногою, — впрочем, и мы за себя постоим. Я, милостивый государь, игрывал тоже в свой век, и не *на изюмчик,* смею уверить вас...

Андрей Петрович вынул из-за пазухи огромный красный засалившийся портфель, туго набитый ассигнациями, и бросил его на бильярд.

— Я не прочь сделать вам, милостивый государь, удовольствие и не только двести, но и пятьсот выставляю чистоганом, хоть сию минуту... Почему разок, другой не пошалить? Я не скопидом какой — нет, прошу извинить, — я не похож на любезнейшего моего братца Илью Петровича, не стану дрожать над каждой полушкой. Деньги — нажитое дело, а вот ум — это другая статья.

Андрей Петрович посмотрел самодовольно на всех и положил портфель в карман.

Его энергическая выходка произвела сильное впечатление на Петра Александрыча. Петр Александрыч сделался к нему после этого несравненно внимательнее, посадил его возле себя и беспрестанно подливал ему в стакан мадеру. И Андрей Петрович во время стола, по-видимому, совершенно примирился с Петром Александрычем.

— Чокнемся, любезный сосед, — говорил он, поднимая кверху свой стакан, — чокнемся; соседи должны жить дружно, мирно, на охóту вместе ходить, и всё заодно! Теперь гордиться нечего, — Андрей Петрович обратился к Ольге Михайловне, — не правда ли, сударыня? Ведь он — ваш муженек-то, был столичный, а теперь стал наш брат деревенский!

Андрей Петрович в продолжение целого обеда говорил без умолку, а Семен Никифорыч все кушал и только два раза произнес: «Э-ге!..» Когда Прасковья Павловна начала объясняться о том, как она обожает детей и какое утешение доставляет ей внучек, Андрей Петрович перебил ее:

— Дети! гм! конечно, оно весело, когда они болтаются, покуда так, до ученья, а там как до этого пункта дойдет, так и почешешь в затылке. Хорошо, коли наско-

чишь на хорошего учителя, как я. А молодец у меня учитель, могу сказать, молодец! Недели две, как я его выписал из Москвы через одного приятеля, и еще, признаюсь, ничего дурного за ним до сих пор не заметил, — и должен быть — у-у! голова. Серьезный такой, мало говорит, и черт знает как у него терпенья достает: целый день читает или на фортепьянах бренчит. Из себя красавчик, белокурый, курчавый, лет двадцати семи, в университете обучался, и из благородных: отец его был дворянин... А когда же вы ко мне, любезный соседушка, а? Сами-то вы приедете, — это не в счет, нет — с супругою, с матушкой, с Анной Ивановной...

На длинном лице Анны Ивановны блеснула светлая улыбка надежды, и она скромно потупила взор, когда Прасковья Павловна взглянула на нее значительно.

— Я даром что вдовец, а ко мне таки жалуют и девицы и дамы... спросите у Прасковьи Павловны... Прасковья Павловна, что, ведь угощать умею, кажется?

— Уж мастер, мастер на угощение, что и говорить! — сказала Прасковья Павловна.

— Мой повар Игнашка, милостивый государь (Андрей Петрович потрепал по плечу Петра Александрыча), в Москве на первой кухне обучался, кулебяки и расстегаи так делает, что просто сами во рту тают. Я люблю хорошо поесть; желудочная часть, по-моему, дело важное в жизни, что ни говорите... А моя Степанида Алексеевна не дождалась Игнашки! Он еще был при ней в ученье, а то бы она на него порадовалась... Такой хозяйки уж не наживешь — нет! варенье ли варить, грибы ли солить, за девками ли присмотреть — на все была мастерица... Бывало, при ней дом как заведенная машина...

Андрей Петрович тяжело вздохнул и махнул рукой. На глазах его показались слезы.

— Что, впрочем, говорить об этом!.. Видно, так нужно... Бог лучше нас знает, что делает... Когда же вы ко мне, Прасковья Павловна, с невестушкой? Вот в следующую пятницу бы... на целый денек, с утра... И ты, Семен Никифорыч, изволь-ка являться. Ведь, я думаю, с неделю-то проживешь еще здесь?

Семен Никифорыч разинул рот, чтоб отвечать, но Прасковья Павловна предупредила его:

— Разумеется, проживет; что ему дома делать?

— Ко мне еще, — продолжал Андрей Петрович, — кое-кто из соседей обещался быть — и славно промаячим день. Бильярд же у меня, Петр Александрыч, важнейший; а уж на своем бильярде я вам не позволю обыграть себя, милостивый государь, нет! Еще, коли хотите, десять очков вперед дам... По рукам же, в пятницу?

— Непременно!

— Чокнемся же, любезнейший! — закричал Андрей Петрович, — а я, может статься, для новоприезжих-то небольшой сюрпризец устрою. Понимаете, Прасковья Павловна?

Андрей Петрович мигнул левым глазом.

Прасковья Павловна улыбнулась и кивнула головой.

— Да смотрите же, матушка Прасковья Павловна, ни гугу о том...

По окончании стола Андрей Петрович, опускаясь на диван с полузакрытыми глазами, прохрипел: «Нет, черт возьми! русскому человеку тяжело после обеда», — и, по его собственному выражению, *всхрапнул изряднехонько.* Петр Александрыч также предался искусительному сну; Семен Никифорыч, позевывая и покуривая из своего коротенького чубучка, разговаривал с Прасковьей Павловной.

Так прошло около полутора часа; потом сели играть в вист и проиграли до позднего вечера. Андрей Петрович, уезжая домой и садясь в свою висящую лодку, кричал стоявшему на крыльце Петру Александрычу:

— Смотрите же, я вас жду к себе, любезный соседушка, — да ну же, скот, Антипка! и подсадить-то не умеет... Не забудьте, милостивый государь, пятницы; супругу-то непременно привезите... слышите?.. А ты, олух, опять не задень за столб в воротах. А в пятницу кулебяка будет такая, мой любезнейший, что пальчики оближете, — отвечаю вам.

Андрей Петрович бухнулся в коляску...

Коляска двинулась.

— До свиданья! — закричал Петр Александрыч.

— Прощайте, любезнейший!

«Славный малый этот толстяк, — подумал Петр Александрыч, вернувшись в комнаты, — и какое ему счастье в карты везет, если б этак по большой играть!.. Ну а все-таки деревенщина».

В то время как Петр Александрыч, Прасковья Павловна и гости занимались вистом, Ольга Михайловна сидела у окна в своей комнате, выходившей в сад. Вечер был прекрасный; потухавший закат обливал розовым светом ее комнату. Душа ее была полна звуков. Они пробуждали в ней святые воспоминания, и перед нею являлся знакомый образ в заманчивой отдаленности. Она подошла к роялю и, послушная вдохновенной настроенности своего духа, запела серенаду Шуберта: [1]

Песнь моя летит с мольбою —
Тихо в час ночной...
В рощу легкою стопою
Ты приди, друг мой!

При луне шумят уныло
Листья в поздний час —
И никто, о друг мой милый,
Не увидит нас.

Слышишь? — В роще зазвучали
Песни соловья;
Звуки их полны печали,
Молят за меня.

В них понятно все томленье,
Вся тоска любви,
И наводят умиленье
На душу они.

Дай же доступ их признанью
Ты в душе своей —
И на тайное свиданье
Приходи скорей...

Вдруг она вздрогнула, голос ее прервался, дверь со скрипом повернулась на заржавленных петлях и... дочь бедных, но благородных родителей, в сырцовых буклях, вошла в комнату.

— Ах, как вы мило поете! прелесть! — сказала она. — Какой бесподобный романс! Он, верно, в моде... Какая у вас прелестная метода в пении!

— Вы находите? — сказала Ольга Михайловна.

— Я хоть и не музыкантша, а когда вы поете, нельзя не чувствовать; но простите меня, я помешала вам. Мне,

---

[1] Leise flihen meine Lieder и пр. *(Прим. И. И. Панаева.)*

право, так совестно... — Дочь бедных, но благородных родителей, расправив свое платье, расположилась на стуле.

— Я совсем не вовремя вошла к вам, — продолжала она. — Там внизу такая скука, и, признаюсь вам, я ужасно не люблю этого Семена Никифорыча; он без всякого образования, — а ваше общество мне так приятно. Вы такая образованная.

И, без умолку разговаривая, она более часу просидела у Ольги Михайловны. Ольга Михайловна вовсе не была намерена поддерживать разговор и почти все молчала или отвечала по необходимости на вопросы очень коротко и неудовлетворительно. Наконец, почувствовав неловкость своего положения, дочь бедных, но благородных родителей отправилась к Прасковье Павловне.

Она со слезами на глазах объяснила своей покровительнице, что, исполняя ее волю, она употребляла все старания, чтоб сблизиться с Ольгой Михайловной, но что Ольга Михайловна будто бы обращается с ней постоянно сухо и холодно, смеется над провинциею, называет Семена Никифорыча необразованным и проч. В заключение своей жалобы она принялась целовать руки своей благодетельницы.

Прасковья Павловна, наделенная от природы чувствительным сердцем, не могла никогда видеть равнодушно слезы, по ее собственному признанию.

— Бедная моя Анеточка! — сказала она, целуя дочь бедных, но благородных родителей, — полно, милая... Как тебе не стыдно огорчаться такими пустяками; что тебе на нее смотреть!.. Ну, бог с ней, коли она важничает! Оставь ее в покое. Уж я давно замечаю, что ее как ни ласкаешь, а она все в лес смотрит... И про Семена Никифорыча сказала, что он необразованный?

Прасковья Павловна в волнении начала прохаживаться по комнате и заговорила прерывающимся от досады голосом:

— Видите, образованная какая!.. А и с гостями заняться не умеет... Слова не может сказать... Экое прекрасное образование! Да и отец-то ее, говорят, не генерал, а полковник... Ну, обманулась я в ней, нечего сказать, обманулась!.. И заметила ли ты, дружочек, как она холодна с мужем? Я не видала ни разу, чтоб она его приласкала и поцеловала... Нищую взял — а она этак важничает! Она и волоска-то Петенькиного не стоит... и

он, кажется, уж понимает ее... я это заметила по многому...

Прасковья Павловна проницательно улыбнулась.

На следующее утро, за чаем, она встретила свою невестку с холодною вежливостью, отпустила несколько колкостей *насчет* воспитания столичных девиц и очень тонко заметила, что ничего нет хуже, когда молодые богатые люди женятся на бедных.

Ольга Михайловна была отчасти рада внезапной перемене в обращении с нею, потому что она не могла отвечать на беспрестанную ласку — ласкою, на беспрестанную любезность — любезностью. Она большую часть дня проводила одна — или в саду с книгою, или в своей комнате за роялем, или у кровати своего малютки, вместе с старухою нянею, которая почти не выходила из детской. Ильинишна вязала чулок, посматривая в очки на столичную нянюшку, качала головой и ворчала:

— Ох-ох-ох! то-то вы, модницы, и за ребенком хорошенько присмотреть не умеете... За вами надо глаза да и глаза... Оту грех, вот и петлю спустила!

— Позвольте, я подниму, Настасья Ильинишна, — восклицала столичная нянюшка.

— Подними, подними, родная; у тебя глаза-то молодые...

Ольга Михайловна всегда с особенным удовольствием смотрела на старуху няню, когда она ласкала ее сына.

— Ты его очень любишь? — однажды спросила у нее Ольга Михайловна.

— Ах ты, проказница-барыня! — отвечала, смеясь, Ильинишна, — да как же мне не любить его, моего крошечку? Разве он мне чужой?..

При этом ответе Ольга Михайловна вздрогнула. Она ухаживала за своим дитятею со всею заботливостью матери; по целым часам проводила у его кровати: но и здесь не оставляло ее то грустное чувство, которое выражалось в каждом ее движении... Она иногда взглядывала на спящего малютку и вдруг, как будто пораженная какою-то мыслию, вся изменялась в лице.

Петр Александрыч виделся с женою только во время завтрака, обеда, чаю и ужина... Остальное время он стрелял на гумне воробьев вместе с Семеном Никифорычем, ездил верхом по окрестностям, от нечего делать расхаживал на псовом дворе, изредка появлялся в прачечной и непременно раза три в день посещал конюшню.

— Красавец-то наш во все сам вникать изволит, — говорила няня. — Ну, барское ли это дело? Слава богу, кажется, есть кому служить... Да и то сказать (няня вздыхала), нынче дворня-то, без старого барина, уж совсем перебаловалась...

ГЛАВА IV

В пятницу, с раннего утра, к Андрею Петровичу начинали съезжаться гости. Солнце сияло во всем блеске. Андрей Петрович сидел на галерее, выходившей в сад, и с спокойным веселием смотрел на своих слуг, посыпавших песком дорожки сада. Возле него по правую сторону сидел лысый старичок небольшого роста, опершись подбородком на серебряный набалдашник старинной трости. Он смотрел исподлобья, кашлял и всякий раз, когда с ним заговаривал Андрей Петрович, отвечал ему с величайшим подобострастием. На старичке был истертый фрак покроя семидесятых годов, застегивавшийся спереди двумя пуговицами величиною со старинный пятак, а на фраке длинная владимирская лента с дворянскою медалью; сухощавые ножки его, в черных атласных панталонах с стразовыми пряжками у колен, воткнуты были в широкие гусарские сапоги грубой работы. Этот старичок холостяк, один из самых богатейших помещиков ***ской губернии, неистощимый предмет губернских анекдотов, — был необходимое лицо на всех помещичьих праздниках. Ему все оказывали по-своему особенное внимание, не исключая и самого губернатора, и все, начиная с губернатора, исподтишка подсмеивались над ним. Но такое внимание к нему целой губернии не возбуждало ни малейшей гордости в богатом старичке. Однажды он давал обед губернатору и, несмотря на убедительнейшие просьбы его превосходительства, ни за что не решился сесть в его присутствии и кушал в этот день за другим столом стоя...

— Однако отчего же вы не хотите сесть с нами, любезнейший мой Прокофий Евдокимыч? — сказал ему губернатор, улыбаясь и посматривая на гостей, которые также решились улыбнуться, поощряемые его превосходительством.

— Приличие не дозволяет, ваше превосходитель-

ство, — отвечал старичок с благоговейно потупленными глазами и низко кланяясь.

Носились также слухи, что у Прокофья Евдокимыча зарыты были в землю двести тысяч ассигнациями прежней формы, и когда он решился вырыть их, для перемены в казначействе на новые, — они от прикосновения его обратились в пыль...

— А что, каков у меня, смею спросить, садик, Прокофий Евдокимыч? — воскликнул вдруг Андрей Петрович. — А? что скажете, милостивый государь?

— Кому же и иметь все, как не вам, Андрей Петрович? — почтительно заметил старичок, отделяя свой подбородок от набалдашника трости, — вас бог благословил всем...

— Такого сада нет в целой губернии, — пропищал господин, сидевший по левую руку от хозяина дома, — у вас в оранжерее персики совершенно необыкновенного вкуса-с.

Андрей Петрович захохотал.

— Вот врет-то чепуху, — закричал он. — Ну какого же вкуса? Персики как персики.

— Нет, право, этак, не то слаще, не то...

— Не то горче? Ах ты, шут гороховый!..

Тот, к кому относились эти слова, был помещик семи душ, Илья Иваныч Сурков, отец многочисленного семейства, пользовавшийся некоторое время милостями Андрея Петровича.

Андрей Петрович назначил бедняку от себя небольшое содержание. Вследствие этого, как благодетель, он начал обращаться с облагодетельствованным без всякой церемонии и скоро обратил его в своего домашнего шута.

— Да, — продолжал Андрей Петрович, смотря на бедного помещика, — шут ты гороховый, что ты ни скажешь, так вот как обухом, братец, по лбу... Да что наши гости не собираются... Кажется бы, черт возьми, пора... Петербургский соседушка-то мой не думает ли приехать по-своему, по-столичному... Кажется, я ему строго наказывал, чтоб он с раннего утра явился ко мне.

— А кто это, смею спросить, петербургский? — спросил старичок.

— Петр Александрыч Разнатовский, новоприезжий, долговский помещик.

— Да, да, да! так это о них вы изволите говорить? А какого они чина?

— Чина-то, кажется, он не важного, а лихой малый; есть в нем немножко столичной дури, да это пройдет со временем...

— Что они, смею спросить, женатые или холостые?

— Женат, женат, да еще, говорят, на генеральской дочке.

При слове «генеральская» старичок повернулся на своем стуле.

— Вот что-с, — сказал он, подумав несколько. — Генеральская дочка... Имение богатейшее... Чего же еще в этой жизни? Слава богу, слава богу... И дяденька ихний прекрасный человек был... Сколько он изволил тратить на одни обеды... Впрочем, коли есть из чего, почему же и не тратить?

— Ну, любезный Прокофий Евдокимыч, ведь и вас не обидел господь состояньем-то, — а ведь уж не поистратится, знаю... Ведь у вас денег-то, я чай, только куры не клюют.

Андрей Петрович засмеялся.

На лице старика обнаружилось судорожное движение.

— Куры не клюют! — повторил он, тяжко вздыхая. — Эх, почтенный Андрей Петрович! чужая душа и чужой карман потемки.

Он отер губы пестрым бумажным платком и, после нескольких минут молчания, произнес:

— С собой в могилу ничего не возьмешь! ничего!

— Кажется, что так, — возразил Андрей Петрович. — Ох, Прокофий Евдокимыч, много, батюшка, за вами грешков водится. Я правду люблю говорить в глаза, вы это знаете... «Помни час смертный» — сказано в писании; пора покаяться; там ведь нас всех на чистую выведут, ей-богу, так. Перед богом запираться не будешь...

Старичок закашлялся.

— Все мы грешны... — отвечал он. — Ох, грешны! Я другое воскресенье сряду у обедни не был... Захирел, совсем захирел...

Андрей Петрович приготовлялся сделать еще какое-то возражение Прокофию Евдокимычу; он уже разинул рот, но вдруг в комнате, соседней с галереею, раздался страшный крик.

— Где? что?.. вишь какой? На галерее?.. а? Хорош хозяин! Погоди, вот я его! Кто с ним? Прасковья Павловна здесь? Что? Да говори громче?.. а? нету?

— Фекла Ниловна! матушка, Фекла Ниловна!.. — воскликнул Андрей Петрович, бросившись навстречу к новоприезжей барыне.

— Хорош, хорош, сударь, нечего сказать!.. Этак-то гостей принимаешь?.. Забился сам бог знает куда?.. Что... Не оправдывайся, кругом виноват.

— Да как же вы это так подъехали, матушка, что мы не слыхали?.. Эй, Антипка! Васька!.. Дармоеды проклятые! никто мне и сказать не пришел!

Андрей Петрович обратился к помещику семи душ.

— Ну, и ты хорош, Илья Иваныч! Просил тебя, братец, дать знать, кто приедет, а ты тут разиня рот слушаешь наши разговоры с Прокофьем Евдокимычем... Это, братец, совсем не твое дело... Виноват, матушка Фекла Ниловна... Ручку: не сердитесь! впредь этого не случится... Оплошал, что делать!

— Что? винишься? То-то же! Прокофий Евдокимыч... здравствуйте! сколько лет, сколько зим не видались... Знать меня совсем не хочет, забыл совсем. Здравствуй, Илья Иваныч! что детки? а? Сколько у тебя лет большенькому-то?.. а?

— Тринадцатый годок пошел-с; вот уж крестнице-то вашей пятый с Ильина дни пойдет.

— Что? Пятый?.. Наська! Наська! подай картонку-то!.. Слышишь?.. Извините, мой батюшка! Сейчас приду к вам, вот только чепец надену!.. Наська! Вели, Илья Иваныч, послать ко мне мою Наську... Ведь у тебя, Андрей Петрович, будет петербургская модница, так надо же немножко принарядиться; а то ведь еще, пожалуй, осмеет, чего доброго... Да что Прасковьи-то Павловны до сих пор нет?.. Наська! Наська! Где ты, бестия, была?.. Знаешь, что барыне надо одеваться!..

Фекла Ниловна отправилась с своей горничной в гостиную и минут через десять явилась во всей красе, в чепце с крылышками и с бантиками. Фекла Ниловна была женщина лет под пятьдесят, плотная, с приемами мужественными, повелительными, с голосом пронзительным. Она обладала большими хозяйственными дарованиями и страдала золотухой, отчего была несколько глуховата на правое ухо.

— Что, Андрей Петрович, много ли нынешний год яблонь купил? — сказала она, садясь в кресло, поставленное ей Ильей Иванычем. — А? сколько?..

— Да штук до пятидесяти, матушка; теперь у меня фруктовый-то садик будет — я вам скажу!..

— Что, почем? Белый налив? Садовник-то у тебя перестал пить?.. а? Сердита, батюшка, на твоего брата; ужасно сердита... Перекупил у меня лес... Я торговала у Ивана Астафьича; бревна толстые, задаром почти отдавали, хотела баню у себя новую выстроить, а он и подсунься тут — хоть бы предуведомил... О, плут какой!.. Что?.. Плут! так на даровщинку и лезет. И на что ему лес? чего ему строить? Завидливые глаза: только бы дешевенькое другому не досталось...

— А, да что об нем говорить! — с досадой заметил Андрей Петрович, — он надоел мне, чтоб ему...

— Надоел? что? А знаешь ли, батюшка, что он на прошедшей неделе, кажется, в четверток, — да, так и есть, в четверток, — в твои Холмищи заезжал и старосту вызывал, долго говорил с ним... Уж я это наверно знаю.

— Как?..

Андрей Петрович вскочил со стула, глаза его налились кровью, и он топнул ногой.

— Что такое? С моим старостой говорил? Полноте, матушка Фекла Ниловна, этого быть не может!..

— Что ж я, лгунья какая, что ли? У меня, кажется, язык-то все один: что в будни, что в праздник, лгать не привыкла. Быть не может! С детства не лгала, батюшка; извини, и сплеток смерть не люблю, а ссорить вас еще пуще мне нет никакой прибыли: я христианка... Даром что братец твой плут, а мне обоих вас жалко... Из одной утробы вышли, а живете хуже, чем кошка с собакой... А? не правда ли? Я бы рада была помирить вас.

Андрей Петрович стал перед Феклой Ниловной, заложив руки назад и нахмурив брови.

— Помирить? — закричал он. — Чтоб я с ним помирился? Я — с этим Иудой Искариотским?.. В своем ли вы уме, матушка Фекла Ниловна?

— Что? В своем ли уме? Я? Спасибо тебе, батюшка, сумасшедшую из меня хочешь сделать?.. а? С вами не сговоришь! Как хотите, так и живите... Лучше скажи-ка мне о петербургской-то, о жене соседа-то своего. Какова?.. а? Нос-то, я чай, подымает? важничает?.. а? Белокурая или черноволосая? Что? одета как-нибудь особенно?.. а?

— Соседи приехали-с, господа из Долговки! — проревел вошедший Антипка.

Андрей Петрович произнес длинное «а!» и пошел навстречу к гостям. Фекла Ниловна вся впилась в дверь, в которую должны были войти гости, и беспрестанно повертывалась на стуле от нетерпеливого ожидания.

Через минуту Прасковья Павловна бросилась в объятия Феклы Ниловны и потом подвела к ней свою *милую* невестку.

— Имею честь рекомендовать себя! — закричала Фекла Ниловна, пожирая глазами Ольгу Михайловну. — Прошу любить меня. Я, по правде сказать, тоже петербургская, я ведь родилась в Петербурге, матушка.

Дочь бедных, но благородных родителей нежно посматривала то на богатого старичка, то на хозяина дома.

— Батюшка Петр Александрыч! узнаешь ли меня? — продолжала Фекла Ниловна, бросаясь от Ольги Михайловны к ее мужу. — Еще маленького вас знала, вот такого... а? что? Помните, я вас на руках носила?

Петр Александрыч улыбался и раскланивался.

Среди этой суматохи приехало еще несколько гостей — барыня с четырьмя дородными воспитанницами, в венках на голове и в белых платьях с розовыми поясами; помещик в милиционном камлотовом сюртуке; заседатель, лекарь и еще два-три безмолвные лица.

Петр Александрыч познакомился со всеми. Ему было очень приятно, что он и жена его сделались предметом всеобщего внимания. Развалясь на диване, рассказывал он о своих петербургских подвигах; о своих друзьях князьях, графах и генералах. Около него составился кружок слушателей. Илья Иваныч и заседатель молча и значительно поглядывали друг на друга при каждом его слове, а богатый старичок каждый раз привставал, когда Петр Александрыч обращался к нему.

Хозяин суетился и бегал, угощал гостей завтраком, кричал на своих лакеев, бранил Илью Иваныча и потягивал помаленьку травничек.

В половине второго обед был готов.

Едва гости уселись за стол, как крепостные музыканты Андрей Петровича, скрытые в соседней комнате, заиграли увертюру из «Калифа багдадского». Андрей Петрович, разливавший суп, взглянул торжественно на Петра Александрыча и его супругу.

— Что скажете, сударыня? — закричал он. — Признайтесь, вы не ожидали, я думаю, чтоб у нас, у деревенских

дураков, могли быть сюрпризы такого рода? Я знал, что для вас уж лучше такого сюрприза не выдумать. Ведь вы сами славно, говорят, на фортепьянах играете... Послушайте-ка, послушайте-ка; вот пассаж чудесный...

— Ну, матушка! — продолжал Андрей Петрович, обращаясь к Прасковье Павловне, — невестушка ваша, точно, должна быть *дока* в музыке: посмотрите, вся изменилась в лице, как мои молодцы-то грянули.

В самом деле, на бледном лице Ольги Михайловны кровь вдруг выступила пятнами, но совсем не от знаменитой увертюры «Калифа багдадского». В конце стола, между заседателем и Ильею Ивановичем, она увидела молодого человека, давно знакомого ей; но теперь я должен на минуту обратиться к прошедшему.

Этот молодой человек, еще будучи студентом университета в Москве, довольно часто ходил в дом тетки Ольги Михайловны, у которой она воспитывалась, и даже некоторое время преподавал Ольге Михайловне уроки в *российской словесности*. Тетушка ласкала студента и, любя музыку, ободряла его музыкальные дарования. Он имел довольно приятный голос, и она часто просила его петь, заставляя свою племянницу аккомпанировать ему на фортепьянах. Отец Ольги Михайловны, добрый кавалерийский полковник со всеми претензиями старинного русского дворянина, был, впрочем, гораздо проницательнее тетушки. Он объявил наотрез, что все высшие науки, к которым он причислял и российскую словесность, считает совершенно бесполезными для своей Оленьки, что она должна быть не гувернанткой, а доброй, послушной дочерью, хорошей хозяйкой и женою. Вследствие этого он запретил ей не только брать уроки у студента и аккомпанировать ему на фортепьянах, но даже и говорить с ним. «Терпеть не люблю этих семинаристов, — повторял полковник, — и считаю неприличным, черт возьми! чтоб дочь старого рубаки имела какие-нибудь фамильярные сношения с этим народом!» Напрасно тетушка уверяла полковника, что молодой человек, читавший лекции его Оленьке, совсем не семинарист, а студент, что отец его был бедный дворянин и хорошо знакомый ей человек. Полковник ничего не хотел слушать. Несмотря на это, тетушка Ольги Михайловны по-прежнему принимала молодого человека в своем доме. Он иногда приносил Ольге Михайловне ноты и книги. Ему обязана она была

своим музыкальным развитием. Он познакомил ее с Шубертом. Для нее он перевел его «Серенаду», для нее набросал он свои мысли о нем и даже однажды, пересилив свою робость, решился все это отдать ей. Этот любопытный документ, случайно потом доставшийся мне, я кстати приведу здесь, не изменяя ни одного слова, чтобы ближе познакомить читателя с бывшим учителем Ольги Михайловны, которого она встретила так неожиданно. Прочтя его строки, я невольно повторял про себя:

Так он писал *тёмно* и *вяло*,
Что романтизмом мы зовем...
и проч.

«Давно, — писал он ей, — давно я хотел передать вам несколько слов о Шуберте; но при воспоминании о гармонических мелодиях его так переполняется все внутри, что мысли и слова теряются в хаосе невыразимых ощущений. Шуберт гениальный художник нашего времени; им некогда станет гордиться XIX век. И однако ж Шуберт не писал ничего, кроме песен. Но здесь-то и проявилась гениальность его. Он вывел этот род музыкальных произведений из его прежней тесной сферы: он возвысил простые песни до той высочайшей художественности, которая не зависит ни от духа времени, ни от местности, ни от направления века, — которая равна для всех веков, для всех образованных народов. Они — эти песни его — полны проявленья той глубочайшей, сокровенной внутренности души человеческой, которая невыговариваема. Он воплотил в звуки то невыразимое состояние души, когда она, погруженная в полноту своего чувства, разливается во что-то таинственное, бесконечное, неопределенное, и с невыразимой отрадой тонет в глубине ощущений, и упивается ими. Такое состояние души можно только назвать музыкальным. И оно, как вдохновение, не зависит от воли нашей. Благодатное, неожиданно сходит оно на человека, озарит душу его и исчезнет, ничем не удержимое, ничем не выразимое. И это-то таинственное чувство Шуберт уловил в его бездонных глубинах, извлек его из его священного сумрака, окристаллизовал и явил свету. Да, самая музыка, — вы понимаете это, — есть только форма, тело того невыразимого состояния души, когда она, переполнившись, охватывает весь организм человека и преображает его в одно чувство, блаженное

в самой скорби своей. Если создания Бетховена можно уподобить тем великим явлениям исторического духа, в которых он выходит из своей внутренности чувства и предстоит уже словом и делом, — то песни Шуберта исчерпывают ту таинственную сторону духа человеческого, которая остается скрытою для истории. Бетховен всегда торжествует как победитель; его творения — песнь вечной радости и могущества, светлая, праздничная сторона жизни, неотразимая победоносность идеи, торжество света над мраком. В Шуберте выразилась трагическая сторона жизни человеческой, мир ее сокровенной, внутренней сердечности. Если, наконец, симфонии Бетховена можно сравнить с гимном преображенного и вдохновенного человечества, то в песнях Шуберта предстоит не только человек со всею своею уединенною жизнию сердца, подверженный ударам судьбы и случайности, скорбящий, полный неудовлетворенных стремлений, любви, одиноких, тихих печалей, горьких укоров и утрат, — но вместе с тем и глубочайший внутренний мир с его священными видениями.

Впрочем, это лишь одна из сторон гения Шубертова. Преобладающий характер его песен почерпнут из того состояния души, которое я не сумел назвать иначе, как музыкальным состоянием. Это ощущение всегда слито с меланхолиею. Чувство радостное, пронесшись по душе человека, не погружает его в себя; оно имеет всегда внешнее выражение и улетучивается в нем. Оно, кажется, не столько сродно душе человека, чтоб могло долго оставаться в ней: душа выбрасывает из себя эти яркие, но минутные цветы и с любовию хранит в себе цветы туманные, бледные, более сродные ее влажной почве, — цветы меланхолии. Чувство радостное всегда ищет места и воздуха. В нем есть всегда какое-то самозабвение; но, с полнотою охватывая человека и быстро потрясая все струны души, оно извлекает из них не гармонический аккорд, а унисон. Радость исключительна — радость любит только радость. Грусть, напротив, растет вовнутрь своей почвы: это — подземный мир. Питаясь струями Стикса, она любит беспрестанно орошать себя его тихими струями. Это та влажная почва духа, из которой подымаются бесконечные стремления и порывания души, на которой восстают лучшие, благороднейшие идеалы человека... В грусти человек всегда сильнее и глубже все ощущает, живее всему

сочувствует; в грусти он все благословляет... Вы, верно, помните глубокий смысл Гетева «Теките, теките, слезы вечной любви» и слова безумной Офелии, что «горе есть праздник человеку». Меланхолия есть высшая, идеальная сторона грусти — это грусть, лишенная уже всего жгучего, тяжелого и темного, — а преобразившаяся в одно благоухание. Меланхолия — это эфир, внутренний элемент музыкального состояния души. И все создания Шуберта дышат меланхолиею. Редко отдается он ясным, наивным ощущениям, как в «Alinde»[1], или блаженствующему порыву сердца, как в «Серенаде». Он редко симпатизирует с стремлениями счастливой любви. Он любит погружаться в те туманные недра духа человеческого, где цветет память об исчезнувшем счастии, о потере людей, сросшихся с сердцем, где накопляется скорбь от противоречий жизни; он нисходит в те тайники, где разражается трагическая судьба, постигающая человека, где лежат печальные развалины существования, потрясенного горьким жребием...» и проч. и проч.

Так он писал темно и вяло, а Ольга Михайловна жадно перечитывала эти строки, пропитанные туманностию, в которой ей грезилось что-то поэтическое... Но мир скорби и страдания таинственно, еще как предчувствие, начинал уже развертываться перед нею... И в эти-то минуты Шуберт звуками своими открывал для нее сокровенную внутренность души человеческой, не выговариваемую словами... Эти звуки сливались с настроением ее духа, — и что-то родственное чувствовала она к человеку, который, объясняя ей Шуберта, объяснил ей многое в ней самой. С этих пор между *им* и ею уже существовала неразрывная духовная связь...

Тяжелые предчувствия ее начинали сбываться: тетка ее умерла; отец увез ее в Петербург, говоря, что «Оленьке пора пристроиться» и что в Москве «на женихов плоха надежда». С тех пор она не видала своего учителя, но как святыню берегла воспоминания минувшего и это письмо о Шуберте.

Неожиданная встреча с ним, которого она, может быть, никогда уже не надеялась встретить, заставила кровь выступить пятнами на лице ее, но она тотчас же

[1] «Алинда» *(нем.).*

затушила в себе это внутреннее волнение и с лицом спокойным обратилась к Андрею Петровичу, предложившему ей какой-то вопрос по хозяйственной части. Появление старого знакомого Ольги Михайловны в доме помещика Боровикова не было ни мало удивительно. Лишась единственной своей покровительницы, он года четыре провел в Москве в звании учителя, перенося всевозможные муки. С утра до вечера бегал он из одного конца Москвы в другой для добывания себе насущного хлеба и не видел конца этой мучительной жизни. Силы его ослабевали в тяжкой и бесплодной борьбе с внешними обстоятельствами; дух упадал; измученный своими уроками, к которым он начинал чувствовать отвращение, оскорбляемый на каждом шагу барскою спесью и невежеством, — не имея ни часа времени для себя, он иногда был близок к отчаянию. Мера терпения его переполнилась; он решился во что бы то ни стало бросить Москву и тотчас, воспользовавшись предложением своего знакомого, отправился в учители к детям Андрея Петровича за весьма ничтожную цену, с тою мыслию, что в деревне он будет иметь хоть несколько свободных часов в день. Об Ольге Михайловне он почти ничего не слышал в продолжение нескольких лет, кроме того, что она в Петербурге и замужем.

Он сначала долго вглядывался в нее, как бы не узнавая ее, — так несбыточна показалась ему мысль встретиться с нею в сельце Покровке, Новоселовке тож; но когда он услышал ее голос, тогда уже не оставалось для него ни малейшего сомнения. Эти тихие звуки были так знакомы его сердцу!..

После обеда музыканты перешли на галерею, выходившую в сад. Андрей Петрович приказал им грянуть плясовую, усадил гостей в комнате близ галереи и торжественно вывел на середину комнаты Илью Иваныча, который уже был немножко под хмельком.

— Ну-ка, сердечный, позабавь гостей! — вскрикнул ему Андрей Петрович повелительным голосом.

Илья Иваныч пустился вприсядку. Андрей Петрович стоял, подбочась фертом, и хохотал диким голосом, глядя на своего забавника; ему вторила бо̀льшая часть гостей; от поры до времени он приговаривал: «Молодчина! право, молодчина!» Вслед за пляской одна из четырех воспитанниц с венком, по просьбе хозяина дома, жеманясь и отнекиваясь, села за фортепьяно и пропищала «Соловья».

Андрей Петрович начал ей аплодировать. Барыня воспитанницы вскрикнула:

— Ведь Раисочка-то у меня самоучкой дошла до этого; никто ей не показывал, как петь!

— Что, матушка? — сказала Фекла Ниловна. — Я на это ухо, вы знаете, недослышу... Что?.. а?.. самоучкой? голосок хоть куда...

Дочь бедных, но благородных родителей, насмешливо улыбаясь, взглянула на Ольгу Михайловну.

Затем музыканты заиграли русскую, и два сына Андрея Петровича в красных рубашках явились на сцену. Их встретил в зале прием оглушительный... По окончании пляски гости обнимали, целовали и гладили их по головке.

Андрей Петрович повел своих гостей в новоразведенный им сад, образовавший правильный четвероугольник, разделенный дорожками на квадраты. В этом саду липы и березки были рассажены симметрически и чрезвычайно хитро подстрижены шапками, вазами и другими фигурами, а на самой середине его, на каменном пьедестале, поставлены были солнечные часы. К этому саду примыкал другой, фруктовый, с оранжереями, которыми в особенности гордился Андрей Петрович. Дамы остались в фруктовом саду, а хозяин дома с Петром Александрычем отправился играть в бильярд. В этот раз Петр Александрыч остался побежденным, и Андрей Петрович, восхищенный своею победою, потирая руки, беспрестанно повторял:

— Что, батюшка Петр Александрыч, и мы, деревенские дураки, дали себя почувствовать! Каков был последний-то ударец, как я желтого-то в угольную записал с треском?.. а?

Учитель после сцены с Ильею Иванычем не показывался; остальной вечер был проведен за картами... Играли на двух столах: дамы составляли свою партию, мужчины свою... Ольга Михайловна, как неиграющая, осталась в обществе дочери бедных, но благородных родителей и четырех девиц с венками на голове. Дочь бедных, но благородных родителей занимала всех своими разговорами. Ольга Михайловна и четыре девицы с венками молчали... Фекла Ниловна проигрывала и очень сердилась...

— Ну, матушка, — говорила она Прасковье Павловне, вытирая пот с лица и оканчивая игру, — экая игрища к тебе сегодня шла... а? что? признаюсь, с тобой играть

нельзя — и всё жлуди на вскрыше!.. — Фекла Ниловна отвела Прасковью Павловну к стороне: — Я от невестки твоей совсем другое ожидала... Да что она, матушка, ничего не говорит, а коли заговорит, так ничего не слышишь... что?.. Это в моде, что ли, под нос себе говорить?.. а? Ты знаешь, что я люблю откровенность, родная... Мы с тобой свои люди, говорить все можем.

Прасковья Павловна вздохнула.

— Ах, друг мой Фекла Ниловна, — уж между нами сказать, и я ожидала от нее совсем другого... Говорили бог знает что... и в столице воспитывалась, и генеральская дочка, а этого совсем ничего и не видно...

— А? что? не видно?.. Правда... Жаль сынка-то твоего: мог бы сделать лучше партию... а? Он такой из себя видный... Жаль... жаль...

— Фекла Ниловна, надо нам расчесться, — сказала одна из игравших барынь.

— Что, матушка? а? Недослышу... что такое?

— Расчесться надо, — закричала барыня.

— Ах, матушка, что это вы так кричите над самым ухом!

При расчете барыни начали спорить и горячиться. Расчет продолжался с полчаса и окончился только с помощию хозяина дома... Оказалось, что Фекла Ниловна проиграла два рубля двадцать пять копеек.

— Андрей Петрович, — закричала Фекла Ниловна, — заплати, батюшка, за меня Прасковье Павловне эти деньги... а? что? Заплатишь? Позабыла положить в ридикюль деньги... запиши на меня... а? Я, матушка Прасковья Павловна, еще, кажется, тебе должна что-то... а?.. Сколько? Ну, после сочтемся.

Перед ужином Андрей Петрович подошел к Ольге Михайловне и просил ее пропеть какой-нибудь романсик; но она отговорилась тем, что чувствует себя нездоровою.

Помещица, привезшая с собою четырех воспитанниц, сказала Фекле Ниловне:

— Вишь, какая важная!.. Считает нас, видно, незнающими в музыке, а Раисочка, верно, не хуже ее поет, — изволите видеть! не хочет, ломается...

— Браво! — воскликнул вдруг Андрей Петрович, как бы озаренный внезапным вдохновением и ударяя себя в лоб. — Да я вас удивлю сейчас... отличного музыканта вам выпишу... Мой детский учитель на все руки, просто

клад!.. играет и поет мастерски, детей моих взялся добровольно учить музыке без всякой прибавки...

Андрей Петрович обвел глазами комнату.

— Да где он?.. Антипка! эй, малый! попроси сюда учителя.

Учитель явился.

— Ну-ка, любезный, — сказал Андрей Петрович, ударяя его по плечу, — утешьте-ко публику-то, покажите-ко свой талантец, сыграйте нам этакую какую-нибудь штучку, да и спойте уж кстати.

Учитель покраснел и приготовлялся, кажется, отговариваться. Он поднял голову и взглянул на гостей, ожидавших от него ответа... Глаза его встретились с глазами Ольги Михайловны... Ему показалось, что и она просит его... Сердце его сильно забилось... Дом на Арбате, его первое свидание с нею, музыкальные вечера, Шуберт, его серенада — все это промелькнуло в голове молодого человека; он, не произнося ни слова, сел за фортепьяно и запел:

Песнь моя летит с мольбою
Тихо в час ночной,
В рощу легкою стопою
Ты приди, друг мой...

Ольга Михайловна неслышно встала со стула и отошла к окну... На дворе было темно; облака быстро неслись по небу; месяц изредка проглядывал из-за облаков, бросая мгновенный, фантастический свет на предметы... Она приклонилась головой к стеклу, и долго удерживаемые слезы хлынули горячим потоком из глаз ее...

При окончании последнего куплета серѐнады Андрей Петрович закричал:

— Славно, славно, — только, черт возьми! печально немножко.

— Очень недурно, — заметил Петр Александрыч тоном знатока. Он подошел к учителю.

— У вас чрезвычайно приятный голос, — продолжал он, — и знаете, это любимый романс моей жены; она его поет беспрестанно... Olga, Olga! Где ты? *У-э-тель?..* [1]

Но Ольги Михайловны уже не было в комнате...

После ужина ближайшие соседи Андрея Петровича собирались домой, остальные гости расположились

---

[1] Где же она?.. (*франц.* Où est-elle?)

ночевать у него и провести еще несколько дней. Начались сборы... Экипажи стояли у подъезда; нетерпеливые и раскормленные деревенские кони рыли копытами землю. Лакеи Андрея Петровича обступили одного кучера, внезапно свалившегося с козел и оказавшегося мертвецки пьяным... Его должны были заменить другим... На дворе был крик, шум, ругательства, споры, смех.

Ольга Михайловна собралась в путь прежде всех... В ожидании своего мужа, который потягивал мадеру с Андреем Петровичем, и Прасковьи Павловны, которая, одеваясь, разговаривала с своей приятельницей Феклой Ниловной, Ольга Михайловна в салопе и шляпке вышла на галерею, из которой был спуск в сад... Она прислонилась к колонне. С этой стороны дома все было тихо; только ветер шумел, качая ветви деревьев... Ей послышались чьи-то шаги в саду у самой галереи... Она уже сделала шаг, чтоб войти в комнату, — и вдруг остановилась, как бы приросшая к месту.

Перед нею стоял учитель.

Он робко поклонился ей; она в ответ на его поклон наклонила голову. Они долго стояли друг против друга, не будучи в состоянии произнести ни одного слова...

— Я никогда бы не думала увидеть вас здесь, — наконец сказала она.

— Моя встреча с вами так же неожиданна, — отвечал он.

— А вы не забыли старинного нашего друга Шуберта? — снова заговорила она.

— И вы — говорят... говорят, будто и вы иногда вспоминаете его!

Она вздрогнула.

— Кто вам сказал это?

— Ваш муж...

Голова ее упала на грудь, и длинные волосы, выходившие из-под шляпки и совершенно развившиеся от сырости, скатились на ее бледное лицо, полуосвещенное светом из окон, выходивших на галерею.

— Вы очень изменились! — произнес он голосом более смелым и глядя на нее.

Она ничего не отвечала; но из груди ее вырвался звук тихий, едва слышный, что-то похожее на подавленный вздох...

— Здесь сыро... — сказала она, — меня ждут... — Она отвела от лица волосы — и рука ее заметно дрожала.

В эту минуту дверь из комнаты на галерею отворилась... Дочь бедных, но благородных родителей высунула свою голову в дверь и закричала:

— Ах, ма-шер Ольга Михайловна, вы здесь, — а мы вас ищем везде. Прасковья Павловна уж совсем готова и только ждет вас.

Сказав это, она искоса взглянула на учителя...

Ольга Михайловна рассказала дорогою своему мужу и Прасковье Павловне о неожиданной встрече с своим старым знакомцем. На Петра Александрыча этот рассказ не произвел никакого особенного впечатления, а Прасковья Павловна воскликнула:

— Что ж, матушка, мудреного? гора с горой только не сходятся, а человеку с человеком всегда можно сойтись.

— Он такой интересный, — заметила дочь бедных, но благородных родителей.

— А я, признаюсь, и не обратила на него внимания, — сказала Прасковья Павловна.

— О... он мило по...оет, — проговорил Семен Никифорыч, — то...олько заунывное, а вот у нас в полку был о...офицер, то... он все пел: «Бра...а-атцы, дружно веселую».

После этого замечания водворилась тишина, прерывавшаяся только порой храпением Петра Александрыча. Ольга Михайловна прислонилась в угол кареты и закрыла глаза. И во всю дорогу молчание было нарушено только однажды вопросом Прасковьи Павловны:

— А что, покойно ли вам сидеть, Семен Никифорыч?..

ГЛАВА V

Превращение Петра Александрыча из петербургского франта в помещика совершилось очень скоро, как и должно было ожидать. Переход от бестолковой суеты, от внешней, одуряющей деятельности столичной к животной неге и к блаженству бездействия — необыкновенно легок. Деревенская жизнь, над которою он забавлялся и на бале г-жи Горбачевой, и в кондитерской Амбиеля, и в зале

Дюмѐ, теперь нимало не казалось ему смешною. Он начал вполне понимать различные удобства этой жизни и хотя еще не причислял себя к провинциалам, но между тем день от дня все более пристращался к провинциальной жизни. Он стал пить вместо ликера — травник и ерофеич; кушал после обеда вместо желе и фруктов — оладьи, блины, ватрушки и дрочену; перестал носить черепаховый лорнет на ниточке; отрастил себе брюшко, отчего модные и узкие сюртучки свои и фраки приказал перешить губернскому портному; несколько отек в лице, сделался немного сутуловат, почему казался ростом ниже прежнего и, прикрывая лысину, которая начинала сиять на голове его, стал зачесывать свои редкие волосы кверху в виде небольшого рожка. Все это делало его удивительно похожим на жучка, называющегося *актеоном,* подробное описание которого заимствовано мною из русского перевода Блуменбаха и выставлено эпиграфом к этой повести. Актеон (я буду его иногда называть этим именем для сокращения) начал не шутя входить в домашнее хозяйство. Он уж по целым часам проводил на псовом дворе и в конюшнях; даже сам вздумал лечить своих лошадей по «Конскому лечебнику», найденному им в небольшой библиотеке почтенного своего дяденьки, и очень сердился на старшего своего конюха за то, что четыре лучшие лошади его околели одна вслед за другою.

День в деревне проходил для Петра Александрыча незаметнее, чем в Петербурге, потому что он почти все кушал, — а еда, как известно, чрезвычайно сокращает время. Погреб дядюшкин служил для него также большою утехою. В управление своими деревнями он вмешивался только так, как обыкновенно вмешиваются настоящие господа, то есть требовал доходов от управляющего. Назар Яковлич вел себя в отношении к нему довольно искусно и всегда льстил его маленьким слабостям. Узнав, например, что Петр Александрыч пристрастился к новеньким, цветным ассигнациям и блестящим монетам, которые хранились у него в особом ящике с прехитрым замком, Назар Яковлич беспрестанно доставлял ему такие ассигнации и монеты; когда же владелец заводил речь о счетах по имению, спрашивая о употреблении доходных сумм, управляющий отделывался общими местами, заговаривал о планах своих касательно увеличения доходов, о надеждах на будущее, о том, что под его управлением

мужички начинают поправляться, и проч. Последнее, впрочем, было несправедливо. Неурожаи, продолжавшиеся несколько годов сряду, и, главное, двухлетнее управление Назара Яковлича, как замечали окружные помещики, довело долговских крестьян до жалкого состояния. Назар Яковлич, видя, что Прасковья Павловна имеет большое влияние над своим сыном и намерена навсегда поселиться в его доме, уладил так, что она приняла на себя бразды правления над женским полом и над ткачами в селе Долговке. Управляющий низко кланялся ей и говорил: «Ах, сударыня, с тех пор как вы изволите хозяйничать, ей-богу, любо-дорого смотреть на наших баб и на ткачей... так все идет бесподобно... Ну куда ж было моей жене соваться не в свое дело? Она дура, просто дура, сударыня!»

Таким образом управляющий вошел в милость к Прасковье Павловне и в лице ее приобрел для себя значительную покровительницу. Но всесильный и самый надежный покровитель управляющего — был Дмитрий Васильич Бобынин, опутывавший невидимыми и неразрываемыми сетями долговского помещика. В руках у Дмитрия Васильича находилась доверенность Петра Александрыча на залог его деревень и все его заёмные письма. Дмитрий Васильич писал к нему:

«Любезнейший друг, — будьте совершенно спокойны касательно ваших долгов. Я почти все ваши заемные письма скупил, единственно с тою целию, чтоб избавить вас от докучных кредиторов. Теперь вы будете иметь дело с человеком, душевно вам преданным, а не с ростовщиками. Напрасно, живя в Петербурге, вы не были со мной откровенны и таили от меня некоторые долги ваши. Признаюсь вам, непонятно, как в такое короткое время вы успели сделать столько долгов. Главною причиною этого — конечно, карты. Большие игры надо вести осторожно и умеючи. Впрочем, ваш долг мне, — ибо вы уже никому, кроме меня, не должны, — отчасти может быть уплачен тою суммою, которая досталась вам после покойного вашего дядюшки. Сумма сия отдана мною, по желанию вашему, в верные руки, и я могу, когда захочу, взять ее. Прилагаю при сем записку оного долга мне с расчислением процентов. Положитесь на меня, почтеннейший Петр Александрыч: я устрою ваши дела самым выгодней-

шим для вас образом. Я с детства привык любить вас, как родного, и потому как мне не принять участия в вас? Я странный человек: всегда дела близких мне людей озабочивают меня более, нежели мои собственные. Для своих дел я как-то ленив и неповоротлив; все собираюсь купить небольшое именьице в ваших местах и до сих пор не соберусь, а хорошо припасти себе уголок, чтоб со временем успокоиться от служебных трудов и пожить на свободе в свое удовольствие. Я завидую здесь вашей деревенской жизни. Истинно хорошо вы сделали, что решились ехать в деревню. Третьего дня заходил ко мне его превосходительство Антон Сергеич. Мы разговорились о том, о сем; зашла речь о сельских удовольствиях. Он вздохнул и сказал: «Эх, Дмитрий Васильич, лучше не говори об этом. Что наша за жизнь здесь? иной раз и в картишки некогда перекинуть: так завален бумагами! Кабы начальство не имело ко мне особой аттенции[1], словом сказать, кабы так не везло мне по службе, да кто, скажи на милость, принудил бы меня жить здесь? Деревня — это, братец, рай земной, там и воздух другой, да и люди совсем не те, патриархальность такая во всем...» Это совершенно справедливо. Кстати о деревне: прекрасно сделали вы, что прислали мне доверенность на залог ваших имений. С большими деньгами можно в сию минуту сделать превосходнейший оборот. Один опытный фабрикант, Карл Карлыч Гольц, устроивает на берегу Невы в огромных размерах бумагопрядильную фабрику на акциях. По самому верному расчислению, фабрика эта должна приносить огромный доход: двадцать и двадцать пять процентов. Прилагаю у сего расчисление: рассмотрите его внимательнее. За честность, благородство и знание дела фабриканта — я ручаюсь. Капитал на учреждение этой фабрики почти собран; недостает только 600 000. Вы знаете, как его превосходительство Антон Сергеич осторожен: вслед за ним закрыв глаза можно пускаться во все предприятия, а он, когда узнал о намерении Карла Карлыча, тотчас же выложил на стол 200 000 руб. и сказал: «Вот вам, батюшка Карл Карлыч, возьмите 200 тысяч чистоганом, — прибавлю к этому, что в ваши руки я мильона не побоялся бы отдать, если б имел». Заложив 1800 душ, вы получите 380 000 (считая по 200 руб. на

[1] расположенности (*от франц.* attention).

душу). Я за вас почти обещал эти деньги; поспешите же подтвердить вашим согласием мое обещание, — иначе вы упустите превосходный случай — улучшить свое дело, а это будет грех и стыдно. Вы отец семейства. Наш век положительный — мануфактурный, так сказать. Только те и получают деньги, у кого есть фабрики или заводы. Надо сделаться производителем, а потребителей, слава богу, много и без нас. С имения же, вы сами знаете, какие нынче доходы: год от года хуже. Хорошо еще, что у вас управитель малый честный и знающий. Я его всегда имел в виду для себя, — это не человек, а клад, и я ни за что не уступил бы его никому, если б у меня было большое именье. Придержитесь его: он вам будет полезен. Бога ради, отвечайте мне поскорей на это письмо, а то, чего доброго, если позамешкаетесь решением, — будет поздно... В Петербурге много охотников наживать деньги, и все они так и сторожат выгодного случая для помещения своих капиталов. Нынче все помешались на спекуляциях...

Новостей у нас много... об них когда-нибудь после. Максим Иваныч получил еще чин. Невероятное счастье! Впрочем, он человек вполне достойный... дай бог ему и еще больше. Вообразите, он на прошедшей неделе задал нам шлем. Я играл с Федором Маркычем, а он с генералом Косолаповым... У Косолапова была игра посредственная, а у него просто неслыханная: туз, король, дама, валет, десятка (пять онеров), восьмерка, семерка козырей, туз, король червей, а остальное всё старшие пиковки. Жена моя и я свидетельствуем наше искреннее почтение вашей матушке и супруге. Еще раз прошу о скорейшем ответе — и остаюсь

неизменно преданный вам

Дм. Бобынин».

Актеон был очень доволен этим письмом. «Дмитрий Васильич славнейший человек, — думал он, перечитывая письмо, — чудесная душа!.. Бумагопрядильная фабрика, да это бесподобно!.. — Он зевнул и подумал: — Вот тогда у меня будет новеньких-то ассигнаций, синеньких и красненьких... У!»

Он подошел к окну.

Поперек двора протянуты были на козлах веревки, а на веревках было развешано белье, которое ветер срывал

и разносил по двору... Дворовые девки беспрестанно бегали из одного конца двора в другой, поднимая его и снова развешивая. Между ними прохаживалась и Агашка. На Агашке было прекрасное ситцевое платье; талия ее стягивалась шнуровкой; ноги украшались тонкими чулками и козловыми башмаками. Она кричала на девок. Девки величали ее Агафьей Васильевной и поглядывали на нее с подобострастием; Антон, прислонясь к крыльцу людской и пощелкивая по тавлинке, вздыхал:

— Чего так разохался? — спросила его Агашка.

— Разохался! Ах, Агафья Васильевна!.. Уж вы знаете, что я имею к вам всякое уважение... — Антон почесал в голове... — Кабы вы попросили у старой барыни холстинки для моей старушонки и для деток. Совсем обносились, ей-богу. А вам барыня не откажет.

Агашка посмотрела на Антона, улыбаясь.

— Пожалуй, Наумыч, — отвечала она, — пусть Настасьюшка придет завтра ко мне. Я дам ей холстины, сколько она хочет.

— Ай да Агафья Васильевна! вот душа, можно сказать! На вас и смотреть-то любо, точно червонная краля.

Этот комплимент был заглушен криком гусей, которые поднялись с мест своих, хлопая крыльями.

Петр Александрыч долго стоял у окна и смотрел на эту картину. Он продолжал думать:

«Очень милая талия у Агаши... Сегодня же напишу ответ Дмитрию Васильичу... а у Маши глаза недурны... Непременно надо отдать капитал на филатуру... Андрей Петрович хороший человек и живет так себе, ничего — барином... Илья Иваныч презабавный... когда мне будет скучно, я пошлю за ним... Выпишу «Земледельческую газету» и «Журнал для овцеводов»...

Он отошел от окна и засвистал, — но это уже не был свист долгий и пронзительный, каким он оглашал свою холостую квартиру в Петербурге... Голос его потерял звонкость, движения потеряли резкость.

— Друг мой, — сказала ему Прасковья Павловна, входя в комнату... — я хочу поговорить с тобой.

— Поговорить? Хорошо, маменька.

— Сядем сюда, на диван.

Сын повиновался.

— Друг мой, ты знаешь, что вся моя жизнь в тебе, мой ангел.

— Знаю-с.

— Ну, поцелуй же меня... Давно я собиралась поговорить с тобой о жене твоей... Она добрая, тихая... но... позволь мне сказать тебе, мое сердце, что ты имеешь над нею мало влияния... Посмотри на нее, что у нее за манеры — ни малейшей приветливости... такая неласковая... Мне, например, хотелось, чтоб она подружилась с Анеточкой, — а Анеточка моя преумная и преобразованная девушка, ты сам видишь... Что ж? Ольга Михайловна совершенно оттолкнула ее от себя своею холодностию... Кажется, в столице получила образование, такого отца дочь, а не знает первых приличий... Гости приезжают, она, вместо того чтоб занять гостей, бежит от них... Помнишь, когда ты в первый раз обедал у Андрея Петровича? Фекла Ниловна так интересовалась ею, подсела к ней, завела с ней разговор. А она, поверишь ли? — я сама была свидетельница (другим бы я не поверила) — хоть бы какое-нибудь внимание показала ей. Ну, все-таки она старшая летами и к тому же уважаемая у нас целой губернией. Та спрашивает ее о чем-то, а она едва отвечает; потом сбираемся ехать домой, ищем ее, а она на галерее с учителем...

Прасковья Павловна остановилась на секунду и внимательно посмотрела на сына.

— Прилично ли это, мой друг, я тебя спрашиваю? Она говорит, что он учил ее там чему-то, ходил в дом ее тетки, — прекрасно: так со всеми учителями после этого и позволять себе фамильярное обращение; не нашла она, что ли, равных себе, с кем разговаривать? Вот Семен Никифорыч, например, гостил здесь, — во все это время хоть бы она малейшее приветствие ему оказала... Я знаю, он бы и дольше прогостил, — да говорит: что ж? я вижу, что хозяйке дома неприятно мое присутствие, — и уехал... Если она будет так отталкивать хороших людей и знаться с какими-нибудь учителями, бог знает, что из этого выйдет...

Петр Александрыч слушал свою маменьку довольно равнодушно. На лице его не заметно было ни малейшего волнения; оловянные глаза его бессмысленно упирались в стену. Беззлобный и тихий, он инстинктивно понимал превосходство жены своей над собою, предоставляя ей всегда полную свободу. Он был очень доволен ею, потому что она также нисколько не вмешивалась в его

времяпровождение; безбоязненно проигрывал он в карты, волочился и хвастал. В первые месяцы брака многое, впрочем, казалось ему странным в ней: он не понимал, отчего не отвечала она на его ласки и как будто старалась избегать их; отчего, живя в полном довольстве, скучала и не хотела выезжать и отчего не гуляла с ним по Невскому в отличном бархатном капоте, который, по мнению его, долженствовал произвести величайший эффект. Но впоследствии он привык ко всему этому. В Петербурге никто не вмешивался в семейные дела их: отец Ольги Михайловны, казалось, начинавший раскаиваться в том, что выдал дочь свою против ее воли, щадил ее грусть. И тоскливая тишина постоянно царствовала в доме Петра Александрыча до приезда его в деревню.

Но уже нетрудно было предвидеть, какая участь ожидала здесь Ольгу Михайловну. Она должна была возбудить против себя и сплетни, и клеветы, и оскорбления, и участие — все эти орудия раздражительного и злобного невежества, которое тяжко и беспощадно мстит тем, кто выходит из-под его уровня...

Прасковья Павловна была поражена спокойствием, с каким Петр Александрыч выслушал ее речь.

— Что ж ты, Петенька, молчишь? — снова начала она изменяющимся голосом, — или, может быть, ты недоволен, что я начала с тобой разговор об этом предмете?.. По крайней мере я считала долгом, любя тебя, посоветовать...

— Да я, признаюсь вам, маменька, — перебил Петр Александрыч, — не понимаю, как же вы говорите, что жена моя не знает приличия... Она получила отличное воспитание, это в Петербурге все находили. Одному музыкальному учителю ее платили, кажется, рублей двадцать за урок... ей-богу. А у нее уж такой характер, знаете, мрачный. Это ничего; что ж!

Прасковья Павловна изменилась в лице.

— Друг мой, я не стану говорить тебе, как я тебя люблю... сколько жертв я принесла для тебя в жизни...

На глазах Прасковьи Павловны показались слезы.

— Я до сих пор молчала об этом... (Это не совсем справедливо, потому что о своих жертвах Прасковья Павловна непременно упоминала в каждом письме своем к сыну.) Любовью своей к тебе я не хвастаю: смешно было бы мне не любить единственное мое сокровище,

оставшееся мне после́ покойного... дитя, которое я носила под сердцем...

Прасковья Павловна зарыдала.

— Но если, милый мой, я не заслужила любви твоей, если я не стою твоего внимания, если ты променял меня на жену свою, если она дороже тебе, бог с тобой... Я покорюсь своей горькой участи, уеду отсюда, найму себе маленькую избушечку возле Воздвиженского монастыря... мне ни прислуги не нужно — никого, никого, кроме девки — без девки уж я не могу... надо же будет кому-нибудь накормить меня, питье подать... посвящу себя богу, — это, впрочем, мое давнишнее намерение... там же живет одна моя знакомая старушка — истинно добродетельной жизни, — она закроет мне глаза.

На лице Петра Александрыча показалось беспокойство.

— Помилуйте, маменька, да что это значит? что это с вами сегодня?

Прасковья Павловна тяжело вздохнула и закачала головой.

— Не сегодня, мой ангел, — нет; ты только ничего не замечаешь, а я многое, к сожалению, вижу.

Прасковья Павловна махнула с огорчением рукой.

— Ну, да что говорить!.. Я далека от того, чтоб заводить в доме неприятности, ссору... Это не в моем характере, сохрани господи! Но Ольга Михайловна явно невзлюбила меня — и не понимаю, не могу себе отдать отчета — за что. Я, ты знаешь, умею любить; ты сам видел, как я за ней ухаживала, просто, можно сказать, в глаза ей смотрела, как будто я невестка, а она свекровь... И какая же мне награда за это? Видно, уж моя доля такая!.. Кому ни оказывала в своей жизни внимания, кому ни делала благодеяний, никто не чувствовал этого. Вот, слава богу, вы здесь, кажется, более трех месяцев, — ласкового взгляда от нее не видала, поверишь ли? А по всему, кажется, она бы должна была во мне искать, а не я в ней: так по крайней мере я рассуждаю по-деревенски. Что делать? Я не получила модного воспитания, моим учителям не давали по двадцати рублей за урок, а, слава богу, до сих пор не уронила себя нигде, умела всегда чувствовать свое достоинство.

Прасковья Павловна встала с дивана и остановилась против сына.

— У меня есть до тебя просьба, мое сердце,— уверена, что ты мне в ней не откажешь, успокой меня, ради бога, успокой!.. Может быть, после этого я уж не стану ничем тревожить тебя. Кажется, жена твоя сердита на меня за то, что я взяла на себя хозяйство в твоем доме, а может, и за другое за что-нибудь... до поры до времени я молчу. Может, она хочет сама всем распоряжаться — и прекрасно, очень рада, — отдай ей все, пусть ее будет полной хозяйкой в доме... Мне бы и не следовало вмешиваться не в свое дело — глупо поступила, признаюсь. Я, впрочем, думала, что она еще женщина неопытная, не привыкла к деревенскому хозяйству; что я, взяв все заботы на себя, помаленьку буду приучать ее ко всему; что она ко мне, как к матери, будет приходить во всем спрашивать советов... Ошиблась, сама винюсь, что делать!.. Так ты избавишь меня, друг мой, от всяких хлопот, не правда ли?

— Помилуйте, маменька: как это можно? — возразил Петр Александрыч, — ни за что в свете... Я очень рад, что вы взяли на себя хозяйство. Вы на это мастерица, и управляющий говорил мне, что уж такой хозяйки трудно сыскать, как вы...

— Нет, нет — и не говори мне лучше об этом и не проси... Я, чтоб избегнуть всех сплетен, твердо решилась предоставить все Ольге Михайловне. Пусть она как хочет, так и распоряжается. А мне уж трудно на старости переносить огорчения — да еще при моем слабом здоровье! Мне немного и жить остается. Назначу Анеточке в духовном завещании двадцать тысяч, она за мной и за больной ходила, как дочь, и всегда была при мне, — ты, верно, против этого ничего не скажешь... Остальное, голубчик, ведь все тебе достанется, с собой в гроб ничего не возьму. Поплачешь и об матери, когда она на столе будет лежать; узнаешь тогда и мне цену!

Слезы катились по щекам Прасковьи Павловны, и голос ее дрожал, когда она произносила последние слова. Петр Александрыч также прослезился. Ему стало жаль ее, и в первый раз неудовольствие и подозрения зародились в нем против жены. Он поцеловал ручку Прасковьи Павловны и сказал:

— Успокойтесь, маменька; уж я вас ни на кого не променяю.

Она крепко прижала его к своему сердцу. И таким образом минуты с четыре мать и сын пробыли в объятиях

друг друга. Прасковья Павловна после долгих и неотступных просьб его решилась оставить под своим заведованием хозяйство и вышла от него торжествующая.

Дочь бедных, но благородных родителей ожидала ее в своей комнате.

— Ну что, Прасковья Павловна?.. — спрашивала она, бросаясь к ней навстречу, — ах, как вы расстроены, вы плакали... Не хотите ли помочить виски одеколоном?

Она сделала жалостную гримасу.

— Ничего не нужно, мой друг... Благодарю моего бога, я еще не потеряла сына. Она еще не успела искоренить в нем чувства, а уж старалась, как старалась! Сначала он очень неприятно выслушал, когда я заговорила об ней, потом немного тронулся моим горем и слезами... Ну, Ольга Михайловна! признаюсь — хороша штучка!.. Ты проницательнее меня, Анеточка! Ты ее угадала с первого раза... Вот в тихом-то омуте черти водятся, правду говорит пословица. Я ему ничего не говорила, знаешь, о том, что ты мне рассказала... Погожу еще немножко; посмотрю, что будет; да и к чему теперь говорить? может, еще и получше что-нибудь узнаем... Перехитрить думает нас, столичная барыня! Нет, мы хоть и деревенские, а не поддадимся в обман.

С этого дня Прасковья Павловна начала решительнее обнаруживать власть свою в доме сына. Она выписала из своей деревни несколько дворовых семейств и этим еще более увеличила и без того многочисленную долговскую дворню; уговорила сына, чтоб он целое семейство *подарил* Семену Никифорычу, и ему же в подарок приказала выткать шесть дюжин тонких салфеток и четыре скатерти. Звонкий голос Прасковьи Павловны раздавался по всему дому. Она целый день была в хлопотах и занятиях, мерила холстину, надзирала за девками, сама изволила ходить за грибами с Анеточкой; сердилась, кричала на неповоротливую прислугу; для возбуждения ее деятельности употребляла иногда меры более действительные, чем брань и крики; по вечерам же посылала для своего развлечения за попадьей. Дьяконицу она не любила и называла «сплетницей». С Ольгой Михайловной виделась только во время чая, обеда и ужина; говорила ей *вы* и нарочно при ней еще более обыкновенного оказывала нежности своей Анеточке. Дочь бедных, но благородных родителей вела себя довольно хитро и осторожно. Она, как всегда, оказывала

всевозможное внимание Ольге Михайловне, старалась даже угождать ей, и между тем была душою заговора, составившегося против нее. Прасковья Павловна играла в нем роль второстепенную и руководствовалась во всем советами своей Анеточки. В тайны этого заговора были допущены — Агашка, Антон и Гришка, которые должны были следить за малейшим движением Ольги Михайловны и обо всем доносить Прасковье Павловне. Антон, питавший прежде зависть к своему собрату, приехавшему из столицы, у которого все платье было из тонкого сукна, совершенно примирился с ним с тех пор, как Агашка приняла Гришку под свое покровительство. Прасковья Павловна, деспотически обращавшаяся со всеми дворовыми бабами и девками, — оказывала беспредельную благосклонность одной Агашке.

ГЛАВА VI

Однако ни Прасковья Павловна, ни дочь бедных, но благородных родителей (при всей проницательности) не могли заметить перемены, совершившейся в Ольге Михайловне с того дня, в который Андрей Петрович угощал своих новых соседей обедом и увертюрой из «Калифа багдадского». Эта перемена в ней не могла быть уловима для их глаз: она совершалась внутри ее. Ольга Михайловна реже ощущала эту страшную пустоту, это беспредельное, мучительное сознание одиночества, которое три бесконечные года не оставляло ее. И хотя она после еще видела *его* только один раз и в этот раз не поменялась с ним ни одним словом, но мысль, что недалеко от нее есть человек, понимавший ее, близкий ее сердцу, — эта мысль действовала на нее успокоительно. Ее страдания иногда утишались и переходили в тихую грусть — в то эфирное чувство меланхолии, о котором *он* писал ей некогда, объясняя Шуберта. Душа ее чаще открывалась для звуков великого композитора, и она глубже воспринимала их в себе и отраднее упивалась ими. Под влиянием этого вдохновенного, музыкального состояния души она смотрела и на природу, окружавшую ее. И тогда все представлялось ей в другом свете, все получало для нее жизнь и значение — листы, падающие с деревьев, озеро, лениво приподнимав-

шее свою свинцовую грудь, над которым лентою тянулось стадо диких уток, необозримые нивы, щетинившиеся жнивою, и огонек отдаленной деревни, то ярко вспыхивавший, то потухавший... Она терпеливо сносила насмешливые взгляды Прасковьи Павловны, рассеянно выслушивала ее колкости, вполовину понимала ее тонкие намеки; не видела перемены в обращении с нею мужа и не подозревала, какими сетями приготовлялись опутывать ее. Она как будто забылась на минуту в уединенной жизни сердца. А отношения к ней Прасковьи Павловны и Петра Александрыча делались так очевидны, что скоро вся дворня перестала смотреть на свою молодую барыню с тою робкою боязнию, с какою обыкновенно смотрят лакеи на своих господ. Все наперерыв старались показать свои услуги барину, старой барыне и дочери бедных, но благородных родителей, а об Ольге Михайловне никто не думал и не заботился. Только из всей дворни одна старуха няня своим бессознательным, но сильным чувством привязалась к ней: няня по-своему понимала ее тоску — и, как умела, старалась показать ей свое участие.

— Полно тебе скучать, моя родимая, — говорила она ей, устремляя на нее свои глаза, помутившиеся от старости, и сжимая ее руку своей костлявой и дрожащей рукой, — полно, моя матушка... Бог даст, все пройдет, все переменится. Вот здесь твое сокровище (она указывала на спящего малютку), — посмотри на него, порассейся немножко, авось у тебя будет на сердце полегче. Ох-ох, моя сердечная! и я потерпела много горя на свой век, — а вот дожила себе до старости.

Однажды после обеда (это было в исходе сентября) Ольга Михайловна собралась гулять. Она гуляла всегда одна и отходила довольно далеко от деревни, невольно возбуждая этим подозрения Прасковьи Павловны и тайные насмешки дочери бедных, но благородных родителей. В этот раз Ольга Михайловна вздумала идти по дороге, которая вела к сельцу Андрея Петровича. Дорога эта была несравненно живописнее других: она шла извилинами, то возвышаясь, то понижаясь. С правой стороны далеко раскидывались пажити, и только у самого горизонта виднелись горы, издали более походившие на облака. С левой некогда поднимался большой лес, принадлежавший к селу Долговке и вырубленный в разные времена и на разные потребности его владельцами. Остатки этого леса заметны

были и теперь; еще кое-где торчали огромные пни и чернели остовы столетних деревьев, а около них начинала подниматься роща дубков и кленов... Между селом Долговкою и деревней Новоселовской, ровно на полдороге, находился глубокий овраг, поросший кустарниками, всегда полный водою и пересыхавший только в самое жаркое лето, а за ним возвышался холм, с вершины которого представлялся отличный вид на окрестности.

Ольга Михайловна незаметно дошла до оврага и поднялась на холм. Воздух дышал осеннею свежестию, гряды облаков тянулись от запада, постепенно бледнея; роща была облита багрецом и золотом; вода глухо журчала, лениво перебираясь между камнями на дне оврага. Деревенская кляча едва тащила воз, тяжело нагруженный хворостом, взбираясь на гору. Близ воза шел мужичок и затягивал заунылую песню... Она вспоминала такой же осенний вечер в подмосковной деревне своей тетки, вспомнила мысли и надежды, одушевлявшие ее тогда.

Она остановилась на холме, любуясь прощальной красотой природы, великолепным убранством ее накануне смерти... Песня мужика замирала в отдалении, все стихало; огонь в облаках потухал; все предметы синели и становились неопределеннее... Ей стало страшно одной... Она сбежала с холма и скорыми шагами пошла по знакомой ей тропинке домой. В эту самую минуту из рощи вышел человек среднего роста с ружьем на плече. Дорога отделялась от рощи небольшой канавкой, прорытой для стока дождевой воды. Он перескочил эту канавку и остановился перед Ольгой Михайловной, которая от испуга отшатнулась назад.

— Простите меня, — сказал он ей, — я испугал вас.

Это был учитель.

— Да, в самом деле, — отвечала она, улыбаясь и смотря на него, — вы испугали меня... Вы с ружьем? Давно ли вы сделались охотником?

— С тех пор как приехал сюда. Но отчего, — продолжал он, несколько понижая голос, — отчего вы здесь — и одни?.. Не случилось ли чего с вами?

— Ничего. Я гуляла и слишком далеко отошла от деревни...

— Но прежде чем вы дойдете до нее, смеркнется... В сумерках вас может испугать все — и лист, падающий с дерева... Позвольте мне проводить вас до вашей деревни.

Она отвечала ему наклонением головы, ускорила шаги и закуталась в свою теплую мантилью, потому что воздух становился резок.

Несколько минут они шли, не говоря ни слова.

— Я столько лет не видалась с вами, — сказала она, выходя из задумчивости, — с тех пор изменилось так многое... Зачем вы оставили Москву? зачем вы здесь?

— Ради бога, не спрашивайте меня о моей жизни, — отвечал он грустно.

Разговор прекратился. На его и на ее лице выражалось сильное волнение. Вдруг она остановилась на том месте, где оканчивалась роща. Они были уже в нескольких шагах от деревни... Наступили сумерки... В избах замелькали огни... В речке заблестели лунные лучи...

— Благодарю вас, — сказала она, — я теперь почти дома; но, может быть, вы сделаете нам удовольствие — зайдете к нам... Мой муж...

— Мне очень жаль, — отвечал он, — что я не могу воспользоваться вашим предложением... Я и без того немножко запоздал. Я думаю, Андрей Петрович разослал всех своих гончих для отыскания меня... Но как бы то ни было, я очень обязан случаю, который позволил мне несколько минут провести с вами...

— Это бывает редко, — продолжал он после минуты молчания, — а мне хотелось бы еще раз, только один раз в жизни услышать от вас звуки Шуберта... Наши московские вечера уже не возвратятся; но в душе моей сохранились каждый звук ваш, каждое слово, и только эти звуки, эти слова и примиряют меня с моею жалкою жизнью...

— Прощайте, добрый друг мой, — перебила она, — протягивая ему руку, которую он жадно схватил и целовал. — До свидания... Когда-нибудь я исполню ваше желание...

Лицо ее горело.

— Еще одно слово! — вдруг вырвалось у него, — вы несчастливы?

На губах ее показался едва заметный судорожный трепет...

— Прощайте, — повторила она, вырывая свою руку из его руки, — прощайте...

Он долго смотрел ей вслед и потом тихо пошел домой, беспрестанно оглядываясь... Вдруг в кустах возле самой

дороги послышался шорох... Из-за куста поднялся какой-то неуклюжий исполин и закричал сиповатым голосом:

— Что... попался, молодец! в чужих лесах дичь стрелять... да еще за барынями ухаживать, ручки целовать, вот мы те сорвем шею-то, погоди...

И с этими словами исполин, вооруженный дубиною, бросился на учителя. Учитель, однако, не оробел. Он схватил одной рукой исполина за горло, а другой занес ружье над головою его...

— Что ты за человек? что тебе нужно?

Исполин, вероятно, не ожидал такого отпора, оробел и выронил из руки свою дубину.

— Ах, ваше высокоблагородие! извините! — сказал он прерывающим голосом, — ей-богу, ошибся... я думал, что это так какой-нибудь тут прохаживается... Сами знаете, след ли здесь с ружьем ходить всякому... а если б я знал, что это ваше высокоблагородие, да как бы я осмелился подступить к вам... Известное дело — барин, куда же тут нашему брату холопу соваться?.. Ваше высокоблагородие, отпустите...

— Что ты за человек? — повторил учитель.

— Ах, батюшки светы!.. да здешний, вот те крест, здешний, долговский, Петра Александрыча-с... Ихнему дяденьке служил тридцать лет, ей-богу. Меня зовут Антоном. Спросите у кого угодно: все Антона знают... Ваше высокоблагородие, не погубите... Дети... жена...

— Хорошо, я отпущу тебя; но если ты осмелишься кому-нибудь, хоть двухлетнему ребенку, пикнуть о том, что ты видел меня здесь... тогда, брат, — уж пеняй на себя. Я тебя везде найду!

— Ваше высокоблагородие... ваше высокородие! да что я за злосчастный такой, чтоб стал рассказывать?.. И какая же прибыль из того?.. Я ничего и не видал; вот хоть провалиться сквозь землю, чтоб язык отсохнул у меня, если я...

— Ну, смотри же!

Учитель выпустил Антона, и Антон без оглядки во всю прыть пустился в деревню.

Через минуту раздался страшный лай... Стая собак кинулась вслед за бежавшим Антоном...

Ольга Михайловна возвратилась домой к самому чаю.

— Где это вы были, Ольга Михайловна? — спросила ее Прасковья Павловна.

— Я гуляла... — отвечала она. — Виновата... может быть, я заставила вас дожидаться...

— Помилуйте, нисколько... Так вы до сих пор гуляли?

Прасковья Павловна значительно взглянула на своего сына и на Анеточку, которая разливала чай.

Петр Александрыч молчал, но посматривал на жену искоса. Прасковья Павловна начала бить такт ложечкой по своей чашке...

— Сегодня был прелестный вечер, — сказала дочь бедных, но благородных родителей... — Вы далеко гуляли, милая Ольга Михайловна?

— Довольно далеко.

— Ах, как жаль, — я не знала, что вы идете, — а уж я непременно навязалась бы вам в компаньонки. Обожаю гулять в сумерки!

— Зачем же навязываться? — заметила Прасковья Павловна. — Может статься, Ольге Михайловне неприятно было бы гулять с тобой; ты, душенька, может, помешала бы ей... мечтать.

Ольга Михайловна ничего не отвечала на это замечание. Минуты две в комнате царствовало безмолвие, нарушаемое только всхрапыванием лакея в передней. Вдруг среди этой тишины послышался отдаленный звон дорожного колокольчика, ближе и ближе, громче и громче...

— Что это значит? — вскрикнула Прасковья Павловна.

— Ах, кто бы это? — воскликнула дочь бедных, но благородных родителей.

И Петр Александрыч оживился... Он встал с своего кресла и, начиная третий стакан чаю с ромом, сказал:

— Уж не к нам ли?

Даже у Ольги Михайловны забилось сердце при звуках этого колокольчика.

Но вот уже раздался лошадиный топот, кажется, у самого крыльца; вот колокольчик перестал заливаться, задребезжал и смолк.

Все, кроме Ольги Михайловны, бросились в переднюю.

— Здесь, братец, Петр Александрыч? — кричал кто-то на крыльце. — Дома он?

Этот голос был знаком только Петру Александрычу; Прасковья Павловна с Анеточкой выбежали из передней.

— Возьми сальные свечи со стола да принеси поскорей восковые, — сказала Прасковья Павловна, толкая в спину лакея, — слышишь?

Из передней раздались восклицания.

— Старый приятель, узнаешь ли меня, мон-шер? [1]

— Здравствуй, братец! какими судьбами? откуда?

И Петр Александрыч ввел за руку приехавшего господина, одетого по-дорожному. Это был давно известный читателям офицер с серебряными эполетами [2].

— Маменька, вот мой хороший петербургский приятель, господин Анисьев.

Слово *петербургский* подействовало магически на Прасковью Павловну и на ее Анеточку.

— Очень приятно иметь честь познакомиться с вами, — произнесла Прасковья Павловна, поправляя на себе платок, — извините, что вы нас застали по-домашнему, запросто.

— Помилуйте-с...

Офицер с серебряными эполетами поправлял свой хохол, протирал очки и расшаркивался. Увидев Ольгу Михайловну, он подлетел к ней с поклонами и с комплиментами.

Прасковья Павловна и Анеточка ушли и через несколько минут возвратились переодетые. Последняя навязала сырцовые букли, которыми она всегда украшала себя в торжественные случаи.

— Ну, расскажи же, как ты здесь очутился? — спрашивал Петр Александрыч у офицера, сажая его к чайному столу.

— Неожиданно, мон-шер, совсем неожиданно. Скоро после твоего отъезда из Петербурга папенька скончался... старик, знаешь, мон-шер, последнее время все хирел...

— Боже мой, какое несчастие! — воскликнула Прасковья Павловна, всплеснув руками.

— А не хочешь ли, брат, вместо чаю — *ромашки?* это после дороги-то лучше, я полагаю...

— Как! ромашки? — спросила удивленная Прасковья Павловна...

— Да-с, — это у нас, маменька, технический термин; так мы называем ром с чаем.

---

[1] мой дорогой (*франц.* mon cher).

[2] См. повесть «Онагр». *(Прим. И. И. Панаева.)*

Офицер с серебряными эполетами засмеялся, закрутил усы и сказал:

— Спасибо, мон-шер; это недурно... Mesdames [1], — продолжал он, — вы позволите мне закурить сигарку... Не будет ли табачный дым беспокоить вас?..

— О нет, — проговорила дочь бедных, но благородных родителей, закатывая глаза под лоб, — мы все привыкли к табачному дыму.

— Но ты все еще мне не сказал, каким образом ты здесь? — спросил Актеон, дотрогиваясь до плеча офицера.

Офицер хлебнул ромашки, пустил изо рту клуб дыма и растянулся на стуле.

— Очень просто, мон-шер, — сказал он. — Мне досталось наследство после папеньки... Надо же все осмотреть самому, принять все от управляющего... Я взял отпуск, да и катнул сюда... почти мимо тебя пришлось, мон-шер, ехать, немного в сторону; я думаю себе, как же не побывать у приятеля?.. И я бы давно у тебя был, да в Москву белокаменную, знаешь, как попадешь, — беда; с балу на бал, с обеда на обед, кавалеров-то нет, так наш брат петербургский там как сыр в масле катается... Меня на руках там носили, во всех аристократических домах принят был, мон-шер, ей-богу, как родной... Там же случился Костя... Ведь charmant jeune homme [2], надо отдать ему справедливость... с ним полтора месяца прожил, как один день!

— Вот что!

Актеон призадумался... Слова офицера пахнули на него былою жизнью, тем временем, когда еще он блаженствовал в коже *Онагра...*

— И в Москве, — продолжал офицер, — хорошеньких бездна. Я, знаешь, мон-шер, приволокнулся там за одной княжной... Она известна везде: *юнь боте...* [3] глаза такие живые, так и бегают... и она была ко мне очень благосклонна; взяла с меня честное слово на возвратном пути непременно заехать к ним.

Офицер затянулся.

— Ну, а ты что поделываешь здесь, мон-шер? а? хозяйничаешь? Славная деревенька у тебя...

Офицер осмотрел кругом комнату.

---

[1] Сударыни *(франц.)*.

[2] очаровательный молодой человек *(франц.)*.

[3] красавица (*франц.* une beauté).

— *Се тре жоли...*[1] разумеется, в деревне для чего убирать великолепно комнаты?.. А говорят, в моем селе дом такой каменный, славный...

— Много, братец, тебе душ досталось?

— Душ-то немного, мон-шер; кажется, около трехсот, что-то этак, но денег бездна — это главное, папеньке все были должны; у него такие капиталы, что ужас! Хочу выйти в отставку. Съезжу в чужие краи. Надо же, мон-шер, свет посмотреть, — нельзя без этого. Какие устрицы были нынешней весной в Петербурге — чудо!.. А тебе, мон-шер, все наши кланяются...

Чай был собран... Офицер понемногу прихлебывал ромашку и болтал без умолку.

— А что, мон-шер, не вспомнить ли старинку? — вскрикнул он, вскакивая со стула, — не сыграть ли в банчик?

— Пожалуй.

— Если у тебя нет карт, то я свои достану. У меня всегда есть в шкатулке на всякий случай.

— Что ж ты, братец, думаешь, что мы здесь и в карты не играем? — спросил Актеон с чувством оскорбленного достоинства.

— Нет, мон-шер, я только так сказал... Вели же все устроить, как следует... Я, мон-шер, и усталости никакой после дороги не чувствую.

— А ты надолго ли ко мне приехал?

— Дня на два, на три, мон-шер, если позволит мне Ольга Михайловна и твоя маменька.

Офицер поклонился той и другой.

— Отчего же на такое короткое время? — сказала Прасковья Павловна, — погостите у нас подольше. Вы нас одушевите своим присутствием.

— Никак не могу дольше, при всем моем желании. В Москве и без того зажился, а меня ждут в деревне... Кто же, мон-шер, мечет? Хочешь, я буду метать... Человек, вели принести мою шкатулку.

Шкатулку принесли. Она обратила на себя всеобщее внимание своим изяществом... Офицер выкинул на стол пачку новеньких ассигнаций, синеньких и красненьких, от которых у Петра Александрыча разгорелись глаза...

---

[1] Очень мило (*франц.* c'est très joli).

— Вот тысяча рублей, — сказал офицер, — покуда довольно... А здесь, мон-шер, наберется еще несколько таких пачек.

Он указал на шкатулку, самодовольно улыбаясь.

Игра началась.

— Ах, как мил, как любезен!.. — шептала дочь бедных, но благородных родителей, отводя Прасковью Павловну к окну и невольно вздыхая. — Он может очаровать своей беседой... Вот что значит быть всегда в большом свете... Не мудрено, что в него княжны влюбляются. Я этому очень верю.

— Ну, признаюсь тебе, Анеточка, — отвечала ей Прасковья Павловна, — такого светского человека я редко встречала; а я таки жила в свете... так и льется, как река, — хоть бы в одном слове споткнулся. А наше-то сокровище не нашлась ему ничего сказать: сидит себе да молчит... просто за нее стыдно! Ну, бедный мой Петенька, не думала я, чтоб на него такое ослепление нашло... Признаюсь, попался как кур во щи с этой женитьбой.

Банк продолжался до часу. В этот вечер офицер с серебряными эполетами проиграл Актеону пятьсот рублей.

На другой день Актеон, чтоб веселее провести время и показать своему столичному приятелю деревенских оригиналов, послал за помещиком семи душ. Илья Иваныч явился. Его, по обыкновению, напоили; он плясал вприсядку, острил по-своему, прыгал на одной ножке и никогда почти не был так забавен. Все смеялись над ним, но в особенности офицер с серебряными эполетами. Он налил в полоскательную чашку воды, посыпал туда соли и перцу и поднес ее к Илье Иванычу.

— Ну-ка, любезнейший, — сказал он, смеясь, — выпейте; славный напиток... Это пунш, особым образом приготовленный, по-петербургски.

Илья Иваныч посмотрел на офицера и на полоскательную чашку. В Илье Иваныче вдруг пробудилось что-то похожее на давно утраченное им чувство человеческого достоинства.

— Господин офицер, — сказал он, весь изменяясь в лице, — имени и отчества вашего не имею честь знать, — позвольте доложить, что я не формальный шут, — это засвидетельствует вам хозяин здешнего дома; вы ошиблись во мне... я только иногда позволяю себе подурачиться,

исполняя желание моих благодетелей. Моя нищета еще не дает вам право, милостивый государь, издеваться над отцом многочисленного семейства, оскорблять человека, который старше вас летами...

На глазах Ильи Иваныча показались слезы... Впрочем, эта вспышка тотчас же и потухла в нем... Он боязливо посмотрел на хозяина дома, казалось, умоляя его глазами не гневаться за дерзкую речь, невольно сорвавшуюся у него с языка.

Офицер с серебряными эполетами отскочил от помещика семи душ, краснея, поставил полоскательную чашку на окно и, чтоб скрыть свое замешательство, обратился к Петру Александрычу:

— Не хочешь ли, мон-шер, продолжать вчерашний банчик?

— Изволь, братец, — отвечал Петр Александрыч.

Между тем Прасковья Павловна и дочь бедных, но благородных родителей, пришедши в отчаяние оттого, что шутка офицера кончилась такою неприятностью, напали на Илью Иваныча в другой комнате. Они кричали в один голос:

— Да как вы это смеете?.. Да что вы думаете об себе?.. Вас никто в дом к себе не будет пускать... Вы с ума сошли! Знаете ли вы, что он прямо из столицы?.. Он там в первые дома ездит. Он может, если захочет, раздавить вас, как червяка... И почему вам было не выпить этого питья, что он вам давал? Не велика важность! У вас не такой уж нежный желудок, не испортился бы...

Илья Иваныч низко кланялся и просил прощения.

Весь этот и следующий день офицер и Петр Александрыч не отходили от карточного стола ни на минуту. Игра у них завязалась нешуточная. Петр Александрыч в два дня проиграл шестьдесят тысяч...

Это сильно его потревожило.

— Как же, братец, — сказал он переменившимся голосом, — я не могу тебе теперь заплатить этих денег — у меня нет столько...

— Все равно, мон-шер, все равно, после: тебе я поверю... А не можешь ли ты мне теперь отдать хоть немного?..

— Тысячи три... могу.

— Ну, все равно, хоть три тысячи, а на остальные пятьдесят семь тысяч ты мне просто дай записку, мон-

шер, — напиши, что взял их у меня на сохранение до первого востребования, — вот и все.

Петр Александрыч согласился на это, и офицер на четвертый день рано утром выехал из села Долговки. Восторг Прасковьи Павловны к офицеру в минуту, однако, исчез, когда ей сказали, на какую сумму обыграл он ее сына.

— Ах, Петенька, Петенька!.. — твердила она, ломая руки, — можно ли это? шутка ли шестьдесят тысяч!.. Вот разбойник какой подвернулся!

ГЛАВА VII

Этот проигрыш был последней данью, заплаченной Петром Александрычем прошлой жизни. Он навсегда простился с порывами и с сильными ощущениями. С этих пор щекотали его только мелочные страстишки и ощущеньица! «Хорошо бы сделаться какою-нибудь важною чиновною особою в уезде», — думал он, или: «Недурно бы съездить к губернатору; его превосходительство меня ласкает; пусть видят это другие помещики». И вдруг лениво подымался он с своих кресел, в которых обыкновенно дремал после жирного обеда, приказывал готовить экипаж и отправлялся в губернский город. Он любил также поохотиться, для того чтоб пощеголять своими собаками.

Однажды так, бог знает для чего, вздумалось ему показать, что он знает толк в хозяйстве. Призвав управляющего, Петр Александрыч произнес с важностию:

— Зимний путь уж установился; отправьте же поскорей подводы в Москву с надежным человеком — во-первых, для закупки годовой провизии, а во-вторых, для того, чтоб взять у братьев Бутеноп четырехконную молотилку, веялку, плуг и экстирпаторы. Это все необходимо нужно иметь.

Управляющий, изумленный таким приказанием, лукаво улыбнулся и произнес:

— Слушаю-с.

Приказание Актеона было в точности выполнено. Означенные земледельческие орудия привезены и поставлены в каретные сараи, откуда они уже никогда и не выдвигались. В другой раз он призвал управляющего и изъявил

ему желание присутствовать на так называемых *посиделках.* Это последнее желание уже нисколько не показалось странным Назару Яковличу... Все шло хорошо... Семен Никифорыч гостил в селе Долговке по неделям и по месяцам. Он, вероятно, перестал оскорбляться невнимательностию к нему Ольги Михайловны. Петр Александрыч играл с ним по маленькой в преферанс. Покуривая сигарку, лениво бросал он карты на зеленое сукно... Это было тотчас после обеда.

Вошедший Фомка отвлек его внимание.

— Что тебе надобно? — спросил у него Петр Александрыч.

Фомка, только что возвратившийся из уездного города, подал барину письмо. Письмо это было застраховано.

— От кого бы это?

Актеон отложил карты в сторону, распечатал и прочел письмо.

«Cher ami[1] Петр Александрыч, — писал к нему офицер, — прости, что я беспокою тебя. Мне крайняя нужда в деньгах. Сделай одолжение, вышли мне должные тобою пятьдесят семь тысяч *через две недели* в Петербург (адрес мой при сем прилагаю). Если ты к сему сроку не вышлешь деньги, то не пеняй на меня, — я вынужден буду представить записку твою куда следует; а ты знаешь, что такого рода записки имеют силу. — Еще раз повторяю мою просьбу о деньгах. Не заставь меня ссориться с тобой, mon cher. — Adieu,[2] будь здоров. Поклонись от меня жене своей и маменьке...

Твой pour toujour[3]

Анисьев».

Откуда же взять столько денег и в такое короткое время? Управляющий говорит, что на доходы надеяться нечего, что скоро придется кормить крестьян по случаю долгих неурожаев, а большие-то доходы обещает он не прежде, как года через два.

Петр Александрыч нахмурился. — У него денег оставалось очень немного... Он уж истратил несколько новеньких ассигнаций, — нарушив честное слово, данное им са-

---

[1] Дорогой друг *(франц.).*
[2] Прощай *(франц.).*
[3] навсегда *(франц.).*

мому себе, не прикасаться ни в каком случае к этим деньгам... Что делать?

«Зачем, — подумал Петр Александрыч, — я дал ему эту проклятую записку?.. Можно было бы как-нибудь отделаться от него и не заплатить... А теперь беда!..»

— За...адумались, Петр Александрыч, — сказал Семен Никифорыч, — ва...аш ход...

— Мне, признаться, не до игры, — произнес Петр Александрыч и объяснил Семену Никифорычу причину своего беспокойства.

— Де...е...ело не шуточное!

Семен Никифорыч выпустил изо рта и из носа тучи дыма и положил на стол свой коротенький чубучок.

— У кого бы занять? — подумал вслух Петр Александрыч.

— За...нять? Мм! по...просите... у Прокофья Евдокимыча; у...у него целые по...двалы денег, в землю зарывает... ей-богу... А... а...вось даст... неровен час; он и...иным и давал...

— Маменька! — закричал Петр Александрыч, — пожалуйте к нам на совет.

— Сейчас, мой голубчик... — отвечала Прасковья Павловна, выходя из ближайшей комнаты.

— Что тебе посоветовать, мой ангел?.. Ах, Семен Никифорыч! материнскому сердцу как приятно слышать это... Он, голубчик мой (она указывала на сына), видит, что я опытнее его, желаю ему добра, он без меня ничего и не предпринимает.

— Это по...похвально, — сказал Семен Никифорыч.

Петр Александрыч прочел матери письмо, полученное им, и передал ей мысль Семена Никифорыча о займе денег у Прокофья Евдокимыча.

— Нечего делать, — произнесла Прасковья Павловна, вздыхая, — надо перепробовать, дружочек, все средства... Авось этот скряга, гнусный старичишка, хоть один раз в жизни покажет себя с благородной стороны... Только советую тебе, дружочек Петенька, поезжай к нему сам. Ты этим, во-первых, сделаешь ему честь, и кто знает, может, это его тронет...

— Хорошо-с; а что, маменька, правду ведь вы говорили, что в нынешнем свете трудно найти приятелей, — так и вышло по-вашему.

Петр Александрыч смял письмо офицера в комок и бросил под стол.

— Я, друг мой, никогда не говорю пустяков... Уж я все испытала в жизни: так моим словам можно верить...

На другой день рано утром Петр Александрыч облекся в дядюшкину медвежью шубу, два исполина уложили его в пошевни, Гришка присел на облучок, кучер дернул вожжами — и лихая тройка помчала барина.

Перед ним расстилались необозримые снежные равнины, середи которых изредка чернелись деревеньки, мелькали деревья, опушенные инеем, да испуганные вороны, отряхая снег с ветвей, поднимались с карканьем, тяжело махая крыльями, и исчезали в отдалении черными точками на сером небе.

В уездном городе звонили к обедне, потому что это было воскресенье... По единственной улице города, на которой торчал неуклюжий каменный дом между разваливающимися домиками и избами, — плыли, как павы, жирные разрумяненные и расписанные мещанки в малиновых штофных телогрейках на лисьем меху; за ними выступали мужья их в синих сибирках, шли ямщики в засаленных тулупах да тащились две или три старушонки в порыжелых салопах... У калитки дома, украшенного елкою, стоял приказный, облизывая губы и несколько пошатываясь, а далее мальчишки скатывались на салазках с горки, устроенной возле самой проезжей дороги...

От села Долговки до села Карташева, в котором имел резиденцию богатый старичок, считалось с лишком верст сорок. Петр Александрыч завидел издалека цель своего путешествия. Село Карташево казалось в шесть раз более уездного города, через который он проехал, и украшалось двумя каменными церквами; это село, состоявшее из тысячи восьмисот душ, принадлежало разным помещикам. Прокофий Евдокимович был один из главных: он владел в нем восемьюстами душами. Прокатив по узкой улице, в которой избы, как во всех старинных деревнях, тесно прилеплялись одна к другой, кучер спустился на озеро, мигом поднялся на противоположный берег, повернул налево, въехал на небольшой дворик, обнесенный развалившимся забором, и остановил лошадей у крыльца.

На крыльце небольшого домика стояли с разинутыми ртами и с выпученными глазами какие-то мальчишки в серых куртках домашнего сукна.

— Дома ваш барин? — спросил у них Гришка, спрыгивая с облучка.

Мальчишки молчали.

— Эй вы, щенки! вас спрашивают. Слышите?

— Кого вам надо? — сказал один из мальчиков, почесываясь. — Тятеньку, что ли?

— Какого тятеньку! Пошел, дурак!

Гришка помог барину своему вылезть из пошевней и взбежал в сени. В сенях у двери стоял чан с водой и несколько кадочек. Он начал стучать в дверь.

— Кто там? — раздался грубый женский голос. — Чаво надо?

— Гости приехали; дома ли ваш барин?

Голос смолк, и минуты через три дверь, запертая изнутри железным засовом, заскрипела и отворилась.

— Сюда, батюшка, сюда, кормилец! — сказала баба, кланяясь Гришке. — Кто вы такие?

— Да здесь ли живет Прокофий Евдокимыч? — спросил Петр Александрыч.

— Здесь, кормилец, здесь. Палашенька, скажи барину, что гости приехали.

Баба обернулась к девочке, которая выглядывала из-за нее.

— Погоди, кормилец, погоди, вот она сейчас воротится. Барин ответ даст.

Девочка минут через пять воротилась.

— Какие гости, спрашивает барин, — запищала она.

— Какие же вы гости, батюшка? как о вас сказать? — спросила баба, смотря на Петра Александрыча и на Гришку.

— Скажи, что приехал помещик из села Долговки.

— Отколева?

— Из села Долговки, дура! — закричал Гришка.

— Долговские. Вишь!

Баба ушла.

Петр Александрыч стоял в ожидании бабы, не снимая своего медведя, потому что в передней Прокофья Евдокимыча было несравненно холоднее, чем на дворе.

— Может ли это быть?.. — послышался минут через десять слабый голос во второй комнате, — где?.. Ты врешь...

— Врешь! чаво врать? — отвечала баба. — Посмотри сам, батюшка.

Прокофий Евдокимыч в теплом, изорванном и истертом халате робко выглянул в переднюю.

— Петр Александрыч!.. — воскликнул он с видимым замешательством и замахивая полы своего халата... — Вы ли это?.. Сами беспокоились... Я не стою такой чести. Милости прошу, сударь... Извините. Лакеи мои все разбежались, а я больной... Не осудите...

Петр Александрыч снял шубу и вошел в следующую комнату.

— Сюда, сюда, — говорил старичок, пожимая одной рукой руку гостя, а другой придерживая полу своего халата. — Покорнейше прошу в гостиную... Вот так, на диванчик.

Голые бревенчатые стены этой гостиной украшались двумя пятнами в рамках, которые старичок принимал за картины, диваном и несколькими стульями, обитыми черной кожей...

Петр Александрыч смотрел на все это и не верил глазам своим.

Едва он уселся, как во всех дверных щелях засверкали глаза; двери немного раздвинулись — и обоего пола ребятишки, «полубарчонки», как обыкновенно звали их в доме, начинали высовывать из дверей свои головы.

— Чему я должен приписать честь видеть вас у себя?.. — Старичок закашлялся, исподлобья посмотрел на гостя и погрозил ребятишкам, которые мгновенно скрылись. — Истинно не знаю, как вас благодарить.

Старичок поднялся со стула и поклонился гостю. Ребятишки снова показались у дверей...

— Я давно, признаться, сбирался к вам, — сказал Петр Александрыч.

— Очень благодарен... — Старичок кланялся. — Чем угостить мне вас, дорогой гость?.. Чайку не прикажете ли?.. Эй, Акулина, подай нам чаю... да и вареньица уж кстати... Не правда ли, и вареньица? — повторил он, посмотрев умильно на Петра Александрыча.

— Покорно вас благодарю... я...

— Не побрезгайте же моим угощением, дорогой гость.

Петр Александрыч не смел отказаться.

Странный напиток, который старичок принимал за чай, был подан, и к нему на двух блюдечках медовое ва-

репье, сверху посыпанное сахаром. Петр Александрыч, хлебнув немного из своей чашки и почувствовав нестерпимую горечь на языке, поморщился.

— Вареньица-то, пожалуйста, вареньица, — говорил старичок, кашляя.

— Я к вам, между прочим, с небольшой просьбой, — сказал Петр Александрыч, немного заикаясь.

Старичок вздрогнул.

— С какой, почтеннейший, с какой? Очень рад услужить, чем могу...

— Видите ли... мне крайне нужно на год или на полтора, никак не более, пятьдесят семь тысяч... Разумеется, мы сделаем заемное письмо; проценты...

— Пятьдесят семь!..— Старичок вскочил со стула, озираясь кругом. — Боже мой!..

Он закашлялся и схватил себя за грудь.

— Да отчего ж вы полагаете, что у меня есть такая огромная сумма?

— Я так думал... зная ваше состояние... Поверьте, ваши деньги будут в верных руках.

— Верного ничего нет на свете, ничего! — завопил старичок в отчаянии. — Какое состояние у меня!.. До тех пор, покуда я не продам все, что имею, до последней душонки, и не обращу всего в деньги, — я нищий, ей-богу, нищий. Неурожаи, голод...

Он опять закашлялся и начал стонать.

— Извините меня... ради бога, извините меня... Если б у меня было, например, хоть три тысячи... это я так только говорю... у меня и ста рублей в доме нет... я, чтоб угодить вам, заслужить ваше внимание, отдал бы последние; клянусь сегодняшним праздником...

— Так вы никак не можете удовлетворить моей просьбы?..

— Для вас... я готов был бы заложить все, что имею... — Старичок осмотрел кругом свою комнату. — Да у меня и вещей-то нет никаких... Видите ли, как я живу? Седьмой год домишко для себя собираюсь выстроить, и то не на что... А чайку-то не прикажете ли еще?

— Нет-с, я до чаю не охотник. Да и к тому же мне пора ехать... Я должен еще остановиться в городе у почтмейстера.

— А вареньица-то? хоть одну ложечку...

Насилу отвязавшись от Прокофья Евдокимыча и проклиная его внутренно, бросился Актеон в свои пошевни и горестно произнес:

— Домой...

— Маменьке мое почтение, супруге! — кричал старик, высовывая в форточку голову свою, на которую был напялен вязаный колпак.

Возвратясь домой, Петр Александрыч тотчас пошел в комнату к своей матери. У нее он нашел Феклу Ниловну.

— Что это? уж ты и возвратился, голубчик мой! Отчего так скоро? — спросила Прасковья Павловна, смотря с беспокойством на сына.

Петр Александрыч не хотел говорить о своем проигрыше и о горестном результате своей поездки при посторонней женщине. Прасковья Павловна сейчас поняла это.

— Ангел мой, Петенька, — сказала она, — при Фекле Ниловне ты смело можешь все говорить. Она любит тебя и принимает в тебе самое горячее участие. Феклу Ниловну я ни с кем наряду не поставлю. Это я об ней всегда скажу и за глаза. Я знаю цену людям; я, слава богу, в продолжение моей жизни умела найти себе истинных друзей, — этим я могу гордиться. От Феклы Ниловны у меня нет секретов. Я прошу тебя быть с ней, как с родной.

— Любите меня, батюшка, — закричала, в свою очередь, Фекла Ниловна, — прошу покорнейше. Уж вы мне по матери дороги; к тому ж я вас на руках носила... махонький был такой...

— Ну, что сказал тебе этот гадкий скряга? — продолжала Прасковья Павловна, прерывая речь своей приятельницы, — говори откровенно, мое сердце. Фекла Ниловна уже все знает: я ей рассказала, куда и зачем ты ездил.

— Да что — плохо, маменька! Он уверяет, что у него и ста рублей нет в доме.

— Что? а? Недослышу, батюшка.

Прасковья Павловна повторила Фекле Ниловне слова своего сына.

— Ах он, проклятый грешник! — вскрикнула Фекла Ниловна, всплеснув руками. — На краю гроба, и лгать не боится. Да на том свете нет и такого наказания, какого он достоин, ей-богу; а? что? Прасковья Павловна, как ты думаешь?

— Правда, совершенная правда. Изверг бесчувственный! Вот небо-то коптит: ни себе, ни другим добра не приносит...

Впрочем, Петру Александрычу от всех этих восклицаний было не легче. Он долго думал, что ему предпринять, чтоб уплатить свой карточный долг офицеру с серебряными эполетами, и наконец решился прибегнуть опять к Дмитрию Васильичу Бобынину.

Дмитрий Васильич тотчас же по приезде офицера в Петербург узнал о проигрыше Петра Александрыча. Как человек сметливый и умевший извлекать из всего свою пользу, Дмитрий Васильич отправился к офицеру и предложил ему, вместо пятидесяти семи тысяч «неверных», как говорил он, чистыми деньгами пять тысяч. Он выложил перед офицером соблазнительную груду ассигнаций. Офицер подумал немного, посмотрел искоса на ассигнации и согласился на предложение. Тогда Дмитрий Васильич заставил офицера написать к Петру Александрычу письмо, которое привело героя моего в такое замешательство. Расчет Дмитрия Васильича был верен. Он предполагал, что Петр Александрыч не обойдется без него, — и не ошибся. Он забрал в свои руки все состояние доверчивого Актеона, заложив его имение и отдав деньги на бумагопрядильную фабрику; он, в счет долга, присвоил себе его капитал, доставшийся ему после дяди; он взял с него новое заемное письмо в пятьдесят семь тысяч; кроме всего этого, он имел постоянные и секретные сношения с его управляющим. Петр Александрыч не мог нахвалиться благородным и добрым Дмитрием Васильичем...

Фекла Ниловна пробыла в селе Долговке более двух недель и уехала домой неохотно, потому что сама она, пять душ ее и четыре лошади лишились дарового корма. Во все время пребывания своего в гостях Фекла Ниловна вставала очень рано и всякое утро будила ленивых дворовых девок и баб Петра Александрыча, приговаривая:

— Слыхано ли дело вставать так поздно... а? Будь вы мои, я бы с вами справилась... Это ни на что не похоже...

Потом она обращалась к Прасковье Павловне:

— Что ты, матушка, не смотришь за здешней дворней-то? а? ведь, кажется, ты хозяйка дома... что?

— Ах, милая! — возражала обыкновенно Прасковья Павловна, махая рукою, — уж я взыскиваю, взыскиваю с них, да нет — никаких сил человеческих недостанет.

Если б я была настоящая хозяйка в доме, тогда другое дело.

Фекла Ниловна в отсутствие Прасковьи Павловны показывала невестке ее величайшее внимание и однажды сказала ей, посмотрев на нее с чувством:

— Ах, родная моя, жалкая ваша участь!.. Теперь я все своими глазами видела. Свекровь ваша заест вас, заест...

В тот же день Фекла Ниловна говорила Петру Александрычу:

— Послушайтесь моего совета, батюшка, не давайте свою матушку обижать никому; у меня вчуже сердце кровью обливается, когда я посмотрю, как жена ваша обращается с нею... а?.. что?.. Простите за откровенность, я уж такая... что делать... Мать все ближе: мать под сердцем вас носила...

Вскоре после отъезда Феклы Ниловны домой в том уезде, где находилась ее деревня, начали носиться слухи о связи жены долговского помещика с учителем Андрея Петровича Боровикова...

Наступили святки — самое поэтическое время для русских людей. В деревне, во дворе и в барском доме все пришли в движение, все одушевились... Вечера, посвященные на переряженье и гаданье, пролетали незаметно.

Для Прасковьи Павловны и для дочери бедных, но благородных родителей беспрестанно выливали олово и воск... Они беспрестанно рассматривали на тени выливавшиеся им фигуры.

— Посмотри, Анеточка, посмотри, — говорила Прасковья Павловна, — что тебе вышло. Вишь, как много народу. А вот поодаль-то стоит фигура, точно кавалер: он обнимает девицу. Увидишь, что тебе нынешний год выйти замуж, вспомяни мое слово.

Накинув платок на голову, дочь бедных, но благородных родителей несколько вечеров сряду выбегала на большой двор, не чувствуя ни малейшего холода, хоть снег, сверкавший миллионами разноцветных звездочек, сильно хрустел под ее ногами. Она подходила к забору и с биением сердца произносила:

Залай, залай, собаченька, залай, серенький волчок.

И, как будто послушные ее зову, собаки начинали лаять у дома.

«Слава богу! — думала она, — собаки лают вблизи: это хороший знак. Я выйду замуж не на чужую сторону».

В другой раз она вышла на улицу и долго стояла в ожидании прохожего. Наконец показалась какая-то фигура в тулупе, вывороченном наизнанку. Она закричала:

— Как зовут?

— Парамон, — был ответ.

Никто деятельнее ее не принимал участия во всевозможных гаданиях. Она приказывала приносить в свою комнату кур, снятых с насести, пересчитывала балясы на крыльце, говоря: «вдовец, молодец», собирала из прутиков мостик и клала под подушку и прочее.

Вечером на Новый год старуха няня также принялась за гадание. Она налила стакан теплой воды, распустила в этой воде яичный белок и поставила его за форточку. Наутро она явилась с этим стаканом к Ольге Михайловне...

— Поздравляю тебя, матушка моя, с Новым годом, с новым счастьем, — сказала она ей, низко кланяясь. — Вот я, признаться, вечор загадала на тебя, родимая; посмотри, как хорошо тебе вышло.

И старуха, весело улыбаясь, показала Ольге Михайловне стакан.

— Спасибо тебе, няня. Что же значат эти фигуры?

— Участь твоя переменится, матушка. Ты скоро будешь жить в радости.

И старуха начала по-своему толковать изображения в стакане.

— А мне кажется, няня, фигура эта похожа на церковь. Может быть, я умру нынешний год?

— Ах, сударыня, сударыня! не стыдно ли тебе говорить этакое? Сегодня не годится иметь такие мысли; выкинь их, кормилица моя, из головы. Постой-ка, мне давно хотелось кое-что шепнуть тебе на ушко. Послушай моих советов...

Старуха отвела Ольгу Михайловну в угол комнаты и осмотрелась кругом.

— Что такое, няня?

— А вот что, матушка; не пей ты ни чаю, ни кофею, когда разливает Прасковья Павловна или эта старая барышня...

— Отчего же? — спросила Ольга Михайловна, изумленная загадочным тоном старухи.

— Да так, моя голубушка, ты не бойся; они вреда тебе не сделают, а я все-таки тебе скажу к слову. У нас в деревне есть одна старушонка: вишь, толкуют, будто бы она водится с нечистою силою, — кто ее, проклятую, знает; она принесла Прасковье Павловне какое-то заговоренное питье, для того чтоб ты совсем опротивела мужу. Они и хотят подливать тебе потихоньку этого питья в чай. Он-то, мой голубчик, ничего не знает; не вини его, матушка... Он любит тебя, да его, знаешь, сбили с толку; а все эта барышня... ох, змея подколодная! Она и Прасковью-то Павловну совсем опутала. Ведь ты его любишь, родная?

Няня тяжело вздохнула.

— Ведь ты на него не сердишься?

— Нет, нет; будь спокойна, няня.

Когда старуха вышла из комнаты, в голове Ольги Михайловны мелькнула темная мысль, от которой она невольно вздрогнула.

ГЛАВА VIII

2 июня Фекла Ниловна праздновала день своего рождения. Она хотела задать пир на славу. Еще накануне прислал к ней Андрей Петрович своих музыкантов. С утра начали наезжать к ней в дом губернские щеголи и щеголихи. Здесь были все наши старые знакомые, не исключая помещика семи душ и учителя. Здесь была и Ольга Михайловна. Она не могла не приехать, потому что Фекла Ниловна, приглашая ее, сказала:

— Покажите, мать моя, что вы нами, провинциалами, не пренебрегаете; сделайте мне честь своим посещением... а? что? недослышу... Будете? Вашим присутствием я особенно интересуюсь.

Ольга Михайловна в последние пять месяцев очень похудела. В ее лице было что-то болезненное, и дочь бедных, но благородных родителей, смотря на нее, думала:

«Видно, столичным-то красавицам деревенская жизнь не по нутру: как она постарела! Да я по крайней мере пятью годами кажусь моложе ее!»

За обедом, перед самой водянкой, которая заменяла шампанское, Илья Иваныч встал с своего места и, обращаясь к хозяйке, произнес:

С днем рождения вас поздравляю.
Счастия вам на многие лета желаю.
Все гости за мною следом
Благодарят вас за угощение отличным обедом, —
В особенности хороши были пироги;
А вы не забудьте вашего нижайшего слуги...
К сему прибавляю, не тратя много слов,
Что все благодеяния ваши вполне чувствует
Илья Сурков.

Всеобщие одобрения, выразившиеся восклицаниями, смехом, рукоплесканиями, приветствовали стихотворца. Фекла Ниловна послала ему бокал водянки, который налила собственноручно.

После обеда барышни начали приготовляться к балу. Часов в восемь в столовой, назначенной для танцев, спустили шторы, зажгли две лампы и шесть свечей. Музыканты строили инструменты и потягивали пенник, смешанный с водой, которым приказано было угощать их. Разряженные барышни начинали появляться одна за другой. Дочь бедных, но благородных родителей давно сидела в столовой в ожидании бала, в ярко-пунцовом платье, с двумя белыми перьями на голове, воткнутыми в косу, и в сырцовых буклях. Из кавалеров отличался более всех заседатель, с хохлом, во фраке цвета адского пламени с блестящими пуговицами. Взоры всех впились в Ольгу Михайловну, когда она вошла в танцевальную столовую. На ней было белое кисейное платье без всяких украшений; черные волосы ее, как всегда, падали длинными локонами до груди; в руке она держала букет из белых роз.

Резко отделялась она от этого пестрого общества и должна была оскорблять собою самолюбие каждого из его членов. Все эти барышни, барыни и кавалеры чувствовали при ней какую-то неловкость, старались скрывать ее — и оттого казались еще неловче. Они почему-то боялись Ольги Михайловны, несмотря на то, что никогда не видали ее насмешливой улыбки. Им тяжело было ее присутствие, и они мстили ей за это по-своему. Все глаза от нее обратились к учителю, который до сей минуты стоял у дверей, никем не замеченный. Они хотели привести и ее и его в замешательство; но он скрылся в толпе, а она так смело, так спокойно, так благородно-гордо смотрела на

них, что невольно заставила самых смелых барышень, самых дерзких барынь потупить глаза.

Бал открылся «полонезом». Музыка загремела. Фекла Ниловна выступила в первой паре с Петром Александрычем; за нею шли Прасковья Павловна с Семеном Никифорычем, Андрей Петрович с Ольгой Михайловной, дочь бедных, но благородных родителей с франтом-заседателем и так далее.

— Наша Ольга-то Михайловна и одеться не умеет прилично, — говорила Прасковья Павловна своему кавалеру, — на бале в простом платьишке; хоть бы пришпилила к груди брошку или что-нибудь этакое. Другой подумает, что ей нечего надеть; а поверите ли, шкапов шесть заняты ее гардеробом. И какие богатейшие вещи есть! Все это даром гниет: вот не в коня-то корм!

После «полонеза» та самая барышня-воспитанница, которая пела у Андрея Петровича «Среди долины ровныя», выступила на середину столовой с полосатым платком, повязанным через плечо, и протанцевала «цыганскую».

Засим заиграли французский кадриль.

Франт-заседатель бросился к дочери бедных, но благородных родителей.

— Позвольте иметь честь ангажировать вас на кадрэль? — сказал он.

— С удовольствием. Мы станем напротив Ольги Михайловны.

— Это совершенно зависит от вашего произвола-с.

— Ма-шер Ольга Михайловна, — закричала она, — позвольте мне танцевать против вас?

— Очень рада, — отвечала Ольга Михайловна, которую только ангажировал какой-то кирасирский офицер с рыжими усами — дальний родственник Феклы Ниловны, находившийся в отпуску и проживавший у нее в деревне.

— Скучаете по Петербургу-с? — сказал кирасир Ольге Михайловне, начиная фигуру и прищелкивая шпорами.

— Очень, — отвечала она.

— Натуральное чувство, весьма натуральное! — продолжал кирасир, закручивая ус. — Я хоть один раз был в Петербурге, да, признаюсь, зато навеселился! У меня там много приятелей гвардейцев, и образцовых, так они меня всё таскали по балам и по театрам. Вы охотницы до театров?

— Большая-с.

— Какой там отличнейший актер Воротников; как представляет, чудо!

Кирасир, не умолкая, любезничал и по окончании кадриля вышел в сени. В сенях стоял Семен Никифорыч и покуривал из своего коротенького чубучка. Семен Никифорыч обратился к офицеру, обтер рукой янтарик и протянул к нему чубучок.

— Не хотите ли ку...ку...рнуть?

— Спасибо вам. Смерть хочется, — отвечал кирасир. Он наскоро затянулся и побежал опять танцевать.

Бал блестел во всей красе. В десять часов по аллеям довольно большого сада расставили десять плошек и зажгли щит, на котором были изображены две буквы: *Ф. Н.* Танцующие и играющие бросились из комнаты посмотреть этот щит и, полюбовавшись им, возвратились назад к своим занятиям. На крыльце остались только Ольга Михайловна и учитель. Она задумчиво обрывала листки своего букета и вдруг, обернувшись к нему, сказала:

— Пройдемтесь по саду.

Он, несколько удивленный, не говоря ни слова, последовал за нею.

Они отошли довольно далеко от дома; плошки кой-где, и то едва-едва, освещали густые и мрачные аллеи.

— Не воротиться ли нам? — сказал он, боязливо смотря на нее.

— Зачем? — спросила она.

— Разве вы не заметили, с какою дурно скрытою ненавистью все эти люди смотрят на вас? Они ищут только удобного случая, какого-нибудь малейшего предлога, чтоб с ожесточением броситься на вас...

Она остановилась у одной из плошек, против которой стояла скамейка. Красноватый свет освещал лицо ее. Она улыбнулась.

— Разве вы думаете, — сказала она, — что я дорожу их мнением, боюсь их злобы?.. Разве вы думаете, что у меня недостанет столько силы, чтобы презирать судом их? столько чувства человеческого достоинства, чтоб не оскорбляться их клеветами?

— Но вы живете между ними, — возразил он, — и они могут жестоко отплатить вам за ваше явное презрение... они будут отравлять вас рассчитанно, медленным ядом. Ведь они составляют общественное мнение, а женщине трудно бороться с ним.

— Не бойтесь за меня... Пусть это мнение подавит меня... Одним днем раньше, одним днем позже — все равно.

— Думал ли я когда-нибудь встретить вас, окруженную такими людьми, быть свидетелем ваших страданий?

— Мне редко удается видеть вас... — начала она тихим и трепетным голосом. — Кто знает, когда еще я увижу вас; а мне хотелось бы поговорить с вами... Мне очень тяжело — и нет образа человеческого вокруг меня, никого, кто бы хоть сколько-нибудь понял, как мне тяжело и горько.

Она схватила его за руку.

— Сядьте здесь, — продолжала она, — возле меня. Да, я очень несчастлива!

Букет выпал из рук ее. Она закрыла лицо руками; потом приподняла голову и, как будто собираясь с мыслями, сказала:

— К чему мне скрываться от вас? Я замужем за человеком, за которого мне приказали выйти и с которым у меня нет ничего общего, которого я никогда не могла видеть без отвращения... Я должна сносить ежедневные, ежеминутные оскорбления, насмешки, дерзкие взгляды его матери, его любимиц, его дворни... Я вам не говорю о тех невольных оскорблениях, которые эти люди наносят мне, сами того не подозревая... Но слушайте; все это ничего, я перенесла бы все это...

Она остановилась; руки ее дрожали. Она несколько раз хотела сказать что-то и не могла. Наконец после долгого усилия едва проговорила задыхавшимся голосом:

— Не презирайте меня... Бог свидетель, я недостойна презрения... но поймите меня и пожалейте обо мне... Я — мать, и не люблю, не могу любить дитя свое... оно напоминает мне *его!*.. Я молилась и плакала у колыбели этого несчастного ребенка... и просила бога смягчить мое сердце... я мать, и во мне нет искры материнского чувства... этого святого чувства, которое дало бы мне силу перенести все бедствия.

Она замолчала и как будто ожидала его слова; но он смотрел на нее с участием безмолвным, невыговариваемым, — глаза его были полны слез...

С заметным усилием она встала, взяла его руку, крепко пожала ее и скорыми шагами пошла по аллее к дому. Белое платье ее мелькнуло вдали между темными кустами.

Он оставался на том же месте, вперив глаза во мрак и ожидая, не мелькнет ли оно еще хоть один раз... но уже ничего не было видно. Плошка, поставленная против скамейки, с треском догорала, освещая букет, оставленный ею.

Он поднял его и скрылся в глубине сада.

— Где же учитель-то? — кричала Фекла Ниловна, бегая по столовой, раскрасневшись и запыхавшись... — Где же он? Зачем же я его пригласила? а? что?.. Сколько девиц не танцует... кавалеров мало... Не видал ли его кто? а?

— И ее здесь нет, — сказала на ухо Фекле Ниловне дочь бедных, но благородных родителей, многозначительно улыбаясь.

— Что? а? *ее* нет? Мм! Видно, не на шутку завелись у них шуры-муры... И стыда нет, — еще ни слова бы не сказала, если б там где-нибудь втихомолку... а то при гостях, на бале так изволит вести себя... Бедный муж!..

ГЛАВА IX

Праздник Феклы Ниловны имел важные следствия... Во-первых, на этом празднике франт-заседатель по уши влюбился в дочь бедных, но благородных родителей, узнав от глухой помещицы, что за нею дадут сорок тысяч приданого (Фекла Ниловна всегда прибавляла вдвое). Во-вторых, после этого праздника уже не один уезд, а целая губерния заговорила о связи Ольги Михайловны с учителем. Все кричали:

— Этакого у нас еще и примера не бывало... Добро бы завести связь благородную, а то с кем!.. Убила бобра!

— Да что-с? я сам был очевидным свидетелем-с, как они в саду целовались.

— Неужели?

— Точно-с; а она ему сказала: клянусь, говорит, тебе в вечной любви... Это я слышал своими ушами-с.

— А мне так рассказывали, что Антон, дворовый человек Петра Александрыча, — он еще при покойнике был камердинером, такой славный и верный слуга, — подкараулил их в леску... знаете, лесок-то, возле самой Дол-

говки. Вот, знаете, и подкараулил... да вдруг и выскочил из-за куста. Она бежать, а Антон на молодчика-то с дубиной, да таки препорядочно отвалял его.

— Удивления достойно, как держит Андрей Петрович у себя в учителях такое, можно сказать, безнравственное существо...

— Добру научит детей его!

— А я наверно знаю, что учитель-то хотел ее увезти на бале у Феклы Ниловны, и тройка стояла у въезда в деревню; уж он, знаете, и в телегу ее посадил, — мой человек это видел и первый поднял шум; тут прибежали, их схватили, да и назад привели.

— Не так изволите говорить... Тройку-то имел он неосторожность поставить у самого дома и побежал за своей возлюбленной, у них заранее было все решено. А она вдруг заупрямилась. «Не хочу», — говорит, а он, не говоря ни слова, вынул пистолет из кармана, да и говорит: «Застрелюсь!» Она испугалась и вскрикнула. А на крик-то прибежали люди, и все узнали, в чем дело.

— Она нанесла бесчестие всему уезду.

— Нет-с — целой губернии.

— Скажите, батюшка, лучше — всему женскому полу...

Около года Ольга Михайловна была предметом постоянного и всеобщего внимания. Только что и говорили об ней, как будто целой губернии решительно нечем и некем было заняться, кроме ее.

Только Прокофий Евдокимыч отвлек на минуту от нее всеобщее внимание: сначала продажею всех своих деревень за необычайно дорогую цену и потом своею смертию...

— Господи боже мой!.. и кому он оставил свой несметный капитал?

— Кому! — и сказать стыдно!

— Вот в чьи руки переходят дворянские денежки!

— А сколько у него, батюшки мои, щенков-то было?

— Видимо-невидимо!

— Я чай, и умер-то, греховодник, без покаяния... Говорят, у него зарыты были мешки с золотом и с серебром под избой, где он жил...

— И все это пошло прахом. А копил целую жизнь!..

— А знаете ли, что на бедной Прасковье Павловне лица нет — так мучится.

— От кого?.. От чего?.. Что такое?

— Разумеется, от кого, от своей невестушки. Ей ведь известно, что все мы знаем, как та отличается. Каково же ей это сносить? Ведь она ей не чужая. Сердце-то болит!

— Как же? ведь невестка... Жаль! потеряла себя, совсем потеряла, и в таких молодых летах! Худо без правил жить...

— Нечего и жалеть об ней, признаться...

— Отчего же?

— Она всегда важничала: так и показывала всем, что из столицы приехала.

— Я прошлый год ее встретил — кланяюсь, а она хоть бы для смеху головой кивнула.

— А я спросила у нее месяца три назад: «Почем у вас, милая Ольга Михайловна, материя на платье?» Она самым сухим образом отвечала: «Не знаю-с». Уж поверю ли я, чтоб она не знала почем? Просто: не хотела отвечать.

— А меня хоть бы когда-нибудь пригласила к себе...

— Правда, что не стоит и жалеть ее!

И все решили, чтоб Ольгу Михайловну и не принимать, и не приглашать, и не говорить с ней, и не подходить к ней...

— Твое имя страдает, голубчик! — кричала Прасковья Павловна сыну. — Что ж ты не примешь никаких мер? отчего же не призовешь ее и не объяснишься с нею. Я не хочу ей ни полслова говорить... Мне сказали верные люди, что она и без того всем кричит, будто я притесняю ее, убиваю... Я ее притесняю!

Прасковья Павловна упала на стул с криком и воплем.

— Ах она, злодейка! Моя репутация ничем не запятнана... Я вот сколько лет вдовой, да про меня никто дурного слова не скажет... Я и до старости лет дожила, имя свое сохранила... А она... Да что! Я не хочу и говорить про нее... ребенок болен, плачет, а она и не заглянет к нему... Экое каменное сердце! Да если б не я, он, моя крошечка, давно б умер!..

Однако, несмотря на крики, советы и даже обмороки своей матушки, Актеон почему-то не решался говорить с своей женою, хоть явно и при всяком случае старался показывать ей свое неудовольствие. Они, впрочем, виделись редко. Он проводил целые дни с Ильею Иванычем, который забавлял его, или с Семеном Никифорычем, который играл с ним в карты, пил и ездил на охоту. Она часто по целым неделям не выходила никуда из своей

комнаты. Здоровье ее незаметно, но быстро разрушалось. Она уже постоянно кашляла и чувствовала боль в груди... Крики и брань Прасковьи Павловны, раздававшиеся по всему дому, так сильно действовали на ее нервы, что в эти минуты она бросалась к своей постели и прятала голову под подушки. Только старушка няня навещала ее и приводила к ней сына.

— Что ты не лечишься, моя кормилица? — говорила няня. — Посмотри на себя, ведь ты, как свечка, таешь... Не послать ли, матушка, за лекаркою Фоминишной в село Кривухино? Я вашим лекарям-то не верю, — а она простыми травами лучше всяких лекарей ваших вылечивает от всех болезней.

Но Ольга Михайловна не хотела слышать ни о лекарках, ни о лекарях и уверяла няню, что чувствует себя совершенно здоровою.

Между тем как жена худела, муж толстел с каждым днем. Любо было смотреть на него за ужином (ужин он предпочитал обеду), когда, усевшись в кожаные дедовские кресла с высокой спинкой и с длинными ушами, он снимал салфетку с своего прибора и, сладко улыбаясь и предвкушая ожидавшие его наслаждения, торопливо засовывал ее за галстук. Против него обыкновенно садилась Прасковья Павловна, с правого боку — дочь бедных, но благородных родителей, а с левого Семен Никифорыч.

— А что, сегодня будет *няня?* — спрашивал Актеон, облизывая губы.

— Будет, дружочек, будет, — ответствовала маменька с нежностию. — Я сама ходила на кухню присмотреть, чтоб хорошенько приготовили ее. Ведь я знаю, мой ангел, чем тебе угодить...

Няня являлась на столе. Актеон накладывал себе полную тарелку *няни* и, опорожнив ее, приступал к жареному поросенку.

Удовлетворив свой аппетит и выкушав стакан мадеры, Петр Александрыч обыкновенно прислонялся к спинке кресел и отдыхал минут с пять, а иногда и более, смотря по надобности; потом он обращался к исполинам:

— А что на дворе, братцы?

И в одно время раздавалось несколько басистых голосов:

— Сиверко-с.

— Вызвездило.

— Замолаживает.

И опять наступала тишина... и Актеон приступал ко второму стакану мадеры.

При окончании одного из таких ужинов, не знаю после которого стакана мадеры, Прасковья Павловна, поменявшись сначала взглядами с Семеном Никифорычем, обратилась к сыну:

— Вот я, дружочек, — начала она, — все хотела, да как-то позабыла сказать тебе... Ты знаешь, мое сердце, что у тебя чересполосное владение по Завидовскому имению с Семеном Никифорычем? Еще покойник братец говаривал, — я как теперь помню (уж я, ты знаешь, милый мой, лгать не стану), — что он владеет совсем неправильно пятьюстами десятинами в Шмелевской даче... эта земля совсем отдельная, и по всему следует ей принадлежать Семену Никифорычу. Братец хотел и укрепить за ним эту землю...

— Точно-с, — возразил Антон, стоявший за стулом Петра Александрыча, — об этом несколько раз и при мне дяденька изволили проговаривать-с.

— Видишь ли, дружочек. И единственно только смерть помешала ему это сделать. Ты, Петенька, даром что мой сын, я могу сказать, благороднейший человек, и к тому же не захочешь тревожить дяденькина праха; ты, — я в этом уверена, — не заспоришь об этой земле с Семеном Никифорычем, да и он вовсе не такой человек, чтоб действовать обманами; ты его знаешь... У вас есть с собой план?

Прасковья Павловна обратилась к Семену Никифорычу.

— Пл...план у меня в кармане, — сказал Семен Никифорыч с сверкающими глазами.

— И прекрасно! Вот вы сами и растолкуете Петеньке, как и почему этой землей следует владеть вам.

Семен Никифорыч развернул перед Петром Александрычем трехсаженный план и, водя по нем указательным пальцем, начал объяснять, заикаясь, свои права.

Актеон долго слушал, ничего не понимая, и смотрел на план, ничего не видя.

— Да что ж, — сказал он, — пожалуй, возьмите себе эту землю...

— Ну, вот и прекрасно!.. — воскликнула Прасковья Павловна. — У тебя там, голубчик, в Завидовке столько

земли, что уж половина так брошена, не обработывается, рук недостает... Поскорей бы и купчую сделать...

— Пожалуй, — сказал Петр Александрыч.

— Т...т...т...ак вы у...у...уступаете мне эту землю? — спросил Семен Никифорыч, вытаращив глаза и еще не совсем веря своему счастию.

— Неужели ж, — отвечала Прасковья Павловна, несколько обидясь, — могли вы сомневаться в благородстве моего сына?

— Не...не...нет. Не...не... знаю, как и благодарить вас... Пе...Пе...Петр Александрыч...

— Поздравляю вас, Семен Никифорыч, с приобретением, — сказала Прасковья Павловна.

— Поздравлять надо шампанским, — заметил Петр Александрыч. — А кстати, я уж давно не пил шампанского... вкус в нем потерял. Выпьем-ка, Семен Никифорыч, бутылочку.

— Э...это наше гу...гусарское вино, — произнес Семен Никифорыч, — к...как не выпить?

На другой день Актеон сообщил своему управляющему о том, что он уступил пятьсот десятин земли Шмелевской дачи Семену Никифорычу.

— Помилуйте-с, — сказал Назар Яковлич, нахмурив брови, — да как это можно-с? У нас в Завидовке на сто душ останется всего двести десятин... Крестьянам-то умирать с голода придется. Нет уж, воля ваша! После этого какие же вы хотите доходы от меня требовать?

— Так что ж? не отступиться ли мне от своего слова! — отвечал Актеон. — Я вчера уж и бутылку шампанского роспил по этому случаю с Семеном Никифорычем...

— Ах, Петр Александрыч! Одна деревенька оставалась незаложенная, да и ту вы хотите разорить.

— Вздор какой!..

— Нет-с, не вздор; да и земля-то, уступленная вами, самая лучшая, хлеборechoдная...

— Вы мне и без того никаких доходов не дали во все ваше управление, да еще, говорят, хотите требовать денег на прокорм крестьян...

— Так что же, сударь, — возразил управляющий недовольным голосом, — коли хлеб не родится, ведь это не моя воля, а божья...

— Отчего же другие помещики все-таки получают кой-какие доходы?

— Да уж я давно, Петр Александрыч, замечаю, что я вам не нужен. Что ж? я готов хоть сейчас отойти: я место себе всегда найду.

Прасковья Павловна подслушала этот разговор и вбежала в комнату с гневом.

— Что ж, друг мой, неужели ты после этих грубостей станешь держать его у себя? Господи боже мой! разве он один только и умеет управлять имениями? Вот какое сокровище!..

— Не горячитесь, сударыня, — сказал управляющий, посмотрев прямо в глаза Прасковье Павловне, — я, во-первых, обижать себя никому не позволю, потому что я чиновник, а во-вторых... Ну, а во-вторых-то... Я, так и быть, промолчу, а уж вы сами знаете.

Он поклонился Петру Александрычу и вышел из комнаты.

— Экий грубиян! — закричала Прасковья Павловна, притворяя дверь, в которую вышел управляющий. — Отпусти его поскорей, друг мой. Бог с ним! он только разорял крестьян... Я знаю за ним такие плутни, такие... ну, да я тебе все после расскажу. Семен Никифорыч у нас свой человек в доме, душевно привязанный к тебе, да он с охотой возьмется управлять твоими имениями. Молчи только, дружочек, до времени... Я все это тебе устрою самым лучшим образом.

Через две недели Назар Яковлич выехал из села Долговки и все счеты и расчеты по своему управлению сдал, по приказанию Актеона, Семену Никифорычу. Назар Яковлич давно искал только предлога, чтоб отойти от Петра Александрыча. В продолжение своего четырехлетнего управления он нажил себе порядочный капиталец и захотел сам сделаться помещиком. Он вскоре купил за 200 верст от села Долговки 60 душ с усадьбой.

Состояние Актеона близилось к разрушению. С капитала, отданного им на бумагопрядильную фабрику, он еще не получил ни гроша. Дмитрий Васильич Бобынин написал к нему оскорбительное письмо за увольнение управляющего и настоятельно требовал или немедленной высылки денег, которые Петр Александрыч был должен ему, или немедленной уступки за этот долг деревни Бекеевки; в противном случае угрожал, что начнет действовать по законам. А деревня Бекеевка была хоть и небольшая, но лучшая и выгоднейшая деревня Петра

Александрыча! Чтоб развязаться с Дмитрием Васильичем, он должен был согласиться на уступку ему Бекеевки.

— Знаете, маменька, — говорил он, — я уж от Дмитрия Васильича ни за что в свете не ожидал такого подлого поступка.

— Что, мой голубчик? — возражала Прасковья Павловна, — моя правда и вышла... Я всегда говорила тебе, что Дмитрию Васильичу пальца в рот нельзя класть, что этакого тонкого обманщика и вообразить нельзя... Видишь ли, как твоя маменька знает людей?..

— Да. Как вы их так научились разбирать? Это удивительно!

— А сказать ли тебе приятную новость, мое сердце?

— Какую?

— Парамон Астафьич, заседатель наш, просит руки моей Анеточки; он написал ко мне премилое письмо по этому случаю.

— Так у нас будет скоро свадьба, маменька?

— Надеюсь, душа моя...

Через несколько времени Петр Александрыч, по настоянию Прасковьи Павловны, занял 20 000 рублей ассигнациями у Семена Никифорыча под залог 40 душ — и отдал эти деньги от имени своей матери в приданое дочери бедных, но благородных родителей.

— Не беспокойся, Петенька, — говорила Прасковья Павловна, — эти двадцать тысяч я тебе отдам... Уж ты, мое сердце, положись в этом случае на мою совесть...

— Хорошо, маменька-с; а когда же свадьба-то?

— В начале сентября, друг мой, непременно.

И вот сентябрь приближался... Только еще третью осень встречал Петр Александрыч в деревне, а ему казалось, что он живет в ней с самого младенчества. Иногда, в год раз или два, мерещились ему петербургские лица, Невский проспект, Александринский театр, офицеры, устрицы... и г-жа Бобынина и г-жа Горбачева — эти две жемчужины среднего петербургского сословия... Но он тотчас же отгонял от себя все эти воспоминания.

«Да и что такое Невский проспект? — мыслил он однажды, — совершенный вздор... И что эти красавицы? так только, блестят, и больше ничего... Спрашивается: чем здесь хуже? Здесь и Агафья Васильевна в козловых башмаках, и Маша, у которой щечки алее зари утренней, и Настя...» и проч. Вдруг на дворе послышался крик.

«Что это значит?» — подумал Петр Александрыч.

Он поднялся с своего дивана и взглянул в окно. У подъезда дома стояли три подводы, и на эти подводы укладывали сундуки с приданым дочери бедных, но благородных родителей. Мужики и лакеи, стоявшие у подвод, во все горло смеялись, глядя на какого-то мальчика, которого Антон торжественно вел через двор за ухо. Мальчик тщетно пытался вырваться от Антона и кричал.

— Что это, Наумыч? — спросили в один голос Дормидошка, Фомка и Филька. — За что это ты, брат, его теребишь? Ведь это Петька покровский.

— Не ваше дело, — отвечал Антон с глубочайшею важностию, — будете знать все, скоро состареетесь...

«Что это за мальчишка? — подумал Петр Александрыч. — Странно!»

Через полчаса после этого Прасковья Павловна вбежала к своему сыну.

— Ну, Петенька, — вскрикнула она, — приготовься, мой друг!.. Не на радость я пришла к тебе... да что делать? Супруга твоя забывает все приличия, всякую благопристойность... Она... она... ну, как бы ты думал... ну, вообрази, что может быть хуже... завела переписку с учителем!.. Я молчала, все молчала... да наконец уж, извини... не могу... не могу... Я не говорила тебе до сих пор, что она с ним прогуливается в роще, что уж однажды Антон подкараулил их и, кажется, учителю-то от него досталось... Уж об этом, батюшка, посторонние говорят, все, все... Я щадила только твое здоровье, потому молчала... и думала, признаюсь, что она очувствуется... Наконец надо же положить этому преграду... Переписка!.. Бесподобно!

— Где ж вы видели ее переписку? — спросил Петр Александрыч, встав с дивана и пройдясь по комнате...

— Где?.. где?.. А вот где!

Прасковья Павловна подала сыну с особенною торжественностию какую-то записочку.

Он открыл ее, пробежал глазами и нахмурился.

— Да читай вслух, мой друг. У меня, знаешь, глаза слабые; я не разобрала и половины. Поняла только, что любовная записка.

«Мне открывается случай ехать в чужие краи, и не позже, как через месяц. Об этом я получил третьего дня

письмо из Москвы... Я еду; мне должно уехать отсюда... Но чувствую, что у меня недостало бы сил уехать, не простясь с вами. В моей горькой жизни есть несколько светлых дней. Этими днями я обязан вам. Желание вас видеть в последний раз пересилило мою боязнь писать к вам. Простите меня за это... Мысль, что я могу подать повод этой запиской к сплетням, которые составляют, кажется, весь интерес здешних жителей, эта мысль мучит меня... С моим посланным напишите мне одно слово в ответ, где и когда я могу вас видеть».

Прочитав это письмо, Петр Александрыч положил его в карман.

— Каково покажется? — закричала Прасковья Павловна. — Сплетни! ай да молодчик!.. Пожаловал нас в сплетницы... О каких-то минутах, видишь ли, напоминает ей и просит, чтоб она назначила ему рандеву...[1] Прекрасно!

Петр Александрыч покачал головой.

— Нехорошо; однако он уезжает отсюда, маменька...

— И ты веришь ему, голубчик? Это все обман, хитрость! им только хочется иметь свидание. Нет, этого пропустить нельзя... и посланного-то надо отвадить отсюда...

— А как же эта записка попалась к вам?

— Спасибо Антону. Мальчишка-то посланный, видно, дуралей; он встретил Антона, да и спрашивает, как видеть вашу молодую барыню. А тот догадался, спрашивает — зачем тебе? — Так, говорит... Он погрозил ему; мальчишка-то туда, сюда, да и признался, что у него записка есть к ней от учителя... Антон взял его за ухо и привел ко мне... Впрочем, ты с Ольгой Михайловной сам как хочешь, так и делайся. Мой долг был только обнаружить ее шашни, показать ее неблагодарность к тебе, которому она всем обязана, — а там не мое дело. Тебе известно, что я все сношения с ней прекратила, а уж что касается до этого негодяя мальчишки, их любовного почтальона, я велю его порядочно проучить.

Мальчик, точно, был высечен Антоном по приказанию Прасковьи Павловны и выпровожен за деревню.

Антон, донеся ей о точном исполнении ее приказания, стоял в ее комнате, как будто ожидая чего-то.

---

[1] свидание (*франц.* rendez-vous).

— Хорошо, Антон, спасибо! — сказала Прасковья Павловна.

Антон все не двигался с места.

— Что? тебе нужно что-нибудь?

Антон поклонился ей в пояс.

— Матушка Прасковья Павловна, — сказал он, — осмелюсь утруждать вас... Я, кажется, служил вам верой и правдой, и то есть, коли доподлинно сказать-то, считал *вас* всегда своей барыней... ей-богу... Не оставьте же меня, старика... сами изволите знать... Жена, дети...

— Что ж тебе, на волю хочется, Антон? — спросила Прасковья Павловна.

— И, матушка, какая воля!.. Да что я, старик, пойду теперь на волю, да еще с этакой обузой, с женой, с детьми? Беда!.. Только добрых людей насмешить... Да и куда идти мне?.. А вот если б ваша милость была (Антон почесал затылок), если б вы пожаловали мне, примерно, сколько-нибудь рублишек. Недавно, матушка, околела у нас дойная, важнейшая была корова, просто всю семью кормила. Заставьте за себя вечно бога молить...

— Хорошо, Антон, изволь.

Прасковья Павловна вынула из своего ридикюля десять рублей.

— Вот возьми покуда, а после я тебе дам еще.

Антон поклонился и вышел.

— После! — ворчал он себе под нос, идя по двору. — Вот тебе и раз! За все мое усердствие отблагодарила красненькой. Уж, видно, моя такая доля горемычная! Хоть бы холстинки кусочек прибавила. Все бы отраднее было. Эх, горькая участь!

И Антон, махнув рукой, отправился в домик, украшенный елкою.

ГЛАВА X

В то самое время, как Антон явился с докладом к Прасковье Павловне, Петр Александрыч вошел в комнату к жене своей. Эта комната, в которой он давно не был, поразила его, — так резко отделялась она от остальных комнат в его доме. Он с странным любопытством смотрел на все — и на рояль, на котором лежала груда

нот, и на столы, на которых разбросаны были книги, и на письменный стол ее, на котором стоял портрет ее матери.

Ольга Михайловна сидела на диване, закутавшись в шаль и прислонив голову к спинке дивана. Она вздрогнула при скрипе отворившейся двери и с изумлением посмотрела на мужа.

Он поклонился ей, нахмурил брови и сделал несколько шагов. Он явно хотел говорить, потому что губы его зашевелились; но слова не сходили с языка... Он еще немного прошелся по комнате, остановился, посмотрел на нее и сказал:

— Вы очень похудели.

— Может быть, — отвечала она.

— Вы больны?

— Нет, я здорова...

Петр Александрыч замолчал, открыл одну из книг, перевернул страницу и потом кашлянул.

— А мне нужно объясниться с вами.

— Что вам угодно?..

— Вот видите ли, я ничего вам не говорил до сих пор, а мне все известно... По целой губернии ходят об этом слухи. Я не хочу, чтоб вы имели какие-нибудь сношения с этим учителем... Этого и приличие не позволяет... и мое имя тут страждет... Уж, может, и губернатор и губернаторша об этом знают... сами посудите, хорошо ли это?.. Я ведь ваш муж... ведь на меня пальцами будут показывать... Ну, если губернатор станет надо мной смеяться, что вы тогда скажете?

Ольга Михайловна грустно посмотрела на мужа и ничего не отвечала.

— И переписку завести, — продолжал Петр Александрыч, — да ведь это что же такое наконец?

— Какую переписку?

Она подняла голову.

— А вот...

Он вынул из кармана записку учителя.

— Он к вам пишет записки... Ведь у вас еще, кажется, муж не умер, живой перед вами.

Ольга Михайловна вскочила с дивана.

— Кто ко мне пишет? Какая записка? Покажите.

— Извольте...

Она схватила записку дрожащей рукой и пробежала ее.

Лицо ее вспыхнуло от негодования.

— И вы перехватили эту записку и распечатали ее?

— Нет-с, не я, а маменька.

— Что же вам угодно еще от меня?

— Больше ничего, как только все высказать вам это... Я надеюсь, что вы отвечать ему не будете.

— Нет, буду, — сказала она, смотря ему прямо в глаза.

— Как?.. На что же это похоже? Что вы будете отвечать?

— То, что я хочу проститься с ним, видеть его в последний раз.

— И вы мне, вашему мужу, в глаза признаётесь, что любите другого?

— Да, я люблю его, люблю, — повторила она спокойным и твердым голосом, — только не так, как думаете вы и ваша маменька. Я увижусь и прощусь с ним, хотя бы после этого и клеветы, и оскорбление, и презрение всей вашей губернии обрушились надо мною и подавили меня...

Петр Александрыч посмотрел на жену и подумал: «Да она помешалась!»

В эту минуту вошла горничная.

— Нянюшка, — сказала она, — просит вас к себе, сударыня; ей сделалось очень худо.

Ольга Михайловна вышла из комнаты, оставив своего супруга в страшном раздумье.

— Просто, — ворчал он сквозь зубы, — помешалась!..

Старуха няня была уже больна недели две, и в продолжение всей ее болезни Ольга Михайловна почти не отходила от ее постели.

— Что же нейдет моя голубушка-то Ольга Михайловна? Послали ль за ней? — повторяла больная.

Ольга Михайловна неслышными шагами подошла к ней.

— Что с тобой, няня? Тебе хуже?

— Ах, это вы, моя кормилица... Дай мне твою ручку... Плохо, матушка, плохо... Кажется, мой последний час пришел... Да и то сказать, зажилась, родимая; пора домой... Пошли, кормилица, за священником, да вели привести ко мне, матушка, Сашеньку-то... Последний раз посмотреть на него...

Дитя было приведено; вскоре за ним явился и Петр Александрыч.

— Спасибо тебе, кормилец, — сказала ему старуха, — что не забыл меня...

Через минуту она обратилась к Ольге Михайловне.

— Послушай, матушка... ты здесь... Наклонись ко мне... Не препоручай ничего, родимая, Антону, — шептала она, — сохрани тебя бог... и никому из дворни... кроме Петра... А где же мой Сашенька-то?..

— Вот он, няня.

Ольга Михайловна приподняла своего сына и посадила на кровать к больной.

— Голубчик мой, милое мое дитятко... — говорила старуха, смотря на него.

— Благослови его, благослови его, няня! — сказала Ольга Михайловна голосом, задушаемым слезами.

Старуха просила, чтобы ее приподняли. В комнате было как в сумерках. Сероватый осенний день едва проходил сквозь окно в комнату умиравшей, и только слабый свет лампады, теплившейся перед двумя образами, стоявшими у ее изголовья, освещал ее морщинистое лицо, исхудавшее от болезни.

— Во имя отца и сына и святаго духа! — сказала старуха, осеняя дитя своей дрожащей рукой, — будь счастлив, расти, голубчик, отцу и матери на утешение.

Няня поцеловала его и заплакала.

И у Петра Александрыча показались на глазах слезы.

Священник пришел и причастил умирающую. После причастия старуха улыбнулась и как будто с большею живостию посмотрела на всех.

— Поздравьте же меня, — сказала она, — господь сподобил меня, грешную, причаститься святых таин.

Она несколько минут отдохнула и потом начала говорить, беспрестанно останавливаясь и совсем ослабевшим голосом:

— У меня под кроватью два сундучка стоят да две скриночки... Там вещи, которые я собирала, берегла... разные вещи... Родных у меня никого нет... я была одна, как перст... Это, матушка Ольга Михайловна, я тебе оставляю... Слышишь?

— Слышу, няня... Благодарю тебя.

— Петенька! подойди же ко мне...

Петр Александрыч подошел к няне.

Она собрала все свои силы, крепко ухватила его за голову и начала целовать.

— Исполни просьбу твоей старухи, батюшка, последнюю просьбу... береги жену свою... береги ее, Петенька...

Не давай ее никому в обиду, кормилец... У нее нет здесь ни отца, ни матери... Она на чужой стороне... Она добрая, она все за твоей больной няней ходила... А где ты? ты здесь, моя кормилица... Дай, я тебя перекрещу, — сказала няня Ольге Михайловне. — Прощайте все, добрые люди... А где же Прасковья Павловна?..

Голос старухи постепенно замирал; она прошептала еще несколько невнятных слов, раза два простонала — и стихла.

Когда Ольга Михайловна вышла из комнаты няни, в сенях навстречу ей попалась Прасковья Павловна и дочь бедных, но благородных родителей.

— Что наша старушка? — спросила последняя с участием.

— Она скончалась, — отвечала Ольга Михайловна.

— Неужели?..

Дочь бедных, но благородных родителей поднесла платок к глазам.

— А нам даже и не дали знать, что она в таком трудном положении! — сказала Прасковья Павловна, искоса посматривая на свою невестку, — да и зачем? мы ходить с Анеточкой за больными не умеем, где же нам? Мы добродетельными прикидываться также не можем... В притворстве уроков не брали... Учителей у нас знакомых нет; наставлений давать нам некому...

Прасковья Павловна выходила из себя. Дочь бедных, но благородных родителей посмотрела выразительно на свою благодетельницу и едва заметно покачала головой.

— Пойдемте, дружочек Анеточка, простимся с покойницей... дай ей бог вечную память! — Прасковья Павловна перекрестилась. — Не забудьте же, душенька Анеточка, вписать в моем поминанье рабу божию *Федосью*...

ГЛАВА XI

Андрей Петрович, узнав, что его мальчик, посланный учителем в село Долговку, был наказан, пришел в ужасную ярость.

— На моего человека осмелиться руку занести! — кричал он, ходя по комнате и обращаясь к одному из го-

ствивших у него помещиков, — хорошо же! это не пройдет даром... Нет, любезный соседушка, извините... Ну, уж этот Петр Александрыч, сущая баба, признаюсь... Этого я от него не ожидал. Как позволить себя опутать до такой степени!.. «Мать!» — говорит... Имей он уважение к матери — против этого ни слова, да на что же у человека царь-то в голове? как же не жить своим умом?.. Притеснили эту бедную Ольгу Михайловну так, что ни на что не похоже... выводят сплетни по целой губернии, расславили ее на всех перекрестках.. да и меня вмешали в эту историю... А учитель мой человек отличный, тихий, благородный... я бы с ним целый век не расстался... Ну, да уж зато какой же я аттестат ему дам, черт возьми! в золотую рамку может повесить просто!.. Вишь, злоба какая! Осмелиться наказать чужого человека!.. Погоди, вот я все их ухищрения обнаружу; я заставлю замолчать целую губернию! Да, я таков... со мной не шути.

Андрей Петрович, который в продолжение всей своей жизни брал только перо для того, чтоб подписывать свое имя, — схватил лист почтовой бумаги и в один присест написал к Петру Александрычу следующее:

«Милостивый государь мой после таких поступков с вашей стороны каков был последний поступок с моим человеком, который принес письмо от учителя к вашей супруги, я не вхожу в рассмотрение по приказанию Вашему или вашей Матушки сделано то, а имею только честь объявить вам, что буде хто из ваших крестьян либо дворовых после сего покажется в моей деревне покровке новоселовке тож то не применет с ним последовать такоеже наказание коему у вас подвергся мой человек. — Засим имею честь быть ваш слуга *Андрей Боровиков».*

Письмо это не произвело сильного действия на Петра Александрыча; он даже жалел втайне о нечаянной вражде своей с Андреем Петровичем; зато оно чрезвычайно раздражило Прасковью Павловну.

— Ах он, бессовестная душа! низкий человек! — воскликнула она. — Уж недаром у меня всегда на сердце было что-то против него!.. Правда, говорят, что все к лучшему, теперь я верю этому... Ну, если бы я выдала Анеточку за него, ведь он погубил бы ее, совсем погубил!.. У кого же нам теперь взять музыкантов для сговору и для свадьбы?.. Вот беда!..

Сговор и свадьба должны были совершиться в губернском городе, где пламенный жених нетерпеливо ожидал избранницу своего сердца. Прасковья Павловна целые дни проводила в сборах и приготовлениях к 26-му сентября: этот день назначался для выезда из села Долговки. Петр Александрыч приглашен был посаженым отцом, а Фекла Ниловна посаженою матерью со стороны невесты.

Дочь бедных, но благородных родителей с тех пор, как торжественно была объявлена невестой, находилась в меланхолическом состоянии. Она беспрестанно вздыхала. Ее несколько тревожило, что жениха ее зовут Парамоном, но зато это окончательно утвердило ее веру в святочные гаданья. Имя Парамона, как известно читателю, впервые услышала она полтора года пред сим, в один из рождественских вечеров, когда робко и трепетно выбегала на улицу вопрошать судьбу о своей участи.

26 сентября утром, перед самым выездом своим из деревни, невеста пришла к Ольге Михайловне.

— Ма-шер Ольга Михайловна, — сказала она, — я должна проститься с вами и поблагодарить вас за внимание ваше ко мне в продолжение всего времени, которое я жила здесь. Меня только убивает мысль, что болезнь мешает вам осчастливить своим присутствием мою свадьбу.

Произнеся это, дочь бедных, но благородных родителей скромно потупила глаза.

— Вы не сердитесь на меня, душенька? — спросила она после минутного молчания, взглянув с чувством на Ольгу Михайловну.

— За что же-с?

— Вы могли думать, что я была отчасти причиною неприятностей, которые последнее время терпели вы от Прасковьи Павловны, а я, клянусь вам, всегда еще удерживала ее, сколько могла, хвалила ей вас...

— Очень вам благодарна.

— Мне всегда так жалко было на вас смотреть; я всегда самое искреннее участие принимала в вас... Позвольте мне быть уверенной, что мы расстаемся с вами без всяких неприятностей?

— Совершенно. Желаю вам всякого счастия.

Дочь бедных, но благородных родителей поцеловала Ольгу Михайловну и заплакала.

Все было готово к отъезду. Прасковья Павловна, Се-

мен Никифорыч, Петр Александрыч и невеста, в салопах и шинелях, присели минуты на две, как это обыкновенно водится; потом помолились; потом Прасковья Павловна начала рыдать и благословлять свою Анеточку; потом все пошли к карете, где ожидали их мрачный Антон и вечно цветущая Агафья.

В эту самую минуту Илья Иваныч, приехавший в тележечке на одной лошадке, подбежал к отъезжающим.

— Ах, Илья Иваныч! — закричал Актеон.

— Эге! Илья Иваныч, — произнес Семен Никифорыч.

— Илья Иваныч! Илья Иваныч! — пропищала Прасковья Павловна с Анеточкой.

— Мое почтение-с. А я привез вам новость-с. Село Козмо-Демьянское графа Воротынцева продано совсем, с померанцевыми деревьями-с, с фабрикой, с домом и со всеми угодьями за миллион двести тысяч-с.

— Кому? кому? — закричали все в один голос.

— Дмитрию Васильичу Бобышину.

— Вздор! — вскрикнула Прасковья Павловна, обомлев.

— Ей-богу-с. Уж и купчая, говорят, совершена-с... Да в городе вы всё сами узнаете.

Прасковья Павловна бросила значительный взгляд на сына.

— А вы куда-с едете? — спросил Илья Иваныч.

— Ах, батюшка, да разве ты не знаешь? Везу отдавать замуж Анеточку.

— Поедемте-ка с нами, — сказал Актеон, — как будет весело, какие будут обеды, ужины!.. — Он подумал: «Ай да Дмитрий Васильич! Как-то я выручу от него деньги, отданные на филатуру?»

— Вы, Илья Иваныч, сядете там сзади, в тарантасе, с Настей и с Машей, — заметила Прасковья Павловна.

— Как же, я жене и детям ничего не сказал-с! Разве с моим мужичком послать их уведомить, что я, дескать, с вами в город поехал?

— И прекрасно. Так решились?

— Решился-с.

На свадьбе будем мы отлично пировать
И молодым всех благ и счастия желать.

Проговорив это двустишие, Илья Иваныч бросился к своей тележке, вынул из нее свой чемоданчик, отдал приказ своему мужичку и расположился в тарантасе.

В карету села, кроме четырех господ, Агафья Васильевна. Антон взгромоздился на козлы. Гришка стал на запятки. Карета двинулась, и за нею два тарантаса, нагруженные перинами, подушками и девками.

В этот же вечер Ольга Михайловна написала к учителю:

«Завтра утром я ожидаю вас к себе. Вы никого не встретите. Я одна, все уехали в город».

Но с кем послать эту записку?

Ольга Михайловна задумалась: вдруг ей пришло на память, что умирающая няня говорила о Петре. Этот Петр находился под опалой у Прасковьи Павловны и редко приходил в комнаты. Ольга Михайловна велела позвать его к себе. Он явился.

— Возьмешься ли ты доставить эту записку учителю, который живет у Андрея Петровича? — спросила она.

— Почему же нет-с? Да лучше всего, сударыня, отдать ее покровскому крестьянину, который здесь проездом у нашего мужичка Ермолая.

— И он доставит ее?

— Как же-с, непременно; наказать только ему строже.

— Так возьми же эту записку и попроси его, чтоб он доставил ее сегодня же, если может.

— Слушаю-с. — Петр ушел.

На следующее утро она встала рано и вышла в сад. Погода была пасмурная; серые тучи кругом обложили небо. Резкий ветер, поднявшийся с поля, со стоном качал полуобнаженные деревья; желтые листья грудами лежали на земле, утки лениво ныряли в пруде; на полусгнившем и почернелом заборе висело белье; по крыше разваливающегося дома лепился мох; ставни у многих окон сорвались с петель и качались со скрипом...

Она возвратилась в свою комнату и села в тревожном ожидании у окна, прислушиваясь к однообразному стуку и шипенью старинных стенных часов. Сердце ее ныло и замирало от грусти. На ней было белое платье — такое же, как в тот день, когда она увидела *его* в первый раз. Осунувшееся лицо ее было покрыто ярким румянцем; глаза блестели; грудь подымалась тяжело и неровно.

Вдруг раздались чьи-то шаги в тишине. Кто-то всходил на лестницу. Она начала слушать. «Это он!» — прошептала она и пошла к нему навстречу.

— Я издалека узнала ваши шаги, — сказала она, улыбаясь и протягивая ему руку. — Видите ли, как старые друзья ваши помнят вас?..

Она села на диван и указала ему место возле себя.

— Я думал, что уж более не увижусь с вами.

— О нет, нет! вы не должны были уезжать, не простясь со мною... А вы скоро едете? — спросила она немного изменившимся голосом...

— Через два дня, — отвечал он.

— Через два дня! — повторила она, задумываясь. — Наконец ваше всегдашнее желанье исполняется...

— И странно! в эту минуту, — сказал он, — я счел бы величайшим счастием, если б мне навсегда можно было остаться здесь...

Несколько минут они молчали.

— Куда же вы едете? — спросила она.

— В Италию.

— Поезжайте, поезжайте! вам будет лучше там... Я рада за вас. — Она опять задумалась. — И я когда-то думала быть в Италии... только это очень давно.

Она улыбнулась.

— И я вижу вас в последний раз? — произнес он голосом, вырвавшимся из глубины болящей души.

— В последний!

На глазах ее показались слезы...

— Да... я теперь начинаю вспоминать... вы когда-то желали услышать от меня еще раз — Шуберта... Теперь я могу исполнить ваше желание. — Она села к роялю и с минуту как будто припоминала что-то... Легкий, едва заметный трепет пробежал по ее телу... руки прикоснулись к клавишам, и раздались печально-медленные аккорды «Странника» [1].

Она пела:

...«Тихо и грустно странствую я по жизненному пути, и вздохи беспрестанно спрашивают: где же, где?

«Здесь солнце светит на меня так холодно... цвет жизни моей вянет, речи *их* — для меня звуки пустые...

«О, где же ты, где ты, моя возлюбленная страна, так мной любимая, предчувствуемая и никогда мной не знаемая? Страна, столь полная надежды, — страна, где цветут

---

[1] «Der Wanderer». *(Прим. И. И. Панаева.)*

мои розы, где живут друзья мои, где восстают мои мертвые, — страна, где говорят моим языком, — о, где же ты, где ты?

«Тихо и грустно странствую я по жизненному пути, и вздохи беспрестанно спрашивают — где она, где она?

«Мне слышится, словно в дуновении ветра прозвучал таинственный голос: там, где нет тебя, — там твое счастие...»

Она смолкла, голова ее болезненно склонилась к груди... Это была ее лебединая песнь. Он смотрел на нее, и по бледному лицу его ручьями лились слезы...

Отдохнув, она долго еще разговаривала с ним о своей жизни в Москве, о чужих краях... Наконец он встал со стула и взялся за шляпу.

— Вы уж идете? — сказала она, сжимая его руку. — Прощайте; да благословит вас бог!.. Благодарю вас... за все... Вам я обязана лучшими минутами моей жизни... — Она едва могла договорить последнее слово; силы оставили ее, и голова ее упала к нему на грудь.

Минуты две она была в каком-то забытьи; вдруг приподняла голову, отвела от глаз свои волосы и смотрела на него долго и пристально, будто стараясь еще более напечатлеть в своей памяти черты его.

— Прощайте! — повторила она, — если когда-нибудь случится вам быть в этих местах, зайдите на мою могилу...

Она улыбнулась.

Он ничего не мог говорить: слезы задушали его, он только жадно прильнул к ее рукам в упоении отчаяния...

Она проводила его до другой комнаты... потому что силы не позволяли ей идти далее, и села у окна, которое выходило на улицу.

Он давно скрылся, но она все еще сидела у окна...

У Полицейского моста, часу в 3-м утра, офицер с серебряными эполетами и с черным султаном остановил офицера с золотыми эполетами и с белым султаном.

— Бон-жур, мон-шер, — кричал офицер с черным султаном, хватая почти насильно за руку офицера с белым султаном, — куда идешь? что ты сегодня делаешь? отчего так бледен? — Слышал новости, мон-шер?

— Какие?

— Сюда две француженки приехали, прехорошенькие, прямо из Парижа; я за одной из них волочусь... она подарила мне колечко с изумрудом... я тебе после покажу... Как она мило говорит: «Je vous adore!» [1], ты не поверишь... А кстати, ты ведь знал Петра Александрыча Разнатовского?.. Пьер, такой славный малый? Я у него шафером на свадьбе был. Мы еще вместе с ним кутили... я у него сто тысяч выиграл последний раз, как ездил к себе в деревню, знаешь?

— Да как, братец, не знать?.. Ну, что же?

— И помнишь его жену, мон-шер? Она к Горбачевым ездила, шармант персонь [2] была!.. Она всегда такие длинные черные локоны носила и славно вальсировала...

— Да, знаю, братец, что же дальше?

— Умерла с год назад тому... я только недавно узнал об этом, мон-шер.

— Так, по-твоему, это тоже новость?

— Еще бы! ведь ты не знал этого! А Петр Александрыч, говорят, недавно женился, и знаешь, на ком? — трудно поверить... На своей горничной Агашке... Мне пишут об этом из тех мест, мон-шер, где его деревня, — ей-богу!

— Неужели?..

— У него, говорят, всего осталось пятьдесят душ. Дмитрий Васильич Бобынин чудно обработал его! А мы сегодня, мон-шер, кутим напропалую с Костей и с Петрушей. У Дюме́ особый обед заказали по пятнадцать рублей с персоны, без вина... У него новый чудесный повар... О-плезир [3], мон-шер.

---

[1] Я вас обожаю *(франц.)*.

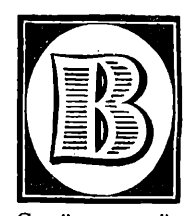
[2] очаровательная особа (*франц.* charmante personne).

[3] До удовольствия (увидеться; *франц.* Au plaisir).



РОДСТВЕННИКИ

ГЛАВА I



селе Благовещенском числилось 232 души мужеска пола. Село Благовещенское принадлежало шестерым владельцам, из которых три имели в нем постоянное местопребывание: холостой и отставной армейский поручик Брыкалов, лет сорока; неслуживший дворянин Ардальон Игнатьич Стойковский, пятидесяти девяти лет, отец многочисленного семейства и слуга супруги своей Агафьи Васильевны, барыни толстой, с бельмом на правом глазу, — и, наконец, сестрица Ардальона Игнатьича — Олимпиада Игнатьевна, вдова лет пятидесяти шести, не без основания пользовавшаяся уважением всего околотка за свои нравственные и религиозные правила. У Олимпиады Игнатьевны были сын и дочь — Петруша и Наташа. Петруше было лет девятнадцать, Наташе двадцать два года.

Из 232 душ села Благовещенского, Брюхатово тож, 62 души принадлежали Олимпиаде Игнатьевне, 85 душ ее брату, 45 поручику Брыкалову, а остальные за тем другим владельцам, о которых упоминать здесь не для чего. Три барские дома красовались в разных концах села Благовещенского. Впрочем, красовался, собственно, только один барский дом, принадлежавший Ардальону Игнатьичу,

потому что этот дом был обит тесом, выкрашен краской и находился на самом завидном месте, то есть на небольшой площадке против церкви. Дом Олимпиады Игнатьевны был не то чтобы совсем дом, а так, что-то среднее между домом и избою: старый, не обшитый тесом, он стоял, одинокий и мрачный, покачнувшись набок, на самом конце деревни. Ни одного дерева, ни одного кустика не было кругом его — только сзади двор, обнесенный плетнем, голый двор, выжженный солнцем и скользкий во время летней засухи, как паркет, а на дворе три или четыре людские избушки, также дряхлые. Поручик Брыкалов жил просто в большой крестьянской избе, крытой соломой.

Грех сказать, чтобы владельцы села Благовещенского жили в любви и мире. Нога Ардальона Игнатьича три года не переступала порога его сестрицы Олимпиады Игнатьевны... И хотя он, по своему кроткому и богобоязливому характеру, каждый год на страстной неделе покушался примириться с нею и каждый год начинал к ней письмо следующими строками:

«Милостивая Государыня любезнейшая сестрица.

Приступая ныне к великому Делу с подобающими истинному Христианину чувствиями нелицемерного смирения и покаяния в своих проступках и вместе с тем, так как Родственные наши отношения поколеблены... то...»

Но на этом *то* Агафья Васильевна всякий раз ловила его, выхватывала у него начатое письмо и рвала в мелкие кусочки.

Родственное согласие Ардальона Игнатьича и Олимпиады Игнатьевны, возмущавшееся довольно часто Агафьей Васильевной, окончательно было прервано на полюбовном размежевании за какой-то клочок неудобной земли. Этот клочок Агафья Васильевна ни за что не хотела уступить Олимпиаде Игнатьевне, Олимпиада же Игнатьевна, в свою очередь, ни за какие блага не хотела уступить Агафье Васильевне. Таким образом, несмотря на неимоверные усилия посредника, полюбовное размежевание земли села Благовещенского до сих пор не состоялось. Долг справедливости заставляет, впрочем, заметить, что не одни Агафья Васильевна и Олимпиада Игнатьевна были препятствием к полюбовному размеже-

ванию. Поручик Брыкалов почему-то твердо вознамерился присвоить себе $4^1/_2$ десятины земли под строевым лесом, бесспорно принадлежавшие Ардальону Игнатьичу, и, несмотря ни на какие доводы, объявил торжественно, что он слышать ничего не хочет, что хоть до ножей дело дойдет, а он не уступит эти $4^1/_2$ десятины. Рассказывали также (за достоверность этого я не могу, однако, поручиться), что поручик неоднократно подсылал крестьян своих по ночам рубить лес Ардальона Игнатьича и что Агафья Васильевна, завидев однажды из окна Пантелея, старосту поручика, изволила выбежать сама на двор в одной кофточке (некоторые злые языки уверяют, что даже и без кофточки) и с грозными телодвижениями закричала вслед ему:

— Скажи, мошенник, своему барину, чтобы он мне, грабитель, не показывался на глаза, а не то я ему все его тараканьи усы выщиплю! Слышишь?..

Говорили, что Пантелей передал это поручику от слова до слова и что поручик, выслушав Пантелея, очень хладнокровно заметил:

— А вот погоди она у меня, я ее, каналью, затравлю собаками.

Говорили также... но нет возможности передать всех рассказов друг о друге владельцев села Брюхатова. Этим рассказам не было бы конца. И благодаря только им обнаруживались кое-какие признаки жизни и движения в селе Брюхатове... Так поверхность стоячего болота, подернутого зеленоватою плесенью, возмущается только тогда, когда мальчишки, забавляясь, бросают в него камешки.

Село Брюхатово не могло похвалиться живописными видами. Оно было расположено на ровном и низменном месте, у речки Векши. Эта речка несколько оживляла грустные и однообразные его окрестности. Блестящая, как лезвие меча, искусно выполированное, она быстро и весело сверкала и извивалась кольцами, как змея, среди тучных, но плохо возделанных пажитей, нисколько не гордясь тем, что сливала воды свои с водами одной из величайших и красивейших рек в мире. Вправо от селения, у самого горизонта, показывался мелкий лесок на возвышении. На расстоянии семи верст в окрестностях не было ни одной горки, а только небольшие покатости и едва

заметные холмы. Удобнее этой земли в хозяйственном отношении невозможно было желать.

И если бы село Брюхатово было в одних и, как говорится, хороших руках, оно, вероятно, приносило бы значительные выгоды, но раздробленное на мелкие участки, при чересполосном владении, при беспрестанных распрях совладельцев, при ежедневных ссорах и драках разнопомещичьих крестьян, подобно господам враждебно смотревших друг на друга; при самой отчаянной бестолковости в управлении — оно находилось в жалком состоянии. Полуразвалившиеся избы, на которые безобразно навалены были кучи соломы, сгнившей и почерневшей от времени, растасканные и разрушенные плетни, нечистота на улицах, грязные и оборванные ребятишки, полунагие бабы вместе с поросятами и свиньями — все это вместе производило грустное и тяжелое впечатление.

Всегда печальное, еще печальнее обыкновенного казалось село Брюхатово в тот весенний вечер, походивший, впрочем, более па осенний, с которого начинается наше повествование.

Серенькое небо, мелкий и частый дождь, однообразный скрип обломанных крыльев ветряной мельницы, вой дворной собаки, все страшно действовало на нервы и наводило тоску нестерпимую.

Наташа — дочь Олимпиады Игнатьевны, сидела у окна и смотрела на мальчишку-пастуха, который, по колено в грязи, измокший до костей, дрожа от холода и голода, с длинной хворостиной в руке гнал стадо овец и баранов мимо барского дома.

Наташа была недурна собой, высока и стройна. На ней было ситцевое платьице с вырезкой на груди, со снурками и кистями, и сверху немного засалившаяся черная кацавейка, обшитая кошачьим мехом... Она все продолжала смотреть в окно, хотя мальчик, гнавший стадо, давно прошел и хотя смотреть уж решительно было не на что. Потом она немного задумалась, облокотилась головой на руку и... зевнула.

Вслед за тем в углу той же самой комнаты послышался долгий и глубокий вздох.

В этом углу на диване у печки сидела маменька Наташи, в белом чепце и в темно-пюсовом [1] капоте.

---

[1] от puce — красновато-бурый цвет *(франц.)*.

— Что это, матушка, ты уселась тут у окна? — произнесла маменька печальным и болезненным тоном. Иначе она не говорила.

— Что-с?.. — спросила рассеянно Наташа.

— Ах, боже мой, что ты, оглохла, что ли?.. я спрашиваю тебя, зачем ты уселась у окна?

— Да отчего же мне не сидеть тут?

— Хоть бы занялась чем-нибудь.

— Да чем же мне заняться, маменька?

— Чем? — проговорила Олимпиада Игнатьевна, — ну, коли нет никакой работы, хоть бы чулок вязала. Все занятие.

Затем последовало молчание.

Дождь продолжал стучать в стекла.

Наташа еще раз зевнула.

Олимпиада Игнатьевна, глядя на нее, также зевнула и прошептала со вздохом:

— Ах, боже мой!.. Ах, господи, боже мой! — и перекрестила свой рот.

Через минуту она снова обратилась к Наташе:

— Да что это ты зеваешь беспрестанно, Наташа?

— Скучно, маменька.

Олимпиада Игнатьевна печально покачала головой.

— В твои лета мы не умели и не смели скучать, — проворчала она. — Так ты скучаешь с матерью?

На глазах Олимпиады Игнатьевны показались слезы. Она, подобно многим барыням, владела искусством вызывать слезы при всяком удобном случае.

Наташа хотя и привыкла к такого рода слезам, но, несмотря на это, считала обязанностию в таких случаях бросаться к маменьке, утешать ее и целовать ей ручки.

— Маменька, душенька! что это вы! полноте! Как вам не стыдно!.. Мне так просто скучно, я сама не знаю отчего, а с вами, маменька-с, как это можно! с вами мне никогда не скучно.

На слова Наташи Олимпиада Игнатьевна улыбнулась с приятностию, хотя вполне была убеждена, что Наташа лжет и что она скучает с нею.

— А который час, Наташа?

Наташа побежала в соседнюю комнату, в которой тяжело шипели стенные часы.

— Половина седьмого, маменька-с, — закричала она.

— Ну, коли половина седьмого, так вели Марфутке

собирать к чаю да позови эту негодницу Феньку... Где она там это бегает, скверная девчонка?

Олимпиада Игнатьевна вздохнула. Она каждое слово сопровождала или вздохом, или легким стоном.

Явилась Марфутка, распространяя в комнате запах коровьего масла, которым она мазала волосы. Марфутка собрала все, что следует, к чаю. За Марфуткой явился Ларька, низенький и пожилой мальчишка, в грязных сапогах, в которые были заправлены синие кумачные панталоны, — и поставил на стол нечищеный самовар. Вслед за Ларькою показалась двенадцатилетняя девчонка Фенька, обстриженная под гребенку, в тиковом платье с талией под мышками и в башмаках на босую ногу. Фенька неотлучно находилась при барыне для посылок и, стоя у дверей, вязала обыкновенно толстый и засаленный чулок, а иногда дремала, прислонясь к стене, но и во сне все-таки шевелила спицами. Олимпиада Игнатьевна побранила Феньку, объявила ей, что если она вздумает еще раз убежать, то она ее, как собачонку, привяжет на веревку к двери, и в заключение прибавила, что уж здоровья ей нестает управляться со всем *этим народом.* Затем все пришло в обыкновенный порядок: самовар закипел, Фенька прислонилась к стене и зашевелила спицами; Наташа принялась разливать чай. К чаю явился Петруша.

Петруша в семнадцать лет корчил человека, все понявшего и разгадавшего. Никакие вопросы не останавливали его: он разрешал их легко и смело. Он говорил без умолку и с жаром обо всем: о Байроне, о Сен-Симоне, о Фурье, о гегелевском *примирении* и о том, что некоторое время он находился в *моменте распадения* и сделался вполне человеком только тогда, когда вышел из этого момента. Петруша не читал ни Сен-Симона, ни Фурье, ни Гегеля; о Байроне он имел слабое понятие по кое-каким русским и французским переводам. Всю свою мудрость Петруша почерпал из русских журналов. Людей четырьмя или пятью годами старше себя он без церемонии причислял уже к старому поколению и говорил: «Нет, они не в состоянии понять нас, они не могут сочувствовать *нашим* интересам. Они *отстали!*» Года три он приготовлялся в Москве к университету, но, не выдержав вступительного экзамена, возвратился восвояси и зажил преспокойно в селе Брюхатове, почитывая журналы, пописывая стишки

в гейневском роде (этот род был тогда в моде), покуривая трубку и посматривая на всех окружавших его (не исключая и маменьки) с ироническою улыбкою.

Когда Петруша вошел в комнату, задумчивый и бледный, Олимпиада Игнатьевна обратилась к нему с нежностию.

— Ах, Петенька, — сказала она, вздыхая, — ты все занимаешься! побойся бога, ведь у тебя грудь слаба, дружочек.

Петруша, ничего не отвечая, закурил трубку и развалился в креслах.

— Да что ты такой скучный? — спросила она его с беспокойством.

— Ах, да ничего, отстаньте, пожалуйста.

Олимпиада Игнатьевна беспокойно посмотрела на него.

Напустив дыму полную комнату, Петруша встал с кресел и начал прохаживаться по комнате, мрачно завывая себе под нос:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы!..

— Ваш чай, братец, совсем простынет, — сказала Наташа.

Петруша, ничего не отвечая, подошел к столу, отпил немного из своего стакана, пустил изо рта еще тучу дыма и потом снова стал прохаживаться по комнате, продолжая завывать стихи. Фенька, шевеля спицами, смотрела на него, вытаращა глаза. Наташа начала рассказывать маменьке только что перед этим выслушанную ею от Федоры-ключницы новость — о том, как дяденька Ардальон Игнатьич, по приказанию тетеньки Агафьи Васильевны, очень строго наказал своего кучера Петрушку и непременно решился отдать его не в зачет в рекруты; о том, как тетенька очень сердилась на дяденьку за то, что он избаловал всех людей, как дяденька оправдывался перед тетенькою, и прочее. Олимпиада Игнатьевна не без удовольствия и с большим вниманием слушала рассказы Наташи, от поры до времени только тяжело вздыхая и пожимая плечами... Наташа, несмотря

на все ее достоинства, имела небольшое поползновение к пересудам и сплетням, общее всем деревенским барышням.

Она отличалась от своих подруг тем, что была большая охотница читать. Она прочла почти все французские романы в переводах.

Чтение, хотя довольно бестолковое, способствовало все-таки развитию ее понятий. Но многое в книгах перетолковывала она странно, по-своему; многого совсем не понимала, а объяснить было некому. Наташа все таила в самой себе и никому не доверяла своих мыслей и ощущений.

Петруша считал ее пустой девочкой; он говорил, что у нее «одна из тех будничных натур, на которые природа не скупится», и только так иногда, из милости, читал ей свои стишки.

С маменькой Наташа не была откровенна.

Олимпиада Игнатьевна, несмотря на доброту свою и привязанность к дочери, всегда смотрела на нее с высоты своего родительского величия. Сыну она дозволяла иметь какой ему угодно образ мыслей, ни в чем не стесняла его свободы и даже подчиняла себя его желаниям; но с дочерью поступала деспотически. Дочь, по ее понятиям, не могла, не должна и не смела иметь своей воли, своего образа мыслей. Наташа рассуждала с маменькою только о домашнем хозяйстве да развлекала ее рассказами и сплетнями о дяденьках, тетеньках, о сестрицах и братцах, о соседях и соседках...

Когда Наташа передала Олимпиаде Игнатьевне все новости о дяденьке и тетеньке, Олимпиада Игнатьевна, не пропустившая ни одного слова из ее рассказа, тяжело простонала:

— Бедный братец! бедный братец! погубили тебя, искоренили в тебе все родственные чувства, голубчик!..

— Уж есть о ком жалеть! — перебил Петруша.

— А как же не жалеть, дружочек? Если б он был нам чужой — дело другое, а то ведь он самый близкий наш родственник, ведь он родной брат мне, Петруша; родной дядя тебе...

Петруша, все продолжавший ходить по комнате, при этом возражении маменьки вдруг остановился и ударил кулаком по столу.

— Дядя! дядя!.. — повторял он. — Да что ж такое дядя?.. Я этого решительно не понимаю... Ваши родственные предрассудки меня возмущают...

И Петруша принялся доказывать маменьке, что одно кровное родство ничего не значит, что есть родство другое, высшее, духовное — единственное, которое может допустить человек мыслящий и развитой, что он ни с дядюшкой своим и почти ни с кем из родных ничего не имеет общего, что они находятся в состоянии диком и более походят на зверей, чем на людей.

Олимпиада Игнатьевна слушала сына, сомнительно покачивая головою.

Когда Петруша кончил, она возразила:

— Это может быть так по-вашему, по-нынешнему, а по-нашему не так.

Петруша рассердился. Он непременно хотел поставить маменьку на ту высшую точку, с которой сам смотрел на этот предмет, и продолжал беспощадно уничтожать маменькины предрассудки и доказывать нелогичность ее образа мыслей. Олимпиада Игнатьевна слушала его, не понимая ни слова, и между тем следила за Фенькою, которая начинала, по своему обыкновению, дремать, прислонясь к двери, и грозила ей пальцем.

А Петруша все ораторствовал. Наконец Олимпиада Игнатьевна решилась прервать его.

— Друг мой Петенька, — сказала она, — ты бы лучше прочел мне свои последние стишки. Ты знаешь, мой ангел, как я люблю все твои сочинения.

На лице Петруши при этих словах выразилась горькая, ядовитая улыбка. И когда маменька повторила в другой раз о стишках, он нехотя продекламировал:

Она сидела с думой тайной,
А ветер листья шевелил.
И лик ее так мрачен был,
И взор ее упал случайно
На желтый, высохший листок;
Вдали, посеребрен луною,
Сквозь темный лес сверкал поток...
Она кивала головою.
И вздох ее был так глубок!

От стихов маменька была в восторге и расцеловала за них Петрушу, прибавив однако ж:

— Зачем только ты пишешь, голубчик, все такое печальное?

Потом Олимпиада Игнатьевна выдрала Феньку за уши и послала ее за Ларькой и Марфуткой. Когда Ларька и Марфутка убрали чашки, в комнате снова водворилась тишина. Петруша молчал и курил трубку. Наташа машинально перебирала листы старого календаря, лежавшего перед ней на столе. Олимпиада Игнатьевна, закутавшись в платок, охала и кряхтела у печки... Только дождь все стучал в окна.

Вдруг раздался отдаленный звон колокольчика, и все встрепенулись невольно при этом звоне. Петруша приподнялся с кресел, Олимпиада Игнатьевна и Наташа вздрогнули, все в один голос вскрикнув: «Кто бы это?», и в недоумении посмотрели друг на друга.

ГЛАВА II

Колокольчик между тем приближался, заливаясь звучней и звучней... Наташа вскочила с дивана, бросилась к окну, и сердце ее забилось шибко. Отчего? Не ждала ли она кого-нибудь? Нет! кого бы ей ждать: соседи и соседки их были *противные,* по ее собственному выражению, родственники скучные, а, кроме соседей, соседок и родственников, приехать некому. Правда, Наташа была довольно дружна с одной из своих двоюродных сестриц, но эта двоюродная сестрица жила от них верстах во ста и ездила к ним очень редко, потому что больная тетка не отпускала ее от себя. Сестрицы она не могла ждать; но Наташе было все равно, — лишь бы кто-нибудь приехал, хоть кто-нибудь из *противных,* — все бы веселее, все бы легче, все какое-нибудь развлечение.

— Ах, маменька, — радостно вскрикнула Наташа, глядя в окно.

— Что такое?.. Кого нелегкое принесло в этакую погоду? — простонала Олимпиада Игнатьевна, как будто нехотя приподнимаясь с дивана в ту самую минуту, как колокольчик задребезжал и смолк у самого подъезда, — теперь добрый хозяин собаки не выгонит со двора.

— Маменька, — продолжала Наташа, — посмотрите, какой чудесный тарантас, какие лошади! кто бы это?

— Братец Сергей Александрыч! — вскрикнул Петруша, — это он, право, он!

— Может ли быть? откуда же? как? — спросила Олимпиада Игнатьевна, оживляясь.

— И с ним еще кто-то, — заметил Петруша.

— Ах, маменька, в самом деле и еще кто-то! — закричала Наташа.

— Да неужто, в самом деле, это он? — повторила Олимпиада Игнатьевна, обращаясь к Петруше. — Вот нежданный-то гость, признаюсь! — продолжала она несколько иронически, — прямо из-за границы, что ли, изволил прикатить к нам в глушь? Видно, уж все денежки прокутил, голубчик! Наташа, брось свою кацавейку-то, — надень какой-нибудь платочек на шею, а то ведь тебя, глупую провинциалку, как раз осмеют. Ведь Сергей Александрыч, матушка, не то что мы, дикари: он человек столичный, светский, за границей жил, в Париже был.

В передней между тем послышался шум. Ирония исчезла с лица Олимпиады Игнатьевны и мгновенно сменилась выражением истинно родственного восторга. С этим выражением бросилась она в переднюю навстречу к племяннику.

— Друг мой, друг мой!... — Она крепко прижала племянника к своему сердцу. — Вы ли это, батюшка мой? вас ли я вижу?.. Ах, какая радость! какая неожиданная радость! боже мой! боже мой!.. и как вы стали похожи на покойника братца! точно вот как будто он, голубчик, передо мною!.. Знаете ли вы, как он любил меня?

Олимпиада Игнатьевна рыдала без слез, припав головой к плечу родственника, обнимала и целовала его.

Положение Сергея Александрыча (ибо это, точно, был он) было затруднительно. Минут пять по крайней мере тетушка душила его в своих горячих родственных объятиях, а братец Петруша так крепко и значительно жал ему руку, что Сергей Александрыч единственно только из приличия не кричал от боли. Между тем Наташа, еще не замеченная братцем, стояла у входа в переднюю. Наташа накинула на шею розовый платочек — лучший платочек, какой только был у нее, надела чистую манишку и даже украсила руку блестящим браслетом. Она была в сильном волнении и смотрела на братца с робким любопытством. В то же время головы горничных девок попеременно высовывались из полурастворенной половинки две-

рей. Ларька, выпуча глаза, разиня рот и почесываясь, смотрел на приезжих. Возле Ларьки стоял Петрович, буфетчик и дворецкий Олимпиады Игнатьевны, человек лет сорока, в нанковом сюртуке вердепомового[1] цвета с пуфами на рукавах, с длинными завитыми висками, с огромным хохлом и с сережкой в ухе, — лицо важное в доме, пользовавшееся полною доверенностию барыни. Он с проницательностью обозревал приезжих, изредка только покрякивая, чтобы обратить на себя их внимание. Но не успев в этом, он принял другие, более сильные меры и, дернув Ларьку за руку, произнес громко:

— Экая дурачина! Ну что же ты чешешься при господах? не видишь, что ли? ах вы, деревенские олухи, невежественная чернь!

Но и эта выходка не удалась Петровичу.

Голос его был заглушаем слезами, всхлипываньем, восклицаниями и другими нежными родственными излияниями.

Когда Олимпиада Игнатьевна наконец выпустила племянника из объятий, — он представил ей приехавшего с ним своего приятеля.

Затем все двинулись из передней в залу.

— А что Наташа? где же она? — спросил Сергей Александрыч у тетушки.

Наташа все еще стояла на том же месте; сердце ее забилось при этом вопросе: ей было очень приятно, что братец вспомнил об ней.

— Наташа! Наташа! — закричала Олимпиада Игнатьевна, — а, да вот она! Видите ли, как она переменилась; вы ее, чай, и не узнали бы...

— Здравствуйте, сестрица, — сказал Сергей Александрыч, взяв руку Наташи.

Наташа вся вспыхнула, у нее загорелись даже уши. Она неловко присела и прошептала что-то невнятно на это приветствие.

По дороге из залы в гостиную Сергей Александрыч шел рядом с Наташею.

— Как вы похорошели, — сказал он ей, — как вы выросли!

Наташа не знала, что делать, от замешательства — и кусала губы.

---

[1] Цвет незрелого яблока (*от франц.* vert de pomme).

— А что, вы скучаете в деревне?

— Нет-с...

В гостиной, которая от других комнат отличалась только тем, что стены ее были выштукатурены и выбелены, все чинно расселись на диване и около дивана. Над диваном висели два родственные портрета без рамок, намалеванные крепостным живописцем и загаженные мухами. Перед диваном стоял неизбежный круглый стол.

— Вы, верно, прозябли в дороге, — сказала Олимпиада Игнатьевна, обращаясь к гостям, — какая погода-то!.. не прикажете ли горяченького?.. Наташа! Вели скорей ставить самовар.

Наташа выбежала из комнаты.

В девичьей она бросилась на стул и в первый раз свободно вздохнула.

Девки обступили ее.

— Вот, сударыня, — сказала одна из них постарше, — бог нам дал нежданных гостей. Ишь какие два молодчика прикатили, — чай, сердечко-то, матушка, у вас так и ёкает теперь.

— Ах, Аннушка, Аннушка! — проговорила Наташа.

— Ну, что охать-то, сударыня? Братец-то какой добрый: женишка нам привез...

Девки засмеялись.

— Какой вздор, перестань, Аннушка!

— А нешто он вам не нравится?

— Кто?

— А барин-то, которого братец привез?

— Да я на него и не смотрела.

— И не смотрели! видите! как, чать, уж не посмотреть на такого красавчика? А знаете, матушка, ведь братец-то приехал в нашу сторону надолго. Вплоть до зимы, слышь ты, останутся.

— А ты почем это знаешь? — спросила Наташа.

— Уж коли мне не знать, матушка! Я все знаю.

— Оттого-то она, сударыня, так скоро и состарилась, что все знает, — возразила одна из них с усмешкою.

Между тем в гостиной Олимпиада Игнатьевна, вздыхая и охая, продолжала изливать свои родственные чувства перед племянником, а Петруша расспрашивал братца о заграничной жизни, о направлении умов в Европе, о литературных новостях, о Париже и Риме.

— Ведь он у меня поэт! — говорила Олимпиада Игнатьевна, с любовию глядя на сына и обращаясь потом к гостям, — сидит себе целый день в своей комнатке, никуда не выходит и все или читает, или сочиняет. Он пишет прекрасные стишки! Прочти, дружочек, которые-нибудь из них братцу.

Сергей Александрыч и его приятель с любопытством обратились к Петруше; но Петруша закусил губу, с досадою посмотрел на маменьку и отвечал, что на заказ он ни писать, ни читать не может.

Остальной вечер до ужина прошел незаметно. Сергей Александрыч был любезен. Он много рассказывал о своих путешествиях и о своей заграничной жизни. Наташа сидела против него, с величайшим вниманием и любопытством слушая эти рассказы. Она сделалась гораздо смелее и смотрела на братца уже без замешательства.

Ужин состоял, по деревенскому обычаю, из пяти или шести блюд с супом включительно, из которых почти ни одного нельзя было взять в рот. Сергей Александрыч и его приятель только из приличия брали понемногу на тарелку всего, что им подавали, но Олимпиада Игнатьевна при каждом блюде говорила им, вздыхая:

— Вы ничего не кушаете, так мало берете, — покушайте, мой голубчик. Конечно, наши деревенские блюда после парижских, — и прочее.

И гости должны были давиться и кушать.

После ужина скоро все разошлись, только Сергей Александрыч остался поневоле с тетушкой, потому что тетушка сочла необходимым передать ему с подробностями и со слезами о своей ссоре с братцем Ардальоном Игнатьичем, прибавив, что ссора эта решительно расстроила ее здоровье и что она скоро, может быть, сойдет в могилу, к утешению Агафьи Васильевны.

Расставшись наконец с тетушкой (это было уже за полночь), Сергей Александрыч отправился в назначенную ему комнату по небольшому, узкому и грязному коридору, который слабо освещался ночником.

В коридоре он встретил Наташу.

Наташа вздрогнула, увидав его.

— Ах, это вы, братец? — сказала она.

Братец очень приятно улыбнулся.

— Я, милая кузина. — Он хотел взять ее руку, но Наташа ускользнула от него и сказала:

— Прощайте, желаю вам покойной ночи, — хотела идти и вдруг остановилась.

— Знаете ли вы этот браслет? — Она указала ему на свой браслет.

— Нет, — отвечал Сергей Александрыч, — а чем он замечателен?

— Посмотрите хорошенько.

Сергей Александрыч взял руку Наташи и начал внимательно разглядывать браслет.

— Прекрасный браслет! — сказал он, поцеловав ее руку.

— Ну, а кто подарил его мне?

— Кто?

— Будто вы не знаете?

— Не знаю.

— Ах, боже мой, это вы же мне прислали его из чужих краев. Вы уж забыли? — прибавила Наташа с упреком.

— В самом деле? я?

В эту минуту где-то скрипнула дверь. Наташа еще раз произнесла:

— Прощайте, братец, покойной ночи! — и исчезла.

«Какая милая!» — сказал про себя Сергей Александрыч.

ГЛАВА III

Но здесь я должен оставить на время Наташу и ее маменьку и обратиться к тем, которые так внезапно нарушили своим приездом однообразие и мир их деревенской жизни.

Сергей Александрыч, родной племянник Олимпиады Игнатьевны и двоюродный братец Наташи, имел состояние значительное. Этим значительным состоянием он был обязан своему родителю. Родитель Сергея Александрыча — кавалерист времен Бурцова, широкоплечий, полный, удалой, забияка, с огромными усами и с неменьшею самоуверенностью, создан был на соблазн прекрасного пола. Все барыни и барышни чувствовали к нему особенное поползновение и с волнением впивались в него любопытными очами, когда он, бывало, прокатывался мимо их

окон на лихой караковой паре, сам подхлестывая пристяжную, изгибавшуюся в три погибели, или когда входил в комнату, гремя саблей, постукивая шпорами и покручивая свой густо нафабренный ус. Но более всех при взгляде на него билось сердце одной вдовы. И чаще всего встречались взоры ее с его взорами. Вдова эта была не простая вдова, — а вдова генерала и дочь — да притом еще любимая дочь — известного в то время своим богатством коммерции советника Пузина. Полная, слабонервная и сентиментальная, она проливала слезы над «Бедной Лизой» Карамзина и в то же время немилосердно таскала за косы свою горничную Лизку. Между кавалеристом и вдовой завязались письменные сношения. В письмах она называла его *Эрастом,* хотя его звали Александром Игнатьичем, и требовала непременно, чтобы он звал ее *Темирой,* хотя ее звали Палагеей Васильевной. Она страдала и вздыхала и хотела, чтобы и он страдал и вздыхал, — и забияка-кавалерист покорился воле женщины. Забывая и ром и арак, с твердостью перенося насмешки собутыльных друзей своих, — он вздыхал, глядя на нее, меланхолически покручивая ус и живописно опираясь на саблю. Мало этого: он даже написал ей в альбом стишки, сочиненные его приятелем, которые, разумеется, выдал за свои:

Бряцай, уныла лира!
Покой свой погубя,
О милая Темира!
Я буду петь тебя.

Ах, может ли сравняться
С любовью что твоей?
За славою гоняться
Я не хочу, ей-ей...

Коль песенка простая
Понравится тебе,
Темира дорогая!
Вот вся награда мне.

Стишки порешили все: *Темира* не выдержала, разрыдалась, бросилась на шею к своему милому и сочеталась с ним браком. А Александр Игнатьич достиг своей цели, уплатил все долги и зажил в Петербурге великолепно и открыто, приобретя всеобщее уважение и сделавшись кумиром всех своих родных... Вскоре бог даровал ему дитя мужеского пола, которого в святом крещении нарекли

Сергием. День рождения Сергея Александрыча был днем неописанной радости для его родителей, и с этого дня божие благословение, никогда, впрочем, не оставлявшее Палагею Васильевну и ее супруга, еще явнее стало обнаруживаться над ними. Несомненным доказательством тому служило, между прочим, и то, что ровно через два месяца после этого дня они приобрели за бесценок продававшееся с аукционного торга великолепное село Куроедово, принадлежавшее какому-то промотавшемуся князю и по счастливой случайности находившееся только в восьми верстах от села Брюхатова, в котором родился Александр Игнатьич и где покоился, до всеобщего воскресения, прах его родителей. Куроедово, в честь Сергея Александрыча, было тотчас же переименовано в Сергиевское.

Для того чтобы удобнее наслаждаться супружеским счастием и спокойствием жизни, Александр Игнатьич вышел в отставку. Беспримерная любовь достойных супругов возбуждала в Петербурге во время óно всеобщий восторг и уважение. Палагея Васильевна никогда не говорила без слез о муже. «Это ангел, настоящий ангел! — повторяла она, — он *обожает* меня...» И в подтверждение этого рассказывала, как однажды горничная нагрубила ей и как Александр Игнатьич, узнав об этом, вдруг весь изменился в лице, побагровел и ударил горничную изо всей силы, так что она из одного угла комнаты отлетела в другой и чуть не расшибла себе головы об угол печки...

О любви родителей к Сергею Александрычу и о воспитании его мы распространяться не будем. Довольно сказать, что на него не жалели денег. И когда Сергей Александрыч кончил курс в университете, он зажил блистательно.

Вскоре после этого родители скончались. Отец Сергея Александрыча объелся устриц, а маменька не могла пережить его и последовала за ним в могилу. Сергей Александрыч в двадцать семь лет сделался полным властелином имения. Смерть родителей развязала ему руки. Послужив немного и прожив года три в Петербурге, он вышел в отставку и поехал в деревню, чтобы собрать с крестьян оброки, расплатиться с долгами и потом отправиться за границу. За границею Сергей Александрыч пробыл три года. В Германии на каких-то водах проиграл тысяч двадцать в рулетку, в Риме отдыхал от жизни и волочился на развалинах Колизея за какой-то русской

княгиней или графиней, а в Париже содержал лоретку, ту самую лоретку, к которой, по его уверению, один из bel esprit Café Anglais[1] написал знаменитый куплет:

Connaissez-vous dans la rue de Provence
Une femme, qu'on cite partout pour sa beauté,
Pour son esprit et pour son élégance?
Eh bien, messieurs, c'est moi, sans vanité...

Grande et brune à l'oeil noir,
C'est au bal qu'il faut me voir.
Je fais des malheureux
Et même parfois des heureux...[2]

Сергей Александрыч вывез из Европы большую уверенность в собственные достоинства, несколько великолепных и поэтических фраз об Италии (порядочно устаревших в наше время), щегольское платье из Лондона и начало статьи: «О будущности России и об отношениях ее к Западной Европе».

Сергей Александрыч имел мало общего с приятелем и спутником своим Григорьем Алексеичем. Григорий Алексеич был сын бедных родителей, которые заботились мало о его воспитании. Патриархальная их любовь к нему ограничивалась только заботою о том, чтобы он был сыт и здоров. Отец его даже был положительно уверен, что образование больше вредно, чем полезно, потому что сын одного богатого помещика их губернии, на воспитание которого потратили десятки тысяч, ничему не выучился и вышел негодяем, а другой молодой человек, сын другого помещика их же губернии, оставленный на произвол божий с тринадцати лет, сам, без учителей, всем наукам обучился, сделался благонамеренным и добропорядочным малым, собственными трудами добывал себе хлеб и впоследствии еще кормил своих престарелых и промотавшихся родителей...

---

[1] остряк Английского кафе *(франц.)*.

[2] Знаете ли вы на улице Прованс
Женщину, о красоте которой,
Уме и изяществе повсюду говорят?
Так вот, господа, это я, без хвастовства...

Высокая, темноволосая, с черными глазами,
На балу — вот где меня надо видеть!
Я делаю несчастными
Но иногда могу и осчастливить... *(франц.)*

Светло-русые волосы, завивавшиеся от природы, голубые глаза с задумчивым выражением, бледность лица, нерешительная и медленная поступь, рано развившаяся страсть к чтению — все это резко отличало Григорья Алексеича от всех остальных деревенских барчонков-головорезов, его сверстников. Григорий Алексеич не занимался играми, свойственными его летам, и гонял от себя прочь дворовых мальчишек и девчонок, которых маменька посылала к нему для забавы и которыми мастерски помыкали и распоряжались старшие и меньшие его сестрицы. Деликатная натура Григорья Алексеича приводила в немалое изумление его достойных родителей. Папенька, глядя на него, покачивал головою и пожимал плечами или иногда, в веселый час, залившись добродушным смехом, восклицал, обращаясь к жене своей: «А что, матушка... уж полно, мой ли это сын?.. Я что-то, право, сомневаюсь в этом! ха, ха, ха!..» Маменька, целуя Григорья Алексеича и осеняя его крестным знамением, говорила обыкновенно, вздыхая: «Нелюдимое ты мое дитятко, дикарь ты мой милый...»

Григорью Алексеичу уже было пятнадцать лет, когда один молодой, богатый и образованный помещик, ближайший сосед его родителей, обратил на него внимание. Иван Федорыч (так звали этого помещика) нашел в Григорье Алексеиче душу впечатлительную и поэтическую и притом большую любознательность. Жаль ему стало, что духовные способности бедного мальчика пропадают, лишенные средств к развитию, и ему пришло в голову взять его к себе и заняться его воспитанием. Ивану Федорычу необходимо было какое-нибудь развлечение, потому что прелесть деревенской праздности начинала несколько тяготить его. Но слух о благодетельном намерении Ивана Федорыча достиг каким-то образом преждевременно до отца Григорья Алексеича, с прикрасами и прибавлениями, отчасти оскорбительными для его родительского самолюбия...

— Ах он, разбойник, вольнодумец, христопродавец! — восклицал, задыхаясь, отец Григорья Алексеича, — вишь, какую штуку отколол! Отнять у меня сына хочет — только!.. Да я лучше отдам его в свинопасы, чем к нему на воспитание, к душегубцу! Пусть свиней лучше пасет с подлецом Ермошкой!..

Но судьба Григорья Алексеича решилась вдруг и совершенно неожиданно. В одно прекрасное утро отец его внезапно скончался. Дела по смерти его оказались в величайшем расстройстве. Положение вдовы было бедственно. К счастию ее, Иван Федорыч, которого покойный звал христопродавцем, первый явился к ней, принял в ее положении участие и упросил ее, чтобы она отдала ему Григорья Алексеича на воспитание. Вдова решилась на это, впрочем, не вдруг.

Большой старинный барский дом, отдельная комната, посвященная книгам и уставленная бюстами великих мужей древности; стол, заваленный брошюрами, газетами и книгами; лакеи, обутые, обритые и одетые прилично, хотя и смотревшие несколько мрачно и исподлобья; хозяин дома, обращавшийся очень тихо и кротко со всею дворнею, — все это приводило сначала Григорья Алексеича в немалое изумление. Но он недолго скучал по родительском крове и скоро привык к своей новой жизни, которая так резко отличалась от жизни его семейства. К удовольствию наставника, ученик оказывал быстрые успехи и развивался. Через два года Григорий Алексеич мог свободно читать по-французски и даже по-немецки. Он жадно и без всякого разбора принялся за чтение. Особенно нравились ему французские новейшие драмы и романы; но Иван Федорыч остановил его юношеский порыв. Иван Федорыч не терпел новейшей французской литературы. Он боялся, что она произведет вредное влияние на его питомца, и с особенным наслаждением вводил его в таинственный и мистический германский мир, так раздражающий нервы, так обаятельно действующий на юное воображение. Гофман, Тик, Уланд, Жан-Поль Рихтер были настольными книгами Ивана Федорыча. Действительная, практическая жизнь не имела для него никакой поэзии, никакого интереса. Высочайшим идеалом была для него рыцарская, средневековая Европа. Он бродил ощупью в туманных, фантастических мирах и был совершенно глух и слеп для действительной жизни — решительно не ведая, что делается у него под носом. Добрый и кроткий от природы, искренно негодовавший против всякого притеснения и насилия, он верил на слово своему управляющему-немцу, который в глазах его самым бесстыдным и наглым образом обирал и притеснял крестьян его, уверяя, что они благоденствуют. Четыре года сряду

прожил он в деревне с намерением поправить свои дела, расстроенные еще его отцом и дедом, и в продолжение этих четырех лет не мог узнать положительно, ни сколько у него земли, ни сколько душ. Врожденная беспечность и лень широко развились в Иване Федорыче под благотворною сенью деревенского быта. Любо и вольно было ему, в халате и туфлях, на широком восточном диване лежать целые дни с книгою Жан-Поля Рихтера в руке и с янтарем в зубах, изредка прерывая чтение или мечту ленивым криком: «Васька! трубку...» Одного только недоставало Ивану Федорычу — человека, с которым бы иногда, за чашкой чая, с янтарем в зубах, пофилософствовать и помечтать... Но вот Григорий Алексеич подрос... Ему девятнадцать лет... с ним можно говорить о чем угодно: он понимает все; чего ж лучше? Надо заметить, что Иван Федорыч, первые месяцы с горячностью принявшийся за образование своего питомца, от непривычки к труду скоро утомился и предоставил его собственному развитию. Ученику нельзя было не увлечься примером учителя... Удобства праздной, барской жизни — соблазнительны; Григорий Алексеич обыкновенно так же лениво валялся по дивану с Шиллером, как Иван Федорыч с Жан-Полем. Григорий Алексеич по целым часам лежал на косогоре близ рощи и, мечтая о чем-то, следил за полетом жаворонка и прислушивался к его песне.

— Боже мой! как хороша природа! как хороша жизнь! — восклицал он, с чувством глядя на своего благодетеля. А тот, вздыхая, смотрел на него с завистью, думая: «Когда-то и я так же живо и страстно восхищался природою и жизнию!..» И брал дикие и мрачные аккорды... на расстроенных фортепьянах.

Однажды утром, за кофеем, Иван Федорыч как-то необыкновенно пристально и долго глядел на Григорья Алексеича. Григорий Алексеич был уже молодец хоть куда, высокий и статный. Он значительно пополнел на вольном воздухе и на даровом хлебе; его густые и волнистые волосы живописно падали до плеч, а усы пробивались с каждым днем заметнее. Иван Федорыч крепко задумался, глядя на него.

«Я взял на себя воспитание этого молодого человека, — думал он, — на мне лежит высокая и святая обязанность в отношении к нему. А я с моей отвратительной

беспечностию эгоистически держал его при себе до этих лет. Это непростительно!»

Иван Федорыч, терзаемый этими мыслями, в волнении стал прохаживаться по комнате — и вдруг остановился перед Григорьем Алексеичем.

— Я виноват перед тобой, Grégoire[1], — произнес он торжественно и не без волнения, — виноват страшно...

Он взял Григорья Алексеича за руку и крепко пожал ее.

Григорий Алексеич с изумлением посмотрел на него.

— Виноват потому, что я не заботился о тебе, потому, что я понадеялся на себя. Я думал, что могу сколько-нибудь подготовить тебя здесь к университету без посторонней помощи; эти годы тебе необходимо было ученье классическое, серьезное, — а они прошли так, они потеряны для тебя без всякой пользы. Это убивает меня, Grégoire!..

Иван Федорыч снова начал прохаживаться по комнате в сильной тревоге.

— Боже мой! боже мой! — говорил он, — хотя бы одно намерение мое, хотя бы одну мысль я мог когда-нибудь осуществить на деле!.. А мне уже тридцать четыре года! Нет, я не способен ни к чему — ни к любви, ни к дружбе, а между тем у меня сердце любящее, Grégoire, клянусь тебе!

У Ивана Федорыча выступили на глазах слезы.

— В тридцать четыре года я не могу совладать с самим собою, а беру на себя участь других! Пожалей обо мне.

Иван Федорыч бросился в кресло и закрыл лицо рукою.

— Но прошедшего не воротишь, — продолжал он через минуту более спокойным голосом, — нам надобно ехать в Москву сейчас же, не отлагая; время дорого. Ты еще там можешь приготовиться к университету, с твоими способностями это легко... Все еще можно поправить... Не правда ли? Я сам непременно поеду с тобой, я не оставлю тебя, я буду следовать за твоими занятиями.

Григорий Алексеич до глубины души был тронут словами своего благодетеля. Он бросился к нему с юношеским увлечением. Иван Федорыч крепко прижал его к груди и прошептал: «Прости меня!..»

Затем начались приготовления к отъезду, продолжавшиеся ровно четыре месяца. Известно, до какой степени

---

[1] Григорий *(франц.)*.

наши помещики, засидевшиеся в деревне, тяжелы на подъем. Наконец давно желанный день отъезда наступил. Григорий Алексеич простился с матерью и, полный самых блестящих надежд и фантазий, отправился в Москву вместе с своим благодетелем.

ГЛАВА IV

Во время оно существовал в Москве исключительный кружок молодых людей, связанных между собою *высшими интересами и симпатиями,* выражаясь языком того времени. Кружок этот состоял из молодых людей, очень умных и начитанных, превосходно рассуждавших об искусствах, литературе и о предметах, относящихся к области самого отвлеченного мышления; только избранные попадали в этот кружок, потому что попасть в него было нелегко. От молодого человека, вступающего в него, требовалось *философское проникновение в сокровенные таинства жизни...*

Я живо помню это время: с биением сердца, с благоговейным трепетом переступал я, бывало, порог, за которым обсуживались великие современные вопросы, где враждовали и примирялись с действительностью, где анализировались малейшие поступки человека с беспощадною строгостию, где каждый сидел в глубоком раздумье над собственным *я* и любовался, как дитя игрушкою, собственными страданиями; где с энергическим ожесточением преследовалась всякая фраза и где без фразы не делали ни шагу; где предавалась посмеянию и позору всякая фантазия и где все немножко растлевали себя фантазиями.

Давно разошлись в разные стороны люди, составлявшие кружок этот.

Иных уж нет, а те далече...

Одни пали в бессилии под тяжелою ношей действительной жизни или живут в своих фантазиях и совершенно удовлетворяются ими, другие очень легко и дешево примирились с действительностию, третьи... Но — это был

все-таки замечательный для своего времени кружок, много способствовавший нашему общественному развитию... Память об нем всегда сохранится в истории русского просвещения...

Когда Григорий Алексеич приехал в Москву, кружок был в полном цвете. Иван Федорыч сам принадлежал к нему некогда и из него вынес свое туманное, романтическое настроение и любовь к мистицизму. Сердце Ивана Федорыча сильно билось, когда он подъезжал к Москве, и нетерпение увидеть прежних друзей своих возрастало в нем более и более.

— Я с ними провел лучшие дни моей жизни, — говорил Иван Федорыч своему питомцу, — ты увидишь, Grégoire, что это за люди, как я духовно связан с ними! Какие святые отношения всегда существовали между нами!.. Ты увидишь их! — И у Ивана Федорыча дрожали слезы на глазах, когда он говорил это.

Но Ивану Федорычу готовилось разочарование. В продолжение нескольких лет, проведенных им в деревне, все страшно изменилось в его кружке. Романтизм уже давно перестал быть в ходу, о нем отзывались друзья его с едкими насмешками, с презрением; на романтиков смотрели они уже как на людей отсталых и пошлых. О Жан-Поле, Гофмане, Тике, к великой скорби Ивана Федорыча, и помину не было. Всякая наклонность к мистическому преследовалась беспощадно. Порывания *туда* (dahin), различные праздные сетования и страдания были отброшены. Все, напротив, кричали о *примирении* с действительностию, о труде и деле (хотя, как и прежде того, никто ничего не делал). Шиллер низвергнут был с пьедестала; всеобъемлющий Гете обожествлен, последнее слово для человечества отыскано в Гегеле, и решено, что далее его человеческая мысль уже не может идти... У Ивана Федорыча закружилась голова от всех этих новостей, и не раз пробовал он вступаться за своих любимых писателей, за прелесть созерцательной жизни, которую почитал неотъемлемою принадлежностию *деликатных натур,* за готические храмы и за мистическую поэзию, но с ним даже не спорили, ему отвечали только ироническими улыбками. Друзья его после первого свидания с ним решили втайне, что он не способен ни к какому развитию и по ограниченности натуры должен навеки погрязнуть в романтизме.

Итак, эти святые отношения, которые некогда связывали Ивана Федорыча с его друзьями и о которых он с таким чувством говорил Григорью Алексеичу, — уже не существовали. Иван Федорыч понял это и начал хандрить и страдать, беспрестанно вспоминая о своем прошедшем с болезненным наслаждением.

Между тем Григорий Алексеич, первые месяцы по приезде в Москву принявшийся за ученье с большим жаром, успел уже утомиться, отложил намерение вступить в университет — и ходил только на лекции к некоторым профессорам, которые ему особенно нравились. День, в который Иван Федорыч представил его своим друзьям в качестве молодого человека, *подающего надежды,* — этот день был торжественный для Григорья Алексеича. У него замерло сердце, когда он в первый раз вступал в этот кружок... И все в нем показалось ему необыкновенным: на челе каждого из присутствующих он читал высшее призвание и с жадностию ловил каждое слово. Правда, многое из слышанного им было ему темно и непонятно, но это-то и нравилось ему. В простоте и незлобии своего молодого сердца он полагал, что вся глубина человеческой мудрости заключается именно в темном и непонятном.

Григорий Алексеич, с своей стороны, произвел на друзей своего благодетеля очень приятное впечатление и принят был под их покровительство. Способности его к развитию признаны, нужно было только, как говорили, освободить его от влияния Ивана Федорыча, который своим болезненным романтическим настроением уже успел сделать ему много вреда. Под руководством своих новых наставников Григорий Алексеич начинал мало-помалу посвящаться *в глубокие таинства науки, искусства и жизни...* Он принялся изучать и переводить Гете и даже попробовал заглянуть в Гегеля. Первый и огромный шаг к будущим успехам был уже сделан. С этой минуты авторитет Ивана Федорыча утратил для него все значение. На своего благодетеля он посматривал уже с иронию, как на человека отставшего, и исподтишка иногда подсмеивался над ним довольно остроумно. Благодеяния Ивана Федорыча сделались ему тягостны. Григорий Алексеич ощутил в себе потребность выйти из-под его опеки и начать жизнь самостоятельную. К тому же с некоторого времени Иван Федорыч жаловался на своего

управляющего, который мало высылал ему денег. Надобно было на что-нибудь решиться. Григорий Алексеич крепко призадумался о своем положении. Он понимал, что, вечно пребывая в сфере отвлеченных умствований и созерцаний, легко можно умереть с голоду, что необходимо ему избрать какой-нибудь род жизни, начать трудиться на каком-нибудь поприще для приобретения себе независимости и насущного куска хлеба. Григорью Алексеичу, как и всякому русскому дворянину, предстояли на выбор два обширные, блестящие поприща для деятельности: воинское и гражданское... Но, увы! герой мой не был приготовлен ни для того, ни для другого. Пойти в офицеры он не мог, потому что не ощущал в себе достаточно геройского духа и воинских наклонностей; сделаться чиновником не хотел, потому что для этого нужно было прежде приобресть чин, а для приобретения чина выдержать университетский экзамен. Что же оставалось ему? В качестве недоросля из дворян заняться литературой? И в самом деле, Григорий Алексеич с удовольствием остановился на этой мечте...

Таким образом, успокоя себя, Григорий Алексеич стал лелеять и развивать в себе эту соблазнительную мечту, продолжая жить на счет своего благодетеля. Но Иван Федорыч вдруг и совершенно против собственного желания должен был оставить Москву. Он получил письмо от своего управляющего, который, ссылаясь: 1) на плохие урожаи, 2) на дорогое содержание обширной дворни и 3) на необходимые и значительные издержки, как-то: на поправку двух ветряных и одной водяной мельниц и на перестройку служб, пришедших в крайнюю ветхость, — объявлял наотрез, что впредь денег вовсе высылать не может.

Горько было прощание Ивана Федорыча с Григорьем Алексеичем.

— Может быть, мы видимся с тобою, Grégoire, в последний раз, — говорил он, едва удерживая слезы, — я, кажется, уж никогда не ворочусь сюда; но участь твоя будет обеспечена. Не тревожься — я отвечаю за это. У тебя... у тебя еще много надежд впереди, ты еще многое можешь сделать, а мой путь уже кончен...

Иван Федорыч глубоко вздохнул.

— Одинокий, я должен погрязнуть в деревенской глуши, без дела и без мысли, окруженный не людьми, а

медведями. Дела мои с каждым годом все более и более расстроиваются. Меня кругом обманывают, теперь я все вижу ясно... Я всегда мечтал о том, чтобы улучшить участь моих крестьян: это была любимая мечта моя! А между тем они, говорят, разорены — и разорены в глазах моих! И я при всем моем желании помочь им — не могу, потому что не знаю как... Вот где наше трагическое, Grégoire!.. Вот где! Воля наша всегда в противоречии с делом. Все мы пустые и ничтожные фантазеры, не способные ни к чему.

Иван Федорыч обнял Григорья Алексеича и горько заплакал.

— Не забывай меня, пиши ко мне! — произнес он едва внятным голосом.

Григорий Алексеич также плакал.

— Пиши же ко мне, — повторил Иван Федорыч, — бога ради, пиши, хоть изредка, хотя по нескольку строчек пиши... Прощай, Grégoire... прощай... — Иван Федорыч бросился в тарантас, лошади двинулись. Он в последний раз выглянул из тарантаса, махнул Григорью Алексеичу рукою и упал на подушки.

Долго провожал его глазами Григорий Алексеич, покуда тарантас совсем скрылся из глаз, покуда колокольчик совсем замер в отдалении... И все стихло кругом Григорья Алексеича. На широкой песчаной дороге, расстилавшейся перед ним, не было ни души человеческой; ни один листок не шевелился на тощих деревьях, окаймлявших дорогу; заря медленно замирала, все предметы облекались тенью и сумраком, и стало грустно Григорью Алексеичу...

«Странно, — подумал он, возвращаясь в Москву, — я не воображал, чтобы мне было так тяжело расставаться с этим человеком!»

В первый раз Григорий Алексеич должен был завестись собственным хозяйством. Половину из занятой на дорогу суммы Иван Федорыч оставил ему на его издержки и, кроме того, обещал при первой возможности выслать ему из деревни еще денег. Григорий Алексеич не надеялся, однако, на будущие блага. С похвальным благоразумием рассуждал он, как ему необходимо стараться всячески умерить свои расходы и не дозволять себе ни малейшей прихоти. Он полагал даже, что самые лишения, как победа над самим собою, будут ему приятны.

Но денег, оставленных ему благодетелем его, с присоединением небольшой суммы, присланной ему от матери, которыми, по его расчету, можно было прожить по крайней мере месяцев пять, к удивлению его самого, едва достало ему на два месяца, и между тем Григорий Алексеич, точно, не был мотом: он вовсе не имел отчаянной удали тех русских людей, которые, заломя шапку набекрень, живут себе припеваючи на *авось* и ставят последний грош ребром, никогда уж потом не жалея о нем. Григорий Алексеич был скуп по натуре и вместе расточителен по слабости воли. Малейшая борьба с самим собою приводила его в отчаяние. Соблазнясь какою-нибудь дорогою и совсем ненужною для него вещью и приобретя ее (а это случалось с ним беспрестанно), он внутренно бранил себя и терзался раскаянием. И эта вещь, за минуту соблазнившая его, делалась ему до того противной, что он тотчас же готов был отдать ее за полцены. Начиная сознавать собственное бессилие, он в то же время всеми мерами старался оправдывать себя перед самим собою и складывать вину на других...

— Я бы не страдал теперь так, как я страдаю, — часто говаривал он, — если бы мне дано было надлежащее воспитание; но вместо того чтобы развивать, укреплять во мне волю — ее методически обессиливали, — и этим я обязан моему *благодетелю*... Мне есть-таки чем помянуть его!

Здесь нельзя не заметить, что Григорий Алексеич относился так желчно о своем благодетеле большею частию в такие минуты, когда у него не оставалось ни гроша в кармане из денег, занятых им у приятелей, и когда он поневоле, в надежде на будущие труды свои, должен был снова прибегать к займам. Напротив, нередко он вспоминал об Иване Федорыче с любовью.

Григорий Алексеич иногда поражал многих странными переходами от расположения самого кроткого и нежного к необъяснимой жестокости и нетерпимости. И не одно это — у Григорья Алексеича были и другие кое-какие странности, происходившие, вероятно, от развития его в исключительном кружке и совершенного незнания условий общественной жизни. Он очень любил болтать о самом себе и с необыкновенным диалектическим искусством объяснять малейшие тонкости и оттенки собственного я.

Зато когда, бывало, заговорит он о любви, о женщине вообще или так о какой-нибудь женщине в особенности, его можно было заслушаться. Казалось, ему была доступна вся сокровенная сердечность женщины, весь внутренний мир ее. Где и когда мог он так превосходно изучить женщину? я терялся в догадках; ибо мне достоверно было известно, что в описываемую мною эпоху, кроме двух московских гризеток с Кузнецкого моста, Григорий Алексеич не видал вблизи никакой женщины.

Но как высоко, как свято понимал он любовь, и как лицо его преображалось, когда он говорил о любви!.. Глядя на него и слушая его, каждый невольно мог вперед поручиться за полное, беспредельное счастие женщины, которую изберет он... Потребность любви с каждым днем сильнее развивалась в нем (Григорью Алексеичу было уже двадцать пять лет), но будущая героиня его романа жила еще только в его горячей фантазии. Иногда казалось ему, что он, счастливец, уже владеет своим идеалом, что вечером собрались к нему его приятели — и *она* в простом, но изящном уборе за круглым столом сама разливает им чай... Душистый пар от чая расстилается по комнате; в серебряной корзине лежат сухари и бриоши, огонек сверкает в камине, и разговор не умолкает ни на минуту. *Она* одушевляет всех и все и с необыкновенным женским тактом и проницательностию разрешает самые трудные вопросы. Приятели дивятся ее многостороннему уму, ее обширным познаниям, ее всепокоряющей грации, а у Григорья Алексеича захватывает дух от полноты блаженства.

Более года не получая ни денег, ни писем от Ивана Федорыча и кое-как пробиваясь одними займами, Григорий Алексеич дошел наконец до последней крайности. Он продал всю свою движимость и переехал к своему знакомому, который тяжкими трудами добывал себе кусок насущного хлеба и на которого Григорий Алексеич и все его приятели смотрели как на ограниченного, жалкого, узколобого труженика, который далее *долга* ничего не видит. Письмо, полученное Григорьем Алексеичем от матери, объяснило ему наконец непонятное молчание Ивана Федорыча. Мать уведомляла его между прочим, что благодетель его сочетался со вдовою Марфою Ильинишной Бутеневой и что все в околотке у них не могут надивиться этому браку, ибо-де Марфа Ильинишна

старше его семью годами и к тому же подвержена нервному расслаблению.

Прочитав эти строки, Григорий Алексеич иронически улыбнулся.

«Так и должно было ожидать! — подумал он, — романтики и пустые идеалисты обыкновенно мечтают о Миньонах и Теклах, о возвышенной любви и свободе, а кончают тем, что вступают в законное сожительство с Марфами Ильинишнами, которые потом колотят их и перед которыми они пикнуть не смеют».

Известие об Иване Федорыче было верно.

Иван Федорыч, убегая от одуряющей тоски и бездействия, сам не ведая как очутился в объятиях вдовы-помещицы Бутеневой и потом сочетался с нею браком. Марфа Ильинишна не замедлила обнаружить удивительную распорядительность в хозяйственных делах, соединенную с необыкновенною твердостию характера и силою воли, несмотря на нервное расстройство. Еще до окончания медового месяца управляющий Ивана Федорыча, как носились слухи, был выгнан ею, и она торжественно приняла в свои руки бразды правления. После этого Григорий Алексеич уже не получал никаких вестей о своем благодетеле, и дальнейшая история жизни Ивана Федорыча остается покрытою мраком неизвестности.

Надежды Григория Алексеича на денежную помощь в настоящем и на обещанное ему обеспечение в будущем рушились. Тяжкая мысль, что он не может определить своего существования и, беспрестанно толкуя о деле, ничего не делает, а все продолжает жить на чужой счет, страшно давила его. От матери своей он ничего не получал, кроме благословений да мешков с орехами и с сушеной малиной. Старуха сама едва поддерживала свое существование. Григорий Алексеич совсем было упал духом, но, к счастию его, в эту минуту какому-то петербургскому журнальному антрепренеру понадобился сотрудник. Как ни жалки были условия, предложенные антрепренером, Григорий Алексеич должен был согласиться на них и отправиться в Петербург, чтобы не умереть с голоду.

В Петербурге на одном литературном вечере Григорий Алексеич познакомился с Сергеем Александрычем, которого от нечего делать иногда интересовала литература.

Сначала в обществе его Григорий Алексеич чувствовал неловкость и тяжесть ничем непобедимую. Он в пер-

вый раз сошелся лицом к лицу с человеком светским. Он оробел перед аристократическою обстановкою Сергея Александрыча; но самолюбию его было лестно знакомство с богатым и светским человеком, хотя Григорий Алексеич стыдился в этом признаться самому себе...

Григорий Алексеич в Петербурге, как и в Москве, фантазировал о любви, о славе, о человечестве, громил романтизм в своих журнальных статейках и беспрестанно жаловался на безденежье. Он никак не мог соразмерить свои расходы с приходами. К тому же журнальный антрепренер платил ему заработанную плату неаккуратно, и Григорий Алексеич в Петербурге, как и в Москве, принужден был занимать по мелочи у знакомых. Однажды он решился занять даже у Сергея Александрыча. Ему, впрочем, нелегко было занимать... Долги страшно терзали его, а между тем — ни любви, ни славы! жизнь нестерпимо однообразная, и ежедневные записки антрепренера: «Да что же статейка? не ленитесь, бога ради, пишите поскорей. Дело стало в типографии» и прочее... Писать, когда ничего нейдет в голову, писать по заказу, когда тоска грызет и давит, когда нет ни мысли в голове и ни гроша в кармане! Литература опротивела Григорью Алексеичу. Но в это время неожиданное обстоятельство вывело его из мучительного положения. Матушка его скончалась. Он продал доставшееся ему именьице своей старшей сестре, выручил за него тысяч двадцать — и уехал за границу на одном пароходе с Сергеем Александрычем.

За границей Сергей Александрыч стал ручнее, сбросил с себя светское петербургское величие и вел себя просто. Григорью Алексеичу легко было сойтись с ним, и, несмотря на то, что образ мыслей их был не совсем одинаков, они скоро до того сделались необходимы друг другу, что почти все время пропутешествовали неразлучно. Сергею Александрычу нужно было в дороге развлечение: одному ездить скучно. Он рад был, что нашел в Григорье Алексеиче живого и умного собеседника; Григорий Алексеич, с своей стороны, был чрезвычайно доволен проехаться по чужим землям с роскошью и с удобством, о котором ему и во сне не грезилось.

Три года странствования прошли для Григорья Алексеича незаметно и быстро. Все в Европе в высшей степени интересовало его, и горячо сочувствовал он всем великим современным вопросам среди бурной и разнообразной па-

рижской жизни. Кафе и театры, университет и цирки, публичные суды, балы и гулянья, профессора и *лоретки*... все приводило его в экстаз, Григорий Алексеич влюблялся на каждом шагу. Мысль о святой и высокой любви, о которой он так прекрасно грезил в отечестве, — в Париже ни разу не пришла ему в голову.

И только на возвратном пути, приближаясь к отечественной границе, Григорий Алексеич начал немного приходить в себя и задумываться. Из двадцати тысяч его единственного достояния осталось у него тысяч девять, не более. Жить процентами с этого капитала не было возможности, надобно было опять приниматься за журнальную работу, но уже Григорий Алексеич без досады и горького смеха не мог вспомнить о своих литературных статьях, которые казались ему некогда образцами глубокомыслия. Он недоумевал, что̀ ему предпринять и каким образом и на каком поприще, с его идеями и направлением, сделаться полезным отечеству и самому себе. Эта трудная задача приводила его в отчаяние — и потому он всячески старался отогнать от себя мысль о будущем. Но Сергей Александрыч, располагавший прямо из-за границы отправиться на лето к себе в деревню, стал звать его с собою.

Сергею Александрычу необходимо было в недрах патриархальной русской жизни отдохнуть от путевых впечатлений и, главное, поправить свои несколько расстроенные финансы...

Любезное предложение Сергея Александрыча было скоро и охотно принято Григорием Алексеичем, потому что оно избавляло его на время от труда об устройстве собственной участи.

Таким-то образом оба приятеля очутились в селе Благовещенском — куда и нам пора последовать за ними...

ГЛАВА V

Прибытие их привело в страшное волнение всех брюхатовских обывателей вообще и Агафью Васильевну в особенности. На широком и круглом лице ее выступили красные пятна, трехъярусный подбородок ее затрепетал

и заколыхался, и левый глаз без бельма засверкал дико. С громом отворила она дверь в кабинет своего супруга. Ардальон Игнатьич почивал сладким сном. Агафья Васильевна растолкала его с трудом. Ардальон Игнатьич зевнул, потянулся и пробормотал сквозь сон:

— Ах, если бы теперь, душенька, стаканчик брусничной водицы выпить! — и зашевелил губами и языком.

— Вставайте же! — вскрикнула, задыхаясь, Агафья Васильевна, выведенная из терпения, — проснитесь, опомнитесь... скорее, скорее...

Ардальон Игнатьич, испуганный, вскочил с дивана, протирая глаза:

— Что такое, матушка? пожар?

Агафья Васильевна горько улыбнулась, обозрев супруга с ног до головы.

— Вы скоро совсем одуреете от сна. Что ж вы, очнулись наконец? Можете вы понимать-то, что вам будут говорить, или нет?

— А что такое?

— Что? Вы ничего не знаете и знать не хотите! Без меня вы пропали бы; я за вас должна входить во все: расправляться с людьми, смотреть за всем хозяйством, ездить в поля, бегать в анбары, терпеть оскорбление от какого-нибудь подлеца Брыкалова, — и вы хоть бы раз вступились за беззащитную женщину, за жену!.. Ну, да уж моих сил не станет, — я скоро все брошу, это я вам говорю в последний раз... Впрочем, теперь не в этом дело... Знаете ли вы, например, *кто* приехал сюда?

— К нам?

— Не беспокойтесь, не к нам. Кто станет ездить к нам? Вы не умели заслужить ничьей любви, ничьего уважения. Вас никто, ни посторонние, ни родные, в грош не ставят, — вы...

— Да кто приехал? к кому? — бормотал робко смущенный супруг, в недоумении почесывая свою лысину.

— Ваш родной племянник, Сергей Александрыч... Слышите ли вы? *Сергей Александрыч?* Он изволил прокатить сейчас мимо нашего дома и не удостоил даже взглянуть на наши окна. Теперь он у вашей милой и доброй сестрицы, у Олимпиады Игнатьевны... Видно, эта подлая притворщица чем-нибудь особенно умела заслужить его любовь и уважение, — заметьте, он к ней к первой является с визитом... Впрочем, и не мудрено... У нее

в доме есть недурная приманка для молодых людей. Наташа девочка смазливенькая и к тому же умеет делать глазки... Что за беда, что двоюродный братец! Нынче все позволено. Двоюродные братья женятся же у немцев на двоюродных сестрах, а в Париже и на родных сестрах давно женятся. Он же ведь прямехонько из Парижа... Только слушайте, я заранее объявляю вам, Ардальон Игнатьич, если между вашим племянничком и племянницей заведутся какие-нибудь шашни, в чем я не сомневаюсь, — я пяти минут не остаюсь здесь. У меня три дочери невесты, девушки нравственно воспитанные, с благородными чувствами. Я не потерплю никакого скандала и, в случае крайности, сама все лично объясню губернатору и буду просить его защиты.

Агафья Васильевна так много наговорила ему, что Ардальон Игнатьич решительно стал в тупик. «Да что объяснять губернатору-то?» — подумал он.

— Ну что ж вы молчите? — вскрикнула Агафья Васильевна.

— Я... ничего, — отвечал Ардальон Игнатьич.

— Так вас не трогает, что ваш родной племянник пренебрегает вами, знать вас не хочет?

— Отчего? — спросил удивленный Ардальон Игнатьич. — Почему вы это знаете?

— Чтобы понять это, кажется, не нужно много иметь *тут*, — Агафья Васильевна ткнула себе в лоб, — вы старший в их роде — следовательно, к вам он должен питать особую аттенцию [1], должен почитать вас вместо отца, а он преспокойно проезжает мимо вашего дома, как мимо дома постороннего. Это явно показывает, что он и не заботится о вас.

— Да он еще будет.

— Вы мне жалки! Вы человек без амбиции!.. — вскрикнула Агафья Васильевна, всплеснув руками. — Вам ничего в голову не вобьешь. Неужели вы не понимаете, что он к вам к первому должен приехать? Коли вы сносите спокойно от всех афронты, — так я-то не могу и не хочу сносить их! Понимаете ли вы? я уж и без того слишком много терпела от ваших родных.

Произнеся это, Агафья Васильевна вышла из кабинета своего супруга, с гневом захлопнув дверь за собою.

---

[1] почтительность (от *франц.* attention).

Ардальон Игнатьич в беспокойстве прошелся по комнате, заложив руки назад, и потом опустился в кресла, сказав самому себе:

— Жена права: ему бы, действительно, надо было мне первому сделать визит...

Между тем как Агафья Васильевна вела разговор с супругом, ее наперсница Стешка, весьма краснощекая и здоровая девка, прибежала на двор к Олимпиаде Игнатьевне, чтобы собрать поподробнее сведения о приезжих от Петровича, который за нею сильно ухаживал.

Стешка в тот же вечер все слышанное от Петровича передала барыне.

На другой день Сергей Александрыч явился к своему дядюшке. К совершенному изумлению доброго Ардальона Игнатьича, Агафья Васильевна, несмотря на резкий отзыв свой об Сергее Александрыче, приняла его с почетом и угощала на убой. Домашним вареньям, соленьям, настойкам, наливкам и водянкам не было конца. Старшая из дочерей Агафьи Васильевны, Любаша, по ее приказанию, после завтрака пропела перед братцем русский романс, а две меньшие — Икочка и Зиночка, протанцевали танец с шалью. Затем принесены были два ковра домашней фабрики и разостланы в гостиной. Один из этих ковров Агафья Васильевна подарила Сергею Александрычу и заметила со слезами, что она никого еще из родственников своих не любила, не уважала так, как его, потому что ей известны прекрасные и редкие качества души его...

Прогостив трое суток в селе Брюхатове, Сергей Александрыч отправился к себе в Сергиевское.

Вскоре за тем, по его просьбе, переехала туда и Олимпиада Игнатьевна на все лето и со всем семейством, потому что дом ее, пришедший в ветхость, требовал значительных и немедленных поправок.

Слухи о приезде Сергея Александрыча быстро распространились по всей губернии. Толки о нем и его приятеле надолго заняли всех, не исключая самого начальника губернии. Все родственники Сергея Александрыча, близкие и дальние, даже и такие, которые по нескольку лет не выезжали из своих деревень, пришли в волнение. И допотопные колымаги и тарантасы различных форм и величин потянулись по дороге к Сергиевскому. Влияние Сергея Александрыча на родственников производило чудеса. К таким чудесам относилось, между прочим,

примирение Агафьи Васильевны и Ардальона Игнатьича с Олимпиадой Игнатьевной.

Олимпиада Игнатьевна упала на шею к братцу с раздирающим завыванием и стоном. Братец хлопал глазами и всхлипывал. Агафья Васильевна кричала:

— Ох, умираю, умираю, пособите, родные! — и хлопнулась в кресла...

Дочери ее бросились к ней с визгом.

— Уксусу! уксусу! — раздавалось со всех сторон.

Олимпиада Игнатьевна долго завывала без слов, Ардальон Игнатьич долго молчал, всхлипывая и хлопая глазами. Наконец Олимпиада Игнатьевна произнесла слабым голосом, с расстановками и вздохами:

— Батюшка-братец, голубчик ты мой, ты знаешь, как я всегда любила тебя... Родственные чувства были внушаемы нам с детства... Наше семейство особенно гордилось этим... Его ставили в пример другим... И я, видит бог, никогда не изменялась к тебе, я не могла тебя разлюбить, несмотря на всё...

— Сестрица, — говорил Ардальон Игнатьич, заикаясь от волнения, — сестрица, я чувствую... мне больно было... я вас всею душою уважаю, забудемте все, сестрица.

— Я давно все забыла, не поминай о прошедшем, голубчик, — сказала Олимпиада Игнатьевна, нежно целуя братца, — я тебя люблю так, как, может быть, тебя *никто* не любит.

«А! это камешек в мой огород! — подумала Агафья Васильевна, нюхая уксус, который старшая дочь держала у ней под носом, — хорошо же, голубушка, уж коли дело пошло на это, так я тебя забросаю грязью и каменьями».

Агафья Васильевна во время обморока не пропустила мимо ушей ни одного слова Олимпиады Игнатьевны.

Открыв глаза, она начала озираться кругом себя и спросила слабым голосом: «Где я и что со мною?» — потом, найдя нужным совсем прийти в себя, привстала с кресел, опираясь на ручки, и посмотрела на Олимпиаду Игнатьевну. При этом Олимпиада Игнатьевна, несмотря на горячие родственные объяснения с братцем, все время не выпускавшая из виду Агафьи Васильевны, — также привстала и посмотрела на нее. Обе они в одно время сделали шаг вперед.

— Сестрица! — простонала Олимпиада Игнатьевна.

— Сестрица! — проговорила Агафья Васильевна со вздохом.

Обе растопырили руки для объятий и, сойдясь, взвизгнули в одно время.

Ардальон Игнатьич, смотря на эту картину, не выдержал — и зарыдал.

Примирясь с Олимпиадой Игнатьевной, Агафья Васильевна осталась на несколько времени гостить в Сергиевском.

Она, по-видимому, была от всего в восторге, и в особенности от Григорья Алексеича.

— Ах, родной вы мой! я не могу налюбоваться на вашего приятеля, — сказала она однажды Сергею Александрычу, — этакого милого, этакого приятного, обходительного, кроткого и скромного молодого человека я еще не встречала. Точно красная девушка; смотреть на него любо.

И вслед за тем она бросила нежный взор на Григорья Алексеича, который играл в это время на китайском бильярде с Любашею...

Петруша «упивался поэзиею верховой езды», как он сам выражался, то есть, говоря просто, ездил верхом на двадцатилетнем коне, который едва передвигал ноги.

Наташа была гораздо бойчее своего братца. Она страстно любила верховую езду и управляла лошадью смело и ловко. Кавалькады устраивались довольно часто. Все были довольны и веселы. Только кавалькады начинали несколько расстроивать Агафью Васильевну.

— Я не надивлюсь вам, Олимпиада Игнатьевна, — говорила она, — как это вы позволяете дочери вашей ездить верхом. Долго ли до беды?.. Это уж совсем, кажется, не женское дело. Откуда она, матушка, набралась у вас такой смелости?.. Мои не таковы! Они у меня всего боятся, от всего краснеют, — такие глупые. Я уж их частенько браню за это и всегда ставлю в пример вашу Наташу.

Присутствие Наташи нарушало спокойствие духа Агафьи Васильевны. Она во все время пребывания в Сергиевском постоянно язвила ее насмешками, преследовала наблюдениями и употребляла всевозможные меры, чтобы не допускать до нее Григорья Алексеича.

Когда вечером все собирались в кружок, Агафья Васильевна непременно садилась возле него и заливалась

соловьем: о испорченности нынешних нравов, о дурном воспитании девиц и о тому подобном; мимоходом замечала, что ее дочери воспитаны в страхе божием, и обращала внимание его (разумеется, косвенно) — на удивительную тонкость талии и поразительную белизну тела у Любаши. Она подзывала Любашу к себе, делала ей какое-нибудь замечание и в это время поправляла ей, например, бантик на груди или кушачок, перетягивавший ее талию, — или что-нибудь подобное.

Григорий Алексеич не знал, куда деваться от внимательности Агафьи Васильевны. Она и вообще все родные Сергея Александрыча выводили его из терпенья. Он проклинал и ее, и дочерей ее, и Петрушу, который надоедал ему своей поэзией и своими глубокими взглядами. Одна только Наташа примиряла его с окружавшим. Наташа затронула его любопытство отсутствием всякой манерности, своею безыскусственностью, живостью и светлым, откровенным выражением лица. С каждым днем открывал он в ней какие-нибудь новые достоинства: поэтическую влажность в глазах, особенную привлекательность в улыбке, чистоту души в простосердечном звонком смехе и так далее. «Неужели, — думал он, — эта девушка должна заглохнуть без любви и без мысли среди жизни, ее окружающей, никем не замеченная, никем не оцененная? Что суждено ей: преждевременно умереть от чахотки или расплыться, отупеть и превратиться в толстую и неуклюжую барыню?»

Наташа начинала не на шутку возбуждать его участие. «Ей необходим человек, — думал он, — который бы понял ее, который бы способствовал ее развитию, который бы пересоздал ее».

Что же касается до хозяина дома, то он в своем Сергиевском, среди своих гостей-родственников и усердной челяди, чувствовал себя чуть ли не лучше, чем в Лондоне, в Париже, в Петербурге или где бы то ни было.

Родственники смешили его, и он с большим юмором передавал Григорью Алексеичу свои разговоры с ними и различные анекдоты об них.

Над Наташей он смеялся так же, как и над другими, впрочем, отдавал ей справедливость в том, что она довольно ловка и ездит верхом недурно, и замечал, что из нее, вероятно, могло бы выйти что-нибудь *порядочное*, если бы ей дано было хорошее воспитание.

ГЛАВА VI

Первые дни пребывания своего в Сергиевском Наташа испытала много разнообразных ощущений, каких еще не случалось испытывать ей. Перемена места, новые лица, шум, движение, к которому она не привыкла, роскошь, о которой не имела понятия, — все это сильно на нее подействовало. К тому же Олимпиада Игнатьевна, занятая родственниками и гостями своего племянника, не имела времени заниматься ею — и Наташа чувствовала себя свободною. Ей сделалось легко и весело, как никогда не бывало, и она предалась свободе с увлечением. Ей казалось, что на всем земном шаре не могло быть места лучше и живописнее Сергиевского...

И в самом деле, Сергиевское живописно. Оно расположено на гористом месте, в полуторе версте от Волги. Старинный большой двухэтажный каменный дом с бельведером, окруженный флигелями, и пятиглавая церковь стоят у ската горы. Внизу перед домом поемные луга со стогами сена, с молодыми рощами и кустарником, сквозь который местами блещут полосы воды. Луга эти тянутся вплоть до самой Волги — и картина замыкается ее утесистым и крутым берегом, на вершине которого виднеются подвижные точки ветряных мельниц. Весною, при разливе Волги, Сергиевское становится еще живописнее: вода, затопляя луга, доходит до самой подошвы горы, на которой стоят дом и церковь, и на этом огромном водяном пространстве образуются голые песчаные острова, выходят из воды круглые заленеющие вершины деревьев или высовываются засохшие ветви кустарника и мелькают белые паруса расшив и барок. Вправо за домом сад и роща, носящая до сих пор название зверинца, хотя ныне этот зверинец служит приютом одним только робким белкам и зайцам. Часть сада расположена в старинном, классическом вкусе, но его прямые и длинные липовые аллеи, некогда тщательно подстригавшиеся, теперь разрослись на воле. Дорожки сада в отдаленных от дома местах совсем заглохли; храмы Славы и китайские павильоны развалились и обросли крапивой и репейником; мостики, перекинутые через овраги и ручьи, еле держатся от гнилости, поверхность прудов подернулась зеленью и

цветами болотных лилий, — но этот сад сделался еще гораздо лучше в своем запустении.

Наташе все нравилось в Сергиевском: этот полузаглохший сад, густая разросшаяся роща с живописными тропинками и оврагами, с сочною растительностию, с вековыми дубами; горы, освещенные солнцем; поемные луга с душистыми стогами и синеющая вдали Волга. Красота природы имела на нее сильное влияние, и потому она не чувствовала ни малейшей привязанности к месту своего рождения — к плоскому и болотистому селу Брюхатову, где ничего не было перед глазами, кроме изб, вросших в землю, да куч сгнившей соломы среди необозримой глади.

Григорий Алексеич, также любивший природу, часто сопутствовал Наташе в ее прогулках.

Агафья Васильевна отправилась восвояси не совсем в приятном расположении духа. Выехав за околицу села Сергиевского, она завела с своею Любашею весьма горячий разговор, который был заключен следующею энергическою речью:

— Я, сударыня, знать ничего не хочу... Что, ты думаешь, что женихи вот так сами, без всякой приманки, и побегут к тебе? как же, дожидайся. Ты никого не умеешь заинтересовать собой, никого... это правда, что за мной в твои лета мужчины стадами бегали, ну да это потому, что я умела привлечь их к себе! Впрочем, уж как ты там хочешь, а нынешний год должна будешь сыскать себе жениха. Я тебе не позволю век в девках сидеть и торчать перед моими глазами... Вон посмотри на Наташу, — это, правда, что уж в ней никакого пути нет и гадкая нравственность, — да зато, матушка, глазками да ласками возьмет свое и, к стыду моему, прежде тебя выйдет замуж. Видела ли ты, что к ней и Сергей Александрыч и Григорий Алексеич так и льнут, а ты между тем, как дура, все время сидела оплеванная...

Агафья Васильевна говорила вздор. Наташа никогда не употребляла никаких стараний привлекать к себе и вовсе не умела ласкаться и делать глазки. С Сергеем Александрычем обращалась она как с родным — свободно и просто. Не любить братца ей казалось невозможным, потому что с самой колыбели ежедневно все толковали ей о родственной любви, и она, совсем еще не зная Сергея Александрыча, поставляла уже себе за долг любить его. А присутствие нового, незнакомого ей лица производило

на нее сначала даже тяжелое впечатление. С Григорьем Алексеичем первые дни обращалась она совершенно как степная, деревенская барышня: едва отвечала на его вопросы, и то не глядя ему в лицо.

Но робость, которую она ощущала в присутствии Григорья Алексеича, была побеждена в ней скоро его тихим, льющимся в душу голосом, его мягким, кротким и задумчивым выражением лица. В звуках его голоса слышалось Наташе, так по крайней мере думала она, *что-то родное, что-то давно знакомое.* Его взгляд пробуждал в ней любопытство и участие к нему. «Он, верно, испытал много несчастий, — думала она, — он, верно, много страдал!» Наташа сравнивала его с братцем, и Григорий Алексеич еще более выигрывал в глазах ее от этого сравнения. Она начинала чувствовать к нему несравненно бо̀льшую симпатию, чем к Сергею Александрычу, и сама не понимала, как это случилось. Ей даже приходила в голову мысль, что̀, если б Григорий Алексеич был ее братцем?

Сергей Александрыч смущал Наташу своим слишком смелым взглядом и постоянно насмешливым выражением, а барышни, особенно деревенские, очень боятся насмешек. Сергей Александрыч никогда и ни о чем не говорил с ней серьезно, это оскорбляло ее самолюбие; он часто как-то странно посматривал на нее и пожимал ей руку с каким-то особенным выражением. Это пожиманье руки всегда производило неприятное впечатление на Наташу и заставляло ее краснеть. Наташа никак не подозревала, что она сама подала невольный повод братцу к этим странным пожатиям и взглядам. Дело в том, что Сергей Александрыч был вообще не слишком высокого мнения о женской добродетели и имел слабость (может быть, очень простительную) думать, что никакая женщина не в состоянии устоять против него. Эта мысль сильно укоренилась в нем — и он был даже искренно убежден в том, что и *лоретка,* с которою он жил в Париже, чувствовала привязанность собственно к нему, а не к его деньгам. Совершенно случайная встреча с Наташею в коридоре и вопросы ее о браслете в первый день приезда его к тетушке, истолкованные им не совсем по-родственному, подали ему повод слегка приволакиваться за нею, впрочем, вероятно, без цели, а так, для развлечения...

Любовь, которая начинала пробуждаться в Наташе к Григорью Алексеичу, ставила ее, впрочем, совершенно

вне всякой опасности в отношении к Сергею Александрычу. Сближение Наташи с Григорьем Алексеичем делалось быстро. Григорий Алексеич был необыкновенно внимателен к ней. Он выбирал ей книги для чтения, иногда переводил для нее самые занимательные страницы, объяснял ей темные и непонятные для нее места и сам читал ей по вечерам Руссо, под влиянием которого находился в эту эпоху.

Олимпиада Игнатьевна, к удовольствию Наташи, была, по-видимому, очень расположена к Григорью Алексеичу и нисколько не думала препятствовать ни этим чтениям, ни ее разговорам с ним, однако же не выпускала из виду и наблюдала за ней с материнскою внимательностию. Под руководством Григорья Алексеича Наташа оказала замечательные успехи во французском языке и скоро стала понимать французские книги без всякого затруднения. Взгляд ее, что нисколько не удивительно, постоянно становился яснее. Любовь просветляла ее мысли и облегчала ее понимание. Каждый день Григорий Алексеич открывал для нее что-нибудь новое. С каждым днем он незаметно способствовал ее развитию. Это были самые светлые, самые счастливые минуты в жизни Наташи. Григорий Алексеич блаженствовал, любуясь успехами своей ученицы.

Он не сомневался в том, что она любит его, и для этого, конечно, не нужно ему было иметь большой проницательности. Наташа так изменилась в короткое время, что даже строгий и смотревший на все с высшей точки зрения Петруша глубокомысленно заметил однажды, что «натура ее не такая дюжинная, как он думал прежде, что она начинает прозревать, вступает в момент сознания» и что-то еще в этом роде.

Даже и лицо Наташи приняло другой характер, более серьезный. Присутствие любви обнаружилось во всем существе ее. Такая перемена в Наташе не укрылась, между прочим, и от наблюдательности Олимпиады Игнатьевны...

Однажды Сергей Александрыч, лежавший на диване и куривший сигару, вдруг обратился к Григорью Алексеичу... В комнате никого не было.

— А что, ты влюблен в Наташу? признайся.

Этот неожиданный вопрос застал Григорья Алексеича врасплох.

— Что-о? — произнес протяжно Григорий Алексеич.

— Я говорю, что ты влюблен в Наташу, — продолжал Сергей Александрыч, потягиваясь на диване.

— Какой вздор! кто это тебе сказал? — Григорий Алексеич несколько принужденно засмеялся, схватил со стола какую-то книгу и начал перелистывать ее.

— Будто вздор? — продолжал Сергей Александрыч... — Отчего ж? В Наташу можно влюбиться, если еще чувствуешь в себе способность влюбляться! Она хорошенькая... У нее глаза недурны, рука хороша... За тебя отдадут Наташу с радостию, — и мне будет очень приятно иметь тебя родственником. Маменька ее серьезно уже поговаривает о том, что ее пора пристроить, и умильно поглядывает на тебя. Хочешь, я буду твоим сватом?

Григорий Алексеич швырнул на стол книгу, которую перелистывал, вскочил со стула и побледнел.

— Твои шутки совсем не остроумны... — произнес он сквозь зубы.

Сергей Александрыч внутренно улыбнулся.

— Если тебе не нравится мой разговор, я, пожалуй, замолчу... Но послушай... (Сергей Александрыч совершенно переменил тон и привстал на диване.) Наташа в самом деле девушка добрая, — но знаешь ли, я думаю, что ты, — разумеется нехотя, но делаешь ей много вреда. Ты насильно вырвешь ее из ее сферы, раздражишь ее воображение разными поэтическими бреднями, с трагическим ужасом укажешь ей на безобразие деревенской жизни, а потом преспокойно раскланяешься и уедешь в Петербург.

— Никогда! Никогда! — вскрикнул гордо Григорий Алексеич, вскочив со стула.

— Так, стало быть, ты хочешь на ней жениться?

Григорий Алексеич болезненно вздрогнул при этом вопросе и в бессильном страдании опустился на стул.

— Ты вообще противоречишь себе, — продолжал Сергей Александрыч, — кричишь против идеализма, преследуешь романтиков, которые тебе везде мерещатся, даже и здесь, в селе Куроедове, которое в честь мою названо теперь Сергиевским, а сам вечно бродишь в идеалах; проповедуешь о необходимости ясного, практического взгляда на жизнь, а смотришь на нее бог знает как и хочешь переделать ее по нелепым фантазиям разных сумасбродов. По-моему, тот только понимает практическую жизнь,

кто умеет пользоваться ею. Что за охота вечно страдать в настоящем, бесполезно мечтая о каком-то лучшем будущем? Ты на все смотришь мрачно, даже на Агафью Васильевну; тебя возмущает даже Васька — мой приказчик, потому что он кланяется мне до земли и не смеет мигнуть в моем присутствии... Все это, конечно, глупо и нелепо, но смешно и забавно. Все это существует, следовательно, должно существовать. И поверь мне, эта же самая Наташа, которую ты хочешь теперь возвышать, развивать и для которой, верно, скоро не будет на земле достойных идеалов, — без всякой церемонии вышла бы замуж за какого-нибудь толстого и глупого Федота Карпыча, рожала бы, как и все, каждый год детей, солила бы грибы, варила варенье, угощала бы гостей наливками своей стряпни, называла бы своего Федота Карпыча *душкой*, или *Пульпультиком*, как у Гоголя, или как-нибудь в новом роде и была бы в своем милом неведении очень довольна, спокойна и счастлива, — а может быть, Федот Карпыч в первые же месяцы после бракосочетания надоел бы ей и опротивел — и это могло бы очень случиться...

— Полно!.. — закричал Григорий Алексеич, — это несносно, ты имеешь дар осквернять все хорошее. В этом я не сомневался...

И с этими словами он вышел из комнаты.

Сергей Александрыч спокойно проводил его глазами, закурил другую сигару и, протянувшись с наслаждением на диване, подумал:

«Кажется, добрый и умный малый, а чудак!»

ГЛАВА VII

После разговора Сергея Александрыча у Григория Алексеича пропал сон и аппетит, лицо осунулось, глаза впали — и он несколько дней одиноко и мрачно бродил в саду и в роще, стараясь избегать всех, и в особенности Наташи. «Я люблю ее, — думал он, — но чем же, в самом деле, должна кончиться эта любовь? — браком?» И при этом вопросе, который до разговора с Сергеем Александрычем не приходил ему в голову, дрожь пробежала по его телу... «Браком! — повторял он, — браком!» — в вол-

нении взад и вперед прохаживаясь по аллее сада. Тихие, безмятежные картины брачной жизни, которыми некогда восхищался он, в эту минуту ему не являлись более. Напротив, как нарочно, вся прозаическая сторона этой жизни выступила перед ним во всей наготе: домашние хлопоты и тревоги, раздирающий уши крик детей, неизбежное охлаждение к жене, ее слезы и вздохи, его тоска и отчаяние и прочее. Григорий Алексеич был убежден, что безумно связывать себя вечным обетом, добровольно лишать себя свободы. «Но что же мне делать? — спрашивал он сам себя, — бежать отсюда? запереться в самом себе, обречь себя на одиночество и влачиться по свету без надежд и без цели! И куда бежать?» Мысль об одиночестве показалась ему еще страшней мысли о браке. «Нет, — подумал он, — я не создан для одинокой, эгоистической жизни, мне необходимо иметь возле себя существо любящее, близкое, родное по духу, с которым бы я делил и чувства, и мысли, и горе, и радости! К чему мне моя постылая свобода?»

И Григорий Алексеич, колеблемый этими мыслями, то решался объясниться с Наташей и ее матерью — и разом кончить все, то хотел уехать из Сергиевского. Иногда, минутами, казалось ему, что он вовсе не любит Наташу, что он просто увлекся ею, что между ними не существует настоящей симпатии, что в ней нет достаточной теплоты, что она больше все понимает головой, чем сердцем, — и мало ли чего не казалось ему? Несколько раз в день менял он свои мысли и взгляды и часто совсем упадал духом в горьком сомнении и нерешительности.

В таком мрачном расположении духа забрел он однажды вечером (это было уже в половине июля) в самую отдаленную и заглохшую часть сада и, утомленный более мыслями, чем ходьбою, бросился на траву между кустами орешника, спускавшегося у самых ног его в глубокий овраг, на дне которого между камнями лениво пробивался ручей с глухим журчаньем. На другом берегу оврага была роща. Впереди и кругом Григорья Алексеича все было дико и мрачно. Сквозь плотную, густую массу зелени, окружавшую его, не мог проскользнуть луч солнечный. «Нет, — думал Григорий Алексеич, — нет, я напрасно обвиняю *ее* в неспособности любить: у нее глубокое, любящее сердце; чем более я наблюдаю ее, тем более вижу, что она может любить с увлечением, с страстию...

Это широкая, избранная натура, которой доступно и понятно все... И я сомневался в ней! Какая глупость! Теплоты недостает не в ней, а во мне, — и Григорий Алексеич при этом бил себя в грудь... — Сердце мое с каждым днем черствеет более и более; никогда не испытав любви, я уже сознаю в себе неспособность любить так, как бы следовало, а бывают, впрочем, минуты, в которые мне еще кажется, что я могу любить со всем жаром и полнотою молодости; но это обман, ложь! я никогда не буду в состоянии удовлетворить ее любви, для чего же напрасно смущать ее покой? Я решительно не стою ее! Мне следует быть с ней как можно холоднее, как можно осторожнее. Но это опять глупость! я не выдержу... Нет, мне просто нельзя оставаться здесь ни одной минуты, я должен бежать отсюда куда-нибудь, все равно, только как можно далее; каждая минута замедления будет с моей стороны преступною слабостию...»

Но как будто это так легко?

Он задумался и через минуту произнес почти вслух:

— Кончено. Сегодня же еду! — и очень решительно побежал по тропинке.

Тропинка эта привела его на довольно открытое место. Тут он приостановился и вздохнул свободнее. Зеленые стены леса и его сумрак душили его, ему необходимы были в эту минуту свет и пространство.

«Я посмотрю в последний раз, — думал он, — на эти луга, на Волгу; в последний раз, потому что я никогда уже не ворочусь сюда».

И, подумав это, Григорий Алексеич пошел более покойным и ровным шагом.

Подходя к самому скату горы, с которой виднелась Волга, Григорий Алексеич вдруг вздрогнул и как бы прирос к земле.

В десяти шагах от него сидела на скамейке Наташа.

На ней было белое платье. Черные волосы ее локонами спускались до груди... Все вокруг нее и вся она облита была розовым отблеском догорающей вечерней зари. Воздух дышал благоуханною свежестью. Все было тихо, вершины деревьев чуть колебались. Григорий Алексеич долго стоял не шевелясь и едва переводя дыхание. Наташа была очень хороша. Он смотрел на нее долго и благоговейно и потом робко подошел к ней.

Наташа обернулась, когда он стоял в двух шагах от нее.

— Ах, это вы! — сказала она.

Григорий Алексеич молчал, опустив голову на грудь.

— Какой прекрасный вечер, — заметила Наташа. — А где вы были? Верно, в роще?

— Да, в роще... нет, впрочем, я ходил в саду, — отвечал Григорий Алексеич, — а вы давно здесь сидите?

— Это моя любимая скамейка, — сказала Наташа, — я здесь часто сижу. Отсюда чудный вид.

— В самом деле, хороший вид. Мне это место также нравится... но я, может быть, помешал вам... может быть, вы хотите быть одни?

— Нисколько, — отвечала Наташа.

— Так вы мне позволите сесть возле вас?

— Садитесь.

Григорий Алексеич сел на скамейку.

Они несколько минут молчали.

— Вам, верно, надоела деревня? — сказала первая Наташа, — вы не привыкли к ней — вы день ото дня становитесь скучнее.

— Вы замечаете это? — возразил Григорий Алексеич.

— Да. Что ж, это вам кажется странным? И не я одна, и другие замечают это.

— Что мне за дело до других?

Наташа посмотрела на него с недоумением.

— Скажите, отчего вы так посмотрели на меня? — спросил Григорий Алексеич.

— Так... — Наташа несколько смешалась. — Ну, признайтесь, ведь вам скучно здесь?

— А отчего же вы думаете, что в другом месте мне было бы веселее? Напротив, я люблю деревню. Деревенская жизнь для меня не так чужда, как вы думаете, потому что я постоянно до девятнадцати лет жил в деревне. Здесь мне и весело и грустно... Но мне иногда кажется, что нет человека в мире счастливее меня, иногда я думаю, что я самый несчастный из людей...

Григорий Алексеич сам не знал, что говорил, он оторвал ветку от куста и бросил ее. Он хотел еще что-то сказать — и остановился.

Сердце Наташи замерло. Она предчувствовала что-то необыкновенное.

— Послушайте, — сказал Григорий Алексеич, — мне давно хотелось говорить с вами; вы простите меня, если я говорю нескладно... У меня нет более сил скрывать от вас... Рано или поздно вы бы должны были узнать это...

Григорий Алексеич вдруг схватил руку Наташи.

У Наташи потемнело в глазах, рука ее задрожала...

— Выслушайте меня — пожалуйста... я должен сказать вам — я люблю вас...

Легкий, едва слышный звук вырвался из груди Наташи, и слезы потоком хлынули из ее глаз.

— Я еще никого не любил в жизни... я люблю в первый раз, — продолжал он с возрастающим жаром и смелостию, — еще за полчаса перед этим я упрекал себя в холодности и неспособности любить, мне казалось... но теперь мне ясно, я не понимал самого себя, теперь я чувствую, как горячо и сильно я люблю... без вас для меня нет ничего в жизни.

Наташа сидела недвижно. Слезы крупными каплями продолжали падать на ее грудь.

Она не верила тому, что слышала; до сей минуты ей казалось почти невозможным, чтобы он мог полюбить ее, — он, по ее мнению, достойный любви первой, лучшей женщины в мире!

— Скажите же мне что-нибудь... взгляните на меня!..

Наташа подняла голову, улыбнулась сквозь слезы и пожала его руку...

— Только одно слово! — повторял Григорий Алексеич.

Наташа хотела сказать это слово, но разгоревшееся лицо ее вдруг побледнело.

В эту минуту ей послышался шорох в густых кустах сзади скамейки...

ГЛАВА VIII

Часа через два после этого Олимпиада Игнатьевна, Наташа, Петруша, Григорий Алексеич и Сергей Александрыч сидели все вместе в гостиной в ожидании ужина. Наташа была несколько рассеяннее обыкновенного и как-то все невпопад отвечала на вопросы Сергея Александрыча. Григорий Алексеич, напротив, был в самом приятном и веселом расположении духа и даже очень

одобрительно улыбался, слушая Петрушу, декламировавшего ему свои новые стихи.

Олимпиада Игнатьевна раскладывала гранпасьянс, вздыхала, охала и изредка поглядывала на дочь с заботливым беспокойством... Месяц прямо смотрел в широкое окно, обливая комнату своим бледным светом и бросая длинные и серебряные полосы на пол. От времени до времени слышался в комнате доносившийся издалека однообразный и мерный стук ночного сторожа.

Олимпиада Игнатьевна оставила карты и обратилась к дочери.

— Что с тобой, Наташа, что ты, нездорова, что ли?

И она приложила руку к ее голове.

— У тебя в лице нет кровинки, а голова такая горячая!.. За тобой надо смотреть, как за ребенком. По вечерам теперь сырость такая, а ты ходишь в саду в одном тоненьком платьице. Того и гляди, схватишь лихорадку.

— Я ничего, — отвечала Наташа, — у меня так только, немного болит голова. Это пройдет.

— То-то пройдет, — ворчала Олимпиада Игнатьевна.— Поди-ка ты спать, напейся на ночь малины да закутайся хорошенько; это будет лучше.

Наташа в ту же минуту встала и подошла к маменькиной ручке. Олимпиада Игнатьевна перекрестила ее и поцеловала в лоб.

Сергей Александрыч посмотрел на Наташу с улыбкою и пожал ей руку. Григорий Алексеич молча поклонился ей; и когда она вышла, Петруша отправился вслед за нею.

— Я провожу тебя до твоей комнаты, — сказал он ей.

— Спасибо. Зачем же? Я могу дойти и одна, — отвечала Наташа.

— Мне хочется поговорить с тобою, сестра, — произнес Петруша таинственно.

— О чем? — спросила Наташа, вздрагивая, — пожалуй, когда-нибудь после, только не теперь. Я в самом деле не очень здорова.

Петруша нахмурился.

— Послушай, Наташа... — голос Петруши делался все таинственнее, — никогда еще я не чувствовал в себе такой сильной потребности говорить с тобой. Теперь я, может быть, выскажу тебе то, что другой раз мне не удастся высказать. Ты знаешь, что у меня минуты откровения не часты.

Наташа ничего не отвечала.

Войдя в свою комнату, она обратилась к Петруше, который все следовал за нею:

— Тебя, верно, братец, ждут ужинать.

— Я не хочу ужинать, — отвечал Петруша, располагаясь на диване.

— А маменька-то? Она будет беспокоиться... ты ведь знаешь ее... ей бог знает что придет в голову... Она подумает, что и ты нездоров.

— Оставь ее; пусть думает себе, что хочет...

— Поди скажи, чтобы меня не ждали ужинать, — сказал он, обращаясь к горничной, которая ставила на стол свечу.

Когда горничная ушла, Петруша подошел к Наташе, с чувством посмотрел на нее и крепко пожал ее руку.

— Я понимаю тебя, Наташа, — произнес он значительно, — от меня ты не должна ничего скрывать... Верь мне, я могу быть твоим другом; ты можешь смело высказать мне все, что лежит у тебя на сердце... тебе известен мой образ мыслей.

— Что такое? что ты хочешь сказать? — спросила Наташа.

— Неужели ты думаешь, — продолжал Петруша, — что от меня могла ускользнуть перемена, которая произошла в тебе с некоторого времени? Неужели ты воображаешь, что я не понимаю сердца женщины? От меня ты не утаишь ничего. Не бойся. Я, может быть, объясню тебе многое, что еще ты сама не ясно сознаешь в себе... Послушай, Наташа, я еще до сих пор в жизни не встречал женщины, родственной мне по духу, и, мо́жет быть, никогда не встречу. Что ожидает меня в будущем? Капля радостей и море страданий! У меня натура артистическая, субъективная, а такого рода натуры не могут быть счастливы в настоящем обществе! Они находят удовлетворение только в самих себе... Знаешь ли ты, что возможность любви, горячей, беспредельной, лежит у меня здесь в зародыше?

Петруша ударил себя в грудь.

— Много чувств и мыслей безвыходно замкнуты в этой груди. Меня считают сухим и холодным. Наружность моя, точно, такова, но наружность обманчива, сестра... Внутренний огонь пожирает меня! Родись я не здесь, среди этого пошлого, бессмысленного, апатического об-

щества, я мог бы сделать многое, я не бесполезно прошел бы жизненное поприще; но здесь, сестра, здесь нет пищи для моей деятельности! Кому здесь понять меня? В глазах старого, отжившего поколения я не более как сумасбродный мальчишка, нахватавший самых вредных идей; но меня не понимают многие и из молодого поколения, и те, которые считают себя развитыми, которые трактуют о современных вопросах. А это нестерпимо. Например, Сергей Александрыч, — он обращается со мной совершенно как с ребенком и глядит на меня с высоты величия. Он воображает, что стоит наряду с веком, потому что был в Париже и в Лондоне, а между тем это человек отсталый; у него душа дряблая, старческая, неспособная сочувствовать, и какой пошлый взгляд на жизнь! Искусство, поэзия для него не существуют, тонкие поэтические черты для него решительно неуловимы...

Петруша вскочил со стула и начал прохаживаться по комнате.

Наташа, заметно встревоженная началом разговора Петруши, почти не слыхала последних слов его. Мысли ее заняты были совершенно другим.

Петруша остановился перед нею.

— Знаешь ли, — продолжал он, — если кто-нибудь немного может понимать меня, так это разве Григорий Алексеич... по крайней мере мне так кажется.

Наташа не приобрела еще искусства владеть собою. Лицо ее вдруг изменилось при этом имени, и она с любопытством взглянула на брата.

— У Григорья Алексеича сердце теплое: поэтическая сторона жизни доступна ему, но, кажется, и в нем начинает остывать юношеский пыл, энергия убеждения, и он начинает расходиться с новым поколением. А это жаль, очень жаль! Он тоже воображает, что знание жизни приобретается только одним опытом... старческая, пошлая мысль!.. но я все-таки уважаю этого человека и всегда охотно протягиваю ему руку. В нем есть хорошие стороны. Это один из немногих людей, которые в случае нужды могут быть полезны... Ах, жизнь, жизнь!.. не многим дается ее светлое понимание... Да!.. а люди не легко и не вдруг познаются!.. А я, однако, с первого раза умел оценить Григория Алексеича... Ему я даже обязан тем, что узнал тебя.

— Как это? — спросила Наташа.

— Без него я не подозревал бы того, что ты способна к развитию, к воспринятию высших идей. С тех пор как он здесь, ты сделала огромный шаг. Ты многим обязана Григорью Алексеичу.

Петруша взял снова руку сестры и еще крепче прежнего пожал ее.

— Ты любишь его, Наташа! признайся мне. Я вижу все — и должен сказать тебе... эта любовь радует меня, потому... потому что она совершенно разумна.

Наташа молчала. Она не могла произнести ни одного слова, если бы и хотела отвечать на вопрос Петруши. Грудь ее тяжело и неровно дышала, а сердце болезненно билось.

— Признайся мне как другу, как *духовному* брату, — говорил неотвязчивый Петруша с экстазом, — о, я свято сохраню твою тайну, я не оскорблю деликатность твоего чувства; я не захочу нагло ворваться в святилище твоего сердца для того, чтобы напрасно возмущать его... Ты любишь Григорья Алексеича? скажи мне.

— Да, да, — прошептала Наташа, задыхаясь и закрывая лицо руками...

Долго оставалась она в таком положении. Петруша смотрел на нее, скрестив руки на груди и усиливаясь как можно более придать значения и важности своей физиономии, и когда Наташа открыла лицо и решилась взглянуть на брата, он обнял ее и потом как-то вдохновенно начал поводить глазами.

— С этой минуты я твой, сестра, — произнес он дрожащим голосом, — в эту минуту мы породнились с тобой духовно. Располагай мной... Если матушка, почему бы то ни было, вздумает препятствовать вашему соединению или станет притеснять тебя, она в одно время лишится и сына и дочери!.. Это будет для нее нравственною казнию; никто, может быть, не подозревает здесь, на что я способен в крайних случаях!.. Нам надо действовать смело, прямо... О, как весело вступать в открытую борьбу с предрассудками и невежеством! Сердце замирает от восторга при этой мысли.

Петруша продолжал говорить о Григорье Алексеиче, о маменьке, о будущей участи человечества, об освобождении женщины, о мировой любви, о самом себе и о своих стихотворениях.

Когда он все высказал, простился с сестрою и уже отворил дверь, чтобы выйти из ее комнаты, Наташа бросилась к нему и остановила его на минуту.

— Послушай, братец, — произнесла она, крепко и судорожно сжимая его руку, — то, что я сказала тебе, останется между нами... бога ради! Я прошу тебя...

— И ты еще можешь сомневаться во мне, — перебил Петруша оскорбленным тоном, — после всего, что я говорил тебе? Я открыл тебе всю мою душу, все мои верования и убеждения. Стало быть, ты не поняла меня?

— О нет, нет! — вскрикнула Наташа со слезами на глазах, — прости меня... я уверена в тебе...

Дня через три после этого Петруша написал стихи к Наташе, в которых он подтверждал между прочим, что «в его груди, как в могиле, навеки замрет ее святая тайна». Но он не выдержал и прочел эти стихи Сергею Александрычу. Сергей Александрыч похвалил их; Петруша смягчился и, разнеженный этою похвалою, внутренно примирился с ним на эту минуту и, сам не чувствуя как, передал ему от слова до слова весь разговор свой с Наташей.

Между тем слухи о любви Наташи к Григорью Алексеичу с различными прибавлениями и преувеличениями распространялись быстро в родственном кругу и, переходя из уезда в уезд, сделались самою интересною новостию в губернии и для посторонних.

Толки эти были очень забавны и разнообразны. И кому бы пришло в голову, что первая, пустившая эти толки, одушевившие всю губернию, была Стешка, горничная Агафьи Васильевны? Агафья Васильевна, нередко посещавшая Сергиевское, с каждым приездом своим убеждалась, что на сбыт Любаши плоха надежда, что Григорий Алексеич, «не соблюдая никакого приличия и благопристойности, так и подлипает к Наташе», и заключила из этого, что он должен быть самый беспутный человек. Агафья Васильевна затаила злобу свою до времени и начала наблюдать за ними исподтишка посредством своих агентов. Стешка через Петровича передавала ей все, что делалось в Сергиевском.

Петрович, в угоду Стешке и отчасти по собственной наклонности, исполнял ревностным и добросовестным образом должность шпиона. Рука, раздвигавшая ветви кустарника в саду в минуту объяснения Григорья Алексеича

с Наташею, принадлежала Петровичу, и на другой же день все виденное и слышанное им он передал Стешке, которая, в свою очередь, сейчас же, как следует, донесла об этом своей барыне.

— А! так вот как! — вскрикнула в бешеном торжестве Агафья Васильевна, — вот оно что! Сама на шею бросается к нему!.. сама обнимает его! Она бесчестит собою всю нашу фамилию, всю нашу губернию! Да уж полно, дворянская ли кровь течет в ней?.. Уж не согрешила ли Олимпиада-то Игнатьевна?

Агафья Васильевна дала полную волю языку и начала везде трезвонить о Наташе и о Григорье Алексеиче.

Но грозные тучи клевет и сплетней, скоплявшиеся на губернском горизонте, еще не разразились над Сергиевским. Там было еще все ясно и безмятежно. Олимпиада Игнатьевна хорошо понимала, что делалось кругом ее, и часто с большим любопытством расспрашивала своего племянника о Григорье Алексеиче. Ей было неприятно только одно — почему Григорий Алексеич не служит.

— Как же он не заботится о своей карьере? — спрашивала она, — разве он имеет такое обеспеченное состояние?.. Вот вы, батюшка, — прибавляла она, — это другое дело. Вас бог благословил... У вас полторы тысячи душ крестьян. Слава богу, вам не о чем заботиться. Ну, а молодому человеку, не богатому, грешно не думать о службе и праздно проводить время.

Сергей Александрович старался объяснить тетушке, что Григорий Алексеич проводит время не совсем праздно, что он много читает, занимается литературой, пишет статьи для журналов; но тетушка сомнительно и недовольно покачивала головой и говорила:

— Воля ваша, что же это за занятия такие? Ведь это он делает для своего удовольствия... Ведь это все же не то, что коронная служба... Ведь за эти занятия он не получит ни чина, ни награды, ни какого профита.

Глядя на дочь свою и на Григория Алексеича, когда они сидели вместе, старушка иногда думала:

«Господи! буди воля твоя!»

Случалось также, что, глядя на них, она думала: «Как бы это узнать достоверно, есть ли у него состояние, обеспечен ли он?» — потому что Сергей Александрыч не дал ей положительного ответа на этот вопрос. С Наташей при Григорье Алексеиче она обращалась гораздо нежнее и

ласковее обыкновенного и часто говорила ему в ее присутствии:

— Как я благодарна вам, батюшка, за то, что вы занимаетесь с ней, читаете ей, толкуете, учите ее.

Но наедине с дочерью Олимпиада Игнатьевна давала ей другого рода наставления.

— Ты, пожалуйста, Наташа, — говорила она, — не очень слушай то, что тебе рассказывает и нашептывает Григорий Алексеич, не верь всему, что там написано, в этих книгах, которые он тебе читает.

ГЛАВА IX

А вот что Григорий Алексеич нашептывал Наташе:

— Если бы вы знали, как я теперь счастлив! А была минута, когда я хотел бежать отсюда, бежать от вас...

— Зачем же бежать? — перебила Наташа с недоумением.

— Я сомневался во всех и во всем — я сомневался в самом себе, я сомневался в вас. Я думал, что вы не любите меня.

— Неужели вы думали это? — спросила Наташа, — я могла думать, я... но это совсем другое. И до сих пор... Скажите мне, бога ради, за что вы меня любите?.. Я и до сих пор не понимаю этого!

— Вы не знаете самое себя, — говорил Григорий Алексеич, с восторгом смотря на нее, — за что? вы дали смысл и содержание моей жизни. Ваш взгляд, ваше слово, одно присутствие ваше разливает святое чувство в груди моей. Вы еще не знаете, насколько вы выше этих людей, среди которых родились и живете. Посмотрите хорошенько вокруг себя, на самых близких родных своих, на их образ жизни, на их дикие, нелепые предрассудки. Есть ли у вас что-нибудь общее с ними? Вы, верно, оставите их без сожаления?

— Если мне придется когда-нибудь оставить их, — отвечала она, — я, конечно, не буду жалеть никого, кроме маменьки...

— Я понимаю, что вы привязаны к ней по привычке; но послушайте, я должен прямо сказать вам все, я дол-

жен быть откровенен с вами: вы не можете любить ее искренно, и если думаете, что ее любите, — вы обманываете самое себя.

— Что это вы говорите? — с ужасом сказала Наташа. — Она — моя мать! Я знаю, что у нее доброе сердце и она очень любит меня. Как же мне не любить ее?

— Да, она любит вас до той минуты, покуда вы молчаливо и безусловно будете во всем покоряться ее требованиям, но если вы хоть раз вздумаете обнаружить перед ней собственную волю, которая будет противоречить ее воле, тогда эта любящая мать с добрым сердцем явится перед вами в настоящем свете... Она без жалости подавит вас своею материнскою властию, она не позволит вам дохнуть свободно, прикинется еще вдобавок притесненною, будет стонать, охать и всем жаловаться на вас. И никто не примет вашу сторону, все будут за нее... Между ею и вами не может существовать никакой откровенности, никакой симпатии. Вы должны, напротив, скрываться от нее, казаться перед ней не тем, чем вы есть, приносить ей ежеминутные жертвы и для собственного спокойствия поступать по ее желанию против своих убеждений, против своей совести...

— О нет, — прервала Наташа, — ни за что на свете; теперь я чувствую, что никто не в состоянии заставить меня сделать что-нибудь против моих убеждений.

— Но знаете ли вы, — продолжал он, — может быть, минута испытания уже близка для вас. Я беден, я почти ничего не имею; ваша матушка не подозревает этого, она, верно, думает, что у меня есть какое-нибудь состояние, и только потому так благосклонно обращается со мною, — но я должен буду открыть ей все, вывести ее из заблуждения, и тогда...

— Вы слишком дурно думаете об ней. Вы не знаете ее. Она не захочет препятствовать моему счастию. Я скажу ей, что я люблю вас, что я никого никогда не буду любить, кроме вас.

— Вы слишком чисты душою, слишком неопытны; но если мои подозрения оправдаются — тогда что?

— Тогда... — Наташа задумалась. Григорий Алексеич впился в нее своими глазами... «А! она колеблется», — мрачно подумал он.

— Тогда, — сказала Наташа голосом спокойным и твердым, — тогда у меня не останется никого, кроме вас.

Григорий Алексеич при этих словах стал перед Наташею на колени и начал жарко целовать ее руки в безумном упоении.

— Бога ради, что вы делаете? — произнесла Наташа, которая, несмотря на волнение, сохранила присутствие духа, — вы забыли, где мы; вас могут увидеть...

Григорий Алексеич поднялся медленно, отвел рукою длинные свои волосы, которые упадали ему на лицо, взглянул на Наташу млеющими глазами и прошептал:

— Да, я совсем забыл... простите меня, я не помню, что делаю; я так счастлив!

Он снова сел возле нее и несколько минут жадно вдыхал в себя вечерний воздух.

— Мы не останемся здесь, — продолжал он, успокоиваясь, разнеживаясь и как будто мечтая вслух, — мы уедем отсюда, мы поселимся в Петербурге, устроим маленькое хозяйство, будем допускать к себе только немногих избранных друзей. Я буду трудиться, и как легок и приятен мне будет всякий труд! Мысль, что я тружусь не для себя только, а для существа родного, близкого мне, — эта мысль будет одушевлять и вдохновлять меня... До сей минуты деятельность моя была в усыплении, потому что я не имел цели в жизни, потому что кругом меня было все бесприветно и пусто. До сих пор я бродил во мраке и ощупью, я воображал себя мудрецом, а между тем был глуп, как ребенок. Только теперь я начинаю понимать и видеть все ясно; только теперь я чувствую в себе настоящую силу и желание деятельности. Человек, никогда не любивший, хотя бы прожил сто лет, не имеет права сказать, что он жил!

Григорий Алексеич говорил долго, Наташа слушала его с восторгом, и в воображении ее уже развертывалась картина прекрасного будущего. Для Наташи каждое его слово дышало святой, непреложной истиной. Она смотрела на него с полною верой.

Но Григорий Алексеич не мог долго оставаться в таком безмятежном и блаженном состоянии духа. Одно обстоятельство, совершенно, впрочем, ничтожное, вдруг нарушило внутреннюю его гармонию.

Он лежал после обеда на диване в своей комнате и мечтал. Мечты его мало-помалу начинали спутываться и принимать неопределенные и туманные образы, глаза закрывались, и он готов уже был совсем заснуть, как

вдруг кто-то сильно и выразительно крякнул над самою его головою.

Григорий Алексеич открыл глаза и с досадою обернулся назад.

На пороге двери стоял Петрович с свойственным ему глубокомысленным видом.

— Что тебе надо? — спросил Григорий Алексеич.

— Да, признаться, надо-то мне Сергея Александрыча, — отвечал Петрович, заглядывая в комнату.

— Его нет здесь.

— То-то нет, я и вижу, что нет. Да где же бы они это могли быть?

— Не знаю.

— Гм! Надо пойти отыскивать их. Барыня их спрашивает зачем-то...

— Поди отыскивай... Мне что за дело.

Но Петрович не двигался с места.

— Ну, что ж тебе?

— Эх, батюшка Григорий Алексеич, — проговорил Петрович, вздыхая, — то ись, как я вас люблю... верите ли богу... я много произошел в своей жизни и много господ видал на своем веку... Вот и Василий Васильич Бочкаревский, знаете его? уж на что барин, — да нет, куда до вас, далеко! Все не то. Этакая счастливица наша барышня, в сорочке, видно, родилась, ей-богу!

— Это что значит? — сказал Григорий Алексеич, вскакивая с дивана.

Петрович немного смутился.

— Вы простите меня, Григорий Алексеич, то ись, может статься, я и глупое слово сказал, оно, может, вам и неприятно, что я примешал ваши сердечные чувствия, но ведь шила в мешке не утаишь, батюшка, ей-богу. Мы, то ись все, не иначе понимаем вас, как женихом Натальи Николавны, и радуемся этому! Ежеминутно, так сказать, бога благодарим...

Григорий Алексеич кусал губы от нетерпения и досады.

— И сама барышня, — продолжал Петрович, — ономнясь приходит в девичью... и я тут случился, знаете... и говорит: ну, девушки, говорит, будет вам работа... приданое, говорит, мне шить...

— Она сказала это? — вскрикнул Григорий Алексеич, бледнея и дрожа всем телом. — Ты лжешь!..

— Чего же вы, батюшка, гневаетесь-то? Убей меня бог. Вот тут и Палагея была, и Аннушка, и Матрена, всё живые люди. Спросите у них, коли мне не верите.

Петрович клялся и божился, но Григорий Алексеич не слыхал уже ничего и не видал.

У Григорья Алексеича помутилось в глазах; он в отчаянье бросился на диван, потом вскочил и начал бегать из угла в угол, бормоча сквозь зубы несвязные и отрывистые фразы:

— Прекрасно!.. приданое... девкам поверять свои тайны... это в духе деревенской барышни!.. Как это мило!

Наташа вдруг потеряла для него свое высокое значение и превратилась в пустую, ничтожную девочку.

«И я допустил себя так глупо увлечься ею! — думал он, — и я мог вообразить, что она оторвалась от грязной и гадкой действительности, в которой родилась и выросла! Это сумасбродство, нелепость! Сергей Александрыч прав; он ничем не увлекается; он смотрит на вещи просто, положительно, и потому у него взгляд бывает часто яснее и вернее моего. И может ли она любить, может ли она понимать любовь в ее святом, в ее высоком значении, когда она уж теперь начинает хлопотать о приданом и рассуждает об этом со своими девками? Ей просто хочется выйти замуж, женихов нет, а я, дурак, тут кстати подвернулся, — она и расплылась передо мною и начала сентиментальничать...»

Григорий Алексеич целый вечер дулся, не говорил с Наташей ни слова и едва отвечал на ее вопросы. Ночь провел он беспокойно, проснулся ранее обыкновенного и оделся наскоро, чтобы идти гулять. Он боялся встретить кого-нибудь, особенно Сергея Александрыча, потому что чувствовал потребность быть один, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь заметил его страдания. Григорий Алексеич вышел на крыльцо. Утро было теплое, небо было подернуто тонкими и бледными облаками. Роса крупными матовыми каплями лежала на листках бузинных кустов, разросшихся на дворе у самого дома; луг перед домом только что был скошен, и воздух напитан запахом травы... На крыльце, прислонясь к колонне, стояла Наташа; глаза ее были красны, и веки распухли.

Григорий Алексеич увидел ее и хотел вернуться назад, но уже было поздно. Наташа обернулась к нему. Григорий Алексеич сухо поклонился ей, остановился в раз-

думье и не знал, что делать. Встреча была с обеих сторон неожиданна. Ни Григорий Алексеич, ни Наташа несколько минут не знали, что сказать друг другу.

— Какое прекрасное утро, — произнесла наконец Наташа в замешательстве.

— Да, — отвечал Григорий Алексеич рассеянно и не глядя на нее.

— Отчего вы так рано встали сегодня? — спросила она.

Григорий Алексеич не отвечал ни слова.

Наташа повторила свой вопрос.

— И вы, кажется, встали сегодня раньше обыкновенного? — сказал он раздражительно. — Я, признаюсь, не ожидал вас встретить здесь.... Вы, верно, чем-нибудь озабочены, какими-нибудь хлопотами по хозяйству?.. Это делает вам честь. Заниматься хозяйством очень полезно, полезнее даже, чем читать.

— Что это значит? Что это за тон? — спросила она. — Объясните мне, что это значит? Вы так изменились со вчерашнего дня. Я не понимаю вас...

— Вы меня не понимаете?.. — возразил Григорий Алексеич с ядовитою улыбкою, — может быть!

Но в эту минуту он взглянул на Наташу. Ее расстроенный вид, ее распухшие от слез глаза, ее бледность — все это вдруг поразило его.

«Какое же, однако, я имею право оскорблять ее?.. — подумал он. — К тому же верить словам глупого лакея... Может быть, все это было не так. Он переврал». Григорий Алексеич вдруг бросился к Наташе с чувством.

— Простите меня, — сказал он, — не слушайте меня, я сам не знаю, что говорю! я болен. — И он в отчаянии судорожно ломал свои руки, как нервическая женщина.

— Что с вами? — спросила она, взяв его руку и глядя на него с участием.

Григорий Алексеич не только успокоился совершенно, но ему показалось, что в ее невольном движении выразилась вся сила, вся беспредельность ее любви к нему.

Весь этот и следующий день он был необыкновенно доволен и весел. Может быть, довольствие это продолжалось бы и долее, если бы не Петруша. Петруша давно искал удобного случая сблизиться с Григорьем Алексеичем и серьезно поговорить с ним о Наташе, о самом себе и о человечестве, которое сильно его тревожило. И когда

случай этот, по мнению Петруши, представился, — он передал весь разговор свой с сестрою.

— Так она *вам* призналась, что любит меня? *вам?* — возразил Григорий Алексеич, выслушав его и с некоторою злостью измеряя его с ног до головы.

— Да, — отвечал Петруша гордо и торжественно.

— В самом деле?

Григорий Алексеич улыбнулся презрительно.

— Впрочем, — продолжал Петруша, — впрочем, и без признания Наташи я знал и видел всё... ваша и ее тайна была давно угадана мною. Я понял вас с первой минуты вашего приезда сюда. На меня вы можете положиться.

Григорий Алексеич принужденно захохотал.

— Благодарю вас: поверьте, мне очень лестно быть поняту *вами,* — только я не советую вам слишком полагаться на вашу проницательность. Она легко может обмануть вас, *молодой человек!*

Петруша побледнел, закусил губу и отстал от него.

Григорий Алексеич проводил Петрушу глазами и ударил себя в лоб.

«Я глупец, совершенный глупец! — подумал он. — Неужели я целый век буду жить фантазиями? После всего, что мне наговорил этот мальчишка, после всего этого можно ли, наконец, сомневаться в том, что такое эта Наташа?.. нет, нет! Пора мне отрезвиться от этой любви, выкинуть этот вздор из головы — все это пошлые остатки глупого романтизма!»

С каждым днем Григорий Алексеич все более и более впадал в разлад с самим собою и беспрестанно изменял свое обращение с бедною Наташею. Иногда казалось ему, что Сергей Александрыч смеется над его любовию и смотрит на него с сожалением, иногда он был убежден в том, что ему расставили сети, что его ловят, что Сергей Александрыч вместе со всеми своими родственниками в заговоре против него и что его хотят заставить жениться на Наташе.

Наташа решительно не понимала, что делается с Григорьем Алексеичем. Все в нем последнее время было для нее необъяснимой загадкой. Беспокойство ее возрастало с каждым днем. Но обстоятельство, никем не предвиденное, вдруг вывело ее из ее неопределенного положения...

ГЛАВА X

К числу почетнейших помещиков той губернии, в которой находится село Сергиевское, принадлежит Захар Михайлыч Рулёв. Он имеет генеральский чин и 600 незаложенных душ. Окончив с честию свое служебное поприще, украсив грудь свою орденами и получив генеральский чин при отставке, Захар Михайлович поселился в своей деревне. Ему было тогда 59 лет. Он среднего росту, волосы у него седые, глаза светло-карие, лицо круглое, нос широкий, губы толстые, особых примет никаких. Захар Михайлыч человек прямой, положительный, деятельный и никогда не заискивавший ничьего покровительства. Для Захара Михайлыча все в жизни ясно и просто, как дважды два четыре.

Сельцо Красное, резиденция Захара Михайлыча, отличается необыкновенным порядком и устройством. При въезде в деревню, у околицы, вместо обыкновенного, полусгнившего и почерневшего сруба, крытого соломой, провалившейся внутрь, — каменная караульня, крытая железом. По обеим сторонам вдоль прямой и широкой улицы вытянутые в струнку крестьянские избы. В середине господская усадьба: одноэтажный каменный выбеленный дом, несколько похожий на казарму, и с обеих сторон в виде полукруга флигеля, также выбеленные, а на площадке перед домом небольшая каменная часовенка, около которой симметрически посажено несколько липок, подпертых палками. На каждом флигеле надписи: *больница, контора, ткацкие* и проч. Площадка всегда начисто подметена и усыпана желтым песком. Сельцо Красное более походит на военное поселение, чем на деревню.

Все крестьяне Захара Михайлыча ходят также по струнке. Он сам постоянно наблюдает за всеми работами и ежедневно прохаживается по своим владениям с толстою сучковатою палкою в руке, которая, как и сам он, не остается в бездействии.

Захар Михайлыч строг, но это не мешает красносельцам любить его и называть добрым барином.

И у Захара Михайлыча, точно, доброе сердце. Когда дело спорится и крестьяне его работают охотно, дружно, он с любовию смотрит на них, опираясь на свою палку, и маленькие глазки его прыгают от удовольствия.

— Ай да ребята! — покрикивает он, — молодцы... — Захар Михайлыч часто употребляет поговорку, без которой коренной русский человек обойтись никак не может. Поговорка эта имеет необыкновенное свойство одушевлять и поощрять крестьян к труду. Работа, ободряемая барским словом, закипает еще дружнее и веселее, и сам Захар Михайлыч иногда, расходившись, сбрасывает с себя сюртук и начинает подмогать своим подданным, да так, что пот дождем каплет с его барского чела... Дворня в сельце Красном многочисленна, как и во всех наших деревнях, но зато у Захара Михайлыча и из дворовых никто не сидит без дела. Тунеядцам нет места в сельце его. Он не гнушается надсматривать и за детьми и за бабами, чтобы и они не проводили время в праздности. Он никогда не выходит из дома без цели и решительно не понимает, что такое прогулка для удовольствия. Красоты природы не существуют для него; он даже питает просто что-то враждебное к живописным местоположениям.

До чтенья Захар Михайлыч не охотник, он читает мало, и то разве, когда бывает болен (что случается с ним очень редко), и ему все равно, что ни читать.

В обращении своем он прост, охотно протягивает руку всем, и равным себе и низшим, и со всеми говорит одинаковым голосом и тоном, несмотря на свое генеральство. Это, впрочем, не нравится никому — и про него говорят, что он не имеет никакого обращения и достоинства и не умеет вести себя соответственно своему званию.

Мужчины в губернии вообще его не слишком жалуют, потому что он любит резать правду в глаза, не соблюдая никаких приличий, и более всех кричит и горячится на выборах; но зато дамы (и преимущественно маменьки) чрезвычайно расположены к нему...

Захар Михайлыч, как близкий сосед, часто посещал село Сергиевское. Он был очень доволен приездом Сергея Александрыча, потому что в свободное от хозяйственных занятий время любил поболтать с хорошим человеком о суете мирской. Захар Михайлыч вообще сходился с людьми скоро, потому что не углублялся в разбор их внутренних качеств. Люди в понятии его разделялись на добрых и злых, на честных и бесчестных: других разделений он не признавал и не слишком уважал ум и образованность.

Фамильярное обращение Захара Михайлыча сначала не нравилось Сергею Александрычу, но потом он примирился с этим.

Григорий же Алексеич просто не терпел Захара Михайлыча.

— Несноснее этого человека я ничего вообразить не могу, — говорил он Сергею Александрычу, — я решительно не пустил бы его на порог дома: болтает без умолку, надоедает глупыми вопросами, пошлая, самодовольная рожа...

День за днем уходил быстро, наступила осень. Поправка дома Олимпиады Игнатьевны пришла к окончанию. Начались приготовления к переезду. Наташе тяжело было оставлять Сергиевское. Накануне переезда она в последний раз обошла весь сад, прощаясь с ним. Дорожки были устланы желтыми листьями; георгины, которыми она любовалась за три дня перед этим, поблекли и почернели от мороза. Наташе было грустно, и она долго сидела и плакала на той поляне, где Григорий Алексеич в первый раз признался ей в любви.

Сергей Александрыч, располагавший возвратиться осенью в Петербург, должен был остаться в своей деревне на неопределенное время. Он от нечего делать занимался охотой и метал банк двум соседям-помещикам, которые почти поселились у него. Григорий Алексеич ездил в село Брюхатово сначала довольно часто, но с каждым разом возвращался оттуда все более и более в мрачном расположении духа. Он уже не мог говорить с Наташей наедине так свободно, как в Сергиевском.

Олимпиада Игнатьевна обращалась с ним уже несравненно холоднее и начинала находить в нем большие недостатки. Все это произошло, между прочим, оттого, что Петруша, оскорбленный Григорьем Алексеичем, отзывался о нем с невыгодной стороны. Петруша даже наушничал маменьке на сестру. Он знал, что играет роль не совсем благородную, но находил для себя тысячу оправданий.

«Я должен спасти Наташу, — утешал он самого себя, — и я спасу ее во что бы то ни стало! употреблю для этого все средства. К доброй цели можно смело идти путями окольными и не совсем чистыми... Я уже, слава богу, вышел из периода *прекраснодушия*... Наташа увлечена безумною страстью. Она стоит на краю бездны... но я сзади ее, я сторожу ее движения, я не допущу ее до поги-

бели... Нет! такие фразеры, как этот Григорий Алексеич, теперь не проведут меня!»

Охлаждению Олимпиады Игнатьевны к Григорью Алексеичу невольно способствовал также и Захар Михайлыч, который после переезда их из Сергиевского стал довольно часто посещать их. В голове Олимпиады Игнатьевны блеснула новая, смелая мысль, что, может быть, Захар Михайлыч ездит *недаром*, хотя он, правду сказать, не подавал ей ни малейшего повода к этой мысли. Захар Михайлыч, по-видимому, не обращал никакого внимания на Наташу и почти ни слова не говорил с ней. Он все рассуждал с самой Олимпиадой Игнатьевной, и по большей части о делах хозяйственных, а иногда раскладывал вместе с нею гранпасьянс; но предчувствия любящего материнского сердца редко бывают обманчивы. Однажды Захар Михайлыч сказал Олимпиаде Игнатьевне:

— Знаете ли вы, о чем я хочу поговорить с вами? — Угадайте-ка... Бьюсь об заклад, что не угадаете.

— О чем же, батюшка? — спросила Олимпиада Игнатьевна.

— Я — ведь вы меня знаете — человек военный, — продолжал он, — и не люблю никаких предисловий, а режу всегда напрямик... Отдайте-ка за меня вашу дочку, Олимпиада Игнатьевна, право. Она мне очень нравится: девушка милая, скромная...— Захар Михайлыч остановился.

Олимпиада Игнатьевна смотрела на Захара Михайлыча, как будто не веря ушам своим.

— Ну, что же вы на это мне скажете?

— Боже мой! — воскликнула Олимпиада Игнатьевна, зарыдав, — дайте мне немножко прийти в себя... Ах, батюшка мой, Захар Михайлыч... Ах, боже мой, боже мой!.. Я... я никогда и думать не смела о такой чести. Мне этого и во сне-то пригрезиться не могло. Да стоит ли того моя Наташа?

— Эх, к чему это говорить, Олимпиада Игнатьевна, — возразил Захар Михайлыч, который не любил пустословья и слезных сцен. — Я вам скажу откровенно, у меня давно в голове мысль: что же, в самом деле, для кого я тружусь, для кого все устроиваю, для кого наживаю деньги? Кто помянет меня за все это? Близких родных у меня нет, а дальняя родня... бог с ней! Я знаю, что они, как вòроны крови, ждут моей смерти; да к тому же что я за дурак,

чтоб оставить им свое состояние? К тому же мне, признаться, последнее время что-то скучновато стало жить одному. Я человек простой, без затей, а Наташа ваша, кажется мне, предобрая. Поверьте, что она не будет со мною несчастлива... Ну, хотите ли иметь меня своим зятем? отвечайте просто.

— Поверьте, батюшка, — произнесла Олимпиада Игнатьевна голосом, дрожавшим от волнения, и воздев руки горѐ, — поверьте, что предложение ваше я почитаю не иначе, как неизреченным божеским милосердием к нам. Я не знаю... я...

— Так, стало быть, вы согласны? — перебил Захар Михайлыч, — это-то я и хотел знать... Ну, так, стало быть, по рукам, любезнейшая Олимпиада Игнатьевна, — так, что ли?

Он протянул ей свою большую и жилистую руку, которую она пожала крепко и с чувством и потом бросилась к нему на шею обнимать и целовать его.

Захар Михайлыч посидел еще после этого немного и потом взял свой картуз.

— У меня есть кое-какие делишки, — сказал он, прощаясь с Олимпиадой Игнатьевной, — прощайте, любезная теща. Мне нужно поспеть домой засветло.

Он уже сделал шаг к порогу и вдруг произнес: «Ба, ба, ба!» — и вернулся, как человек, забывший перчатки или шляпу, или что-нибудь подобное.

— Позвольте-ка, а согласится ли еще ваша Наташа-то быть моею женою? Это я и упустил совсем из виду. Ведь надо узнать ее согласие, иначе нельзя.

— Можете ли вы сомневаться в этом? — вскрикнула Олимпиада Игнатьевна.

Захар Михайлыч несколько призадумался.

— Ну, да ведь бог их знает! молодые девушки не больно жалуют нашу братью, стариков.

— Что это вы говорите такое? Уж будто вы себя стариком почитаете? Как вам не грех!.. Наташа моя девушка благоразумная, и притом покорная дочь.

— То-то, то-то!.. Вы уж, пожалуйста, переговорите с ней обо всем, объясните ей все; я не берусь за это, я не мастер говорить, особенно с девушками.

Когда Захар Михайлыч уехал, Олимпиада Игнатьевна отправилась к себе в спальню. Там у постели ее стоял кивот с наследственными образами в старинных

окладах, перед которыми теплилась неугасаемая лампада. Она стала на колени перед этими образами и молилась с чувством, горячо и долго.

Помолившись, она кликнула к себе Наташу.

— Друг мой Наташенька, — произнесла она в волнении, — друг мой милый... — и залилась слезами, прижав ее к груди.

Давно, а может быть и никогда, Олимпиада Игнатьевна не прижимала дочь к своей груди так крепко.

— Господь услышал мои грешные молитвы, — продолжала Олимпиада Игнатьевна, — и награждает тебя через меру за твое послушание, за твою покорность матери. Папенька-то твой, голубчик, не дождался этой минуты. Ну, пусть он хоть оттуда порадуется нашему счастью!

Олимпиада Игнатьевна остановилась и утерла слезы.

Наташа с беспокойством смотрела на нее.

Но Олимпиада Игнатьевна взяла ее за руку и сказала нежным голосом, указав на диван:

— Сядь сюда, ангел мой... — потом осмотрелась кругом, приперла дверь и, наконец, села возле Наташи. — Я должна поговорить с тобой серьезно. Ты у меня доброе, благоразумное дитя... — и она погладила Наташу по головке. — Ты всегда была моим утешением. Я уверена, что ты примешь так, как следует, то, что я скажу тебе... Захар Михайлыч приезжал к нам сегодня затем, чтобы просить у меня руки твоей. Ты понимаешь, Наташа, как нам должно быть лестно такое предложение. Захар Михайлыч с именем, генерал, богат, пользуется всеобщим уважением, и притом всем известно, что у него доброе сердце. Лучшего мужа тебе нельзя найти. С ним ты будешь счастлива; он не то, что эта молодежь. Он человек солидный, прекрасных правил, отличной нравственности. Что касается до меня, я уже дала ему полное согласие и готова хоть сию минуту благословить вас; но он желал, чтобы я переговорила с тобою, друг мой.

Олимпиада Игнатьевна, окончив это, посмотрела на Наташу, ожидая ее ответа.

Наташа молчала. Она как будто окаменела от слов маменьки.

— Что же ты скажешь на это? — спросила ее Олимпиада Игнатьевна.

— Да я не знаю его, я никогда не говорила с ним двух слов... — сказала Наташа.

— Так что ж? Наговоришься после, мой друг...

— О нет, маменька! — вскрикнула Наташа. — Я не могу любить этого человека, я не знаю его. Маменька! я должна теперь высказать вам все... Вы не захотите моего несчастья. Вы поймете меня...

Наташа, рыдая, бросилась на грудь к Олимпиаде Игнатьевне и произнесла:

— Я люблю Григорья Алексеича, я никогда не пойду ни за кого на свете, кроме его.

— Так ты решишься выйти замуж без моего благословения и согласия?

— Он также любит меня, — продолжала Наташа, — он хотел говорить с вами... Вы благословите нас?

— С этой минуты нога его не будет на пороге моего дома, — произнесла Олимпиада Игнатьевна решительно, — потому что с этой минуты ты невеста Захара Михайлыча. Понимаешь?..

— Нет, — сказала Наташа еще с большею решительностью и силою, — я никогда не буду его невестою...

Олимпиада Игнатьевна посмотрела на Наташу, как будто желая удостовериться, не помешалась ли она.

— Наташа! Наташа! что это значит! Ты хочешь убить меня? Наташа!

— Что же вам угодно от меня? — спросила Наташа, совершенно потерянная.

— Как! и ты еще спрашиваешь, что мне угодно?.. Я хочу, чтобы ты повиновалась мне! я больше ничего не хочу, больше ничего от тебя не требую...

— Маменька, простите меня. Я не могу, это не в моей власти. — Наташа бросилась к ногам матери.

— Прочь от меня, неблагодарная! Ты убила меня! — закричала Олимпиада Игнатьевна, шатаясь...

ГЛАВА XI

Олимпиада Игнатьевна была, точно, убита. Она не выходила целый день из своей спальни и ни с кем не говорила, а только стонала, охала и обращала от времени до времени, качая головой, слезящие очи свои на темные

лики божиих угодников, к которым всегда прибегала она и в минуту радости, и в минуту горя. Двадцать лет Олимпиада Игнатьевна постоянно употребляла все средства, все усилия, чтобы искоренить, уничтожить в дочери самостоятельность и волю, чтобы сделать из нее автомата, которого она могла бы приводить в движение только по собственному желанию; в продолжение двадцати лет внушала она ей безусловную покорность, смирение, безответность, благоговение перед старшими и все возможные христианские добродетели; в продолжение двадцати лет она носила в груди своей утешительную мысль, что вполне достигла своей цели и что ее Наташа самая нравственная, самая примерная, самая безответная, нежная и послушная из дочерей, — и вдруг так страшно разувериться во всем этом, и вдруг увидеть тщету своих двадцатилетних усилий!..

Во всю ночь несчастная мать не смыкала глаз и все утро ожидала Захара Михайлыча с мучительным нетерпением. Но когда он приехал, она, затаив в себе свои тяжкие страдания, встретила его с приятной и веселой улыбкой, как будто ни в чем не бывало. Она сказала Захару Михайлычу, что Наташа простудилась и занемогла и не может выходить из своей комнаты, что она ничего еще с ней не говорила, но что в согласии ее нисколько не сомневается, что дело можно считать решенным и что на днях, тотчас как только ей будет немного полегче, она благословит их. Олимпиада Игнатьевна не теряла еще надежды, что Наташа в продолжение нескольких дней или сама образумится и раскается, или изнеможет в бессильной борьбе и принуждена будет покориться. Но, увы! к удивлению Олимпиады Игнатьевны, ни угрозы, ни обмороки, ни проклятия — эти могущественные атрибуты материнской власти, — ничего не действовало. Наташа оставалась непреклонною. И надобно было иметь много любви, много твердости, много самоотвержения, чтобы устоять против всего этого!

Между тем Григорий Алексеич, очень хорошо и подробно знавший обо всем происходившем в селе Брюхатове, впал в бессильное отчаяние. Совершенно растерявшись, он прибегнул наконец к Сергею Александрычу за советами.

— Мой совет, — сказал ему Сергей Александрыч, — поскорей все это чем-нибудь кончить. Это ясно. Если ты

ее любишь и хочешь жениться на ней, что, по-моему, очень глупо, — то я готов тебе от души способствовать всеми силами. Мы увезем ее, это будет очень легко, потому что она не станет сопротивляться. Я, разумеется, рассорюсь на время по этому случаю с тетушкой, что меня нисколько не приведет в отчаяние. Мы тайно обвенчаем вас; после этого, как водится, на вас посыплются проклятия; тетушка запретит произносить перед нею ваше имя, а потом мало-помалу смягчится, помирится и благословит... Но если ты еще колеблешься, если ты сомневаешься в своей любви, — я, признаться-таки, давно подозреваю это, — в таком случае отправляйся-ка поскорее в Петербург... Я тоже ни за что не останусь здесь долго и приеду вслед за тобою. Наташа помучится, поплачет, а потом успокоится, покорится своей участи и по необходимости отдаст свою руку и сердце Захару Михайлычу, с которым она, право, будет счастливее, чем с тобою...

Но Григорий Алексеич не удовлетворился этими простыми советами.

«Счастливый человек! Как ты легко обо всем судишь! как ты скоро решаешь все!» — думал он, слушая Сергея Александрыча с иронией, — и продолжал терзаться в бездействии и нерешительности.

Так прошло еще несколько дней. И чего не перенесла в эти дни Наташа! Петруша, на защиту которого она надеялась сначала, этот Петруша, который так горячо обещал некогда воевать за нее со старым поколением, — и он действовал теперь против нее, еще более раздражая и поджигая маменьку. Наконец Олимпиада Игнатьевна, измученная собственными слезами, припадками и обмороками, истощив весь запас материнских средств для убеждения непокорной дочери, выбилась из сил и прибегнула к родственной помощи, как ни больно было это для ее самолюбия. Родственники, по просьбе ее, съехались к ней на совещание.

После долгих переговоров решено было общими силами усовещивать Наташу. Ее призвали. Родственники встретили ее со строгими и печальными лицами. Олимпиада Игнатьевна сидела между ними, прислонясь головою к подушке. Она тяжело дышала и охала и не обратила никакого внимания на вошедшую Наташу. Возле нее находились с одной стороны невестка ее, вдова мень-

шого брата ее, а с другой — двоюродная сестра ее. Они беспрестанно поправляли ей подушку, смотрели ей в глаза и спрашивали с плачевной гримасой:

— Ну что, как вы себя чувствуете, сестрица? Не хотите ли понюхать уксусу? Не приложить ли вам хрену за уши? — и прочее.

Олимпиада Игнатьевна на все это только качала отрицательно головой и с чувством жала им руки.

— Садитесь, милая, — сказала Наташе одна из тетушек суровым голосом и толкнула к ней стул.

Наташа села.

С минуту длилось молчание, но нельзя было сказать, чтобы в эту минуту пролетел тихий ангел.

Дядюшка Наташи с отцовской стороны, лет пятидесяти пяти, с физиономией благонамеренной и приятной и с брюшком, на котором колыхалась огромная сердоликовая печатка, — первый прервал это молчание... Дядюшка был человек с весом. Он занимался винными откупами и владел замечательным даром слова.

Дядюшка с важностью раза два откашлялся и потом обратился к племяннице:

— Все глубоко и истинно тронуты... — сказал он, — я говорю не только о родственниках, но и о посторонних, до которых дошли слухи об этом...

Дядюшка любил вставочные предложения.

— ...Все, я говорю, мы глубоко опечалены тем положением, в которое повергнута достойная и всеми по справедливости уважаемая матушка твоя, тем более что причиною этой горести... вернее сказать, отчаяния, — ты, дочь ее, от которой она, конечно, кроме утешения, ничего не могла ожидать более...

Дядюшка приостановился и еще раз откашлялся. Родственники слушали его, как оракула.

— Повиновение родителям, — продолжал он, — есть высочайшая, скажу более, священнейшая обязанность детей. Дети, повинующиеся родителям, угодны богу, и господь всегда награждает их за это. Этому есть неоднократные примеры в истории. К тому же в юных годах, не приобретя опыта, не имев случая ознакомиться, так сказать, с жизнию (что весьма натурально), мы не можем знать собственной пользы, не умеем отличить вредного от полезного и без руководства старших легко впадаем в заблуждения. Но мать нежная, любящая, добро-

детельная (а сестрица именно такова, я смело скажу ей в глаза и за глаза)...

При этом он указал рукою на Олимпиаду Игнатьевну.

— Такая мать, в неусыпной заботливости о счастии своих детей, стоит, можно сказать, на страже их нравственности. Надобно уметь ценить это, чувствовать, смотреть ей в глаза и не только не противиться ее желаниям, но предупреждать их. Ты всем обязана своей маменьке, без исключения всем; она даровала тебе жизнь, она ухаживала за тобою с колыбели, кормила, поила тебя, внушала тебе нравственные правила, заботилась о твоем здоровье — и чем же (это не я один, это скажут все), как не послушанием, ты должна отблагодарить ее за все это? Никакая мать не может желать дурного своей дочери; согласись в этом, следовательно, как же можно противиться матери в чем-нибудь, даже в малейших безделицах, — не говорю уже о таких важных предметах, где дело идет о твоей будущей участи? И можешь ли ты в твои лета располагать сама собою? Неужли ты можешь судить умнее и вернее твоей маменьки? Вещь неестественная! Мое мнение таково (уверен, что с этим мнением беспрекословно согласятся все), что ты сейчас же должна раскаяться во всем, почувствовать свое преступление, — а это самое тяжкое преступление — огорчать своих родителей, — просить у маменькиных ног прощения. Этого мало... Маменька простит тебя (я знаю доброту ее, бесконечную любовь к тебе); но ты еще потом должна будешь много и долго молиться о том, чтобы господь внушил тебе кротость и повиновение. Сегодня ты под крылышком маменьки, под ее властию — завтра, может быть, ты будешь под властию мужа — и точно так же, как теперь маменьке, ты будешь обязана, как добрая жена, во всем беспрекословно повиноваться мужу и угождать ему, быть хорошей хозяйкой, — а потом доброй матерью; за последним примером тебе недалеко ходить...

Дядюшка крякнул и указал рукою на Олимпиаду Игнатьевну.

— Представь же себе, когда у тебя будут дети и если (чего боже сохрани!) они станут не повиноваться тебе, огорчать тебя. Каково будет тебе? Размысли обо всем этом хорошенько, дельно и... Но я уже сказал, что тебе остается теперь делать.

Все родственники были тронуты этою речью, а Ардальон Игнатьич, присутствовавший тут же, прослезился. И потом все они, не выключая и Олимпиады Игнатьевны, обратились к Наташе, желая узнать, какое впечатление произвела на нее эта трогательная и поучительная речь.

Но на болезненном лице Наташи невозможно было ничего прочесть.

— Что же вы на это скажете? — спросила ее одна из родственниц, переглянувшись с Олимпиадой Игнатьевной. — Извольте говорить.

Наташа молчала.

Родственница повторила ей свой вопрос.

— Я не могу любить человека, которого не знаю, — произнесла Наташа тихим голосом, — а обманывать я не умею... Бог видит, я не хотела бы огорчать маменьку, но...

— Боже мой, господи! до чего я, несчастная, дожила! — простонала Олимпиада Игнатьевна. — Лучше бы господь прибрал меня. Ох, как тяжело мне!

— Полноте, полноте, голубушка, не гневите бога, — сквозь слезы и в один голос произнесли две родственницы, сидевшие возле нее.

— Наталья Николавна! сжальтесь над вашею матерью! — продолжала одна из них, обращаясь к Наташе, — посмотрите на нее, что вы, в самом деле, убить ее, что ли, хотите? Побойтесь бога...

— Маменька! я умоляю вас всеми святыми, не принуждайте меня, — сказала Наташа, бросаясь к ногам матери. — Мое решение твердо. Я люблю Григорья Алексеича. Я вам сказала, что я люблю его; если вы не захотите благословить нас, я покорюсь вашей воле, я останусь с вами, я не оставлю вас, но я ни за кого на свете не выйду замуж, ни за кого!

— Мне не нужно непокорной дочери, — сказала Олимпиада Игнатьевна, — я отрекаюсь от тебя заранее при всех родных. Вот все свидетели. Прахом родителей моих клянусь тебе, что я отрекаюсь от тебя, если ты не исполнишь моей воли...

— И ты еще после этих слов будешь сметь противиться священной для тебя воле? — произнес строго дядюшка-откупщик, — и твое сердце не смягчится воплем матери, которая носила тебя под сердцем? И ты еще осмеливаешься повторить, что ты любишь не того, кого избрала тебе мать?

Наташа молчала.

Все родственники, исключая доброго и безмолвного Ардальона Игнатьича, с ужасом взглянули на Наташу и потом, посмотрев друг на друга, пожали плечами, как будто хотели сказать:

«Ну, это уж пропащая девушка!»

— Если так — с этой минуты у меня нет более дочери! — прошептала Олимпиада Игнатьевна умирающим голосом, — уведите ее от меня, друзья мои, — это последняя моя к вам просьба, скажите ей, чтобы она никогда не смела показываться мне на глаза. Я ее не могу видеть.

Наташа встала и хотела идти, но не могла. Она пошатнулась. Ардальон Игнатьич поддержал ее.

— Наташенька, друг мой, — сказал он, всхлипывая, — прошу тебя, покорись маменькиной воле. Не доводи себя до греха. Мне очень жалко тебя.

Но Наташа уже ничего не могла отвечать ему на это. Она лежала без чувств на руках его. Ее вынесли из комнаты.

Когда она пришла в себя, родственники попытались еще раз убеждать ее, но все было напрасно. Делать было нечего. Они разъехались и быстро разнесли вести о Наташе по всей губернии. Вся губерния приняла глубокое, искреннее участие в положении Олимпиады Игнатьевны, и все (в особенности маменьки) дивились, как могла Захару Михайлычу, на старости лет, прийти нелепая мысль просить руки безнравственной, наглой девчонки, которая почти перед его глазами амурилась не только с Григорьем Алексеичем, но даже и с своим двоюродным братом! Слухи о безнравственности Наташи заставили даже поручика Брыкалова в пьяном виде дня три сряду прохаживаться мимо окна ее. «А черт ее знает: может быть, я и приглянусь ей», — думал он... И при этой мысли поручик Брыкалов прищелкивал языком. Но сильнее всех действовала против Наташи Агафья Васильевна. Она не удовлетворилась клеветами и сплетнями, которые распускала на ее счет, и послала безыменное письмо к Захару Михайлычу, начинавшееся так:

«Некто, особа, принимающая в вас горячее участие, считает долгом христианским предостеречь вас, ибо девушка, за которую вы сватаетесь, самого дурного поведения, что достоверно известно особе, пишущей сии строки,

и она находится в связи с Григорьем Алексеичем Л** поныне...» и прочее и прочее.

— Уж не бывать ей генеральшей, не бывать, — повторяла Агафья Васильевна, — уж я не допущу до этого! Нет! как своих ушей не видать ей генеральства! Вишь, на какую высоту хочет взобраться. Но уж я втопчу ее в грязь, достигну своей цели!

ГЛАВА XII

Страшная, тяжелая тишина, предрекавшая новые бури, водворилась во всем доме после родственного совещания. До Наташи только по временам долетали стоны ее несчастной матери. Ни к обеду, ни к чаю, ни к ужину никто не сходился. В продолжение нескольких дней обедал только один Петруша, да и то в своей комнате. Два дня Наташа была в каком-то оцепенении и только на третий день, к вечеру, написала Григорью Алексеичу:

«Вы были правы... Я обманывала себя. Мне хотелось уверить себя, что маменька любит меня не для себя только, — но теперь я все вижу ясно... Сколько времени я вас не видала... и как страшно тянется для меня время, если бы вы знали! Часы мне кажутся днями, дни — месяцами... Вы, я думаю, знаете все, что у нас происходит... Я вот уже третий день как одна, совершенно одна. Для меня теперь все кончено. Маменька и все родные отреклись от меня. У меня не осталось никого... Я не могу долее оставаться здесь... Если бы не мысль, что вы любите меня, — с этой мыслью я готова переносить еще больше, — я не знаю, что было бы со мной! Спасите же меня. Моя участь в ваших руках... Ваша

Н.

P. S. Поскорей отвечайте мне на это. Ответ ваш пришлите сюда с надежным человеком и велите отдать его Лизавете, дочери нашей ключницы. Я в ней уверена. Иначе письмо ваше могут перехватить».

Письмо это через два часа было уже в руках Григорья Алексеича...

Сергей Александрыч, несколько утомленный, в приятной неге лежал перед камином в своем кабинете в ту минуту, когда Григорий Алексеич вошел к нему, бледный как смерть, сжимая в руках письмо Наташи.

— Прочти это, — сказал Григорий Алексеич, отдавая ему письмо.

— Bravo! — произнес Сергей Александрыч, прочитав его. — Ай да Наташа! Я не ожидал от нее такой храбрости! Какова! Ну что ж? Похищать так похищать! я к твоим услугам. Вот наделаем мы суматоху в губернии-то!

— Умоляю, оставь свои шутки: они не у места. Дело идет об участи человека, о его будущности. Это игра на жизнь и смерть!

Григорий Алексеич схватил себя за голову и начал прохаживаться по комнате.

— Тебе легко так судить, — говорил он, останавливаясь перед Сергеем Александрычем, — но если бы ты был на моем месте!

— Я не желаю быть на твоем месте, — возразил Сергей Александрыч.

— То-то и есть! Если бы ты мог представить себе, что̀ я перестрадал, перечувствовал в эти дни...

— И какой же результат всего этого? — возразил Сергей Александрович, — подвинулся ли ты хотя на один шаг к решению гамлетовского вопроса: «Быть или не быть?» — жениться или нет? Теперь уж колебаться поздно... Решайся на что-нибудь.

— Решаться! — повторил Григорий Алексеич мрачно. — Выслушай меня... Еще за несколько минут перед этим письмом я сомневался в самом себе, колебался, не знал, что мне делать... Это письмо решило наконец все; оно показало мне самого меня в настоящем свете... Я не могу любить глубоко, с самоотвержением. Нет, не могу, я вижу это. Моя любовь в голове, в мечте, а не в сердце, не в действительности. Я принимал экзальтацию за истинное чувство, точно так, как мальчишка, как какой-нибудь Петруша, например, принимает «раздражение своей пленной мысли» за поэзию! Человек, истинно любящий, прочитал бы это письмо с восторгом, он не задумался бы над ним ни одной секунды, а я... Меня бросило в лихорадку от этого письма, как презренного труса. Когда действительность схватывает меня за руку и тре-

бует решительного ответа, я отступаю от нее с ужасом, брак кажется мне страшнее смерти. Она с полною доверенностью бросается ко мне, ищет во мне своего спасения, а я скрываюсь от нее, я бегу от нее, я оставляю ее на терзанье палачам. Я ничего не могу для нее! Я довожу ее до последней крайности и тут только в первый раз сознаю свое жалкое бессилие, свое ничтожество сравнительно с нею. Чем же я лучше своего благодетеля, этого Ивана Федорыча, перед которым я так гордился, считая себя вполне человеком!.. Все это может свести с ума! Я навсегда отравил собственную жизнь, — куда бы я ни скрылся теперь, как бы далеко ни убежал отсюда, эта девушка будет преследовать меня повсюду, — и куда я убегу от самого себя? куда? Если бы я мог думать, что сделаю ее счастливой, — тогда другое дело!.. Я не задумался бы о самом себе... Но я никогда не буду в состоянии так любить, как она меня любит! Нет, что ни говори, наши женщины несравненно выше нас. Мы не стоим их, решительно не стоим. Мы все эгоисты, рефлектёры... Мы ни на что не способны, никуда не годны! Все поколение наше заклеймено печатью отвержения, — дряблое поколение! Все мы изнемогли под ношею сомнений и отрицаний! Мы окружены со всех сторон развалинами и остановились в бездействии и недоумении среди этих развалин — и не в силах очистить себе дороги, чтобы идти вперед, а только вопим и стонем, взывая с чужого голоса к будущему, которого недостойны. Глубокие чувства и сильные страсти не по плечу нам, хотя мы беспрестанно толкуем об них. Наш век — это век великих маленьких людей. Все мы подымаемся на ходули и таращимся изо всей мочи, чтобы казаться выше, ни в ком из нас нет ничего истинного... И страдания-то наши бесплодны, потому что они поддельны! Все мы учились чему-нибудь и как-нибудь, кое-чего понахватали из европейских журналов и вообразили себя учеными и философами! Все мы сочувствуем современным интересам Европы, а не имеем никакого понятия о том, что делается под нашим носом, перед нашими глазами! Но лучшая и злейшая пародия на всех нас, наша карикатура — это Петруша. Если уж говорить правду, так ведь все мы несколько походим на Петрушу!

Григорий Алексеич встал и начал снова тревожно прохаживаться по комнате.

— Что ж, ты отправляешься в Петербург? — спросил его Сергей Александрыч.

— Да — и сейчас же. Я не должен и не могу оставаться здесь долее...

Григорий Алексеич подошел к Сергею Александрычу и крепко сжал его руку.

— Мы увидимся в Петербурге... Скажи, ты ничего не имеешь против меня? успокой меня... Будь со мной откровенен... Поступок мой не так еще гадок, как кажется с первого взгляда. Рассуди. Я люблю Наташу, но не настолько, насколько она достойна быть любимой. И такая ли любовь нужна ей? А обманывать ее — преступление! Не правда ли? Объясни же ей все, не оправдывай меня, но объясни ей все, как есть!.. Я тебя прошу, этой услуги с твоей стороны я никогда не забуду. Соглашаешься ли ты с тем, что мне не останется ничего более, как бежать отсюда?

— Совершенно, — отвечал Сергей Александрыч, — ты поступаешь как нельзя более благоразумно. Я тебе беспрестанно повторял и теперь повторяю еще, что ты сделал бы величайшую глупость, женившись на Наташе. Хоть мне жаль, что ты уезжаешь, но делать нечего, тебе неловко оставаться здесь, я понимаю... Поезжай с богом...

— Как бы мне хотелось видеть ее в последний раз, высказать ей всё...

— Зачем? это вздор! — перебил Сергей Александрыч, — это свидание было бы для вас обоих неловко.

— Что будет с нею? что будет с нею? — восклицал Григорий Алексеич.

— Будь покоен... время, милый друг, изглаживает все и примиряет со всем...

— Дай бог, чтобы это было так! — произнес Григорий Алексеич трагически.

В этот же вечер он написал Наташе следующее:

«Я тысячу раз перечитал ваше письмо, я его буду перечитывать всю жизнь мою. Это письмо моя нравственная казнь. Вы отдаетесь мне с такою бесконечною любовию, с такою неограниченною доверенностию, мне!.. Но я недостоин вашей любви, я недостоин вашей доверенности. Оттого-то я и бегу отсюда, бегу от вас, как преступник, — и в ту минуту, когда вы ищете спасенья во мне! Сергей Александрыч объяснит вам все. Я погибаю под

тяжким бременем собственного бессилия, я знаю, что впереди ожидают меня безвыходные страдания, но, во всяком случае, лучше страдать и терзаться одному. Нет! никогда я не мог бы удовлетворить вашей высокой любви: я обманывал вас, я обманывал самого себя, я еще верил в возможность для себя счастия!.. О, не проклинайте меня, бога ради, не проклинайте... Я высказываю вам все, я не щажу самого себя, я не оправдываюсь перед вами... Вы говорите, что ваша участь в руках моих, — но я не могу, я не смею, я не должен располагать ею. Кроме горя и страданий, я ничего бы не принес вам!.. Через два дня меня не будет здесь. Я сам не знаю, куда бегу; мне все равно, куда ни перенести мою постылую жизнь; только я не могу оставаться здесь, в этих местах, где мне суждено было испытать столько отрадных, столько святых минут. Эти минуты никогда не изгладятся из памяти моего растерзанного сердца. Прощайте — и забудьте меня. Это последнее к вам слово.

Г. Л.».

Агафья Васильевна ошиблась в расчете. Она не знала Захара Михайлыча. Безыменное письмо ее произвело на него совершенно не то действие, какое она ожидала. Сплетни, распускаемые по губернии о Наташе, не доходили до Захара Михайлыча, потому что все губернские сплетники страшно боялись его. Один из таких, вскоре после приезда его в деревню, явился было к нему с различными наветами насчет их общего соседа. Захар Михайлыч выслушал сплетника очень спокойно.

— Ну что ж, братец, — сказал он, — и ты все это, что мне наболтал тут, перескажешь ему самому в глаза, при мне? а?

Сплетник смешался несколько.

— Почему же, — отвечал он, — извольте... я... я готов...

— Врешь, братец, не перескажешь, — возразил ему Захар Михайлыч, — уж я вижу по глазам твоим, что не перескажешь. А вот я так тебе скажу в глаза, что если ты ко мне еще когда-нибудь подъедешь с такими балясами, на чей бы счет ни было, то уж тогда прошу извинить, — я, братец, тогда тебя на порог своего дома не пущу.

Человеку такого характера, каков был у Захара Михайлыча, разумеется, особенно не могли нравиться

безымянные письма. Прочитав письмо Агафьи Васильевны, очень ловко и скрытно доставленное к нему, он покачал головою, внимательно осмотрел его со всех сторон и положил в свой огромный кожаный бумажник.

— Дорого бы я дал, — сказал он самому себе, потирая руки, — чтобы узнать сочинителя этого письмеца! Надавал бы я ему, голубчику, публично оплеух. Не пиши вперед этаких писем! Не смей марать репутацию честной девушки. Вот тебе, братец, за это... вот тебе!

Однако письмо это навело Захара Михайлыча на мысль, которая без того, конечно, никогда не могла бы прийти ему в голову.

«А что, если Наташа, — подумал он, — точно, любит этого Григория Алексеича? Ведь не мудрено... Он, кажется, малый-то хороший... Что, если я тут подвернулся для того только, чтобы помешать ихнему счастию? Может, он еще прежде меня хотел сделать предложение, да не решался?.. Все это может быть».

Захар Михайлыч свистнул.

— Эй, Прошка!

Прошка вдруг выскочил как будто из-под пола, в серой куртке, с волосами, обстриженными под гребенку, руки по швам.

— Чего изволите-с?

— Чтобы через десять минут стоял у подъезда тарантас: Красавчик в корню, алексеевская и бурая на пристяжке. Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

И Прошка повернулся налево кругом.

Через два с половиною часа Захар Михайлыч уже разговаривал с Олимпиадой Игнатьевной.

— Нет, Олимпиада Игнатьевна, — говорил он, — вы действуйте со мною откровенно, я прошу вас. Если ваша Наташа не согласна идти за меня, если она, например, любит кого-нибудь другого, так вы мне это скажите напрямки, без церемоний, я предложение мое возьму назад, а мы все-таки останемся с вами по-прежнему добрыми соседями и друзьями. Вы не принуждайте ее: согласна она будет выйти за меня — очень рад, не согласна — что делать...

Но почти в то самое время, как Захар Михайлыч говорил это Олимпиаде Игнатьевне, Лизавета, дочь ключницы, подала Наташе письмо от Григорья Алексеича.

Замирая, дрожащей рукой схватила Наташа это письмо и быстро пробежала.

На лице ее выступили красные пятна, в глазах запрыгали огоньки, но она переломила себя, разорвала письмо на мелкие части и опустилась на стул. Более часа просидела она неподвижно, потом встала и пошла к матери.

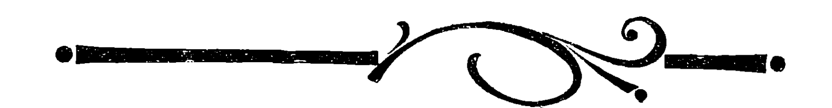
— Маменька! — сказала она, — простите меня; я виновата перед вами. Я покоряюсь вашей воле, — объявите Захару Михайлычу, что я согласна быть его женою.

Она даже и не заметила, что Захар Михайлыч был тут, в комнате...

Прошло десять лет. Говорят, Наталья Николаевна счастлива. Муж ее обожает. У нее сын и дочь — прекрасные дети, в которых она души не чает. Она целый день занята или детьми, или хозяйством, и надо отдать ей честь — хозяйство идет у нее отлично.

О прошлом она вспоминать, кажется, не любит, иногда впадает в тревожное состояние, как будто в ее довольстве ей еще недостает чего-то. Она похудела и постарела немножко. Сыну своему она дает совершенно практическое направление...

Вот как хорошо повиноваться родителям и слушать родственников!



ХЛЫЩ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

(De la haute école [1])

Вместо вступления



хочу изобразить... чуть было не сказал *воспеть,* потому что предмет достоин поэмы, — самого утонченнейшего и безукоризненейшего из всех хлыщей — хлыща *высшей школы* (de la haute école), перед которым мой великосветский хлыщ должен показаться жалким, неуклюжим и грубым, потому что между ним и хлыщом высшей школы почти такая же разница, какая между простым, хотя и породистым пуделем, бегающим по улице, и тем изящным пуделем высшей школы, развившимся под ученым руководством г. Эдвардса, который показывается в цирке г-жи Лорры Бассен и Комп. Если бы все в мире лошади, собаки, люди, насекомые проходили чрез высшую школу — боже мой! в какую изящную, утонченную игрушку превратился бы тогда мир, но, к несчастию мира, не все одинаково способны подвергаться этой школе. И странно! всех неспособнее и непокорнее в этом случае — человек — существо разумное. Его иногда труднее вышколить, чем какую-нибудь блоху — это едва заметное, неуловимое и

---

[1] высшей школы *(франц.).*

неразумное насекомое; но зато когда человек оказывается способным пройти через высшую школу — он становится прекрасен, велик, — и все шавки, пудели, лошади и блохи высшей школы бледнеют и уничтожаются перед ним!..

Если бы какой-нибудь предприимчивый и почтенный господин, вроде г. Барнума, вздумал вместо ученых собак, блох, лошадей, девиц-альбиносок, сирен и Том-Пусов развозить на удивление Старого и Нового Света любопытнейшие и отборнейшие сорты хлыщей, этот новый и оригинальный род промышленности доставил бы ему, я убежден в этом, колоссальное богатство. Нет сомнения, что особенную выгоду могли бы, в этом случае, представлять хлыщи высшей школы. На их изящнейшие манеры, на их утонченную выправку, на их бесподобную недоступность и исполненную чудной грации величавость стекались бы смотреть миллионы народа, потому что народ вообще падок на все великолепные зрелища, любит глазеть на все высшее, на все выходящее из-под обыкновенного уровня.

Я желал бы вывести перед любознательной публикой моего хлыща высшей школы во всем его блеске и красоте — так, как выставляют девиц-альбиносок, великанов и другие чудные явления природы, поставить его на вертящиеся подмостки, устланные бархатом или моветом и уставленные бананами и другими тропическими растениями и, тихо повертывая подмостки, доставить почтенным посетителям случай в подробности рассмотреть его со всех сторон. Но, увы! это невозможно. Такие совершенные создания, к каким принадлежит мой настоящий хлыщ, не отдают себя напрокат, как это случается с хлыщами другого рода, — и для того, чтобы дать понятие о нем, я поневоле должен прибегнуть просто к его описанию, чувствуя заранее, что предлагаемый поверхностный снимок не передаст и десятой доли тех красот и совершенств, которыми обладает несравненный оригинал.

I

Если вы, мой читатель, принадлежите к жителям Петербурга, вам, вероятно, случалось встречать в театре, в клубе (разумеется, Английском), на улицах или в салонах (если вы ездите в большой свет) высокого, пол-

ного, средних лет господина, держащего себя очень прямо, одетого с изящною и строгою простотою, без всяких изысканных и бросающихся в глаза украшений и нововведений: без стеклышек, английских проборов и тому подобного, с движениями медленно-важными, с взглядами вечно холодными и даже несколько суровыми, с лицом неподвижным, но проникнутым высоким сознанием своего превосходства, на котором появляется только легкая тень приятной улыбки, когда господин этот заговаривает с значительным лицом или когда значительное лицо с ним заговаривает... Вы, верно, заметили, что не только его бесстрастно-прекрасное лицо, но даже его туловище, шея, ноги и руки — все одинаково проникнуто сознанием своих совершенств; что он поворачивает шею только в самых важных обстоятельствах, только тогда, когда очень значительное лицо обращается к нему или он обращается к очень значительному лицу; что он протягивает руку только избраннейшим из избранных; что он ходит так, как будто делает честь тротуару или паркету, к которому прикасается... Если вы видели такого господина, — то вы уже имеете некоторое понятие о наружности моего хлыща высшей школы. Его монументальная и торжественная фигура даже напоминает несколько Командора в «Дон-Жуане»...

Не подумайте, мой провинциальный читатель, чтобы я преувеличивал перед вами совершенства моего героя — из благоговейного уважения к нему. (Я употребляю возвышенное слово *герой*, вышедшее ныне из употребления, потому что говорю о возвышенном предмете.) Какое преувеличение, помилуйте!.. я ссылаюсь на весь великосветский Петербург... Все, имеющие счастье пользоваться знакомством его, подтвердят вам, что он ведет себя с такою безукоризненностию, с какою может только вести себя господин, прошедший чрез все искусы высшей школы. Никто и никогда не видел его ни на улице, ни в театре, ни в клубе с человеком, не принадлежащим к высшему свету, с inconnu;[1] никто и никогда не видал его смеющимся, он позволяет себе только слегка улыбаться в известных случаях, как замечено выше; никто и никогда не видел его удивляющимся, — он ничему не

[1] неизвестным *(франц.)*.

удивляется, как все люди безукоризненного тона; никто и никогда не заметил, чтобы в разговоре он возвышал или понижал голос, — он говорит плавно, ровно, спокойно, и каждое слово, вылетающее из уст его, должно, кажется, осчастливить того, к кому относится; никто и никогда не видал его аплодирующим в театре, потому что аплодируют люди увлекающиеся, то есть люди плохо вышколенные или, просто, люди дурного тона. Даже и в такие исключительные минуты, когда, бывало, Рубини в «Лучии», в сцене проклятия, потрясал весь театр своими раздирающими душу звуками и невольно извлекал слезы даже из глаз людей хорошего тона, и их заставлял забываться, аплодировать и кричать вместе с толпою, — даже и тогда он оставался в своем обыкновенном, бесподобном и величавом равнодушии.

Надобно видеть, с какою почтительною ловкостью, тихо, не суетясь, его изящная прислуга подает ему шинель или пальто, когда он выезжает из дома; с каким благоговением провожает его гордый и толстый швейцар и усаживает в сани; с каким глубоким уважением капельдинер, кланяясь, отворяет ему дверь его абонированной ложи; как увивается около него дворецкий Английского клуба в тот день, когда он кушает в клубе. Но все эти знаки почтения, благоговения, подобострастия пропадают даром. Он, кажется, не подозревает о существовании на свете лакеев, швейцаров, капельдинеров, дворецких и прочего и полагает, что все является и отворяется перед ним, все снимается с него и надевается на него по мановению волшебного жезла. Один только раз он чуть-чуть повел глазом на своего лакея, у которого белый галстук был несколько измят и имел не совсем свежий вид, и, обратясь к своему мажордому, произнес строго-спокойным голосом: «Чтоб *этого* сегодня же не было здесь...»

В клуб герой мой приезжает обыкновенно позже всех и садится за особенный стол... За обедом он кажется еще прекраснее. Он кушает с большим аппетитом, но не обнаруживает его ни взглядами, ни движениями, как люди грубые и дурно воспитанные; вино, кажется, он не пьет, а только вдыхает в себя его аромат, хотя его бутылка опорожняется к концу обеда так же, как и у других, которые просто пьют. После обеда он садится за карты и играет по большой и с людьми значительными. Он к кар-

там не имеет особенной страсти (да и вообще он не имеет никаких страстей, потому что страстями одержимы только люди *вульгарные*), а играет по расчету, для поддержания своих связей и значения, сохраняя постоянно величавое равнодушие и спокойствие при выигрыше и при проигрыше... Но виноват, — я, кажется, увлекаясь моим героем, забегаю немного вперед и заранее прошу у читателя извинения только за небольшое отступление по поводу карт. Я не могу на минуту не остановиться на этом предмете. Карты вещь очень серьезная. Если вы не умеете играть в карты, мой благосклонный читатель, учитесь, учитесь скорей, не теряя времени. Посредством карт в Петербурге (я не знаю, как в других европейских столицах) завязываются наитеснейшие связи, приобретаются значительные знакомства, упрочивается теснейшая дружба и, что важнее всего, получаются выгоднейшие места. Приобретя опыт жизни, я очень сожалею теперь, что не посвятил себя в начале моего поприща изучению ералаша, преферанса с табелькой, пикета и *палок*. Кто знает, по примеру многих других, я через карты легко мог бы сделать прекрасную карьеру, и вместо того чтобы подвизаться на неблагодарном и скользком литературном поприще, я уже пользовался бы теперь значением, имел бы приличный моим летам чин, был бы окружен подчиненными, смотрящими мне в глаза, распоряжался бы участью нескольких сот подведомственных мне людей (что очень приятно) и преследовал бы всех сатирических писателей, которые раскрывают, как говорит Гоголь, «наши общественные раны»...

Однако все это нейдет к делу, и мне давно пора сказать, какое общественное положение занимает мой утонченный герой в свете, и познакомить любознательных читателей с его биографией.

II

Он сын очень почетного отца, который умом, трудолюбием и, как прибавляют люди злоязычные, вкрадчивостью и лицемерием сам проложил себе блистательную карьеру. Почтенный родитель прозывался Белогривовым, от села Белые Гривы, в котором родился, и оттого еще, может быть, что волосы его в детстве были белы, как

лен. Это прозвище так и осталось за ним, и никто, конечно, не подозревал, что со временем оно обратится в громкую и блестящую фамилию. В летах отрочества он бегал еще по деревне в затрапезном халате, а в сорок пять лет пользовался уже значением в Петербурге и вступил в брак с девицею довольно известной дворянской фамилии, за которою взял 500 душ. На шестидесятилетнем возрасте он достиг всего, к чему с такою жадностию стремятся люди: чинов, окладов, почета, уважения, связей. В Новый год и светлый праздник столы его были завалены визитными карточками с самыми блестящими именами, а в передней лежали груды листов, исписанных посетителями. В домашней жизни бог также благословил его. Супруга его была дама очень привлекательной наружности и приятных форм, кроме того, обладала замечательными нравственными достоинствами: характером твердым и решительным, вследствие которого держала бразды домашнего правления очень туго, и глубочайшим знанием светского такта и всех мелочных светских обычаев и привычек. Ее любовь к супругу и заботливость о нем не имели границ: она сама распоряжалась всеми его деньгами; сама разбирала отчеты по имению; сама назначала ему камердинеров и сменяла их по своему произволу; сама ежедневно клала в его бумажник известную сумму денег; приказывала, каких лошадей закладывать в его карету; безусловно распоряжалась постоянно находившимся при нем курьером, — и один взгляд генеральши имел силы несравненно более, чем слово генерала, повторенное десять раз... «Друг мой, — говорила она с чувством супругу, — ты слишком занят важными государственными делами, и я не допущу тебя входить ни в какие домашние дрязги. Это уж мое дело». Дети (им бог даровал двух прелестных малюток — мальчика и девочку) развивались также под ее исключительным и неусыпным наблюдением.

Нежная и любящая мать в мыслях своих приготовляла для них блистательную будущность и все воспитание их направила на то, чтобы сделать их безукоризненными в светском отношении. Им предстояла важная обязанность, высокий долг поддерживать честь и славу рода Белогривовых.

В характере этих детей, с самого раннего детства, обнаружилась резкая разница. Виктор, любимец матери

и герой этого рассказа, был истинным утешением родителей. Его называли необыкновенным ребенком, и он был действительно необыкновенный ребенок, потому что, к удивлению взрослых, не кричал, не шалил и не резвился, как обыкновенные дети. Прекрасный, румяный и полный малютка во всем обнаруживал что-то вроде рассудительности, сдержанности и как будто чувства собственного достоинства. Он входил в комнату, раскланивался, танцевал, играл в куклы, говорил с другими детьми и даже катал обруч по дорожке сада с серьезностью и важностию, приводившую в восторг не только его родителей, но даже и посторонних. Виктором все восхищались и все отзывались об нем с похвалою, исключая, впрочем, домашней прислуги, с которою он обращался, несмотря на свой нежный возраст, так повелительно и с таким пренебрежением, что маменька даже принуждена была останавливать его замечаниями, что с людьми надо быть повежливее. Но, останавливая его, она в то же время думала с тайным удовольствием и гордостию, что так рано обнаруживающееся в нем отвращение ко всему *низшему* — признак благородной крови Балахиных, которая течет в его жилах (генеральша была урожденная Балахина). Лакеи и горничные, не принимая этого в соображение, смотрели на барчонка с совершенно другой точки зрения и так отзывались о нем: «Вишь, щенок, еще чуть от земли видно, еще молоко на губах не обсохло, а туда же, как большой, хорохорится и горло дерет».

Сестра Виктора, Сонечка, была девочка худенькая, бледная, слабая здоровьем и ничем особенным не отличавшаяся от других детей. Она, в противоположность своему брату, пользовалась большим благоволением всей дворни за свою доброту и мягкость, которые выражались в ее бледных карих глазах и во всех чертах ее привлекательной белокурой головки. Но зато Сонечка, несмотря на то, что была старше брата двумя годами, не умела вести себя с достоинством, не имела того такта, которым так изумительно владел Виктор чуть не с колыбели; она была одинаково приветлива и радушна с маленькой княжной Мери, своей сверстницей, и с Катюшкой, дочерью ключницы. Ни попечительная мать, с тайным сокрушением смотревшая на нее, ни неподвижная мисс Генриетта, ее гувернантка, воспитывавшая некогда, по ее словам, мисс Арабеллу, дочь какого-то лорда, и испол-

ненная самых аристократических претензий, не могли внушить Сонечке того чувства гордого сознания, которое бесспорно должно было одушевлять девушку, — дочь отца, так высоко стоявшего на ступенях общественных почестей, девушку, предназначенную для высшего света... Кровь Балахиных еще молчала в ней.

Однажды на даче, гуляя с мисс Генриеттой, Сонечка (ей было уже в это время лет тринадцать) повстречала нищую, хорошенькую девочку лет восьми, в лохмотьях, которые едва прикрывали ее. Девочка эта очень понравилась Сонечке, которая остановила ее, с участием расспрашивала — откуда она и кто она? и сказала ей, чтобы она зашла к ним на дачу. Бедная девочка эта целый день не выходила у нее из головы, даже снилась ей ночью. На следующее утро она не отходила от окна, поджидая ее, и когда та явилась, Сонечка чуть не вскрикнула от радости, побежала ей навстречу и тихонько провела ее в свою комнату. Она надарила ей разных вещей и так растрогала девочку своею добротою и ласкою, что та со слезами бросилась к ней и схватила ее руку, чтобы поцеловать; но Сонечка отдернула руку и поцеловала девочку... В минуту этого поцелуя на пороге двери появилась строгая и неподвижная мисс Генриетта. Такое зрелище привело бывшую воспитательницу дочери лорда в страшное негодование... Она приказала сейчас нищей выйти вон и, обратясь к своей воспитаннице, прочла ей длинное, строгое и красноречивое наставление, мысль которого заключалась в том, что хотя благотворительность — дело похвальное, и хотя помогать бедным должно, но водить к себе в комнату нищих, обниматься и целоваться с ними девушке столь высокого происхождения неприлично и непростительно. Мисс Генриетта ссылалась на свою бывшую воспитанницу, мисс Арабеллу, умевшую всегда соединять похвальные движения сердца с чувством своего аристократического достоинства, и наконец привела Сонечке в пример ее собственного брата, который, несмотря на то, что моложе ее, мог уже служить для нее во всех отношениях образцом. Сонечке постоянно все беспрестанно ставили в пример брата; она не могла не видеть, что вся нежность родителей была обращена к нему, и, несмотря на это, ни малейшее чувство зависти не смущало ее. Она чувствовала к нему самую нежную привязанность с детства.

До пятнадцати лет она обнаруживала характер очень восприимчивый, сообщительный, живой и пылкий. Она передавала брату все впечатления, ощущения и мысли, начинавшие зарождаться в ней. Она искала в нем отзыва и сочувствия, но всякий раз после своих задушевных признаний чувствовала какую-то внутреннюю неловкость. Брат выслушивал ее спокойно и равнодушно, без всякого участия, и Сонечка объясняла это тем, что он не может еще понимать ее, потому что слишком молод.

Пылкость ее начинала, однако, охлаждаться с летами, может быть, вследствие болезненного состояния, которое усиливалось в ней вместе с ее ранним и быстрым нравственным развитием, на которое никто не обращал внимания. В восьмнадцать лет у нее обнаружились такие грудные страданья, которые она, при всей своей терпеливости, не могла скрывать. Созван был консилиум. Доктора решили, что она имеет расположение к чахотке и что поэтому за ней необходимо иметь строгий медицинский надзор. Домашний доктор Белогривовых, очень важный господин, пользовавшийся в городе огромною репутациею и доверенностию, представил к ним в дом одного молодого доктора, который должен был, под его главным руководством, иметь постоянное наблюдение за ходом ее болезни. Молодой доктор начал ездить в дом Белогривовых всякий день. Он ухаживал за больною с необыкновенною заботливостию и вниманием, и через несколько времени она заметно стала поправляться. Доктор продолжал однако навещать ее так же часто. Он был человек образованный, большой поклонник Шекспира и Вальтера Скотта и, кроме того, страстный охотник до музыки. Он скоро сделался у Белогривовых почти домашним человеком. Генерал и генеральша оказывали ему большое внимание, видя его заботливость о больной; мисс Генриетта полюбила его за то, что он говорил с нею по-английски и декламировал наизусть монологи из «Гамлета» и «Отелло»; Софья Александровна (в это время никто уже не называл ее Сонечкой) обнаруживала к нему также большую симпатию: она была тронута его участием и вниманием к ней; притом его образование, ум и расположение к музыке — все это производило на нее сильное впечатление. У нее были очень замечательные музыкальные способности, и она играла на фортепьянах с большим вкусом, тонкостью и чувством. Доктор также играл

на фортепьянах недурно, и они иногда вместе разучивали любимые пьесы. Она до того привыкла к доктору, что в тот день, когда он не приезжал, чувствовала, что ей как будто недостает чего-то.

На ее привязанность к нему, усиливавшуюся постепенно, не обращал никто внимания. Генерал видался с детьми два раза в день: на минуту утром, когда они приходили с ним здороваться, и за обедом. Генеральша привыкла смотреть на доктора как на домашнего человека, как на своего дворецкого или на свою ключницу, и подозрение о привязанности к нему ее дочери не могло даже прийти ей в голову. К тому же она приняла доктора под особое свое покровительство, потому что он лечил даром всю генеральскую дворню.

Когда здоровье Софьи Александровны поправилось, ее вывезли в свет, но после двух или трех балов болезненные припадки ее снова возобновились, — и эти выезды должны были прекратиться к ее величайшему удовольствию, потому что после каждого бала маменька, недовольная ею, делала ей очень жесткие выговоры и читала предлинные морали. Генеральша огорчена была тем, что появление в свет ее дочери не произвело того впечатления, какого она желала и могла надеяться. Выговоры эти обыкновенно оканчивались упреками, что на ее воспитание не щадили ничего, что на нее потратили тысячи и что она, несмотря на все внимание и заботливость об ней, не оправдывает ожидание родителей, и так далее.

Софья Александровна выслушивала эти упреки и выговоры молчаливо и переносила их с покорностию и твердостию. Иногда только, когда гнев ее маменьки, по какому-нибудь незначительному поводу, выходил из пределов и разражался оскорбительными и вовсе не светскими выходками (генеральша была горяча), Софья Александровна прибегала к брату и высказывала ему свое огорчение. Виктор Александрыч был в это время уже студентом. Он обыкновенно молча выслушивал ее и, с свойственною ему рассудительностию не по летам, говорил, что если маменька и не совсем справедлива в отношении к ней, оскорбляя ее некоторыми словами и замечаниями, которые бы, конечно, не следовало произносить, то, в сущности, она все-таки права, потому что желает ей добра, и беспрестанно твердил ей, как и маменька, о том, что ей необходимо выезжать чаще в свет.

После одного из таких объяснений с братом ей пришла в первый раз в голову мысль, что он человек холодный, без сердца. Как ни отгоняла она от себя этой мысли, но она неотвязчиво преследовала и мучила ее несколько дней. Софья Александровна старалась, впрочем, всячески оправдывать брата и уверяла себя, что эта мысль совершенно нелепая; что Виктор, напротив, имеет прекрасное сердце, порывы которого он только боится обнаруживать, и что эту наружную холодность и недоступность он заимствовал от своего воспитателя, имевшего на него большое влияние, бездушного формалиста г. де Шардона, который был помешан на старой французской аристократии, разыгрывал какого-то маркиза и не признавал никаких авторитетов, кроме Лагарпа, Баттё, Буало и Генриха V. Она не принимала в соображение, что неподвижная и суровая мисс Генриетта не успела же задушить в ней, несмотря на все свои усилия, человеческие увлечения и порывы сердца. Сваливая всю вину на г. де Шардона, Софья Александровна обыкновенно несколько успокоивалась. Несмотря на это, она перестала быть откровенной с братом. Характер ее заметно изменялся, она становилась серьезнее, сосредоточеннее, начинала, кажется, чувствовать пустоту и холод блестящей среды, ее окружавшей, и свое одиночество. Единственный человек, которому иногда она высказывалась, был доктор.

Софье Александровне был уже двадцать один год. Здоровье ее было слабо, и поэтому выезжала она в свет редко. Маменька, глядя на нее, начинала приходить в беспокойство и помышлять, каким бы образом прилично устроить ее участь.

Виктор Александрыч, окончив между тем курс в университете, определился в министерство иностранных дел и в первый раз явился в свете на бале княгини Красносельской. На этом первом дебюте он имел счастие быть замеченным одной очень почетной старушкой, которая нашла, что он прекрасно держит себя: с тактом, с почтительностию к старшим и между тем с достоинством, и что многие молодые люди, гораздо поважнее его происхождением, могли бы брать с него пример...

Однажды, когда Виктор Александрыч сидел в своей комнате, только что окончив обделку своих ногтей и машинально перелистывая Готский альманах, свою любимую настольную книгу, мечтал о своих будущих успехах

в свете, в комнату его вошла сестра. Ее бледное и болезненное лицо было бледнее обыкновенного, в ее глазах, почти всегда задумчивых и грустных, выражалась сила и энергия, тогда как в движениях и в походке была нерешительность и почти робость. По всему было заметно, что в душе Софьи Александровны совершалось что-то необыкновенное и что это посещение было недаром.

Виктор Александрыч слегка приподнял голову, взглянув на сестру. Он не заметил в ней, однако, ничего особенного, слегка кивнул своей прекрасной головой и протянул к ней свою белую и полную руку, с искусно обделанными ногтями в форме миндалин.

Софья Александровна села возле него.

— Что скажешь? — произнес он, переворачивая страницы альманаха, который он не выпускал из рук...

— Я пришла с тобою поговорить об одном деле, — отвечала она, — об деле, которое касается до меня... Скажи мне искренно, любишь ли ты меня?

Виктор Александрыч взглянул на сестру, и нижняя губа его подернулась немного насмешливо.

— Что это за вопрос? Что с тобою?

— Я хочу убедиться в том, что ты меня любишь, мне это нужно потому, что я должна сообщить тебе... — Она остановилась. (Разговор их, надобно заметить, происходил на французском языке.)

Виктор Александрыч еще взглянул на сестру, и в этот раз уж вопросительно.

— Я ничего не понимаю, — проговорил он своим обыкновенным равнодушным тоном, не обращая внимания на ее волнение, — разве случилось что-нибудь особенное?

У Софьи Александровны на глазах показались слезы, она с минуту ничего не отвечала, но потом вдруг бросилась к брату, обняла его с увлечением и почти задыхающимся голосом сказала:

— Скажи мне, брат... принимаешь ли ты во мне участие?

— Что с тобой, однако? — спросил он с несколько озабоченным видом, оправляясь после этих неожиданных объятий.

Софья Александровна сказала ему, что она любит доктора...

При этом признании лицо Виктора Александрыча вспыхнуло, он вскочил со стула, выпрямился всем своим станом и даже несколько выгнулся и обозрел с ног до головы Софью Александровну...

— Что? Кого? — спросил он, не веря ушам своим.

Она повторила свои слова твердым голосом.

Виктор Александрыч улыбнулся, заложил руку за жилет и произнес:

— Что за шутки! Это совсем не забавно.

Софья Александровна вспыхнула в свою очередь, оскорбленная этим замечанием, высказала ему с горячностию все, что было у нее на душе, и в заключение объявила, что она решилась выйти замуж за доктора.

Виктор Александрыч прошелся несколько раз по комнате, чтобы прийти в себя, и наконец остановился против сестры.

— Что с тобой, Sophie? Ты с ума сходишь, — произнес он в волнении, которое уж не мог скрыть при всей своей выдержанности, — откуда могли прийти к тебе такие мысли, такие дикие понятия? Ты забываешь, *кто ты,* какое имя ты носишь. Что может быть общего между тобою и каким-нибудь аптекарем или лекарем? Пожалуйста, приди в себя. Опомнись, одумайся. Ты хочешь нанести позор нашей фамилии, сделать нас городскою сказкою, ты хочешь убить батюшку и матушку. Это какое-то безумие, которое нельзя оправдать ничем. Благовоспитанной девушке даже во сне не могут прийти в голову такие мысли, такие понятия...

Виктор Александрыч остановился запыхавшись. Он никогда не говорил вдруг так много и с таким жаром.

— Я люблю его, я на все решилась, — произнесла она.

Лицо и глаза ее горели. На этом лице и в этих глазах выражалось что-то гордое и решительное. Это была уже не девочка, грустная, болезненная и застенчивая, но женщина с сознанием и силою воли.

— Решилась!.. — повторил Виктор Александрыч, не обращая на нее внимания, бледнея и закусив нижнюю губу, — это мне нравится! Что такое твое решение? у тебя отец и мать, у тебя брат, ты забываешь об них, кажется.

— Нет, я не забываю. Если в тебе есть хоть капля участия и сострадания ко мне, — я прошу тебя, брат, —

будь посредником между мной, батюшкой и матушкой, ты имеешь влияние на них. Тебе легче...

— Посредником! — перебил Виктор Александрыч, — подумай же наконец, что ты хочешь делать... в чем? Но это неприличие, эта безнравственность, это сумасшествие... И ты думаешь, что я буду посредником твоим у отца и у матери, что у меня повернется язык сказать им, что ты любишь... Сделай одолжение, выкинь все это из головы. Серьезно говорить об этом нельзя, и мне досадно на себя, что я принял это серьезно. Дай мне слово, что ты весь этот вздор выкинешь из головы, — и что об этом никогда не будет более слова.

Софья Александровна с большим усилием над собою приняла наружность холодную и спокойную и отвечала:

— Хорошо, я подумаю, я только прошу тебя об одном, чтобы это покуда осталось между нами...

Когда она вышла, Виктор Александрыч не на шутку призадумался. Мысль, что его сестра может быть женою какого-то лекаря, привела его в негодование и ужас. Он живо вообразил все неизбежные последствия этого: язвительные улыбки его великосветских приятелей; тень, которую бросит этот безумный брак на их фамилию; оскорбительные для них толки и замечания по этому поводу высшего света; шум, который наделает в городе этот неслыханный скандал, и проч. При мысли, что все это может сильно повредить его светской и служебной карьере, дрожь пробежала по его телу и румянец исчез с его полных и пушистых щек. «Этого нельзя оставить так, — подумал он, — честь нашего дома в опасности, надо принять заранее меры и тотчас же предупредить об этом батюшку и матушку».

Виктор Александрыч отправился к родителям и имел долгое объяснение с ними, вследствие которого доктор уже не появлялся в их доме. С Софьей Александровной не было никаких объяснений, но генерал и генеральша стали обращаться с нею очень сухо и холодно. Виктор Александрыч избегал всяких столкновений и объяснений с сестрою. Так прошло около месяца...

В одно прекрасное весеннее утро в доме Белогривовых произошло неописанное смятение. Весь дом переполошился, начиная с самого генерала до последнего конюха. Генеральша лежала в обмороке; генерал совершенно потерялся; Виктор Александрыч вдруг так

побледнел и осунулся, как будто только что встал с постели после болезни; люди совались без толку из угла в угол, как сумасшедшие; доктора перебегали от генеральши к генералу. Софья Александровна исчезла из родительского дома!.. Стоны, слезы, крики, рыдания, проклятия потрясали весь дом... Она бежала, покрыв стыдом и позором маститую, седую голову заслуженного старика отца, всеми уважаемого, убив мать, которая с такою нежностию заботилась о ее воспитании. Ужасно!

Буря утишилась не скоро, да и могла ли она скоро утишиться? Истерики и крики сменялись вздохами, стонами, покачиванием голов, всхлипываниями и жалобами на судьбу.

Вдруг, в один день, генералу подали письмо. Он взглянул на конверт и изменился в лице. Письмо было от Софьи Александровны. В этом письме она объявляла о том, что она замужем, умоляла о прощении, просила благословения и прочее. Но генеральша не допустила генерала распечатать конверт, выхватила его из рук супруга и бросила в камин.

— У нас нет более дочери, — произнесла она торжественно, — а у тебя, мой друг, нет сестры, — прибавила она с рыданием, обращаясь к сыну и обнимая его, — чтобы в доме никто и никогда не смел произносить ее имя, как будто бы она никогда не существовала!

Вскоре после этого неслыханного события генерал, который постоянно страдал сильною подагрою и в последнее время еле двигался от старости, занемог и скончался, оставив все, что имел, жене и сыну и ни слова не упомянув в духовном завещании о дочери. Генеральша, рыдая над его трупом, произнесла: «Это она его убийца! Она!»

— Мое несчастное существование, — говорила она с нежностью сыну, — поддерживаешь один ты, — ты — моя гордость, ты — мое утешение! Без тебя мне ничего не оставалось бы, кроме могилы...

Но генеральше не суждено было долго наслаждаться и радоваться своею гордостью, своим действительно во всех отношениях безукоризненным сыном. Генеральша умерла в тифусе через полтора года после смерти своего супруга, а когда кто-то из ближних в минуту кончины осмелился ей напомнить о дочери, она прошептала: «У меня нет дочери». Это были ее последние слова.

Все решили, что Софья Александровна была убийцею отца и матери. На это нельзя даже было сделать никаких возражений, потому что в таком случае легко можно было прослыть за человека неблагонамеренного и безнравственного...

Таким образом, Виктор Александрыч, в двадцать с небольшим лет, сделался полным властелином самого себя и единственным наследником состояния, оставшегося после его родителей, которое состояло в 900 душах и в капитале, простиравшемся, говорят, до 200 000 рублей серебром.

III

В то время как великосветские товарищи и сверстники Виктора Александрыча, все более или менее еще зависевшие от своих родителей, предавались, несмотря на это, с излишеством всем увлечениям и безумствам молодости, всем соблазнам, которые представляет большой город: вступали в клику театралов, волочились за танцовщицами, мерзли у театральных подъездов, провожали *линии,* тридцать раз в утро на рысаках и на парах с пристяжными проезжали по так называемой «Улице любви», мимо окон, из которых украдкою выглядывали их возлюбленные; подымали гвалт вечером в театральной зале, когда их богини, порхая, появлялись на сцене; бросали деньги на вино и женщин; делали долги, занимая сто на сто; целые ночи просиживали за картами или за лото; пили у Фельёта до рассвета и хвастали тем, кто кого перепьет, и потом ночью, для забавы, скакали на тройках по улицам, останавливая бедных запоздалых пешеходов, придираясь к ним, обсыпая их мукой и сажей, или предавались каким-нибудь не менее остроумным занятиям и, к величайшему огорчению своих блестящих родителей и родственников, совершенно пренебрегали светскими отношениями и условиями, — Виктор Александрыч, пользовавшийся полною, безграничною свободою, вел такой образ жизни, которому мог позавидовать даже человек перебесившийся и остепенившийся, зрелых лет, несмотря на все свое благоразумие, все-таки впадающий иногда в промахи, заблуждения и увлечения. Но несравненный герой мой, как уже мог заметить читатель, принадлежал к тому разряду людей, которые не

имеют заблуждений и увлечений, то есть не имеют молодости. В самом ребячестве он походил уже, как мы видели, на рассудительного и важного взрослого человека в миниатюре. Такие натуры многие обыкновенно обвиняют в сухости, в крайнем эгоизме и даже в жестокости, замечая, что люди, предающиеся в молодости самым неслыханным и непростительным буйствам, впоследствии еще могут сделаться настоящими людьми в полном и благородном значении этого слова, а что от людей, не знавших молодости, нельзя ждать ничего доброго. До какой степени справедливо такое мнение и кто прав — господа ли, так рассуждающие, или те почтенные особы, которые в противоположность этому мнению считали Виктора Александрыча образцом молодых людей и ставили его в пример своим детям, — я предоставляю решать читателям...

Виктор Александрыч после смерти родителей прежде всего озаботился о сооружении двух великолепных монументов из мрамора с бронзовыми фигурами и гербами на их могиле на кладбище Невского монастыря. Он в известные сроки после их кончины, как следует почтительному сыну, уважающему память своих родителей, заказывал панихиды и сам присутствовал на них в глубоком трауре, который чрезвычайно шел к нему, резко оттеняя удивительную белизну его лица. И до сих пор ежегодно, в дни их кончины, его можно видеть в Невском монастыре. Богомольные барыни и барышни, живущие под Невским, постоянно присутствующие на всех церковных обрядах, похоронах, панихидах и проч., глядя с восхищением на Виктора Александрыча, гордо стоящего — ибо и в храме божием гордость не оставляет его — и с достоинством молящегося о успокоении души своих родителей, восклицают с чувством: «Ах, какой интересный, просто чудо! и несмотря на то, что такая знатная особа, а какой примерный сын, эдаких сыновей на редкость в нынешнем свете!»

Шесть недель после кончины матери, которые были исключительно посвящены печальным созерцаниям, исполнению обрядов и прочего, Виктор Александрыч с свойственным ему благоразумием приступил к рассмотрению и устройству своих дел: он переменил квартиру; распустил многочисленную дворню и оставил при себе только четырех человек: камердинера, лакея, кучера и

повара. Квартиру он нанял небольшую, но в лучшей части города и устроил ее, не истратив на нее ни копейки; искусно уставил ее старою родительскою мебелью, которая была получше, доставшимися ему разными вещами: саксонским и китайским фарфором, старинными кубками с двуглавыми орлами, стопами и чашами, увесил стены старинными картинами, разложил на столах книги, которых он, впрочем, никогда не читал, и иллюстрированные издания. Квартира его приняла вид совершенно аристократический. В кабинете его прежде всего бросался в глаза, в круглой великолепной резной раме, портрет его отца в полном мундире и со всеми знаками отличий, и большая подушка на диване, на которой были вышиты два соединенные герба фамилии Белогривовых и Балахиных. В год траура Виктор Александрыч почти никуда не показывался. Он выезжал в свет только на обыкновенные вечера и всего чаще посещал почетную и важную старушку, которая удостоила его не только заметить, но даже отличить на бале у княгини Красносельской. Он умел поддержать ее высокое расположение и сделаться для нее почти необходимым лицом: он просиживал у нее по целым вечерам, читал ей французские газеты (почетная старушка любила заниматься политикой) и исполнял с быстротою и аккуратностью различные ее поручения. Об истории его сестры давно уже перестали говорить, так что Виктор Александрыч совершенно успокоился касательно этого предмета и почти забыл об существовании Софьи Александровны. Об ней не было никакого слуху, и он не желал узнавать, где она и что с нею. Правда, иногда вдруг совершенно независимо от его воли и без всякого повода его внутренний голос будил в нем воспоминание об ней и нашептывал ему ее имя, но он задушал в себе этот голос мыслию, что поступок его сестры не заслуживает ни снисхождения, ни сострадания и что этим поступком она навсегда разорвала с ним кровные отношения и связи.

Успех Виктора Александрыча в свете укреплялся с каждым годом. Этому успеху он был обязан вообще женщинам, и преимущественно протекции почетной старушки. Он предпочитал дамское общество и беседу с людьми значительными, солидными и пожилыми буйным сходкам молодежи, которая, в свою очередь, не чувствовала к нему особенного расположения и называла

его *накрахмаленным господином.* Дамы почти все были на его стороне и защищали его от насмешек и нападок с большою тонкостью и ловкостью, хотя некоторые из них втайне признавались, что, несмотря на все его нравственные достоинства, от него веет холодом и скукой, и чувствовали несравненно более влечения ко многим из тех, которые вовсе не пользовались нравственной репутацией. Виктор Александрыч действительно не мог возбудить страсти, но он внушал к себе невольное расположение всего прекрасного пола за свой глубокий светский такт, за свое непогрешительное comme il faut[1] и за ту полную уверенность в своих достоинствах, которая одною чертою отделялась от наглости. При этом он обладал всеми маленькими талантами, которые в глазах женщин имеют большое достоинство. Он умел срисовать пейзаж для альбома, пропеть романс или даже какую-нибудь итальянскую арию, довольно удачно набросать карикатуру, но все эти таланты он обнаруживал только для немногих избранных. Он не принадлежал к записным светским танцорам, которые танцами приобретают себе славу и известность в свете и делают блестящую карьеру; ему гораздо приятнее было с высоты своего величия, заложив руку за жилет, обозревать великолепную и пеструю толпу, кружившуюся и двигавшуюся в бальной зале; он не любил танцы для танцев, но считал за непременную обязанность танцевать с теми, на которых обращено было особенное внимание света, которые выходили на первый план красотой, знатностью рода и особенно богатством. Он танцевал прекрасно, но без блеска и быстроты, без веселости и увлечения, потому что никогда и ни в каком случае не изменял своему холодному величию. Танцы нашего времени, для которых нужна быстрота и известная степень увлечения, не подходили к его строгому характеру, но он был бы превосходен в менуэте и вообще в старинных танцах, которые требовали плавности в движениях, спокойствия, медленности и достоинства. Ему вообще надо было бы родиться столетием ранее, потому что какое-нибудь сукно, трико и полотно не шли к его торжественной фигуре, — для нее были необходимы глазет, шелк, атлас, батист, кружева и бриллианты. Впрочем, я думаю, что люди, подобно моему герою,

[1] уменье держать себя, светскость *(франц.)*.

прошедшие через все тонкости высшей школы, не нуждаются ни в каком внешнем украшении. Если бы Виктор Александрыч не имел той привлекательной и величественной наружности, которая доставила ему прилагательное к его фамилии: *le supèrbe*[1], он все-таки был бы оценен за его умственные и нравственные качества... Об его уме говорили в свете очень много, вероятно, потому, что он говорил очень мало, но зато уж если говорил, то всегда обдуманно и рассчитанно, каждое слово и фраза заранее были взвешены в его голове и потом уже пускались в ход с таким значением и с такою важностью, что самая пустая и ничтожная фраза, которая прошла бы незаметной в устах другого, в его устах казалась необыкновенно дельною и серьезною. Он пользовался еще, между прочим, даже между великосветскою молодежью, которая отвергала все его другие достоинства, репутациею замечательного дипломата — вероятно, потому, во-первых, что служил в министерстве иностранных дел, а во-вторых, потому, что в наружности и в манере его действительно было что-то дипломатическое. Глядя на холодное, бесстрастное, серьезное и оттого как будто глубокомысленное лицо Виктора Александрыча, на его важность и на его плавные, сдержанные манеры, можно было подумать, что он носит в себе глубочайшие политические планы, соображения и тайны. Бальзак очень хорошо сказал про такого рода дипломатов: «Они считают себя великими людьми, потому что дипломатия очень удобное занятие для тех, которые не имеют никаких знаний и отличаются глубиною своей пустоты; потому что она, требуя людей, умеющих держать тайны, дает прекрасный случай невеждам значительно пожимать плечами, принимать таинственный вид и молчать». Но если Виктор Александрыч и не был дипломатом в прямом значении этого слова и ограничивался, собственно, только перепискою депеш (он имел превосходный почерк), то в жизни, в своих личных сношениях с людьми, он, без всякого сомнения, обнаруживал замечательные дипломатические способности. Начальство обращало на него особенное внимание, потому что он пользовался высокой протекцией почетной старушки и при этом имел нравственные достоинства, резко отличавшие его от других молодых людей.

[1] великолепный *(франц.)*.

Оттого он перегнал в чинах всех своих сверстников и при первой возможности был сделан камер-юнкером.

Какой-нибудь молодой человек с обыкновенным самолюбием, с ограниченными взглядами и с легкомыслием, которое так свойственно молодости, будучи на месте Виктора Александрыча, совершенно бы удовлетворился и успокоился; но Виктор Александрыч был не таков. Несмотря на то, что средства его доставляли ему возможность вести жизнь не только приличную, но даже роскошную, он считал себя чуть не бедняком и постоянно был озабочен мыслию об устройстве своей будущности в блестящих и широких размерах. Эта потребность росла в нем с каждым годом, не давая ему покоя. Ему было уже под тридцать лет. Его взгляды на жизнь сделались еще основательнее и положительнее, он с внутреннею болью сознавал, что, несмотря на некоторое значение, которым уже он пользовался в большом свете, он не имеет с ним кровной связи: что он все-таки *выскочка,* — parvenu;[1] что его светские приятели, какие-нибудь князь Драницын или граф Ветлицкий, с которыми он был на «ты», как и со всеми молодыми людьми большого света, не имеющие и сотой доли его ума, его способностей и его нравственных качеств, все-таки считают себя выше его, потому что они ведут свой род чуть не от Рюрика, тогда как его отец, несмотря на почетные титлы, с которыми он сошел в могилу, вышел неизвестно откуда; что его сестра замужем за каким-то лекарем и что хотя по матери он принадлежит к известному и старинному дворянскому роду, но все-таки что такое какие-нибудь Балахины перед Драницыными! Виктор Александрыч понимал, что ему необходимо большое богатство, чтобы возвысить род Белогривовых, придать ему блеск и заставить забыть о его темном начале. Богатство можно было приобрести не иначе, как через выгодную женитьбу. Трудная задача. Ему необходимо было, чтобы его будущая невеста имела и богатство и имя, или по крайней мере какие-нибудь связи с высшим обществом. Богатство найти еще не трудно, но имя, соединенное с богатством, такая редкость в настоящее время! Немногие богатые невесты знатного рода еще в колыбели назначаются не-

---

[1] выскочка *(франц.).*

многим богатым женихам такого же рода. Какой-нибудь миллионер откупщик, золотопромышленник или купец, конечно, почел бы за величайшую честь отдать дочь свою за Виктора Александрыча, но на дочь какого-нибудь откупщика, несмотря ни на какие ее достоинства, несмотря ни на какое воспитание и несмотря ни на какое богатство, высший свет смотрел бы все-таки свысока и оказывал бы ей только снисходительное покровительство, если бы и допустил в свой круг. Князь Драницын, например, мог в крайнем случае для поправления своих совершенно расстроенных дел решиться на такой подвиг, потому что княгиню Драницыну, кто бы она ни была, поморщившись, конечно, но все-таки признали бы *своей,* а Виктору Александрычу надобно было еще добиваться того, чтобы самому пустить корни в аристократическую почву, раскинуться и утвердиться на ней, потому что сам он в большом свете походил на молодое деревцо, пересаженное на новое место, которое, правда, уже принялось и распустилось, но еще за прочное существование которого ручаться было нельзя. Обдумав и рассчитав все это, Виктор Александрыч с терпением, осторожностию и ловкостию опытного охотника, крадущегося за дичью, начал следить за богатыми невестами и сторожить их. Но, несмотря на всю его осторожность и тонкость в этом щекотливом деле, неблагосклонная к нему светская молодежь тотчас подметила его маневры и прозвала его *искателем богатых невест.* «У него это на лбу написано», — говорили они. Это прозвище из высшего света перешло в другие общества, и какой-нибудь г. Вихляев — этот омерзительный тип крайней пустоты, пошлости и обезьянства, гуляя по Невскому проспекту с своими приятелями, при встрече с Виктором Александрычем, которого он, разумеется, знал только по имени, — всегда говорил: «А! вот искатель богатых невест».

До Виктора Александрыча не могли не доходить слухи о том, как зло его приятели отзывались об нем за глазами и какие ядовитые анекдоты распускали об нем в городе, но он нимало не смущался этим, продолжал самым дружеским образом обращаться с одним из жесточайших своих тайных врагов, князем Драницыным, и шел упорно и твердо к своей цели.

Людям такого характера, каков был у Виктора Александрыча, все удается, — и удачи эти зависят от них

самих, а не от слепого счастия, которое им приписывают люди тупоумные и нерассуждающие.

Однако все старания Виктора Александрыча к отысканию богатой невесты в свете долго оставались бесплодными. В виду для него, кроме пожилой княжны Зарайской, с большими связями и с большим, но расстроенным состоянием, никого не было. Виктор Александрыч, в ожидании чего-нибудь лучшего, стал ухаживать за княжною. Начинали даже поговаривать, что он женится на ней, как вдруг в то самое время, когда шли эти толки, совсем нежданно появилась в свете девушка без блестящего имени, но, как говорили, с огромным богатством, довольно близкая родственница одному из самых важных и значительных лиц в городе. Двоюродная сестра этого лица отдана была совершенно прожившимися родителями замуж за какого-то незначительного господина, нажившего себе миллионы посредством не совсем честных, но чрезвычайно удачных спекуляций, приобретшего имения, большие земли на юге России и железные заводы в Сибири. От этого брака родилась дочь, которая на девятнадцатом году лишилась отца (мать ее умерла еще прежде) и сделалась единственной наследницей всех этих богатств. Год своего последнего траура она провела в Москве, в доме своей родственницы по матери, и по окончании траура вызвана была в Петербург важным и значительным лицом, который принял ее под свое родственное покровительство и в доме которого она поселилась. Она также считалась в родстве, хотя довольно дальнем, с почетной старушкой, которая протежировала Виктора Александрыча.

Появление этой девушки в петербургском большом свете наделало шуму, и слухи об ее состоянии, может быть, несколько преувеличенные, быстро распространились по всему городу. Она сделалась известна под именем *богатой невесты.* Наружность ее не имела ничего замечательного: она была небольшого роста, худощава, имела цвет лица изжелта-смуглый, густые черные волосы, черные блестящие глаза и очень быстрые, порывистые и не совсем тонкие манеры. В ней не было признака того, что зовется *породою,* она походила более на отца, чем на мать. Воспитание она получила хорошее, но без всякой великосветской выдержки и людей светских, кровных и породистых смешила своей наивностию.

Несмотря на все это, свет принял ее довольно благосклонно, как богатую наследницу и родственницу значительного лица.

Виктор Александрыч с первой минуты ее появления, хотя она далеко не удовлетворяла своею наружностью и манерами того тонкого идеала женщины, который он носил в себе, решил, что это именно та, которую он ищет. На первом ее светском дебюте, на бале у графини Рябининой, он танцевал с ней мазурку и с этой минуты все свое внимание преимущественно сосредоточил на ней, не упуская, впрочем, совершенно из виду княжну Зарайскую, из боязни злого языка раздраженной пожилой девушки, чтобы не вдруг открыть свои настоящие виды. Богатая невеста сначала как будто несколько робела перед Виктором Александрычем, но потом начала постепенно привыкать к нему и даже видимо чувствовать некоторое расположение.

— Знаете ли, что я вас первое время ужасно боялась, — сказала она ему однажды, с свойственной ей живостию, улыбаясь и прямо смотря ему в глаза.

— Будто? отчего же это? — спросил Виктор Александрыч.

— Оттого, — отвечала она, — что вы держите себя так важно и недоступно, как будто всё, что кругом вас, недостойно вашего внимания. Скажите, зачем вы это делаете?

Этот наивный вопрос и тон, которым он был произнесен, не понравились Виктору Александровичу, однако он скрыл это и произнес с едва заметной улыбкой:

— Вы уж никак не можете сказать, чтобы я не обращал *ни на кого* особенного внимания. Вы должны по крайней мере исключить из всех *себя*...

— Мне очень лестно, что я попала в исключение, — сказала она, — но я, в самом деле, принадлежу к исключениям в вашем свете. Я еще не могу привыкнуть к нему, мне все как-то еще неловко и странно... Здесь как-то и дышать трудно, — прибавила она, засмеявшись, — как будто мне недостает воздуху... Я привыкла к более свободной жизни.

«Ты отвыкнешь от нее!» — подумал Виктор Александрыч.

К окончанию бального сезона в городе начали носиться слухи о разных браках и, между прочим, о браке

Белогривова с богатой невестой. Последний слух был несправедлив, хотя и имел некоторое основание, потому что виды на нее Виктора Александрыча не были уже тайною для тех, которые ездят в свет.

Этим видам в особенности способствовала его покровительница — почетная старушка. Еще вскоре после приезда в Петербург богатой невесты она сказала Виктору Александрычу с расстановками и понюхивая табак из своей золотой табакерки, с портретом на эмали императрицы Екатерины:

— Тебе, батюшка, пора бы уж подумать о том, чтобы завестись своим домом... ты человек такой порядочный, солидный... к тебе нейдет холостая жизнь... Вот тебе невеста... приезжая-то эта... Лиза Карачевская. Право. Чего же лучше? Она богата... Ее отец... я его не знала, он, говорят, был так, из каких-то из простых, аферист какой-то был... он оставил ей огромное состояние; ну, а по матери она имеет хорошее родство... Она и мне ведь как-то доводится... мы с матерью-то ее были троюродные... ну, а дядя ее, князь Андрей Федорыч — теперь важное лицо... а помню еще, как мальчишкой в курточке бегал... Ты как ее находишь?..

Виктор Александрыч отвечал, что она ему нравится.

— Да, она ничего... вертлявая только такая... ну да что ж требовать?.. Девочка порядочного общества еще не видала...

Месяца через три после этого, в одно утро, Виктор Александрыч сидел у почетной старушки и, по обыкновению, читал ей газеты, только что полученные с почты. Когда чтение окончилось, она, по обыкновению, понюхала табаку и начала по поводу этих газет делать свои критические замечания.

— Вот, — говорила она, — этого Гизо называют умником... Что ж в нем умного?.. Бог знает, что теперь делается во Франции... Шумят, кричат в этих Палатах, без всякого толку... Всех бы их выгнать по шеям и призвать бы на престол законного короля Генриха Пятого... Ах, какой безалаберный, пустой народ эти французы!.. Ну, да бог с ними... Скажи-ка мне лучше, как идут твои дела?

— Какие дела? — спросил Виктор Александрыч, притворяясь, что не понимает вопроса.

— Как какие? — возразила старушка, вертя табакерку между двумя морщинистыми пальцами, из которых

на одном горел старинный брильянтовый перстень, — а Лиза-то Карачевская? Она была у меня... я спрашивала у нее про тебя. — «Что, я говорю, нравится ли он тебе?.. да говори правду...» Сначала замялась, ну, а потом призналась, что ты ей очень нравишься. Что же, ты бы уж кончал это дело... Зачем в долгий ящик откладывать... Хочешь, чтобы я переговорила предварительно с дядей-то ее?.. Ведь его нельзя обойти.

— Я хотел вас просить об этом, — сказал Виктор Александрыч с почтительным наклонением головы.

— Хорошо, мой друг, я постараюсь тебе устроить это дело.

Через несколько дней после этого разговора значительное лицо заехало к ней с визитом. Старушка (которая была большая говорунья) завела речь о скверном петербургском климате; о нынешней молодежи, которая, по ее мнению, ни на что не похожа; удивлялась княгине Л*, которая допускает в свой парижский салон Гизо и еще дружится с ним, несмотря на то, что он министр незаконного короля, и после минуты отдыха, понюхав табаку, завертела свою табакерку между двумя пальцами.

— Ну, а что, князь, твоя Лиза? — спросила она.

Князь отвечал, что ничего и что она понемногу начинает привыкать к свету, к обществу.

— Что, ей, я думаю, лет уж двадцать с лишком? Ей бы и замуж пора. От женихов-то, я чай, нет отбоя.

Князь отвечал, что он ничего не знает и не слыхал ни о каких женихах.

— Нет, ей пора, пора замуж, — произнесла старушка настоятельным тоном, посмотрела на князя значительно и остановилась на минуту. — У меня есть в виду для нее жених...

— В самом деле? — отвечал князь, улыбнувшись. — Кто же это?

— Отличный молодой человек во всех отношениях — умный, скромный, порядочный... un homme tout à fait comme il faut...[1] только не в нынешнем смысле... он непохож на эту молодежь, которая беспутничает, шляется по трактирам и волочится за плясуньями. Он сын почтенного отца и человек, который может сделать карьеру. Ты ведь, князь, знаешь его... я говорю о Белогривове,

---

[1] человек вполне светский *(франц.)*.

— А-а!.. он, точно, очень достойный молодой человек, — возразил князь, — но я полагаю, что Lise может сделать партию более видную.

Табакерка с портретом императрицы Екатерины быстро завертелась между двумя пальцами почетной старушки, морщинистая голова ее затряслась, и все туловище ее пришло в движение.

— Я любопытна знать, — произнесла она дребезжащим от волнения голосом, — почему же Белогривов ей не партия, чем он ниже ее... что же такое был ее отец?.. Вспомните, князь... надо же смотреть на вещи так, как они есть... Он может составить счастие этой девочки.

Почетная старушка пользовалась столь сильным авторитетом и значением, что даже такое значительное лицо, как князь, перед которым всё расступалось, кланялось и благоговело, пришел в некоторое смущение от ее гнева. Он начал как будто оправдываться, говорил, что ему еще и в голову не приходило о замужестве племянницы и что он сделал возражение это так.

Старушка приподнялась с своих кресел, величаво выпрямилась и, обратясь к значительному лицу, произнесла с чувством подавляющей гордости:

— Белогривов делает предложение вашей племяннице, князь, *через меня...*

— Я должен переговорить с нею, — перебил князь.

— Делайте, как знаете, но если вам не угодно будет по каким-нибудь вашим расчетам принять его предложение, то вы ему откажите, князь, *через меня,* потому что я принимаю участие в этом деле.

Произнеся это, старушка поклонилась князю и, несмотря на свои лета и уже несколько согбенный стан, торжественно, как власть имеющая, вышла из комнаты.

На другой день Виктор Александрыч был объявлен женихом богатой невесты.

Почетная старушка держала в страхе всех, от больших до маленьких, она не терпела никаких возражений, ее просьба была почти приказанием, потому что никто и никогда не осмеливался отказывать ей ни в чем; значительные лица за глазами подсмеивались над ней, но в глаза показывали ей знаки глубочайшего уважения; про ее странности, капризы и деспотический характер ходили в городе бесчисленные рассказы.

Однажды, говорят, ее родной племянник, известный генерал, увешанный знаками отличий, приехал к ней с визитом. Она сидела в своей маленькой гостиной на своем старинном вольтеровском кресле и с своей неразлучной табакеркой в руке. Племянник раскланялся, поцеловал ее руку, она указала ему на кресло против себя, он сел и в жару какого-то рассказа, забывшись, облокотился о спинку кресел и положил ногу на ногу. Старушка долго смотрела на него и на его ноги с вниманием, которое не обещало ничего доброго, и наконец вдруг прервала его речь.

— Что это такое? — вскрикнула она. — Посмотрите на себя, батюшка, как вы сидите передо мною? вы забываетесь! Я вас прошу выйти вон.

И три месяца после этого не пускала к себе генерала на глаза.

Пользоваться покровительством такой особы удавалось не всякому и было не так легко. Виктор Александрыч принадлежал к немногим счастливцам. Почетная старушка, которая в последнее время почти никуда не выезжала и изредка только удостоивала чести своим посещением немногих избранных, сама вызвалась быть посаженой матерью Виктора Александрыча. О такой высокой чести кричал с удивлением весь город, и это обстоятельство значительно подняло Виктора Александрыча во мнении света. Посаженый отец, конечно, выбран был под пару посаженой матери. Свадьба, совершившаяся в церкви одного аристократического дома, была вообще необыкновенно блистательная и наделала в свое время большого шуму в городе.

— Vous savez la grande nouvelle, mon cher? [1] искатель богатых невест и накрахмаленный господин достиг-таки своей цели, — сказал князь Драницын адъютанту, только что вернувшемуся из какой-то поездки, с которым он встретился на Невском, — мы его вчера обвенчали на богатой невесте. Я был его шафером, а княгиня Анна Васильевна посаженой матерью... сама княгиня Анна Васильевна!

— Bah! — воскликнул адъютант, разинув рот от удивления при этом имени и остановившись на этом bah.

---

[1] Знаете ли вы большую новость, мой дорогой? *(франц.)*

IV

Через полтора месяца после брака Виктора Александрыча супруга его вручила ему полную и неограниченную доверенность на управление всем ее имением. Через год он купил дом на собственное имя и начал устроивать его с великолепием, не уступавшим первым домам столицы. Дом этот, отделанный снаружи в растреллиевском стиле, вроде дома князей Белосельских, считается теперь одним из лучших домов в Петербурге.

Первые месяца после своего замужества Лизавета Васильевна, так звали супругу Виктора Александрыча, казалась совершенно счастливою: ее все радовало, все занимало, все удивляло, и вследствие своего живого характера она обнаруживала свое удивленье и свою радость прямо, с добродушием и искренностию. Лизавете Васильевне не приходило в голову, что благовоспитанные светские женщины не высказывают своих внутренних движений и что в свете всякое увлечение считается отсутствием такта и неприличием. Лизавета Васильевна иногда вдруг, в порыве своего чувства, бросалась на шею к своему супругу, обнимала его и объяснялась ему в любви.

— Я не хочу, Victor, — говорила она ему, — чтобы ты был такой мрачный, серьезный, неподвижный... Мне все кажется, что ты сердишься на что-нибудь или чем-нибудь недоволен. Если ты любишь меня, ты должен быть теперь так же весел и счастлив, как я. Ведь ты любишь меня? ну, скажи мне, любишь?.. да?..

Эти вопросы о любви, с которыми приставали к нему, производили на него самое неприятное впечатление... Но в устах жены они казались ему еще неприятнее, чем в устах сестры.

— Что за объяснения! — возражал он со своим обычным холодным достоинством. — Ты знаешь, что я тебя люблю, я знаю, что ты меня любишь. Любовные фразы говорят только в романах и на театре... Порядочные люди любят молча...

— Какой ты несносный, Victor, — перебивала она полушутя, полусерьезно, — что мне за дело до твоих порядочных людей... Бог с ними! я знаю, что я непорядочная, потому что я не могу скрывать того, что чувствую.

При слове *непорядочная* Виктора Александрыча как-то всего невольно передернуло, и брови его вдруг сдвинулись.

— Это дурно, очень дурно, — возразил он, сдерживая себя. — Ты не девочка уж, не пансионерка какая-нибудь... Ты имеешь положение в свете.

Лизавета Васильевна от нетерпения хлопала ножкой...

— Ах, как это скучно, мораль! — говорила она, нахмурив брови, но улыбаясь в то же время, — ты меня убиваешь... Отчего ты такой холодный, Victor, скажи мне?

— Ты смотришь на все как-то странно, — отвечал Виктор Александрыч, — для тебя радость должна непременно выражаться смехом, любовь — нежными объяснениями, фразами и ласками, печаль — слезами, и я тебе кажусь холодным потому только, что умею владеть собой; это необходимо, ты скоро сама поймешь это... Людей, которые не умеют владеть собой в свете, называют неблаговоспитанными.

— Положим, — возразила Лизавета Васильевна, — надо уметь владеть собой в свете, положим, что смешно и неприлично обнаруживать свои чувства перед людьми посторонними, но зачем мы будем скрывать друг от друга свои чувства, впечатления, мысли, когда мы вдвоем, когда мы наедине? Я не понимаю этого.

Такого рода разговоры обыкновенно оканчивались замечаниями Виктора Александрыча, что вместо того чтобы рассуждать, гораздо лучше вести себя так, как ведут все.

Один раз Лизавета Васильевна, которая старалась заметно, с некоторого времени, сдерживать свои внутренние ощущения (она уж не так часто бросалась на шею к супругу), после обыкновенного с ним разговора на минуту задумалась и потом вдруг обратилась к нему:

— Я давно хотела тебя спросить, — сказала она, делая некоторое усилие над собою, — но я не знаю, меня что-то останавливало... у тебя, говорят, есть сестра, а я ничего не знала об этом.

В голосе, которым она произнесла это, было более грусти, чем упрека.

Надобно было пройти сквозь все искусы высшей школы, чтобы не обнаружить при этом неожиданном вопросе ни движением, ни взглядом, ни восклицанием ни малейшего волнения. Вопрос этот кольнул Виктора

Александрыча в самое больное место, но он отвечал на это равнодушным и спокойным тоном:

— Кто тебе сказал?..

— Для чего тебе это знать? Впрочем, это мне было передано не за тайну, и я могу тебе сказать кто... но скажи мне прежде, правда это или нет?

Виктор Александрыч отвечал, что у него, точно, была сестра и что она, может быть, жива еще, но вследствие ее ужасного поступка для него она уже более не существует. И он рассказал всю историю ее: как она бежала из родительского дома, убила отца и мать и прочее.

Лизавета Васильевна не могла скрыть своих ощущений при этом рассказе; сдерживаемые слезы крупными каплями выступали на ее глазах и лились по ее смуглым щекам.

— Отчего же ты мне не сказал об ней прежде? — спросила она с горячностию и волнением, — от меня ты, казалось бы, не должен был скрывать этого...

— Для чего бы я стал говорить об этом! — отвечал он. — Между ею и мною все сношения прерваны; ни я ни ты, надеюсь, никогда ее не увидим.

Лизавета Васильевна вздрогнула.

— Но если она сделала дурной поступок, — сказала она через минуту, — то это было по увлечению, по страсти. И бог прощает, — неужели же ты никогда не простишь этого сестре?

— Я тебя прошу *никогда* более не говорить мне об этом, — сказал Виктор Александрыч твердо.

Лизавета Васильевна повиновалась его воле, но этот разговор оставил в ней тяжелое и горькое впечатление, и мысль об этой отверженной долго преследовала ее.

Виктор Александрыч, вначале останавливавший легкими замечаниями порывы и увлечения своей супруги, противоречившие совершенно великосветскому понятию о благовоспитанности, видел, что против этого надобно принять меры более серьезные. Он сознавал опасность этих порывов, если им дать полную волю, необходимость охладить горячность ее сердца, затушить ее *идеальные, романические* стремления и не дозволить им развиваться... Виктор Александрыч все глубокие человеческие чувства, все горячие убеждения сердца называл идеальными и романическими стремлениями... Он понимал необходи-

мость дисциплинировать ее, дать ей практическое направление, перевоспитать на свой манер, подвергнуть ее всем пыткам высшей школы, чтобы сделать из нее настоящую светскую женщину, достойную носить фамилию Белогривовых. Все это было, конечно, не совсем легко, но он успокоивал себя мыслию, что такие характеры, каков был у Лизаветы Васильевны, имеющие много горячности, но мало твердости, легко вспыхивающие, но скоро охлаждающиеся, должны без больших препятствий подчиняться постороннему влиянию, особенно если действовать на них постепенно и не слишком резко.

Виктор Александрыч приступил к своей цели с осторожностью и ловкостью и не сомневался в успехе. Он знал, что Лизавета Васильевна имела наклонность к чтению, и хотя сам был убежден, что книги, исключая весьма немногих, приносят более вреда, нежели пользы, но он не вооружался против ее наклонности: напротив, сам взялся устроить ей библиотеку, исключив из нее современные романы, которые, по его мнению, были наполнены нелепыми фантазиями и утопиями, располагающими к пустому идеализму и вредной экзальтации... Особенным презрением его пользовалась Жорж Санд, произносить имя которой он считал даже неприличным; о классических писателях Виктор Александрыч отзывался, напротив, с большою благосклонностию и особенно о Корнеле, которого называл не иначе, как le grand Corneille[1], и замечал, что он внушает высокие, героические чувства. Из боязни, однако, чтобы в библиотеку его супруги не попало что-нибудь проникнутое безнравственным современным направлением и не вполне полагаясь в этом случае на себя, он прибегнул к совету одного очень известного в свете пожилого господина, глядевшего исподлобья, но с выражением сладким и вкрадчивым, пользовавшегося репутацией человека необыкновенно умного, многосторонне образованного и глубоко нравственного и состоявшего при многих великосветских барынях в качестве директора их совести. Говорили, что этот господин вел сначала жизнь довольно беспутную, промотался, потерял всякое значение в свете и превратился в утонченного лицемера и ядовитого ханжу, для того чтобы восстановить свою репутацию. Но Виктор

---

[1] великий Корнель *(франц.)*.

Александрыч не верил этим толкам, очень уважал его и питал полную доверенность к его душевным качествам.

Дамский руководитель принял с большою радостию предложение Виктора Александрыча и деятельно занялся составлением библиотеки для Лизаветы Васильевны. Это обстоятельство сблизило его с нею, и он, после первых неудач, незаметно начал вкрадываться в ее душу и приобретать ее доверенность. Виктор Александрыч не только не препятствовал этому, напротив, был очень доволен. Он знал, что этот господин преследовал с неутомимым упорством всякого рода увлечения и порывы и проповедовал о необходимости для женщины нравственной дисциплины, состоявшей в полном смирении, безусловной подчиненности и покорности перед мужем, каков бы он ни был, и перед светом и его уставами. Виктор Александрыч знал, что всякий протест, малейшее проявление воли были, по мнению этого почтенного лица, преступлением; что он придавал словам своим еще бо̀льшую силу слезами на глазах и дрожанием в голосе, что, как известно, очень сильно действует на женские нервы и на впечатлительные и слабые натуры.

Но в то время как дамский руководитель употреблял все усилия для того, чтобы дисциплинировать душу Лизаветы Васильевны, — Виктор Александрыч, с своей стороны, предпринимал все меры, чтобы придать своей супруге безукоризненную великосветскую наружность и подчинить ее всем условиям высшей школы. Каждый шаг ее, каждое слово, каждый взгляд, каждое движение подвергались его утонченнейшему контролю. Он дошел до того, что останавливал ее иногда на полслове одним едва заметным движением своей брови.

Бедная женщина не без внутренней борьбы, не без тайных страданий покорялась своим нравственным великосветским руководителям. Все ее благородные инстинкты восставали против этого нестерпимого деспотизма. Она понимала посягательство на свою свободу, чувствовала, что в ней убивают все живое, все искреннее, все человеческое во имя каких-то законов и условий неумолимого и беспощадного приличия, и, вырываясь от своих наставников, втайне, наедине, облегчала несколько боль притесненной души рыданиями, свободно вырывавшимися из груди, и потоками слез.

Привязанность ее к Виктору Александрычу начала колебаться подозрениями, что он не любит ее и не любил, что он женился не на ней, а на ее богатстве, что он человек холодный, эгоист, — и, в порывах своего негодования на него, в отчаянии, она кокетничала с каким-то офицером, который особенно ухаживал за ней. Иногда, впрочем, она старалась оправдывать Виктора Александрыча и утешать себя мыслию, что ее подозрения несправедливы, что все это ей так только кажется, что он любит ее и в самом деле желает ей добра, — и тогда она обвиняла себя в непростительной и преступной подозрительности, в безнравственном кокетстве; находила, что ей действительно нужно перевоспитать себя для света, что ее нельзя любить так, как она есть. Дамский руководитель казался ей то лицемером и шпионом, приставленным к ней мужем; то человеком, в самом деле достойным полного уважения за свои нравственные правила. Все понятия, мысли, взгляды, убеждения, которые начинали зарождаться в ней, — все это было поколеблено; она чувствовала хаос внутри себя. То, что она считала нравственным, называли безнравственным, то, в чем она видела благородные стремления, от чего радостно билось ее сердце, во что она желала горячо верить, называлось опасным заблуждением, ложным и пустым идеализмом и так далее. Все любимые ее писатели, которыми она увлекалась прежде и которых читала с жадностию, предавались неслыханным обвинениям, считались растлителями нравов, посягающими на все высокое и прекрасное. Лизавета Васильевна совершенно потерялась, в ней все перепуталось и смешалось, она не знала, где добро и где зло, что нравственно и что безнравственно. Ее веселость и живость пропали, у нее обнаружились нервические припадки; ей было тяжело, как человеку, вдруг ослепнувшему и бродящему ощупью.

Виктор Александрыч видел в ней наружную перемену, но не подозревал, какие внутренние муки переносила она, потому что сам никогда не испытывал их; он был доволен тем, что она держала себя серьезнее, приличнее и с бо̀льшим достоинством. Но от дамского руководителя не укрылось то, что совершалось в душе Лизаветы Васильевны. Это была самая удобная для него минута, чтобы действовать на нее. Она стояла на распутии, в недоумении, по какой дороге идти, — и ей надо было указать эту дорогу

и поддержать ее. С необыкновенною вкрадчивостию и во всеоружии он приступил к своему подвигу... Для убеждения ее в ход было выпущено все: красноречие, цитаты из книг, слезы на глазах, дрожание в голосе и проч.

Против всего этого слабой женщине устоять было невозможно; борьба была слишком неровная, и Лизавета Васильевна после долгих сопротивлений и колебаний должна была признать себя побежденной и покориться.

— Благодарю вас, — сказала она однажды своему наставнику, после долгой беседы с ним, — вы успокоили мою душу и примирили меня с самой собою.

— Это самая лучшая минута в моей жизни, — произнес он, приподнимая зрачки к потолку, — но вы должны прежде всего благодарить не меня, — я только слепое орудие высшей воли...

Спокойствие, точно, возвратилось в душу Лизаветы Васильевны, но прежняя веселость, простота и искренность уже не возвращались к ней. Зато, к совершенному удовольствию Виктора Александрыча, она начинала усвоивать себе понемногу все приемы великосветских дам. В ней и следов не осталось тех порывов и увлечений, которые так оскорбляли тонкое чувство приличия в ее супруге: она уж не ласкалась к нему и не говорила ему о своей любви. Лизавета Васильевна дошла до того, что не знала, любит ли она его или нет, да и не старалась анализировать свое сердце, — он был ее муж, и она склонялась перед авторитетом мужа, сохраняя, впрочем, свое внешнее достоинство. Первый искренний пыл любви и молодости исчез в ней, уступив место суровому и непреклонному долгу. Более ничего и не требовал от нее Виктор Александрыч. Она начинала осуществлять его идеал жены. Но этот внутренний перелом, которому подверглась Лизавета Васильевна, не мог остаться без последствий, потому что он совершился не без борьбы. Она чувствовала первое время после своего обновления страшную пустоту, томленье и тоску, которые всячески старалась подавлять в себе. В этом положении она обратилась к общественной благотворительности и сделалась попечительницей какого-то приюта. Приют этот, процветавший под ее бдительным и неусыпным надзором, скоро достиг до такого совершенства, что обратил на себя внимание всех известных в городе благотворителей и благотворительниц. Его ставили в образец. В свете заговорили

об Лизавете Васильевне как об женщине, достойной уважения и истинной христианке.

— Вот что значит иметь хорошего мужа, — говорили про нее в один голос все люди, известные в Петербурге своей неоспоримою благонамеренностию и нравственностию, — что она была такое, когда выходила замуж? — ничтожная девочка, дурно воспитанная, пустая вертушка, не умевшая себя вести прилично, — а теперь во всех отношениях примерная женщина, — и кому всем этим обязана? мужу!

Когда отношения Виктора Александрыча с женою определились и приняли именно тот великосветский приличный характер, который они должны были иметь, Виктор Александрыч, в свою очередь, для развлечения (потому что он немного скучал дома), начал посещать довольно часто одну даму, которая известна была в Петербурге под именем Дарьи Васильевны. Вскоре после этого Дарья Васильевна переехала на новую, прекрасно меблированную квартиру. Несмотря, однако, на то, что Виктор Александрыч не подавал ни малейшего повода к каким-нибудь неблаговидным заключениям относительно сношений своих с этою дамою, многие уверяли, что новая квартира Дарьи Васильевны была будто бы меблирована на его счет и что за ее лошадей платил будто бы его секретарь — г-н Подберезский, известному Пахомову, который для некоторых дам поставляет, вместе с экипажами, разодетых детей. Рассказывали, между прочим, будто Виктор Александрыч держит очень строго Дарью Васильевну и не позволяет ей слишком выставляться. Все эти слухи большею частию распространял князь Драницын. Я им никогда не верил, потому что строго нравственные правила Виктора Александрыча совершенно противоречили этим слухам... Но если и допустить справедливость их, то и тогда нельзя все-таки не заметить, что Виктор Александрыч вел себя как истинный джентльмен, как достойный представитель высшей школы: он не щеголял своею безнравственною связью, не пускал пыль в глаза экипажами и нарядами своей возлюбленной, не показывался вместе с нею на публичных гуляньях, как это делают те, которые считают себя безукоризненными джентльменами. Виктор Александрыч мог и в этом служить образцом для многих великосветских господ с громкими именами.

Карьера Виктора Александрыча быстро двигалась вперед. Он уже имел значительное звание. Через четыре года после своей женитьбы он переехал в свой новый дом и открыл свои великолепные салоны. Он давал роскошные, тонкие обеды и блистательные вечера, на которые съезжалось самое избранное общество, начиная с княгини Анны Васильевны.

Княгиня, смотря однажды на хозяйку дома, которая с необыкновенною приветливостию и любезностию, соединенною с достоинством, принимала своих блестящих гостей, подозвала ее к себе.

— Ну, Lise, признаюсь тебе, — сказала она, — я не узнаю тебя. Ты переродилась. Поздравляю тебя. Я любуюсь тобой, мой друг. Вот что значит иметь такого мужа, как ты. Ты должна уметь ценить его.

Старушка понюхала табаку и продолжала:

— Немногим выпадает на долю такое счастье, как тебе... очень немногим...

Старушка при этом покачала значительно головой, которая у нее и без того качалась от старости.

— Чувствуешь ли ты это... а?.. Ну, скажи мне, мой друг, ведь правда... ты очень счастлива? — прибавила она, улыбаясь.

— Очень, — отвечала Лизавета Васильевна с спокойным достоинством и с холодною улыбкою, — и в ту же минуту обратилась к только что вошедшему в комнату какому-то старому военному генералу, с грудью, украшенною орденами и звездами.

V

В одно утро Виктор Александрыч сидел в своем кабинете в особенно приятном расположении духа. Он выпускал изо рту благовонный дым гаванской сигары, следил за синеватою струйкою дыма и с приятностию потягивался в своих креслах. Душевное спокойствие его было так полно, что оно придавало в эту минуту его лицу, обыкновенно строгому и даже несколько суровому, совершенно несвойственное ему выражение, мягкое и кроткое. Он был доволен всем — своим положением в свете, своею служебною карьерою, своим здоровьем, своим аппетитом, своими доходами, своим новым домом,

своим выигрышем (он накануне выиграл в Английском клубе 8000 руб.), своей женою и, может быть, Дарьею Васильевною, если допустить городские сплетни...

Но так как самый счастливейший человек в мире, которому, по-видимому, не остается уже ничего желать, все еще непременно желает чего-нибудь, — то и Виктор Александрыч, несмотря на свое совершенное довольство, желал получить одно довольно видное место, которое ему было обещано.

В ту самую минуту, когда он погрузился в размышления об этом месте, перед ним вдруг как будто выскочил из-под пола ливрейный лакей с серебряным подносом, на котором лежало письмо. Шагов лакея нельзя было слышать на мягком и толстом ковре. Лакей стоял несколько минут не замечаемый Виктором Александрычем и наконец решился слегка кашлянуть. Виктор Александрыч сделал движение головою, причем кроткое выражение его лица мгновенно исчезло и приняло свое обычное, строгое достоинство.

Он молча взял письмо с подноса и сделал движение головою. Лакей вышел. Виктор Александрыч взглянул на конверт... На нем был штемпель городской почты, почерк женский и как будто знакомый ему; он оборотил письмо и посмотрел на печать; на сургуче была одна буква Б. «Что это такое? Откуда это?» — подумал Виктор Александрыч. Он надломил печать, вынул письмо не без любопытства (оно было писано по-французски) и начал читать:

«Я долго не решалась писать к тебе, — в продолжение двух месяцев каждый день я бралась за перо и бросала его, и только страх голодной смерти заставляет меня прибегать к тебе...»

Виктор Александрыч побледнел немного и, остановившись на этих первых строках, взглянул на подпись. Письмо было от его сестры. Брови его невольно надвинулись на глаза. Он продолжал читать:

«Страх смерти! когда я сознаю, что мне ничего не остается, кроме смерти, но слабая человеческая природа подвержена таким странным противоречиям... Я хочу умереть, я знаю, что умру скоро, и между тем боюсь голодной смерти... Я чувствую, что я унижаюсь, прося милостыни и подаяния и в то же время упрекаю себя за гордость и утешаю себя мыслию, что прошу не у посто-

роннего, а у брата... Ты все-таки брат мне, и, несмотря на бездну, которая нас разделяет теперь, несмотря на то, что ты совсем бросил меня, забыл обо мне, несмотря на то, что между нами нет ничего общего, я все-таки люблю тебя, как брата. Этой любви, о которой ты, верно, не заботишься, ничто не могло искоренить во мне... Но я люблю тебя не в теперешнем твоем богатстве и блеске... Мы теперь и не узнали бы друг друга при встрече... сколько лет мы не видались!.. Ты мне все представляешься тем Виктором, с которым мы выросли вместе, с которым мы играли в куклы... Я люблю в тебе прежнего Виктора, моего маленького брата... Но, может быть, в тебе изгладились все воспоминания прошедшего, и я тревожу твое счастие, твое спокойствие напоминанием о себе. Прости мне!.. Я чувствую, что мне не следовало бы писать к тебе. Я знаю, что богатые не любят докучливости бедных... Ты можешь мне сказать, что я терплю должное наказание за мой поступок и что я не заслуживаю сострадания. Ты можешь подумать, что я вижу теперь безрассудность этого поступка и раскаиваюсь в нем... О нет... нет! Клянусь тебе, я не могу раскаиваться, я была счастлива настолько, насколько может быть счастлива женщина, любимая благородным, прекрасным человеком, который делал все, что только может делать человек для доставления ей довольства и спокойствия. При нем я ни в чем не нуждалась. Он жил мной и трудился для меня. Я гордилась его любовью, я была счастлива так, как может быть счастлива женщина, — я повторяю тебе... Два года, как его уж нет. Может быть, отнимая его у меня, бог наказывал меня за то, что я вышла замуж без благословения отца и матери... Может быть, я не знаю этого, — я знаю только, что я страдаю, и с терпением, какое только может иметь слабая женщина, переносила до сей минуты это наказание. До сих пор я не прибегала ни к чьей помощи. Я молча несла свою нищету до последней возможности. Муж мой не мог мне оставить ничего, потому что у него ничего не было; то, что он приобретал, доставало нам только для безбедной жизни. После его смерти я кое-как поддерживала себя своей работой и тем, что продавала кое-какие вещи, оставшиеся от нашего прежнего хозяйства... в сию минуту мне уже продавать нечего, я так слаба и больна, что не могу работать, а умереть голодною смертию все-

таки страшно!.. Спаси меня и помоги мне, если не из сострадания к бедной сестре, то из чувства христианского сострадания. Мне остается не долго жить, — я больна... Если бы не моя болезнь, которая лишила меня возможности работать, я не прибегала бы к помощи... Но что же мне делать? — я не знаю... Я еще что-то хотела сказать тебе, но я не могу, я ничего не помню... мысли мои путаются, голова моя так слаба! О, если бы ты знал, чего мне стоило написать это письмо и чего мне стоило решиться послать его к тебе...»

В конце письма был адрес.

Прочитав письмо, Виктор Александрыч опустил голову, которую, как известно, он всегда держал прямо, и задумался.

Через минуту он встал, подошел к своему письменному столу, выписал адрес из письма, а письмо бросил в топившийся камин и дернул за звонок.

— Послать ко мне сейчас Подберезского, — сказал он вошедшему лакею.

Через четверть часа г. Подберезский явился.

Это был белокурый молодой человек, с румянцем на щеках, с маленькими глазами, с сладкой улыбкой и с подобострастными ужимками. Он вошел в комнату с такою осторожностью, как будто пол был под ним хрустальный.

— Любезный Викентий Станиславич, — сказал Виктор Александрыч своему секретарю, который в знак глубочайшего внимания почтительно вытянул шею несколько вперед и сжал губы, — вот вам адрес одной дамы, которой нужна скорая помощь. Поезжайте к ней сейчас и отвезите ей пятьсот рублей, кроме того, распорядитесь, чтобы каждый месяц ей выдавали по полутораста рублей. Вы не должны говорить ей, от кого эти деньги и не должны упоминать при ней моего имени. Вы просто отдайте те деньги, не вступая ни в какие объяснения. Вообще я вас прошу, чтобы это было между нами. Слышите?

При этих словах Викентий Станиславич опустил веки, раскрыл рот, как будто хотел что-то признести, но не произнес ничего, а только приложил руку к сердцу.

— Поезжайте сейчас, — прибавил Виктор Александрыч.

— Слушаю-с. Я сейчас же это с точностию исполню, — произнес секретарь тихим и вкрадчивым

голосом, поклонился и вышел из кабинета своего принципала с такою же почтительною осторожностью, с какою вошел.

Через час Викентий Станиславич возвратился и доложил, что отвез деньги.

— Вы не говорили от кого? — спросил Виктор Александрыч.

— О нет, помилуйте! я буквально исполнил ваше приказание...

— Вы ее видели? отдали ей самой эти деньги?

— Я все исполнил так, как вы приказали, в точности... Она спросила от кого, но я сказал ей так глухо, что от неизвестного благотворителя...

— Ну хорошо, хорошо! — нетерпеливо перебил Виктор Александрыч, останавливая дальнейшие объяснения своего секретаря.

Виктора Александрыча беспокоила несколько мысль, чтобы секретарь не узнал каким-нибудь образом о том, какие отношения связывают его с этою дамою, и когда секретарь явился к нему с ответом, он посмотрел на него пытливым взглядом; но в лице Викентия Станиславича было столько простодушия и тупоумной подчиненности, что Виктор Александрыч совершенно успокоился; а между тем Викентий Станиславич тотчас же все разузнал в подробности и думал, смеясь внутренно и глядя на своего принципала: «Ну ты, конечно, хитер, но я все-таки буду похитрее тебя!»

Обеспечив существование Софьи Александровны по чувству долга, Виктор Александрыч успокоил свою совесть и думал, что этим он совершенно отделался от своей сестры, как вдруг был встревожен новым письмом от нее — месяца через четыре после первого. В этот раз он не хотел беспокоить себя неприятным впечатлением и, не распечатывая, бросил его на стол.

Софья Александровна начинала нарушать гармоническое настроение духа Виктора Александрыча. При мысли, что каким-нибудь образом дойдут до света слухи о том, что его сестра содержала себя трудами рук своих, как какая-нибудь швея, что она жила в нищете, — холодный пот выступал на его лбу.

Беспокойство его продолжалось, впрочем, недолго, потому что через неделю после не прочитанного им письма г. Подберезский, являвшийся к нему каждое утро за

приказаниями, доложил ему, что дама, пользовавшаяся его благотворительностию, та самая, которой, по его приказанию, выдавалось по полутораста рублей в месяц, в эту ночь скончалась, что он утром был у нее для того, чтобы отвезти ей следуемые деньги, и застал ее уже на столе.

Г-н Подберезский произнес это с почтительною осторожностию, с потупленными глазами, с печальным выражением, и прибавил со вздохом, что эта дама была очень нездорова последнее время.

Виктор Александрыч выслушал своего секретаря так хладнокровно и спокойно, как будто он донес ему о самом обыкновенном вседневном происшествии, несмотря на то, что внутренно был сильно взволнован двумя совершенно противоположными ощущениями: смерть эта пробудила в нем что-то похожее на участие к бедной женщине, так много страдавшей, и в то же время ему было как будто приятно, что все его беспокойства и опасения уничтожаются этою смертию.

— Очень жаль, — сказал Виктор Александрыч своему секретарю голосом спокойным, — я вас прошу распорядиться насчет ее похорон... Я желаю, чтобы все было устроено прилично и чтобы на могиле был поставлен памятник. Эти дни вы можете отложить все другие дела и заняться этим. Я вас не удерживаю. Вам сейчас же надобно отправиться туда.

Секретарь еще раз вздохнул, поклонился и вышел.

Оставшись один, Виктор Александрыч вспомнил о письме к нему сестры и распечатал его. В нем заключалась последняя ее просьба — приехать с ней проститься.

Виктор Александрыч не сжег этого письма, он положил его в тот ящик стола, где хранились самые важные его бумаги. Несколько минут он просидел, облокотившись на стол.

«Да простит ее бог, как я ее прощаю! — подумал он. — Она искупила своими страданиями свой проступок. Ей ничего не оставалось, кроме смерти, потому что она избавила ее от укоров совести и прекратила ее страдания».

И Виктор Александрыч при этом перекрестился...

Печальное известие это не помешало, однако, обыкновенным занятиям Виктора Александрыча. В этот день он, напротив, обнаружил бо́льшую деятельность: утром был в министерстве, перед обедом сделал несколько

визитов, обедал в Английском клубе, а вечером появился вместе с своей супругою в своей ложе в Опере. Он казался в этот день еще торжественнее обыкновенного, как будто боясь, чтобы кто-нибудь не открыл его семейную тайну и не проник в его сокровенные мысли.

На следующее утро он проснулся ранее обыкновенного, не мог заниматься ничем и до девяти часов вечера не выезжал никуда. Несмотря на все его уменье скрывать свои внутренние ощущения, можно было заметить, что его несколько тревожит что-то, но этого никто не заметил, кроме г-на Подберезского.

В девять часов он сел в свои сани и приказал кучеру ехать на Пески, к церкви Рождества. Близ рождественской церкви, на углу одной из улиц этого глухого и бедного квартала, он приказал кучеру остановиться у будки и спросил у часового, где дом Савельева.

— Вон маленький такой деревянный домишко, за фонарем-то, — отвечал часовой, — второй будет от угла, — и указал алебардою в ту сторону, где находился дом.

Было темно, редкие фонари на улице не освещали ее, а только едва мерцали, распространяя кругом себя печальный, красноватый блеск; начинал падать снег большими и мокрыми хлопьями.

Кучер остановился у домика, на который показал часовой. Виктор Александрыч вышел из саней, споткнулся о деревянные мостки, которые покоробило в этом месте, и чуть не упал. Он открыл калитку, наклонился и вошел в нее, едва отыскав в темноте крылечко дома, и постучался в дверь. Дверь отворилась. Перед ним, с сальной свечкой в медном подсвечнике, явилась старуха с заплаканными глазами.

— Кого вам? — спросила она.

— Я хочу проститься с покойницей, — сказал Виктор Александрыч, всунув в руку старухи два золотых.

Она посмотрела на него с удивлением и пропустила его. Он сбросил с себя шинель и спросил, куда идти.

— Вот сюда, сюда, батюшка, — сказала старуха, указывая ему дорогу. — Сюда пожалуйте, — и, качая головой и всхлипывая, заговорила о том, как бедная барыня страдала, как она неслышно заснула, как праведница, и как она ей, голубушке, закрыла глазки...

Она провела его через узенький коридор и отворила дверь комнатки, в которой лежала Софья Александровна.

Он переступил порог и остановился, опустив голову и закрыв глаза, как будто не решаясь вдруг взглянуть на лицо умершей.

Небольшой катафалк, обтянутый черным истертым сукном, закапанным воском, стоял поперек бедно убранной, но чистой комнатки, в переднем ее углу. Свечи в больших церковных подсвечниках, обтянутых флером, довольно ярко освещали комнатку. Старичок чтец в очках читал псалтырь звучным, внятным голосом, нараспев, и эти звуки, печально и торжественно раздаваясь в тишине, производили глубокое, потрясающее действие.

Когда Виктор Александрыч вошел в комнату, старичок чтец на минуту остановился, снял свои очки, протер их, снова надел, взглянул на него, и скорбные звуки раздались снова. Он читал:

«Что хвалишися во злобе силне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой: яко бритву изощрену сотворил еси лесть. Возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, неже глаголати правду. Возлюбил еси вся глаголы потопныя, язык льстив. Сего ради бог разрушит тя до конца: исторгнет тя и переселит тя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведнии, и убоятся, и о нем воссмеются, и рекут: се человек, иже не положи бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможе суетою своею...» (Псалом 51, ст. 1—9.)

Виктор Александрыч приехал поклониться телу сестры, примириться с ее прахом, проститься с ней и простить ее. Это была, по его мнению, христианская обязанность, и он был очень доволен, выполняя ее, и придавал своему поступку большую цену. Всю дорогу он был спокоен — и только ощутил небольшое внутреннее волнение, подъезжая к домику, где жила она. Но когда он переступил за порог его, когда он увидел бедность лицом к лицу, когда он подумал, что в этой гнили, сырости и нищете жила его сестра, он почувствовал такое тяжелое, болезненное ощущение, которого никогда в жизни не испытывал. Подавляемые и забитые великосветскою, высшею школою, утонченною comme il faut'ностию, тщеславием, эгоизмом и суетностию, его совесть и человеческое чувство вдруг с воплем вырвались на свободу и заговорили в нем так громко, что потрясли на минуту до основания все существо его. Торжественные

слова святой книги, поразившие слух его: *Се человек, иже не положи бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможе суетою своею,* — показались ему голосом свыше, осуждавшим его. Он почувствовал, что голова его кружится, что туман застилает его глаза, еще минута, и он упал бы без чувств, но вдруг слезы потоком хлынули из глаз его; он зарыдал и закрыл лицо руками... Груди его стало легче, он вздохнул свободнее, сделал робко несколько шагов вперед и, еще все не смея взглянуть на ту, которая лежала в гробу, упал на колени перед гробом и смиренно приник головою к ступеням катафалка... Это был уж не человек *пришедший прощать,* а *просивший о прощении.* Он взошел на ступеньки катафалка и взглянул на усопшую. На ее исхудалом и осунувшемся лице было выражение полного спокойствия и как будто улыбка на губах. Он склонился головой к ее холодному лицу, поцеловал его, сошел со ступенек, опять стал на колени, помолился, встал и быстро вышел из комнаты...

Он не помнил, как вышел на улицу и как сел в сани, и когда кучер подвез его к дому, спросил:

— Зачем ты остановился?

— Вы приказали ехать домой, — отвечал кучер.

Тут только Виктор Александрыч совершенно пришел в себя, взял верх над собою и принял ту гордую и спокойную осанку, которая так шла к нему.

Он прошел прямо на свою половину, послал своего камердинера просить у Лизаветы Васильевны извинения, что не зашел к ней, потому что чувствует себя не совсем здоровым; тотчас разделся и лег в постель. Он долго не мог заснуть, и сон его был беспокоен; всю ночь его преследовала сестра. То являлась ему она в том виде, как была девушкой, с гладко зачесанными густыми, волнистыми напереди волосами, в белом платье; она сидела возле него на скамейке в каком-то саду и смотрела на него своими бледно-карими глазами; взгляд этот производил на него приятное и не испытанное им впечатление, как будто лучи этого взгляда проникали его насквозь, разливали теплоту по всему его телу, заставляли биться его сердце, и призывали его к новой, лучшей жизни, о которой ему никогда не грезилось. То ему казалось, что она в гробу, и что в то время, когда он подходил к ней и наклонялся, чтобы поцеловать ее, она приподнималась,

обнимала его и так крепко сжимала в своих холодных объятиях, что он задыхался. То она гонялась за ним на бале, среди великолепно разубранной и блестящей толпы, при ослепительном освещении, в лохмотьях и рубище и кричала всем: «Я сестра его!» — и он не знал, куда скрыться от нее, и его преследовали всеобщий ропот, негодование, язвительные насмешки и презрительные взгляды...

Он проснулся в сильном волнении, свет уже проникал сквозь темные шторы и двойные занавески его спальни, встал, выпил стакан воды и начал ходить по комнате.

Через час он совершенно успокоился, пришел в свое нормальное состояние, и никто не заметил в лице его ни малейшей перемены. Он упрекал себя за непростительную слабость и употребил все усилия, чтобы задушить в себе окончательно человеческое чувство, которое так неожиданно и дерзко обеспокоило его накануне...

Он не поехал на похороны сестры. За ее гробом шли до кладбища несколько старушонок и женщин из того околотка, где она жила, и сзади в карете ехал г. Подберезский.

Спустя два дня после этих похорон Виктор Александрыч был на одном рауте. Он встретил там своего главного начальника, который поздравил его с получением того места, о котором он так мечтал.

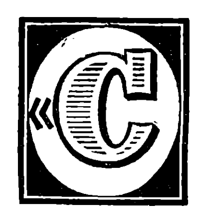
Это известие окончательно изгладило все неприятные впечатления Виктора Александрыча.

О новом его назначении только с месяц назад тому было напечатано в газетах — и потому мне ничего не остается сказать более.



ИЗ ЦИКЛА
„ОЧЕРКИ ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ“

ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ



ытый голодного не разумеет» — прекрасная и очень умная пословица. Справедливость ее подтверждается в жизни на каждом шагу. Я недавно думал об этом, возвращаясь из Галерной гавани...

— Что такое это Галерная гавань? — быть может, спросит меня не только иногородный, даже петербургский читатель.

Вы желаете знать, что такое Галерная гавань? Неужели вы никогда не слыхали этого имени, — вы, петербургский житель? Галерная гавань — частичка громадного и великолепного города, в котором вы живете и наслаждаетесь, далеко у взморья, на самом конце Васильевского острова, по соседству со Смоленским кладбищем; ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения, о существовании которого вы только подозреваете — того народонаселения, которое замирает от страха при малейшем возвышении воды и рискует быть потопленным всякий раз, когда в серый осенний день воет ветер, раздается зловещий звук пушек, днем развеваются флаги на Адмиралтейской башне, а ночью зажигаются роковые фонари. Вы, живущие в лучшей и возвышенной части Петербурга, окруженные всеми прихотями той утонченной цивилизации, которая с каждым днем развивает для вас неслыханные удобства и

роскошь, мало заботитесь об этих фонарях и флагах на Адмиралтействе и только при звуке пушек спрашиваете с любопытством:

— Что это такое? отчего это пальба?

— Вода поднялась выше колец в каналах, — отвечают вам.

— А! — равнодушно восклицаете вы в ту минуту, когда несчастные обитатели Галерной гавани уже перебираются, дрожа от холода, при крике и визге детей, на свои чердаки...

Вот что такое Галерная гавань.

Не все же нам разъезжать с вами, любезный читатель, на торцовой мостовой Невского проспекта и Большой Морской; гулять по Дворцовой набережной; сидеть в креслах или ложах блестящих театральных зал; любоваться хорошенькими личиками и изящными туалетами; не все же нам собирать анекдоты из жизни петербургских камелий; рыскать по магазинам; толковать о том, что такой-то из наших приятелей получил такое-то место, а другой, которого мы даже не имеем чести знать, такой-то чин, крест, такое-то звание, такую-то награду или такое-то повышение; завидовать всем этим лицам втайне и злословить их въяве; подробно описывать балы, на которых мы с вами приглашены не были; подмечать смешные стороны разных господ и госпож, прогуливающихся по Невскому проспекту...

Петербург — не на одном Невском проспекте, Морских и набережных. И Галерная гавань — Петербург, и там живут люди, к тому же люди, о которых мы не имеем почти никакого понятия, о которых нам почти никто не говорит и с которыми я хочу слегка познакомить вас...

Итак, читатель, обратимся к Галерной гавани. Теперь же это кстати: осень, серое небо, мелкий дождь, ветер, и вода, кажется, прибывает...

Мы отправимся по Большому проспекту Васильевского острова. Васильевский остров — это особый город в городе, непохожий на остальной Петербург. Он весь в зелени, в садах и в бульварах, как Москва. Аристократическая часть Васильевского острова — это его великолепная набережная, и так называемая Первая линия — его Невский проспект. На одном конце его — Биржа с своим великолепным портиком и монументальными маяками; на другом — Галерная гавань с своими полусгнив-

шими и покрытыми мохом и плесенью домишками; на одном конце — счастливцы, кушающие устрицы в биржевых лавках и запивающие их шампанским; на другом — люди, не имеющие, может быть, и насущного хлеба — контраст, к которому все мы, впрочем, пригляделись и который беспрестанно встречается в жизни не на одном Васильевском острове. Негоцианты, моряки, кадетские офицеры, художники, ученые и самый бедный класс мелкого петербургского чиновничества составляют главное народонаселение Васильевского острова. Здесь, на его хазовом конце, вы встречаете толпы студентов, возвращающихся с лекций; биржевых диктаторов, подкатывающих к бирже на рысаках, моряков с георгиевскими ленточками на черном пальто; профессоров в синих вицмундирах или сюртуках, в очках и без очков; в несколько фантастическом наряде — в каком-нибудь плаще, перекинутом за плечо, в серой шляпе с большими полями, с волосами до плеч, с различными бородками и с портфелями в руках и под мышками — молодых художников, которые все немножко любят корчить Вандиков и Рафаэлей.

Коренные жители Васильевского острова, все, и мужчины и женщины, за исключением разных биржевых тузов (по крайней мере мне так кажется), имеют характер более скромный сравнительно с жителями петербургского материка; в их походке, взгляде, одежде нет того мелочного и заносчивого тщеславия, которое встречаешь и пешком, и верхом, и в экипажах на Морских, на Невском проспекте и на великолепных набережных здешней стороны. Каким-то миром и спокойствием охватывает вас, когда вы углубитесь в линии Васильевского острова, подальше от Биржи и Первой линии. Глядя на эти небольшие, красивые и чистенькие деревянные домики с садами или на эти каменные дома, отделанные с английскою прочностию, тщательностию, красотою и комфортом, с медными дощечками на дверях, блестящими, как золото, — вы невольно полагаете, что в них обитают самый строгий порядок, самая благоразумная расчетливость; что здесь не бросают безумно денег, как у нас в Морской или на Невском; не живут на *авось* и не ставят последней копейки ребром, чтобы только пустить в глаза пыль своему ближнему. Эти дома и домики принадлежат по большей части иностранцам, — людям, помаленьку скопившим себе капиталы трудом, знаю-

щим цену деньгам, на которые мы, не знающие, что такое труд, и имеющие по нескольку сот и тысяч душ, выпадающих нам на долю по наследству, смотрим с небрежением. Город на Васильевском острове имеет, может быть, поэтому что-то свое, особенное, не петербургское; по скромности и наружному порядку он напоминает несколько немецкие города. Здесь нет той славянской размашистости в жизни, которая поражает везде по другой стороне Невы, на материке, за монументальным Николаевским мостом...

Загляните хоть из любопытства или для поверки моих замечаний в трактир г. Гейде. Это заведение не имеет ничего общего ни с баснословно дорогими ресторанами Дюссо, Донона и Бореля, где ухаживают только за лицами известными, кушающими по карте, то есть платящими за обед не менее шести рублей серебром; ни с русскими трактирами, которые более радушно угощают вас скверным маслом, поддельным шампанским и расстроенным оргàном. Заведение г. Гейде переносит вас совершенно в Германию, в средней руки трактир в немецком городе; здесь умеренный, очень порядочный table d'hôte [1] от 2 до 6 часов, по 60 коп., два бильярда, кости и пиво. Это немецкий клуб, пропитанный табачным запахом, всегда полный своими обычными посетителями, которые молчаливо и глубокомысленно пощелкивают бильярдными шарами или костями, покуривая свои сигары и попивая свое пиво... Ни один из посетителей ресторана Гейде — можно пари держать — не издержит более полутора рубля, хотя бы он просидел до полуночи: ни одному из этих господ не придет в голову закричать: «Шампанского!» — и пить без всякого удовольствия теплое и подозрительное вино только для того, чтобы озадачить неизвестного господина, сидящего напротив, как это иногда делается у Дюссо и у Палкина. У Гейде все посетители знакомы друг с другом, и никто не желает озадачивать друг друга...

Чем далее вы углубляетесь по Большому проспекту от Первой линии, тем все тише и спокойнее становится вокруг вас. Вы идете как будто большой аллеей сада, потому что домов не видать за кустами и деревьями. За 7-й линией появляются уже деревянные мостки вместо

[1] общий стол *(франц.)*.

плитных тротуаров; экипажи все реже и реже; за 12-й линией вам попадаются только извозчичьи дрожки, и то изредка. Здесь и пешеходов-то немного... Матрос в холстинном сюртуке, замазанном дегтем, идущий в Галерную гавань, молодой чиновник в форменном пальто с блестящими пуговицами, в фуражке с кокардою и красным околышем, очень довольный, по-видимому, этой полувоенной формой. Чиновник вдруг останавливается, пораженный, и провожает глазами очень стройную, очень хорошенькую и очень бедно одетую девушку, которая, не обращая внимания, спешит к художнику, которому служит натурщицей. Далее за Финляндскими казармами, вправо, огромное поле с лесом в глубине, из которого выглядывают главы церквей: это Смоленское кладбище. Деревянные мостки с каждым шагом вашим вперед становятся беспокойнее и опаснее; здесь они служат не удобством, а препятствием для пешехода: доски в иных местах вздуло и покоробило, в других они сгнили и провалились, обнаружив небольшую пропасть, покрытую грязною плесенью; к тому же у каждых ворот надо прыгать с этих патриархальных тротуаров и потом карабкаться на них, а у иных домов они поднялись больше, чем на аршин. Боясь переломить или вывихнуть себе ногу, вы сходите с них и продолжаете ваш путь по узенькой тропинке между заборами и палисадниками и этими допотопными тротуарами. Навстречу вам почти уж никто не попадается, а если и попадается какой-нибудь обитатель или обитательница Галерной гавани, то они посмотрят на вас с таким удивлением и недоумением, с каким смотрят только разве на выходцев с того света. Впереди вас и уж очень недалеко полосатое бревно шлагбаума, за шлагбаумом взморье и парус лодки, а вправо ряд лачуг, которые тянутся к Смоленскому кладбищу — это-то и есть Галерная гавань, начинающаяся на конце Смоленского поля, или, вернее, болота, и спускающаяся к мутно-серой воде взморья. Вот что-то похожее на улицу перед вами: вы поворачиваете в нее... Неужели в самом деле это улица? С двух сторон ряд небольших деревянных, полусгнивших, одноэтажных домиков, перед которыми торчат одни безобразные остовы, на которых некогда были устроены мостки; а между этими остовами страшная топь, черная грязь и лужи: действительно, это улица. Она то вздувается холмом, то снова спускается

в яму. Эти холмы покрыты яркою зеленью, которую пощипывают две грязные и тощие козы. В черной топи против одного домика, почти по середине улицы, стоит невыкрашенная, почерневшая лодка, на которой, может быть, за несколько дней перед этим плавали ее хозяева по этой улице. Домики по большей части в три окна, много в пять; они выкрашены были некогда желтой и серой краской, следы которой еще видны доселе; крыши подернуты зеленым или желтым сухим мохом; у иных домиков вместо забора рогожи, прибитые к палкам, за которыми, когда рогожи распахнутся от ветра, выглянут две или три гряды капусты. Замечательно, что почти все эти домики заклеймены красными такого рода надписями: «Сей дом должен быть уничтожен в мае 1854 года», а внизу иногда другая надпись: «Простоять может до 1860 года», или «сей дом может простоять до 1850 года», и, несмотря на это, он еще кое-как стоит до сей минуты, сильно, впрочем, покачнувшись набок. Эти надписи поражают человека, в первый раз зашедшего в Галерную гавань: тяжело становится, глядя на эту заклейменную нищету, на эту шаткую, ненадежную собственность с определенным сроком для существования. Но посмотрите повыше: еще страшнее этих клейм ярлыки почти под крышами, с надписью *7 Ноября 1824 года.* Между полусгнившими лачужками, у завалинок которых растут крапива и грибные наросты, попадаются нередко и новые домики, выкрашенные яркой краской, с бальзаминами и еранью на окнах и с кисейными занавесками, — аристократические домики, потому что везде есть аристократы, — даже и в Галерной гавани. В самой середине галерную слободу разделяет канал, через который перекинут большой деревянный мост. За мостом улица несколько пошире и потому посуше. Она сплошь поросла травой и в иных местах загромождена телегами, бревнами и досками и кучами хвороста и всякого сора. Эта главная улица, к которой сходятся другие улицы и переулки, выходит на болотистый луг, покрытый бесчисленными кочками, в конце которого видны, середи тощих и низких кустов, скирды сена, а у самого горизонта лес, примыкающий к лесу Смоленского кладбища... Людей в этой печальной слободе почти не видно: изредка перейдет через улицу от своего разваливающегося дома к мелочной лавочке старушонка в лохмотьях, держа в иссохшей

и морщинистой руке молочник с отбитым носком, или, услышав шум ваших шагов, высунется из окна девушка, целый день не отнимающая головы от срочного шитья, и с любопытством и удивлением посмотрит на вас и задумается: откуда, как и для чего попал сюда незнакомый человек? Тишина на улице нарушается только криком гусей, размахивающих крыльями и вылетающих из канала на берег, и мычанием коровы, которая, остановясь у ворот, глухо мычит, просясь домой и виляя своим хвостом от нетерпения. Канал, разделяющий гавань пополам, оканчивается большим прудом, берега которого поросли ивовыми кустами, а поверхность покрыта широкими круглыми листьями желтых болотных кувшинчиков. У моста, где канал довольно широк, стоит большая барка без мачт, набитая разным тряпьем и стружками, в которых очень усердно копаются старуха и девочка... Воздух в Галерной гавани пропитан болотистым, грибным запахом и гнилью. Самый бедный, отдаленный, грязный городок внутри России нельзя сравнить с этою несчастною слободою, которая еле держится на трясине болота. Глядя на эти домишки и улицы, не веришь, что это частичка великолепного Петербурга и что гранитная набережная Невы с ее огромными зданиями только в трех верстах отсюда.

Заметьте вот этот домик в два окна пепельного цвета, с завалинкой напереди, стоящий несколько повыше других на берегу канала и прислонившийся к толстой, расщепившейся и полусгнившей иве. В нем (это было давно) жила старушка, вдова чиновника, с двумя детьми — сыном и дочерью.

Я вам расскажу вкратце историю этого семейства, как она была мне передана человеком, принимавшим участие в этих бедных людях.

Старушку звали Матреной Васильевной, дочь ее — Татьяной, а сына — Петром. Муж старушки служил в каком-то департаменте столоначальником и всякий день из Галерной гавани ходил на службу. Он родился в Гавани, женился и провел в ней всю жизнь, аккуратно и добросовестно исполняя свои служебные обязанности и разделяя все свои интересы между службой и семейством. Способности он имел ограниченные, по натуре был робок, и место столоначальника, полученное им в пятьдесят лет, совершенно удовлетворяло его честолюбие. На-

чальство было довольно его аккуратностию и усердием и всякий почти год давало ему небольшие денежные награды; товарищи любили его за его честность; жена души в нем не слышала. Требований у них никаких не было, и они не жаловались на свою судьбу; даже частые наводнения их не беспокоили, потому что они привыкли к ним с детства. Всю прислугу их составляла кухарка, женщина, преданная им, служившая еще отцу чиновника, которой сама Матрена Васильевна нередко подмогала. В трех комнатках и в кухне, составлявших весь домик, были удивительный порядок и чистота: нигде ни пылинки и все лоснилось. Матрена Васильевна, всякий раз после чаю провожая своего мужа в должность, сама закутывала его, чистила щеткой его шинель и крестила его, а когда он возвращался со службы, встречала его с такою радостию, как будто не видала несколько месяцев. Детей оба они любили и баловали немного. Так прожили они кротко и тихо более двадцати лет. Дети тем временем подросли; дочь была уж почти невеста, а сын кончил курс в гимназии, когда старик, после наводнения осенью 183* года, провозившись, несмотря на крики и увещания своей жены, по колени в воде несколько часов сряду, простудился, слег в постелю и умер. Отчаяние Матрены Васильевны было страшно. С год после смерти его она всякий день, несмотря ни на какую погоду, таскалась на его могилу на Смоленское кладбище, сидя на ней, кивала головой, причитая и восхлипывая и, наверно, отправилась бы вслед за ним, если бы ее не поддержала любовь к детям. Своих домашних обязанностей она, однако, не забывала; несмотря на свое горе, целый день хлопотала и возилась, и когда дочь говорила ей: «Что это, маменька, вы все сами... позвольте, я...» — она перебивала ее: «Нет, сиди, матушка, за своим шитьем, это не твое дело. Ты и так замучилась». После смерти мужа старушка поневоле взошла в долги, потому что одним пенсионом ей и одной нельзя было прокормиться. Дочь, впрочем, немного поддерживала ее своим рукодельем.

Таня была высокая, стройная и хорошенькая белокурая девушка. Она с детства показывала твердый и решительный характер, который можно было впоследствии особенно заметить в ее взгляде и в умном, несколько грустном выражении ее глубоких серых глаз. У нее рано обнаружились ничем не объяснимые антипатии и

симпатии к людям. На четвертом году своего возраста она привела в совершенный ужас своих родителей, назвав одного из самых редких и почетных их гостей, господина в чине статского советника и с крестом на шее, в глаза «противным и гадким» (что, впрочем, действительно было справедливо), и убежала от него с визгом в ту минуту, когда он хотел удостоить ее своею ласкою и протянул уже свою руку, чтобы потрепать ее по щеке; а за два года до этого неприятного события, когда еще ее носили на руках, она, улыбаясь, протянула ручонки приласкавшему ее старику, отставному матросу-конопатчику в белой, замасленной дегтем куртке, из карманов которой торчала пакля, и сейчас с видимым удовольствием пошла к нему на руки. Припоминая эти обстоятельства, их соседка-чиновница, имевшая слабость молодиться, румяниться и закатывать глаза под лоб в разговоре с молодыми людьми и почему-то считавшая Таню своей соперницей, замечала о ней с презрительной гримасой: «Она еще с детства показывала самые неблагородные наклонности. У нее и амбиции никакой нет. Хорошего общества она избегает, а с Тимофеем-конопатчиком по целым дням разговаривает». И это была правда: Таня очень любила конопатчика Тимофея, а конопатчик Тимофей, известный всей Галерной гавани своею суровостью и честностью, обнаруживал постоянно к Тане необыкновенную и странную в таком человеке привязанность и нежность: когда она была ребенком, он строил ей корабли и помогал ей спускать их на воду, возился с ребенком во время отдыха от своей работы по целым часам и впоследствии, когда Таня выросла, часто заходил ко вдове посмотреть на «свою барышню» — так он называл Таню.

Таня рано поняла свое положение: лет с тринадцати она уже сделалась усердной помощницей своей матери и потом не выпускала иголки из рук, так что старушка должна была твердить ей несколько раз в день: «Полно, Танюша, перестань, отдохни немножко. Уж совсем смерклось. Что ты это глазыньки-то свои портишь?» Даже по большим праздникам и по воскресеньям после обедни, когда ее подруги, в праздничных, раскрахмаленных кисейных платьях, прогуливались по Смоленскому кладбищу, она возвращалась домой и принималась за свою работу. По ночам Таня читала книжки, которые приносил ей брат; но днем никогда никто не видал ее за книж-

кой, и многие сомневались даже, умеет ли она читать; а нарумяненная чиновница, страстная охотница до романов, называла ее решительно безграмотной. Одевалась Таня чисто, но гораздо проще своих подруг и, несмотря на свою любовь к нарядам, отдавала почти все заработываемые ею деньги матери; иногда только оставляла себе безделицу на самые необходимые покупки. Далее набережной Васильевского острова Таня никогда не ходила, и Петербург по ту сторону Невы представлялся ей каким-то фантастическим городом, который возбуждал в ней и любопытство и боязнь. В особенности действовали на ее воображение рассказы ее брата о театральных представлениях. Петруша был страстный охотник до театров и непременно в месяц раз ходил в раек, добывая себе деньги для этого перепиской.

Матрена Васильевна очень сокрушалась о сыне. Его надо было определить на службу, а он все говорил: «Еще успею, маменька», — по целым дням сидел дома все за какими-то книжками или рыскал бог знает где и возвращался домой поздно, не заботясь о том, что мать и сестра не смыкали глаз до его возвращения.

— Бога ты не боишься, — говорила ему старушка, — ведь здесь долго ли до греха... здесь пустырь такой... тебя могут ограбить и убить. Разве не слыхал, что на прошедшей неделе нашли на Смоленском кладбище мертвое тело?

Петруша обнимал и целовал мать, смеялся и говорил: «Что у меня взять-то, маменька? какой дурак станет на меня нападать?» — и в заключение успокоивал встревоженную мать клятвами, что вперед никогда не будет возвращаться так поздно. Однако слово свое Петруша не всегда держал. Кроме вспыльчивости и беспечности, извинительной, впрочем, в восемнадцать лет, он никаких дурных наклонностей не обнаруживал...

Однажды рано утром старушка, надев свое парадное платье, которое было подарено ей ее мужем, когда он еще был женихом и которое она хранила, как драгоценность, в сундуке, отчего оно немного пахло затхлым, и свой лучший чепец с бантом напереди, по старинной моде, вышла из дому, никому не сказав, куда она отправляется в таком наряде. На вопрос дочери, надевавшей на нее салоп и укутывавшей ее горло шерстяным шарфом, Матрена Васильевна только улыбнулась и сказала

приветливо: «Молода, хочешь все знать: скоро состареешься. После узнаешь, дурочка!»

Старушка, выходившая из своей Гавани редко, очутившись вдруг на Адмиралтейской площади, в первую минуту совсем потерялась от шума, грома и блеска. Она у всех встречных спрашивала: «Позвольте спросить, батюшка, как мне пройти на Литейную улицу?» Некоторые проходили, не удостоив внимания ее вопрос, другие, более остроумные, указывали ей в противоположную от Литейной сторону; но, к ее счастию, ей попалась старушонка салопница, останавливавшая прохожих с плачевной гримасой словами: «Помогите бедной, несчастной вдове с семерыми детьми. Два дня без куска хлеба. Вечно буду за вас богу молиться». Матрена Васильевна, добродушно тронутая этими словами, подумала: «Вот еще есть на свете и беднее нас; как же нам жаловаться и гневить бога?» — и заговорила с салопницей.

— Неужто у вас семеро детей? — И покачала с сочувствием головой.

— Семеро, семеро, матушка, мал мала меньше, — отвечала салопница, — два дня сидят голоднехоньки.

Матрена Васильевна вынула из своего ридикюля гривенник — у нее всего было три — и подала его салопнице. Салопница проводила ее до Литейной и болтала дорогой без умолку о своей крайности и о своих детях, которых в действительности у нее не было, и чуть не до слез растрогала старушку.

На Литейной жил начальник того департамента, в котором служил ее покойный муж. С трепетом сердца и с молитвою на губах Матрена Васильевна взялась за медную ручку подъезда, сверкавшую, как золото...

— В добрый час, в добрый час, — шептала она про себя.

В подъезде остановил ее усатый унтер-офицер с медалями.

— Кого вам? — спросил он строго.

— Их превосходительства господина...

— Просительница, что ли? — перебил он еще строже.

— Да, батюшка, с просьбой к их превосходительству...

— Наверх, на правой стороне. Там скажут куда.

— Слушаю, батюшка, — и старушка, поклонясь сторожу, с великим страхом начала подниматься по лестнице, боясь ступить на холст, которым был покрыт ковер, чтобы не оставить следа на холсте.

Лакей наверху, гордо осмотрев ее с ног до головы, ввел в комнату, где дожидались уже два просителя, и, произнеся «здесь», вышел из комнаты. Старушка, несмотря на то, что едва держалась на ногах от такого длинного и непривычного для нее похода, не смела сесть и только по временам, вздыхая, произносила про себя: «Господи, боже мой! Ох, господи, господи!»

Так прошло около часу. Наконец дверь из соседней комнаты растворилась, и в дверях показался господин средних лет, небольшого роста, с блестящим украшением на груди, с необыкновенно значительной и озабоченной физиономией, окинув орлиным взглядом из-под нависших бровей присутствующих. Старушка как взглянула на него, так и обомлела. «Что я наделала, — подумала она, — никак, я не к тому попала». Начальник ее мужа был плешивый старичок. Она видела его только раз в жизни; но черты его сильно врезались ей в память. Ей никак не могло прийти в голову, чтобы он мог умереть или выйти в отставку и быть заменен другим. Правда, плешивый старичок, начальник ее мужа, жил не на Литейной, а в Шестилавочной, но она, получая адрес, думала, что он переменил квартиру. «К кому же я это попала? что я теперь буду делать? — продолжала думать она и в ту же минуту, как бы не веря глазам своим, спрашивала самое себя: — неужто ж это генерал, и такой молодой?»

Между тем господин с украшением на груди подошел, с замечательным достоинством и ловкостию, к господину с украшением в петлице, с глубокомысленною снисходительностию выслушал его и произнес: «Все это мне очень хорошо известно, но...»

Господин с украшением в петлице начал было что-то такое еще говорить; но господин с украшением на груди перебил его величавым жестом и произнес выразительно и громко, ударяя на некоторые слова:

— Теперь мне все это выслушивать некогда: меня ждет господин министр.

И с словом «министр» он посмотрел на свои карманные часы.

— Я не могу же для вас жертвовать временем, когда меня ждет министр. Вы понимаете?..

У старушки дух захлебнулся при этих словах.

Господин с украшением в петлице низко и молча поклонился и вышел. Затем, бросив мимоходом два слова

другому просителю и взглянув на него только одним глазом, генерал, шаркнув правой ногой с таким искусством, которое бы сделало честь любому танцмейстеру, остановил себя в двух шагах от старушки и несколько попятился назад туловищем, вполне обнаружив тем свою ловкость и прекрасные манеры (хотя их, правду сказать, обнаруживать было не перед кем, потому что старушка одна только оставалась в комнате), и произнес, повернув к ней свое правое ухо, назначенное для выслушивания просьб.

— Что вам угодно, сударыня?

Матрена Васильевна прерывающимся и дрожащим голосом, нескладно и длинно начала объяснять, что муж ее служил в департаменте тридцать пять лет сряду, что он пользовался милостями его превосходительства Ивана Кузьмича...

— Моего предместника? — бегло заметил начальник, — но... — на этом *но* он сделал значительное ударение и опять несколько попятился назад туловищем, взглянув на старушку с некоторым, впрочем, благосклонным, нетерпением, выразив голосом участие, а своей позой неизмеримую разницу, которая разделяла его от нее. — *Но* позвольте просить вас изложить вашу просьбу как можно кратче, потому что я не могу терять времени: меня ожидает господин министр... В чем она состоит?

Матрена Васильевна объявила, что она нижайше просит об определении своего сына, кончившего курс в гимназии, на службу в тот департамент, где служил его отец.

— А! — воскликнул начальник. — Очень хорошо-с... но изволите видеть, сударыня, вакансий теперь нет. Он может быть покуда определен только без жалованья; а там мы увидим, испытаем его, и тогда можно будет назначить ему жалованье по мере его способностей и усердия к службе... Пришлите его ко мне.

Затем он, взглянув левым глазом на просительницу, с полуулыбкою наклонил голову несколько в правый бок и крикнул: «Карету!» Лакеи засуетились, курьер побежал по лестнице с портфелем вперед, а за ним величественно последовал начальник.

Старушка, следуя за ним, не спускала с него глаз и видела, как он сел в карету, поддерживаемый с одной

стороны лакеем, а с другой курьером. Генерал даже удостоил бросить на нее взгляд из кареты, когда она стояла на тротуаре и низко кланялась ему.

Господин с блестящим украшением на груди, несмотря на гордые и величественные манеры, имел доброе сердце, которое смягчалось в особенности, когда он замечал в своих подчиненных или просителях некоторый трепет и удивление, справедливо возбуждаемые его званием и его величественными манерами. Злые языки и господа, расположенные к иронии, уверяли, что будто он воображает о себе бог знает что, людей низших чинов даже не считает людьми, учится перед зеркалом своим позам и орлиным взглядам, бьется из одного эффекта и пускает пыль в глаза даже перед такими ничтожными старушками из Галерной гавани, как Матрена Васильевна, в непрестанном беспокойстве не уронить своего достоинства; но мало ли чего не говорят. Конечно, он не имел, может быть, той «неизменной кротости и неутомимой вежливости — верного свидетельства уважения человека к достоинству человеческому в себе и в других, и, наконец, той неистощимой любви к людям-братьям, какой бы ни были они крови, на какой бы степени развития ни стояли», как тот английский государственный муж, на которого обратила справедливое внимание «Русская беседа»; [1] но такие государственные люди во всех странах бывают редки, и ставить на одну доску какого-нибудь лорда Меткальфа с государственным лицом, к которому приходила с просьбой Матрена Васильевна, было бы, без всякого сомнения, несправедливо...

По крайней мере Матрена Васильевна была от него в восторге и, возвратясь домой с торжеством, сообщила подробности своего посещения сыну и дочери, не могла наговориться о добрейшем и вежливом генерале, который называл ее *сударыней,* и не могла надивиться молодости его лет. По мнению старушки, умнее, значительнее, важнее и красивее не было генерала на свете.

Петруша, действительно, был определен добрым генералом в департамент без жалованья и начал совершать ежедневные путешествия из Галерной гавани на Фонтанку.

---

[1] См. «Русскую беседу», книга II. Биография, стр. 80 *(Прим. И. И. Панаева.)*

Вскоре после этого одна довольно значительная дама, старая благодетельница Матрены Васильевны, к которой она ходила на поклон раз в год, рекомендовала Таню, как хорошую швею, другой значительной даме, так что Таня получила большую работу и за довольно выгодную цену.

Старушка никогда еще не была так счастлива и спокойна после смерти мужа...

Раз, когда Таня, по своему обыкновению, сидела у окна за работой, а Матрена Васильевна вязала носки для сына (Петруша был в должности), у их домика остановились блестящие дрожки, запряженные серою лошадью с яблоками. На этих дрожках сидел очень красивый и молодой господин, щегольски одетый, и кричал: «Эй, дворник, дворник!»

Но так как дворников в Галерной гавани нет, то крики этого господина оставались безответными; только на этот крик повысунулись с удивлением из окон в соседних домах мужские и женские головы, а на улицу сбежались толпою ребятишки и обступили блестящие дрожки щегольски одетого господина, разинув рты от удивления при виде необыкновенного для них зрелища...

— Где дом Савелова? — крикнул на ребятишек щегольски одетый господин с нетерпением и досадой...

Они молчали, неподвижно выпучив на него глаза; а те, которые стояли поближе к дрожкам, испуганные его сердитым голосом, отбежали подальше и начали смотреть на него издалека.

Когда господин повторил свой вопрос, Таня на его крики отворила окно и, высунувшись в него, отвечала:

— Кого вам угодно? Савелова дом здесь.

Господин щеголеватой наружности, услышав тонкий и звучный голос девушки и увидев в окне хорошенькое личико, мгновенно сгладил морщины с своего лица, соскочил с дрожек, принял очень красивую позу и ловко приложил руку к шляпе.

— Извините, — сказал он, — не знаете ли вы, где живет вдова чиновника... — он назвал их фамилию.

Таня отвечала, что здесь.

— Покорно вас благодарю. Вы позволите к вам взойти?

И после этих вопросов обернулся к своему кучеру.

— Черт знает, — сказал он ему вполголоса, — куда это мы заехали! Посмотри, не сломались ли дрожки... Здесь

невозможно ездить... это ни на что не похоже... это не улицы, а я не знаю что такое... Ты выезжай потихоньку и осторожнее на Большой проспект и там меня дожидайся.

И с этим словом он наклонился и вошел в калитку дома.

На крыльце встретила его несколько встревоженная и удивленная старушка, сзади которой стояла дочь.

— Извините, что я вас беспокою, — начал щеголеватый господин, приподняв слегка шляпу и обращаясь к Матрене Васильевне, — в вас принимает участие одна дама, и я, по ее просьбе, приехал к вам, чтобы узнать о вашем положении...

— Ах, это, верно, моя благодетельница, ее превосходительство Анна Ивановна! — воскликнула старушка, — дай ей бог здоровья, она не оставляет нас своими милостями... и Танюшу мою не забывает...

Старушка повернула голову к дочери.

— Это ваша дочь? — спросил щеголеватый господин, устремив на Таню внимательный и долгий взгляд, который, казалось, хотел проникнуть в самую глубину ее сердца.

О таких взглядах Таня не имела никакого понятия, и потому ей стало как-то неловко. Она вся вспыхнула и потупила глаза.

Щеголеватый господин поклонился ей.

— Да пожалуйте, батюшка к нам в комнату, — говорила старушка, — милости просим, батюшка...

Щеголеватый благотворитель (потому что это, действительно, был благотворитель) пошел вслед за старушкой, устремив мимоходом на Таню еще более пронзительный и эффектный взгляд.

Старушка привела его в комнату и, усадив на стул, остановилась перед ним; но благотворитель вскочил с своего стула с утонченною вежливостию и усадил ее в свою очередь. Таня села к окну за свое шитье. Когда все уселись, наступила минута молчания. Благотворитель принял живописную позу, снял перчатку с руки, обнаружил белую, точно выточенную из слоновой кости руку, с розовыми, искусно обточенными ногтями, сверкнул перед этими бедными людьми целою массою дорогих колец на одном из своих пальцев и выставил свою маленькую ногу в блестящих сапогах напоказ...

Я знал благотворителя довольно близко. Он был человек превосходный и добрейший, но имел небольшую слабость, если только это можно назвать слабостию, рисоваться перед женщинами, особенно перед хорошенькими, и показывать, как говорится, свой товар лицом. Он был убежден, и не без основания, что каждая женщина при взгляде на него не может оставаться равнодушною, и любил, иногда даже без особенной цели, смущать женские сердца. И потому за достоверность всего того, что он проделывал перед Таней, я ручаюсь.

После минуты молчания щеголеватый благодетель произнес, осматривая комнату:

— Какой у вас порядок, какая чистота! это приятно видеть... Это делает вам честь... Вы меня извините, если я попрошу вас сообщить мне некоторые подробности о вашей жизни...

Старушка откровенно и просто рассказала ему все и в заключение прибавила, что ее Таня занимается теперь шитьем для генеральши N.

Благотворитель выслушал ее очень внимательно и серьезно, при слове «пенсион» заметил, надвинув немного брови: «А! так вы получаете пенсион!» — а при имени генеральши N. выразил свое изумление вопросительным взглядом, устремленным на Таню, и вскрикнул, как будто обрадовавшись чему-то:

— В самом деле? — и с приятнейшею улыбкою прибавил более тихим голосом, — я очень рад — это моя матушка... я этого совсем не знал... — Потом он задумался и спросил: — так вы, стало быть, не имеете никаких других средств к существованию?

— Какие же другие средства, батюшка! нет, — отвечала старушка, — кроме этого маленького пенсиона, ничего; да вот еще моя кормилица, — она указала на дочь... — Сын, слава богу, определился на службу, да еще жалованья не получает; а она, моя голубушка, вот как видите, целый день сидит и головы от работы не отнимает.

Благотворитель встал, подошел с большою грациею к Тане и произнес с большим участием:

— Матушке моей совсем не нужны эти вещи к спеху. Я могу вас уверить. А вам так много заниматься нехорошо: это может повредить вашему здоровью...

Таня покраснела и отвечала:

— Ничего-с: я к этому привыкла.

— Неужели, — продолжал он, — вы все сидите дома, не имеете никаких развлечений?

— Да какие же я могу иметь развлечения? — спросила она, не отнимая головы от шитья...

— Например, театры?..

Но на этом слове щеголеватый благотворитель споткнулся, как будто почувствовав, что произнес глупость.

— Или какие-нибудь другие развлечения, — добавил он.

— Я никогда не была в театре, — сказала Таня, улыбаясь, — да и на той стороне я никогда тоже не бывала...

— Это, однако, ужасно! — воскликнул благотворитель, пожав плечами...

Затем он обратился к старушке и, повторив, что в ее положении принимает участие дама, имени которой он не имеет права назвать, заметил, несколько смешавшись, что он, с своей стороны, постарается быть ей полезным. Старушка кланялась и благодарила. Уходя, благотворитель заметил ей, что жить так далеко от центра города и в такой глуши неудобно и что она могла бы приискать небольшую квартирку за дешевую цену на той стороне города, на что Матрена Васильевна отвечала, что они уж привыкли к своей Гавани, что здесь жили ихние родители, здесь она родилась и замуж вышла, здесь похоронен ее муж и здесь она хочет положить свои кости.

Затем благотворитель с восклицанием: «А!» — очень ловко раскланялся и, уходя, бросил еще раз взгляд на Таню. Перешагнув за калитку, он подумал: «Однако какая хорошенькая — и где же? в Галерной гавани... и какое симпатическое личико!» — и обернулся на окно... Он был очень доволен, увидев высунувшееся из окна личико Тани, и, встретясь с ней глазами, снял шляпу, но Таня, заметив, что он ее увидел, быстро скрылась, не видав этого поклона.

Дня через два после этого Матрена Васильевна получила пакет от неизвестного с 25 руб. серебром.

Внезапное появление щеголеватого благодетеля, разумеется, привело надолго в волнение всех жителей и в особенности жительниц Галерной гавани и возбудило во многих неблагоприятные и завистливые толки о Матрене Васильевне и ее дочери. Более все кричала нарумяненная

соседка-чиновница, называя Матрену Васильевну пройдохой, а Таню — таким именем, о котором лучше не упоминать. Потом, когда волнение мало-помалу стихло, жизнь галерных обитателей вошла в свой обычный порядок. Так камень, брошенный в болотную лужу, покрытую плесенью и тиной, приведет ее в волнение, образует на мгновение кружок на поверхности стоячей лужи, и, когда упадает на дно, кружок снова затянется плесенью.

Прошло месяца три после этого события. В это время в домишке Матрены Васильевны не произошло ничего нового... Сама она вязала носки и хлопотала по хозяйству, как обыкновенно; Петруша занимался, по-видимому, службой усердно и приносил еще на дом переписывать бумаги. Таня все шила; но когда работа приведена была к окончанию, надо было подумать о том, чтобы отнести ее.

— Мне ведь надо это отнести самой, маменька! Как вы думаете?

— Да, да, голубушка! — отвечала Матрена Васильевна, — как же это только ты пойдешь-то? Ты ничего не знаешь: заблудиться можешь, да и какой-нибудь шальной, пожалуй, еще обидит.

После долгих разговоров решено было, что она пойдет на другой день с братом и что брат проводит ее до самого дома генеральши, а на обратном пути из службы зайдет за нею. Так и было сделано. Таня принарядилась несколько и рано утром отправилась с братом. Старушка прочла ей наставление, как она должна вести себя с генеральшей и с ее сыном, если увидит его; в каких словах выразить им благодарность за их благодеяние (она была уверена, что 25 рублей были присланы ими) и в заключение перецеловала ее и несколько раз перекрестила.

Петруша возвратился домой, по обыкновению, часов около шести, но один. Сначала это испугало Матрену Васильевну; но когда Петруша объявил ей, что генеральша уговорила Таню остаться на несколько дней, чтобы заняться работой, которую нельзя брать на дом; когда он отдал ей письмо от Тани и деньги, полученные ею за ее работу, когда он прочел ей это письмо, в котором Таня успокоивала мать на свой счет и писала, что генеральша осталась очень довольна ее работой, обласкала ее и просила ее так убедительно остаться, что она не могла отказать ей в этой просьбе, — старушка успокои-

лась и произнесла, перекрестясь: «Слава богу! господь бедных людей не оставляет».

Прошло две недели после отлучки Тани, и Матрена Васильевна, заметно скучавшая по дочери, начала приходить в беспокойство и просила Петю зайти проведать сестру и узнать, когда она придет домой. Конопатчик Тимофей всякий раз заходил наведываться, не возвратилась ли Таня, и однажды, нахмурив свои густые брови, которые у него торчали наперед, и строго покачав головой, сказал:

— Это уж не след, Матрена Васильевна — вот что! — и, вынув свою тавлинку, с некоторым ожесточением понюхал табаку.

— Что такое не след? — спросила старушка.

— Да то же... нехорошо...

— Да что же нехорошо-то? Она ведь не где-нибудь, а в генеральском доме; генеральша обращается с ней, как с своей дочерью... и она сама пишет об этом, и Петенька говорит.

Однако, оправдываясь перед Тимофеем в отсутствии дочери, Матрена Васильевна внутренно чувствовала, что Тимофей прав. На сердце у нее было что-то неспокойно, а отчего, она и сама не знала.

— Бог с ней, с генеральшей, — возразил Тимофей, — генеральша ей не мать... да! девица-то умная, что говорить, да уж там обычаи не те, совсем другое положение; дома-то все лучше, Матрена Васильевна: дома-то она, как в родном гнездышке; а та сторона нам чужая... туда соваться не след, верно так...

Прошел месяц, и хотя Матрена Васильевна имела постоянные сведения о дочери, но беспокойство ее увеличивалось, несмотря на это, с каждым днем, и она сама решилась пойти к Тане. Она нашла Таню здоровою и веселою; но материнское сердце заметило сейчас какую-то перемену в дочери, — какую именно, Матрена Васильевна не могла отдать себе отчета, — но эта перемена заставила ее призадуматься. Точно, в веселье Тани было что-то раздражительное, тревожное, выражавшееся и в движениях, и в голосе, и во взгляде, что-то необыкновенное и несвойственное ей. Генеральша, однако, упросила Матрену Васильевну, чтобы она оставила у нее дочь еще на несколько времени, и рассыпалась в похвалах ей. Старушка возвратилась домой, отчасти довольная лестными

похвалами ее милой Танюше, отчасти печальная, сама не зная отчего.

Таня пробыла у генеральши более двух месяцев. Первые дни после ее возвращения домой Матрена Васильевна была в полном восторге и не делала над нею никаких наблюдений. Присутствие ее оживило их уголок: без Тани все было в доме не то, недоставало чего-то; с ее прибытием опять все приняло прежний вид. Таня первые дни немножко отдохнула, а потом снова уселась к своему окну за работу, и все пошло прежним порядком, как будто она и не была в отсутствии; но старушка, глядя на нее исподтишка, начала замечать, что она работает не так ровно и спокойно, как прежде: иногда воткнет иголку в свою подушку и о чем-то как будто задумается; иногда так, ни с того ни с сего, высунется в окно, как будто в комнате ей недостает воздуху; иногда не слышит вопроса или отвечает совсем не на вопрос. Матрена Васильевна находила даже, что Таня худеет. Было ли это действительно так, или только казалось беспокойному материнскому воображению, — решить трудно. Так прошло еще несколько месяцев. В течение этого времени Таня раза два в неделю выходила из дому на короткое время и на вопрос матери: «Куда ты ходила, Танюша?» — отвечала постоянно, что «немного прошлась для воздуха, что у нее голова болит что-то: должно быть, прилив к голове». Таких приливов прежде у Тани не бывало, и она выходила только в воскресенье и по праздникам в церковь. Время шло. Таня начала заметно скучать. Часто, оставляя работу, она принималась за книжку днем, против своего обыкновения; часто выбегала в кухню и о чем-то тайком шепталась с кухаркой. Кухарка, раз мимоходом, всунула ей в руку какую-то записочку, которую Таня бегло пробежала и с судорожным движением спрятала на груди.

Когда однажды старушка получила рублей пятьдесят, и всё от неизвестного, эти деньги отчего-то более ее смутили, чем обрадовали.

— Знаешь ли что, Таня? — сказала она, обращаясь к дочери, — я ведь подозреваю, от кого эти деньги... мне все сдается, что это сын генеральши... только это напрасно: ведь есть люди беднее нас... Мы еще, слава богу, пробиваемся кой-как, а иные просто по суткам голодные сидят...

Таня ничего не отвечала на это. Она смотрела в окно. Старушка продолжала:

— Вот хошь бы наша Прасковья Антиповна. Она вчера забегала ко мне; просто, говорит, хоть петлю на шею да в воду... Знаешь ли, Танюша, я хочу отнести ей что-нибудь из этих денег... Ведь они нам как с неба свалились...

Таня вдруг, в каком-то волнении, с пылающими щеками, обратилась к матери и быстро проговорила:

— Что ж, это прекрасно, маменька! Дайте мне, я сама сейчас отнесу ей...

Наступила зима; зима сменилась весной. В семействе Матрены Васильевны не произошло никаких особенных перемен; только прогулки Тани все делались чаще и продолжительнее, а на лето генеральша, мать щеголеватого благотворителя, взяла Таню к себе на дачу, написав очень лестное письмо к ее матери, в котором, между прочим, было сказано, что она (генеральша) «принимает искреннее участие в положении ее и ее дочери и что готова быть для нее второю матерью».

Как ни лестна была такая фраза самолюбию Матрены Васильевны, но она отпустила дочь скрепя сердце.

По возвращении Тани с дачи старушка, взглянув на нее, не поверила своим глазам: так Таня, стоявшая теперь перед нею, не походила на прежнюю ее Таню... На ней было прекрасное платье, шляпка, манишка, ботинки, — все это подаренное ей доброй генеральшей. Матрена Васильевна любовалась всеми этими нарядами и осматривала ее в подробности. Ей показалось, что Таня и ходит, и смотрит иначе, и говорит не так.

— Теперь ты у меня стала точно какая-нибудь знатная барышня, — сказала старушка, целуя ее, и невольно вздохнула почему-то о прежней Тане.

Зимой Таня начала часто бывать у генеральши и, уходя из дому, обыкновенно вместе с братом, который провожал ее, говорила матери:

— Может быть, я останусь ночевать там, маменька, так вы не беспокойтесь.

Матрена Васильевна крестила ее, говорила: «Хорошо», — но беспокоилась, хотя скрывала это.

Таня в последнее время очень сблизилась с своим братом. Было заметно, что между ним и ею существует полная откровенность.

В Гавани начали ходить о Тане недобрые слухи. На ее наряд косились старухи салопницы и жены чиновников и штурманских офицеров, а девушки, их дочери, даже некоторые из прежних подруг Тани, разговаривая с нею, как-то подозрительно улыбались; Тимофей-конопатчик стал ходить ко вдове реже и избегал встречи с Танею. Странно, что это последнее обстоятельство, по-видимому, более всего беспокоило Таню.

На следующее лето приглашения от генеральши не было, и Таня все лето провела в Гавани. Но она была постоянно в тревожном состоянии, сидела за работой только для виду, по вечерам уходила с братом гулять на Смоленское поле и возвращалась домой с красными, распухшими глазами. У Матрены Васильевны сердце чуяло что-то нехорошее. Она несколько раз спрашивала Таню:

— Да что с тобой, Танюша? скажи мне, друг ты мой! Не скрывайся от матери.

Или:

— Отчего у тебя заплаканы глаза-то?

Но Таня упорно отвечала на эти вопросы одно и то же:

— Ах, боже мой! да ничего, маменька! Это вам так кажется.

И даже начинала сердиться на мать, когда та очень приставала к ней.

Так наступила дождливая и бурная осень 184* года... Но я должен еще сказать несколько слов о Петруше. Два года с лишком служил он в департаменте. Способностями и усердием его к службе были, кажется, довольны; сам начальник, с блестящим украшением на груди, изволил отзываться несколько раз в очень лестных выражениях о его почерке; но жалованье Петруше не давали, и когда он осмелился заметить об этом своему столоначальнику, прибавив, что хоть бы какую-нибудь награду ему дали, хоть бы на сапоги, потому что одни сапоги разорили его; что он всякий день ходит из Галерной гавани, — то столоначальник, не любивший, чтобы подчиненные его рассуждали (он в этом несколько подражал своему высшему начальнику), принял слова молодого человека за грубость и сделал ему очень крупное замечание, проговорив, между прочим, себе под нос, так что Петруша слышал: «Каждый молокосос нынче уж бог знает что о себе думает!» Петруша в этот раз пересилил себя и

смолчал, но когда шесть вакансий с жалованьем прошли мимо него, замещенные по разным просьбам и протекциям, Петруша, после замещения шестой, не выдержал и в один день прямо отправился к начальнику с блестящим украшением на груди, который всегда сидел в особой комнате и один. Когда Петруша подошел к заветной двери, от которой в эту минуту, как нарочно, отлучился курьер, постоянно торчавший тут, у Петруши сильно забилось сердце; но он не удержал своей вспыльчивости, хватился за отлично вычищенную ручку замка и очутился за рокевою дверью прямо перед лицом начальника.

Начальник, державший в руке какую-то газету, при этом шуме положил ее на стол и обратился к двери. При виде Петруши брови его строго надвинулись на глаза, и он спросил сердито и скороговоркою:

— Что это значит? что вам надобно?

— Я осмелился, ваше превосходительство... — начал было Петруша взволнованным голосом.

Но его превосходительство замахал рукой, схватился за колокольчик, начал звонить и кричать:

— Курьер! курьер! где курьер? пошлите курьера!

В соседней комнате поднялась страшная тревога; несколько человек бросились за курьером.

Курьер явился и вытянулся перед начальником.

— Что ты? где ты? — закричал он на него, — куда ты уходишь... Я занят, а тут без доклада... Смотри... смотри... что это такое? что это такое? я тебя спрашиваю.

И разгоряченный начальник указывал пальцем на Петрушу.

— Ты видишь это? а? видишь?

— Виноват, ваше превосходительство, я только на минутку отлучился по нужде, — произнес курьер, искоса взглянув на Петрушу.

— Ты не знаешь, болван, своей обязанности! По нужде! А от твоей нужды происходят здесь беспорядки! Нужды не должно быть, когда ты на службе. В другой раз я тебя за это выгоню... я тебе прощаю это в последний раз... слышишь? в последний.

Когда курьер вышел, начальник сделал несколько шагов и полуоборотом обратился к Петруше.

— А вы, — сказал он, — как же вы осмеливаетесь входить к своему высшему начальнику без доклада? И какая

может быть у вас до меня необходимость?.. Вы понимаете, какое расстояние между мною и вами?.. Отвечайте.

— Ваше превосходительство, — отвечал Петруша, — я виноват, простите меня; только крайность... я служу усердно два года и пять месяцев без всякого жалованья; я всякий день хожу из Галерной гавани...

— Что мне за дело до вашей Галерной гавани? — перебил генерал. — У вас есть непосредственный начальник: вы должны обращаться с вашими нуждами к нему, а не ко мне... как же вы можете лезть ко мне сюда, со всякою глупостью? Что это за своевольство! И как вы можете самого себя рекомендовать... Что это такое?.. Извольте выйти вон.

И начальник энергическим жестом указал Петруше на дверь.

— И знайте, — прибавил он, — что такая с вашей стороны дерзость не может всегда пройти вам даром. Пошлите ко мне сейчас вашего столоначальника.

Столоначальник в одно мгновение ока явился перед начальником и вышел из генеральского кабинета бледный. Он накинулся на Петрушу. Петруша вспылил и, не давая себе отчета в словах, не помня, что он говорит, объявил, что он подает в отставку, и тотчас выбежал из департамента.

Он едва очнулся на половине дороги.

«Что я сделал, — подумал он, — и что я буду делать теперь?»

В совершенном отчаянии он возвратился домой, а дома ожидало его новое горе.

Старушка мать бросилась ему навстречу. На ней лица не было. Она объявила ему, что Таня лежит в обмороке; что вскоре после его ухода в департамент она выбегала в кухню, шепталась с кухаркой и, возвратясь из кухни бледная как смерть, вдруг схватила себя за голову и грянулась об пол; что, когда ей расстегнули платье, на груди нашли смятую записку и что кухарка призналась, что эта записка отдана ей лакеем генеральского сына с просьбою доставить ее барышне.

И старушка подала записку сыну.

Петруша в эту минуту забыл о своем собственном горе. Он помертвел, выслушав мать, и с нетерпением, дрожащими руками, раскрыл записку.

Она была без подписи и вот какого содержания:

«Отношения наши должны кончиться. К тому же я не давал тебе клятвы в вечной верности. Я более не могу с тобой видеться, ты сама поймешь причину, если я тебе скажу, что я женюсь. Прошу тебя быть благоразумной и не делать никаких скандалов — это ни к чему не поведет. Поверь, что я все, что могу, для тебя сделаю, — свои обязанности в отношении к тебе я очень хорошо понимаю; свидание же наше бесполезно, теперь ни к чему не послужат сцены; а я надеюсь, что ты не откажешься хоть в этот раз принять от меня небольшую сумму, которая поможет тебя обеспечить и которую ты вскоре получишь через моего поверенного, о чем я уже распорядился...»

Петруша пробежал эту записку, смял ее в руке и положил в карман. Матрена Васильевна смотрела на него, ожидая, что он передаст ей содержание записки; но Петруша сказал только:

— Пойдемте, матушка, к Тане.

Когда они вошли в комнату, где Таня лежала на постели, Петруша подошел к ней. Таня открыла глаза и посмотрела блуждающими, бессмысленными глазами на брата и на мать. Петруша припал к ней, давясь слезами, и повторял захлебывавшимся голосом:

— Полно, Таня, успокойся, Таня!.. Бога ради, не мучь себя напрасно.

Матрена Васильевна со стоном и оханьем говорила:

— Голубушка моя, что с тобою? что ты чувствуешь? скажи нам.

Но Таня ничего не понимала и ничего не отвечала. Петруша обратился к матери и сказал:

— Маменька, я побегу за лекарем, а вы покуда не трогайте ее.

У Тани сделалось воспаление в мозгу. Две недели она была почти в безнадежном состоянии. Петруша и мать не отходили от нее. На это время конопатчик Тимофей почти поселился у них: он бегал за лекарством в аптеку, к фельдшеру, заведовал всем и распоряжался, потому что Матрена Васильевна бросила все. Таня выздоровела. Она так изменилась, что ее было узнать невозможно. По целым часам она сидела сложа руки и не говоря ни с кем ни слова. Ласки брата и матери были ей в тягость, и она отвечала на них с принуждением...

В одно из последних чисел октября, дней через восемь после того, как Таня встала с постели, вечером поднялся

сильный ветер, вода начала выступать и разливаться за плетни по огородам, выходившим к самому взморью. Во всей Гавани поднялась страшная тревога и суматоха. Везде загорелись огоньки. Все перебирались и переносились на свои чердаки. В каждом домике раздавались стоны и оханье старух, крик женщин, визг детей. Ветер к ночи усилился. Вода прибывала, затопив ближние к взморью улицы, и пробиралась в подполья. Ночь была такая темная, хоть глаз выколи. На Адмиралтейской башне горели уже три фонаря. Матрена Васильевна, Петруша и кухарка перетаскивали также кое-какие вещи получше на чердак. Таня помогала им, и на замечания матери: «Ты уж не трогай: мы всё это без тебя сделаем... Куда тебе! Ты еще такая слабая, еще, сохрани бог, простудишься да опять сляжешь», — Таня отвечала: «Ничего, я совсем теперь здорова, вы не беспокойтесь обо мне», — и бегала вместе с другими снизу на чердак. Вода у их домика остановилась на половине завалины, потому что он стоял немного выше других, но все пространство от их завалины до другого домика по ту сторону канала было затоплено. Огоньки в окнах отражались и трепетали в мутной воде, которая ходила волнами и с плеском ударялась в стены домов, разливаясь и проникая во все щели и подмывая шаткие их основания. Издали по временам раздавались протяжные крики, заглушаемые стоном и свистом ветра. Ветер, однако, понемногу начинал стихать.

— Ну, слава богу, Петруша, — сказала Матрена Васильевна, спускаясь с чердака, — ветер-то стал, кажись, потише, и вода маленько убыла... А где Таня?.. Таня! Таня!

— Она сейчас была тут, — отвечал Петруша, и он также стал кричать: — Таня! Таня!..

Ответа на эти крики не было.

— Где Таня? — с испугом вскрикнула Матрена Васильевна, натолкнувшись на кухарку:

— Я не знаю, матушка! она в сенях была сию минуточку, — отвечала кухарка.

Петруша, потерявшись, начал бегать по всему дому, шарить во всех углах и кричать:

— Таня! Таня!

Он выбежал в сени, на улицу, остановился по колено в воде и кричал:

— Таня! Таня!

Но в ответ на это только завывал ветер и раздавался плеск воды...

Тани нигде не оказалось.

Бледное, печальное утро взошло над полузатопленной Гаванью. Матрена Васильевна все еще жила надеждой, что дочь ее где-нибудь отыщется; но с первым утренним светом эти надежды начинали в ней исчезать. Она подошла к окну, взглянула на убывающую воду и отчаянно вскрикнула в последний раз:

— Где ж моя Таня?..

У ней отнялся язык. Двои сутки пролежала она без движения, без памяти и без языка, а на третьи сутки отдала богу душу.

Тимофей и Петруша опустили ее в могилу.

Дней через пять после ее похорон Тимофей, все ходивший по берегу взморья и как будто искавший чего-то, увидел верстах в двух от Гавани, на самом завороте острова, женский труп, только что прибитый волною к песчаной отмели. Это был, по всем приметам, труп Тани. Он сам сколотил для нее гроб, вырыл могилу в лесу недалеко от берега, прочитал над гробом молитву и опустил его. Через несколько времени он обложил могилу дерном и поставил крест над нею.

Эту могилу, с почерневшим и покачнувшимся от времени крестом, можно видеть до сих пор влево от Смоленского кладбища, в лесу, на оконечности Васильевского острова.

О Петруше несколько времени после похорон матери не было никакого слуху. Где он скрывался, неизвестно; только он не возвращался более на свою квартиру.

Через несколько дней после этого, перед самым рождественским постом, у освещенного плошками подъезда на одной из больших петербургских улиц столпились любопытные в ожидании молодых. Две горничные из соседнего дома рассуждали между собою:

— А что, Маша, невесту-то ты видела?

— Как же, видела. С рожи-то она так себе; только, говорят, пребогатейшая... Он-то красавец перед нею... ну да, видно, на богатство польстился; а уж волокита такой, что этакого и нет другого... Просто бедовый!

В эту минуту к подъезду с громом начали подкаты-

ваться кареты, и из них, мелькая блестящими тенями, стали выскакивать дамы в великолепных туалетах и кавалеры в военных и статских мундирах, с кавалериями через плечо и с блестящими украшениями на шее и на груди, и в числе их начальник Петруши.

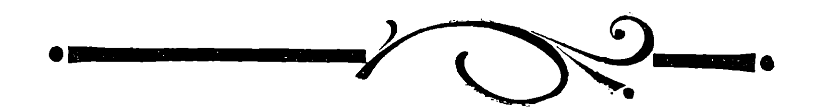
— Смотри, смотри... вот и молодые! — вскрикнула одна из горничных, толкая другую.

Все придвинулись к подъезду, чтобы лучше видеть молодых. Какой-то молодой человек, в фуражке, бедно одетый и бледный как смерть, протолкался вперед всех и стал у самого подъезда, оттолкнув женщину с платком на голове, не пускавшую его. Женщина выругала его *мазуриком.*

Из кареты вышла сначала молодая, в белом атласном салопе, а за нею уже молодой, в блестящем мундире, на который была накинута шинель, и в трехугольной, также блестящей, шляпе. Он ступил на тротуар с подножки; но в это самое мгновение человек в фуражке, протолкавшийся вперед, ринулся на него с каким-то безумным ожесточением... Затем раздался крик... Несколько человек из толпы вместе с полицейскими служителями схватили безумца и связали. В руках его оказался нож. Суматоха у подъезда сделалась страшная. К счастию, он не успел нанести вреда молодому.

— Вот ведь я говорила, что мазурик! — вскрикнула с каким-то торжественным ожесточением женщина с платком на голове...

Это необыкновенное происшествие наделало в Петербурге большого шума. О нем долго были различные, весьма противоречащие толки.



ИМЕНИННЫЙ ОБЕД У ДОБРОГО ТОВАРИЩА



был приглашен одним из моих университетских товарищей на обед, по случаю именин жены его.

Товарищ мой имеет состояние, притом служит, помаленьку подвигается вперед и со временем, может быть, достигнет и до генеральского чина. Человек он мягкий, кроткий, довольный всем и добросердечный в высшей степени. Супруга его дама полная, очень приятной наружности и с постоянно заспанными глазами. Оба они очень радушны, любят угощать, невзыскательны в выборе своих знакомых и большие охотники до чиновных особ. Посещением чиновных особ они гордятся, остальным гостям радуются. Если кто-нибудь зайдет к ним нечаянно обедать, они бывают тронуты этим чуть не до слез... Таких гостеприимных домов в Петербурге очень мало. Дом моего товарища клад для так называемых блюдолизов (pique-assiettes), которых в Петербурге, как и во всех больших городах, очень много... Я забыл еще об одной черте — товарищ мой и жена его несколько падки к лести, очень чувствительны и склонны к слезам.

Я приехал к пяти часам, зная, что званые обеды начинаются всегда позже обыкновенного. В гостиной я нашел трех пожилых чиновных особ и человек восемь также пожилых, но менее чиновных, в числе которых был один маленький и грязненький господин, в вицмундире, с манишкой, торчавшей из-под жилета, с застенчивыми мане-

рами, державшийся больше около стенок и в углах и наклонявший почтительно голову всякий раз, когда чиновная особа проходила мимо него или взглядывала на него. Господин этот смотрел блюдолизом. Кроме этого, были еще тут два молодых человека, неопределенных и робких, державших себя в стороне, с которыми маленький господин от времени до времени заговаривал.

В столовой был накрыт длинный стол, с именинным *граненым* хрусталем, а на ломберном столе между двух окон стояла закуска, на которую маленький и грязненький человек поглядывал исподлобья, но с приятностью.

В то время как я вошел в гостиную, одна из чиновных особ разговаривала с каким-то господином, стоявшим задом ко мне.

Поздравив хозяина и хозяйку, я пошел положить мою шляпу в залу. В эту минуту господин, разговаривавший с чиновной особой, обратился ко мне и с необыкновенною приветливостью и приятными улыбками закивал мне головой.

Я узнал в нем также моего старого товарища, которого я совершенно потерял из виду и не встречал лет десять. Это был господин среднего роста, бледный, с тонкими губами, худощавый и сутуловатый, в очках, с крестом на шее и с другим в петлице.

Когда чиновная особа отошла от него, он бросился ко мне с каким-то особенным чувством и протянул мне обе руки. Такой порыв несколько удивил меня, потому что я никогда не был с ним в близких сношениях.

— Как я рад, что я тебя вижу... боже мой, какая приятная встреча!.. — и, говоря это, он крепко жал мне обе руки. — Сколько лет мы не видались! И не мудрено. Ведь я уже лет шесть, как оставил Петербург — и не сожалею об этом. Я служу в провинции; благодаря бога, занимаю место почетное, начальство расположено ко мне, я исполняю свой долг по совести — спокоен и счастлив. Вообрази, я в нынешнем году получил три награды: вот это — он указал на свою шею, благоволение и годовой оклад. Это, братец, не со многими случается. Три награды в один год! Се жоли![1]

Он на минуту остановился и посмотрел на меня. Я смотрел на него. Кажется, несколько недовольный тем, что

---

[1] Это мило! (*франц.* C'est joli!)

лицо мое не выражало никакого изумления, он продолжал однако:

— Я устроился так, что не завидую никому; женат, братец, имею милую, добрую жену, хорошую хозяйку, обзавелся деточками... Старшему сыну будет вот на пасхе уже пять лет. Да какой мальчик-то, если б ты видел; я отец, мне хвалить его, конечно, смешно, но если ты когда-нибудь заедешь в наши страны и будешь у меня, ты увидишь: головка у него совершенно в роде рафаэлевских ангелов. И какой умный, бойкий мальчик! уж читать умеет, страшный охотник до книг... И вообрази, что при всем этом у меня женино имение под рукою — в двадцати верстах от губернского города, да и мое не очень далеко — ста верст не будет. Еще служба несколько мешает, а хозяйством я люблю заниматься — это моя страсть — и я в этом деле *кое-что* таки понимаю. Ты, верно, читал мои статейки в «Записках Вольно-Экономическкго общества»?.. Посмотри, какой у меня порядок в деревнях: все, и дворовые и крестьяне, по струнке ходят, а между тем крестьяне любят меня, как отца. Народ наш вообще, братец, славный и привязан к своим помещикам, разумеется, если они хорошие, а у нас в губернии все помещики прекрасные... Ну, конечно, в семье не без урода. Положение крестьянина, я тебе скажу, самое завидное, если помещик хороший...

Благодетельный помещик продолжал бы, вероятно, свой разговор еще долго, но равнодушие, с которым я выслушивал его, несколько охладило его, он остановился и после минуты молчания (я не нашелся ничего сказать ему) потрепал меня по плечу.

— Ну, а ты все по-прежнему занимаешься литературой? — сказал он мне с приятною, но несколько ироническою улыбкою.

— По-прежнему, — отвечал я.

— Это, конечно, дело хорошее, — возразил он, — но я признаюсь откровенно, мы с тобой товарищи, так нам с тобой церемониться нечего, — я, господа, на всех на вас пишущих сердит немножко... Как-то вы на все странно смотрите, отзываетесь обо всем с какою-то желчью, отыскиваете везде одни недостатки...

В эту минуту раздался голос хозяина дома:

— Милости прошу закусить, пожалуйте...

Все двинулись в столовую, и речь о литературе была прервана.

Минут через десять все уселись за столом. Чиновные особы на почетном конце, близ хозяйки дома, а мы ближе к хозяину. Первые блюда прошли в молчании, раздавался только звон тарелок и стук ножей и вилок. Когда желудки несколько попаполнились, хозяин дома, не отличавшийся большим тактом и постоянно озабоченный мыслью занимать своих почетных гостей, обратился к одной из чиновных особ и, чтоб завести общий разговор, сказал с приятною улыбкою:

— Читали ли вы, ваше превосходительство, «Губернские очерки» Щедрина?..

Хозяин дома читал очень медленно, он читал больше после обеда, лежа на диване, и после двух страничек обыкновенно засыпал, но любил чтение и любил иногда поговорить об литературе.

— Эти очерки, ваше превосходительство, прекрасно написаны, и все их очень хвалят.

— Что такое? Какие очерки? — произнесла чиновная особа... — Нет, я не читал... У меня и на дело-то не станет времени.

— Гм! — промычал несколько смущенный хозяин дома.

— Позволь, Евграф Матвеич, — произнес благодетельный помещик чрезвычайно благонамеренным голосом, поправляя очки и смотря на чиновных особ, — я очень уважаю тебя и знаю твои правила, потому что мы знакомы почти с детства и сидели на одной скамейке, — но, извини меня, с твоим мнением я согласиться никак не могу. Очерки господина Щедрина я читал, и, признаюсь тебе откровенно, направление их мне весьма не нравится: в них все представляется в искаженном виде, с одной только неблагоприятной стороны, — что недобросовестно.

Благодетельный помещик обратился к одной из особ...

— Уездные и губернские власти, ваше превосходительство, помещики и даже дамы представляются в этих очерках в самых грязных красках... Таких уже нет в наше время... Тоже в этих очерках сочинитель нападает на взяточничество... Да, помилуйте, я сам служу, имею сношения со всеми... Смело могу сказать, положа руку на сердце, что у нас в губернии нет ни одного взяточника... Помилуйте, мы и не потерпели бы такого!.. Я по крайней мере про себя скажу, что я с человеком, который решился бы взять взятку, если бы он был даже мой старший, не за-

хотел бы служить ни одного дня; а если б он был мой подчиненный — я бы и пяти минут не стал держать его при себе. Сохрани боже!.. А эти сочинители ничего сами не знают, а так говорят зря, что им придет в голову. Это недобросовестно, ваше превосходительство.

Он обратился ко мне.

— Ты меня извини, — сказал он мне с приятною улыбкою, — я говорю не о всех сочинителях, тебя я не причисляю к таким, потому что хорошо знаю твои правила...

Маленький и грязненький господин, все время молчавший, вдруг произнес, взглянув на одну из особ и скромно потупив глаза:

— Действительно, ваше превосходительство, они прекрасно и совершенно справедливо рассуждают (он указал головою на благодетельного помещика). К величайшему прискорбию, новейшая литература... за немногими исключениями... (маленький и грязненький господин с лицемерно-сладким выражением взглянул на меня) изображает только картины, возмущающие душу, как будто у нас нет людей добродетельных, прекрасных, бескорыстных, исполняющих свято свой долг, которые составляют, так сказать, украшение общества.

— Все знают, что такие люди есть, и никто не сомневается в их существовании, — сказал я, — но есть и другого рода люди, для которых нет ни долга, ни чести, ни совести... и, я думаю, нет преступления изобличать такого рода людей и предавать суду общественному. Литература делает в этом случае не дурное дело.

— Ну-с, позвольте вам заметить, — сказал один из присутствовавших, господин, очень важный по фигуре, улыбаясь с иронией, — вы *вашей* литературой уж злоупотреблений и взяточничества не истребите... Нет? Следовательно, к чему же об этом писать, только скандал делать!..

— Именно, — продолжала одна из особ с непритворною грустию, — это удивительно, что̀ нынче вообще пишут... вот хоть бы, например, этот Гоголь... Ну, где таких людей можно встретить нынче, каких он описывает?.. Что касается до меня, я, слава богу, пятьдесят восемь лет живу на свете, бывал везде и в провинциях, а никогда не встречал таких уродов... и вся его книга, эти «Мертвые души», зловредное сочинение и оскорбительное для дворянского сословия...

— И, по моему мнению, — прибавила другая особа, — злоупотребления разные, взяточничество и тому подобное, — это совсем не дело литературы, она не должна в это вмешиваться... Мало ли у нее предметов для описания — картины природы, любовь! Почему бы, например, не взять какой-нибудь исторический сюжет... вот хоть бы из царствования Бориса Годунова, что ли?.. тут поэтическое воображение очень может разыграться; а то чиновники, помещики — ну кому это интересно?

— Совершенно справедливо, — заметил благодетельный помещик с чувством.

— Золотом бы напечатать ваши слова, ваше превосходительство, — произнес с горячностью маленький и грязненький господин, который перед жарким начинал приходить в беспокойство и все хватался рукою за свой карман... Беспокойство это еще более увеличилось, когда появилось шампанское и начались поздравления. После поздравления все на минуту смолкло. Маленький и грязненький господин встал, вынул из кармана дрожащей рукой бумажку и обратился к хозяйке дома.

— Позвольте... я приготовил, — сказал он, заикаясь, — небольшое приветствие в стихах... Я желал бы...

Все обратились к нему с любопытством, и он начал читать с чувством, с увлечением и нараспев:

Семьи достойной украшенье —
Примерная хозяйка, мать;
Супруга гордость, утешенье!
Примите наше поздравленье...
Чего могу вам пожелать?
Одно — чтоб божья благодать
Вас осеняла, как доныне;
Чтоб в вашем Мише — добром сыне
Все добродетели отца
Во всем их блеске отразились...
Об этом молим мы творца!
Чтоб это пожелать — явились
Сегодня к вам на ваш обед:
Сановники, друзья, подруги —
И все приносят свой привет
Хозяйке доброй и супруге!..
Цвети ж, цвети на много лет, —
Семье и всем на утешенье
Произнесем мы в заключенье!..

Поэт смолк, поклонившись, при кликах: «Браво! прекрасно!» А у хозяина дома покатились слезы из глаз, и по

окончании чтения он прижал к груди своей грязненького господина.

Когда все вышли из-за стола, грязненький господин, который удостоился одобрения чиновных особ и даже пожатия руки, подошел к хозяйке дома, поговорил с нею что-то и поцеловал ее ручку. Он платил тем семействам, которые допускали его к себе, за даровые обеды и ласку лестью и мадригалами в дни именин и рожденья. Господин этот — литературный обломок времен давно минувших, лет тридцать, или тридцать пять назад тому пописывал еще стишки в «Колокольчиках», в «Гирляндах», в «Звездочках», в «Дамском журнале». Он смотрит с озлоблением на новую литературу и взводит на нее страшные обвинения за то только, что она не подозревает его существования.

В то время как чиновные особы садились за карточные столы, он подошел ко мне.

— Вы не смейтесь над моими виршами, — сказал он, смотря на меня с подобострастным и вместе язвительным выражением, — перед обедом, едучи сюда, мне пришел в голову этот экспромт, и я для памяти набросал его на бумажку. Мы уж люди отжившие, отсталые... Куда же нам гоняться за новейшими писателями и иметь такие возвышенные мысли, какие имеют они! Мы действуем в простоте души. У нас глаголят уста только от избытка сердца...

И он засмеялся насильственно, схватил мою руку и крепко пожал ее.

Я отыскал свою шляпу и незамеченный добрался до передней, дав себе слово не ходить больше на именинные обеды к моему доброму товарищу.



СЛАБЫЙ ОЧЕРК СИЛЬНОЙ ОСОБЫ



го превосходительство занимает значительное и видное место, так что другие генералы, когда речь заходит об нем, говорят обыкновенно со вздохом и покачивая головой: «Эк везет-то человеку! Эк везет! даже противно! В сорочке родился!» И действительно, место, занимаемое его превосходительством, во всех отношениях завидное место — и по окладам, и по почету, и потому еще, что оно такого рода, что невозможно почти обойтись без его превосходительства. Оттого с ним обращаются приветливо, ему улыбаются и подают два пальца такие сановники, при одном виде которых у всех петербургских чиновных людей, до четвертого класса включительно, захлебывается дыхание и замирает под сердцем. Я сам был однажды свидетелем в театре, как во время антракта его превосходительству протянули приветно два пальца и с каким почтительным восхищением он коснулся этих пальцев, нагнув голову ниже желудка; я сам видел, как после этого магического прикосновения его превосходительство выпрямил свой стан, торжественно загнул голову назад и с победоносной улыбкой продолжал свое шествие середи толпы, которая с любопытством осматривала его и провожала его глазами, шушукая: «Кто это такой?.. Вы видели, как сам NN. протянул ему руку!»

Я имею честь знать его превосходительство очень давно. В детстве он поднимал меня на руки и трепал по

щеке... когда еще не мечтал быть тем, чем он теперь, когда при входе особ четвертого класса, он робко отступал, низко кланяясь им, и только отвечал на их вопросы, не смея заговаривать с ними. Вследствие такого давнего знакомства его превосходительство удостоивал меня своим особенным вниманием, а иногда позволял себе в разговоре со мною употреблять одобрительные и весьма лестные для меня шутки, чего не удостоивались другие господа, имевшие равный со мною чин, — чин очень слабый. Мало этого, его превосходительство не один раз изволил приглашать меня на обеды к себе и даже сажал меня возле себя с левой стороны. Если я долго не бывал у его превосходительства, он, при встрече со мною на улице, останавливался и говорил: «Что это, батюшка, вы совсем пропали, вас не видно, вы забыли меня... Стыдно, стыдно!» — и при этом иногда благосклонно грозил мне своим указательным пальцем. Сначала его превосходительство имел небольшую казенную квартиру и вел образ жизни очень умеренный. Раз в неделю у него обыкновенно обедали гости, именно по воскресеньям. Эти гости состояли из старых избранных друзей его превосходительства, но про них... увы! нельзя было сказать того, что с гордостию сказал про своих друзей Ф. Н. Глинка:

Все *тайные* советники,
Но *явные* друзья!

Нет, у его превосходительства, хотя он уже десять лет пользовался этим титлом, этим венцом всех наших помышлений и надежд (известно, что все мы — русские дворяне родимся для того только, чтобы сойти в могилу с генеральским титлом...), у его превосходительства в ту эпоху между друзьями еще не было ни одного тайного советника... Я имел удовольствие знать всех друзей его превосходительства той давно минувшей эпохи: надворного советника Ивана Ильича Нефедьева, с Станиславом на шее, который постоянно ходил на цыпочках, как будто пол под ним был хрустальный, говорил, выдвигая губы вперед и сжимая их, как будто собирался играть на флейте, к каждому слову прибавляя *с* и *ваше превосходительство,* отчего разговор его походил несколько на птичий свист, и смотрел на всех генералов так приятно и с таким умилением, как дети смотрят на конфекты. Статского советника Василья Васильича Прокофьева, с Анной

на шее, отличавшегося светскостию приемов, ловкостию движений, увлекательной диалектикой, артистическими наклонностями (он прекрасно декламировал стихи и пел куплеты) и глубокомысленностию. Я как теперь помню (такие минуты никогда не забываются!), как Василий Васильич, после сладко свистящих речей Ивана Ильича, однажды отвел меня в сторону и произнес с понижением и возвышением голоса:

— Я истинно не понимаю нашего доброго Ивана Ильича. Как не стыдно ему какую-нибудь ничтожную частичку *с* принимать знаком учтивости. Учтивость нашего образованного девятнадцатого века заключается не в этой ничтожной частичке, а в интонации голоса!..

Я не мог не согласиться с этим. Василий Васильич улыбнулся, пожал мне руку и произнес несколько нараспев, с ударением на *мы:*

— Я знаю, что *мы* понимаем друг друга!

Кроме Ивана Ильича и Василья Васильича, на воскресных обедах его превосходительства всегда присутствовал друг его детства, Сергий Федорыч Брусков, также статский советник мужчина ражий, плечистый, в рыжеватом парике, с мутно-светлыми глазами, имевшими несколько дикое и пронзающее выражение, говоривший резко, твердо и упиравший в особенности на букву *о*. Сергия Федорыча очень уважали, но не любили и побаивались несколько, потому что он, по его собственному выражению, *резал правду-матку всем в глаза* и всех озадачивал своею смелостию, доходившею до грубости. Однажды за обедом его превосходительства какой-то чиновник, приехавший из провинции и подчиненный его превосходительству, распространился о высоких качествах души его, обращаясь к нему самому. Сергий Федорыч смотрел на чиновника пронзительно во все время его речи, и когда чиновник кончил свой панегирик его превосходительству, а его превосходительство, умилившись, протянул ему руку, Сергий Федорыч положил без всякой церемонии свою огромную пятерню на плечо его превосходительства и сказал:

— Льстецы, братец ты мой, разделяются на обыкновенных льстецов и *сугубых*. Вот этот господин, я не имею чести знать его (он ткнул пальцем на приезжего чиновника), принадлежит к *сугубым* льстецам.

И потом прибавил, обращаясь к чиновнику:

— Не удивляйтесь, милостивый государь, моему замечанию. Оно, может, жестко показалось вам, но я мягко стлать не умею. Я как Правдолюб в старинных комедиях. Уж у меня такая тенденция... Он, конечно, хороший человек (при этом Сергий Федорыч ткнул пальцем на его превосходительство), но вы, милостивый государь, отзываетесь об нем, как о существе совершенном или о духе бесплотном, а и за ним так же, как и за другими смертными, грешки водятся... Ведь правду я говорю, мать?..

Он повернул голову к ее превосходительству, супруге его превосходительства.

Ее превосходительство была дама роста небольшого, съежившаяся и сморщившаяся, несколько походившая на плод, не успевший налиться и засохший на ветке; но зато она отличалась высокими нравственными достоинствами: благоразумием, умеренностию, аккуратностию, благочестием и так далее. Она строго исполняла все семейные обязанности, строго присматривала за домашней прислугой, за своей воспитанницей и отчасти, может быть, за его превосходительством, потому что его превосходительство очень часто, что называется, лебезил около нее, заискивал в ней, как бы чувствуя что-нибудь за собою. Он называл ее нежными уменьшительными именами, как, например, *Машурочка, дружочек* и т. п., отчего строгое, неподвижное и сморщенное лицо ее превосходительства не смягчалось нимало. Она никогда не улыбалась, потому что, по ее мнению, улыбка могла нанести ущерб ее нравственному достоинству, и делалась еще строже и серьезнее, когда в веселом расположении духа его превосходительство расшутится, бывало, с гостями и расхохочется иногда, довольный собственным юмором. Никаких дам я никогда не видал в доме его превосходительства, потому что ее превосходительство собственно к себе почти никого не принимала, кроме одной пожилой вдовы коллежского ассесора, с ридикюлем, на котором по черному фону была вышита какая-то пестрая птица, вроде райской. Эта почтенная вдова с райской птицей была ее поверенной и наперсницей и, по чувству благодарности к генеральше, подсматривала за генералом, за что последний не очень ее жаловал, хотя наружно был очень любезен с нею. Ее превосходительство являлась обыкновенно к самому обеду в сопровождении почтенной вдовы с райской птицей, которая садилась за обедом возле нее. Во время постов им по-

давали особо постные кушанья, которые чрезвычайно шли к их постным физиономиям. При входе ее превосходительства его превосходительство бросался к ней навстречу, называл ее *маточкой,* целовал ее руку и представлял ей гостей. Когда очередь доходила до меня, — его превосходительство всякий раз произносил одну и ту же шутку:

— Ну, а этот молодой человек, который так редко удостоивает нас своим посещением, знаком тебе, дружок?..

Но генеральша не обращала внимания на юмор генерала, очень серьезно отвечала на мой почтительный поклон и спрашивала:

— Как здоровье вашей матушки?

Я обыкновенно благодарил и отвечал:

— Слава богу!

Тогда генеральша замечала:

— Очень рада, что имею удовольствие вас видеть.

И в заключение прибавляла обязательно:

— Потрудитесь засвидетельствовать почтение вашей матушке. Не забудьте, прошу вас.

Этим обыкновенно оканчивался наш разговор. За обедом ее превосходительство почти всегда молчала, а если и разговаривала, то шепотом, с почтенной вдовой, которую райская птица не оставляла даже и за обедом.

Это было в первую эпоху генеральства его превосходительства, когда еще никто не завидовал ему, — да и завидовать, признаться, было нечему. Оклады он получал небольшие, очень нуждался и прибегал иногда к займам; сановники и не подозревали тогда о его существовании; еще мягкая нога его, которая теперь так изящно скользит и шаркает в раззолоченных салонах разных стилей на мозаичных паркетах, — тихо, несмело и осторожно ступала тогда только по паркету приемной одного вельможеского дома, не осмеливаясь переступить за дверь этой приемной; еще выше Прокофьева, Нефедьева и Брускова он не имел тогда друзей.

Но... но уже человек наблюдательный, дальновидный и проницательный мог предугадать, что его превосходительство ожидает высшая доля, что перед ним должна открыться блестящая перспектива. Его открытое чело, орлиный нос, приветливый взгляд, быстро переходивший в строгий начальнический, то лестный и услаждавший душу маленького чиновника, то повергавший его в прах, — все предвещало, что он должен подняться, и *значительно*

подняться. Так и вышло. Конечно, его превосходительство возвышению своему не был обязан исключительно своему открытому челу и орлиному носу; без особенной протекции и без счастливых обстоятельств он мог бы и с своим орлиным носом остаться на невидном и незначительном месте. Но как бы то ни было и чему бы он ни был обязан своему возвышению, теперь его превосходительство уже не лицо, а *особа,* и особа, которой протягивают особы из особ по два пальца. Этот орлиный нос, — счастливая игра природы, который был бы вовсе некстати, даже имел бы что-то комическое, если бы его превосходительство занимал невидное место, — теперь удивительно идет к нему и придает что-то необыкновенно гордое и значительное его физиономии, а это открытое чело, которое просто называлось бы лысиной, если б он не занимал видного места, теперь придает ему что-то олимпийское и заставляет предполагать о его возвышенном уме. Глядя на этот огромный, лоснящийся лоб, странно было бы сомневаться в его уме, в его широких взглядах, в его высоких административных способностях, что бы ни говорили против этого вольнодумцы и беспокойные люди, которые во всем и во всех отыскивают одни недостатки...

У его превосходительства теперь анфилады комнат, превосходно меблированных на казенный счет; в его передней кишат ловкие курьеры и официанты, а в приемной, перед кабинетом, стоят, притаив дыхание, смиренные чиновники и робкие просители.

Как человек с великодушным сердцем, его превосходительство не изменился к своим старым друзьям, к Прокофьеву и к Нефедьеву, которые все еще состоят в прежних чинах — и приглашает их снисходительно обедать попрежнему, по воскресеньям; даже и я, не имеющий чина титулярного советника, удостоивался этой чести, — только все мы в великолепных его салонах отчего-то утратили прежнюю развязность и ощущали какую-то неловкость, как будто на нас были надеты дурно сшитые узкие платья, которые жали под мышкой. С одним другом детства, Брусковым, его превосходительство прекратил все сношения, и вот по какому поводу, если верить рассказам людей, собирающих городские сплетни.

Когда друг детства его превосходительства в первый раз явился на новую квартиру его, сей последний встретил его, говорят, с величайшим радушием и повел ему

показывать свои анфилады в деталях. Друг детства останавливался в каждой комнате, осматривал ее от потолка до полу и восклицал:

— Дивно хорошо! Сколько капиталу, а главное, сколько вкусу потрачено! Вкус-то это, ведь я чай, обойщика?..

— Отчего ж обойщика? — возразил его превосходительство, — я всем, братец, распоряжался сам, — сам выбирал материи, бронзы...

— Полно, ваше превосходительство, морочить, полно! — перебил его друг детства, — откуда нам с тобой такого вельможеского вкуса было набраться. Ведь родословная-то напа не от Рюрика идет, — надо правду говорить. Предки-то наши не бог знает кто такие были, и воспитаны мы с тобой были на медные гроши, в детстве-то почти что босоногие бегали, да и в юношеском-то возрасте крепко нуждались. Помнишь, как ты у меня шинелишку занимал: у тебя ведь и порядочной шинелишки-то, чем от холоду защититься, не было... Так уж где нам самим этакие палацы меблировать!

Что отвечал на это его превосходительство, я не знаю; только с этих пор неумолимый друг детства не появлялся в доме его превосходительства.

Ее превосходительство нисколько не изменилась среди новой блестящей обстановки. Она по-прежнему появлялась к обеду в сопровождении почтенной вдовы с райской птицей, которой, по великодушию своему, назначила пенсию в 10 руб. в месяц, и по-прежнему, когда я обедывал у его превосходительства, спрашивала меня о здоровье матушки, только уже не просила о засвидетельствовании ей почтения; а его превосходительство хоть и продолжал мне оказывать свое лестное внимание, но сделался несколько серьезнее в обращении со мною и не позволял себе прежних шуток. После обеда генеральша отправлялась с райской птицей на свою половину, а генерал удостоивал приглашать нас в свой кабинет, на четверть часа перед сном. Покуривая сигару, он благосклонно выслушивал наши рассказы и иногда изволил улыбаться, когда выслушивал что-нибудь смешное. Нефедьев со своим Станиславом обыкновенно сидел на кончике стула, несмотря на то, что после обеда такая поза не совсем удобна, и, заговаривая, поднимал страшный свист, только и слышалось: «Ваше пр-ство, вы изволили-с, ваше пр-ство» — и проч. Прокофьев, как человек более светский, был несрав-

ненно развязнее и свое глубочайшее уважение и совершенную преданность обнаруживал, по своему обыкновению, посредством *интонации* голоса.

В поклонах его превосходительства произошла также значительная разница. Он при встрече со мной на мой почтительный поклон только слегка покачивал головой, с беглой, едва заметной улыбкой, и уже никогда не останавливал меня на улице, как бывало прежде. Я и не смел претендовать на большее внимание со стороны его, очень хорошо понимая, что человеку, так высоко поднявшемуся, трудно замечать таких маленьких человечков, как мы. Я был уже доволен тем, что его превосходительство замечает мои поклоны, тем более, что мне было небезызвестно, хоть он никогда не говорил мне этого, что, по его понятиям, человек неслужащий почти синоним человека вредного, ибо его превосходительство воспитан был в тех понятиях, что, кроме коронной службы, всё пустяки и что человек неслужащий непременно должен быть пустой и праздный человек. О таковых он отзывался с благородным негодованием, справедливо замечая, что праздность есть мать всех пороков, что она порождает вольнодумство и прочее. Заметное охлаждение ко мне его превосходительства в последнее время происходило, может быть, отчасти оттого, что мое свободное обращение в его присутствии, мое неуменье садиться на кончик стула, говорить с некоторым замиранием в голосе, слегка приподнимаясь на стуле и тому подобное, его превосходительство принимал за симптомы вольнодумства.

Его превосходительство принадлежал к старому поколению, которое в этом отношении несравненно взыскательнее и строже нового поколения значительных особ. Последние также мастерски сумеют показать неизмеримую разницу, существующую между ними и нами; но при них вы можете смело не только сесть на стул, — даже, если вам захочется, положить ногу на ногу; в их присутствии вы даже можете свободно судить обо всем, несмотря на свой ничтожный чин, говорить о злоупотреблениях, о мерах к их исправлению и проч., — они даже и в таком случае не назовут вас вольнодумцем. Вообще вольнодумец — слово обветшалое, совершенно выходящее из употребления. Оно заменилось ныне другим словом — «человек свободномыслящий». В глазах старого поколения значительных особ быть *вольнодумцем* значило почти то же, что

быть уголовным преступником; в глазах нового поколения значительных особ слова «человек свободномыслящий» не имеют такого ужасающего значения; напротив, люди, свободно мыслящие, пользуются даже уважением известных значительных особ как люди умные. Новое поколение значительных особ и на неслужащего человека смотрит уже без сожаления или без презрения, понимая, что можно быть человеком дельным и полезным отечеству и не занимая никакого коронного места.

До таких истин нельзя, конечно, доходить легко и скоро, и как мне это ни больно, но я не виню его превосходительство за то значительное охлаждение, которое он вследствие вышеизъясненных причин стал обнаруживать ко мне в последнее время. Двадцатилетнего юношу в чине десятого класса, с каштановыми волосами, с пушком на усах и с розовыми щеками, его превосходительство мог ободрять своим благосклонным покровительством; но когда этот юноша превратился в мужа, когда седина посеребрила его виски, когда на лбу его показались резкие морщины, а на верхней губе длинные усы, которые в штатском его превосходительство принимал почему-то за один из несомненных признаков вольнодумства (если штатский, носивший усы, не служил прежде в военной службе)... на такого усатого сорокапятилетнего господина, не подвинувшегося ни на полчина и оставшегося в том же роковом десятом классе, его превосходительство, натурально, не мог уже смотреть прежними глазами... К тому же, с своей стороны, усатый сорокапятилетний господин с некоторою уже самостоятельностию и проникнутый чувством человеческого достоинства, несмотря на все глубокое уважение к сану его превосходительства, не мог вести себя относительно его так, как он вел себя прежде мальчишкой, когда у него был пушок на губе и розовые щеки... В наших отношениях (если могут существовать какие-либо отношения между людьми третьего и десятого классов) должно было возникнуть недоразумение, а за недоразумением неизбежно последовало охлаждение. Несмотря на это, я, однако, изредка все еще являлся к его превосходительству, а в светлое Христово воскресенье и в Новый год оставлял в его передней свои карточки.

Я и не подозревал, что эти карточки окончательно вооружат против меня его превосходительство, потому что, как уже мне растолковали впоследствии, несмотря на

мои преклонные лета, в слабом чине я не мог оставлять ему карточки (карточки только оставляют равные равным), а должен был расписываться на листе, который лежал в торжественные дни в передней его превосходительства. Эти карточки и еще то, что я никогда не поздравлял ни его превосходительство, ни ее превосходительство с днем их ангела и рождения, утвердили окончательно, кажется, его превосходительство в неисправимости моего вольнодумства...

— Жаль, жаль мне молодого человека, — говорил он про меня одному моему знакомому с карьерой, — душевно жаль... Я не ожидал этого от него... Он с этакими какими-то идеями... не служит, отпустил усы, у него какие-то развязные манеры... он вовсе некстати, говоря со мной, размахивает руками... Жаль, очень жаль молодого человека!

Молодой человек! Я грустно вздохнул, выслушав это. Увы! кроме его превосходительства, меня уже никто не называет молодым человеком.

В первый раз, когда его превосходительство увидел меня с усами, он взглянул на меня с благосклонной, но иронической улыбкой и, покачав головой, изволил заметить: «К чему это? это уж напрасно». Но потом, видя мое упорство, ничего никогда более не говорил мне об усах и только смотрел на меня с снисходительным сожалением, постепенно переходившим в некоторую суровость.

Таковы были мои отношения к его превосходительству до той минуты, когда случай заставил меня явиться к нему в виде просителя...

Круг деятельности его превосходительства все расширялся, и он, кроме прежних своих назначений, получил еще новое назначение. В числе новых его подчиненных находился один пятидесятивосьмилетний чиновник-труженик, кормивший многочисленное семейство и старуху мать. Чиновник этот сорок лет служил на одном месте и занимал лет пятнадцать должность столоначальника. Я знал давно и его и его семейство. Он не отличался ни образованием, ни глубиною взглядов, но был трудолюбив, честен, строго исполнял свою обязанность и, по единогласному отзыву всех своих сослуживцев, был весьма полезным чиновником... Прежнее начальство дорожило им. Он получал почти ежегодные вспомоществования из так называемых *остаточных* сумм, но несмотря на это и на пособия своих дочерей, которые занимались шитьем по

заказам, очень нуждался, особенно в последнее время, при увеличившейся дороговизне петербургской жизни. Его звали Кондратием Иванычем Кондратьевым. Кондратий Иваныч никогда не жаловался на свое положение, не ханжил, не заискивал. Честолюбие его не простиралось выше занимаемого им места, и он был в полной уверенности, что умрет на этом месте.

Но его превосходительство, приняв на себя новые обязанности, вознамерился все изменить и переделать в своем новом управлении, не столько по желанию действительных улучшений, сколько потому, чтобы показать миру, что предшественник его был не так деятелен, как он, и не имел таких широких воззрений и соображений, какие имеет он. Ломка началась страшная. Несколько десятков чиновнических существований вздрогнули за себя и за свои семейства. Его превосходительство беспрестанно изволил говорить: «Я не потерплю этого»... «У меня это не должно быть»... А что такое разумел он под *этим,* никто не знал... С высоты своей он обратил свое начальническое внимание даже на Кондратия Ивановича, призвал его к себе и лично изволил объявить ему, что по его столу большие упущения. Кондратий Иваныч очень изумился этому, потому что он по совести не знал за собою по службе никаких упущений и с почтительною робостию осмелился заметить это его превосходительству, поставив на вид, что он служит сорок лет в одном ведомстве, пятнадцать лет занимает должность столоначальника и был всегда аттестован с хорошей стороны начальством... Но его превосходительство изволил вскрикнуть: «Мне нет никакого дела до того, как было прежде, но я, сударь, не потерплю никаких упущений, примите ваши меры...» И задал бедному Кондратию Иванычу в три месяца окончить такую работу, которую едва можно было исполнить в полгода. Кондратий Иваныч не спал ночи — и окончил заданную работу к сроку, сдал ее начальнику отделения и ожидал с трепетом решения его превосходительства, скрыв от своего семейства свои служебные неприятности. Начальник отделения через месяц объявил Кондратию Иванычу, что все сделано им не так, как ожидал его превосходительство и что его превосходительство очень недоволен им. У Кондратия Иваныча помутилось в глазах, когда он выслушал свой приговор: он побледнел как смерть...

— Что же это значит? — спросил он у начальника отделения, заикаясь. — Я все исполнил так, как мне было приказано.

— Мне очень больно огорчить вас, — отвечал начальник отделения, — но, кажется, любезный Кондратий Иваныч, его превосходительство прочит кого-то другого на ваше место. Вы должны принять меры.

— Какие же меры? — произнес Кондратий Иваныч, совершенно потерянный. — У меня шесть человек детей, жена, мать... Какие меры?

Кондратий Иваныч в первый раз в течение своей сорокалетней службы произнес перед начальством имя жены и детей.

— Ну, уж как вы там знаете, — пробормотал начальник отделения, — поверьте, я вхожу в ваше положение... Мне вас очень жалко... но...

— Господи! да что же это? — вскрикнул Кондратий Иваныч, схватив себя за голову, и выбежал вон из департамента.

В это утро солнце против обыкновения ярко освещало Петербург. Невский проспект имел вид совершенно праздничный; в цельных стеклах магазинов светились и играли бронзы, хрустали, драгоценные камни; роскошные экипажи быстро летали по торцовой мостовой; тротуары были полны гуляющими; устрицы только что привезли — и привоз был отличный: устричные раковины валялись у дверей Милютиных лавок для соблазна прохожих; в окнах этих лавок в стеклянных шарах плавали золотые рыбки; грудами были наложены только что привезенные из-за границы чудовищной величины груши и прохладительные освежающие гранаты, на полках расставлены были раздражающие вкус страсбургские пироги; за дверьми болтались на гвоздиках вестфальские окорока; на каждом шагу встречались пушистые бобры с удивительною проседью, темные, мягкие соболи, драгоценные шелковые ткани на кринолинах, кружева, блонды, цветы, перья... и вся эта роскошь, освещенная солнцем, действовала на глаз еще раздражительнее, чем когда-нибудь.

Но Кондратий Иваныч не видал ничего этого, в глазах бедного чиновника была ночь, непроницаемый, безвыходный мрак, перспектива скорби и голода... Нестерпимая тяжесть гнула его к земле: на плечах его было восемь существ, требовавших одежды, пищи и теплого угла, а пен-

сион при отставке едва достанет только на одну пищу такого многочисленного семейства... Кондратий Иваныч переходил через улицу, шатаясь, как пьяный; ноги его подламывались; блестящий экипаж Шарлоты Федоровны обрызгал его грязью, а огнедышащие рысаки ее чуть не задавили его. Он еле добрался до дому и слег в постель.

Жена его узнала обо всем случившемся с мужем на другой день и прибежала ко мне. На этой бедной женщине лица не было. Она, заливаясь слезами, передала мне постигшее их несчастие и, зная о моем знакомстве с его превосходительством, умоляла меня съездить к нему и заступиться за ее мужа, упросить его превосходительство, чтоб он не лишил его места.

— Но что же я могу сделать для вас? — возразил я. — Я, точно, знаком с его превосходительством, но неужели вы думаете, что мое ходатайство, как бы оно ни было горячо, может на него подействовать? В глазах его превосходительства я человек ничтожный, незаметный.

Но бедная женщина не слушала моих возражений. Она твердила одно, задыхаясь от слез:

— Съездите, батюшка, попросите, заставьте за себя вечно бога молить! Ведь его превосходительство человек... он отец семейства... расскажите ему о нашем положении, неужели он не войдет в наше положение, не сжалится над нами...

Я был уверен, что не помогу ее горю, но дал ей слово ехать к его превосходительству и употребить все от меня зависящие средства, чтобы возбудить участие его превосходительства к ее мужу. Я тотчас поехал к его превосходительству и не застал ни его, ни ее превосходительства; в другой раз они меня не приняли. Я решился, не откладывая в дальний ящик, отправиться к нему в то утро, когда он принимает просителей. В первый раз с трепетом я входил в переднюю его превосходительства и в первый раз стоял между его просителями в приемной, вздрагивая каждый раз, когда отворялась заветная дверь в его кабинет.

Дверь эта отворялась и затворялась несколько раз. В нее входили и из нее выходили озабоченные господа с бумагами и портфелями в руках, не без любопытства поглядывая на нас; не раз раздавался звонок из кабинета, и мы думали: «Вот, вот наступает минута...» — но этот звонок призывал какого-нибудь подчиненного; подчинен-

ный вбегал, скрывался за дверью, и снова водворялась тишина... У меня делалось волнение от нетерпения, даже биение сердца; я вставал, прохаживался по комнате, подходил к окну, глядел в окно, садился на стул, снова вставал и прохаживался, но его превосходительство не появлялся.

— Видно, вы еще новичок, батюшка? — сказал мне со вздохом и с улыбкой один из просителей, сморщенный старичок, заметив мое нетерпение, — а мы уж привыкли к этому, обтерпелись... Его превосходительство изволит назначать прием в десять часов, а раньше двенадцати никогда не выходит. Что ж делать? занят, видно... дел много.

Наконец из кабинета послышался шум отодвигавшегося массивного кресла. На таком кресле никто не мог сидеть, кроме его превосходительства. При этом шуме курьер и чиновник, находившиеся в приемной, пришли в движение. Затем снова раздался звонок, курьер вошел в кабинет и тотчас же вышел, отворяя дверь и взглянув значительно на просителей. Все просители вскочили с своих мест, обдергиваясь. На пороге дверей показался его превосходительство с своим возвышенным челом и орлиным носом.

Я первый раз видел его превосходительство в такую официальную, торжественную минуту. Он был прекрасен. Горделивая осанка, приподнятая голова и несколько надвинутые на глаза брови выражали глубокомыслие и чувство собственного достоинства и внушали в просителях невольное ощущение страха, а несколько нервические, нетерпеливые движения его показывали, что его превосходительство занят важными делами и что ему долго выслушивать просителей нет времени... Изредка он повторял, не глядя, впрочем, на просителя:

— Покороче, покороче, — в чем дело?..

К просительницам он был вообще внимательнее и, выслушивая просьбу одной молодой дамы в прекрасной лиловой шляпке, даже очень приятно улыбнулся.

Когда очередь дошла до меня, его превосходительство, бросив на меня взгляд, в первую минуту обнаружил как будто изумление, потом произнес:

— А, это вы?.. И вы имеете какую-нибудь просьбу?.. Уж не на службу ли определиться хотите?

И при этом его превосходительство изволил улыбнуться иронически.

Я просил его превосходительство о дозволении мне сообщить ему мою просьбу наедине и прибавил, что я не более как на десять минут обеспокою его.

Его превосходительство немного нахмурился, однако, по мгновенном размышлении, произнес:

— Очень хорошо-с. Пойдемте ко мне в кабинет.

Я, сколько мог, кратко, но в то же время горячо и убедительно изложил дело, представил ему бедственную картину положения Кондратия Иваныча и в заключение обратился к его великодушному сердцу, к которому ни один страждущий не прибегал тщетно. Это я, впрочем, прибавил только для смягчения его превосходительства и для красоты слога.

В продолжение моей речи его превосходительство несколько раз неприятно подергивало. Когда я кончил, он сказал:

— Все это прекрасно, всему этому я верю, но что же вы хотите?

И, не дав мне рта разинуть, продолжал, постепенно разгорячаясь:

— Чтобы я оставлял у себя бестолковых и негодных чиновников потому только, что они народили кучу детей?.. Я не председатель благотворительного общества, и мое ведомство не богадельня! В службе человеколюбие неуместно. Мне нужно не трутней, а деловых людей. Я не потерплю, чтобы под моим ведомством был хотя один винтик слабый или негодный. Вы не служили. Вы этого не знаете... один негодный винтик может повредить действию всей машины. Тут, *любезный мой,* не фантазии, а дело, практика. И к тому же, признаюсь вам, я не люблю, чтобы вмешивались в мои распоряжения. Я знаю, что делаю... Извините меня, я тут ничего не могу сделать.

Его превосходительство кивнул мне головой в знак того, что он более уже ничего не намерен выслушивать от меня. Несмотря на все мое уважение к званию его превосходительства, при слове *любезный мой* кровь бросилась мне в голову, и я едва удержался, чтобы не заметить, что такого рода эпитеты он может, если ему угодно, раздавать своим канцелярским служителям и курьерам, а я, как человек, нимало от него не зависящий, не желаю со стороны его превосходительства такого фамильярного обращения, но удержался от такого неуместного замечания и, молча поклонясь, вышел из кабинета его.

Участь семейства бедного Кондратия Иваныча сильно тревожила меня, и я, подавив собственное самолюбие, решился сделать еще попытку и отправился к ее превосходительству.

Ее превосходительство приняла меня с свойственною ей сухою благосклонностию и, по обыкновению, спросила о здоровье маменьки.

Я изложил перед нею бедственное положение семейства Кондратия Иваныча, попросил о ее заступничестве у супруга за бедного чиновника и в заключение прибавил, что решился беспокоить ее потому, что мне известно ее нежное и доброе сердце и горячее, христианское участие, которое она принимает в бедных и страждущих. Ее превосходительство отвечала мне, что она очень сожалеет об этом несчастном семействе, что она готова с своей стороны оказать ему пособие по мере сил своих, но что его превосходительству она говорить ничего не будет, ибо положила себе за правило не вмешиваться в служебные его распоряжения.

Вознамерясь испытать все средства, я отправился к старым друзьям его превосходительства, Нефедьеву и Прокофьеву, думая, не возьмутся ли они ходатайствовать за бедного чиновника.

Но г. Нефедьев просвистал мне, по своему обыкновению, что хотя он и пользуется исстари лестным для него благорасположением их пре-ства, но обеспокоивать их пре-ства не решится, ибо их пре-ству неприятно, чтобы вмешивались в его дела, беспокоили их и прочее.

Прокофьев сказал мне с ударениями, с возвышением и понижением голоса:

— Я с удовольствием взялся бы за это, но его превосходительство человек *несовременный,* он характера упорного и придерживается служебной рутины; у него свои взгляды на все, совершенно несообразные с нашим *образованным* девятнадцатым веком. С ним не сговоришь. Он нашего брата, который, так сказать, *отрешился* от всех этих формальностей, и слушать не захочет...

А Брусков, находящийся тут, перебил его, обратившись ко мне:

— Да вы уж лучше отложите попечение, ничего тут сделать нельзя, я вам скажу наотрез. Вы еще больно горячи и прытки, жизнь-то, милостивый государь, вы мало знаете. Уж на место вашего *протеже* определен другой...

так, какой-то свистун, похожий на парикмахерскую вывеску, женин племянник... Это место-то для него и очищено... Известное дело: *нельзя не порадеть родному человечку*... А вы тут лезете ему в глаза с вашим человеколюбием и правосудием!..

Г-н Брусков был прав. Действительно, как я узнал впоследствии, на место Кондратия Иваныча был определен родной племянник супруги его превосходительства, которому еще при этом дана казенная квартира с отоплением, чем не пользовался Кондратий Иваныч...

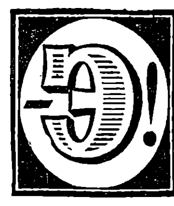
Некто, оправдывая его превосходительство в моем присутствии, заметил, что нельзя же держать на службе бесполезных чиновников, принимая только в соображение их престарелые лета и многочисленные семейства, что необходимо сокращать штаты и бесполезную переписку, что это теперь à l'ordre du jour[1]. Это совершенно справедливо, а между тем бедного Кондратия Иваныча, который содержал семь душ, — не существует на свете, и чем будут питаться теперь эти семь душ, — неизвестно...

---

[1] на повестке дня (*франц.*).



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННИК



помилуйте, какие литературные промышленники, — перебил я моего знакомого... (Мой предшествовавший с ним разговор не может быть интересен читателям, и потому я не сообщаю его). — Что вы разумеете под литературным промышленником? Все издатели газет и журналов, по-вашему, литературные промышленники, потому что все они рассчитывают на возможно большее число подписчиков и завлекают их перед подпиской различными заманчивыми объявлениями, разумеется, в надежде бо̀льших барышей. В каждом, самом идеальном литературном предприятии есть сторона материальная, промышленная, коммерческая...

— Я это очень хорошо знаю, — перебил меня мой знакомый, — я очень хорошо понимаю, что, может быть, самый честный издатель журнала или газеты, человек с благородными убеждениями, с умом, знаниями, желает получить наибольшее вознаграждение за свой труд, — это дело понятное; но такой господин не может назваться литературным промышленником, потому что он не загребает жар только чужими руками, не обсчитывает и не обманывает своих талантливых сотрудников, не эксплуатирует ими.

— Поверьте, в настоящее время, — перебил я, в свою очередь, — торговать чужим умом невозможно, даром те-

перь никто не работает, эти идеальные времена безвозвратно минули, — теперь литературный труд оценяется не дешево... Нет-с, теперь эксплуатировать не только талантливыми, но и бесталантными сотрудниками трудно...

— Тем лучше, — сказал мой знакомый, — но тем не менее литературные промышленники и эксплуататоры существовали и существуют, только теперь они обезоружены, с прекращением журнальных монополий. В старые годы бывало не так, в старые годы малосовестливый журнальный монополист что хотел делал с своими сотрудниками, потому что от него им уйти было некуда... Да вот я лучше передам вам некоторые материалы для биографии одного из таких монополистов, — я его коротко знаю. Из этого вы увидите, что такое я разумею под литературным промышленником.

Я назову его хоть Петром Васильичем, из скромности, потому что надобно же как-нибудь называть человека. Я познакомился с Петром Васильичем через год после приезда его в Петербург. Петр Васильич находился тогда на службе и пользовался уважением нескольких тупоумных господ, которые без уважения к кому бы то ни было существовать не могут... Эти господа говорили про него: «У! да какой он умница, какой ученый!.. Какую он, говорят, статью написал!» Петр Васильич действительно перевел с французского какую-то статейку о каком-то слабом французском философе и долго возился с ней, придавая ей огромное значение и читая ее своим знакомым — имевшим вес в литературе, которым он был представлен именно вследствие этой статейки. В ту эпоху еще литературные, поэтические и ученые репутации доставались у нас очень легко, так что вследствие своей переводной статейки Петр Васильич прослыл чуть не мудрецом. Надобно заметить, что этому немало способствовала наружность Петра Васильича. Выражение лица его было постоянно глубокомысленное, а густые брови несколько надвигались на большие глаза, в которых, казалось, так и сверкал ум. Наружность его была до того обманчива, что, признаюсь, в первые минуты моего знакомства с Петром Васильичем я был также уверен, что он человек глубокомысленный и ученый... Меня вводили в заблуждение именно эти чудно сверкавшие глаза и эта густая, оттенявшая их бровь... К тому же Петр Васильич, по своей натуре, принадлежал к так называемым *медным лбам,* кото-

рые этим лбом всегда удачно пробивают себе дорогу; он говорил отрывисто и резко, задумывался, покачивал строго головою, нередко значительно мычал, словом, имел что-то внушающее и действовал сильно, в особенности на прямые, открытые, но слабые характеры. Даже впоследствии, когда Петр Васильич совсем обнаружился, он внушал нечто вроде страха людям очень умным и образованным, но робким.

После своей переводной статейки, более или менее сблизившись с известными литераторами, Петр Васильич, делавшийся все смелее и смелее, уже попробовал *сочинить* статейку и назвал ее «Взгляд на Россию». В этом новом произведении своего пера он доказывал, что Россия — шестая часть света, не имеющая ничего общего с пятью остальными и долженствующая управляться собственными законами, не имеющими ничего общего с общечеловеческими законами. Такая оригинальная мысль, несмотря на свою нелепость, понравилась некоторым. Один из этих некоторых, человек очень почтенный и имевший в то время литературное значение, страстный охотник до всего оригинального, хотя бы во вред здравого смысла, взял Петра Васильича под свою протекцию. Этот почтенный и необыкновенно добродушный господин был первою ступенью к возвышению Петра Васильича. Перешагнув ступенью выше и не имея более надобности в добродушном господине, Петр Васильич взглянул на своего благодетеля свысока и с насмешкою отвернулся от него. Известно, что литературные промышленники — люди без сердца. Но под защитою его авторитета Петр Васильич начал издавать литературный листок. О цели, о мысли, о направлении издания в то время мало заботились, да, признаться, и заботиться-то об этом было бесполезно. Сам Петр Васильич не знал, во имя чего он будет подвизаться на журнальном поприще, потому что, кроме остроумной мысли, что Россия шестая часть света, и прочее, у него никакой другой мысли в голове не было, да и эта мысль вовсе не была его убеждением, а так, через других, как-то случайно забрела к нему в голову, и он поспешил воспользоваться ею, собственно, для того, чтобы обратить на себя внимание.

Увидев перед собою впервые кучи денег при подписке и груды пакетов с пятью печатями, Петр Васильич затрепетал от внутреннего удовольствия. Мысль *нажиться* по-

средством литературы сознательно блеснула перед ним, когда он подрезывал пакеты и жадными, многовыразительными глазами своими пожирал увеличивающуюся кучку ассигнаций. Как человек аккуратный и положительный, Петр Васильич устроил отлично бухгалтерскую часть, сам вел приходные и расходные книги, не упуская ни одной копейки, и, испытав на опыте прелесть получения и горечь уплаты, мало-помалу начал удерживать от своих сотрудников в пользу собственного кармана сначала копейки, потом рубли, а потом и десятки рублей. Он смотрел на своих сотрудников с некоторым ожесточением и завистью: с ожесточением, потому что им надо было платить деньги; с завистью, потому что его внутренний голос иногда нашептывал ему, что голова его тупа и туга и не способна ни к какому умственному труду. Заглушая этот неделикатный голос, который часто тревожит самые свинцовые натуры в начале их поприща, Петр Васильич в утешение называл своих сотрудников презрительным именем *борзописцев,* что не мешало ему иногда приписывать себе те из статей борзописцев, которые обращали на себя особенное внимание публики. Удерживать себе частички из вознаграждения, следующего за чужой труд, — дело, конечно, непохвальное и недобросовестное, — но присваивать себе чужую мысль, чужой труд, посягать на ум и познания ближнего, рядиться в чужие блестящие перья, как ворона в басне, — еще недобросовестнее, и я упоминаю об этом грустном для человечества факте только потому, чтобы несколько оправдать человека и показать, до чего иногда может довести его несвойственный ему путь и ложное положение, в которое он по необходимости ставит себя на таком пути. Петр Васильич родился для счетов, для ведения конторских книг, для занятия винными откупами или чем-нибудь подобным. Вся цель его жизни, все его убеждения заключались в деньгах.

Какой-то остроумный англичанин уверял, что весь нравственный катехизис американцев заключается в следующем:

Что такое жизнь? — Определенное время для приобретения денег.

Что такое деньги? — Цель жизни.

Что такое человек? — Машина для приобретения денег.

Это был также нравственный катехизис Петра Васильича. Подобно очень многим, он считал только тех людей гениальными и умными, которые приобретали или составляли себе капиталы какими бы то ни было средствами. Такого рода людей он уважал и внутренно преклонялся перед ними как перед авторитетами. Талант, ум, образование, мысль, без денег и без уменья приобретать, он явно презирал бы, если бы не попал случайно на литературную стезю, где и с огромными капиталами, но без таланта, ума, образования и мысли существовать нельзя. Он понимал это; он чувствовал, что ему надобно было какими-нибудь средствами держаться на высоте своего редакторского величия, что для удержания равновесия ему недостаточно было переводной статейки о французском философе и оригинальной о том, что Россия шестая часть света... и он прибегнул к присвоению чужой невещественной собственности — средство печальное и ненадежное, потому что ведь правда рано или поздно должна была открыться...

Но не бросайте в него камня, читатель. Он нес тяжкое нравственное наказание. Вы не знаете, какая страшная пытка без знаний, даже без простой начитанности, без всякого эстетического вкуса, с одними конторскими способностями, разыгрывать роль литературного судьи, иметь беспрестанные сношения с людьми более или менее талантливыми, начитанными, мыслящими, прикидываться всепонимающим, всезнающим, литератором между литераторами, ученым между учеными и трепетать каждую минуту, чтобы не обнаружить своего безвкусия и невежества; не иметь возможности поддерживать никакого продолжительного серьезного разговора и только от времени до времени повторять с важным видом знатока и с нахмуренными бровями: «Ну да, разумеется, так» или даже просто глубокомысленно мычать!.. Самолюбие, уязвляемое каждую минуту, терзало бедного литературного промышленника и раздражало его желчь, которая, не выливаясь из-под пера, потому что пером он владел плохо, только пятнами выступала на его лице. И какие жалкие меры употреблял, бывало, Петр Васильич для прикрытия своего ничтожества!.. Он заказал себе огромный стол, целое здание необыкновенного устройства с закоулками, башенками, полками, ящичками, и на верхней полке поставил бюст какого-то немецкого философа, но увы! и это

остроумное изобретение принадлежало не ему, — он видел подобный стол в кабинете какого-то литератора или ученого; в подражение этому ученому или литератору он заказал себе также какой-то необыкновенный домашний костюм, вроде того, который носили средневековые ученые и алхимики; окружил себя различными учеными книгами, которых он никогда не раскрывал и среди такой обстановки с необыкновенною важностию принялся... исправлять грамматические ошибки в корректурных листах!.. Уродливый стол, алхимический костюм, ученые книги, звание редактора и строгий таинственный и глубокомысленный вид, данный ему природою как бы в насмешку, наводили в первое время некоторый страх на литературных новичков, и Петр Васильич, замечая это, успокоивал на время свое самолюбие. Иногда он решался вступать в краткие и неудачные споры с известными литераторами о каких-нибудь литературных явлениях.

— Это славная вещь, что вы ни толкуйте, серьезное произведение, — говорил он, — тут виден и талант, и наблюдательность, и поэзия... Славная, славная вещь!

— Ничего тут нет, — возражал ему хладнокровно литератор, — произведение это самое посредственное, — и доказывал ему очень ясно, что в этом произведении нет ни таланта, ни наблюдательности, ни поэзии...

— Нет, нет, как можно, — повторял Петр Васильич, — полноте — это прекрасная вещь...

Но обыкновенно через месяц, а иногда и ранее, нимало не смущаясь, об этом самом же произведении и тому же самому литератору слово в слово повторял его мнение, выдавая его за свое собственное.

Такие комические сцены повторялись беспрестанно.

Приобретя чужим умом и собственною аккуратностию небольшие средства, некоторую внешнюю опытность для журнального дела, литературные связи, кредит типографщиков и бумажных фабрикантов и увлекаемый все более и более жаждою приобретения, Петр Васильич затеял обширное издание и вознамерился превратить свой листок в журнал. Он сообщил мне свои планы.

— Все это прекрасно, — сказал я, выслушав его, — но для этого вам необходимо прежде всего приобрести серьезного и дельного человека, с талантом и убеждениями, который мог бы дать цвет и жизнь вашему журналу. Для такого предприятия недостаточно одного гром-

кого объявления с обещаниями и с бесчисленными именами...

— Да, да, да; это правда, — сказал Петр Васильич, нахмурив брови и кивая головою. — Но я, право, не знаю, кого бы пригласить для этого дела?

Я назвал ему человека, обращавшего на себя в то время всеобщее внимание своей умной, энергической и смелой критикой, своим свободным и самостоятельным взглядом и горячими убеждениями, в короткое время приобретшего жарких защитников и ожесточенных врагов.

Петр Васильич замотал с неудовольствием головою и воскликнул:

— Полноте, как вам не стыдно. Что за охота связываться с мальчишкой, не имеющим никакого прочного знания, с пустым крикуном...

Этим и кончился наш разговор. Разуверять Петра Васильича было бы бесполезно...

Он начал свое новое издание, выписав для заведования критическим отделом, который считался тогда самым важным отделом в журнале, своего старинного приятеля, писавшего водевили, куплетцы, повести, стишки и рутинные статейки по части теории словесности, которые Петру Васильичу казались серьезными и учеными статьями.

Петр Васильич принял его с чувством и чуть не со слезами, как будущую подпору своего издания, как средство для увеличения своих подписчиков и доходов, и потому с нежностию прижал его к груди своей.

Прошло несколько месяцев: я уехал из Петербурга... Вдруг совершенно неожиданно в один прекрасный день получаю письмо от Петра Васильича...

Знакомый мой остановился на минуту, достал из своего портфеля письмо и подал мне его.

— Вот прочтите, если хотите, — сказал он, — это материал для истории русской журналистики. Я хотел его отослать к М. Н. Лонгинову. В этом письме вы познакомитесь с слогом литературных промышленников.

...«Христа ради, писал Петр Васильич, хлопочите сами и подбейте Н * и П *, чтобы вырвать у Г * (писатель, пользовавшийся в то время огромным успехом) статью для моего журнала. С * сказывал мне, что Г * через месяц будет в Петербурге. Его статья необходима; надобно употребить все средства, чтоб получить ее. Не пишу к нему сам, потому что эти вещи не делаются через письма, осо-

бенно с ним. Растолкуйте ему *необходимость поддержать мой журнал всеми силами*. Если же он сделался равнодушен к судьбам «российской словесности», чего я и ожидаю, *покажите ему вперед за статью хорошие деньги*, в которых он, верно, очень нуждается. Если ж ничто не возьмет, то надо дождаться приезда его сюда и *напасть на него соединенными силами*...

Я теперь ясно вижу, что мой Л * не годится для дела, для которого я его выписал, поговорите с Б * (с тем самым, которого Петр Васильич полгода назад перед этим называл пустым мальчишкой, крикуном), я желал бы передать ему весь критический отдел: *он одушевит журнал, в этом я убежден*. Средства мои теперь недостаточны, и я не могу ему предложить более 3500 руб. асс. в год, это maximum; убедите его согласиться. Я буду душевно рад его сотрудничеству, *ибо уважаю его*. Низкий поклон ему от меня...»

— Б * был тогда в стесненных обстоятельствах, — продолжал мой знакомый, когда я кончил письмо и возвратил его улыбаясь, — и должен был согласиться на условия Петра Васильича. Надо заметить, что еще Петр Васильич не успел в эту эпоху вполне обнаружиться, хотя уже было видно, что с ним надо действовать осторожно. Я заметил об этом Б *. «Что же мне делать? — отвечал он, — мне нет другого выхода, как согласиться на его условия, или умереть с голоду; я даже готов идти в сотрудники, не только к нему, но к Ф *, если он согласится принять меня с моими убеждениями, потому что я лучше соглашусь умереть с голоду, чем изменить своим убеждениям».

Дело было решено, и я приехал в Петербург вместе с Б * и в тот же день привез его к Петру Васильичу.

Петр Васильич задолго уже до этого вышел в отставку, чтобы свободнее посвятить себя литературной коммерции. Он лично объяснился с Б *, приняв его, как принимал всех нужных людей, приветливо и ласково, как только мог по своей грубой натуре. С той минуты Б * принялся за труд с свойственною ему горячностью. Несмотря на ничтожную плату, он отдал всего себя труду, положил в него всю свою благородную, горячую душу, работал день и ночь, а Петр Васильич, глядя на него, только ухмылялся и потирал от удовольствия руки, повторяя: «Молодец, ей-богу, молодец, больше печатного листа в день может отмахивать!» И, пользуясь этим, Петр Васильич стал при-

сылать к нему для обзора, кроме серьезных книг, всевозможные книжонки: азбуки, детские грамматики, сонники и тому подобные, чтобы не платить за них другим. Б * при своем глубоком уме, широком и светлом взгляде, при своей духовной энергии, был совершенный младенец в практической жизни: у него недоставало духу объясниться с Петром Васильичем, что в условие его с ним не входил разбор всяких ничтожных книжонок, что он и без них завален работой. Просить об увеличении годовой платы ему и в голову не приходило, потому что Петр Васильич беспрестанно жаловался на то, что не может свести даже концы с концами, несмотря на то, что слухи об увеличивающейся подписке на издание его становились все громче и громче... Петр Васильич тотчас же смекнул, что он нашел в новом своем сотруднике клад и что он может эксплуатировать его сколько душе угодно. Подчинясь ему совершенно в моральном отношении и позабыв о том, что Россия шестая часть света, долженствующая управляться особыми законами, он, сам не замечая того, начал вслед за Б * повторять его мысли, выдавая их за свои собственные, как будто всегда принадлежавшие ему.

Он даже стал с некоторым ожесточением нападать на тех, чей образ мыслей несколько клонился к тому, что Россия шестая часть света, и почему-то враждебно начал относиться вообще к славянскому племени, повторяя: «Славянин, братец, славянин! Чего ждать от славянина!»

Смешно и жалко было смотреть, как он, морально подчиняясь своему сотруднику, не хотел обнаруживать этой подчиненности перед другими, полагая, что этой очевидной истины никто не подозревает. Когда Б * советовал, например, ему велеть перевести какую-нибудь статью для журнала, — Петр Васильич упирался, хму́рил брови, качал головою и говорил: «Это совсем не нужно, это бесполезно, к чему это?» — а через неделю сам говорил Б * о необходимости перевести эту самую статью, как будто мысль об ней ему первому пришла в голову.

С каждым годом журнал Петра Васильича приобретал все больший и больший успех по милости его сотрудника, который вложил в него жизнь, силу и направление, оставаясь неизвестным для большинства публики, потому что имя его никогда не являлось в печати. Вся слава успеха относилась к Петру Васильичу, и даже те немногие, которым была известна тайна редакции, повторяли

иногда: «А надобно отдать справедливость Петру Васильичу; он мастер вести журнальное дело!» Эти господа забывали, что он только вел конторские счеты и заставлял терпеть всю тяжесть нужды того, которому был обязан всем — и успехом, и славою, и деньгами; того, который силою своего авторитета и своей энергической, благородной личности, соединил вокруг себя всех молодых писателей того времени. Теперь это покажется баснословным, но все они трудились для журнала Петра Васильича бесплатно, даром, со всею любовию и жаром молодости, поощряемые тем, кого они высоко уважали и ценили, — а Петр Васильич только самодовольно улыбался исподтишка и собирал деньги, беспрестанно жалуясь на безденежье. Петр Васильич постоянно избегал общества сотрудников, потому что в их присутствии и особенно в присутствии Б* он чувствовал себя неловким, уничтожаясь морально, и в утешение себя рассматривал этих безукоризненных служителей мысли, как идеальных пустых мальчишек, годных только на то, чтобы писать даром статьи в его журнал и доставлять ему средства разживаться; он составил свой собственный, задушевный круг из людей дельных, практических, наживавшихся посредством откупов, процентов и других тому подобных промыслов; в этом кругу он царил; там удивлялись его уму, его образованию, его учености; там он говорил бойко, смело и резко, и все слушали его с благоговением; там он был авторитет, оракул; там все предполагали, что он один сочиняет весь свой журнал или по крайней мере те статьи, которые печатаются в нем без имени; он даже сам любил намекать об этом, повторяя беспрестанно: *«Мой* журнал, *я* написал (хотя он ничего не писал), *я* составил» (хотя он ничего не составлял)... Он так и выставлял собственное *я* при всяком удобном или неудобном случае — и если когда-нибудь кто-нибудь спрашивал его об Б*, он почти с равнодушным презрением отвечал: «Да он у меня пишет коекакие статейки».

А он, этот человек, который писал *кое-какие* статейки — двигал всем и животворил своим духом все издание, а он в поте и крови работал день и ночь, до изнурения своих физических сил!

Я зашел к нему однажды. Он ходил по комнате и размахивал с усилием правою рукою.

— Что это с вами? — спросил я.

— Рука отекла, — отвечал он, — я десять часов сряду писал не вставая с места. Нет сил больше; за эту плату так работать невозможно. Я весь в долгах, эти долги не дают мне покоя... Наконец я выйду из терпения и объявлю наотрез Петру Васильичу, что он должен мне прибавить, или я откажусь от всего.

Десять раз он входил к Петру Васильичу с этим намерением и уходил с ничем, потому что у него язык не повертывался. Он проклинал свою глупую совестливость и робость и горько смеялся над самим собою.

Наконец в городе начали ходить слухи, что дела Петра Васильича идут великолепно, что он уж капиталец составляет; но когда бескорыстные сотрудники решились после этого объявить Петру Васильичу, что теперь они не намерены более трудиться для его журнала даром и надеются, что он прибавит плату Б*, Петр Васильич изменился в лице, побледнел, пожелтел и забормотал своим грубым, отрывистым голосом: «Что за вздор! Кто это вам сказал?.. Охота вам верить всякому вздору», — и начал клясться, что он еще не все долги уплатил, что он находится все еще в стесненных обстоятельствах и тому подобное, однако признал необходимость прибавить Б* какую-то ничтожную сумму.

Бескорыстным сотрудникам своим он начал платить только тогда, когда обстоятельства принудили его к этому: в Москве затевался новый журнал, и поговаривали о том, что его разрешат не в пример другим... Те, которые намеревались издавать его, обратились к бескорыстным сотрудникам Петра Васильича, обещая им значительное вознаграждение за труды... Сотрудники показали это письмо своему журнальному антрепренеру. Петр Васильич в этот раз пожелтел еще заметнее, — у него разлилась желчь, и он не шутя призадумался.

— Ну, что за вздор, — забормотал он с свойственною ему мрачностию, — как не стыдно перебегать из одного журнала в другой?.. Полноте, у них там будут свои сотрудники... Надобно уж держаться одного журнала... Что такое... Это недобросовестно!

Добросовестность было любимое слово Петра Васильича, которое почти не сходило у него с языка. Он почитал себя добросовестным издателем в противность какому-то другому недобросовестному...

— Вы нам не платите ничего за наш труд, а там мы будем получать за него вознаграждение, — возразили сотрудники, — так уж извините...

— Ну, полноте, полноте, — перебил Петр Васильич, — ну, что такое... Я вам буду тоже платить...

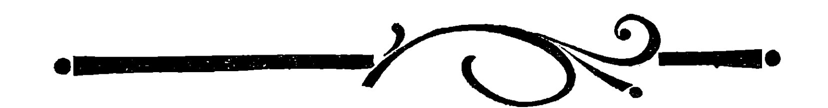
— Но вы не заплатите нам таких денег, которые обещают нам в этом письме, — заметили сотрудники, начинавшие уж приобретать практическую опытность.

Петра Васильича покоробило, как лист на огне, и из стесненной груди его вырвались глухие слова.

— Ну! ну! пожалуй, я вам заплачу такие же деньги!

Это была минута торжественная. Талант и труд победили в эту минуту антрепренерство и торговлю чужим умом, познаниями и талантом... С тех пор корыстолюбивые литературные промышленники не смеют уже помышлять о даровом, бекорыстном труде в свою пользу...

Когда Петр Васильич окончательно разоблачился, когда маска была сдернута с лица его и Б* решился оставить его издание, Петр Васильич имел смелость печатно уверять публику, что Б* был в его издании так, одним из обыкновенных сотрудников, что его удаление пройдет незамеченным, и прочее в этом роде. Петр Васильич пошел далее: убеждения человека, который дал его журналу мысль и значение, он бесцеремонно усвоил себе, и гордится тем, что служил *честно* общественному делу. Вот что называется загребать жар чужими руками, вот что такое разумею я под именем литературного промышленника!



БЛАГОНАМЕРЕННЕЙШИЙ ГОСПОДИН



редставляю читателю кое-какие наблюдения, сделанные мною в последнее время. Из этих наблюдений в моей фантазии составился очерк целого лица... Лицо это, впрочем, не новое. Таких лиц много не в одном Петербурге. Лица эти, вообще довольно неподвижные и бесцветные, пришли в движение, приняли особенный колорит и заговорили громко только в последнее время, вследствие некоторых обстоятельств, потревоживших их блаженное существование... Я не дам никакого имени моему воображаемому лицу. Пусть каждый из читателей дает ему имя того из своих знакомых, который по характеру, образу воззрения, привычкам и разговорам будет подходить к нему. Его даже можно бы, пожалуй, назвать *героем*, но только никак не *героем нашего времени*, потому что он с ужасным ожесточением, почти с пеной у рта, нападает на наше время и вообще на так называемый *дух времени*, говоря, что этот дух выдуман выскочками, мальчишками, либералами, людьми зловредными, нахватавшимися безнравственных идей...

Для большей ясности я должен прежде всего познакомить вас с биографией моего воображаемого лица, или, говоря вернее, с его послужным списком... От роду ему шестьдесят три года, он из дворян, служил сначала в военной службе, в сражениях не был, из полка переведен в комиссариатское ведомство, дослужился до генеральского

чина, родового имения — ни одной души, благоприобретенных — тысячу пятьсот; два года перед сим уволен по прошению от службы... Наружность его очень обыкновенная, такого рода господ встречаешь у нас сплошь и рядом: рост средний, сложение тучное, лицо полное и круглое, глазки маленькие и заплывшие, зеленоватого цвета, нос плоский, губы толстые — признак доброты, волосы белокурые с проседью, небольшая лысина; голос резкий, манеры величественные, совершенно генеральские... Он пользуется большою любовию, как своих знакомых, так и сослуживцев, которые считают его прекраснейшим, добрейшим и благонамереннейшим господином... Вследствие этого и я буду также звать его *благонамереннейшим господином...*

Но чтобы читатель не заподозрил меня в личности и не подумал, что такой формулярный список действительно существует, я покорнейше прошу его придать моему лицу какую угодно физиономию... Он легко может быть пожилым господином, с прекрасным орлиным носом, или сладеньким старичком с накрашенными бровями и бакенбардами, в завитом паричке и с неизмеримым лбом... для меня это совершенно все равно, внешняя оболочка ничего не значит, дело в сущности. Он может вместо благоприобретенных 1500 душ иметь родовых — 300, 500, 600, сколько угодно, более или менеее... И я вовсе не поставляю непременным условием, чтобы он был на службе в комиссариате и за два года перед сим был уволенным по прошению от службы... Дело не в этом.

Оговорившись, я спокойнее продолжаю:

Мой благонамереннейший господин получил воспитание в корпусе... в каком, это для читателя все равно... учился он, собственно, не для приобретения знаний, а для того, чтобы поскорей выскочить в офицеры. Вышел он в армию, но вскоре переведен в гвардию, не столько за усердие к службе, сколько за величайшую способность угождать начальству, за строгую подчиненность и примерную нравственность. Нравственность эта заключалась в неумолимой строгости относительно подведомственных ему лиц, в раболепной мягкости относительно тех, от которых он зависел, в аккуратности и в безусловном поклонении всем служебным и общественным преданиям. Благонамереннейший господин не рассуждал сам и не позволял рассуждать другим. Никогда ни малейшая мысль не тре-

вожила его головы, и никогда ни малейшее сомнение не колебало его. Сомнение в чем бы то ни было он почитал делом безнравственным и преклонялся перед каждым фактом, как бы этот факт ни был несправедлив, если только он опирался на предания. В капитанском чине он был переведен в комиссариатское ведомство и, действуя на основании предания, не противореча ни в чем принятым обычаям, легко приобрел себе ордена, чины, души, любовь и уважение своих сослуживцев, своего семейства (ибо он богател с каждым годом) и своих сочленов по клубу (ибо играл по большой).

После службы и хозяйственных распоряжений главным его занятием были карты. Чтением он не занимался, говорил вообще мало, но иногда одушевлялся, когда разговор касался нравственности или патриотизма... В таких случаях он обыкновенно бил себя в грудь, ударял кулаком по столу и восклицал коротко и ясно: «Тот, кто не патриот, тот просто никуда не годный человек!» ...Свои хозяйственные дела он вел примерно и с каждым годом делал какие-нибудь улучшения в своем благоприобретенном имении: выстраивал новый флигель, или баню в готическом вкусе, увеличивал сад, украшал храм божий и тому подобное. Семейство его, состоявшее из жены и двух дочерей, летом всегда проживало в деревне; сам же он приезжал туда на короткое время, потому что служебные обязанности не позволяли ему оставаться долго в деревне.

В часы отдохновения от карт и службы любил он иногда поговорить о своих дворянских достоинствах и преимуществах и не скрывал своего отвращения к другим классам, не признавая ничего общего между дворянином и человеком просто... В человеке не *благорожденном* (благорожденные, по его мнению, были только дворяне) он не признавал ни возвышенного ума, ни замечательных способностей, ни чувства чести, и однажды, когда при нем один престарелый дворянин-стихотворец задал глубокомысленный вопрос: «Почему в наше время не пишут хороших стихов?..», а другой дворянин, из молодых, шутя отвечал: «Оттого, я полагаю, что нынче больше пишут не дворяне», — то мой благонамереннейший герой, несмотря на то, что вовсе не интересовался поэзией, пришел в такой восторг от этого ответа, что обнял отвечавшего, расцеловал его и воскликнул:

«Дельно и правда!» В другой раз, когда кто-то сказал ему, что один профессор на лекции объявил, что дворяне отличаются от простых людей тем, что родятся с *белою костью,* — герой мой обнаружил желание познакомиться с этим профессором, несмотря на то, что не питал большого уважения к этому званию...

Да не подумает дворянин-читатель, что я подсмеиваюсь над чувствами дворянского достоинства. Сохрани меня боже от такой преступной мысли!.. Я был бы в отчаянии, если бы кто-нибудь вздумал заподозрить меня в том, что я не принадлежу к этому почтенному и привилегированному сословию... Но я искренно желал бы для собственной пользы этого, так сказать, передового сословия, чтобы оно поглубже понимало свои обязанности, свой долг и умело бы возбуждать уважение к себе в других сословиях исполнением этого долга, принося вовремя некоторые личные жертвы в пользу общего... «Noblesse oblige» [1].

Но оставим это лирическое отступление и будем продолжать рассказ.

Мой благонамереннейший господин слыл образцовым хозяином, потому что умел извлекать всевозможные выгоды из своих крестьян и при этом свои сады и парки, устроенные домашними средствами, содержал в примерном благолепии и услаждавшей глаз чистоте... Я сам восхищался этими садами и парками, китайскими беседками и мостиками, готической баней и прекраснейшим домом с бельведером, на котором торжественно развевался флаг с гербом... Внутри дома — порядок и чистота повергали в изумление... нигде ни пылинки; пол как будто языком вылизан, с каким-то янтарным отливом; все подведено под лак и расставлено под аранжир, или симметрически. Военная дисциплина отражалась на всем... Городская квартира его отличалась такою же чистотою, симметричностию и дисциплиной... Все постановлено было в струнку, и все ходило по струнке...

Безмятежно протекала жизнь благонамереннейшего из людей, среди этой внешней чистоты, благоустройства и порядка... в той почетной и покойной колее, попасть в которую все так добиваются и в которой жизнь двигается как будто по маслу: состояние невидимо расширяется,

[1] «Происхождение обязывает» *(франц.)*.

а грудь через каждые два года украшается новым отличием... «Слава богу! — думал мой благонамереннейший господин, — я почти уже совершил на земле назначение дворянина: достиг генеральского чина, украсил грудь отличиями, приобрел трудами большое состояние и оставлю его детям в благоустройстве и порядке; надеюсь, что им будет чем помянуть меня!.. Хоть сию минуту готов предстать на суд всевышнего!..» И он продолжал с душевным спокойствием и самодовольствием, резко проявлявшемся на его привлекательном лице, заплывшем от счастия, ежедневно ездить по утрам на службу. Возвратившись со службы, плотно покушав и выкурив трубочку Жукова (его превосходительство был во всем раб привычки и Жуков предпочитал всякому другому табаку), он ложился соснуть часок-другой, а потом, подкрепившись сном, отправлялся в клуб... И думал мой благонамереннейший господин проводить такой регулярный, благонамеренный и ничем не возмутимый образ жизни до той минуты, когда положат его превосходительство на стол и накроют богатой парчою, а вокруг уставят табуреты с знаками отличия... Ему и в голову не приходило, что условия жизни изменяются, что жизнь движется и обновляется, что законы ее совершенствуются, что предания вместе с людьми дряхлеют и наконец разрушаются, что дурные привычки (как, например, привычка *наживаться на службе* и тому подобное) не всегда остаются безнаказанными... Но, как гроза разражается иногда над головою незаметно, в тихий и душный летний день, так его превосходительство был поражен, внезапно, посягательством на его служебные привычки, которые он от долговременного употребления почитал почти законными, хотя, между нами сказать, они были совсем беззаконны.

Смущенный увольнением от службы *по прошению,* благонамереннейший господин, в самом недовольном и мрачном расположении духа, отправился с семейством в деревню. Он беспрестанно повторял: «Вот служил, служил, здоровье потерял, зрение ослабло на службе, а что выслужил?.. Только что могу прокормиться с семейством... вот и всё... Нет, *у нас правдой ничего не наживешь на службе!* Эту последнюю фразу он повторил еще задолго до остроумной комедии г. Львова... Замечательные умы сходятся, говорит французская пословица... Несмотря, однако, на жалобы о расстройстве здоровья,

благонамереннейший господин спал и кушал отлично и раз, в сумерках, несмотря на слабость зрения, заметил издалека, на дворе, две фигуры, очень нежно разговаривавшие между собою, и тотчас узнал в одной из них своего дворового человека Алексашку, а в другой дворовую девушку Аксютку, за что первый немедленно был им сослан в отдаленную деревню, а последняя удалена на скотный двор — за оскорбление общественной нравственности.

Но в деревне благонамереннейший господин не мог прожить более полугода... Ничего нет ужаснее, как изменять свои привычки в преклонные лета!.. Его так и тянуло в Петербург: существование его было не полно без клуба...

Он возвратился в Петербург и чуть не заплакал от радости, увидев Демидов переулок!..

Прошло несколько недель, но, несмотря на клуб, он и в Петербурге начинал ощущать какую-то неловкость... Ему недоставало чего-то... Он не знал, что делать с собою по утрам... даже Жуков не развлекал его... Его просто томила тоска по служебной деятельности.

Приглядываясь к Петербургу, он начал с некоторым неприятным удивлением замечать, что Петербург совсем изменился: особенно его смущали офицеры в фуражках и юнкера на извозчиках, и он печально покачивал головой, вздыхая о прошедшем. В обществе попадался ему иногда какой-нибудь молодой человек, на вид не больше как коллежский асессор, не имеющий ничего особенного в физиономии, просто внимания не стоящий, и он действительно не удостоивал его внимания, — а вдруг ему говорят, что этот молодой человек занимает генеральское, директорское место...

— За кого же вы меня принимаете, чтобы я поверил этому? — восклицал благонамереннейший господин, — директор, у которого еще молоко на губах не обсохло?.. Это забавно!

Но когда он действительно убедился в том, что господин, имеющий вид коллежского асессора, — генерал, тяжелый вздох вырвался из груди его вместе со словами: «Господи! до чего мы дожили!»

— Впрочем, — произнес он после минуты глубокомысленного молчания, — если это какой-нибудь князь или граф, то тут нет ничего мудреного...

Ему отвечали, что это не князь и не граф, а человек вовсе даже не имеющий протекции, но обративший на себя внимание своим умом, способностями, сведениями и поэтому быстро вышедший вперед.

Благонамереннейший человек грустно улыбнулся.

— Прекрасно! прекрасно! — возразил он, — положим даже, что он гений, с неба звезды хватает, да у него никакой опытности нет. Может ли же он быть директором, — тут, я вам скажу, все дело в опытности.

— А вот, ваше превосходительство, — замечают благонамереннейшему господину, — слышно, что места будут давать по способностям, а не за выслугу лет... Тогда, ваше превосходительство, еще более покажется молодых людей на почетных и видных местах.

При этом все жилки на лице благонамереннейшего господина посинели, и во всем лице его обнаружилось на минуту судорожное движение: он, впрочем, подавил в себе внутреннее раздражение и захохотал, но неудержимый гнев вырвался невольно в звуках его хохота.

— Ну, что ж, и бесподобно, — воскликнул благонамереннейший господин, — этого только недоставало!.. Наши деды и отцы, видно, не знали, что делали. Мы умнее их!..

Когда какой-нибудь молодой человек свободно рассуждает о чем-нибудь в обществе в присутствии значительных старцев, — мой благонамереннейший господин смотрит на него иронически и пожимает невольно плечами! Он указывает на него и говорит:

— Уж и этот не генерал ли?

Благонамереннейшего господина раздражает все, совершающееся в настоящую минуту; даже и литература, о существовании которой он знал только по «Северной пчеле». До него доходят слухи, что литература вооружается против взяточничества и разных служебных злоупотреблений, — и он кричит, размахивая руками, с чужого голоса:

— Помилуйте, что это такое! на что это похоже! выставлять только одни гадости, одну грязь?.. это всё сочиняют какие-нибудь безнравственные молокососы, зараженные гнусными западными идеями (хотя о западных идеях он имеет очень смутное понятие, но любит повторять эту фразу), враги отечества, которых следует отдать

под строгий полицейский надзор... чего смотрит цензура-то?..

— Но указывать на зло, выставлять зло на позор... — возражают, — в этом нет ничего дурного, ваше превосходительство. Если бы, например, указали по вашему ведомству на злоупотребление, которое было вам вовсе не известно, которое бы скрывали от вас, вы бы изволили, вероятно, прочитав это, принять меры к искоренению этого злоупотребления и были бы за это очень благодарны сочинителю, изобличившему его...

— Это не дело сочинителей указывать на такого рода вещи, — перебивает сухо его превосходительство. — Я не позволил бы какому-нибудь сочинителю учить меня и вмешиваться в мое управление...

— Но, ваше превосходительство, нельзя же совершенно идти против духа времени, — почтительно возражают ему.

— Вот еще выдумали какой-то дух времени! — перебивает благонамереннейший господин, разгорячаясь все более и более, — а вот заткнуть им глотку, так они и узнают, что такое дух времени...

Всякая мера усовершенствования, улучшения, изменения и нововведения кажется благонамереннейшему господину гибелью... При каждом слухе о таковой мере он сердится, поднимает крик, ударяет кулаком по столу, не находя более убедительных выражений, и даже топает ногами. Семейство не узнает его в последнее время: из человека сговорчивого, весьма довольного собою и даже кроткого он превратился чуть не в зверя: ни жена, ни дочери, ни прислуга ничем угодить ему не могут.

— Что это, милый папа, с вами? Вы такой нынче сердитый и скучный, — говорит ему его любимица меньшая дочь, целуя его в лоб.

— Ах, матушка! — восклицает благонамереннейший господин, — оставь меня, пожалуйста, в покое! — И потом, осматривая ее неблагосклонно с ног до головы, прибавляет: — Ты думаешь, что это хорошо, что вы обручи-то нынче вздумали подкладывать под платья?.. Это гадко, безобразно, и чего это стоит? Ведь это разоренье!.. Ты думаешь, что у отца много денег? Да! как же!.. Что скопил служебными трудами и экономией, то теперь и проживай на ваши *карнолины!..* (Его превосходительство никак не может произнести кринолин). Вы отца не по-

жалеете, только пищите: «Денег надо!» — а откуда отцу взять денег?.. Знаешь ли ты, что теперь стоит жить в Петербурге-то? Знаешь ли?.. За все платишь втрое, вчетверо против прежнего... Пришла конечная гибель и разорение!.. А вы еще с вашими *карнолинами*...

Избалованная дочка бежит в слезах жаловаться маменьке на папеньку, а папенька вымещает гнев свой на прислуге.

Раздается резкий барский свист.

Является лакей.

— Бриться! — кричит благонамереннейший господин.

— Готово, ваше превосходительство, — через минуту докладывает лакей.

Его превосходительство садится за туалетный стол и вдруг вскакивает...

— Что это такое! — восклицает он на весь дом, — Александрка! поди сюда!.. что это?.. Смотри!.. Куда ты поставил бритвенницу? Ты двадцать пять лет служишь мне, чучело, а не знаешь того, что бритвенницу надо ставить на правую, а не на левую сторону... а? ты этого не знаешь? ты не знаешь, болван, до сих пор мои привычки; не знаешь того, что я сорок пять лет бреюсь и сорок пять лет мне ставят бритвенницу на правую сторону, а полотенце кладут на левую?! Что у тебя в голове-то? Смотри у меня! Я ведь дурь-то у тебя выбью из головы!..

Является мальчик, одетый казачком, только три месяца перед этим привезенный из деревни.

— Генеральша спрашивает, — говорит он, — поедете ли вы сегодня утром...

Благонамереннейший господин грозно смотрит на казачка.

— Сколько раз я твердил тебе, — говорит он казачку, — чтобы ты не смотрел исподлобья, сколько раз? Ты не можешь мне прямо в глаза смотреть? Экой дрянной мальчишка!.. Я тебя научу смотреть мне прямо в глаза, погоди ты у меня! Все вы, канальи, из рук выбились!.. Пошел вон... Скажи генеральше, что я никуда не еду... И куда мне ехать?.. Зачем мне ехать?..

— Что это за народец нынче (говорит благонамереннейший господин своему приятелю), — сил недостает справляться с ними! Выписал я из дерени мальчика, привезли его, велел я его позвать в переднюю, чтобы посмо-

треть; выхожу, смотрю... Не понравился мне, смотрит эдакой букой, исподлобья, грязный, нечесаный... велел я его обмыть, выстричь, вычесать; одели его потом в казакинчик, — ну принял, кажется, человеческий образ, а все смотрит исподлобья... и веришь ли, до сих пор не могу приучить его смотреть мне прямо в глаза... какие меры ни принимал, ничего не помогает. А уж в том не бывать проку, кто смотрит исподлобья! Я это заметил... Задал я ему должность, кажется, не велика: топить печку в маленькой гостиной моей да прибирать ее. Там, ты знаешь, у меня на мебели... дочери вышили по канве... цветы и птицы... На одном стуле — птицы, а на другом — цветы. Вот я и говорю ему: «Смотри, когда будешь убирать, ставь стулья так, чтобы цветы были с цветами, а птицы с птицами... слышишь?..» Что ж бы вы думали?.. ничего не бывало; вечно, каналья, перемешает: цветы рядом с птицами, а птицы с цветами поставит... Извольте с эдаким народцем возиться: четырнадцатилетнему мальчишке в голову ничего вбить нельзя!.. И ведь не потому, чтобы он не понимал, — нет, просто потому, что не хочет, нет усердия, желания угодить барину, *чувства* нет... Я ведь помню, как прежде люди служили — только и думали о том, чтобы сделать барину что-нибудь угодное, смотрели ему в глаза, чтобы предупредить его желание... а нынче — это ни на что не похоже... Занемог у меня на прошедшей неделе камердинер, другие люди все своим делом заняты, я не хотел их отвлекать от дела, и призываю этого мальчишку... «Покуда, я говорю, Алексашка болен, ты будешь исправлять должность моего камердинера», — и смотрю, какое это на него впечатление произведет... Что же? стоит как пень, насупившись и уткнул глаза в пол, никакого выражения в лице, точно как будто я сказал ему: «Принеси стакан воды», — и не чувствует той милости, которую делает ему барин, допуская так близко к себе, а ведь три месяца назад он свиней пас в деревне!.. Нет, любезнейший друг, в плохие времена живем мы!..

И благонамереннейший господин в заключение, качая головою, испускает глубокий вздох.

Но его превосходительство несправедлив: виноваты не казачок, не прислуга его, которою он десять лет тому назад был очень доволен и которая служит ему с прежним усердием, — всему причиною внутреннее настроение духа

его превосходительства; недовольство тем, что с ходом времени совершаются различные перемены и преобразования, которые ему не нравятся... Фуражки, юнкера на извозчиках, молодые генералы, литература, изобличающая взяточников, — все это мешает ему жить... Он, кажется, готов бы, если можно, с бешенством броситься на время, схватить его за шиворот, как подчиненного, и остановить. Ему бы хотелось, чтобы это неудержимое, бог знает для чего, так быстро бегущее вермя — всеоживляющее и всеобновляющее... замерло и окоченело в том положении, в каком оно было несколько лет назад тому, — в те дни, когда перед ним вытягивались в струнку писаря, курьеры и чиновники; когда все было шито и крыто; когда он чувствовал свою силу, ощущал, что он не просто генерал в отставке, на которого никто не обращает внимания, а *особа*, приводящая в трепет и замирание несколько десятков людей!

О! если его превосходительство и несправедлив к настоящему времени... не сердитесь на него за это, лучше пожалейте его!.. Не раздражайте его вашими литературными выходками! Хорошо еще, что он не читает ничего, но ведь ему могут прочесть добрые приятели... Оговорка, что такого лица нет в действительности, нисколько не помогает... подобным оговоркам никто верить не хочет. В вашей фантазии, в вымышленном вами лице... непременно тысячи лиц узнают своих приятелей... «Списан как живой! Все его слова, все выражения, просто вылитый!» — начнут кричать эти господа и развезут по городу приятную новость, что Александр Петрович или Григорий Иваныч выставлен в такой-то книжке такого-то журнала... И кончится тем, что даже сам Александр Петрович, нисколько не похожий на выставленное лицо, поверит, что его списали, хотя ни он сочинителя, ни его сочинитель отроду никогда не видывал!..

В этих случаях надобно быть чрезвычайно осторожным. Очень легко можно совсем свести с ума человека, уверив, что его описали... Не шутите с этим; говорят, бывали и такие примеры!..

Но как бы то ни было, дело сделано — и я продолжаю...

Недовольство настоящим моего благонамереннейшего лица возрастало с каждым днем и наконец достигло

крайних пределов при одной из последних улучшительных мер, задевшей его за живос.

Когда только носился об этом слух, он не хотел верить и затыкал уши...

— Перестаньте, перестаньте!.. — говорил он, — вздор!.. этого быть не может!.. Я и слушать не хочу...

Когда же слух осуществился и сомневаться уже было невозможно, — в первую минуту он остолбенел и неподвижно простоял несколько времени, как-то дико вытаращив глаза. Вся кровь вдруг прилила к его темени, и лицо приняло жаркий, пурпуровый колорит, который на картине бы показался невозможным... Минута — и может быть, — смертельный удар был бы неизбежен, если бы не случайно находившийся тут доктор... Доктор бросился на него с ланцетом и пустил кровь.

После трех чашек густой, черной, запекшейся крови благонамереннейший господин отошел и посмотрел кругом более мягким взором, произнеся:

— Боже мой, боже мой!.. Что же это наконец?..

Ночь он, однако, провел довольно покойно.

Но на следующее утро снова пришел в состояние неслыханного раздраженния, ударял кулаком по столу и произносил совсем нескладные и отрывистые речи, обращаясь к жене и дочерям:

— Теперь, матушка, кончено!.. Все прихоти выбить из головы... я не знаю, что будет... может, есть нечего будет... очень легко!.. Надо ко всему приготовиться... вот живешь, живешь и доживешь до эдакого... Теперь *карнолины* — мое почтение... Ситцевое платье — попросту, без затей — вот и все!

Несколько дней после этого благонамереннейший господин даже не ездил в клуб и не играл в карты...

Он заперся в своем кабинете.

Из этого кабинета раздавались иногда восклицания, знакомые удары кулаком по столу, шаги и говор. Но никто не смел войти туда. Благонамереннейший господин выходил оттуда только к завтраку и к обеду... Кушал довольно аппетитно, но вел себя странно: был задумчив, говорил вообще мало, а если и говорил, то нескладно и не обращаясь ни к кому.

— Вот теперь кулебяка с сигом... майонезы... фрикасе разные... а там что?.. зубы на полку... щи... каша. И за что? Вот сорок лет и служи отечеству...

Генеральша с боязливым участием взглядывала на генерала.

— Что такое, друг мой? — решалась замечать она, — что ты говоришь?.. И отчего ты такой странный, голубчик?

— Ничего... я ничего... Что такое? — перебивал он вздрагивая, — тсс!.. тсс!.. — и он начинал делать супруге многозначительные знаки глазами, указывая на казачка и на людей, служивших за столом.

При выходе из-за стола он наклонился к уху супруги и шептал:

— Ах, какая ты неосторожная!.. как это можно!.. при людях!..

Проходя мимо казачка, его превосходительство пристально взглядывал на него и потом шепотом говорил дочери:

— Ты заметила, как он на меня смотрит?.. Еще диче прежнего... это я понимаю, что̀ такое...

Такое поведение благонамереннейшего господина и такие странные речи не могли не испугать его семейства. Супруга и дочери его передали все это домашнему доктору.

Доктор улыбнулся и сказал:

— Это ничего, — пройдет... Я знаю, что всякое новое положение, всякая перемена, покуда он с нею не освоится, действует на него тяжело... У него мало восприимчивости в натуре. Ему надо рассеяние; я посоветую ему...

Доктор вошел в его кабинет. Благонамереннейший господин сидел у своего письменного стола, опустив печально голову, с безнадежным выражением в лице.

— Ну, что, ваше превосходительство, как ваше здоровье?.. как идут ваши клубные дела... Хорошо?..

Доктор произнес это веселым и фамильярным тоном, потому что он сам был генерал.

— Ааа! — воскликнул благонамереннейший господин, услышав голос доктора, — здравствуйте, почтеннейший Ардальон Петрович!.. Ну что, батюшка?! до чего мы дожили! — прибавил он печально и после минуты молчания продолжал: — Клубные дела!.. Какие теперь клубные дела!.. Нет, вы лучше подумайте об этом: ведь у меня в деревне сад, парк, дом — все это содержалось в исправности, в порядке, собственными средствами... Чего это мне стоило?.. Зачем же я убивал деньги на все это?..

— И, полноте! Ну что ж, — возразил доктор, — и вы будете всем этим пользоваться... Вот я к вам когда-нибудь приеду в деревню... Посмотрю, как вы все это там устроили... Я знаю, что вы большой хозяин...

Благонамереннейший господин посмотрел на доктора, как на сумасшедшего, и сказал:

— Что с вами? Полноте? все пропало... Теперь уж все кончено...

— Э, батюшка... ей-богу, все прекрасно обойдется... поверьте... — перебил доктор. — Да что вы дома-то сидите?.. Вам нужно движение, рассеяние... Поезжайте-ко в клуб сегодня...

Благонамереннейший господин, к удовольствию своего семейства, по собственному побуждению или по совету доктора, вечером поехал в клуб.

При встрече со своими партнерами и друзьями он грустно и значительно пожал им руки и молча покачал головою... Те, в свою очередь, так же печально и молча покачали головами...

— Ах, ах, ах! — вырвалось наконец из груди благонамереннейшего господина.

— Не думали мы дожить до таких времен! — произнес один из друзей его.

— Нет, вот вы посудите... у меня там сад, парк, дом с иголочки... чего это стоило!.. — начал было его превосходительство...

— Сделайте одолжение... нет, уж лучше об этом не говорить... я не могу об этом говорить хладнокровно, — перебил сморщенный и, по-видимому, значительный старичок в паричке, с накрашенными бакенбардами, дрожа всем телом, — я запретил об этом говорить и у себя дома, — лучше-ка вот займемся этим...

И он указал на зеленый стол, на котором уже горели четыре свечи, лежали прекрасно заостренные мелки и колоды отборных карт.

Еще и до сих пор мой благонамереннейший господин, среди обыкновенного разговора, вдруг прерывая его, начинает как будто заговариваться и произносить слова и фразы, не имеющие между собой никакой связи: «дом... жена... служба... парк... дети... я патриот... генерал, вы сами согласитесь... чего это мне стоило... это невозможно сорок два года службы... Что же это?» Но вообще в последнее время он, слава богу, начал говорить несколько

посвязнее... На днях, слушая, с каким бешенством он кричал против всех улучшений и нововведений, я подумал:

«Однако можно ли его теперь называть *благонамереннейшим* господином?.. Это вопрос... В старые годы он называл неблагонамеренными и опасными людей *недовольных* даже петербургскою погодою и дурно отзывавшихся о петербургском климате... На того, кто изъявлял какое-нибудь неудовольствие, хотя против кислой капусты и квасу, он смотрел уже как на врага отечества; того, кто читал книги и с похвалой отзывался о заграничной жизни, он называл либералом... А теперь... Как время-то подшучивает над людьми и как странно меняет роли!.. Кто бы мог поверить пять лет назад тому, что его превосходительство будет принадлежать к *недовольным?..* А по его же собственному определению, *недовольные* принадлежат к людям *неблагонамеренным.* Во всяком случае, я ни за что на свете не позволю себе назвать этим именем его превосходительство.

Вчера один мой знакомый сказывал мне, что его превосходительство со всем семейством изволит отправиться за границу... «Я, говорит, там отдохну от всего и, вероятно, останусь надолго...»

— Неужели? — воскликнул я. — Чудеса! Свет решительно начинает идти навыворот...



ВНУК РУССКОГО МИЛЛИОНЕРА

Листки из моих петербургских воспоминаний

I



осподина, о котором здесь будет идти речь, я увидел в первый раз, когда мне было лет двенадцать. Он, впрочем, тогда еще не был господином, а ребенком лет девяти, с круглым и полным личиком, с румяными и пушистыми, как у персика, щечками, с белокурыми, вьющимися волосами, с бледно-голубыми глазками, в светло-синей курточке из тончайшего сукна и с отложными батистовыми воротничками от рубашки. Этот прелестный мальчик как будто теперь передо мною, и я живо помню то чувство зависти, которое было возбуждено во мне его курточкой и его рубашкой, потому что сукно на моей курточке было гораздо толще, а рубашки у меня были из полотна также не слишком тонкого. К тому же покрой этой курточки был какой-то особенный; видно, что она была сшита лучшим детским портным, что, между прочим, доказывали и прекрасные бронзовые пуговки с узорами, ярко блестевшие на ней. Все это мне мгновенно бросилось в глаза, вероятно потому, что врожденное мне чувство внешней наблюдательности (за которое мне впоследствии так жестоко доставалось в литературе от моих остроумных критиков) развивалось во мне сильно под влиянием воспитания и примеров, окружав-

ших меня. Эта изящная курточка и эта тончайшая рубашка даже несколько оскорбляли меня — и вот по какой причине. Мальчик, который щеголял в ней, не принадлежал к тому привилегированному классу, к которому принадлежу я и которым я уже гордился на тринадцатилетнем возрасте. Он был внучек богатого купца, приехавшего к моему дедушке по каким-то делам.

В ту минуту, когда купец с внучком вошли в кабинет моего дедушки, я был там.

Фигура купца также как будто теперь живая передо мною. Среднего роста, с брюшком, с окладистою седою бородою, с длинными волосами, также совершенно седыми и с серебряным блеском, с умными, проницательными глазами, с значительною улыбкою, в которой было что-то среднее между плутоватостию и иронией, с резким ударением на *о* в разговоре и с обращением, в котором добродушие соединялось с безграничною самоуверенностью; старик этот с первого взгляда производил впечатление. В нем было в то же время что-то осанистое, патриархальное, внушавшее к нему вдруг невольное уважение; но уважение это несколько умалялось, когда вы ближе вглядывались в старика, потому что сквозь эту патриархальность иногда проглядывали в нем гостинодворские уловки, неприятно действовавшие. Все эти наблюдения я сделал уже, разумеется, впоследствии, в возрасте более зрелом, когда случай, о котором здесь упоминать не для чего, свел меня снова с этим стариком; когда же я увидел его в первый раз, меня просто, без всяких размышлений, поразила его значительная фигура, с серебряными волосами и главное — борода; потому что гостей с бородами никогда у нас в доме не было. На старике был длинный двубортный синий сюртук, до половины прикрывавший его высокие сапоги; белый галстук обматывал его шею, отягченную медалями на разноцветных лентах, и из-за сюртука, на котором был приширилен крест, виднелся белый жилет... Я заметил все эти подробности, хотя внимание мое сосредоточивалось с большим любопытством на внучке купца. Чем более я смотрел на него, тем сильнее оскорбляла меня его щегольская куртка и батистовая рубашка: мое дворянское самолюбие оскорблялось мыслию, что я одет хуже купеческого сына. «Мой дедушка — генерал, а его дедушка — бородач, — думал я, — и, несмотря на это, у меня и рубашка и курточка толще!»

И, огорченный этою мыслию, я посматривал на мальчика свысока, с такой гордостию, от которой мне даже теперь становится стыдно. Я хотел дать ему почувствовать, что если он одет и лучше меня, то все-таки он ни в каком случае не может стать со мною наравне.

Между тем купец, — с которым дедушка обращался с большим уважением и которого он посадил в кресла, — улыбаясь с своим несколько плутовским выражением и положив руку на голову внучку, держал такую речь моему дедушке:

— Я привез к тебе внучка своего показать, ваше превосходительство, — посмотри, какой он у меня славный мальчик: это мой наследник. Познакомь его с твоим внучком, — пусть они побалуют, позабавятся вместе. Ведь он у меня ученый: по-французскому уж болтает, по-аглицки учится. Я не жалею денег на его воспитание, — хочу, чтобы он все науки прошел; хочу потом послать его в Англию, во Францию — пусть все видит, пусть научится на месте, как там у них коммерция идет. Конечно, коли так говорить, вот я и простой мужик с бородой, а веду и заграничные дела и нажил, благодаря бога, порядочный капиталец. Коли здесь есть (старик ткнул себя пальцем в лоб), так оно, пожалуй, что и без науки обойдтись можно. Ну, господь, вестимо, не лишил меня здравого смысла, оттого я теперь, даром что мужик, а сижу с тобой — генералом и разговариваю, будто ни в чем не бывало, как равный.

Дедушка мой улыбнулся и перебил:

— Что об этом говорить, Прохор Кононыч, у тебя в мизинце больше ума, чем у иного генерала в голове.

Прохор Кононыч улыбнулся на эту любезность светло, открыто и самодовольно и заметил:

— Ну это, ваше превосходительство, все от бога: не дал бы он ума, был бы дураком... Но я, вишь, речь-то к тому веду, что ум хорошая вещь, ни слова, но без ученья-то иногда все как будто чувствуешь, что чего-то не хватает; это я по опыту знаю. Вот что.

Старик серьезно покачал головою.

— Что ни болтает там наш брат, — а без ученья — все не то. Это уж я тебе говорю — поверь так.

И при этом Прохор Кононыч утвердительно ударил ладонью по столу.

— Оттого я и хочу, чтобы мальчуган мой науку выучил. Ты не думай, чтобы я прочил его в дворяне, чтобы то есть эдакое у меня помышление было втайне. Оборони господи от этого! Он должен оставаться в своем, в торговом сословии! нам в чужие сани не след лезть, а для коммерции-то наука, еще, чай, важней, чем для дворянства. Правду ли я говорю, ваше превосходительство?

— Разумеется, Прохор Кононыч, — возразил дедушка, — недаром и пословица: ученье свет, неученье тьма. Ученье для всех классов необходимо.

— Только дай бог, чтобы ученье-то ему впрок пошло! — произнес в раздумье Прохор Кононыч, глядя на внука и качая головою. — Вот тебе Христос, — и при этом он перекрестился, — полсостояния бы отдал, только бы из него порядочный, дельный человек вышел, — я его крепко люблю. Ведь он у меня один, сына-то моего, отца-то его, бог взял, — ну, что ж делать? Его святая воля, а дочери — что! Дочерей я не считаю. Они отрезанные ломти...

Потом Прохор Кононыч обратился ко мне и посмотрел на меня.

— А сколько твоему внучку-то годков, — спросил он дедушку, — не однолетки ли они с моим-то?

— Моему двенадцать скоро будет, — отвечал дедушка.

— Вот как! так он еще, значит, тремя годками старше моего, а мой-то на глаз, пожалуй, еще постарше покажется: вишь, он у меня какой плотный, солидный... А как зовут твоего-то?

— Иваном.

— Ну, Ванюшка, поди, душенька, поиграй с моим Васей, познакомьтесь, познакомьтесь.

И при этом Прохор Кононыч положил свою толстую, жилистую руку с плоскими пальцами на мою голову.

Ласка эта мне не совсем понравилась, и я сделал было движение, чтобы высвободиться из-под его руки.

Дедушка украдкою и слегка покачал мне головою, немного нахмурив брови, и я остался на месте.

— Поди, друг мой, в детскую, — сказал мне дедушка, — и возьми с собой гостя: покажи ему свои игрушки, займи его, — а мы покуда поговорим об делах.

Я не смел ослушаться дедушки, я очень любил его и боялся огорчить его — и потому тотчас взял за руку купеческого внучка и повел его в свою комнату, хотя мне

было несколько досадно на дедушку за то, что он приказывал мне занимать этого мальчика и назвал его моим гостем. Мне — дворянину и генеральскому внучку казалось унизительным занимать внучка бородача и обращаться с ним как с равным. «Что же такое, что его дедушка богат? — думал я, — ведь он все-таки из мужиков».

Однако из угождения моему дедушке я старался пересилить себя. Сначала я все еще вел себя несколько свысока, немножко важничал, но детская прямая, чистая и откровенная природа взяла сейчас верх над смешными предрассудками, бессознательно заимствованными у взрослых. Через пять минут я совершенно и без всяких усилий над собою забыл неравенство сословий между мною и Васей. Я разыгрался с ним, как с равным; он было начинал уже мне нравиться. Я выставил перед ним все мои богатства: складные картинки, оловянных солдат, кузницу с кузнецами, поднимавшими и опускавшими молоты — игрушку, которою я особенно хвастал перед всеми приезжавшими к нам детьми, — Робинзона Крузе с картинками и прочее.

Но Вася очень равнодушно, к моему огорчению, смотрел на все это.

— Это дрянные игрушки, — сказал он, — приезжайте к нам, я вам покажу свои: у меня хорошие, дорогие игрушки, дедушка ничего не жалеет для меня. Он недавно мне подарил игрушку, заплатил сто рублей, большая такая: дом с башнями и с садом, в саду маленькие кареты ездят и люди ходят, а в домике — диваны, кресла, а на кухне повара кушанье готовят. На ваши игрушки и смотреть не стоит.

Вася оскорбил мое самолюбие. Я надулся и снова принял важный вид.

— А что, у вас есть карета? — спросил меня Вася.

— Еще бы! у нас не одна, а две кареты — одна двуместная, а другая четвероместная, — у нас есть и коляска, и дрожки, и сани. Ведь мой дедушка генерал! Он ездит четверней с форейтором, а ваш дедушка так ездить не может, потому что четверней ездят только генералы, — прибавил я с торжеством.

— А у вас нет рысаков? — сказал Вася.

— Каких рысаков? Что это за рысаки?

Я в первый раз слышал это слово.

— Рысаки шибко бегут, всех обгоняют, мой дедушка и вашего дедушку обгонит. Да у вас и комнаты нехорошие, а у нас большие-большие, и часы с золотыми мальчиками, и золотые подсвечники, все золотое, и цветы на всех окнах, к нам генералы со звездами и с лентами ездят обедать, а у вашего дедушки нет ленты.

— Нет, есть, — отвечал я, раздражаемый все более и более, — у него красная лента через плечо, и звезды, и много-много крестов!..

— А отчего же он не сидит в ленте?

— Дома не надевают ни крестов, ни лент, — отвечал я, — кресты и ленты надевают только в гости.

— А мой дедушка и дома крест носит, видите ли?.. Дедушка мой богатый-богатый, у вашего дедушки нет столько денег. У моего дедушки миллион есть, еще больше, у нас не четверня, а пятнадцать лошадей на конюшне стоит; мой дедушка на всех может ездить. Это будет все мое. Мамаша говорит, что я буду больше, чем дворянин.

Моя дворянская кровь бросилась мне в голову при этом слове. Я вспыхнул.

— Ваша мамаша неправду говорит, — отвечал я с достоинством, — дедушка мой генерал, и я буду генерал (увы! мечты моего детства не сбылись!), а вы не будете генералом. Вы будете с бородой ходить, как ваш дедушка.

Вася обиделся.

— Не хочу я с бородой ходить, — произнес он почти сквозь слезы, — мамаша мне сказала, что я не буду с бородой ходить.

Я был доволен, что уязвил Васю. Чтобы дать сильнее почувствовать ему, какая разница между дворянином и купцом, я заговорил с ним по-французски, полагая, что на французском языке могут говорить только одни дворяне.

Вася произнес также несколько слов по-французски, хотя, к моему удовольствию, с трудом и дурным выговором.

— А вот вы и не умеете хорошенько говорить по-французски, — заметил я.

— Умею! — закричал Вася таким голосом, как будто сбирался сейчас заплакать.

— Ну, если умеете, так скажите, как по-французски называется печка?

Вася задумался.

Очень довольный собою, я принял роль экзаменатора.

Вася отвечал на мои вопросы не совсем удовлетворительно и наконец заплакал.

Мы расстались явно недовольными друг другом.

Когда я после отъезда купца передал мой разговор с Васей дедушке и с насмешкою прибавил: «Он сказал мне, будто бы он будет выше дворянина...» — дедушка с неудовольствием покачал головою.

Я тотчас заметил неприятное впечатление, произведенное на дедушку моим рассказом, хоть не сознавал почему.

— Ведь он сказал это по глупости, дедушка? Как же он может быть выше дворянина? Я ему отвечал, что дворянин может четверней ездить, а он не может... Ведь правда, дедушка? — спросил я уже с некоторою робостью, посмотрев на дедушку с недоумением.

— Кто тебе набивает голову такими пустяками? — отвечал он. — Одним дворянством, мой друг, гордиться нечего, да и вообще гордиться чем бы то ни было и важничать перед кем бы то ни было — нехорошо, и не все ли равно ездить, на четверне или на паре? Купец может быть поумнее иного дворянина, если купец человек честный, если он говорит всегда правду, ведет свои дела аккуратно... Человека украшают его дела, его поступки, а не звания и титла. И купец также служит отечеству, как и дворянин... Вот, например, дедушка этого мальчика, купец, который у меня сейчас был, он человек честный, благородный, умный, весьма уважаемый, и не за то только, что он богат, а за то, что он честен. Его одному слову верят более, чем клятвам и подписям иных значительных лиц. Если внучек пойдет по его следам, то его будут так же уважать, как старика. Ты заметь однажды навсегда, что уважение приобретается трудолюбием, честностию, прямотою, а не званием, потому, что благородное звание или громкий титул без внутреннего благородства одно пустое слово! Гордятся бессмысленно своим происхождением только пустые, глупые и ничтожные люди. Прочти-ка, дружочек, басню Крылова «Гуси», ты это лучше поймешь...

Через несколько дней после этого дедушка повез меня к Прохору Кононычу.

— Вот, — сказал он, входя к старику, — и я к вам с моим внучком. Он приехал сделать визит вашему внучку...

Вася не солгал. Квартира Прохора Кононыча была несравненно лучше и больше нашей квартиры и украшена несравненно богаче. Меня в особенности поразила огромная зала с хорами и двумя большими люстрами, с потолком, расписанным амурами, в которой Прохор Кононыч, как я узнал впоследствии, задавал банкеты различным знатным и сановным особам. Прохор Кононыч был не лишен тщеславия и любил видеть у себя в гостях ордена и звезды. Некоторые ордена и звезды, говорят, пользовались даже слабостью доброго Прохора Кононыча, часто сами напрашивались к нему на обеды и объедались и упивались у него вдоволь, вознаграждая хозяина, или, вернее сказать, его зрение — блеском своих шейных и особливо грудных украшений. Комната Васи была завалена не виданными мною игрушками. Как я ни усиливался казаться равнодушным, но при виде домов, башен, садов с движущимися людьми и экипажами, и при звуках маленькой ручной шарманки я едва удержался, чтобы не ахнуть. Все это грудами было навалено в комнате и покрыто слоем пыли. В комнате Васи, когда я вошел в нее, был гувернер его, француз-щеголь, няня с сморщенным лицом и двуличневым платком на голове, девка, обутая на босую ногу, и грязный мальчишка, обстриженный в кружок. Вася мало обращал на меня внимания, он более занимался собачонкой испанской породы, к хвосту которой он привязал шнурок и дергал ее за этот шнурок. Собачонка визжала, Вася кричал на мальчишку, гувернер кричал на Васю, который его не слушал, няня кричала на босоногую девку. Я совсем растерялся в этом хаосе... Через минуту Вася выпустил несчастную собачонку, схватил большую куклу, представлявшую улана, и показал ее мне.

— Какова кукла? — спросил он у меня.

— Славная, — отвечал я.

— А хотите, я ей сейчас голову сломлю? мне дедушка другую купит.

И с этими словами шея куклы затрещала, и голова с кивером покатилась на пол...

Вскоре за этим дедушка прислал за мною, и мы уехали.

Более меня не возили к Васе, Вася не приезжал ко мне, и я забыл о его существовании...

II

Лет через тринадцать после этого я обедал в одном из самых известных петербургских ресторанов с моим товарищем по школе, с добродушнейшим и милейшим из людей, который без разбора был знаком со всею петербургскою молодежью, всем радушно жал руки, всем говорил *ты* и пользовался величайшею популярностью в столице. Он был одним из неизбежных лиц на всех гуляньях, во всех театрах, маскарадах, танцклассах, везде, где проявляется публичная жизнь, и тотчас со всеми попадавшимися ему лицами заводил знакомства, не разбирая сословий и одинаково обращаясь с богатыми и бедными, с высшими и с низшими, с умными и с тупоумными. Он не имел и тени тщеславия, которым почти все мы заражены более или менее, и потому с ним всегда было легко; он сыпал остротами и каламбурами, знал все петербургские анекдоты, говорил без умолку, был постоянно в веселом расположении духа и умел смеяться не только над другими, что очень легко, но даже над самим собою, что очень трудно. Я не встречал в моей жизни человека, который имел бы такое разнообразное и обширное знакомство, какое имел он. Однажды, в маскараде дворянского собрания, он завел меня в какой-то таинственный уголок покурить. (Он знал везде все уголки и закоулки и по именам лакеев во всех ресторанах и капельдинеров во всех театрах.) В этом уголке мы нашли господина в пестром галстуке и в изношенном фраке с блестящими пуговицами, наружности весьма неблаговидной и притом полупьяного. Господин этот при виде моего товарища с увлечением бросился к нему на шею, поцеловал его и воскликнул:

— Ах, Саша, Саша! как я, братец, рад тебя видеть, то есть не поверишь, как рад.

— Давно не видались... Ну что ты поделываешь? — возразил мой товарищ улыбаясь.

— Живу, душа моя, живу! Известно, что —

Спящий в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!

И господин махнул при этом рукой, посмотрел на меня, пошевелил губами, облизал их и прибавил, ударив моего товарища по плечу:

— Пойдем, братец, выпьем.

Товарищ мой отказался, мы докурили папироски и вышли из угла.

— Откуда, наконец, у тебя такие знакомства, скажи бога ради? — спросил я у него.

Он захохотал.

— А что, ведь недурный экземплярчик?.. это *мой друг*. Я сошелся с ним на одном презабавном вечере у актера Кронидова. Я ему почему-то понравился, он и предложил мне выпить с ним на «ты». Зачем же мне было оскорблять его? я согласился. Что за беда, что прибавилось одно лишнее «ты»? К тому же он юморист, не шутя. На этом вечере черт знает что происходило и какие рылы были... Уж мне стало страшно, ты можешь себе представить, что такое там было. Я потихоньку уехал, потому что уж начиналось что-то — вроде драки между хозяином и гостем. На другой день в кафе я встречаю этого господина.

— Ну что, — спрашиваю я у него, — ты долго вчера там оставался?

— Да почти что до рассвета, — отвечал он, — после тебя там случилась маленькая неприятность.

— Что такое?

— Одному из гостей рот разодрали. Вышло между ним и другим гостем какое-то неудовольствие, уж из-за чего, не умею сказать... так, недоразумение.

— Ты не смотри на то, — прибавил мне мой товарищ в заключение, — что у него не совсем презентабельная физиономия. Он большой забавник... когда не пьян; жаль только, что он никогда не бывает трезв.

У моего товарища была, между прочим, страсть заводить кружки, во имя чего бы то ни было, и управлять этими кружками. Раз он составил театральный кружок; в другой раз, когда театральство прискучило ему, он составил что-то вроде *попечительного комитета* о какой-то барышне, которая, бог знает почему-то, ему вдруг понравилась, и он вербовал молодежь в этот комитет, как на дело серьезное... Деятельности-то хочется, а настоящего дела, которому бы легко и весело было отдаться, у нас нет, так поневоле даже самые лучшие из нас развлекаются пустяками, остаются долго духовно малолетними и играют в игрушки в такие годы, когда в других странах люди подвизаются уже с пользою на гражданском и

общественном поприще. Оттого на всех наших лучших людях есть отпечаток, если вы вглядитесь в них близко, внутренней пустоты и легкомыслия, даже и в тех, которые почитают себя не без основания глубокомысленными. Товарищ мой, впрочем, не прикидывался ничем, он был во всякую данную минуту самим собою. Развлекая себя разными выдумками, для того только, чтобы чем-нибудь занять себя, и отдаваясь им с увлечением, он не воображал, однако, что занимается делом, как многие... Другую такую благородную, открытую, прямую природу, какова была у моего приятеля, мне не удавалось встречать в жизни, несмотря на то, что я прожил полжизни. Многие из глубокомысленных легкомысленно называли его *пустым, добрым малым,* видя его постоянно веселым; они считали его неспособным к мысли и к делу; неспособным видеть себя и задумываться над самим собою; но они жестоко ошибались. На товарища моего нередко находили минуты тяжелого и грустного раздумья, когда человек строго спрашивает у самого себя: сделал ли я хоть что-нибудь, чтобы носить имя человека не как пустое и незаслуженное титло, а по сознанию и праву? И он усиливался бороться с самим собою и с средою, тяготившею его; но эту борьбу видели только самые близкие к нему по сердцу и по убеждениям. Все слабости и недостатки этого человека прилеплялись к нему от этой среды; все прекрасное, благородное и светлое выходило из его чистой и прозрачной натуры, и часто, глядя на него, я думал, что из него мог выйти дельный и серьезный человек, если бы он родился в другой, более широкой среде, в другом, более серьезном обществе...

Увлекшись моими воспоминаниями, — а товарищ мой принадлежит к лучшим моим воспоминаниям, — я, может быть, вдаюсь в излишние подробности, ненужные для этого рассказа. Впрочем, что за беда? Листок из воспоминаний — не художественное произведение. Я пишу, как пишется, не имея ни малейшей претензии на *художественность,* на *чистое искусство,* на *творчество* и тому подобное.

Говоря откровенно, я даже не совсем понимаю, из чего так хлопочут защитники *чистого искусства* и *художественности?* Сколько бы они ни заботились об нас, по доброте души своей, они из нас, простых писателей, не

сделают художников, и как бы мы сами ни желали угодить им, как бы мы ни усиливались превратиться в *творцов,* все наши усилия останутся не только тщетными, но и смешными...

Мы с товарищем начали наш обед вдвоем, но скоро к нам присоединились еще два наши приятеля, или, вернее, приятели моего товарища: полный, высокого роста адъютант, говоривший густым басом, страстный любитель цыган, лошадиный барышник, выпивавший баснословное количество вина, и молоденький кавалерийский офицер, с маленькими усиками и с несколько изысканными манерами, военный фат. Товарищ мой, как магнит, привлекает к себе; все так и льнули к нему, зная, что где он, там всегда весело. Своим добродушием и симпатичностию он смягчал самых гордых и недоступных господ и заставлял смеяться людей, которые никогда не улыбаются. Обед наш был по милости его очень жив и весел. Из отдельной комнаты, рядом с нами, к концу нашего обеда послышались веселые восклицания, крики и, наконец, женский голос, напевавший всем очень хорошо известные французские куплеты, которые обыкновенно поются, когда общество доходит до известной степени веселости.

— Мишка! кто тут в комнате рядом с нами? — спросил адъютант у служившего нам молодого татарина.

— Заказной обед, ваше сиятельство, — отвечал татарин.

— Тебя, дурак, не спрашивают, какой обед, а кто обедает? — возразил адъютант.

Татарин улыбнулся.

— Господин Пивоваров с приятелями, — сказал он после минуты нерешительности.

— И с приятельницами, — прибавил адъютант.

— Это, наверно, Луиза, это ее голос, — сказал изнеженный офицер, поводя рукой по своим усикам.

— Что это за Луиза? — спросил грубо адъютант, искоса взглянув на изнеженного офицера.

— Как будто вы не знаете? — отвечал он по-французски, — та, которая жила с Границыным.

— Я, батюшка, с вашими француженками знакомства не веду. Черт бы их побрал! Этой сволочи здесь много... А этот Пивоваров, кажется, уж начинает покучивать на будущие блага, на капиталы бородача — своего дедушки!

«Э! — подумал я, — да это должен быть мой старый знакомый Вася».

— Терпеть не могу, — продолжал адъютант, — этих купчиков-франтов... Саша, ты знаком с ними? Ведь ты со всем миром знаком?.. а?

Адъютант обратился к моему товарищу.

— Это *мой друг*, — отвечал он улыбаясь.

— Ну уж коли твой друг, так должен быть хорош. Знаю я твоих друзей-то! У него, я вам скажу, такие друзья, — продолжал адъютант, обращаясь ко мне, — с которыми ночью не дай бог встретиться. А майор Астафьев что?

— Что же, — ничего. Он не друг мой, а только protegé.

— Хорош *протеже!* Из кабака не выходит!.. Полно скрываться-то, признайся, ведь вы кутите вместе.

И адъютант при этой шутке любезно улыбнулся.

— Ты не смейся над майором Астафьевым, — возразил мой товарищ, — это милейший и забавнейший из людей; в свое цветущее время он был *седюктёром*[1] и франтом, у него еще и теперь остались следы этого; несмотря на то, что у него вся физиономия отекла и налилась, он все еще иногда завивает виски и фабрит усы; манеры у него до сих пор, когда он не очень пьян, самые галантерейные, он беспрестанно отпускает французские фразы: *экскюзе пур деранже*[2] или вроде этого, носит фуражку набекрень и выставляет локти вперед, словом, он мил необыкновенно. Ты бы посмотрел, как он расшаркивается перед дамами!..

— И он этому пьянчужке, за то что он дамам хорошо раскланивается, пенсию выхлопотал! — перебил адъютант, посмотрев на нас.

— Что ж такое? Я и тебе выхлопочу пенсию, когда ты сопьешься, — возразил мой товарищ.

Адъютант захохотал, ударил его по плечу и воскликнул: «Ах ты, Сашка!» — вероятно, за неимением более остроумного восклицания.

— А знаете, — сказал изнеженный офицер, прищуривая глазки, — у этого господина, который возле нас обедает... как вы его зовете?..

---

[1] соблазнителем (от *франц.* séducteur).
[2] извините за беспокойство (*франц.* exusez pour déranger).

Офицер остановился, как будто вспоминая фамилию. Адъютант сурово посмотрел на него и сказал:

— Пивоваров... К чему перед нами тону-то задавать: ведь вы очень хорошо помните его фамилию.

Изнеженный офицер несколько смутился.

— Pardon, я, право... — отвечал он, запинаясь, — в самом деле я забыл его фамилию... да... так у него... вы видели, серый рысак, чудо! первый в городе!

— Точно, что лошадь добрая, — возразил адъютант, — я его по этой лошади-то и знаю. Да что, он охотник, что ли, до лошадей? Ты, Саша, должен это знать в качестве его друга.

— Какое — охотник! Он, кажется, столько же толку знает в лошадях, сколько я...

— Ну, это немного, — перебил адъютант.

— Ему сказали, что первый рысак в городе продается, — продолжал мой товарищ, — так он сейчас и купил его для того, чтобы весь город кричал, что у него первый рысак и чтобы прохожие по Невскому разевали рты от удивления, когда он летает на нем сломя голову, а кучер его как безумный кричит во все горло: «Пади! пади!» Все это, батюшка, делается из тщеславия. Какая-нибудь Луиза сделает ему или его рысаку глазки — он на целый день и счастлив. Ему хочется во что бы то ни стало, чтобы его замечали и чтобы об нем говорили. Хоть он *мой друг,* но я должен по справедливости заметить, что из него большого толку не выйдет. Из него вырабатывается настоящий тип и в огромном размере, — потому что он наследует миллионы, — этих кутил-купчиков, которых развелось у нас так много. Они все воображают, что их деды и отцы наживали и скопляли капиталы для того только, чтобы они их глупо проматывали, и что они умнее и образованнее своих отцов и дедов, потому что одеты по последней парижской картинке.

— Ты меня, братец, познакомь с ним, — перебил адъютант, — не продаст ли он эту лошадь? я бы у него, пожалуй, купил ее, или, пожалуй, мы променялись бы; я бы дал ему славного рысака, не хуже его... так же бы разевали рты, когда бы он на нем прокатывался по Невскому... А что, он любит выпить?

— Пьет сильно и также из хвастовства.

— Ну, это хорошо, — заметил адъютант, — пошли-ка за ним Мишку... пусть он его вызовет оттуда на минутку

от твоего имени, а как он придет сюда, ты его познакомь со мною.

— Пожалуй.

Мишка был послан за Пивоваровым.

Господин Пивоваров не заставлял себя долго ждать.

Я не без любопытства посмотрел на него, когда он вошел в нашу комнату. Ни одной черты от детства не осталось у него. Он был худощав и бледен, все лицо его было в угрях, глаза, которые были голубыми в детстве, побледнели и превратились почти в серые, они были выпуклыми и имели мало выражения; белокурые его волосы были завиты и тщательно расчесаны, точно как будто сейчас выскочил из парикмахерской; одет он был франтовски, но без вкуса: в бархатном клетчатом пестром жилете и в пестром галстуке, на одном из его пальцев было колечко с большим брильянтом; он казался очень занятым своею особою и как будто постоянно думал о том, какое впечатление он производит на зрителей: понравился ли им его жилет? обратили ли они внимание на его брильянт?.. нашли ли хорошими его манеры? и прочее. От этого он был не совсем ловок и как-то стеснен в своих движениях.

— Я узнал, что ты здесь, и хотел тебя видеть хоть на минутку, — сказал мой товарищ, — извини, что я тебя вызвал.

— Помилуй... ничего... я очень рад, — отвечал внук миллионера, охорашиваясь и поглядывая на нас.

— Хочешь шампанского?

Товарищ мой налил бокал и поднес ему.

— Мерси... — Внук миллионера взял бокал и прибавил: — я, впрочем, уж так много пил! Мы здесь обедаем вчетвером и уж выпили бутылок восемь.

— Ничего, это не вредно! — заметил адъютант.

— Ах, кстати, — сказал мой товарищ, указывая на адъютанта, — вот князь Ртищев. Он желает с тобою познакомиться... — Пивоваров, — прибавил он, указывая на внука миллионера.

Адъютант протянул ему свою широкую руку. При имени князя лицо внука миллионера вдруг просветлело.

Он произнес не без волнения: «Очень рад, очень рад!» — и поспешил вложить свою руку с брильянтом в руку адъютанта с ощущением наслаждения, которое вы-

разилось во всей его фигуре и бросилось бы в глаза даже и не наблюдательному человеку.

— Посидите-ко с нами, — сказал адъютант, слегка придвинув к себе стул и указав на него внуку миллионера.

Он сел.

— Бутылку редерера и чистый стакан! — крикнул адъютант.

Он налил полный стакан ему и себе и сказал:

— Ну, чокнемтесь.

Внук миллионера взял стакан, чокнулся с адъютантом, отпил немного и поставил стакан на стол.

— Это что! — воскликнул адъютант, — со мной эдак не пьют, батюшка, нет! этого я не люблю.

Внук миллионера начал извиняться и отговариваться восьмью бутылками, выпитыми вчетвером.

— Мне до ваших восьми бутылок никакого дела нет. Я предлагаю вам выпить со мной.

Внук миллионера выпил стакан.

Через десять минут в бутылке не оставалось ни капли, хотя ни я, ни товарищ мой, ни изнеженный офицер не пили. Глаза у внука миллионера совсем посоловели, он уж совершенно дружески разговаривал с адъютантом и, кажется, даже выпил с ним на *ты*. Адъютант ловко завел с ним речь о лошадях. Внук миллионера начал хвастать своим рысаком, адъютант возражал, что действительно это лошадь хорошая, но вовсе не из первых в городе; что у него есть гнедой рысак, который не хуже, если не лучше, и в заключение пригласил к себе внука миллионера на другой день посмотреть его.

Внук миллионера вышел от нас, кажется, совершенно счастливый мыслию, что известность его растет с каждым днем и что им даже начинают интересоваться князья, и совершенно пьяный, потому что он даже спотыкался и пошатывался.

Через два дня после этого я и товарищ мой встретили на улице адъютанта.

— А знаете ли, господа, что пивоваровский-то серый рысак уж мой. Я променялся, отдал ему своего гнедого да еще придачи взял. Этот франт просто ничего не смыслит в лошадях, а туда же прикидывается знатоком, хвастает и порет такую дичь, что уши вянут. Он глуповат немножко, а малый добрый!..

III

После этого я несколько раз встречал внука миллионера в ресторанах, на улицах, на гуляньях; моему товарищу вздумалось раз как-то при удобном случае представить нас друг другу, но я не счел нужным воспользоваться его любезным приглашением. Наше знакомство ограничивалось только поклонами и иногда несколькими словами при встречах. Товарищ мой также был у него всего раза два или три, не больше, но мы знали все подробности его жизни, все его приключения, как коротко знакомые. Вот каким образом: к моему товарищу захаживал очень часто некто Иван Петрович Подшивкин. Этот Иван Петрович, — человек лет сорока, маленького роста, с беглыми, небольшими, двусмысленными глазками и с вечно угодливой и заискивающей улыбкой на губах, был сын обанкрутившегося богатого купца; Прохор Кононыч похоронил его отца на свой счет, потому что у покойника не оказалось ни полушки, дал у себя в доме комнатку его вдове и определил ее сына, которому было уже лет двадцать пять, к себе в контору. Но сын этот оказался к делам совсем неспособным и из рук вон ленивым: он даже в контору никогда и не показывался. Прохор Кононыч знал все это, но он махнул рукой, произнес: «Ну, бог с ним», — и велел продолжать выдавать ему жалованье. Таким образом Иван Петрович прожил пятнадцать лет у Прохора Кононыча, получая небольшое жалованье по его милости и снисходительности. Он всякий день шлялся по гостям, потому что сохранил связи со всем петербургским богатым купечеством, ел, пил, веселился на чужой счет и отплачивал за это шуточками, прибауточками и балагурством, смешанным с низкопоклонством. На всех купеческих именинах, свадьбах, крестинах, похоронах, рожденьях, банкетах он был непременным лицом; он забавлял бородатых миллионеров разными паясническими выходками; переносил сплетни их женам; был на посылках у их дочерей; пил с их сынками и оказывал им различные услуги, особенно по части прекрасного пола, и умел везде поставить себя хотя невидным, но необходимым лицом. Таким образом, Иван Петрович жил припеваючи, получая от всех подачки чем ни попало: деньгами и вещами.

Где и каким образом познакомился с ним мой товарищ, я не знаю, только он удостоивал его своего расположения, потому что считал его забавным, хотя я, признаться, ничего не находил в нем забавного. Иван Петрович рассказывал обыкновенно моему товарищу различные анекдоты из купеческого быта, с ужимками и прибаутками, а товарищ мой слушал его, лежа на диване с сигарой, и хохотал от всей души. Вася Пивоваров был главным его героем. Он благоговел перед ним.

— Ну что, Иван Петрович, скажите, — бывало, спрашивал его мой товарищ, — занимается ли ваш Вася хоть сколько-нибудь коммерческими делами? понимает ли он в них хоть что-нибудь?

— Помилуйте, — отвечал Иван Петрович, — зачем же *нам* этим заниматься-с? Мы рождены, собственно, для того, чтобы по Невскому на рысачках кататься! Впрочем, это я только так, для рифмы соврал, а *мы* все знаем, всем занимаемся-с, кассирские должности исполняем и дедушке в глаза пыль пускаем. Старик-то нам немножко мешает, а то бы мы такого форсу задали, что...

Иван Петрович сжал губы и свистнул.

— Что ж, впрочем — и теперь об нас все говорят — куда ни обернешься, только и слышишь: какой рысак у Василья Прохорыча! Какая коляска!.. какая мебель!.. — и точно что... (он взглянул на меня и указал на моего товарища) вот они видели нашу мебель: пате, консольки, козеточки, эдакие, натощак и не выговоришь такие названия; ковры, шелки, бронзы — есть от чего ахнуть. А вина-то какие, — а метресочки-то! Господи, боже мой! Я прошедший раз гляжу на Луизу Карловну... она эдак лежит на диване, как султанша какая, да ножкой болтает, — просто чудо! — «Позвольте, я говорю, Луиза Карловна, мне, недостойному рабу, хоть к башмачку-то вашему или к чулочку моими грешными губами прикоснуться...» А она, знаете, спрашивает по-французски: что, говорит, он врет? — а сама смотрит на меня, улыбается, да еще пальчиком грозит, — такая, ей-богу! то есть, кажется, прилег бы к ее ножке щекой, замер и испустил бы тут же дыхание, и в голову бы не пришло, что другие женщины существуют на свете, а мы — нет-с, как можно! Нам одного цветочка мало; мы, как пчелы, с цветка на цветок перелетаем, никаким не пренебрегаем, и на чертополох садимся, отовсюду медок высасываем, а из нас

денежки высасывают... Да что! нам деньги нипочем! У нас деньги, как щепки. Хоть у нас-то их и не слишком много-с, да ведь *мы наследники,* а у дедушки-то у нашего подвалы чистым золотом завалены... Нам не то, что другим-с; в случае нужды деньги достать все равно, что стакан воды выпить. Отовсюду сбегутся благоприятели... сейчас сколько угодно достанут, благодетели, пятьдесят на сто; деньги нам дают да еще нам же в пояс кланяются. Экая жизнь-то подумаешь — блаженство! Намедни утром лежит на диване в турецком халате, халат-то из тысячной шали скроен, шелковые шаровары, — потягивается, позевывает да лениво покуривает. Головка-то в тумане еще... всю ночь напролет прожуировал, а я смотрю на него да улыбаюсь.

— Чего, говорит, ты смеешься?..

— На вас, говорю, Василий Прохорыч, радуюсь. В сорочке, я говорю, вы родились.

— В самом деле?.. — и сам улыбается... — а что, говорит, я думаю, точно, многие мне завидуют?

— Да как же не завидовать-то! Кому же завидовать, как не вам?

— Это, говорит, все вздор; теперь мне завидовать еще нечему, а вот как я буду сам себе господин, так уж тогда я покажу себя; весь Петербург, говорит, ахнуть заставлю. Вот ты увидишь!

И точно: вы посмотрите, как мы тогда заживем. Уж никто так, как Василий Прохорыч, не сумеет пыль пустить в глаза: умница-то ведь какой! ловкий, молодец!.. Посмотрите, как в театр войдет, или в коляску сядет — подумаешь, что князь какой. Я из нашего-то сословия почитай что всех богачей знаю, из молодых-то, да нет-с, куда им! далеко до нашего Василья Прохорыча! тех же щей, да пожиже влей. Супротив него у нас никого нет. Вот кричат про Мыльникова, сына Петра Касьяныча — да ничего в нем особенного нет и по-французски не говорит, даром что француженку содержит, пантомимой с ней объясняется, как в балете, ей-богу, смех смотреть... Она ему просто вот какие, оленьи рожищи подставляет и смеется еще над ним, а он ничего не понимает, напьется, глаза, знаете, эдак посоловеют, станет перед ней на колени, мычит что-то и сердится, что она его не понимает, бьет себя в грудь, плачет... Куда ему против нашего! Я его часто вижу вместе с Васильем Прохорычем. Говорить ли

о чем начнут — уж наш непременно его забьет, пить ли — наш перепьет, на рысаках ли перегоняться вздумают — наш обгонит. А вот теперича он съездит за границу-то, да вернется назад. Форсу-то там еще более понаберется, тогда и не подходи к нему; пожалуй, что еще и на княжне какой-нибудь женится. Англичанин будет настоящий. Ведь правду я говорю, Александр Григорьич?..

— Правду, правду, — отвечал, смеясь, мой товарищ, — ну, а скажите, Иван Петрович, дедушку-то своего он любит?

— Господи боже! да как же такого золотого дедушку не любить. Да и дедушка-то в нас души не слышит, только старики-то ведь ворчуны, ну и наш ворчит, что мало делом занимаемся. Он умница, даром что с бородой и сапоги сверх панталон носит, но бедовый старик!.. у него все по струнке ходят, пискнуть перед ним никто не смеет, а уж к внучку слаб, больно его любит, потому что он у него один наследник, сквозь пальцы смотрит на него, да еще старик-то, признаться, и мало знает наши проделки... Если б он все узнал, просто, как ни любит, а беда бы была... А что, на прощальном-то обеде вы у нас будете, батюшка Александр Григорьич? Через месяц уж Василий Прохорыч непременно уедут за границу. Теперь начинаем приготовляться к отъезду. Приезжайте, приезжайте: обед будет на славу, пожалуй, и птичьего молока для вас достанем, это нам нипочем... А скучно будет без Василья Прохорыча!

Иван Петрович вздохнул.

Через месяц, на другой день после этого прощального обеда он прибежал к моему товарищу в ту минуту, когда я только что вошел к нему. Иван Петрович был в восторженном настроении.

— Ах, боже мой! Александр Григорьич, скажите, как это вам не грешно, вчера-то вы у нас не были! Как же это можно! — восклицал он, с сверкающими глазами и размахивая руками...

— Что делать? не мог, я был не очень здоров.

— Да что не здоровы! как не могли, помилуйте! Ведь что было, то есть, этого и представить себе невозможно! Для такого банкета со смертного одра можно было встать, ей-богу... Вот я вам принес списочек блюд... вот извольте... прочтите... это на удивленье! А десерт-то какой!.. Клубника, земляника, малина в полпальца величины —

теперь-то вы можете себе вообразить! Вин — это просто разливанное море... обедало всего человек двадцать, а выпито пять дюжин одного шампанского; после обеда пошли ликеры, заварили жженку с ананасами... Я, знаете, в свою жизнь часто бывал на парадных, хороших банкетах, а уж ничего подобного не видал... Теперь воображению представится, так слюнки потекут. Право. Много было из знатных особ, — вот князь Ртищев... Уж как он всех распотешил нас. Эдакий молодчина! Наш-то насчет выпивки мало кому уступает, а уж против их сиятельства — пас... Ну, да и то сказать, куда же с ними тягаться: в плечах косая сажень, рост какой, как заговорят, так своим голосом всех и покроют, пляшет как! — нечего сказать: настоящий князь! Взгляд эдакой, жест повелительный, орел, да и только, и не нужно говорить, что князь... Стоит посмотреть на него, сейчас догадаешься. После жженки как закричит: «К цыганам! слышите? Сейчас же все до единого!»

Я было хотел улизнуть да прикурнуть где-нибудь в уголку, потому что ноги-то у меня уж, знаете, подкашивались, а он ведь, подите, какой! сейчас заметил, да за шиворот меня.

— Куда? — говорит, — не сметь отсюда выходить, все к цыганам!

Как он схватил меня, я, признаться, и испугался; эдакий силачина, ведь меня просто, как комара, придавить может.

— Помилуйте, я говорю, ваше сиятельство, куда прикажете, я, говорю, везде за счастье почту быть с вашим сиятельством.

А он, знаете, эдак посмотрел на меня с ног до головы, изволил улыбнуться и говорит:

— Ну, то-то же, смотри, никуда отсюда, все к цыганам, и за другими смотри, чтобы никто не смел улизнуть. Ты мне за всех отвечаешь...

Такой шутник, право!

Вот мы таким манером и нагрянули к цыганам в Новую деревню... Уже первый час был. Все спят. Его сиятельство идет впереди всех предводителем, и кричит: «Эй, вы! вставайте, гости приехали!..» Сам изволил стащить с постели цыганочек-то, которые помоложе... Они кричат, пищат... «Ваше сиятельство, оставьте, мы сейчас...» Шали на себя, платки накидывают, а он-то хохочет... «Живо! говорит... Где, говорит, Матрена! подавайте

мне Матрену!» Цыгане-то заспанные, знаете, из угла в угол мечутся, как угорелые, видно уж знают князя. «Сейчас, говорят, ваше сиятельство, все будет готово... не извольте беспокоиться». Начинают помаленьку собираться. Является Матрена... идет, знаете, эта жирная, старая рожа, переваливаясь, да как увидала князя... «А это ты, говорит, забулдыжная голова, спать-то нам не даешь!» Ей-богу, так-таки и говорит... А князь-то ей: «Ах ты, старая, говорит, ведьма, чего разоралась-то! Ну, обними меня и поцелуй». Та обняла его и давай целовать; мы так все и покатились со смеху. — «Ну теперь, говорит, пошла, довольно», — и рукой ее эдак, знаете, взад... и потом обернулся к цыганам. «А вы, говорит, чего смотрите? Шампанского подавай!..» Господи! я думаю про себя, да что ж это? Уж, кажется, пили, пили, а теперь еще! что же это будет с нами! Князь-то шутить не любит... Вот-с началась попойка и песни... Маша заливалась, как соловей, весь хор пел на славу, Матрена просто выходила из себя; видно, что они все из кожи лезли, чтобы отличиться перед такими гостями: ведь наш-то и на них сажал деньги, они его знают, да и кто ж, правда, его не знает?.. Вдруг как князь-то вскочит, да как закричит: — «Ну веселую, плясовую — да живо! Матрена, пройдемся-ко», — и мигнул Матрене. А сам с себя сюртук долой и пошел, пошел: ногами семенит, плечами поводит, да потом вдруг вприсядку, гикает, кричит, размахивает руками, а пот-то с него так градом и льет.

— Ну, говорит, черт возьми, довольно с вас! Устал как собака, — и вытерся рукавом рубашки, — теперь, говорит, пойте что хотите, — и лег на диван. А там и пошла песня за песней, и после каждой песни разливка, вино-то теплое, в душу не лезет, и смотреть-то на него гадко: вспенится и польется через на жестяной поднос, и поднос и стол-то грязный такой, и грязь кругом. А князь — ничего... Ну знаете, к концу-то он поосовел немножко, призамолк богатырь, сидит, обнявшись с Груней и покачивается, а все еще, как нальют бокалы, кричит «пей», но уж не таким твердым голосом — и сам пьет. Потом пошли эти величанья... Маша сама обходила с подносом. Как дошло до нашего-то, как Маша остановилась перед ним, кланяясь и желая ему счастливого пути (уж они, шельмы, проведали, что он едет за границу), он кивнул мне головой...

— Ваня, говорит, — уж язык-то у него чуть ворочается, а я-то, знаете, уж пить тут не мог, возьму, знаете, бокальчик да в горшок с еранью, благо князя-то нечего бояться было, ну так я был потрезвее, — Ваня, отыщи, говорит, у меня бумажник в кармане, вынь пятьсот рублей, положи на поднос.

Вынул, положил, так нет! не унялся — видите, еще мало показалось — вынимает из кармана лобанчики и кидает, а ведь они такие жадные, ненасытные. Им сколько ни давай, все мало. Домой-то мы воротились часов в семь. Уж я сокровище-то наше всю дорогу держал на руках, он совсем ослабел, я берег его, как сосуд какой-нибудь хрустальный. Нельзя же: ведь он у нас избалованный, изнеженный такой.

Смотря на этого балагура и слушая его рассказ, я был убежден, что он выпустил из него некоторые подробности, касающиеся до себя, а именно, что часть денег, назначенных ненасытным цыганам, он, пользуясь удобным случаем, перевел в свой карман. По крайней мере он производил на меня своею особою такое впечатление. Я сообщил это замечание моему товарищу, но он по доброте сердца никак не соглашался с этим и уверял, что господин этот хотя и шут, но малый честный...

На пароходе, на котором отъезжал за границу внук миллионера, отправился, между прочим, один мой знакомый. Я провожал его до Кронштадта и был невольным свидетелем проводов внука миллионера. Его провожали наш знакомый — Иван Петрович; купеческий сын Мыльников — франт, кутила и лихач, явно усиливавшийся во всем тянуться за Пивоваровым; толстый господин, очень важно державший себя, имевший тип биржевого маклера; еще другой господин с выверченными ногами, неопределенных лет от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти, всем известное в Петербурге лицо — нечто вроде ублюдка от жида с обезьяной, говорящее на всевозможных языках и исправляющее всякие факторские [1] обязанности, и, наконец, Луиза, вся обернутая в драгоценную турецкую шаль.

Когда эта компания явилась вечером на пароход, готовый к отплытию, она была уже в очень оживленном расположении, не исключая и Луизы, и обратила на себя всеобщее внимание.

---

[1] посреднические, маклерские (от *лат.* factor).

Жид-фактор, размахивая своими как будто вывихнутыми руками, кричал во все горло, дружески ударяя по плечу внука миллионера:

— Когда будешь в Париже, остановись, мон-шер[1], непременно в Hôtel des princes, rue Richelieu[2], — самая лучшая отель... Слышишь, непременно там — и спроси Шарля, он комиссионер при отеле; скажи, что я тебе рекомендовал его — этого довольно, он будет распинаться для тебя. Это драгоценный человек: он Париж знает как свои пять пальцев... он покажет тебе все чудеса, диковинки и прелести... Вот ты увидишь, голубчик, как веселятся в местечке Париже, не по-нашему!.. Нет!.. Нам далеко!.. Завидно смотреть на тебя, полетел бы за тобою, посмотреть на моих старинных приятельниц — парижаночек!

И, говоря это, он с довольною улыбкою посматривал кругом себя, выставляя голову вперед и поводя носом, как бы обнюхивая.

Купеческий сынок Мыльников поправлял свои усики, тупо улыбался и говорил:

— Я тоже поеду на будущий год в Париж, непременно поеду!

Иван Петрович все терся около отъезжавшего внука миллионера; становился против него, льстиво смотря ему в глаза и повторяя: «Покидает нас наше сокровище, оставляет нас здесь сиротами!», заходил сзади и поправлял ему ремень от сумки, которая была у него надета сверх пальто; смотрел на него то с правого, то с левого бока, печально кивая головою; подходил к жиду-фактору, к Мыльникову, к биржевому маклеру и повторял со вздохом: «Уезжает! уезжает!», обращался к Луизе и говорил, указывая на Пивоварова: — *партѐ, адьё!*[3] и потом, умильно осклабляясь на нее, прибавлял:

— Ах вы, кралечка!

Когда провожавшие должны были оставить отъезжавший пароход и я совсем простился с моим знакомым, продираясь сквозь толпу к выходу, я опять наткнулся на группу, провожавшую внука миллионера.

В этот раз Луиза была в его объятиях и обливала его слезами.

---

[1] мой дорогой (*франц.* mon cher).

[2] Княжеском отеле, улица Ришелье (*франц.*).

[3] уехал, прощайте! (*франц.* parté, adieu!)

— Merci! merci!.. Ne m'oubliez pas, mon cheri! [1] — повторяла она ему.

Иван Петрович всхлипывал, глядя на них: даже жид-фактор подносил платок к глазам, до того картина эта была трогательна. Только купеческий сынок Мыльников и толстый биржевой маклер оставались довольно равнодушными.

Иван Петрович подошел ко мне на пароходе, на котором мы возвращались в Петербург.

— Умчался наш сокол за моря! — сказал он, — без него и жизнь не в жизнь будет, так привык к нему, ей-богу. Да человек-то какой, души-то сколько!.. Как не любить его! Луиза Карловна-то, видели вы, просто убивалась, прощаясь с ним, навзрыд плакала бедняжка; у него у самого, глядя на нее, покатились слезы, жалко ему стало ее, вынул из сумки пятьсот рублей, — на, говорит, Луизенька, возьми на булавки... Тяжело, я вам скажу, будет ей без него! Не скоро забудет!..

В эту минуту начал накрапывать мелкий дождь, и мы вошли в каюту.

В одном углу каюты мы увидели Луизу, сидевшую между двумя гусарскими офицерами и хохотавшую во все горло... Один из офицеров держал ее за руку, называя *неутешной вдовой*.

— Посмотрите-ка, — сказал я Ивану Петровичу, указывая на эту группу.

Иван Петрович вытаращил глаза, с минуту смотрел на нее, потом печально покачал головою.

— Ах, она бесстыжая эдакая! — произнес он, — да и я-то дурак, в самом деле подумал, что она жалеет об *нас*. А ведь сколько мы в нее денег посадили! И еще с час назад тому пятьсот рублей бросили! За что же?.. стоила ли она этого?.. Да чего, впрочем, ждать от них? в этих женщинах нет ни стыда, ни совести!

И Иван Петрович от негодования плюнул.

IV

Внук миллионера вернулся из-за границы через два года. О заграничных его похождениях мне узнать было не от кого. В Петербурге же, по рассказам Ивана Петро-

[1] Спасибо! спасибо!.. Не забывайте меня, мой нежно любимый! *(франц.)*

вича и по другим слухам, он произвел в своем кругу, как и следовало ожидать, величайший шум. Там в течение нескольких месяцев только и говорили о вывезенных им вещах, платьях и каких-то неслыханных экипажах, с такими хитрыми названиями, которые у русского человека останавливались поперек горла... Внучек миллионера на некоторое время занял внимание даже всех классов петербургского праздношатающегося народонаселения. Об нем заговорили, да и нельзя же было не говорить, потому что он всякий день появлялся на публичную выставку в различных видах: он прокатывался утром по Невскому проспекту несколько раз взад и вперед, чтобы дать возможность во всех подробностях рассмотреть себя любознательной публике; то в каком-то английском экипаже, на английских лошадях, с английской закладкой, которыми он сам правил, вооруженный длиннейшим бичом; то полулежа в легкой, как пух, коляске, привезенной из Вены и запряженной русскими рысаками, которых во весь ход пускал его толстый и бородатый кучер, обгоняя блестящие экипажи Шарлоты Федоровны, Арманс, Берты, Марьи Ивановны и вообще *этих* дам... В обеденное время его можно было видеть почти постоянно то у Сен-Жоржа, то у Леграна, а вечером или в цирке, или во Французском театре, или в опере, куда он являлся всегда не только во фраке, но даже в белом галстуке, как это делают те светские господа, которые обыкновенно прямо из театра отправляются на бал или раут. Внук миллионера на балы не ездил, а если и ездил, то на такие, на которых белый галстук был совершенно излишним украшением, но он предпочитал белый черному уже потому, что белый бросался в глаза. К тому же, как известно, белые галстуки в большом употреблении в Лондоне.

— Здесь просто жить не умеют, — говорил он своим приятелям с презрительной гримасой и пожимая плечами, — какая-то дикая страна! Помилуйте, здесь в оперу ездят в сюртуках, на что же это похоже? В Лондоне в оперу всякий порядочный англичанин надевает непременно фрак и белый галстук! Это уж так принято у всех образованных людей...

— Да! уж что там ни говори, — рассуждал про него благоговейно купеческий сынок Мыльников со своими друзьями, — а уж за ним тягаться нелегко: *шикар*, черт его возьми! Настоящий европеец!

И, в подражание внуку миллионера, он также стал появляться в оперу в белом галстуке.

Только некоторые великосветские гвардейские офицеры и штатские comme il faut[1] иронически поглядывали на нового европейца, отзывались об нем презрительно и называли его даже унизительным именем *хама*, в полном и гордом сознании, что та высочайшая comme il faut'ность и та утонченная светскость, которою владеют они, не может быть доступна *всякому*, что она не покупается никакими миллионами, что это высочайший идеал, до которого достигают только немногие избранные и высокорожденные. Внучек миллионера, хотя и замечал, как эти господа на него посматривают, но, по-видимому, мало огорчался этим. Ему, может быть, хотелось сначала попасть в их общество, но, убедившись, что это не так легко для него, как он думал, он успокоился... К тому же можно было смело предположить, не прибегая к помощи наблюдений и слухов, что он принадлежал к числу таких людей, которые не принимают тон, а задают тону и которые окружают себя людьми, над которыми они могут распоряжаться всевластно.

В это самое время, то есть через полгода, а может быть, и через год после возвращения Пивоварова из-за границы, *весь* Петербург заговорил об Шарлоте Федоровне... Я говорю *весь*, потому что каждый из нас, людей обеспеченных и более или менее праздных, привык считать тот маленький мирок, которым окружен он, с его интересами, понятиями и взглядами чуть не целым миром, воображая, что весь мир непременно живет теми же интересами, понятиями и взглядами. Очень легко может быть, что большая половина Петербурга и не подозревала о существовании Шарлоты Федоровны, но какое нам дело до этой большой половины? Об ней говорили *мы*, она занимала *нас*.

Она была очень известна давно, но, несмотря на ее красоту и молодость, на нее смотрели почти с пренебрежением, потому что эта красота была слишком легка и доступна и, как все такого рода красоты, имела не блестящую обстановку. А мы в таких случаях похожи на тех покупателей картин, которые обращают не столько вни-

---

[1] comme il faut — светский человек *(франц.)*.

мания на достоинство самых картин, сколько на великолепные рамы. Когда случай вставил Шарлоту Федоровну в великолепную раму, — все обратились к ней, все заговорили об ней. Шарлота Федоровна окружила себя таким блеском и начала держать себя до того свысока, что издали и для людей неопытных она казалась совершенно недосягаемою. У нее явилось множество великосветских поклонников, она сделалась вдруг минутною прихотью Петербурга, его модою, и внучек миллионера, разумеется, начал тотчас же в числе других всюду преследовать ее. Он появлялся на всех пикниках и маскарадах, на которых была она; он не спускал с нее своего бинокля в театрах; на Невском проспекте его рысаки обгоняли ее рысаков; он четыре раза в день в различных экипажах проезжал мимо ее окон; он подкарауливал ее в Английском магазине, у Елисеева и в других лавках.

Но Шарлота Федоровна вела себя очень тонко и расчетливо. Она знала, что великосветские господа, по милости которых отчасти она держалась на высоте моды, считают внука миллионера человеком дурного тона, подсмеиваются над его претензиями и желанием выставляться, и вместе с ними смеялась над ним, обнаруживала перед ними презрение к нему, говорила, что этот купчик надоедает ей, что она не знает, как от него отделаться, и прочее, а между тем, говорят, тайком вела с ним переговоры, потому что упустить его считала по справедливости нерасчетливым.

Слухи эти подтвердились Иваном Петровичем. Я встретил его однажды на улице. Он подошел ко мне в ту самую минуту, когда Шарлота Федоровна промчалась мимо нас на своих рысаках. Иван Петрович, значительно улыбаясь, проводил ее глазами, прищелкнул языком и, обратясь ко мне, сказал:

— Вот-с уж барыня, так барыня!

— А вам нравится?

— Помилуйте, да как не нравится. Я с ней имел счастие недавно провести целый вечер.

— Каким же это образом?

— Да просто у нас в доме-с. Недели две тому назад, изволите видеть, у Василья Прохорыча зашел спор с молодым Мыльниковым. Василий Прохорыч говорит, что для меня, говорит, нет ничего на свете недоступного. Все, что пожелаю, говорит, буду иметь. А Мыльников-то улыб-

нулся и говорит ему: «Ну, говорит, *атандè*[1], не всё, шалишь! Вот позови-ка нас ужинать — чтоб Шарлота Федоровна была. Ну-ка!» — А наш-то ему отвечает. «Велика, говорит, важность Шарлота! Да она будет у меня, когда хочешь». — «Нет, говорит, врешь, не будет, ведь она теперь так нос задрала, что ужас». — «А будет!..» Слово за слово, знаете, и побились об заклад о дюжине шампанского. Ну, разумеется, Мыльников проиграл — приехала, только хоть мы и выиграли дюжину шампанского, а этот визитец нам дорого обошелся-с. Еще до визита двух вороненьких рысаков к ней на конюшню послали... так вот изволите видеть, в назначенный Василием Прохорычем вечер собрались мы часам к девяти эдак; всё свои, самые близкие только, человек нас пять всего было, вместе с Василием Прохорычем... Мыльников расфрантился, распомадился, завился, раздушился, как херувим какой расхаживает — и все в зеркала смотрится.

Признаться, и мы себя во всем блеске показать захотели; зажгли все люстры и кенкеты, комнаты горят просто как на балу на каком. Сам-то ходит во фраке, и все мы во фраках — нельзя, говорит, иначе, потому что в Европе вечером все во фраках, так заведено, а уж там, где, говорит, дамы, в сюртуке быть почитается величайшим невежеством. У нас теперь ведь все по-европейски, без Европы мы шагу не делаем... Ну вот он, знаете, похаживает, как будто ни в чем не бывало, а сам между тем все на часы посматривает. Уж близко к десяти, а ее все нет. Мыльников подходит ко мне и говорит:

— А что, Ваня, ведь я пари-то выиграл, — не приедет!

— Нет, — я говорю, — проиграл, *шер ами*[2]. Я тоже нынче по-французски запускаю с тех пор, как мы из Европы-то прикатили. Уж коли, говорю, *он* сказал, что приедет, так приедет.

— Неужто, говорит, взаправду? Мне, говорит, на проигрыш наплевать, а главное, хочется вблизи-то на нее посмотреть. Так ты думаешь, что приедет?

— Непременно.

— Что ты? У меня, брат, даже, говорит, сердце забилось, — ей-богу...

---

[1] подождите (*франц.* attendez).
[2] дорогой друг (*франц.* cher ami).

В половине одиннадцатого — звонок. Мы все переглянулись — кому же, кроме ее? У Мыльникова даже вся кровь в лицо бросилась... Он к зеркалу, и виски поправлять.

Наш-то посмотрел на всех с торжеством, «она! говорит, она!» — и пошел ей навстречу.

Входит. Господи! как разодета!.. в белом шелковом платье с фальбарами, по белому-то лиловые полосы, вся в кружевах, декольте, а шейка-то беленькая, как сливки, и у самого разделеньица-то, на грудочки-то, ужаснейший брильянтище, так и сверкает, так и переливается... Я, знаете, таким молодцом расшаркнулся перед нею, а Мыльников — ведь такой чудачина, даром что сам миллионер и с виду лихач, совсем оробел, стоит как пень и выпучил на нее свои буркалы-то...

А наш-то указал на нас и говорит ей:

— Имею честь представить — это, говорит, всё мои приятели, — всех нас по фамильям назвал...

Она обвела нас глазками, а глазеньки-то какие: с поволокой — чудо! улыбнулась эдаким приятнейшим манером и кивнула всем нам головкой.

— Я, говорит, из Французского театра, все такие глупые пьесы давали... Я и не дождалась конца.

И расселась в кресло, а наш-то под ноги ей скамеечку.

— Мерси, говорит, обдернула платьице и ножку выставила.

Как я взглянул, верите ли — у меня так по всему телу мурашки и пробежали. Башмачок-то маленький, узенький, с обшивкой и с лиловым бантиком, чулочек-то шелковый, так и обтягивает ножку — и точно как зарей подернут, — с розовым оттеночком...

И как пошла говорить, что твои гусли: обо всем так прекрасно рассуждает, все так критикует. Умница такая!

А Мыльников мне на ухо:

— Фу ты, братец, говорит, какая образованная!

— Да, я говорю: это не то что Луиза Карловна, далеко кулику до Петрова дня, а я-то, дурак, думал прежде, что уж лучше и умнее Луизы Карловны нет на свете женщины!..

— И посмотри, Ваня, — Мыльников-то говорит мне и, знаете, толкает меня под локоть, — манеры-то какие: развалилась ведь точно княгиня.

Поговоривши эдак с полчаса, встала она и начала рассматривать наши редкости: остановилась против часов, — большущие эдакие бронзовые часы, он привез их из-за границы: две женщины с каждой стороны лежат неглиже, внизу амуры играют, и к ним канделябры свеч об двенадцати каждая, один человек и не поднимет, тысячи две на наши деньги заплатил... Она долго любовалась ими, все кругом осмотрела, да и говорит: «На что, говорит, вам эдакие часы!.. Мне в гостиную, говорит, надобно часы; будьте-ка любезны — подарите их мне». Ну а наш-то, знаете с амбицией, хоть и жалко, да уж ни за что не покажет.

— Извольте, говорит, с большим удовольствием, они завтра же утром будут у вас, — так, знаете, равнодушно, как будто они целковых три стоят.

Показал он ей фарфоровые куклы, тоже навез с собою оттуда, говорит, что редкие, дорогие... Предложил сам — не угодно ли, говорит, выбрать! — Почти что все забрала, ей-богу... уж нам смешно, мы мигаем друг другу, а она ничего — ходит по комнатам, как королева какая, и отбирает, что ей нравится. Верите ли, тысячи на три с лишком разных вещей набрала.

Тут пошло угощенье: мороженое, чай, конфекты... Мы с Мыльниковым сначала оробели маленько, но к концу тоже в разговор вступили, а после ужина Мыльников-то даже расходился. «Позвольте, говорит, вашу ручку поцеловать». Она улыбнулась и ни слова — протянула ему руку; ну уж затем и я решился. «Уж удостойте, я говорю, и меня тем же благоволением», — и мне протянула, и я приложился и смотрю — один пальчик весь в кольцах — и все сотенные: яхонты, брильянты, опалы, жемчуг — я в этих вещах толк-то знаю, — думаю: ах, кабы со всем и с кольцами пальчик-то откусить!..

До двух часов пробыла, а на другой день все вещи, которые выбрала, уложили мы и отправили к ней. Мне уж часов-то больно жалко, остальные-то вещи бог с ними!

Так вот они, эти барыни-то, каковы! Хороши, красивы, а пальца им в рот не клади — откусят-с!

Эта поговорка, кажется, оправдалась над Пивоваровым, потому что, кроме подарков вещами и рысаками, он, говорят, заплатил за Шарлоту Федоровну тысяч пятнадцать рублей серебром долгу; к этому прибавляли еще, что после уплаты долга дверь ее квартиры более не от-

крывалась для него и что Шарлота Федоровна даже отворачивалась при встрече с ним.

Самолюбие внучка миллионера было оскорблено сильно, что можно было заключить из отзывов Ивана Петровича о Шарлоте Федоровне.

— Что, ваш Вася продолжает с нею все в дружбе жить? — спросил его мой товарищ.

— Помилуйте! — воскликнул Иван Петрович, — какое! уж давным-давно все кончено... Мы ее бросили и смотреть-то на нее теперь не хотим. Мы найдем и почище ее. Черт ее возьми совсем! Мы, батюшка Александр Григорьич, охотники, ловцы, а известно, что на ловца и зверь бежит. Да, признаться, пора бы и перестать; побаловали — и полно. Время бы уж своим домком обзавестись, хорошую хозяюшку взять — вот что. Старик-то наш, слышно, уж приискивает ему невесту. Остепениться, говорит, пора малому-то...

V

Семейство моего товарища заключалось в матери и сестре. Отец его, совершивший все земное, то есть достигнувший полного генеральского чина, скончался лет восемь перед этим. Матери его было лет под пятьдесят; она еще тщательно сохранила остатки прежней красоты, не прибегая для поддержания ее ни к каким искусственным средствам. Она принадлежала к тому разряду женщин, которых обыкновенно зовут *благовоспитанными*. Она была всегда одета с приличием и вкусом, не моложе своих лет, но не без некоторого оттенка кокетства, никогда не позволяла себе увлекаться в разговоре и постоянно говорила ровным тоном, не возвышая и не понижая голоса; никогда почти ничего не читала; безусловно подчинялась всем тем светским условиям, воззрениям и обычаям, середи которых она прожила полжизни, и почитала их величайшею мудростию, а уклонение от них ужасною безнравственностию. Впрочем, несмотря на свою наружную холодность, она имела сердце мягкое и доброе и очень любила детей своих. И хотя сын ее беспрестанно противоречил этим условиям и обычаям и никогда не соглашался с ее воззрениями, она поневоле примирялась с ним, убедясь его примером, что можно быть честным и

порядочным человеком совершенно вне этих условий. Он вел себя относительно ее с большою почтительностию, осторожностью и тактом, и избегал случаев раздражать ее противоречием, но иногда в минуту увлечения высказывался против воли — и в таких случаях она, вздыхая, всегда повторяла: «Я удивляюсь, какие у вас нынче странные понятия обо всем!» Это замечание напоминало ему, что он перешел должные границы, и он в таких случаях обыкновенно переменял разговор. Он был бы совершенно счастлив и почти спокоен в семейном быту, если б его не тревожило страшное честолюбие, которое маменька питала за него. Маменьке непременно хотелось, чтобы он сделал блестящую карьеру, получал чины, кресты, придворные звания, чтоб он составил хорошую партию, женился бы на какой-нибудь княжне, графине или по крайней мере на графской или княжеской родственнице — великосветской барышне, а все это не совсем согласовалось с его независимым образом мыслей, прямодушием и отсутствием всякого тщеславия. Отсюда возникали иногда довольно неприятные домашние сцены и объяснения между сыном и матерью. Сестра его была девушка очень умная и с таким твердым и серьезным характером, которые попадаются не часто и образуются в самой неблагоприятной для них среде каким-то чудом. Брат любил ее без памяти и питал к ней большое уважение, несмотря на то, что она была гораздо моложе его, потому что перед ней он чувствовал еще сильнее слабость собственного характера. Она была посредницею между братом и матерью, особенно в минуты честолюбивых припадков последней относительно сына.

Я бывал в этом семействе довольно часто и проводил у них иногда целые вечера, в то время как мой товарищ рыскал по Петербургу. Одна из самых частых посетительниц в их доме была пансионская подруга сестры моего товарища — прелестнейшая девушка, какую я когда-либо встречал в жизни. В этой девушке было столько грации, — не условной, искусственной грации, которая вырабатывается воспитанием, а природной, выходящей из глубины благородной, прекрасной природы, — столько гармонии во всем ее существе, что она вдруг поражала невольно и останавливала всякого, кто видел ее в первый раз. Она была так нежна и легка, что иногда, при поэтическом настроении духа, ее можно было принять за ви-

дение. Белокурые, почти льняные, и пушистые волосы украшали ее головку, черты лица ее отличались не столько правильностию, сколько привлекательностию, которая особенно выражалась в ее темно-серых глазах. Ее стан, рост, нога и рука — все это могло бы служить образцом для художника. Таково было первое впечатление, производимое ею на всех, но странно, когда в нее вглядывались ближе, к нему присоединялось какое-то неопределенное, но грустное чувство, возбуждаемое непрочностию и слабостию этого существа, которое, казалось, не могло ни минуты быть само по себе, без посторонней помощи и поддержки. Она походила на те нежные, тонкие, вьющиеся растения, которые ищут возле себя деревца — и если находят его, то с любовью обвиваются около его стебля и поднимаются до самой его вершины, а если не находят, то расстилаются по земле и глохнут в траве; под защитою этого деревца они не боятся бури, но вянут от одного грубого прикосновения руки человеческой.

Я не мог судить об ее уме, потому что мне не случалось говорить с ней серьезно, и она вообще, кажется, была мало разговорчива, но в самом пустом, обыкновенном разговоре ее было что-то приятное; может быть, причиною этого был звучный, но в то же время тихий, симпатический голос. Я впоследствии видал ее довольно часто — и не слыхал от нее никогда ни одного пошлого слова, но всего сильнее действовала на меня ее улыбка, в которой была неотразимая привлекательность и которая, как луч солнца, вдруг озаряла ее личико. Эта улыбка была полным выражением ее внутренней веселости, которая никогда не доходила до смеха, — по крайней мере я не видел ее смеющуюся вслух. Женский смех — вещь очень серьезная... Смех часто изобличает внутренние качества женщины и степень ее развития. Женский громкий и резкий смех, раздражающий нервы, отталкивает от самой хорошенькой женщины.

При появлении каждого нового незнакомого лица она тотчас, казалось, уходила в себя, до того она была робка и впечатлительна, и если даже кто-нибудь из знакомых обращался к ней в разговоре, она всякий раз как будто внутренно вздрагивала.

Когда я увидел в первый раз эту девушку и еще не знал, кто она, я был убежден, что такое тонкое, изящное

и деликатное существо могло родиться не иначе, как в высших сферах общества, — до того сильны предрассудки, вкоренившиеся в нас с детства. Мне, я должен признаться откровенно, было даже несколько неприятно, когда я узнал, что она дочь купца, и после этого в первые минуты она несколько потеряла для меня свой поэтический колорит; вглядываясь в нее потом внимательно, я старался отыскивать в ней (хотя напрасно) каких-нибудь следов того сословия, к которому принадлежала она.

Сестра моего товарища чувствовала к ней глубокую привязанность и говорила об ней почти с увлечением, хотя вообще увлечение вовсе не было свойственно ее серьезной природе. Товарищ мой часто забывал для нее клубы, театры и своих приятелей и целые вечера, к удивлению всех, просиживал дома... Даже его матушка благосклонно находила, «qu'elle est tout à fait distinguée» [1], хотя мысль, что дочь купца — друг ее дочери, все-таки несколько оскорбляла ее.

Товарищ мой передал мне, что у подруги его сестры в живых только отец-старик, — человек нрава крутого, русский самодур, но очень любящий ее по-своему, и что она богатая и единственная его наследница.

Однажды мы как-то откровенно разговорились об этой замечательной девушке...

— А что, любезный друг, женись-ка на ней, — заметил я, — право, я говорю не шутя.

— Какой вздор! — возразил он, — нет, любезный друг, во-первых, я стар для нее: мне уж тридцать лет; во-вторых — нравиться женщинам я не умею и не могу, да у меня и фигура не такая; а в-третьих — я не так себя поставил, я испортил всю мою жизнь, изуродовал себя — и ни к чему серьезному не способен, а женитьба — вещь очень серьезная. К тому же ты знаешь мою матушку! Из этого могли бы выйти такие семейные сцены и неприятности!.. Она женщина добрая, хорошая, но вся напичкана, к сожалению, барскими предрассудками...

Если бы я был уверен, что я, точно, могу составить ее счастие... но дело в том, что я в этом вовсе не уверен. Как мне ни надоела эта бродячая, цыганская, глупая и пустая жизнь, которую я веду до сих пор, как она ни тяготит меня, как мне ни опротивела вся эта компания,

---

[1] что она вполне благовоспитанна *(франц.)*.

середи которой я провел мою молодость и от которой путного слова не услышишь, а все-таки я еще не совсем отделался от нее и она — я уж это чувствую, положила на меня неизгладимую печать и сделала меня ни на что не годным.

Товарищ мой говорил тоном грустным и желчным и не хотел слушать никаких возражений, но вдруг он расхохотался.

— Мы, впрочем, толкуем ужаснейшие глупости, — сказал он, — ну, скажи пожалуйста, можешь ли ты меня вообразить серьезно женатым. Мне кажется, смешнее этого ничего быть не может. Признайся.

Я должен был сознаться, что это правда.

— То-то и есть! Нет, уж мне, видно, придется остаться холостяком на всю жизнь — и промаячить ее бесполезно и для себя и для других. Если б я вздумал приобрести *подругу жизни,* из этого бы вышло вот что... слушай:

Он начал представлять комическую картину своей семейной жизни — и сам от души заливался над своею остроумною фантазиею...

Прошло с год после этого. Подруга сестры моего товарища посещала ее так же часто, но товарищ мой начал явно удаляться от нее и избегать ее.

Раз как-то мы сговорились ехать куда-то вместе, и я заехал за ним. Я нашел его против обыкновения в мрачном, беспокойном и раздражительном расположении духа.

— Нет, брат, я что-то не расположен ехать... извини меня, — сказал он мне, когда я напомнил ему об нашем визите, — скучно и лень.

Он уничтожал папироску за папироской и почти все молчал, что с ним случалось необыкновенно редко.

— Да что с тобою?.. Ты нездоров? — спросил я.

— Нет, разве я бываю когда-нибудь болен. У меня воловья природа, на меня ничего не действует... Ах, знаешь ли новость? — сказал он после минуты молчания, — Пивоваров женится.

— С чем его и поздравляю. Это, впрочем, меня мало интересует, — возразил я.

— Но как ты думаешь, на ком?

— Почему же я знаю. Ну, например?

— Черт знает, это просто ни на что не похоже! Както верить не хочется — на Ольге Петровне (так звали подругу сестры его).

— Может ли это быть! — вырвалось у меня невольно, — каким же это образом? Что может быть общего между этою девушкою и между этим господином.

— А между тем она будет его женою!.. В самом деле, не безобразно ли это?

— Да неужели ж это правда? Если бы мне это приснилось, я такой сон почел бы самым глупейшим из снов.

— Действительность-то, видно, иногда бывает глупее снов, — возразил мой товарищ, — мне ужасно жаль эту девушку. Неправда ли, жаль ее?

— Но разве уж все решено?

— К несчастию. Старик, ее отец, и дедушка этого противного купчика — старинные приятели. Они, говорят, давно между собою решили это прекрасное дело: соединить со временем свои капиталы посредством этого брака. Ведь ее отец — это закоснелый, упорный мужик, который если заберет какую-нибудь чушь в голову, так ее колом потом из нее не выбьешь.

— Да она-то что же?

— Что ж она? ее и не спрашивали. Ей объявили, когда уж дело было решено. Это твой жених — и кончено. Говорят, она бросилась к отцу, умоляла его, чтоб он отменил свое решение, объявила ему, что она не любит этого господина и никогда любить не будет, а отец затопал ногами, поднял крик. «Дочь, говорит, должна повиноваться отцу, а не рассуждать. Отец лучше знает, что может составить счастье дочери. Еще ты молода, привыкнете друг к другу; после, говорит, слюбитесь», — и прочее в этом роде, как водится, а затем привели жениха, да и благословили их. Страшно, говорят, смотреть на эту бедную девушку! Сестра моя просто в отчаянии, — ты знаешь, как она любит ее. Мы вчера с сестрой имели пренеприятную сцену с матушкой. Она начала уверять нас, что Пивоваров прекрасная партия для нее... что чего же наконец ей нужно! не за князя же ей выйти замуж! что она все-таки купеческая дочь и что Пивоваров — жених, каких немного... что он легко бы мог даже сделать лучшую партию с таким огромным состоянием, какое у него в виду, то есть, что и дворянка могла бы осчастливить его своим согласием на брак!.. Я не выдержал и сказал ей, что так рассуждать, как рассуждает она, бесчеловечно... Тут поднялась буря, посыпалися на меня жалобы, упреки; при этом удобном случае всё вычитали мне, что

я не хочу служить, как следует, веду праздную жизнь, имею знакомства бог знает с какими людьми (ну это-то отчасти правда!), что Перфильев моложе меня, а уж давно камер-юнкером, что я не умею искать ни в ком, и прочее и прочее. В заключение нервический припадок, все это, как следует. Мне-то это, впрочем, все нипочем, с меня как с гуся вода, но мне больно за сестру, она и без того расстроена, да и при таких сценах она всегда страдает больше меня... Что ж, — печально прибавил в заключение мой товарищ, — нападать после этого на грубость и бесчеловечие какого-нибудь разжившегося и разъевшегося мужика, вроде отца Ольги Петровны, когда женщины добрые, считающиеся образованными, и притом *дворянского происхождения* рассуждают не лучше!.. Нет, любезный друг, жить скучно!..

Как будто для окончательного раздражения моего товарища в эту минуту явился к нему Иван Петрович.

— Батюшка, Александр Григорьич, — заговорил он, входя в комнату, — поздравьте нас, на нашей улице праздник, *мы* женимся! Вот будет пир-то горой! И невеста-то какая у нас, — да ведь вы ее знаете, что вам говорить об ней. Фея можно сказать эдакая, только уж слишком эфирна, не мешало бы немножко поплотнее. Теперь у нас в доме такая возня идет — ужасть! Дедушка-то наш дает нам особую половину возле себя в бельэтаже, уж отделывать начали: потолки мы вызолотим, стены шелком обобьем, зеркала до потолка пустим — знай наших! А там наследничка заведем — эдакого махонького. Одной мебели, я вам скажу, мы уж заказали Туру тысяч на пятнадцать, ей-богу. Мне жалко, что часы-то он подарил Шарлоте Федоровне, а эти бы часы в гостиную на марморный камин — славно было бы, — уж таких часов в Петербурге ни за какие деньги не достанешь. И как я рад этой свадьбе, то есть вы не поверите; точно как будто я сам женюсь, ей-богу. Такое веселье пойдет теперь... эти свадебные банкеты, балы... гуляй, душа!

— Убирайтесь вы с вашими банкетами и балами, — вскрикнул мой товарищ с таким презрением и негодованием, какого я никогда не видел в нем. Иван Петрович вытаращил глаза от удивления и даже испугался.

— Веселье! — продолжал мой товарищ, — хорошо веселье, когда невесту потащат под венец силой!.. Если б в вашем глупом, беспутном Василье Прохорыче был хоть

признак сердца, если б у него была хоть капля совести, хоть тень собственного достоинства, он отказался бы от нее. Понимаете ли вы, что брать себе жену насильно — подло!.. Впрочем, и я дурак, что я вам это говорю... (Он разгорячался все более и более) вы не поймете этого, — ни вы, ни ваш Василий Прохорыч; вы бессмысленно радуетесь этому потому, что вы блюдолиз и по случаю этого брака вам представляется лишний раз наесться и напиться!..

Иван Петрович совсем оробел от такой резкой выходки, совершенно неожиданной для него, особенно от такого доброго, кроткого и вечно веселого человека, каков был Александр Григорьич. Иван Петрович переминался с ноги на ногу, посматривал жалобно то на него, то на меня, как будто глотал что-то, и бессвязно бормотал:

— Да нет, помилуйте, Александр Григорьич, я что же... я тут ничем не виноват-с... мое дело — сторона.

Товарищ мой молчал. Иван Петрович повертелся немного, потом начал было рассказывать какое-то новое похождение купеческого сынка Мыльникова, но, заметив, что его не слушают, и почувствовав неловкость, незаметно удалился.

VI

В последние дни перед свадьбою сестра моего товарища почти не оставляла ни на минуту своей подруги. «Я боюсь за нее, — говорила она мне, — она не перенесет этого. Меня пугает ее наружное спокойствие. Она как будто примирилась со своим положением, но это не примирение, а равнодушие отчаяния. Я вздумала было говорить ей обыкновенные утешительные пошлости и уверять ее, что в ее женихе, кажется, есть много хороших сторон, что она своим влиянием на него может со временем развить эти стороны и отвлечь его от дурного общества, в котором он находится, но она остановила меня. «Бога ради! — сказала она, — не говори того, чему ты сама не веришь. Я прошу тебя только об одном: не оставляй меня. Без тебя я с ума сойду!» — и она бросилась ко мне на грудь. «Господи! если бы я могла хоть плакать, прибавила она, мне все-таки было бы легче». Я не выдержала и высказала все ее отцу: но он отвечал

мне на это: «Нет, матушка, вы уж, пожалуйста, не сбивайте ее с толку. Уж это наше дело, все это пустяки, все обладится. Вы уж, сударыня, не беспокойтесь понапрасну».

Накануне свадьбы мы с товарищем моим сговорились вместе ехать в церковь. Он был в числе приглашенных, но не желал воспользоваться этим приглашением. Он хотел присутствовать на этой церемонии не официально, а тайно.

— Это зрелище, — говорил он, — плачевное; но, я сам не знаю отчего, — меня так и тянет посмотреть на него.

В 8 часов вечера мы вошли в церковь. Она была ярко освещена, все свечи в люстре и паникадилах были зажжены, как в дни великих торжеств. От самой паперти тянулся широкий ковер. По обеим сторонам поставлены были перилы, которые отделяли обычных и любопытных свадебных зрителей и зрительниц от приглашенных. На клиросе толпился большой хор певчих в парадных кафтанах с галунами, кистями и откидными рукавами. Жених с своими родственниками и приятелями были уже в церкви и ожидали невесту. Впереди всех стоял старик Пивоваров в сюртуке с гербовыми пуговицами, во всех медалях и орденах, в белом галстуке и в белых лайковых перчатках, которые надевал он, может быть, раз пять или шесть в своей жизни, в самые торжественные случаи. Лицо его сияло удовольствием. Через несколько минут должна была осуществиться самая любимая мечта его. Он разговаривал с каким-то генералом в золотых галунах, в ленте и с двумя звездами.

Жених в белом галстуке с большим бантом, в белом жилете, на котором блестела цепочка с кучею брелоков, и в палевых[1] перчатках, безукоризненно обтягивавших его руки, разговаривал с своими приятелями: Иваном Петровичем и купеческим сынком Мыльниковым, который стоял неподвижно, улыбаясь, и с трудом поворачивал свою завитую голову в сторону, боясь, вероятно, измять свои брыжжи; жид-фактор, по своему обыкновению, выставлял голову вперед, скалил зубы и беспрестанно поворачивал голову из стороны в сторону, как бы обнюхивая носом кругом себя; Иван Петрович с умилением поглядывал то на дедушку, то на внучка, то на генерала

---

[1] светло-желтых (от *франц.* paille).

в ленте; на последнего с чувством благоговейного удовольствия, как будто, глядя на него, он думал: «Знай наших! вот какие у нас приятели!»

Вдруг во всей толпе, наполнявшей церковь, обнаружилось движение, все головы обернулись к дверям, пронесся всеобщий шепот: «Невеста! невеста!» — и хор грянул концерт. Товарищ мой вздрогнул и поднялся на цыпочки, чтоб лучше видеть...

Я увидел невесту в ту минуту, когда она уже стояла рядом с женихом. Перед этим я давно не видал ее. Мне показалось, что она несколько похудела. Вглядываясь в нее пристально, я заметил, что она стояла совершенно без всякого движения, что даже ни один мускул на лице ее не шевелился и веки были полуопущены, точно как будто она замерла в таком положении.

— Посмотрите-ка, Пелагея Ивановна, — говорила сзади меня какая-то барыня, толкая под руку другую, — что это такое: в невесте-то ни кровинки, точно как не живая стоит, ей-богу.

— Да, да! а жених-то очень не дурен, очень! — возразила Пелагея Ивановна, — ведь миллионщики, говорят, и он и она.

— Уж это всегда так, матушка, богатые к богатым и льнут...

— А посмотрите, посмотрите, что это жених-то как будто пошатывается! — перебила Пелагея Ивановна.

Я взглянул на него, и мне точно показалось, что он... не то, чтобы пошатывался, а в корпусе его обнаруживались по временам какие-то неестественные движения, и лицо его было как-то уж очень красно, составляя решительный контраст с лицом его невесты. В эту минуту Иван Петрович, стоявший впереди нас за перилами, обратился к какому-то господину, стоявшему с ним рядом, и, улыбаясь, сказал:

— А ведь *наш* немножко... того, — и при этом он щелкнул по своему белому галстуку, — он, знаешь, перед самым отъездом для куражу один хватил целую *сулеечку*.

— Что ты?

— Ей-богу, — подтвердил Иван Петрович, — нельзя же, надо, знаешь, кровь привести в движение: ведь сегодня нам трудов-то будет много!

И они оба засмеялись.

— Вот уж это свадьба, так свадьба! — начала сзади меня Пелагея Ивановна, — какие певчие — чудо! а у дьякона-то какой голос!

Действительно, дьякон был замечательный! по крайней мере мне не удавалось слышать такого. Его глухой и густой бас гремел, как раскаты грома, под церковными сводами и, казалось, заставлял дребезжать стекла в оконных рамах. Протопоп благочестивой наружности с клинообразною седой бородкой, напротив, имел голос мягкий, нежный и едва слышный... Их блестящие ризы, яркое освещение церкви, хор нарядных певчих, генералы в блестящих мундирах, с лентами через плечо, купчихи, усыпанные брильянтами, все способствовало благолепию, блеску и торжественности бракосочетания.

Когда таинство совершилось, протопоп произнес краткое красноречивое поучительное слово к молодым, и затем начались поздравления, поцелуи и прочее.

Наблюдательная Пелагея Ивановна, все время не спускавшая глаз с молодых, вскрикнула в ту минуту, когда начались поздравления:

— Ах ты господи! Посмотрите, что это молодой-то как будто дурно... видите, видите, ее поддерживает эта барышня.

В самом деле ее поддерживала сестра моего товарища.

Толпа любопытных бросилась к церковной паперти, чтобы поближе взглянуть на молодых, когда они будут садиться в карету. Товарищ мой схватил меня на руку...

— Ну, довольно! — сказал он, — поедем ко мне чай пить...

Мы едва продрались сквозь толпу...

Чай уже давно стоял перед нами; товарищ мой ходил по комнате: я лежал на диване и курил сигару. Оба мы были в каком-то тяжелом раздумье и не произнесли еще ни одного слова.

Наконец товарищ мой остановился передо мною.

— Если подумаешь, как глупа наша жизнь, — сказал он, — так, право, сделается страшно!.. Вот, например, возьми хоть мою жизнь... Что это такое? Я до сих пор был совершенно слепцом, ничего не понимал и не видел, что делается передо мною, никакая серьезная человеческая мысль не приходила мне в голову, я никогда не задумывался ни о самом себе, ни о чем, окружавшем меня, — ел, пил и шутил, полжизни! А ведь я не дурак,

имею кое-какое образование, мог бы быть на что-нибудь годным, — но полжизни бессмысленно и бессознательно протолкался на свете, бесполезно для самого себя и для других... чтобы заслужить от пошлых дураков лестное название *доброго малого, славного товарища,* — это ведь ужасно!.. Я наконец дошел до того, что отупел совершенно, и нахожу удовольствие в обществе шутов, подобных Ивану Петровичу, я считаю его добрым малым, точно так же, как и он меня в свою очередь; между нами начинает рождаться даже некоторого рода симпатия. Вася Пивоваров считает меня почти *своим,* я в этом убежден... да что Пивоваров?.. Разве мой друг Ртищев и тому подобные лучше его? Разве какой-нибудь великосветский, утонченный шут, пресмыкающийся и расстилающийся перед всяким внешним величием и перед всякою силою, сам доползший до богатства и почестей лестью и шуточками, лучше чем-нибудь купеческого грубого шута и блюдолиза Ивана Петровича? И мне совестно, что я последний раз оскорбил его, он ведь все-таки беззащитный!.. конечно, он гадок и подл, но он не чувствует этого, а я это вижу ясно — и пускаю его к себе для своей забавы! Какое же имею право оскорблять его? Нет! с каждым днем, с каждой минутой я более путаюсь в этой жизни, и мне становится тяжелее... Я во что бы то ни стало разом перерву все мои прежние связи и все эти трактирные и другие нелепые знакомства. Я уж одержал победу над собою, — поздравь меня, — я не велел пускать к себе Ивана Петровича и еще некоторых господ гораздо повыше его... Глядя сегодня на этих тупых, бессмысленных и толстых женщин с брильянтами и с черными зубами; на этих бородатых самодуров, налитых чаем; на этого расфранченного жениха, полупьяного дикаря в костюме английского денди и представляя себе будущую картину его супружеской жизни и страданий, ожидающих эту несчастную женщину, я задыхался от негодования... Ведь очень нужно было ей родиться в такой среде! Впрочем, знаешь что?.. рассуждая хладнокровно, может быть, и в других средах участь ее была бы не легче. Много ли бы она выиграла оттого, если бы родилась княжною и должна бы была сделаться, например, женою какого-нибудь князя Ртищева?.. Такие явления, как она, у нас исключения, а всякое исключение, все, что выходит из обыкновенного по-

рядка вещей, — обречено на гибель. Ну, способны ли мы, — скажи по совести, — ценить эти редкие, утонченные женские натуры: ведь мы, со студенческих скамеек прямо, очертя голову, бросаемся в грязь жизни и потом по горло тонем в ней, пресыщаясь всевозможными и даже невозможными наслаждениями; мы — люди, рождающиеся в довольстве и в обеспечении, не привыкшие ни к каким заботам, ни к каким лишениям, не испытавшие никогда, что такое нужда, имеющие возможность удовлетворять всем нашим прихотям — делаемся, как «плод до времени созрелый», ни на что не годными, нравственно растленными внутри... Мы нападаем на Пивоварова, а, в сущности, чем Пивоваров хуже какого-нибудь сынка или внучка миллионера с великолепными титлами и гербами? И тот и другой одинаково подвергаются порче еще с отроческого возраста и представляют потом примеры возмутительной пустоты и беспутства. У того и другого с ранних лет образуется маленький двор из различных шутов, льстецов и угодников... Разница между ними та, что один — пустой и беспутный господин так называемого *хорошего тона,* а другой — дурного тона, и мы, язвительно нападая на последнего, защищаем первого потому только, что он пуст, беспутен и развратен по всем правилам какого-то нелепого, условного comme il faut. Хороши мы, нечего сказать!.. Le bon ton, la vie élegante![1] Видал я вблизи эту элегантную жизнь, — славная жизнь, нечего сказать!.. Татарская дикость одинаково скрывается и под элегантными формами какого-нибудь князька-миллионера и под франтовским костюмом Пивоварова или купеческого сынка Мыльникова, — только у последних она уже слишком резко бросается в глаза.

Товарищ мой был очень раздражен, и потому я не противоречил ему, да, признаюсь, и противоречить-то было нечему.

— Во всех классах общества, конечно, есть люди хорошие, — продолжал он, — но если у нас встречаются люди в полном и благородном значении этого слова — с значением, с убеждением, с мыслию, — серьезные, дельные, самостоятельные люди, так они выходят из тех бедных классов, которые каждый шаг в жизни, чуть не с колыбели, принуждены брать с бою... А от нас ждать,

---

[1] хороший тон, элегантная жизнь! *(франц.)*

кажется, нечего... Впрочем, я решился сделать последнюю попытку над собою: победить в себе лень, побороть пустоту и заставить себя заняться чем-нибудь серьезно. Мне давно предлагают такого рода место, на котором я могу быть, кажется, полезен. И теперь мне ничего более не остается, как отдать всего себя служебной деятельности. Что из этого выйдет, я не знаю, — но попробую... Как ты думаешь? — спросил он меня после минуты молчания.

— Это прекрасно, — отвечал я, — попробуй. Надобно же испытать самого себя. Сложить руки и целый век стонать о своем бессилии, о своей неспособности — глупо и стыдно.

— Решено! С этой минуты я перерождаюсь!.. — произнес он с увлечением, — ты не поверишь, как иногда мне мучительно хочется дела, я ищу его — и оно, как клад, мне не дается, да если бы и далось, то в первое время я еще, мне кажется, не знал бы, как за него взяться. Все-таки надобно воспользоваться первым предстоящим случаем, а этот случай — именно место, которое предлагают мне.

Таким образом толкуя, мы просидели далеко за полночь. Товарищ мой несколько развеселился и, как человек увлекающийся, очень много фантазировал о предстоящей ему служебной деятельности.

Когда я уходил от него, он, провожая меня и улыбаясь, с грустным и горьким юмором, сказал:

— Ты скоро не узнаешь меня. Я в самом деле превращусь если не в дельного и серьезного человека, то в дельного и серьезного чиновника!.. А Ольга-то Петровна?.. — прибавил он через минуту, качая головою, — она уж жена Пивоварова!.. Черт знает, к этой мысли нет возможности привыкнуть!.. Ну прощай, до свидания...

Он как-то быстро и круто повернулся и захлопнул дверью.

VII

Первое время после женитьбы я очень часто видел Пивоварова в ложе итальянской оперы, и всякий раз в этой ложе появлялся князь Ртищев и просиживал там очень долго. Хозяин ложи предоставлял ему обыкновенно место впереди возле своей жены, а сам садился сзади,

очень довольный тем, что весь Петербург видит, как он близок с князем. Об этой близости его с князем Петербург, точно, начинал поговаривать очень громко. Разные значительные лица при встрече с князем, благосклонно улыбаясь, спрашивали его:

— Ну что, любезный друг, как дела идут — хорошо? — и князь, почтительно наклонив голову, как будто не понимая вопроса, возражал улыбаясь:

— Какие дела? — стараясь смягчить несколько свой густой бас перед значительными лицами.

— Еще прикидывается! — замечали благосклонно значительные лица, — а! каков?.. А вот мы насплетничаем на тебя твоей жене...

Я забыл сказать, что князь уже давно был женат и даже был отец семейства.

— Не беспокойся, любезный друг, — продолжали значительные лица, — мы постараемся быть скромными, а у тебя вкус не дурен, надо отдать тебе справедливость. C'est une très jolie femme et tout a fait distinguée...[1] Откуда взялась этакая из купчих! это странно!..

Однажды я сидел в опере рядом с моим товарищем. Впереди нас вертелся в антракте изнеженный офицерик-фат, тот самый, с которым мы обедали некогда в ресторане. Он разговаривал с каким-то штатским фатом.

— Une jolie personne![2] — говорил ломаясь штатский, смотря в бинокль на ложу Пивоварова, — кто это такая?

— Где? — спросил офицерик.

— Вот эта дама, в ложе у которой князь Ртищев.

— А-а!.. как будто ты не знаешь? Это жена Пивоварова. Ртищев в связи с нею: это уж весь город знает.

Товарищ мой побледнел.

— Я тебе не советую повторять этого, — сказал он, обращаясь к офицерику, — это ложь самая глупая, нелепая и бесстыдная, и если бы я услышал это от самого Ртищева, я и ему сказал бы, что он лжец и хвастун. Во всяком случае, распространять мерзкие городские сплетни и позорить женщину — неблагородно.

— Mais pardon, pardon[3], — забормотал офицер, — я говорю то, что все, может быть, это и несправедливо, но...

---

[1] Очень хорошенькая женщина *(франц.)*.
[2] Хорошенькая! *(франц.)*
[3] Ах извините, виноват *(франц.)*.

— Но, — перебил мой товарищ, — я этого не позволю никому говорить при мне, потому что я знаю эту женщину и вполне убежден, что это клевета.

Смущенный офицерик повертелся, пробормотал еще несколько pardon и удалился.

— Скажите пожалуйста, что это сделалось с Сашей? — сказал он мне, останавливая меня при выходе из театра, — из веселого, доброго малого он превратился в какого-то мрачного чудака, избегает порядочного общества, удаляется от всех нас, придирается к каждому слову, говорит неприятные вещи... Вы понимаете, что если бы не наша старая связь, не эта короткость, которая всегда существовала между нами, — я не позволил бы ему говорить мне так резко и еще при других! Я ему прощаю только потому, что я все-таки люблю его, что он наш старый приятель... Вы понимаете...

— Понимаю, — отвечал я, — «нет, ты простил бы всякому, любезный друг, — подумал я, — потому что ты жалкий, изнеженный франт и трус...»

Впрочем, не один этот офицер, а многие из прежних приятелей моего товарища начинали отзываться об нем неблагосклонно. Из этого я заключил, что он не шутя начинает делаться серьезнее. Он занял то место, о котором говорил мне, и отдался своему новому служебному поприщу с жаром и увлечением, по сознанию самых дельных из своих сослуживцев. К изумлению не только своих прежних приятелей, но вообще всех обычных посетителей публичных увеселений, между которыми он пользовался большою популярностью, он перестал появляться в театрах, в маскарадах, в ресторанах и на увеселительных сходбищах. Сожаление и удивление его прежних приятелей скоро перешло в равнодушие и наконец почти в презренье к нему. «Он сделался совсем чиновником», — говорили об нем эти господа с гримасой.

Толки о жене внука миллионера и о князе Ртищеве скоро прекратились, потому что князь вдруг неизвестно почему перестал ездить к Пивоваровым. Так как жизнь нашего общества состоит по большей части из самых мелких интересов и сплетен, то всякое мельчайшее происшествие с известным лицом становится в преувеличенных размерах общим достоянием и предается различным толкованиям: одни говорили, что князь Ртищев перестал волочиться за женою Пивоварова, потому что она ему

надоела; другие, напротив, уверяли, что он удалился от нее потому, что потерял терпение и всякую надежду на успех...

Говорят, что первый год внучек миллионера держал себя относительно своей жены довольно прилично, отчасти потому, что о красоте ее прокричали во всех слоях петербургского общества, — следовательно, она удовлетворяла его тщеславию; отчасти потому, что дедушка объявил ему решительно, что если женатым он не станет вести себя, как следует, и по-прежнему будет предаваться *дебоширству*, то он лишит его наследства.

Но дедушка через полтора года после бракосочетания внука скончался, а вскоре за ним последовал и тесть молодого Пивоварова — отец Ольги Петровны. Василий Прохорыч сделался полным властелином миллионов, которые так давно издалека улыбались ему, и, кроме того, жена его получила, как говорили, после отца до миллиона.

Долго после этого слухи о богатстве Пивоварова, по обыкновению в размерах преувеличенных и колоссальных, занимали любознательные петербургские умы. Имя его сделалось известно всем в Петербурге от самого знатного сановника до самого бедного чиновника. При встрече с ним многие невольно останавливались и с любопытством, как чудо, рассматривали его с ног до головы. Василий Прохорыч при этом подавал постоянную пищу праздным петербургским умам, которые сочиняли об нем удивительные анекдоты и даже целые легенды, содержания совершенно баснословного...

Василий Прохорыч, после смерти дедушки, начал с того, что разломал его старинный дом, прикупил к нему место за большие деньги и возвел огромное здание с кариатидами, статуями, вазами, гирляндами и другими архитектурными украшениями, во вкусе Растрелли; вставил в оконные рамы цельные зеркальные стекла; меблировал внутри с неслыханною роскошью: наставил на мраморные подоконники у каждого окна бананов и других тропических растений, везде пустил шелки, бархаты, тюли; не пощадил мрамора, бронзы и, наконец, чтобы ни в чем не уступить своему сопернику по богатству Мавроконаки, развесил на всех стенах картины известных современных живописцев в дорогих резных рамах, несмотря на то, что к живописи не чувствовал ни малейшего

расположения. Картины свои он приобрел оригинально. Он приехал однажды к Нигри — известному в Петербурге продавцу картин и других художественных вещей (Нигри сам потом с глубоким чувством благодарности, смешанным с иронию, рассказывал мне об этом).

— Ну, говорит, мосье Нигри, мне нужны для моего нового дома самые лучшие картины первых иностранных мастеров и побольше; если у вас, говорит, не достанет, так вы мне их выпишите. Я денег не пожалею, только лишь бы были самые лучшие. Я полагаюсь вполне на вас.

Нигри привез ему до тридцати картин Кукуков, Каламов, Маду, Рокепланов, Декан и других самых громких имен между современными французскими и бельгийскими живописцами.

— Извольте, говорит, выбирать: это все *шедевры.*

Картины расставили в большой бальной зале.

Василий Прохорыч прошелся по зале, бросил беглый взгляд на картины и потом обратился к Нигри.

— Славные, говорит, картины, а что, видел ли их Мавроконаки?

— Как же! Он мне за одного Калама давал пять тысяч рублей, да я ему сказал, что эти картины выписаны для вас...

— Гм!.. — Василий Прохорыч приятно улыбнулся. — Ну, а сколько они все стоят? Говорите только крайнюю цену.

— Шестьдесят пять тысяч, — отвечал Нигри, призадумавшись немного, — и то только в таком случае, если вы купите разом все.

— Уступите, говорит, что-нибудь.

— Тысячу рублей я, пожалуй, уступлю для вас, но более ни копейки.

— Ну так, говорит, по рукам, мосье Нигри. Картины все за мною.

И затем он повел Нигри в свой кабинет и отсчитал ему 64 000.

— Я, — прибавил мне Нигри в заключение, — больше тридцати лет торгую картинами, но такой случай со мной был первый раз в моей жизни. На такую сумму вдруг не всегда в жизни удастся продать. Когда он сказал мне, что он оставляет все картины за собою, у меня дрожь пробежала по телу, а когда он вынул деньги, так у меня

даже в глазах помутилось. Вот каков господин Пивоваров! Это редкий, великодушный человек!..

При этом рассказе в глазах г. Нигри дрожали слезы — и не мудрено.

Второй подвиг Пивоварова был — приобретение дачи, принадлежащей князю N. Устройство этой дачи стоило ему также огромных денег. Его оранжереи, сады и парки приводили в свое время в справедливое изумление весь Петербург.

Тщеславие миллионера разрасталось все более и более. Он, говорят, скупал у портных целые груды модных материй для себя, чтобы ни у кого в Петербурге не было таких платьев, панталон и жилетов, как у него; подковывал рысаков своих серебряными подковами; угощал зимой свежими ягодами и другими редкостями военных и статских генералов, которые, объедаясь на его обедах, смотрели на него с чувством глубочайшей признательности и умиления и после обеда за ликерами, забывая свое величие и свой сан, прижимали его к своей сияющей груди с отцовскою нежностию.

— Вот человек, который умеет пользоваться своим богатством, — говорили они.

Но на этих банкетах с генералами, льстивших его тщеславию, он не мог развертываться вполне; они даже несколько утомляли и тяготили его... и он отдыхал от них по вечерам в обществе людей своих, близких, к которым неизменно принадлежали: Иван Петрович, купеческий сынок Мыльников, жид-фактор, биржевой маклер и к которым вновь присоединились: актер, воспевавший его в застольных куплетах, и капельмейстер какого-то театра, посвящавший ему свои кадрили и польки. На этих задушевных сборищах выпивалось несметное количество так называемых *сулеечек,* и русский широкий разгул доходил до последних пределов. Все задушевные приятели Василия Прохорыча не терпели его жены и даже до некоторой степени боялись ее, — вероятно потому, что она держала себя от них далеко и обращалась с ними холодно, чувствуя, в свою очередь, некоторую боязнь к ним. Почетные гости Василия Прохорыча — военные и штатские генералы — не обнаруживали также к ней большого расположения. Они отзывались об ней как об женщине сухой и холодной. И сам Василий Прохорыч явно начинал ощущать при ней какую-то неловкость; она стесняла его

порывы и невольно останавливала его размашистость. От этого он старался держать себя как можно подальше от нее. Все это можно было безошибочно вывести из различных толков и слухов, особенно же из слов Ивана Петровича, который всякий раз при встрече со мною считал необходимым подходить ко мне и заводить со мною беседу.

— Наша Ольга Петровна, — говорил он, — прекрасная дама, только уж такая серьезная, строгая, что боже упаси! У, какая бедовая! Ни шуточкой ее не рассмешишь и никаким эдаким манером к ней не подъедешь. Такая, знаете, *не тронь меня,* и неразговорчивая: все больше любит уединение и книжки читает. А уж насчет того, чтобы эдак расположение кому обнаружить глазками или улыбкой — куда!.. На что князь Ртищев уж молодец! он, как знаете, подъезжал к *нам,* — да нет, с тем и отъехал: Взятки-то с нас гладки! Такая, я вам скажу, добродетель, что в нашем сословии, то есть в богатом купечестве, — я уж их всех голубушек-то знаю! — такой еще, кажется, и не бывало. Ей-богу! Точно, есть такие, что очень важно и строго себя держат, — а против какого-нибудь князя с аксельбантами да с саблей ни одна уж, я вам доложу, не устоит... Что и говорить: Ольга Петровна — это редкостная дама!.. Что касается до добродетели, то такую другую, конечно, и днем с огнем не отыщешь, только уж никакой веселости, точно как в воду опущенная: ничто ее не занимает, на все смотрит — на дорогие тысячные вещи, как на грошовые, и ласки ни за что не дождешься от ней, а вы сами изволите знать, что ласковая телятка две матки сосет. Нашему-то натурально и хочется иногда, чтобы она приласкала его. Привезет он ей какую-нибудь шаль, тысяч в пять серебром, или эдакий эсклаваж какой-нибудь, который горит, как солнце, — хоть бы когда-нибудь за щеку, что ли, потрепала его или поцеловала, сказала бы: «Мерси, душка!» — ни за что, все твердит одно и то же: «Зачем мне это? На что это мне?» Ну это уж, как хотите, обидно: таким обращением, воля ваша, не привяжешь к себе. Не мудрено после этого, если мы будем и на сторонку поглядывать: да другим домком заживем-с. За это и винить нас нельзя будет... Да вот хоть бы, примерно, мы хотели балы давать, — ведь эдакой домище, залы какие, само собой разумеется, что хочется щегольнуть ими: зимний сад осветили бы, фонтаны пу-

стили бы, — весь Петербург ахнул бы, да нет-с, куда!.. Ольга Петровна и слышать не хочет, а ведь без хозяйки какой же бал! И на наши званые-то обеды она выходит как будто нехотя, из одного только приличия, а не то чтобы занять гостей, обласкать, полюбезничать, как следует хозяйке, а гости-то какие, господи! первейший генералитет, звезд-то у нас за обедами, как в темную ночь на небе... Мыльников — тот иногда, знаете, спросту брякнет, — так он раз сказал про нее: не в коня, говорит, корм. И дамы наши тоже ее не жалуют, никуда ведь ездить не хочет, только и дружбу ведет, что с сестрицей Александра Григорьича... Я, впрочем, очень уважаю Ольгу Петровну — прекраснейшая дама, умная, добрая такая, а уж это, видно, такой характер...

Каждый раз Иван Петрович заводил, между прочим, речь об моем товарище.

— Как их здоровье? — спрашивал он, — давно не имел счастия их видеть, их теперь никогда и застать нельзя. Сделались важными, деловыми людьми: в министры смотрят, — так уж нашему брату разве только издалека на них посмотреть можно!..

VIII

После смерти дедушки внук миллионера совсем почти не появлялся в публику с своею женою. Он на театрах и на гуляньях был постоянно с Иваном Петровичем, который поотек, постарел и поседел несколько, но оставался по-прежнему шутником и забавником. Василий Прохорыч также заметно изменился. Он значительно пополнел, и в лице его обнаружилась какая-то не совсем приятная пухлость и краснота. Он был одним из самых ревностных посетителей балета и сидел обыкновенно с Иваном Петровичем в первом ряду на абонированных креслах, изредка только, вероятно для разнообразия, появляясь в литерной ложе вместе с своей обычной компанией — и тогда из этой ложи раздавались громы рукоплесканий одной из хорошеньких корифеек, и к ногам ее сыпались дорогие букеты. Когда мне случалось бывать в балете, я заметил, что всех больше выходил из себя, кричал и аплодировал при ее появлении на сцену Иван Петрович и жид-фактор.

Так прошло года два...

На петербургской сцене, предшествуемая громкой репутацией, появилась танцовщица уже не первой легкости и молодости, но с роскошными, пластическими формами и с остатками грации, которой несколько вредила излишняя полнота. Несмотря на все ухищрения, принятые против нее поклонниками юных отечественных талантов, — приезжая танцовщица имела успех блистательный и заняла светские петербургские умы по крайней мере недели на две. Ее окружали все известные в Петербурге любители хореографического искусства и пластических форм — и один из почетных петербургских старцев, почтенный семидесятилетний театрал, раздававший венки славы всем наездницам, актрисам и танцовщицам, торжественно объявил, что если она не выше Тальони и Эльслер, то в своем роде не уступит ни одной из них; что она соединяет в себе легкость и грацию Тальони с выразительною мимикой и пластичностию Эльслер. Почтенный старец-театрал составил около себя клику из горячих молодых людей, неутомимых крикунов и хлопальщиков, и руководил ими. Приезжая танцовщица без поддержки почтенного старца не могла бы, конечно, иметь такого блистательного успеха, она знала это и награждала его самым кокетливым вниманием и ласкала своей пухлой, белой ручкой с драгоценными кольцами на пальце его морщинистые щеки, — а он, глядя на нее, замирал от умиления, отчего нижняя губа его почти совсем отваливалась...

Во главе ее поклонников, во второй же ее дебют, явился внучек миллионера в литерной ложе со всей своей компанией и с возом букетов. Корифейке, которую он протежировал, нанесен был в этот вечер удар неожиданный и страшный. Она вертелась, прыгала и делала пируэты, так что пот градом катился с ее личика, и в заключение подскакивала к рампе и, останавливаясь перед нею, тщетно улыбалась благосклонной публике, вызывая этой милой улыбкой ее одобрения... ни одного звука, похожего на аплодисмент, не раздалось в этом бесчувственном партере, который еще с неделю назад тому восторженно приветствовал ее появления. Бедная девочка в тоскливом предчувствии чего-то недоброго, выправляя носки за кулисами, залилась горячими слезами.

Но когда во втором акте балета приезжая танцовщица, в три прыжка перелетев сцену, закружилась у рампы и потом упала на руки танцора, подняв очень высоко пра-

вую ножку и приняв неописанно-грациозную и соблазнительную позу; когда гром рукоплесканий раздался по зале, а из литерной ложи раздались дикие неистовые крики: Brava! Brava!.. — и посылались на сцену гирлянды и букеты, которые, казалось, готовы были затопить сцену, как во время Неронова пиршества, описанного г. Меем, и изумленные зрители обратились к цветочной ложе, несчастная корифейка, видевшая все это, поняла, что участь ее решена, и чуть не упала в обморок.

В следующем затем антракте Василий Прохорыч в белом галстуке, самодовольный и гордый, появился в партере... Почетный и почтенный старец-театрал с глубоким чувством пожал ему руку, назвал его *просвещенным любителем благородного хореографического искусства* и заметил, что этот вечер навсегда останется памятным в *театральных летописях.*

После этого он даже удостоил пригласить Василия Прохорыча к себе на обед в честь приезжей знаменитости.

Обед этот мог назваться баснословным по роскоши. При окончании его, провозгласив тост приезжей знаменитости, маститый хозяин-театрал торжественно преклонил перед нею свои старческие, трудно сгибавшиеся колена...

С этого дня почетный старец принял внука миллионера под свое высокое покровительство, и вскоре затем пронесся в городе слух, что внук миллионера нанял для приезжей знаменитости квартиру в одной из лучших частей города и великолепно меблировал ее. Приезжая знаменитость начала появляться на Невском проспекте в ослепительном блеске и в поражающей роскоши, что отчасти еще более способствовало ее сценическим успехам! Безусые офицеры и штатские франты начали сходить от нее с ума и всякий раз провожали ее на театральном подъезде, после представления, с криками, и когда однажды, тронутая таким энтузиазмом своих поклонников, она бросила им из кареты свой платок, они растерзали его на части, чтобы иметь каждому хоть по маленькому лоскуточку этой драгоценности, и носили его потом на груди, зашив в ладанку. Близкие сношения внука миллионера с приезжею знаменитостию возвысили его значительно в глазах многих петербургских господ; те, которые прежде не хотели смотреть на него, начали даже заискивать его знакомство... Это была самая блестящая минута его жизни; но в то время как нравственный

кредит его поднялся до такой высоты, его денежный кредит начинал пошатываться. Со смерти своего дедушки он почти прекратил все коммерческие дела и, как носились слухи, значительно тронул свои капиталы: на покупку домов и дач, на постройку новых зданий, меблировку и прочее, и прочее; при этом говорили, что перед своими короткими сношениями с приезжею знаменитостию он должен был внести предварительно на ее имя в какое-то кредитное учреждение до 300 000 р. серебром.

Приезжая знаменитость, как оказалось впоследствии, отличалась твердостию, настойчивостию и необыкновенною жадностию к деньгам и брильянтам. Она в домашней своей жизни была настоящая «Катарина, дочь разбойника» и не имела ничего общего с Сильфидами, Ундинами, Жизелями и со всеми этими восхитительными воздушными и идеальными существами, которых она так прекрасно олицетворяла на сцене. Положительность и расчетливость руководила всеми ее поступками в жизни. Она выписала из-за границы мать, двух братьев, которых пристроила в цирк, и еще какого-то француза-*кузена,* молодого и рослого малого, с курчавыми, густыми волосами, с большими усами, с самодовольными и вполне беззастенчивыми манерами, которому она отделила две комнаты в своей квартире... Вся эта орда содержалась, разумеется, на счет Василия Прохорыча, а у кузена завелись даже собственные экипажи.

Кузен, говорят, производил очень неприятное впечатление на Василия Прохорыча. Его свободное обращение с кузиной возбуждало в Василье Прохорыче чувство ревности — и он однажды решился требовать, чтобы кузена отправили назад за границу, но это требование возбудило такую страшную бурю, после которой он уж окончательно и безусловно притих и подчинился новоприезжей знаменитости, убедясь, что с знаменитостями нельзя обращаться, как с обыкновенными женщинами, с какими-нибудь Луизами, корифейками и им подобными.

Уверяли, что во время этой бури разбит был, между прочим, вдребезги превосходный севрский сервиз, стоивший рублей семьсот, который был поднесен Василием Прохорычем приезжей знаменитости в день ее рождения.

— Вы думаете, что я дорожу этой дрянью, которую вы дарите мне? — кричала она, приняв угрожающую, трагическую позу...

И при этом драгоценный сервиз вместе со столиком из розового дерева, с фарфоровыми медальонами во вкусе Буше, полетел с громом к ногам несчастного обожателя, и черепки Севра разлетелись по всей комнате...

— Vous êtes un barbare! un monstre! un cosaque!..[1] Я не могу жить с вами более ни минуты... Я не хочу более видеть вас, — и прочее.

Василий Прохорыч при мысли, что приезжая знаменитость бросит его, совершенно потерялся и упал перед нею на колени, вымаливая прощение за свои дерзкие слова; но прощение последовало только тогда, когда поднесены были новые дорогие сюрпризы и подарки. И такие сцены повторялись беспрестанно... Братья приезжей знаменитости — также знаменитый эквилибрист и клоун и не менее знаменитый наездник, рассыпавшие в разговоре через слово: Fichtre, parbleu, morbleu, diantre[2] и другие, еще более энергические, восклицания, вместе с кузеном распоряжались самовластно в доме своей родственницы: угощали своих приятелей обедами и ужинами, распивали шампанское с утра до ночи, метали ланскене, до которого сама знаменитость была величайшая охотница, и, кроме всего, еще обыгрывали Василия Прохорыча на значительные суммы...

Один из старинных знакомых Василия Прохорыча, известный петербургский аферист и ростовщик, родившийся, если я не ошибаюсь, от молдавана и мордовки, что-то вроде этого, с необыкновенным добродушием рассказывал однажды при мне на русском языке, с каким-то странным акцентом, о том, как он угощал у себя обедом приезжую знаменитость с братцами и Василия Прохорыча. Я передам только одну сущность этого неподражаемого рассказа.

— Василий Прохорыч, говорю я им (и во все время рассказа ростовщик улыбался с хитростию и изредка подмигивал одним глазом) — мне бы очень хотелось угостить вашу даму. Приятная дама. Ух, какой глаз, а как ножками работает — боже мой!.. Если б она сделала мне такую честь, я счастливейший в мире был бы человек!.. А мне ее, видите, больно хотелось заманить, потому что вот какое обстоятельство: Василий Прохорыч привел

---

[1] Вы варвар! чудовище! казак! *(франц.)*

[2] черт возьми *(франц.)*.

меня к ней, отрекомендовал, я к ручке подошел и обедал у нее — все как следует. После обеда она подходит ко мне — тонкий эдакий взгляд, показывает на карты и спрашивает меня: мусье, говорит, будете в ланскенехт играть? Думаю, нельзя же отказаться. Первый раз в доме, неловко, и такая барыня приятная. — Я говорю: «Буду, буду, мадам». А она мне на это по-русски: «Это корошо, корошо!» — И сели мы... Метали ихные братцы, молодцы такие на всякие фокусы... я все вижу, молчу, неловко же мне, первый раз в доме. Делать нечего, проиграл двести рублей, вынул и заплатил. Но я сам себе не враг, я наверстаю эти деньги, думаю себе, — они не пропадут. Я и позвал к себе откушать всю компанию, обед мне стоил триста рублей, вот и приметьте, стало быть, эта барыня стоила мне всего пятьсот рублей. После обеда я подхожу к ней, да и говорю так же, как она мне у себя дома: «Мадам, я говорю, будете в ланскенехт?» — и высыпал на стол всё золотые, такие новенькие, блестят. «Корошо, мосье, говорит, корошо», — а у самой глаз на золото так и разгорелся... И все с охотой уселись к столу... Я и начал метать, а я, вот видите, хоть и не умею по-ихнему фокусы делать, а своим манером делаю чисто, *сансы* уж все на моей стороне, я это знаю заранее. Барыня всё проигрывает и горячится и куши надбавляет. Тысячу пятьсот рублей проиграла. Я бы мог с нее десять, двадцать тысяч сорвать, но не хотел. Думаю, довольно, надо и совесть знать. Василий Прохорыч вынул полторы тысячи из кармана и тут же заплатил мне за них... Ну, а за что же я буду даром угощать, сами скажите, и своих денег вынимать из кармана! На деньги можно получить удовольствие, тогда деньги не жалко... Но опять же такие дела делать, как Василий Прохорыч, без расчета, это себе во вред, это опять не годится. Что он посадил в эту даму денег — никто поверить не может... Еще годик — другой так, может случиться дурно, и кредит свой подорвет... и честь потеряет, банкрот будет. Что же хорошего? Мне жаль его, сердце у него славное, все на широкую ногу любит, но деньга не щепка; деньга — счет любит. Скопить миллионы трудно, а прожить — ничего не стоит. Ну теперь ему покуда деньги дают... теперь еще можно: у него еще женин капитал не тронут, а скоро придется, если все такую жизнь вести будут, и за женины денежки приняться...

Ростовщик скорчил печальную гримасу, вздохнул и покачал головою.

Действительно, через год после этого пронеслись слухи в Петербурге, что дела Василия Прохорыча в величайшем расстройстве, что его дома, дровяные дворы и подвалы в Гостином дворе и на бирже, всё в залоге; что он уже взял значительную часть денег из капитала своей жены и сверх этого ищет еще занять тысяч до пятидесяти. В то же время говорили, будто приезжая знаменитость приобрела два дома в Париже, в последнюю свою поездку за границу.

Отношения к ней внука миллионера, по уверениям его близких, становились с каждым днем тягостнее, сцены между ними чаще и чаще. Не было никакой возможности бороться с ее ежедневно увеличивающимися капризами и с беззастенчивостью ее родственников.

Капризы эти доходили до мелочей невероятных. Несмотря на то, что у нее был повар-француз, с блестящей репутацией, которому платились огромные деньги, она уверяла, например, что он не умеет приготовлять бульона, а что она без бульона ничего кушать не может; сердилась, выбегала из-за стола (это было только в те дни, когда Василий Прохорыч у нее обедал), и внучек миллионера должен был сам рыскать по всему городу за бульоном, но когда он являлся с бульоном, у нее пропадал аппетит и она выгоняла от себя своего обожателя вместе с бульоном.

Такого рода ежедневные сцены приводили в страшное раздражение Василия Прохорыча, и гнев его, ничем не удержимый, разражался обыкновенно дома. Он вымещал на своей жене все оскорбления и неприятности, которые покорно и молчаливо выносил от своей возлюбленной...

Сестра моего товарища (вышедшая замуж за человека, которого она давно любила) и ее муж, узнав положительно о расстройстве дел Василия Прохорыча и о том, что Ольга Петровна отдала уже ему значительную часть из своего капитала, поняли, что для спасения ее надо действовать неотлагательно и решительно, — и они уговорили ее остальные принадлежащие ей деньги отдать в полное их распоряжение...

Василий Прохорыч не подозревал этого. Ему понадобилось тысяч десять на покупку брильянтового колье,

которое он хотел поднести приезжей знаменитости в день ее бенефиса, надеясь таким подарком смягчить несколько ее строптивость.

Василий Прохорыч обратился за этими деньгами к жене, уверенный вполне, что отказа не будет, но когда Ольга Петровна объявила ему, что она уже не может располагать своими деньгами и что она отдала их, он сначала остолбенел от удивления, как будто не веря своим ушам, потом пришел в совершенное бешенство...

— Я знаю, кто тебе дает эти советы!.. — кричал он. — Я все понимаю... Это твой друг, твоя приятельница!.. Да я им не позволю вмешиваться в наши семейные дела! Я твой муж, но знаешь ли ты, что жена, по закону, должна во всем беспрекословно повиноваться мужу. Ты хочешь идти против закона? Я тебя заставлю повиноваться мне... От сегодняшнего дня я требую, чтобы нога твоя не была в доме той госпожи, которую ты считаешь своим другом!

Василий Прохорыч махал руками, топал ногами, принимал угрожающие позы и стучал кулаком по столу.

Но когда Ольга Петровна решительно и твердо объявила ему, что она скорей оставит его, чем свою приятельницу, Василий Прохорыч вдруг, удивленный таким неожиданным отпором, присмирел.

Он понимал, что, если она оставит его в эту минуту, он потеряет совершенно кредит: Василий Прохорыч попросил у нее извинения за свою горячность и поцеловал ее ручку. Он не был зол, и если бы жена его в самом деле вздумала оставить его, он, наверно, огорчился бы этим и, может быть, пролил бы даже несколько слез об ней втайне, хотя вообще он не питал к ней ни малейшей нежности, редко виделся с нею и не мог не сознать, что она даже несколько мешает его разгулу.

Когда я однажды спросил у сестры моего товарища:

— Каким образом такая женщина может жить с таким мужем? — она отвечала мне, что Ольга Петровна несколько раз сознавалась ей в том, что ее положение очень тяжело, что она не любит его, но между тем невольно чувствует к нему что-то вроде жалости, потому что у него *доброе сердце...*

Деньги на колье Василий Прохорыч достал через добродушного ростовщика-молдавана более 50 на 100, и подарок был поднесен приезжей знаменитости после пер-

вого акта балета вместе с огромным и великолепным букетом.

Но ни угодливость, ни покорность, ни подарки — ничто не смягчало ее сурового сердца и строптивого нрава. Она беспощадно продолжала обирать и терзать своего несчастного обожателя. Василий Прохорыч, как настоящий русский человек, с горя запил. *Сулеечки* уже перестали удовлетворять его, он приступил к более солидным винам и начал колебаться между eau de vie de France, то есть коньяком, и очищенной.

Он напивался почти каждый вечер в своем задушевном кругу и в нетрезвом виде начинал обнаруживать буйство.

Однажды князь Ртищев, который после нескольких лет снова возобновил знакомство с Василием Прохорычем, уговорил его устроить у себя вечеринку с цыганами.

Вечеринка эта по своим неожиданным трагическим последствиям произвела важный переворот в жизни внука миллионера и наделала большого шума в городе. Об ней рассказывали потом различным образом, но я сообщу здесь об ней достоверный рассказ одного из присутствовавших.

IX

Вечеринка была устроена в большой парадной столовой. Кроме задушевных приятелей Василия Прохорыча, неизбежных лиц на всех его пирах — Ивана Петровича, купеческого сынка Мыльникова, жида-фактора, актера, капельмейстера и других, присутствовало еще несколько приятелей князя Ртищева.

Цыгане явились к 11 часам, и тотчас же началась попойка.

В одном из антрактов между песнями, когда уже было порядочно выпито, кто-то из присутствовавших заметил другому, отказывавшемуся от вина, что он боится пить оттого, что находится под башмаком у жены. Князь Ртищев подхватил это и, потрепав по плечу внука миллионера, обратился ко всем, улыбаясь, и сказал:

— А ведь как вы думаете, господа, наш амфитрион тоже под башмаком у своей супруги!

— У которой? — вскрикнул кто-то.

— Я говорю про законную, — отвечал князь, — у других-то, батюшка, мы все под башмаками!

Василий Прохорыч несколько обиделся.

— Ну что, неправда, что ли? — спросил его князь.

— Нисколько, с чего ты это взял? — возразил Василий Прохорыч, — я ссылаюсь на всех вас (он обратился к своим друзьям), кто хозяин в доме, кто распоряжается всем, я или она?

— Еще бы! разумеется — ты, — закричали ему друзья в один голос.

— Нет, ваше сиятельство, уж этого никак нельзя сказать про Василия Прохорыча, *они,* точно, что глава в доме, — прибавил Иван Петрович, обратившись к Ртищеву.

Ртищев взглянул на Ивана Петровича, как на прожужжавшего комара или на пролетевшую муху, повернув чуть-чуть голову в его сторону.

— Я повторяю, что ты под башмаком у жены, — сказал он, обращаясь к Василию Прохорычу, — полно, не притворяйся. Ты думаешь, что я поверю этим (князь Ртищев кивнул головой в ту сторону, где сидел Иван Петрович и жид-фактор), — свидетельство людей подчиненных нельзя принимать. Ну докажи, что ты господин у себя в доме и что не ты находишься под властью у жены, а жена под твоею властью.

— Хорошо, но как же это доказать?

— Очень просто, — отвечал князь Ртищев, — если Ольга Петровна явится сюда к нам теперь, хоть на минуту, я беру свое слово назад и сознаюсь, что я ошибался.

Василий Прохорыч призадумался, выпил залпом стакан вина и потом произнес решительно и торжественно:

— Через пять минут она будет здесь.

— Браво! — воскликнул князь.

— Браво! — крикнули вслед за ним другие.

Через несколько времени Василий Прохорыч явился действительно с Ольгою Петровною.

Только что она переступила порог комнаты, как грянуло оглушающее «ура!», повторившееся троекратно.

— Здоровье Ольги Петровны! — закричал князь Ртищев, взяв бокал и подходя к ней.

— Здоровье Ольги Петровны! — повторило все собрание.

— Я пью ваше здоровье, — сказал ей князь Ртищев тихим голосом.

Передавший мне эту сцену заметил, что появление этой несчастной женщины в полупьяной и дикой компании, середи разрумяненных и наглых цыганок, при щелканье пробок и при неистовых, оглушающих криках произвело на него страшное впечатление.

— Мне вдруг стало стыдно за себя, что я попал в это общество, — говорил он, — я почувствовал презрение и негодование ко всем этим господам и тут же дал себе слово прекратить с ними всякие сношения. У меня сердце обливалось кровью, глядя на эту бедную женщину!

Когда она вошла, в первую минуту лицо ее выражало не то испуг, не то недоумение, а когда князь Ртищев подошел к ней и заговорил с нею, она вся помертвела.

— Величанье Ольге Петровне! — закричал Ртищев, подставляя стул и садясь возле нее.

Когда цыгане пропели величанье, он наклонился к ней и что-то начал нашептывать ей. Лицо ее в это время быстро менялось, она то краснела, то снова бледнела... вдруг он взял ее за руку, но она отдернула от него руку судорожно.

В эту минуту муж ее, который не мог уже твердо держаться на ногах, постоянно следивший за нею и за князем Ртищевым, посматривая на него мрачно и озирая его с ног до головы, ко всеобщему удивлению выступил вперед.

— Милостивый государь, — начал он, обратившись к Ртищеву, — я не позволю вам волочиться за моею женою. Слышите ли? Вы опять за старое, я все знал, все видел, и молчал только потому, что не хотел говорить, а мне все равно, что вы князь. Вы говорите, что я у нее под башмаком, так я же вам докажу, что я не под башмаком у нее, — я не потерплю, чтобы она позволяла вам за собой волочиться. Я ей этого не позволю, я с ней могу все сделать и из дому ее выгнать, потому, что я муж.

— Василий Прохорыч, полноте... что это вы?.. — заговорили в один голос приятели, испуганные такою неожиданною выходкою. Князь Ртищев сердито посмотрел на них и только проговорил сквозь зубы:

— Оставьте его, он пьян! С ним можно будет говорить только тогда, когда он проспится.

— Я пьян?.. — С этим словом внук миллионера хотел было броситься на князя, но его удержали.

Ольга Петровна в эту минуту вскочила со стула, но вдруг вскрикнула и упала на пол. Ее подняли и вынесли, а Василий Прохорыч начал после этого рваться к ней, колотить себя в грудь и плакать. Князь Ртищев грозил убить его, все остальные старались успокоить его и разошлись в величайшей тревоге.

Говорят, что внучек миллионера просил потом прощения у князя и что князь по великодушию своему не только простил его, но даже вслед за тем роспил вместе с ним несколько *сулеек* шампанского.

Через два дня после этой сцены, о которой мне рассказывали на другой день, мой товарищ заехал ко мне часу в седьмом вечера. На нем, как говорится, лица не было. Я испугался, взглянув на него.

— Я у тебя нечаянно... — сказал он, — возле тебя живет доктор, которого я ищу... я не застал его дома. Мне сказали, что он воротится через четверть часа...

— Что ты, болен? — спросил я, — что с тобой? Ты страшно изменился.

— Я совершенно здоров, — это я не для себя. Бедная Ольга Петровна умирает. Она у моей сестры уже два дня. Сестра перевезла ее больную к себе, и сегодня ей сделалось хуже. Я знал, что это должно кончиться трагически рано или поздно, так и случилось... Ее доктор сказал, что у нее начинается нервическая горячка... В сию минуту она в бреду.

Товарищ мой, говоря это, ходил в беспокойстве по комнате и беспрестанно смотрел на часы.

— Ни я, ни сестра не слишком доверяем ее доктору, потому я и хочу пригласить твоего соседа. Его все хвалят... Не правда ли, он хороший доктор?.. Да ты ничего не слыхал, — спросил он, остановясь вдруг против меня, — ты не знаешь, какую сцену перенесла она?..

— Я знаю, — отвечал я, — мне обо всем рассказывал один из свидетелей.

— Этот пьяный негодяй — муж ее, силою притащил ее на свою грязную пирушку и спьяна вдруг начал ревновать ее к Ртищеву, хотя прежде он радовался, что Ртищев волочился за нею, и даже хвастал этим. А Ртищев-то хорош!.. Он нагло приставал, надоедал, не давал покоя этой несчастной женщине в течение целого года, компрометировал ее. Она все передавала моей сестре, ты знаешь

их дружбу. Ольга Петровна, несмотря на свою доброту и кротость, не могла никогда говорить об этом человеке без отвращения... И если бы ты мог представить себе, какие меры употреблял этот господин, — и ведь он еще отец семейства! — для достижения своей цели, с какою бессовестностью он вел себя относительно ее и как он потом мстил ей, когда убедился, что ему ничто не удается; что он наговорил ей в этот вечер при первой встрече с нею после нескольких лет!.. Если бы это передал мне кто-нибудь другой, если бы я слышал это не от сестры моей, которая слышала все от самой Ольги Петровны, я не поверил бы этому. И он позволял себе все это потому только, что он князь, а она жена купца. Что такое для него, князя, жена купца? Он хоть всю жизнь возится с барышниками и с пьяными цыганами, хоть у него больше лошадиная, чем человеческая природа, — несмотря на это, он с ног до головы все-таки проникнут своим аристократическим достоинством... И такого господина я считал своим приятелем и называл добрым малым! Но прощай, однако, мне пора... Ну что, если я опять не застану этого доктора? Что я буду делать?.. Сделай мне дружбу, поедем вместе — мне надо сию же минуту во что бы то ни стало достать доктора... надо спасти ее во что бы то ни стало!..

Товарищ мой был в таком волнении и беспокойстве, что и без его просьбы я не оставил бы его одного...

Жизнь Ольги Петровны в течение некоторого времени подвергалась величайшей опасности, так что доктора теряли надежду на ее выздоровление и потом сами признавались, что она спаслась каким-то чудом. Во все время ее болезни, которая продолжалась четыре месяца, сестра моего товарища не отходила от ее постели и товарищ мой все это время почти жил у сестры.

Ольга Петровна начала выздоравливать к началу весны. Доктора для окончательного поправления ее здоровья посоветовали ей ехать за границу, и она отправилась вместе с сестрою моего товарища и ее мужем на первом пароходе.

Через два месяца после их отъезда товарищ мой объявил, что он выходит в отставку и также намерен отправиться за границу.

— Я чувствую, — говорил он мне, — что мне необходимо оторваться на время от всех моих пошлых воспоми-

наний, которые не дают мне покоя и пробуждаются здесь невольно на каждом шагу; отдохнуть от всех оскорблений, огорчений, обманутых надежд, забыть всю эту жизнь, даже все эти улицы, здания, обычаи и в особенности лица, которые я не могу видеть без раздражения и от каждого слова которых у меня разливается желчь... Тяжело провести полжизни бессознательно, бессмысленно, в какой-то страшной пустоте и в чаду и потом, утратив половину энергии, половину способностей, одурев несколько от этой жизни, сознать все это; но еще тяжелее, ощутив потребность серьезной деятельности, горячее желание принести хоть крупицу пользы, сделать хоть что-нибудь доброе и порядочное в жизни, чтобы искупить свое прошлое, — дойти наконец опытом до сознания, что все это мечта, что рутина и предрассудки еще так сильны, что из борьбы с ними невозможно выйти победителем... Я бился больше трех лет как рыба об лед, и что же из этого вышло? Люди, и очень значительные люди, которые оказывали мне величайшую благосклонность и даже подталкивали меня вперед, когда я ничего не делал и вел пустейшую и беспутнейшую жизнь, которые называли меня тогда «славным и добрым малым» и даже удостоивали мне протягивать свои руки, — отвернулись от меня, когда я принялся за дело горячо и серьезно, не отступая ни перед кем от своих убеждений и не продавая их. Все эти значительные люди говорят обо мне теперь, что я «или дурак, или человек беспокойный и вредный...» Когда я обратился по одному вопиющему делу к одному из таких значительных лиц, оказывавших мне свое высокое благоволение, — он мне приходится еще и родственник немного, — и рассказал ему все дело в подробности и роль, которую я в нем принял на себя, и просил его содействия и помощи, он сказал мне: «Ты действуешь благородно и честно. Мешать я тебе не буду, но на мою помощь не надейся. Мое имя тут не должно быть вмешано...» И мне остается теперь на выбор — или изменить своим убеждениям, то есть сделаться подлецом — и продолжать с успехом подвизаться на служебном поприще, получая потом через два года награды, как это обыкновенно водится, — или бросить все и уехать куда-нибудь подальше. Я уж, во всяком случае, последнее предпочитаю первому... А и то сказать — нельзя же безусловно складывать все на других и оправдывать самого себя.

Из всего нашего поколения, кажется, никакого толку не выйдет. Мы не приготовлены для борьбы, и большая часть из этого поколения, — я говорю о самых замечательных и лучших людях, — теряют всякую энергию и падают духом при малейшем препятствии. А уж если лучшие люди таковы, — так чего же ожидать от нас. У нас нет ни терпенья, ни силы воли, ни ловкости, чтобы взяться за дело!.. Мы представляем какое-то печальное и жалкое зрелище и в общественной и в частной жизни. На словах мы мыслители, герои, а чуть до дела, то при малейшем препятствии, при малейшей опасности, — и даже недоразумении, сейчас на попятный двор, и потом уверяем себя, что истощили все силы в борьбе, сделали все, что можно, — вот так, как я себя теперь уверяю; а другой на моем месте, может быть, и преодолел бы препятствия, и не отстал бы от дела так скоро...

Товарищ мой остановился на минуту, грустно улыбнулся и прибавил:

— Впрочем, такого героя, я думаю, найти трудно. Давид победил одного Голиафа, но с десятками Голиафов он все-таки не выдержал бы борьбу... Нет, за границу, поскорей за границу!..

Слушая эти речи моего товарища, я думал: «Как самые прямодушные и откровенные люди иногда при объяснении своих поступков забавно стараются обманывать и других и самих себя! Не препятствия и неприятности по служебной деятельности, а совсем другое обстоятельство, которое разгадать было не трудно, манило его за границу, но он как будто самому себе боялся признаться в этом...»

Перед самой минутой расставанья он обнял меня и еще двух своих приятелей, которые провожали его, и сказал нам сквозь слезы:

— Ну, прощайте друзья! Вряд ли мы скоро увидимся. Здесь мне нечего делать. Я убедился в этом. Жизнь моя вообще как-то дурно устроилась. Я никому не нужен, да и сам себе становлюсь в тягость. Прощайте...

Мне говорили (я, однако, не ручаюсь за это), что внук миллионера очень раскаивался в своем поступке с женою и даже (это уж непонятно) несколько дней скучал без нее.

Приезжая знаменитость также оставила его вскоре после этого. Она с кузеном отправилась за границу, потому что дирекция театров не возобновила с нею контракта.

Внук миллионера близился к банкротству. Домà и дачи его были проданы с аукционного торга, и люди знающие говорили, что за уплатой всех долгов у него должна остаться весьма небольшая сумма денег. Переезд Ивана Петровича к купеческому сынку Мыльникову яснее всего обнаруживал, в каком печальном состоянии находятся дела Василия Прохорыча.

Через три года после отъезда за границу его жены существование его совсем изгладилось... Он как в воду канул и нигде не показывался.

X

С отъезда моего товарища за границу прошло уже четыре года. Я получил от него несколько писем, хотя он вообще по своей ленивой природе писать письма не охотник, даже к друзьям, и я не обвиняю его за это. Он пишет только тогда, когда у него накипает в груди и когда он чувствует уже непреодолимую потребность высказаться. Такого рода друзья (по моему мнению) гораздо приятнее и удобнее тех, которые вместо писем посылают вам обыкновенно целые трактаты и диссертации, если не еженедельно, то уж наверно ежемесячно. Какую бы пламенную дружбу вы ни питали к человеку, но читать груду тонких почтовых листов, мелко исписанных, хотя бы дружескою рукою, — это величайшее из наказаний.

Письма моего товарища из-за границы (всегда очень короткие) постепенно становились все грустней и грустней. В конце их он всегда прибавлял несколько строчек об Ольге Петровне. Из них можно было заключить, что сначала теплый климат подействовал на нее благодетельно и ни товарищ мой, ни сестра его не сомневались в том, что она совершенно поправится; потом надежды эти понемногу слабели, — она начинала чувствовать припадки болезни неисцелимой, — и наконец обратились в боязнь за ее жизнь. Вот отрывок из последнего письма моего товарища:

«Я пишу к тебе в той комнате, в которой лежит наша больная, и боюсь, чтобы скрип моего пера не потревожил ее. Из этого ты можешь заключить, в каком положении она находится... Боже мой! если бы ты мог вообразить, как она изменилась, как похудела! Но несмотря на все страдания болезни, она сохранила вполне свою прежнюю привлекательность, то милое выражение, которое ты, верно, помнишь и которое с первого взгляда привлекало к ней всякого порядочного человека. Если бы ты знал, сколько желчи, негодования и презрения во мне сию минуту к самому себе, к непростительной дряблости моего характера, смешанной с возмутительным легкомыслием!

Ты, верно, догадывался, что я люблю ее. Несмотря на наши дружеские отношения, я никогда тебе не говорил об этом, потому что я сам только об этом *догадывался!* В этом нет ничего удивительного, потому что я не был до сей минуты человеком вполне, и догадывался только, что я человек... Разве было, в самом деле, что-нибудь человеческое в моей прежней дикой, беспутной жизни?.. Только увидев в первый раз ее, я сознал, что внутри меня есть все то, что отличает человека от животного, и чувство, и мысль, и сердце, не в смысле куска мяса, а способное к благородным движениям и готовое биться для возвышенных ощущений. Я ей обязан всем этим. И знаешь ли, если бы я до этого не был избалованным, пустым и отупевшим барчонком, праздным кутилою без смысла и воли, — если бы я был человеком с самостоятельностию, с разумной силой воли, с энергией... я мог бы быть счастлив, бесконечно счастлив. Я ей не был противен, она питала ко мне даже некоторое расположение, и в сию минуту, когда смерть стоит между ею и мною, теперь я убедился, что она и любит меня, — и только теперь я ощущаю в себе силы человека и готов на все для ее спасения, когда уже для нее нет спасения!

А счастье было в моих руках... Разве с любовию в сердце, вполне сознанной, с энергией, свойственной всякому разумному существу, я не преодолел бы для нее все препятствия, как бы они ни казались непреодолимыми, и не предупредил этот несчастный брак, который сводит ее теперь в могилу?.. Как ни был дик, груб и упорен ее отец, — он все-таки любил ее... Но я, как презрен-

ный трус, увидев препятствие, тотчас свернул в сторону, стал уверять себя и успокоивать тем, что я не способен к семейной жизни, что я не могу составить счастия этой девушки, что наконец, если бы я решился жениться на ней, то это огорчит *мою маменьку...* Я тебе признаюсь во всем в сию минуту... я не боюсь теперь твоего презрения, потому что я сам презираю себя: упрекая мою мать в предрассудках касты, я сам, обвиняющий, был до того заражен этими предрассудками, что в иные минуты, несмотря на непреодолимое мое влечение к Ольге Петровне, мысль, что она дочь купца, смущала меня. Я краснел от этого, сознавая все безобразие этого смущения, но, однако, с трудом побеждал его в себе...

Когда она вышла замуж и Ртищев — *мой друг* начал наглым образом ухаживать за нею и хвастать своим волокитством, я — человек, любивший ее, молчал и только внутренно озлоблялся... Я не зажал рта этому наглому господину и не назвал его в глаза подлецом, как я ни порывался на это. Я оправдывал себя тем, что это еще более может повредить ей, наделает скандала... Но, в сущности, я боялся скандала не за нее, а за себя... Пойми же ты всю бесконечность, всю постыдную неизмеримость такого бессилия!..

Куда же и на что же мы годны после этого?.. Что же доброго можем мы сделать?.. И теперь еще, написав это *мы,* я ведь утешаю себя, что не один *я* таков, что *все наше поколение* так ничтожно и слабо.

Несмотря на все мои прошлые беспутства и теперешние внутренние муки, — я здоров: у меня широкая грудь, которая от камня не разобьется, как у знаменитого Раппо; я дышу так полно и свободно, а у нее осталось легких, может быть, только на месяц!.. Спрашивается, для чего природа наградила меня таким здоровьем и к чему мне оно?..»

Много времени прошло после этого письма, но с тех пор я не получал от него ни одной строчки и ни от кого не слыхал ни об нем, ни об ней. Мать его давно переселилась в деревню, а к петербургским своим приятелям он не писал больше полугода... Где он и что с ним?

Недавно вечером я шел по ораниенбаумской дороге. Верстах в двух не доходя до Петергофа, на левой стороне к морю, недалеко от большой дороги, стоит особняком в

песке двухэтажный безобразный дом с мезонином, окрашенный темно-желтой краской, с тремя торчащими перед ним небольшими соснами. На этом доме полинялая и облупившаяся вывеска, на которой золотыми буквами изображено: «Трактир Traiteur Tracteur». В середине дома крыльцо с шестью ступеньками; влево от крыльца окна, в которых видны грязные и оборванные кисейные занавески; верхний этаж кажется необитаем. Я всегда недоумевал, для чего существует этот «Tracteur».

Проходя в этот раз мимо этого непонятного заведения, я увидел у крыльца его новые запыленные дрожки, запряженные тройкой; извозчик, малый лет под тридцать, красивый собой, в синем тонком армяке и в шляпе набекрень, принадлежавший к тому роду извозчиков, которых обыкновенно называют *лихачами* и которые от Аничкина до Полицейского моста запрашивают не менее двух целковых, — сидел подбоченясь и несколько развалившись на сиденье для седоков... Один мой литературный друг — человек очень наблюдательный и остроумный, заметил однажды, что к самому наглому и безнравственному классу петербургского народонаселения принадлежат банщики, швейцары, лакеи аристократических домов и извозчики-лихачи. Это очень верно, особливо относительно последних. Извозчик-лихач что-то кричал, посматривая на господина, одетого франтовски, но в поистершемся платье и в фуражке также набекрень. На крыльце стоял половой, а неподалеку от господина в фуражке другой господин, с седой, небритой несколько дней бородой, в оборванных пестрых штанах с фестонами, в истертом светло-коричневом сюртуке и в зимней фуражке из желтых мерлушек. Издалека было заметно, что господин в фуражке, который был пьян, уговаривал о чем-то лихача-извозчика и что извозчик не соглашался.

Лихач был также навеселе.

Я подошел поближе.

Черты пьяного господина, уговаривающего лихача, показались мне как будто знакомыми. Это меня удивило несколько, и я начал в него пристальнее вглядываться. Оказалось, что это был г. Пивоваров, внук русского миллионера, что меня нисколько не удивило... Несмотря на то, что он совершенно отек и что лицо его, все испещ-

ренное жилками, приняло багровый оттенок, я, вглядевшись в него, узнал его тотчас.

— Ну, послушай, Ваня, — говорил внук миллионера, обращаясь к лихачу с убедительными жестами, к которым так любят прибегать все пьяные, — ну, сделай ты мне это одолжение... я тебя прошу, понимаешь ты это... я тебя прошу... мы, братец, переночуем в Петергофе, кутнем вместе, а завтра в город...

— Да на что кутить-то? — возразил лихач, — прыти-то в вас много, да толку-то мало. Ведь гроша в кармане нет... а еще кутить!

— Ваня... послушай, Ваня... я тебе клянусь, — и внук миллионера поднял руку к небу и потом размахнул ею, — вот все они свидетели...

— Мы свидетели, — перебил господин в фуражке из желтых мерлушек, приподняв фуражку двумя опухшими пальцами и с заискивающей улыбкой посмотрев на внука миллионера, — мы свидетели! — повторил он.

Лихач презрительно улыбнулся.

— Они все свидетели, — продолжал внук миллионера, — ты мне только дай пятнадцать рублей — я завтра отдам тебе, ей-богу отдам... уж ты мной будешь доволен, я тебе говорю, что угощу, Ваня, ей-богу, то есть так угощу — вот ты увидишь.

— Угостишь на мои деньги-то! Хорошо угощение! Да что тут толковать? Нечего тут балясы-то попусту точить. Едем сейчас в Петербург... Что в самом деле?

— Ваня, ну смотри, Ваня! — И внук миллионера погрозил ему пальцем... — я тебе сколько передавал денег... Вспомни ты это одно! Я миллионами, братец, ворочал; у меня деньги есть, я отдам тебе пятнадцать рублей... Честное слово. Что мне пятнадцать рублей — наплевать.

— *Они* отдадут, непременно отдадут! — прохрипел господин в фуражке из желтых мерлушек.

— Вот слышишь? он мне верит... Эй, половой! подай ему за это стакан водки... Вот тебе четвертак — возьми! — и он бросил монету на песок.

Половой долго рылся, отыскивая ее, наконец нашел и отправился за водкой.

Господин в фуражке из желтых мерлушек взял стакан дрожащей рукой.

— Ну, пей за мое здоровье! — вскрикнул внук миллионера, обращаясь к господину в фуражке из желтых мерлушек, — пей и поклонись мне в ноги. Слышишь?

— Слушаю, благодетель, слушаю! — вскрикнул господин в желтых мерлушках, разом выпил стакан, крякнул с неописанным наслаждением, прокричал: ура! и потом бухнулся в ноги промотавшегося миллионера.

— Кто это? — спросил я у полового...

— Этот, что в ногах-то валяется? Это так, пьянчужка, петергофский мещанин, — отвечал он презрительно.

— Ну, а этот господин зачем остановился тут у вас?

— Пива спрашивали, пить захотелось, — из Рамбова едут, извозчик говорил, что они всю ночь там прокутили...

Я не дождался конца этой грязной сцены и побрел к морю...

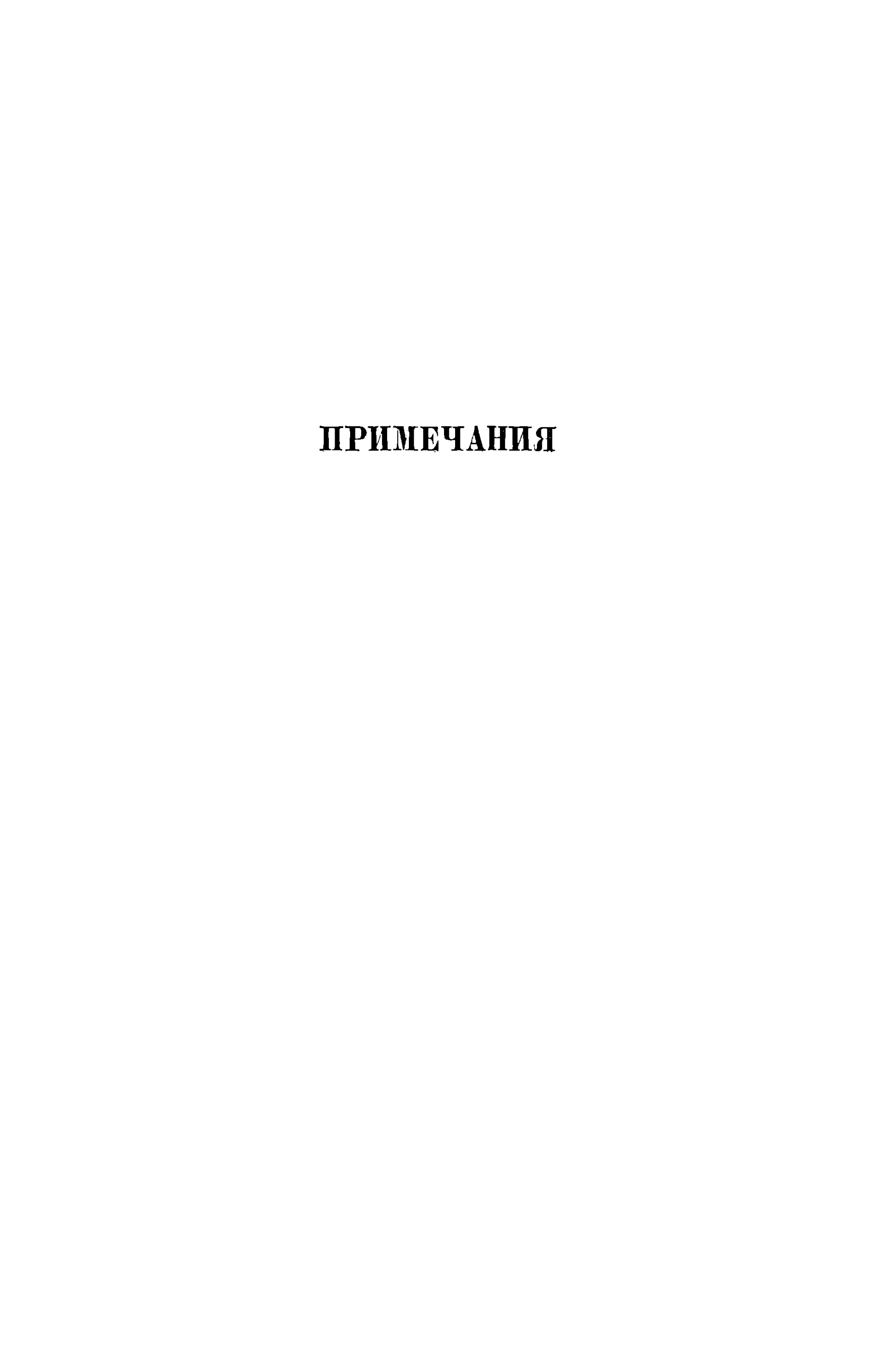
Это была моя последняя встреча с внуком миллионера.

Мне сделалось тяжело и грустно. Здесь этот спившийся купчик, в несколько лет промотавший миллионы, перешедший через все степени беспутства и оканчивающий свое поприще у грязной харчевни на большой дороге, и *там*, далеко за морем, загубленная им умирающая женщина — и мой бедный друг... Какие странные сближения!.. и кого винить во всем этом — судьбу, случай, отдельные лица, общество?..

Я подходил к морю.

Широкая и чудная картина развертывалась передо мною... На бесконечном водяном пространстве не было заметно ни малейшей зыби. Море не дышало. Оно было гладко как стекло, отражая на своей поверхности вечернее зарево ярко-розовыми и бледно-палевыми полосами, которые, удаляясь от заката, бледнели, принимая опаловый цвет... На этой беловатой поверхности резко чернелись две недвижные рыбачьи лодки и в них также два недвижных человеческих силуэта. Далее к востоку море исчезало в синеватой мгле. Ни один листок не шевелился на прибрежных деревьях, ни малейшего звука и движения не слышно было в воздухе. Я подошел к самой окраине моря и долго стоял, смотря на эту картину и боясь

пошевельнуться, чтобы не нарушить торжественного спокойствия, в которое погружена была в эту минуту природа... Я начинал дышать легче, вдыхая в себя морскую свежесть вместе с запахом только что скошенной травы; я чувствовал, как постепенно гасли все мои мысли, замирали все вопросы внутри меня и бледнели все образы, вызванные моим воображением... Эта тишина природы с каждой минутой все более и более сообщалась мне и охватывала всего меня... Я уж ничего не мог думать, голова моя была как в тумане, я не мог оторвать глаз от моря и начинал ощущать какое-то бессознательное, но бесконечное наслаждение...



ПРИМЕЧАНИЯ

КОШЕЛЕК

Сцены из петербургской жизни

Впервые опубликовано в «Альманахе на 1838 год», Спб. 1838.

В рецензии на «Альманах» Белинский одобрительно отозвался о рассказе Панаева, но отметил его растянутость (Полн. собр. соч., АН СССР, т. II, М. 1953, стр. 360).

Рассказ в прижизненное издание сочинений (Спб. 1860) не включался; печатается по тексту первой публикации.

Стр. 37. *«Старушка мать, бывало, под окном...»* — из поэмы А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (строфа XVII; 1830).

Стр. 38. *...грёзовскую головку...* — Речь идет о широко известных картинах французского живописца Грёза (1725—1805), изображавших в несколько сентиментальном и слащавом духе женские «головки».

Стр. 43. *«Роберт-Дьявол»* (1831) — опера Джакомо Мейербера.

«Михаил Скопин-Шуйский» — «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1834) — драма Н. В. Кукольника.

Стр. 44. *«Бывало, мать давным-давно храпела...»* — из поэмы А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (строфа XVIII).

Стр. 47. *«Я услаждала б жребий твой...»* — из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (ч. II; 1820—1821).

...Теклою Шиллера... — Тэкла (принцесса Фридландская) — романтическая героиня драматической поэмы Ф. Шиллера «Валленштейн» (1796—1799).

...Юлией Шекспира — героиней трагедии «Ромео и Джульетта» (1597), в переводах XIX века — «Ромео и Юлия».

Стр. 48. *Семилёр (франц.* similor) — сплав меди с цинком, имитирующий золото.

Стр. 51—52. *Саладин, Ревекка, Елизавета Английская* — персонажи романов английского писателя Вальтера Скотта: «Айвенго» (1820), «Ричард Львиное Сердце» (1825), «Кенильворт» (1821).

Стр. 63. *«О Шиллере, о славе, о любви...»* — из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (1825).

Стр. 64. *Ричардсон* Самюэл (1689—1761) — английский писатель, создатель семейно-бытового романа.

Лесаж Ален Рене (1668—1747) — французский писатель, автор сатирических нравоописательных романов.

«Новая Элоиза» — роман французского писателя Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

«Вертер» — роман И. Гете «Страдания юного Вертера» (1774).

Дарленкур Шарль Виктор Прево (1789—1856) — французский писатель, автор сентиментальных романов.

Кок Шарль Поль де (1794—1871) — французский писатель; его многочисленные романы с эротической окраской из жизни мелкой буржуазии пользовались большим успехом в обывательской среде.

Стр. 66. *«И в час, как с молитвой на бледных устах...»* — из стихотворения Э. И. Губера «Могила матери» (1835).

ДОЧЬ ЧИНОВНОГО ЧЕЛОВЕКА

Повесть

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1839, № 4. В прижизненное издание сочинений (Спб. 1860) не включалось; печатается по тексту первой публикации.

В письме к Белинскому от 17 января 1839 года Панаев сообщал, что закончил работу над повестью: «В № 3 «Отечественных записок» будет напечатана первая часть моей повести «Художник в Петербурге». Эта первая часть прозывается: «Дочь чиновного человека». Не знаю, не искромсает ли эту повесть цензура. Во всяком случае, мне приятно будет узнать Ваше искреннее мнение об ней» («В. Г. Белинский и его корреспонденты», М. 1948, стр. 202).

Повесть Панаева была опубликована не в третьем, а в четвертом номере «Отечественных записок» за 1839 год. В «Литературной хронике» журнала «Московский наблюдатель» (1839, ч. II, № 4) Белинский, высоко оценив это произведение в целом, видел, однако, недостаток повести в «отделке характера героя», то есть в романтической трактовке образа художника. «...это уже устарелый взгляд на искусство, — писал он, — нынче думают... что томя-

щиеся по недосягаемым для них идеалам художники — или просто пустые люди с претензиями, или обыкновенные талантики, претендующие на гениальность... Впрочем... может быть, он (Панаев. — *Ф. И.*) поправит еще это во второй своей повести «Любовь светской девушки», героем которой будет опять этот же художник-недоносок и которую он уже пишет, как то нам известно из достоверного источника» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, т. III, М. 1953, стр. 189). Продолжение повести, опубликованное под названием «Белая горячка» («Отечественные записки», 1840, № 5) свидетельствует о том, что Панаев вел работу над повестью в направлении, указанном Белинским.

Стр. 74. *«Не сердись за правду!»* — из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира (акт III, сцена 4-я). В современном переводе этот отрывок начинается словами: «Простите мне такую добродетель...» (см. У. Шекспир, Полн. собр. соч. в восьми томах, т. 6, М. 1960, стр. 100). Панаев цитирует перевод Н. Полевого, М. 1837, стр. 138.

«Уста мои сомкни молчаньем...» — из стихотворения Д. В. Веневитинова «Моя молитва» (1826).

Стр. 75. *Адрес-календарь* — справочная книга, содержавшая сведения о лицах, состоявших на государственной службе.

Месяцеслов — календарь.

«Санкт-Петербургские ведомости» — газета, официальный правительственный орган, издавалась в Петербурге с 1728 по 1917 год.

Стр. 79. *«К перу от карт и к картам от пера»* — реплика Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1822—1824), действие третье, явление 3.

Стр. 80. *...гроденаплевом капоте...* — гроденапль — род шелковой ткани, вырабатывавшейся вначале в Неаполе (*франц.* gros de Naples).

Стр. 81. *...гражданском позорище.* — Позор, позорище — зрелище, сцена; здесь: гражданское поприще.

Стр. 83. *В твоей турнире...* — турнюр, турнюра — подушечка, подкладывавшаяся под юбки сзади по моде середины и второй половины XIX века; здесь — осанка, манера держаться.

Стр. 85. *«Корреджио» Эленшлегера...* — Речь идет о драме датского писателя-романтика Адама Эленшлегера (1779—1850) «Корреджио» (1811), посвященной трагической судьбе итальянского художника эпохи Возрождения Антонио Аллегри Корреджо (ок. 1489—1534). Далее в разговоре Софьи и Середневского упоминаются персонажи и эпизоды этой драмы.

Стр. 88. *Перуджино* Пьетро (ок. 1446—1523), *Дель Сарто* — Сарто Андреа дель (1486—1531), *Рени Гвидо* (1575—1642) — итальянские художники.

Стр. 90. *Доминикин* — Доменикино (Доменико Цампьери, 1581—1641) — итальянский художник.

Стр. 92. *«Художник не может быть исключительно только художником...»* — из драмы Эленшлегера «Корреджио». См. прим. к стр. 85.

«О, если ты для юноши сего...» — из драмы И. Гете «Апофеоза художника» (1788).

Стр. 97. *...Гете... изобразил... жизнь этого... страдальца...* — Имеются в виду произведения И. Гете, посвященные проблемам искусства, роли и назначения художника в обществе: «Земная участь художника», «Боготворение художника» (1774), «Апофеоза художника» (1788) и др.

Пушкин... высказал отношения художника к обществу... — Речь идет о стихотворениях «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830) и других, направленных против реакционной великосветской и литературной «черни». Романтики неправильно истолковывали эти стихотворения, как якобы выражающие мысль об извечной разобщенности искусства и жизни, художника и общества.

«Смешон, участия кто требует у света...» — из стихотворения А. С. Пушкина «Ответ анониму» (1830).

Стр. 98. *«Даже в самые минуты отчаяния...»* — из комедии «Мандрагора» (1520) итальянского писателя, историка и политического деятеля Никколо ди Бернардо Макиавелли.

Стр. 105. *...и двенадцатого класса не имеет?* — По установленной табели о рангах все чиновничество в России разделялось на четырнадцать классов. В первые четыре класса входили самые крупные государственные чины: канцлеры, министры, действительные тайные советники, сенаторы и др.

Стр. 108. *Экзекутор* — должностное лицо, ведающее хозяйственной частью и наблюдающее за внешним порядком в «присутственных местах».

Стр. 110. *«Не то благо, что делает счастливым...»* — из книги «О назначении ученых» (1794) немецкого философа-идеалиста Иоганна Готлиба Фихте (цитируется по переводу М. А. Бакунина — «Телескоп», 1835, т. XXIX, стр. 13).

Стр. 117. *«Последний день Помпеи»* (1830—1833) — картина художника К. П. Брюллова.

Стр. 121. *«В породе и в чинах высокость хороша...»* — из басни И. А. Крылова «Осел» (1815).

Стр. 128. *«Все это честолюбие и честолюбие...»* — из «Записок сумасшедшего» (1833—1834) Н. В. Гоголя.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФЕЛЬЕТОНИСТ

Впервые опубликовано под названием «Русский фельетонист», с подзаголовком *Зоологический очерк,* в журнале «Отечественные записки», 1841, № 3.

В статье «Литературные и журнальные заметки» (1842) Белинский сообщает, что этот очерк хотел перепечатать из «Отечественных записок» писатель А. П. Башуцкий в выпускаемой им серии «физиологических очерков» — «Наши, списанные с натуры русскими» (Спб. 1841—1842). «...но г. Панаев, — писал Белинский, — не совсем довольный малым объемом своей статьи, написал для «Наших» новую, которая отличается от прежней большею общностию и верно представляет разных русских фельетонистов» (Полн. собр. соч., АН СССР, т. VI, М. 1955, стр. 699). По-видимому, для серии «Наших» Панаев готовил очерк «Литературная тля» (1843), но не успел его напечатать в этом издании, так как в 1842 году оно прекратилось. Очерк «Русский фельетонист» был позже стилистически переработан и несколько сокращен для изданного Некрасовым сборника «Физиология Петербурга» (ч. II, Спб. 1845), где он появился под заглавием «Петербургский фельетонист».

В образе фельетониста современники узнали черты одного из литераторов 1840-х годов В. С. Межевича (1814—1849). Об этом, в частности, свидетельствует письмо А. А. Краевского к М. Н. Каткову от 11 марта 1841 года: «Панаев... в 3-й книжке напечатал статью «Русский фельетонист», в которой выставил Межевича, да так ловко, что тому долго не оправиться...» (Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 4744/XXIVб. 141, л. 2).

Много лет спустя в своих мемуарах Панаев рассказывает, что Межевич был приглашен Краевским из Москвы для того, чтобы вести в «Отечественных записках» критический отдел, хотя в это время уже велись переговоры с Белинским. Но надежды, возлагаемые Краевским на Межевича, рухнули очень скоро и, вопреки своему желанию, чтобы поддержать репутацию журнала, Краевский вынужден был пригласить Белинского. Там же Панаев рисует внешний облик Межевича, во многом сходный с

образом петербургского фельетониста: «Межевич был небольшого роста, белокур, с незначительными чертами, с мутными подслеповатыми глазами и в очках, которые он поправлял беспрестанно... Межевич имел сердце мягкое, расплывавшееся, характер совершенно слабый и мелкий. Он чувствовал боязнь к уму, к убеждениям, ко всякой моральной силе и впоследствии почти тайком ускользнул из редакции «Отечественных записок», сошелся с Булгариным, начал писать статейки в «Пчелу», вдался в мелкую литературу и стал во главе ее в «Репертуаре» и, наконец, добился редакторства «Полицейских ведомостей»... В этом последнем приюте он нравственно упадал с каждым днем...» (И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Гослитиздат, 1950, стр. 139).

«Петербургским фельетонистом» открывается серия очерков Панаева о литературных и журнальных нравах 1840-х годов, — «Литературная тля» (1843), «Литературный заяц» (1844), «Петербургский литературный промышленник» (1857) и др.

Печатается по тексту тома II Сочинений (Спб. 1860), сверенному с предыдущими публикациями.

Стр. 140. *Коттен* Мари (1770—1807) — французская писательница, автор сентиментально-нравоучительных романов.

Жанлис Стефания (1746—1830) — французская писательница, автор произведений дидактического и слезливо-сентиментального характера. Ее произведения пользовались большой популярностью в России в начале XIX века.

Стр. 144. *Мочалов* Павел Степанович (1800—1848) — трагический актер.

Марлинский А. (псевдоним декабриста А. А. Бестужева, 1797—1837) — поэт, литературный критик и беллетрист; его повести, написанные в романтическом духе, имели шумный успех в 20-е — 30-е годы.

...имя, набранное капителью! — Капитель — выделительный печатный шрифт, в котором все буквы имеют начертания заглавных.

Стр. 145. *...креманом меня так и обдают...* — Креман — вино, одна из марок шампанского.

Стр. 147. *«...Я твой...»* — из письма Гамлета к Офелии: «Прощай. Твой навсегда, дражайшая дева, пока этот механизм ему принадлежит. Гамлет» (см. У. Шекспир, Полн. собр. соч., М. 1960, т. 6, стр. 50).

Жанен Жюль (1804—1874) — французский романист и журналист, популярный критик и фельетонист своего времени; считался родоначальником «легкой», эклектической критики.

Стр. 149. *«Репертуар»...* — По-видимому, речь идет о театральном журнале «Репертуар русского театра», выходившем в 1839—1841 годах в Петербурге под редакцией В. С. Межевича.

«Пчела» — реакционная газета «Северная пчела», основана Ф. В. Булгариным; издавалась в Петербурге в 1825—1864 годах.

«Инвалид» — газета «Русский инвалид», издавалась в Петербурге с 1813 года.

Толченов Павел Иванович (1786 — ум. в 1840-х гг.) — актер Александринского театра.

Стр. 150. *...легкие, дымчатые...* кончая словами: *До осушки стклянных дон!* — Приводимое здесь место очерка представляет собой пародию на стихотворение В. Г. Бенедиктова «Тост» (1845). Позднее Панаев использовал «Тост» в стихотворной пародии «Ревность», напечатанной в сатирическом альманахе «Первое апреля» (Спб. 1846) за подписью В. Бурнооков.

Стр. 153. *...на позор публики* — см. прим. к стр. 81.

Стр. 154. *Излер* Иван Иванович (1811—1877) — владелец кондитерской, а затем ресторана и увеселительного сада «Минеральные воды» в Петербурге. В «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции» Межевич вслед за Булгариным, вместе со своим приятелем журналистом П. Смирновским рекламировал заведения Излера.

Стр. 155. *...у нас все работники с хорошими аттестатами...* — Намек на неоднократные выпады Булгарина и его сторонников против Белинского, не имевшего аттестата об окончании университета. Он был исключен в 1832 году за драму «Дмитрий Калинин», направленную против крепостного права.

Стр. 157. *...в положении... вороны в басне Крылова...* — Речь идет о басне «Ворона и курица» (1812).

«И если карлой сотворен...» — из басни И. А. Крылова «Ворона» (1825).

ОНАГР

Впервые опубликовано, с подзаголовком *Повесть,* в журнале «Отечественные записки», 1841, № 5.

Как видно из письма А. А. Краевского к М. Н. Каткову от 9 января 1841 года, Панаев начал работать над повестью «Онагр» в конце 1840 — начале 1841 года. (Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 4744/XXIVб. 141, л. 3.)

В обзоре «Русская литература в 1841 году» Белинский дал положительный отзыв о повести: «Г-н Панаев, — писал он, — напечатал в прошлом году две повести: «Онагр» («Отечественные

записки № 5) и «Барыня» (в первом томе «Русской беседы»), принадлежащие к замечательнейшим явлениям прошлогодней литературы» (Полн. собр. соч., АН СССР, т. V, М. 1954, стр. 582).

Печатается по тексту тома I Сочинений (Спб. 1860), сверенному с предыдущими публикациями.

Стр. 160. *«Фенелла»...* — или «Немая из Портичи» (1828) — опера французского композитора Даниеля Франсуа Обера.

Стр. 162. *...прочитать «Пчелку»...* — см. прим. к стр. 149.

«Инвалид» — см. прим. к стр. 149.

«Санкт-Петербургские ведомости» — см. прим. к стр. 75.

Стр. 163. *...Тьера сменили, Гизо всё такие речи говорит...* — Имеется в виду смена правительства во Франции в 1840 году. После отставки Тьера (1797—1877) во главе правительства стал Гизо (1784—1874).

Андреянова Елена Ивановна (1819—1857) — балерина.

...Сальтарелло — итальянский танец в сопровождении гитары.

Стр. 164. *«Сильфида»* ... — балет хореографа Ф. Тальони, впервые поставлен на русской сцене в 1835 году.

Стр. 165. *...«Роберт»...* — «Роберт-Дьявол». — См. прим. к стр. 43. Здесь речь идет о балетных сценах из этой оперы.

Стр. 171. *«И с страстью чистою, сердечной...»* — неточная цитата из водевиля А. Писарева «Хлопотун, или Дело мастера боится» (1824).

Стр. 182. *...под именем «прекрасного человека».* — Имеется в виду герой повести Панаева «Прекрасный человек. Очерки петербургской жизни» («Отечественные записки», 1840, № 11).

Стр. 191. *...как тень Банко.* — В трагедии У. Шекспира «Макбет» во время пира является призрак Банко, вероломно убитого по приказу Макбета (Акт III, сцена 4-я).

Стр. 192. *...управа благочиния* — полицейская управа.

Стр. 206. *Бурбье* Виржини (ум. 1857) — французская актриса, выступавшая на сцене Михайловского театра в Петербурге.

Стр. 216. *Гросфатер* — старинный немецкий танец.

«Библиотека для чтения» — литературный журнал реакционного направления, издававшийся в Петербурге в 1834—1865 годах; основан книгопродавцем А. Ф. Смирдиным.

Стр. 217. *Денис Васильевич* Давыдов (1784—1839) — поэт, герой Отечественной войны 1812 года.

Стр. 224. *«Жомини да Жомини...»* — из стихотворения Д. В. Давыдова «Песня старого гусара» (1817). Жомини Анри (1799—1869) — военный писатель. В стихотворении Давыдова это выражение имеет смысл: говорить обо всем, но ничего о самом главном.

БАРЫНЯ

Впервые опубликовано в сборнике «Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов. В пользу А. Ф. Смирдина», т. 1, Спб. 1841.

В статье «Русская литература в 1841 году» Белинский, перечисляя наиболее значительные произведения истекшего года, писал: «Барыня» особенно хороша: в ней столько характеристического, верного, ловко и цепко схваченного...» (Полн. собр. соч., АН СССР, т. V, М. 1954, стр. 582). В рецензии на III том «Русской беседы» Белинский вновь отмечает очерк Панаева «Барыня». (Там же, т. VI, М. 1955, стр. 243.)

Печатается по тексту тома II Сочинений (Спб. 1860), сверенному с предыдущими публикациями.

Стр. 234. *...купчиху с черными зубами...* — В XVIII и XIX вв. у женщин купеческого и мещанского сословия существовал обычай чернить зубы.

...кошелек косы — мешочек, надевавшийся на конец косы, которую носили мужчины, главным образом дворяне, в XVIII веке.

Стр. 238. *Турнюра* — см. прим. к стр. 83.

Стр. 239. *«Стонет сизый голубочек...»* — популярная песенка-романс Ф. М. Дубянского на слова (стихотворение «Песня» — 1792) И. И. Дмитриева.

«Яшеньку и Жеоржетту, или Приключение двух младенцев, обитающих на горе» — сентиментальный роман французского писателя Франсуа Дюкре-Дюмениля; русский перевод — в 1796 г.

«Таинства Удольфские» — «Удольфские тайны» (или «Тайны Удольфо» — 1794) — роман английской писательницы Анны Радклиф, автора многочисленных романов «ужасов» и «тайн».

«Эстелла», пастушеский роман (1788) — французского писателя Жана Пьера Флориана.

Стр. 243. *«Днепровская русалка»* — опера австрийского композитора Ф. Кауэра в четырех частях. Впервые поставлена отдельными частями на русской сцене в 1803—1807 годах.

Стр. 245. *«Время жизни скоротечно...»* — измененная цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Други! Время скоротечно!» (1795).

Стр. 251. *«La cigale et la fourmi»* — басня французского поэта-баснописца Жана де Лафонтена (1621—1695).

Стр. 252. *Фуляр* — шелковый шейный или носовой платок.

Стр. 253. *...статистику — по Гейму или по Зябловскому...* — Речь идет об учебниках: И. А. Гейм «Опыт начертания статистики главнейших государств, по нынешнему их состоянию» (М. 1821)

и Е. Ф. Зябловский «Статистическое описание Российской империи» (Спб. 1808).

Стр. 254. *«И ей со вздохом и слезами...»* — из басни И. И. Дмитриева «Чижик и зяблица» (1793).

Баккаревич Михаил Никитич — педагог, автор книги «Статистическое обозрение Сибири» (Спб. 1810).

Стр. 255. *«Россу по взятии Измаила»* — ода Г. Р. Державина «На взятие Измаила» (1791).

«Талисман» — известный в то время романс Н. С. Гатова на слова стихотворения А. С. Пушкина (1827).

«Ты не поверишь...» — цыганский романс композитора П. П. Булахова.

Стр. 259. *Поль де Кок* — см. прим. к стр. 64.

Стр. 260. *«Кавказский пленник»* — поэма А. С. Пушкина.

Марлинский — см. прим. к стр. 144.

АКТЕОН

Впервые опубликовано с подзаголовком *Повесть* в журнале «Отечественные записки», 1842, № 1.

Эта повесть Панаева вызвала горячий интерес у читателей и была воспринята как произведение с ярко выраженной антикрепостнической тенденцией.

Герцен шутливо заявлял А. А. Краевскому, что после такой прекрасной повести трудно решиться писать для «Отечественных записок»: «Ведь просто превосходно: от помещика, который от грыжи носил сережку... до Актеона... а потом мать и Антон, а няня и m-me. Пожалуйста... скажите ему сверх дружеского привета, что я с душевным восхищением читал эту мастерскую повесть... А дочь-то бедных, но благородных родителей...» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. III, Пг. 1919, стр. 6.)

О сильном впечатлении, произведенном повестью, свидетельствует также письмо читателя «Отечественных записок» И. Г. Кольчугина — Белинскому от 17 января 1842 года: «Несколько раз перечитал я эту повесть, какая глубокая ирония, истинно человеческие чувства и душевная теплота дышат в ней. Слово *тип* так уже истерлось, что даже не хочется употреблять его, но характеры Актеона, дочери бедных, но благородных родителей, Актеон со всей его холуйностью, злая свекровь, няня с ее безотчетною любовью, все это так вводит в наш действительный мир со всею его пошлостию, материальностию и проч. и пр. Но скажите, откуда

г. Панаев взял эти чувства, разлитые в его пьесе, особенно поразило меня место, где Ольга Михайловна говорит *с ужасом матери*, что она не может любить дитя, потому что оно похоже на *него*.

Я человек простой, но, признаюсь Вам, холодом обдало меня. Это не фантазия какого-нибудь князя Одоевского, нет, это живая трагическая истина... Много бы надо говорить об этой повести, но скажу только, что я истинно стал уважать г. Панаева, не только как писателя, но и как человека...» (Сб. «В. Г. Белинский и его корреспонденты», М. 1948, стр. 288).

В статье «Русская литература в 1841 году» Белинский, назвав «Опагра» в числе «замечательнейших явлений прошлогодней литературы», заключает свой отзыв: «Впрочем, каждая новая повесть г. Панаева бывает лучше предшествовавшей, в чем читатели наши особенно могут убедиться по «Актеону». Это добрый знак: развитие и движение вперед есть несомненное доказательство истинного дарования» (Полн. собр. соч., АН СССР, т. V, М. 1954, стр. 582).

Печатается по тексту тома I Сочинений (Спб. 1860), сверенному с предыдущими публикациями.

Стр. 266. ...*чиновник 12-го класса...* — См. прим. к стр. 105.

Стр. 268. ...*голосом Стентора...* — Стентор — один из персонажей «Илиады» Гомера, обладавший громовым голосом.

Стр. 287. *Декохт* — отвар из лекарственных растений.

Стр. 290. *Зоил* — древнегреческий оратор и философ, зло и придирчиво критиковавший «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Имя его стало нарицательным для обозначения недоброжелательной, злобной критики; здесь: насмешник, острослов.

Стр. 305. *«Песнь моя летит с мольбою...»* — стихотворение немецкого писателя Людвига Рельштаба (1799—1860) «Серенада» в переводе Н. П. Огарева (1840). Текст перевода впервые опубликован в повести Панаева.

Стр. 308. ...*со стразовыми пряжками...* — Страз — блестящее стекло, из которого шлифовались поддельные драгоценные камни.

Стр. 313. ...*в милиционном... сюртуке...* — Милицией называлось сформированное в России в 1806 году ополченное (земское) войско; через год оно было распущено.

«Калиф багдадский» (1800) — опера французского композитора Франсуа Буальдье.

Стр. 315. *«Так он писал темно и вяло...»* — строка из шестой главы (строфа XXIII) «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, характеризующая поэтический стиль Ленского.

Стр. 316. ...*струями Стикса...* — Стикс — одна из рек «подземного царства», в котором обитали души умерших (ант. миф.).

Стр. 317. *«Теките, теките, слезы вечной любви...»* — неточная цитата из стихотворения И. Гете «Блаженство грусти» (1775).

...слова безумной Офелии, что «горе есть праздник человеку» — из «Гамлета» У. Шекспира, в переводе Н. Полевого, действие IV, явление II (М. 1837, стр. 165).

Стр. 318. *...пропищала «Соловья».* — «Русская песня» А. А. Дельвига (1826); положена на музыку композитором А. Алябьевым.

Стр. 320. *...жлуди* — одна из карточных мастей (желуди, кресты, трефы).

Стр. 328. *...филатура* — прядильная мануфактура.

Стр. 345. *...экстирпатор* — земледельческое орудие.

Стр. 358. *«Среди долины ровныя...»* — песня на слова А. Ф. Мерзлякова (1830).

Стр. 359. *Воротников А. В.* (ум. 1840) — комический актер, игравший в Александринском театре.

РОДСТВЕННИКИ

Впервые опубликовано, с подзаголовком *Нравственная повесть,* в журнале «Современник», 1847, № 1, 2.

Замысел повести, по-видимому, относится к началу 1840-х годов, так как в январе 1843 года в «Отечественных записках» было объявлено о предстоящем печатании «Родственников».

В четвертой главе повести Панаев изображает философский кружок, воспитанником которого был Григорий Алексеевич: «Это был... замечательный для своего времени кружок, много способствовавший нашему общественному развитию... Память о нем всегда сохранится в истории русского просвещения...» — писал Панаев. Есть основания предполагать, что в характеристике этого кружка, наряду с обобщением некоторых черт философских идеалистических кружков 1830-х годов, содержится намек на известный кружок Н. В. Станкевича.

Для правильного понимания повести «Родственники» необходимо подчеркнуть, что Панаев, воспроизводя ряд черт кружка Станкевича, не изображал кружок в целом, а тем более ведущих его участников. Философский идеалистический кружок, где герой повести играл самую скромную роль, интересовал Панаева прежде всего как среда, в которой под влиянием идеалистической философии выработались некоторые отрицательные качества представителей интеллигенции 1840-х годов — абстрактность мышления, оторванность от жизни.

В «Ответе «Москвитянину»» («Современник», 1847, № 11) Белинский указывал, что эта повесть «не без достоинств, местами замечательных» (Полн. собр. соч., АН СССР, т. X, М. 1956, стр. 238).

Печатается по тексту тома II Сочинений (Спб. 1860), сверенному с текстом первой публикации.

Стр. 388. *...в моменте распадения...* — В статье Белинского «„Гамлет". Драма Шекспира...» (1838) содержится изложение идеалистической теории эволюции духовной жизни человека — от «бессознательной гармонии с природой», через «распадение», разлад с действительностью, к «мужественной», «сознательной гармонии» и примирению («Московский наблюдатель», 1838, ч. XVI кн. 1).

Стр. 389. *...стишки в гейновском роде* — то есть подражания немецкому поэту Генриху Гейне (1797—1856). В 1840-е годы лирика Гейне вызвала огромное количество подражателей, односторонне воспринявших содержание его поэзии и культивировавших ее субъективно-индивидуалистическую направленность. В 1850-е годы Новый поэт создает много пародий на этот псевдогейневский стиль («Заря горела, как пожар», «Подражание Гейне», «Они молчали оба. Грустно, грустно...» и др.).

«Есть упоение в бою...» — из «Пира во время чумы» (1830) А. С. Пушкина.

Стр. 397. *...кавалерист времен Бурцова...* — Бурцов И. Г. (1794—1829) — военный писатель, участник кампании 1813—1814 годов и движения декабристов.

Стр. 402. *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель, виднейший представитель романтизма.

Тик Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель-романтик; реакционные черты его творчества сказались в прославлении средневековья и католицизма.

Уланд Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт, представитель позднего романтизма.

Жан Поль (псевдоним Иоганна Пауля Фридриха Рихтера, 1763—1825) — немецкий писатель-романтик. В. Г. Белинский в статье «Антология из Жан-Поля Рихтера» порицает его за «филистерскую елейность любящего сердца» и стремление исцелить «общественные раны» «красноречивыми советами».

Стр. 405. *...где враждовали и примирялись с действительностью...* — Речь идет о тезисе немецкого философа-идеалиста Г. Гегеля (1770—1831): «Что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно» (Из предисловия к «Философии права», 1821). Применяя эту формулу к русской действительности

1830-х годов, русские последователи гегелевской философии — М. А. Бакунин, на короткое время Белинский и другие — пришли к глубоко ошибочным выводам о «примирении» с существующей монархической системой, поскольку она «причинно необходима» и исторически «разумна». В начале 1840-х годов Белинский не только преодолел свои заблуждения, но стал непримиримым борцом с самодержавием.

«Иных уж нет, а те далече...» — из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. VIII, строфа LI).

Стр. 426. *...называла... Пульпультиком...* — прозвище одного из персонажей повести Н. В. Гоголя «Коляска» (1836).

Стр. 458. *...«раздражение своей пленной мысли»* — перифраз из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь себе» (1839).

ХЛЫЩ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

(De la haute école)

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1857, № 4, под общим заглавием «Опыт о хлыщах», с подзаголовком *Очерки нравов.*

Цикл «Опыт о хлыщах» включал еще два очерка: «Великосветский хлыщ» («Современник, 1854, № 11) и «Провинциальный хлыщ» («Современник», 1856, № 4).

В заключении к очерку «Великосветский хлыщ» Панаев, обращаясь к читателям, говорит, что название «хлыщ» появилось у него здесь впервые: «Это слово сорвалось у меня с языка... Нам всем очень понравилось это слово; мы приняли его без возражений и пустили в ход. Теперь оно по нашей милости начинает распространяться» (Собр. соч., т. III, стр. 160).

Очерки получили положительную оценку современников. Так, В. П. Боткин писал Панаеву 14 апреля 1856 года: «Провинциальный хлыщ вышел очень хорош. Это, действительно, настоящие очерки нравов. Рассказ жив, занимателен и даже романтичен к концу, что придает ему поэтический колорит. Словом — хорошая и почтенная вещь... Я всегда был друг твоего таланта и вовсе не по личным моим отношениям к тебе, а ради его объективного достоинства» («Тургенев и круг «Современника», «Academia», М.— Л. 1930, стр. 370—371).

Известный в те годы историк литературы М. Н. Лонгинов писал о «Провинциальном хлыще» библиографу С. Д. Полторацкому (30 августа 1856 г.): «Обними Панаева... скажи ему, что я очень доволен его вторым хлыщом; он выдержаннее и полнее

первого. ...Вобще во всем живость, правда; пусть не слушает крикунов, а следует личному призванию, лучше его в этом роде никто не пишет» (Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 233 (С. Д. Полторацкого), № 84, п. 5, л. 2).

Печатается по тексту тома III Сочинений (Спб. 1860), сверенному с текстом первой публикации.

Стр. 465. *Барнум* Финеас Тейлор (1810—1891) — американский антрепренер, показывавший различные «чудеса», в том числе так называемую «морскую женщину» и карлика Тома Пуса.

Стр. 466. *...фигура... Командора...* — По-видимому, здесь речь идет о персонаже комедии «Дон-Жуан» (1665) французского драматурга Жан-Батиста Мольера или «Каменного гостя» (1830) А. С. Пушкина.

Стр. 467. *Рубини* Джованни (1795—1854) — итальянский певец; в 1840-х годах гастролировал в Петербурге.

«Лучия» — «Лючия ди Ламмермур» (1835) — опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти.

Стр. 468. *...как говорит Гоголь, «наши общественные раны»...* — из «Театрального разъезда после представления новой комедии» (1842. — Собр. соч., АН СССР, т. IV, М. 1961, стр. 169).

Стр. 472. *«Отелло»* — трагедия У. Шекспира. Переведена на русский язык Панаевым в 1836 году (см. его «Литературные воспоминания», Гослитиздат, 1950, стр. 56—62) для бенефиса актера Я. Г. Брянского.

Стр. 474. *Лагарп* Жан Франсуа де (1739—1803), *Баттё* Шарль (1713—1780), *Буало* Никола (1636—1711) — французские писатели, теоретики классицизма.

Генрих V... — Речь идет о графе Шамборе (1820—1883), внуке Карла X, представителе старшей линии Бурбонов. В 1850 году роялисты выдвигали его кандидатуру на французский престол.

«Готский альманах» — генеалогический, дипломатический и статистический ежегодник, издаваемый в Готе с 1763 года (на немецком и французском языках).

Стр. 479. *...провожали линии* — по-видимому, линейки, — широкий многоместный закрытый экипаж, в котором возили воспитанниц театральной балетной школы.

Стр. 495. *Жорж Санд* (псевдоним Авроры Дюдеван, 1804—1876) — французская писательница, выступавшая в своих произведениях против социальной несправедливости буржуазно-дворянского общества, его лицемерной морали, активная поборница женской эмансипации.

Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург, один из виднейших представителей французского классицизма.

Из цикла «Очерки из петербургской жизни»

С конца 1855 (с № 12) по 1861 год Панаев вел в «Современнике» ежемесячное фельетонное обозрение «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта». В 1860 году Панаев выделил из обозрения очерки нравов и типов различных социальных слоев петербургского населения и составил из них два тома «Очерков из петербургской жизни Нового поэта» (тт. 1—2, Спб. 1860). Готовя очерки для отдельного издания, Панаев подверг их значительной переработке: освободил их от местного материала, злободневных намеков, придал им более обобщенный характер и более резкую социальную окраску. Всего в цикл вошло сорок шесть очерков, каждый из которых получил самостоятельное заглавие.

В данную книгу из этого цикла включается пять очерков.

Печатаются по текстам отдельного издания: «Очерки из петербургской жизни Нового поэта» (тт. 1—2, Спб. 1860), сверенным с текстами первых журнальных публикаций.

ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1856, № 10.

Стр. 523. *«Русская беседа»* — журнал славянофильского направления, выходивший в Москве в 1856—1860 годах.

Речь идет о статье «Лорд Меткальф, английский государственный муж в Индии», напечатанной в «Русской беседе», 1856, кн. II, отдел «Жизнеописания».

ИМЕНИННЫЙ ОБЕД У ДОБРОГО ТОВАРИЩА

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1857, № 4.

Стр. 541. *«Записки Вольно-экономического общества»...* — Речь идет о «Трудах Вольного экономического общества», выходивших с 1766 по 1915 год в Петербурге.

Стр. 542. *«Губернские очерки» Щедрина...* — книга издана в 1857 году. В «Петербургской жизни» (1857, № 5) Новый поэт сообщал: «Вышли отдельно в двух частях «Губернские очерки» надворного советника Щедрина, *изданные г. Салтыковым.*

Если бы таких умных, благородномыслящих и наблюдательных надворных советников у нас было поболее, — от этого много выиграли бы и общественная нравственность и литература. Очерки, изданные г. Салтыковым, расходятся блистательно» (стр. 89—90).

Оценка Панаевым «Губернских очерков» перекликается с рецензией Чернышевского, напечатанной в следующем номере «Современника» (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, М. 1948, стр. 263).

Стр. 545. *«Колокольчик», «Гирлянда», «Звездочка», «Дамский журнал»* — сентиментально-нравоучительные издания, выходившие в 1820—1830 годах.

СЛАБЫЙ ОЧЕРК СИЛЬНОЙ ОСОБЫ

Впервые опубликовано под заглавием «Слабый очерк довольно сильной особы» в журнале «Современник», 1857, № 11.

Стр. 546. *...чиновных людей до четвертого класса...* — См. прим. к стр. 105.

Стр. 547. *Глинка* Федор Николаевич (1786—1880) — поэт.

Стр. 558. *...блестящий экипаж Шарлоты Федоровны...* — Речь идет о персонаже очерка Панаева «Шарлота Федоровна», в котором рассказывалась история петербургской камелии.

Стр. 562. *...«нельзя не порадеть родному человечку...»* — неточная цитата из монолога Фамусова в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие второе, явление 5).

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННИК

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1857, № 12, под названием «Очерк петербургского литературного промышленника».

Панаев зачастую придавал своим персонажам портретное сходство с современниками. Это, в частности, относится и к «Петербургскому литературному промышленнику», в лице которого современники узнали редактора журнала «Отечественные записки» А. А. Краевского (1810—1889). Сатирически заостренный, памфлетный образ Краевского заставляет вспомнить историю взаимоотношений этого издателя с ведущим сотрудником «Отечественных записок», определившим лицо этого журнала, — Белинским. Известно, что Краевский не без колебаний пригласил Белинского в свой журнал, боясь связываться с «крикуном-мальчишкой». Сначала он пытался пригласить на ведение постоянной библиографии Э. И. Губера, Я. М. Неверова и В. С. Межевича. Но, поняв, что они не смогут создать авторитет журналу и привлечь к нему читателей, Краевский пошел на соглашение с Белинским. Это

было летом 1839 года, когда «Отечественные записки» переживали кризис. Не имея литературного дарования, без серьезных знаний и вкуса, — Краевский обладал чутьем ловкого дельца капиталистического типа. Приглашением Белинского он, кроме того, хотел обезопасить себя от иронии критика, уже не раз с едкой насмешкой отзывавшегося о газете Краевского («Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"»), называя ее «Инвалидными прибавлениями к русской литературе».

Начавшаяся с приходом Белинского решительная перемена направления журнала спасла Краевского от банкротства. Благодаря Белинскому с 1842 года число подписчиков «Отечественных записок» резко увеличилось, а в 1844 году понадобилось переиздание многих старых номеров. В 1845—1846 годы тираж журнала дошел до 4500—5000 экз., что было по тому времени огромной цифрой. Краевский быстро богател и, все больше и больше загружая Белинского литературной поденщиной, не выполнял по отношению к нему своих материальных обязательств (см. В. И. Кулешов, «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX в., М. 1958, стр. 210—215).

Отношение Краевского к Белинскому возмущало друзей последнего, — Панаев, например, писал Н. Х. Кетчеру 1 октября 1846 года: «Все готовы были какими-нибудь средствами исхитить Белинского, говоря высоким слогом, из железных лап безвестного и бесстыдного спекулятора» (В. Г. Белинский, Письма под ред. Е. А. Ляцкого, т. III, Спб. 1914, стр. 362).

В «Современнике» Гоголь был обозначен буквой «Г», а Белинский — «В»; в издании 1860 года оба обозначения были исправлены на «Б», то есть Гоголь и Белинский фигурировали под одной буквой. Восстанавливаем «Г» в тех случаях, где речь идет о Гоголе.

Раскрытие инициалов и криптонимов, встречающихся в данном очерке, принадлежит И. Ямпольскому (см. И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Гослитиздат, 1950, стр. 439—440).

Стр. 564. *...перевел с французского какую-то статейку...* — Имеется в виду статья Краевского «Современное состояние философии во Франции и новая система сей науки, основываемая Ботеном» («Журнал министерства народного просвещения», 1834, № 3).

Стр. 565. *«Взгляд на Россию».* — Речь идет о статье Краевского «Мысли о России» («Литературные прибавления к „Русскому инвалиду" на 1837 год», № 1), проповедовавшей реакционные идеи в духе формулы «православие, самодержавие и народность».

...человек очень почтенный... — Намек на писателя князя В. Ф. Одоевского (1804—1869).

...литературный листок — газета «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"», выходившая в Петербурге с 1831 по 1836 год под редакцией А. Ф. Воейкова, а с 1837 по 1839 — под редакцией Краевского.

Стр. 566. *...приписывать себе те из статей... которые обращали на себя особенное внимание публики.* — Краевский, пользуясь тем, что статьи Белинского шли без подписи, нередко приписывал их себе. Об этом свидетельствует письмо П. И. Мельникова (Печерского) к Краевскому (от 2 ноября 1841 года), из которого видно, что Краевский уверял Мельникова (в не дошедшем до нас письме), будто «в критике и библиографической хронике «Отечественных записок» выражается его (Краевского. — *Ф. И.*) личность». Имеются и другие документы, подтверждающие этот факт (см. В. И. Кулешов, «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX в., М. 1958, стр. 212—213).

...как ворона в басне... — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Ворона» (1825).

Стр. 568. *...в кабинете какого-то литератора...* — Имеется в виду В. Ф. Одоевский.

...повторял его мнение — то есть мнение Белинского. Об этом же рассказывает Панаев в «Литературных воспоминаниях» (Гослитиздат, 1950, стр. 271).

...превратить свой листок в журнал. — Речь идет о том, что с 1839 года Краевский начал издавать «Отечественные записки».

Стр. 569. *...своего старинного приятеля* — В. С. Межевича.

...получаю письмо... — Здесь, по-видимому, объединены два письма Краевского к Панаеву: от 20 июня и 10 октября 1839 года (см. И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Гослитиздат, 1950, стр. 188—190).

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) — библиограф и историк литературы, приятель Панаева; в 1850-е годы — сотрудник «Современника».

Н * — писатель Н. Ф. Павлов (1805—1864). В 1830-х годах приобрел известность либеральными повестями — «Ятаган», «Именины», «Аукцион».

П * — М. П. Погодин (1800—1875) — историк, писатель и журналист, профессор Московского университета.

Г * — Н. В. Гоголь.

...для моего журнала — «Отечественных записок».

С * — поэт В. А. Жуковский (1783—1852).

Стр. 570. ...мой *Л** — В. С. Межевич.

...я даже готов идти в сотрудники... к Ф.* — Речь идет о Булгарине. В это время Белинский находился в очень стесненных обстоятельствах (см. его письмо к Панаеву от 18 февраля 1839 года. — Полн. собр. соч., АН СССР, т. XI, М. 1956, стр. 360—361).

Стр. 573. *...в Москве затевался новый журнал...* — По-видимому, речь идет о журнале «Московское обозрение», задуманном в 1844 году. Редактором его должен был стать Е. Ф. Корш, сотрудниками — Белинский, Панаев, Кетчер и др. Издание журнала не состоялось.

Стр. 574. *...Б* решился оставить его издание* — в 1846 году, для участия в обновленном «Современнике». Краевский, желая смягчить удар, нанесенный ему уходом Белинского, пытался представить роль Белинского в «Отечественных записках» незначительной (см. В. Е. Евгеньев-Максимов, «Современник» в 40—50-е гг.; Л. 1934, стр. 67—75).

БЛАГОНАМЕРЕННЕЙШИЙ ГОСПОДИН

Впервые опубликовано, с подзаголовком *Современный очерк*, в журнале «Современник», 1858, № 2.

Стр. 577. *«Почему в наше время не пишут хороших стихов?..»* — этот разговор был передан Панаеву критиком Н. И. Надеждиным (1804—1856). См. И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Гослитиздат, 1950, стр. 118.

Стр. 579. *«У нас правдой ничего не наживешь на службе!»* — из комедии Н. М. Львова «Свет не без добрых людей» (1857).

Стр. 585. *...совершаются различные перемены и преобразования...* — намек на подготовку крестьянской реформы 1861 года.

ВНУК РУССКОГО МИЛЛИОНЕРА

Листки из моих петербургских воспоминаний

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1858, № 7. Печатается по тексту тома III Сочинений (Спб. 1860), сверенному с текстом первой публикации.

Стр. 598. *«Спящий в гробе мирно спи...»* — из стихотворения В. А. Жуковского «Торжество победителей» (1828).

Стр. 633. *«...плод, до времени созрелый...»* — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

Стр. 637. *Растрелли* Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франческо) (1700—1771) — русский архитектор.

Стр. 638. *Калам* Алекс (1810—1864) — швейцарский пейзажист.

Маду Жан Батист (1796—1877) — бельгийский живописец и график.

Рокплан Камиль (1800—1850), *Декан* Габриэль Александр (1803—1860) — французские живописцы.

Стр. 642. *Тальони* Мария (1804—1884) — французская балерина; выступала в Петербурге в 1837—1842 годах.

Эльслер Фанни (1810—1884) — австрийская балерина, гастролировала в Петербурге в 1848—1851 годах.

Стр. 643. *...Неронова пиршества, описанного г. Меем...* — Здесь речь идет о стихотворении «Цветы» (1855) поэта Л. А. Мея.

Стр. 644. *«Катерина, дочь разбойника»* — балет Жюля Перро (1810—1892), впервые поставлен на сцене в 1846 году.

Стр. 645. *Буше* Франсуа (1703—1770) — французский живописец и гравер, создатель картин на мифологические и пасторальные сюжеты.

...ланскене — название карточной игры.

Стр. 655. *...Давид победил... Голиафа...* — Согласно библейской легенде, юный Давид (полулегендарный древнееврейский царь — конец XI — нач. X вв. до н. э.) победил великана Голиафа.

Стр. 658. *Раппо* — известный в то время силач.

СОДЕРЖАНИЕ

ИВАН ИВАНОВИЧ
ПАНАЕВ

Избранные произведения

Редактор М. Гордон
Худож. редактор И. Жихарев
Технич. редактор Г. Каунина
Корректор А. Юрьева

*

Сдано в набор 29/XII 1960 г. Подписано в печать 3/V 1961 г. Бумага 84 × 108 1/32 = 21,5 печ. л. 35,26 усл. печ. л. 36,6 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 36,65 л. Тираж 50 000. Заказ № 1656. Цена 1 р. 08 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная 19.

*

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.